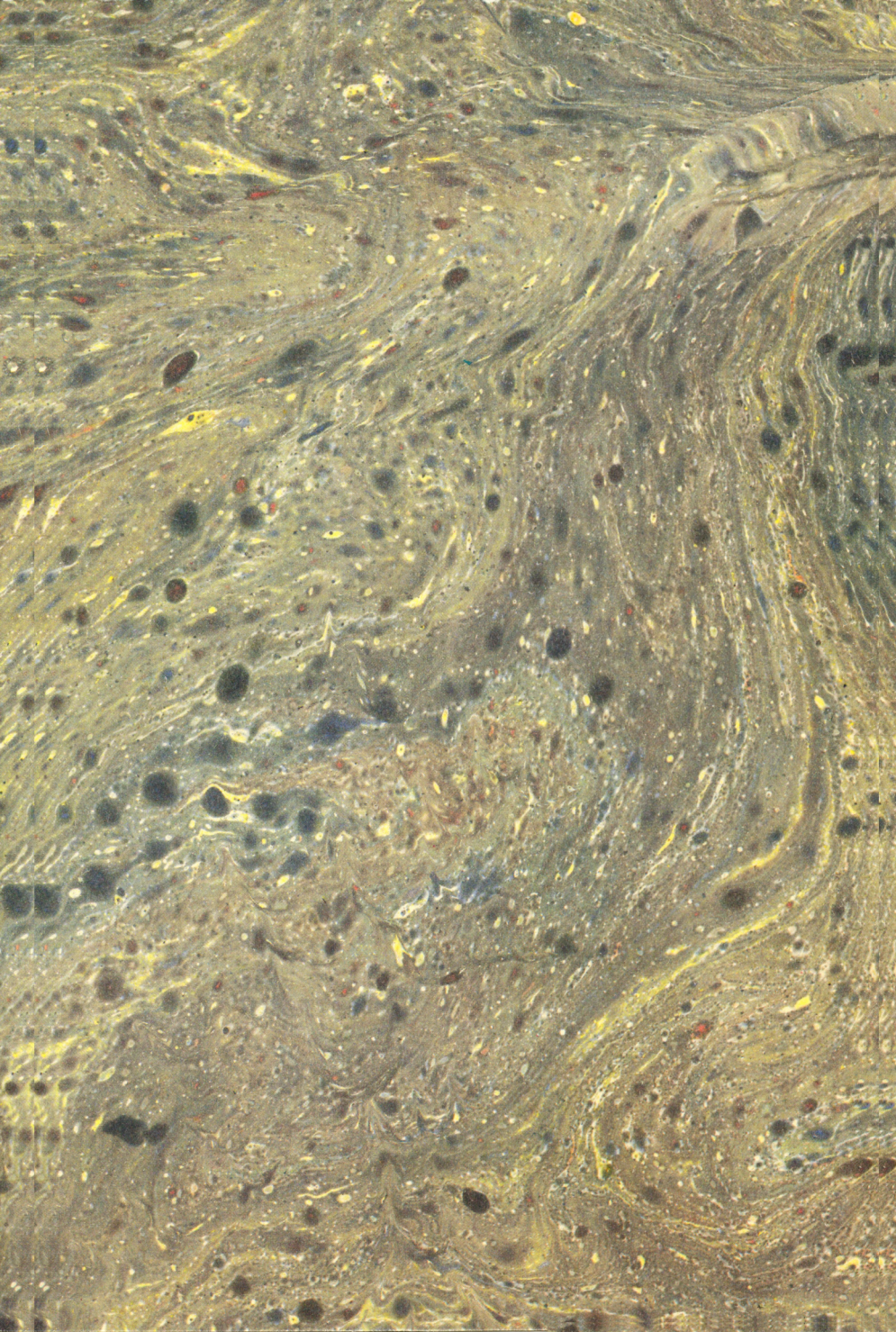


И Астольф де Кюстин РОССИЯ В 1839 ГОДУ

Астольф де Кюстин
РОССИЯ
В 1839 ГОДУ

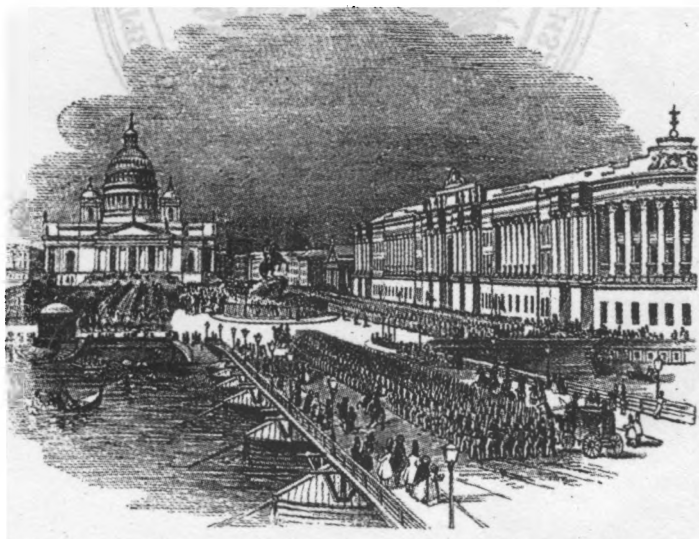




MARQUIS DE CUSTINE

LA RUSSIE

PRIX : 2 FR. 70 CENT.



PARIS : AMYOT, 8, RUE DE LA PAIX.

Фронтиспис пятого издания книги
(вышла под названием «Россия»)

Астольф де Кюстин
РОССИЯ
В 1839 ГОДУ

В двух томах

ТОМ ВТОРОЙ

Москва
Издательство имени Сабашниковых

ББК 63.3(2)47
К99

Перевод с французского
ОЛЬГИ ГРИНБЕРГ (письмо 21—25)
ВЕРЫ МИЛЬЧИНОЙ (письмо 26—29)
и СЕРГЕЯ ЗЕНКИНА (письмо 30—36)

Под общей редакцией
ВЕРЫ МИЛЬЧИНОЙ

Оформление серии
С. И. СЕМЕНОВА

Комментарии
ВЕРЫ МИЛЬЧИНОЙ И АЛЕКСАНДРА ОСПОВАТА

Издание подготовлено при поддержке
Фонда «Обретенная книга»,
учрежденного фирмой шампанских вин Анрио (Франция),
и осуществлено при участии Министерства иностранных дел
Франции, Французского культурного центра в Москве
и посольства Франции в России

Ouvrage réalisé avec l'appui et le soutien du Ministère français
des Affaires Etrangères, du Centre Culturel Français de Moscou
et de l'Ambassade de France en Russie

Кюстин А. де

К 99 Россия в 1839 году. В 2 т. Пер. с фр.: под ред. В. Мильчиной; коммент. В. Мильчиной и А. Осповата. Т. II / Пер. О. Гринберг, В. Мильчиной и С. Зенкина. — М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1996. — 480 с. — (Записи Прошлого).
ISBN 5-8242-0046-7

Во втором томе своих записок Астольф де Кюстин продолжает рассказ о поездке по России: описывает посещение Ярославля, Нижнего Новгорода и подводит итоги своего путешествия.

К ~~0503020200-04~~ Без объявл.
~~Б94 (03)-96~~

ББК 63.3(2)47

ISBN 5-8242-0046-7

- © Издательство имени Сабашниковых, 1996
- © Перевод на русский язык. О. Э. Гринберг, В. А. Мильчина, С. Н. Зенкин, 1996
- © Комментарии. В. А. Мильчина, А. А. Осповат, 1996

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ

Прощанье с Петербургом. — Сходство между ночью и разлукой. — Плоды воображения. — Петербург в сумерках. — Контраст неба на востоке и на западе. — Ночная Нева. — Волшебный фонарь. — Картины природы. — Местность помогает мне понять мифологию народов Севера. — Бог во всем. — Баллада Кольриджа. — Стареющий Рене. — Худшая из нетерпимостей. — Условия, необходимые для жизни в свете. — Из чего складывается успех. — Заразительность чужих мнений. — Салонная дипломатия. — Изъян одиноких умов. — Лесть читателю. — Мост через Неву ночью. — Символический смысл картины. — Петербург в сравнении с Венецией. — Опасность Евангелия. — В России не читают проповедей. — Двуликий Янус. — Так называемые «польские заговоры». — Что из этого следует. — Доводы русских. — Убийства на волжских берегах. — Лафонтенов волк. — Уверенность в будущем, неуверенность в настоящем. — Неожиданный визит. — Интересное сообщение. — История князя и княгини Трубецких. — Мятеж во время восшествия императора на престол. — Преданность княгини. — Четырнадцать лет в уральских рудниках. — Что такое жизнь на каторге. — Суд человеческий. — Лесть деспота. — Мнение многих русских об участии сосланных в рудники. — 18 фруктидора. — Сорокаградусный мороз. — Первое письмо после семи лет каторги. — Дети каторжников. — Ответ императора. — Российское правосудие. — Что представляет собой колонизация Сибири. — Клеймо на детях. — Отчаяние и унижение матери. — Второе письмо за четырнадцать лет. — Доказательства существования вечности. — Ответ императора на второе письмо княгини. — Как следует расценивать такие чувства. — Что нужно понимать под отменной смертной казни в России. — Семья ссыльных. — Мать семейства молит императора о милости. — Воспитание, которое она невольно дает своим детям. — Цитата из Данте. — Перемены в моих планах и чувствах. — Предположения. — Я принимаю решение прятать свои письма. — Средство обмануть полицию. — Заметка о смертной казни. — Цитата из брошюры Я. Толстого. — О чем она говорит.

Петербург, 2 августа 1839 года, полночь

Нынче вечером я в последний раз гулял по этому необыкновенному городу; я прощался с Петербургом... Прощанье! Это магическое слово! Оно наполняет местность и людей неизъяснимым очарованием. Отчего сегодня Петербург показался мне особенно красивым? Оттого, что я видел его в последний раз. Значит, сила воображения, коим одарена наша душа, способна преобразить мир,

чей облик неизменно является для нас не более чем отражением нашего внутреннего мира? Те, кто утверждают, что вне нас ничто не существует, быть может, правы; но я, философ, метафизик, чья единственная цель — естественно и непринужденно высказывать все, что приходит мне на ум, вечно задаю неразрешимыми вопросами и безуспешно пытаюсь проникнуть в тайну этого очарования. Мучительные раздумья, самый большой изъян моего стиля, происходят из желания выразить невыразимое: в погоне за невозможным тают мои силы, тускнеют слова, истощаются чувства и страсти... Нашим мечтам, нашим грезам так же далеко до ясных мыслей, как сияющей на горизонте гряде облаков — до уходящего в небо горного хребта, на который она издали похожа. Никакими словами не передать мимолетных причуд фантазии, они ускользают от пера писателя, как сверкающие жемчужины стремительного потока — от сетей рыбака.

Объясните мне, каким образом мысль о предстоящем отъезде может изменить облик местности. Когда я думаю о том, что смотрю на эти края в последний раз, мне кажется, будто я вижу их впервые.

Существование наше полно бурного движения, если сравнить его с неподвижностью окружающих нас предметов, и все, что напоминает о краткости нашей жизни, приводит нас в восхищение. Мы быстро несемся по течению и мним, будто все, что остается на берегу, неподвластно времени; вода в потоке должна верить в бессмертие дерева, дарящего ей сень; мир кажется нам вечным — столь мимолетно наше существование.

Быть может, жизнь путешественника так богата переживаниями оттого, что складывается из приездов и отъездов, а отъезд есть репетиция смерти. Несомненно, люди потому и видят в розовом свете то, что они покидают; впрочем, у этого обстоятельства есть еще одна причина, о которой я сейчас решаюсь упомянуть лишь вскользь.

В иных душах любовь к независимости доходит до страсти; боязнь всяческих уз заставляет человека привязываться лишь к тому, что ему суждено вскоре покинуть, ибо ввиду близкой разлуки нежные чувства ни к чему его не обязывают. Он может восторгаться безнаказанно: ведь завтра он уезжает! Разве отъезд не проявление свободы? Расставанье освобождает от пут чувства; человек может, не подвергаясь ни малейшей опасности, всласть восхищаться тем, чего он никогда больше не увидит; он всецело предается своим сердечным склонностям без страха и стеснения: он знает, что за спиной у него крылья! Но когда, вдоволь насладившись умением справлять и складывать их, он начинает чувствовать, что силы его на исходе; когда он замечает, что путешествие уже не столько просвещает, сколько утомляет его, значит, пришло время вернуться домой и отдохнуть; я вижу, что этот день скоро наступит и для меня.

Была ночь: мрак, как и разлука, имеет свое очарование, он, как

и разлука, располагает к догадкам; поэтому на закате дня ум предается грезам, сердце дает волю нежности, сожалениям; когда все видимое исчезает, остаются одни лишь чувства; настоящее меркнет, прошлое возвращается; смерть, земля отдают похищенное, и ночная мгла набрасывает на предметы покров, который прибавляет им величия и трогательности; тьма, подобно разлуке, пленяет мысль неопределенностью, она призывает поэтическую туманность на помощь своим чарам; ночь, разлука и смерть — волшебницы, и могущество их — тайна, так же как и все, что воздействует на воображение. Даже самым изощренным, самым возвышенным умам не дано верно описать отношения природы и фантазии. Чтобы дать четкое определение воображению, нужно подняться к истокам страстей. Воображение, этот источник любви, эта движущая сила жалости, эта пружина гения — не что иное, как сила Творца, которую он вложил в свое бренное творение, опаснейший из даров, ибо он делает человека новым Прометеем; человек получает эту силу, но не знает ей меры; она в нем, но ему не принадлежит.

Когда песня замолкает, когда радуга бледнеет, — знаете ли вы, куда исчезают звуки и краски? Знаете ли вы, откуда они взялись? То же и с чарами воображения, только их гораздо больше, они гораздо разнообразнее, гораздо мимолетнее и прежде всего гораздо сильнее!.. Я всю жизнь с ужасом сознавал это, но что толку — у меня больше воображения, чем нужно: я должен был совладать с этим даром, но остался его игрушкой и в конце концов пал его жертвой.

Пучина желаний и противоречий побуждает меня скитаться по белу свету и привязывает к городам, где я оказался, в тот же самый миг, когда зовет продолжать путь. О иллюзии! Как коварно вы обольщаете нас и как жестоко бросаете на произвол судьбы!..

Шел одиннадцатый час: я возвращался домой после прогулки по островам. В эту пору облик города исполнен особенной прелести; никакими словами не передать красоту этой картины, ибо она заключается не в очертаниях, — ведь местность совершенно плоская, — но в магии туманных северных ночей; нужно самому увидеть белые ночи, чтобы понять их поэтическое величие.

На западе город тонул во мгле; дрожащая линия горизонта делала его похожим на вырезанный из черной бумаги силуэт, наклеенный на белый фон: этот фон — закатное небо, где сумерки после захода солнца еще долго излучают свет, озаряющий далекие дома на другом берегу, которые выделяются светлыми пятнами на фоне неба, более матового и темного на востоке, чем на западе, где сверкает закатный нимб. Из этого противопоставления следует, что на западе город погружен во мрак, а небо светлое, меж тем как на востоке здания освещены и белеют на фоне темного неба; этот контраст являет глазам зрелище, о котором слова дают лишь очень слабое представление. Сумерки сгущаются медленно, словно борясь против наступающей темноты и тем самым продлевая день, что

сообщает всей природе таинственное движение: низкие берега Невы с невысокими постройками словно бы колышутся между небом и землей: кажется, будто они вот-вот канут в пустоту.

Петербург отчасти похож на Голландию, где, впрочем, климат лучше, а природа живописнее, — но похож только днем, ибо северные ночи полны чудесных видений.

Многие башни и колокольни увенчиваются, как я уже говорил в другом месте, острым шпилем, придающим им сходство с корабельными мачтами; ночью эти позолоченные по русскому обыкновению султаны на памятниках плывут в безбрежном воздушном океане под небом, которое нельзя назвать ни темным, ни светлым, и не чернеют на нем, но сверкают, подобно переливчатым чешуйкам ящерицы.

Сейчас начало августа; в этих широтах лето уже на исходе, и все же маленький уголок неба остается светлым всю ночь; это перламутровое сияние на горизонте отражается в Неве, которая в погожие дни выглядит спокойным озером; этот свет придает реке сходство с гигантской металлической пластиной, и эту серебристую равнину отделяет от неба, такого же белесого, как и она, лишь силуэт города. Этот клочок суши, который кажется оторванным от земли и дрожащим на воде, словно пена в половодье, эти крохотные, едва заметные черные точки, разбросанные как попало между белым небом и белой рекой, — ужели это столица огромной империи или все это только мираж, обман зрения? Фон картины — полотно, на нем движутся тени, на мгновение ожившие в свете волшебного фонаря, сообщающего им призрачное существование, меж тем недолго им вести на просторе свой молчаливый хоровод: скоро лампа погаснет и город вновь исчезнет — сказка закончится.

Я видел, как темнеет в белесом небе шпиц собора, где покоятся останки последних государей России; эта стрела взметнулась над крепостью и старой частью города; выше и острее, чем пирамида кипариса, на фоне жемчужно-серых далей, она казалась слишком резким и смелым мазком кисти подвыпившего художника; размашистость, которая приковывает взгляд, портит живописное полотно, но украшает действительность; Бог творит по иным законам. Это было прекрасно... все замерло, воцарился торжественный покой, вдохновляющая неопределенность. Все шумы, все волнения обыденной жизни утихли; люди скрылись, земля осталась во власти мистических сил: есть в этом гаснущем дне, в этом мерцающем свечении белых ночей тайны, которые я не в силах разгадать и которые дают ключ к мифологии северных народов. Теперь я понимаю все суеверия жителей Скандинавии. Для одних народов Бог прячется в северном сиянии, для других — проявляется в ослепительном тропическом дне. Что же до мудреца, желающего видеть в творении лишь Творца, то для него хороши все широты, все климаты.

Куда бы ни занесло меня беспокойное сердце, я всюду поклоняюсь одному Богу, всюду слышу один голос. Куда бы человек ни опустил свой благочестивый взор, он видит, что природа есть тело, чья душа — Бог.

Вы несомненно знаете балладу Кольриджа, где английскому матросу привиделся скользящий по морю корабль: я вспомнил ее, глядя на призрачный спящий город. Эти ночные видения для жителей северных широт то же, что Фата Моргана в разгар дня для жителей юга: краски, линии, часы другие, но иллюзия та же.

С умилением созерцая края, где природа самая скудная и, по слухам, самая невзрачная, я утешаюсь мыслью о том, что Господь уделил каждой точке земного шара довольно красот, чтобы чада его всюду находили явные приметы, доказывающие: он здесь — и благодарили его, куда бы ни забросила их судьба. Лик Создателя запечатлелся во всех уголках земли, и это делает ее священной в глазах людей.

Мне хотелось бы провести в Петербурге целое лето единственно ради того, чтобы каждый вечер гулять, как нынче.

Когда я встречаю в стране или в городе красивые места, я привязываюсь к ним страстно, я посещаю их каждый день в урочный час. Это без конца повторяемый припев, в котором нам всякий раз слышится нечто новое. Места имеют свою душу, как поэтически выразился Жослен; мне никогда не надоедают края, которые о многом говорят моей душе; я черпаю в их наставлениях мудрость, и этого мне довольно для счастья в моей скромной жизни. Любовь к путешествиям для меня не дань моде, не жажда славы и не утеха. Я родился путешественником, как другие рождаются государственными деятелями: отчизна для меня — везде, где я поклоняюсь Господу, где узнаю Творца в его творениях; ведь из всех творений Господа вытнее всего мне природа в ее близости произведения искусства. Бог открывается моему сердцу в неизъяснимых отношениях между Его вечным Словом и преходящей мыслью человеческой: я нахожу здесь благодатную пищу для размышлений. Созерцание, всегда одинаковое и всегда новое, дает мне пищу для раздумий, это моя тайна, оправдание моей жизни; оно забирает мои нравственные и умственные силы, поглощает мое время, занимает мой ум. Да, в меланхолическом, но сладостном одиночестве, на которое обрекает меня призвание паломника, любопытство заменяет мне честолюбие, стремление к власти, к положению в обществе, к чинам... я знаю, такая мечтательность мне не по летам; господин де Шатобриан был великий поэт и потому не стал описывать старость Рене. Юношеское томление пробуждает участие, у человека молодого — все вперед; но смирение седовласого Рене отнюдь не располагает к красноречию; моя же участь, участь бедняги, подбирающего колоски на ниве поэзии, состоит в том, чтобы показать вам, как стареет человек, созданный, чтобы умереть молодым, — предмет

скорее грустный, нежели занимательный, неблагодарнейшая из задач! Но я говорю вам все без утайки, без стеснения, ибо я никогда не притворяюсь.

Склад моего характера, побуждающий меня не столько жить самому, сколько смотреть, как живут другие, определил мою судьбу, и если вы откажете мне в праве мечтать оттого, что я слишком долго предаюсь упоению, а это позволительно лишь детям да поэтам, вы сократите тот срок существования, который отмерил мне Господь.

Дух реакции на христианские учения привел к тому, что в свете принято, особенно в последние сто лет, восхвалять честолюбие, выдавая его за лекарство против эгоизма; как будто дочь честолюбия, самая жестокая и беспощадная из страстей — зависть, не является одновременно причиной и следствием эгоизма и как будто государству постоянно грозит нехватка гордых талантов, алчных сердец, властных умов! Люди, придерживающиеся подобных взглядов, убеждены, что вожди народов имеют право творить любые беззакония; что до меня, то я не вижу никакой разницы между несправедливыми притязаниями народа-захватчика и грабежом разбойника! Единственное отличие преступлений народа от злодеяний отдельных людей в том, что одни приносят большое, а другие малое зло.

Но что случилось бы с обществом, скажете вы, если бы все поступали, как я, и говорили то, что говорю я? Это внушает слугам века особый страх! Они вечно боятся, что люди отвернутся от их кумира. Я далек от мысли их переубеждать; тем не менее я позволю себе напомнить этим светлым умам, что худшая из нетерпимостей есть нетерпимость философская.

Я не могу жить в свете, потому что интересы общества, его цели и даже средства, которые оно употребляет для защиты своих интересов и достижения своих целей, не пробуждают во мне спасительного духа соперничества, без которого человек обречен на поражение в борьбе честолюбий или добродетелей, составляющих жизнь общества. Чтобы добиться успеха, нужно выполнить две совершенно различные задачи: победить соперников и заставить их признать во всеуслышание вашу победу. Вот почему успех так нелегко снискать один раз, так трудно — чтобы не сказать невозможно — закрепить его надолго...

Я отказался от этого даже прежде, чем приходит пора уныния. Коль скоро мне суждено однажды прекратить борьбу, я предпочитаю ее не начинать: именно это подсказывало мне сердце, приводя на память прекрасные слова проповедника, обращенные к светским людям: «Все конечное так быстротечно!» Так что я без зависти и презрения покидаю ристалище, оставляя светскую жизнь людям, которые полагают, что коль скоро они отдали себя свету, то и свет отдан в их распоряжение.

Увольте меня от всего этого и не бойтесь, что в ваших битвах не

хватит солдат, позвольте мне извлечь всю возможную выгоду из моей праздности и безразличия; впрочем, разве вы не видите, что бездействие — лишь видимость и ум пользуется свободой, дабы внимательнее наблюдать и сосредоточеннее размышлять?

Человек, который смотрит на общества со стороны, более проныцателен в своих суждениях, нежели тот, кто подчиняет всю свою жизнь движению политической машины; ум тем яснее различает механизмы, управляющие всем в этом мире, чем меньше он подвергается их трению; тот, кто взбирается на гору, не видит ее очертаний.

Люди деятельные наблюдают по памяти и начинают описывать то, что они видели, лишь после того, как удаляются от дел; но тогда, озлобленные немилостью или чувствующие приближение конца, утомленные, разочарованные или испытывающие приливы несбыточных надежд, крушение которых является неиссякаемым источником уныния, они почти никогда и ни с кем не делятся своим драгоценным опытом.

Вы думаете, если бы я приехал в Петербург по служебной надобности, я угадал бы, увидел бы оборотную сторону вещей так, как я ее вижу, и вдобавок за такое короткое время? Вращаясь исключительно в кругу дипломатов, я смотрел бы на страну их глазами; принужденный беседовать с ними, я должен был бы прилагать все силы, чтобы за разговорами решать дела; во всем же прочем мне было бы выгодно уступать им, дабы снискать их расположение; не думайте, что эти уловки проходят даром и не влияют на суждения того, кто вменяет их себе в обязанность. В конце концов я убедил бы себя, что во многих отношениях разделяю их мнения, хотя бы ради того, чтобы оправдать в собственных глазах свое малодушие, заставляющее меня соглашаться с ними. Мнения, которые вы не смеете оспорить, какими бы превратными они вам ни казались, в конце концов изменяют ваши взгляды: когда учтивость доводит нас до того, что мы слепо принимаем на веру все, что нам говорят, мы предаем самих себя: чрезмерная учтивость туманит взор наблюдателя, каковой должен представлять нам вещи и людей не такими, какими нам хотелось бы их видеть, но такими, какими мы их видим на самом деле.

Кроме того, несмотря на всю мою независимость в суждениях, которой я так горжусь, мне часто приходится в целях личной безопасности льстить самолюбию этой обидчивой нации, ибо всякий полуварварский народ недоверчив и жесток. Не думайте, что мои соображения о России и русских удивляют тех иностранных дипломатов, у которых был досуг, желание и возможность узнать эту империю: можете быть уверены: они разделяют мои взгляды; но они не признаются в этом во всеулышание... Счастлив наблюдатель, чье положение таково, что никто не вправе упрекнуть его в злоупотреблении чужим доверием!

Однако я отдаю себе отчет в неудобствах моей свободы: дабы служить истине, мало видеть ее самому; надо открывать ее другим. Недостаток одиноких умов в том, что они слишком часто меняют мнения, ибо постоянно меняют угол зрения; ведь одиночество предаст ум человека во власть воображения, а воображение сообщает ему гибкость.

Но вы-то можете и даже должны воспользоваться моими явными противоречиями, дабы воссоздать точный облик людей и вещей сквозь мои изменчивые и сбивчивые описания. Скажите мне спасибо: немного есть писателей, которые находят в себе смелость переложить на плечи читателя часть своего бремени, но я предпочитаю заслужить упрек в непоследовательности, чем бессовестно хвастать незаслуженным достоинством. Когда наступает утро и разрушает выводы, к которым я пришел накануне вечером, я не боюсь в этом признаться: я проповедую искренность, и мой путевой дневник становится исповедью: люди пристрастные — воплощение порядка, педантичности, и это позволяет им избежать придирчивой критики; но те, кто, как я, смело говорят то, что чувствуют, не смущаясь тем, что раньше они говорили и чувствовали по-иному, должны быть готовы к расплате за свою непринужденность. Эта простодушная и суеверная любовь к точности должна льстить читателю, но бег времени делает подобную лесть опасной. Поэтому порой мне начинает казаться, что мир, в котором мы живем, не достоин доброго слова.

Итак, я сделаю то, чего не осмеливается сделать никто, — я все поставлю на карту во имя любви к истине, и в моем неосторожном рвении, принося жертву низвергнутому божеству, принимая аллегорию за действительность, я не снисху славы мученика и прослышу человеком ничтожным. Ведь в обществе, поощряющем ложь, прямодушие не в чести!.. В мире для каждой истины есть свой крест.

Я долго стоял на большом мосту через Неву, размышляя об этих и многих других материях: я хотел навсегда запомнить две совершенно различные картины, которыми мог наслаждаться, поворачивая голову, но не двигаясь с места.

На востоке темное небо, брезжащая во мраке земля; на западе светлое небо и тонущая во мгле земля: в противопоставлении двух этих ликов Петербурга был символический смысл, который я, как мне кажется, постиг: на западе — старый, на востоке — новый Петербург; так и есть, говорил я себе: старый город в ночи — это прошлое; новый, освещенный город — будущее... Наверно, я долго простоял так и стоял бы по сю пору, если бы не спешил вернуться в гостиницу, чтобы поделиться с вами, покуда не забыл, мечтательным восхищением, которое я испытал, глядя на меркнущие краски этой зыбкой картины. Совокупность вещей лучше осмыслять по памяти, но описывать некоторые подробности лучше по свежим следам.

Зрелище, которое я вам описал, наполняло меня благоговением, которое я боялся утратить. Было бы ошибкой полагать, будто все, что человек остро чувствует, существует на самом деле; дожив до моих лет, человек не может не знать: ничто так быстро не проходит, как сильные чувства, которые кажутся вечными.

Петербург, на мой взгляд, не так красив, как Венеция, но зато в нем больше удивительного. Это два колосса, воздвигнутые страхом: Венеция — произведение чистого страха: последние римляне предпочитают бегство смерти, и плодом страха этих исполинов античности становится одно из чудес современного мира; Петербург также плод страха, но не просто страха, а богобоязненности, ибо русская политика сумела возвести повиновение в закон. Русский народ слывет очень набожным, допустим: но что такое вера, которой запрещено учить? В русских церквях никогда не услышишь проповеди. Евангелие открыло бы славянам свободу.

Эта боязнь объяснить людям хотя бы отчасти то, во что они должны верить, для меня подозрительна; чем больше разум, наука сужают область веры, тем больше света проливает божественный источник на все сущее: чем меньше вещей принимается на веру, тем вера сильнее. Крестное знамение — не доказательство благочестия; поэтому мне кажется, что, несмотря на стояние на коленях и все внешние проявления набожности, в своих молитвах русские обращаются не столько к Богу, сколько к императору. Этому народу, боготворящему своих господ, потребен, как японцам, еще один властитель: духовный государь, указующий путь на небо. Мирской правитель слишком привязывает народ к земному. «Разбудите меня, когда речь пойдет о Боге», — говорил убаюканный императорской литургией иностранный посол в русской церкви.

Порой я готов разделить предрассудки этого народа. Энтузиазм заразителен, когда он всеобщий или кажется таковым; но в тяжелые минуты я вспоминаю о Сибири, этой необходимой пособнице московской цивилизации, и сразу вновь обретаю покой и независимость.

Политическая вера здесь крепче веры в Бога; единство православной Церкви — всего лишь видимость: секты, принужденные молчать и ловко замалчиваемые господствующей церковью, уходят в подполье; но невозможно вечно затыкать рот народу: рано или поздно он скажет свое слово: религия, политика — все возвысят голос, все захотят в конце концов объяснить. Ведь как только этот безмолвный народ заговорит, поднимется столько споров, что весь мир удивится и подумает, будто вернулись времена Вавилонского столпотворения: именно религиозные распри приведут однажды Россию к общественному перевороту.

Когда я оказываюсь вблизи императора и вижу его величавое достоинство, его красоту, я восхищаюсь этим чудом; человек на своем месте — всюду редкость, но на троне — это феникс. Я рад,

что мне довелось жить в эти дивные времена, ибо есть люди, которые любят хулить, я же люблю хвалить.

Однако я с пристальным вниманием изучаю предметы моего почтения; поэтому когда я приближаюсь к этому единственному на земле человеку, мне чудится, будто у него два лика, как у Януса, и что слова «гнет», «ссылка», «подавление» или заменяющее их слово «Сибирь» запечатлелись на том лице, который мне не виден.

Мысль эта преследует меня неотступно, даже когда я с ним говорю. Напрасно я пытаюсь думать лишь о своих словах, воображению моему невольно представляется путь из Варшавы в Гольшек, и одно только слово «Варшава» пробуждает во мне недоверие.

Знаете ли вы, что в этот час дороги Азии снова запружены ссыльными, отторгнутыми от родного очага, которые пешком идут искать смерти, как скот покидает пастбище и идет на бойню? Монарший гнев обрушился на них после так называемого польского заговора, заговора «молодых безумцев», которые стали бы героями, если бы он удался; впрочем, обреченность их попыток, мне кажется, лишь подчеркивает их нравственное величие. Сердце мое обливается кровью при мысли о ссыльных, об их семьях, об их родине!.. Что станет, когда притеснители выселят из этого уголка земли, где еще недавно процветало рыцарство, цвет старой Европы, самых благородных и отважных ее сынов, в Татарию? Тогда они кончат набивать свой политический ледник и насладутся победой сполна: Сибирь станет царством, а Польша — пустыней.

Можно ли произносить слово «либерализм» и не краснеть от стыда при мысли, что в Европе существует народ, который был независимым, а ныне не знает иной свободы, кроме свободы отступничества? Когда русские обращают против Запада оружие, которое они с успехом применяют против Азии, они забывают, что средства, способствующие прогрессу у калмыков, являются преступлением по отношению к народу, далеко ушедшему по пути цивилизации. Вы видите, как старательно я избегаю слова «тирания», хотя оно напрашивается: ведь оно дало бы оружие против меня людям, от которых все и без того страдают. Эти люди всегда готовы кричать о «подстрекательстве к бунту». На доводы они отвечают молчанием, этим доводом сильного; на возмущение — презрением, этим правом слабого, узурпированным сильным; зная их тактику, я не хочу вызывать у них улыбку... Но о чем мне тревожиться? Ведь полистав мою книгу, они не станут ее читать; они изымут ее из обращения и запретят всякое упоминание о ней; эта книга не будет существовать, они сделают вид, словно для них и у них она и не существовала; их правительство, подобно их Церкви, защищается, притворяясь немым; такая политика процветала доселе и будет процветать и впредь в стране, где расстояния, оторванность людей друг от друга, болота, леса и зимы заменяют тем, кто отдает приказания, совесть, а тем, кто эти приказания исполняет, — терпение.

Я не устаю повторять: революция в России будет тем ужаснее, что она свершится во имя религии: русская политика в конце концов растворила Церковь в Государстве, смешала небо и землю: человек, который смотрит на своего повелителя как на Бога, надеется попасть в рай единственно милостью императора.

Бунты на Волге продолжаются, причем эти ужасы приписывают провокациям польских эмиссаров: такое обвинение вызывает в памяти суд Лафонтенова волка. Все жестокости, все беззакония, творимые той и другой стороной, — предвестие развязки, и видя их, можно представить себе, какова она будет. Но в народе, который так угнетают, страсти долго кипят, прежде чем происходит взрыв; опасность час от часу приближается, зло не отступает, кризис запаздывает; быть может, даже наши внуки не увидят взрыва, но мы уже сегодня можем предсказать, что он неизбежен, хотя и не знаем, когда именно он произойдет.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО ПИСЬМА

Петербург, 3 августа 1839 года

Мне не судьба уехать отсюда, Господь против меня!.. Новая отсрочка, на сей раз вполне оправданная, я тут ни при чем... Я уже собирался сесть в карету, но тут мне доложили, что меня спрашивает один из моих друзей. Он входит. Он требует, чтобы я немедленно прочел письмо. Какое письмо, Боже правый!.. Оно написано княгиней Трубецкой и обращено к кому-то из ее родных; она просит этого человека показать письмо государю императору. Я хотел переписать его, дабы обнародовать, не изменив в нем ни единого слова, но мне не позволили этого сделать.

— Такое письмо, если его опубликовать, обойдет весь свет, — говорил мой друг, потрясенный впечатлением, которое оно на меня произвело.

— Тем больше оснований сделать его достоянием гласности, — ответил я.

— Это невозможно. Ведь от него зависит жизнь нескольких особ, мне дали его только затем, чтобы я вам показал, под честное слово и с условием, что через полчаса я его верну.

Несчастливая страна, где всякий иноземец кажется толпе угнетенных спасителем и олицетворяет правду, гласность, свободу в глазах народа, лишенного всех этих благ!

Прежде чем рассказать вам, что написано в этом письме, я должен поведать в нескольких словах одну печальную историю. Главные ее события вам известны, но смутно, как все, что известно об этой далекой стране, которая вызывает лишь холодное любопытство: эта смутность делает вас жестоким и безразличным — таким был и я до своего приезда в Россию; читайте же и краснейте, да, краснейте, ибо тот, кто не восстает всеми силами против политики страны, где творятся подобные несправедливости и где смеют ут-

верждать, что они необходимы, является до некоторой степени их соучастником и несет за них ответственность.

Под предлогом внезапного недомогания я приказываю фельдъегерю отправить лошадей обратно и сказать на почте, что поеду завтра; спровадив этого шпиона, всюду сующего свой нос, я сажусь за письмо к вам.

Князь Трубецкой был приговорен к каторжным работам четырнадцать лет тому назад за то, что принимал весьма активное участие в восстании 14 декабря.

Речь шла о том, чтобы обмануть солдат и убедить их в том, что Николай I незаконно взошел на престол. Главы заговорщиков надеялись воспользоваться суматохой, чтобы совершить военный переворот; к счастью или к несчастью для России, в ту пору одни они чувствовали необходимость смены государственного строя. Сторонников реформ было слишком мало, чтобы вызванные ими волнения могли привести к желаемым результатам: это были беспорядки ради беспорядков.

Заговор провалился благодаря присутствию духа у императора *, вернее, благодаря неустрашимости его взгляда; решимость, которую этот государь выказал в день своего вступления на престол, предупредила его могущество.

После подавления мятежа требовалось покарать виновных. Князь Трубецкой, один из самых деятельных участников заговора, был осужден и отправлен в уральские рудники на 14 или 15 лет, а затем сослан на вечное поселение в Сибирь в одну из отдаленных губерний, которые заселяются преступниками.

У князя была жена, принадлежащая к одному из самых родовитых семейств России; никто не мог отговорить княгиню ехать вслед за мужем на верную смерть. «Это мой долг, — говорила она, — и я его исполню; не в человеческой власти разлучить мужа и жену; я хочу разделить судьбу моего мужа». Эта благородная женщина добилась милостивого позволения заживо похоронить себя вместе с мужем. Как ни удивительно это для всякого, кто, как я, увидел Россию и прозрел дух, который царит в этом государстве, остаток стыда заставил власть уважить эту самоотверженную просьбу. Понятно, почему патриотические подвиги в чести у начальства — оно использует их в своих целях; но терпеть высшую добродетель, которая идет вразрез с политическими взглядами государя, — непростительная забывчивость. Вероятно, боялись друзей Трубецких: аристократия при всей своей мягкотелости всегда сохраняет тень независимости, и этой тени довольно, чтобы смутить деспотизм. Ужасное русское общество изобилует контрастами: многие люди говорят между собой так свободно, словно они живут во Франции: эта тайная свобода — их утеха, с ее помощью они вознаграждают

* См. беседу с императором в письме тринадцатом.

себя за явное рабство, которое составляет позор и несчастье их отечества.

Итак, страх восстановить против себя влиятельные семьи заставил власти уступить своего рода осторожности и милосердию: княгиня поехала вслед за мужем-каторжником; поразительнее всего то, что она добралась до места. Невероятно долгая дорога сама по себе была ужасным испытанием. Вы знаете, что на каторгу едут на телеге — маленькой открытой повозке без рессор; от сотен, тысяч миль, преодоленных таким образом, повозка ломается, а у ездока ломит все тело. Несчастливая женщина стойко перенесла все тяготы пути, а затем множество других тягот: я представляю себе, сколько лишений и страданий она испытала, но не могу вам их описать, ибо не знаю подробностей и не хочу ничего выдумывать: правда в этом рассказе для меня священна.

Подвиг княгини покажется вам еще более героическим, когда вы узнаете, что до того, как разразилось несчастье, супруги относились друг к другу довольно холодно. Но не может ли страстная самоотверженность заменить любовь? И не есть ли эта самоотверженность сама любовь? У любви много источников, и самопожертвование — богатейший из них.

В Петербурге у Трубецких не было детей; в Сибири их родилось пятеро!

Преданность жены возвеличила этого человека и окружила в глазах всех, кто был близок к нему, ореолом святости. Кто не проникся бы почтением к предмету столь возвышенной привязанности!

Как бы ни было велико преступление князя Трубецкого, прощение, в котором император, вероятно, будет отказывать ему до самого конца, ибо он полагает своим долгом перед народом и перед самим собой безжалостную суровость, давно уже даровано виновному царем царей; беспримерные добродетели княгини могут смирить Божий гнев, но не смогли смягчить человеческий суд. Ибо Господь поистине всемогущ, меж тем как российский император лишь мнит себя таковым.

Будь он воистину великим человеком, он давно бы простил князя Трубецкого; но вменив себе в обязанность играть заранее отведенную роль, он чужд милосердия, ибо оно не только противоречит его природному характеру, но еще и кажется ему слабостью, недостойной его сана; привыкнув измерять свою силу страхом, который он внушает, он считает жалость нарушением кодекса политической морали.

Что же до меня, то я сужу о власти человека над другими людьми лишь по тому, как он властвует собой, и думаю, что могущество его укрепилось бы лишь в том случае, если бы он был способен прощать; Николай I смеет лишь карать. Дело в том, что Николай I, знающий толк в лести, ибо ему всю жизнь льстят

шестьдесят миллионов подданных, наперебой убеждая его, что он выше всех людей, почитает своим долгом вернуть поклоняющейся ему толпе несколько крупиц ладана, и этот отравленный ладан вселяет в нее жестокость. Прощение было бы опасным уроком для столь черствого в глубине души народа, как русский. Правитель опускается до уровня своих дикарей подданных; он так же бессердечен, как они, он смело превращает их в скотов, чтобы привязать к себе: народ и властитель состязаются в обмане, предрассудках и бесчеловечности. Отвратительное сочетание варварства и малодушия, обоюдная жестокость, взаимная ложь — все это составляет жизнь чудовища, гниющего тела, в чьих жилах течет не кровь, а яд: вот неизбежная сущность деспотизма!..

Супруги четырнадцать лет жили, так сказать, рядом с уральскими рудниками, ибо княжеские руки плохо приспособлены для работы заступом; он там, потому что он должен быть там... вот и все; но он каторжник, этого довольно... Дальше вы увидите, что означает этот удел для человека... и для его детей!!!

В Петербурге нет недостатка в благонамеренных людях, и я встречал таковых; они считают, что жизнь в рудниках вполне сносная, и жалуются на то, что «нынешние краснобай» преувеличивают страдания заговорщиков на каторге. Впрочем, они признают, что запрещено посылать осужденным деньги. «Но зато родные получили разрешение посылать им съестные припасы и одежду: так что у них есть и платье и пища»... Съестные припасы!.. Что можно везти в этом климате за тридевять земель и что не испортится за время пути? Несмотря на все лишения, на все страдания осужденных, истинные патриоты безоговорочно одобряют политическую каторгу русского изобретения. Этим ласкателям палачей кара все еще кажется слишком мягкой для такого тяжкого преступления.

18 фруктидора французские республиканцы использовали то же средство: одного из пяти членов Директории, Бартеlemi, сослали в Кайенну, вместе со значительным числом людей, обвиненных и уличенных в том, что они без особого восторга встретили филантропические идеи партии большинства; но этих несчастных хотя бы не унижали, с ними обращались как с побежденными врагами, но не лишали их гражданских прав. Республика отправляла их умирать в края, где воздух тлетворен для европейцев, но, губя их, чтобы от них избавиться, она не превращала их в парий общества. Что бы ни говорили о прелестях Сибири, пребывание на уральских рудниках подточило здоровье княгини Трубецкой: трудно понять, как женщина, привыкшая к благодатным краям, к роскоши большого света, смогла так долго выносить всевозможные лишения, на которые добровольно себя обрекла. Она хотела жить — и жила: она зачала, родила, вырастила детей в местах, где долгая холодная зима, кажется, убивает всякую жизнь. Температура опускается каждый год до тридцати шести — сорока градусов мороза: одной этой

стужи довольно, чтобы истребить род человеческий... Но этой подвижнице не до погоды — ей хватает других забот.

После семи лет ссылки, увидев, что дети подрастают, она сочла своим долгом написать родным в надежде вымолить у государя императора позволение отправить детей в Петербург или какой-нибудь другой большой город, дабы они могли получить подобающее воспитание.

Прошение было подано государю, и достойный преемник Ивана IV и Петра I ответил, что дети каторжников тоже каторжники и не нуждаются в образовании.

Получив этот ответ, родные, мать, осужденный хранили молчание еще семь лет. Лишь погранные человеколюбие, честь, христианское милосердие, вера пытались вступить за них, но совсем тихо; никто не возвысил голос, чтобы восстать против подобной «справедливости».

Однако нынче их бедственное положение стало еще тяжелее, и это исторгло последний крик из глубин бездонной пропасти.

Князь отбыл свой срок на каторге, и теперь ссыльные, по слухам, должны образовать вместе со своими семьями колонию в одном из наиболее отдаленных уголков пустыни. Место их нового поселения, нарочно выбранное самим государем императором, столь глухое, что оно даже не обозначено на картах русского генерального штаба, самых точных и подробных картах, какие только существуют на свете.

Как вы понимаете, участь княгини (я говорю лишь о ней) с тех пор, как ей дозволили жить в этой глуши (заметьте, что на этом языке угнетенных, толкуемом угнетателем, дозволения нельзя не исполнить), стала еще плачевнее; в рудниках она обогревалась под землей; там по крайней мере эта мать семейства имела товарищей по несчастью, немых утешителей, свидетелей своего героизма: она встречала взгляды людей, которые видели и почтительно оплакивали ее бесславное мученичество — это обстоятельство делало его еще более возвышенным. Там находились сердца, которые в ее присутствии начинали биться сильнее; наконец, даже не имея нужды разговаривать, она не чувствовала себя одинокой, ибо сколь бы ни были жестоки правители, везде, где есть люди, есть и сострадание.

Но как разжалобить медведей, пройти сквозь дремучие леса, растопить вечные льды, одолеть топкие вересковые заросли на бесконечных болотах, защититься от лютой стужи в лачуге? Наконец, как жить с мужем и пятью детьми в сотне или больше миль от ближайшего человеческого жилья, не считая домика надзирателя, обязанного следить за поселенцами? Ведь именно это называется в Сибири колонией!..

Меня восхищает не только смирение княгини, но и ее умение найти в своем сердце красноречивые, нежные слова, которые

помогли ей побороть сопротивление мужа и убедить его, что она будет менее несчастна, оставаясь в Сибири рядом с ним, чем живя в Петербурге и утопая в роскоши, но без него. Когда я думаю о ее жертве и таланте убеждения, заставившем князя эту жертву принять, я немею от восхищения; самоотвержение восторжествовало и увенчалось успехом, потому что было исполнено такой любви, какая кажется мне чудом сострадания, силы и чувства; умение жертвовать собой — редкий и благородный дар; умение заставить другого человека принять такую жертву — подвиг...

Ныне эти отец и мать, лишенные всякой поддержки, удрученные столькими горестями, сломленные несбывшимися надеждами и тревогой за будущее, затерянные в глуши, уязвленные в своей гордости, ибо их несчастье скрыто от всех взоров, наказанные в детях, чья невинность лишь усугубляет терзания родителей, ныне эти мученики бесчеловечной политики уже не знают, как им жить дальше и как растить детей. Дети их — каторжники от рождения, парии императорской России с номерами вместо имен, без роду без племени — все же имеют от природы тело, которое надо кормить и одевать: может ли мать, при всей своей гордости, при всех своих высоких помыслах, смотреть, как гибнет плод ее чрева и не молить о пощаде? Нет, и вот она униженно просит, но на сей раз не из христианской добродетели; в минуты отчаяния материнские чувства берут верх над супружескими; Господа можно молить лишь о вечном спасении, она же молит человека о хлебе насущном... да простит ей Бог!.. Она видит, что дети ее больны, и не в силах помочь им, у нее нет никакой возможности облегчить их страдания, вылечить их, спасти им жизнь... В рудниках все-таки был врач; в новом изгнании у них нет никого и ничего. В крайней нужде она думает лишь о горестной судьбе своих детей; отец, чье сердце потрясено столькими несчастьями, не вмешивается в ее действия; одним словом, прощая (ведь просить пощады — значит простить)... с героическим великодушием прощая первый жестокий отказ, княгиня пишет из своего захолустья второе письмо; она посылает это письмо родным, но обращается в нем к императору. Это значило пасть в ноги своему врагу, это значило отступить от своих правил; но кто посмел бы бросить камень в несчастную мать?.. Бог призывает своих избранных приносить всяческие жертвы, призывает их поступиться даже законной гордостью; Господь милостив, и доброта его беспредельна... О, человек, который представляет себе жизнь без вечности, увидел бы лишь приглядную сторону вещей! Он жил бы иллюзиями — этого ждали и от меня во время моего путешествия по России.

Письмо княгини дошло по назначению, император прочел его; это письмо меня и задержало; но я не жалею о том, что отложил отъезд, я никогда не читал ничего более простого и трогательного; такие поступки говорят сами за себя; героизм княгини дает ей право

не тратить много слов и быть краткой, даже тогда, когда речь идет о жизни ее детей... Свое положение она обрисовывает в нескольких строках, без громких фраз и слезных жалоб. Она выше словесных ухищрений, за нее говорят события; в заключение она молит о единственной милости: о позволении жить там, где есть хоть какая-то медицинская помощь, чтобы облегчить страдания детей, когда они болеют... Окрестности Тобольска, Иркутска или Оренбурга показались бы ей раем. В конце письма она уже не обращается к государю, она забывает обо всем, кроме своего мужа, она с нежностью и достоинством, которые одни могут искупить самое ужасное злодеяние, — но ведь она ни в чем не виновата, а государь, к которому она обращается, всемогущ и один Бог ему судья!.. — так вот, в заключение она с нежностью и достоинством высказывает свою заветную мысль: я очень несчастна, говорит она, и все же, если бы мне суждено было начать все сначала, я поступила бы так же.

Среди родных этой женщины нашелся человек, у которого достало смелости (тот, кто знает Россию, не может не оценить это проявление христианского милосердия) передать это письмо государю и даже смиренно молить об удовлетворении просьбы опальной родственницы. В присутствии российского императора о ней говорят с ужасом, как о преступнице, меж тем как в любой другой стране гордились бы родством с этой благородной жертвой супружеского долга. Что я говорю? Это гораздо больше, чем долг жены, это энтузиазм ангела.

Но героизм не в счет, и приходится с трепетом просить о снисхождении к добродетели, которой открыты небесные врата; в то время как все мужья, все сыновья, все жены, весь род человеческий должен был бы воздвигнуть памятник этой идеальной супруге, пасть к ее ногам и петь ей хвалы, причислить ее к лику святых, при императоре бояться произносить ее имя!.. Зачем же существует государь, если не для того, чтобы вознаграждать за добрые дела? Что до меня, то когда бы она вернулась в свет, я поспешил бы ее увидеть, и если бы не мог подойти и поговорить с ней, то удовольствовался бы тем, что пожалел бы ее, позавидовал ей и пошел за ней, как идет под священным знаменем.

Но нет, в течение четырнадцати лет подвергая несчастную жертву гонениям, он так и не утолил свою жажду мести... Ах, дайте мне излить мое негодование: стесняться в выражениях, рассказывая о подобных событиях, значило бы предавать святое дело! Пусть русские не согласятся со мной, если посмеют: я предпочитаю, чтобы меня обвиняли в непочтении к деспотизму, чем в неуважении к чужому горю. Подданные императора раздавят меня, если смогут, зато Европа узнает, что человек, которого шестьдесят миллионов подданных без устали уверяют в его всемогуществе, унижается до мести!.. Да, такая расправа называется не иначе как мстью! Итак, через четырнадцать лет у Николая I не нашлось для этой женщины,

стойко перенесшей столько невзгод, других слов, кроме тех, которые вы сейчас прочтете и которые я услышал от особы, знающей их из первых рук: «Удивляюсь, что меня снова беспокоят... (второй раз за пятнадцать лет!) из-за семьи, глава которой участвовал в заговоре против меня». Вы можете не верить, что государь ответил именно так, я хотел бы и сам усомниться в этом, но у меня есть доказательства, свидетельствующие: это правда. Особа, которая пересказала мне его ответ, заслуживает полного доверия; вдобавок, события говорят сами за себя: письмо нимало не изменило участи ссыльных.

И Россия еще гордится отменой смертной казни *! Умерьте

* Для чего служат установления в стране, где правительство не подчиняется никаким законам, где народ бесправен и правосудие ему показывают лишь издали, как достопримечательность, которая существует при условии, что никто ее не трогает: так собаке показывают лакомый кусок и бьют, когда она хочет к нему приблизиться. Кажется, будто спишь и видишь сон, когда, зная о существовании столь жестокого произвола, читаешь в брошюре Якова Толстого «Взгляд на российское законодательство», включающей беглый обзор правления в этой стране, смехотворные слова: «Именно она (императрица Елизавета) издала указ об отмене смертной казни; Елизавета решила этот трудный вопрос, который тщетно изучали, опровергали и обсуждали со всех сторон самые просвещенные публицисты, криминалисты и праведы почти сто лет тому назад в стране, которую не перестают называть землей варваров». Автор произносит свое похвальное слово совершенно непринужденно, и этот гимн дает нам представление о том, как русские понимают цивилизацию. На самом деле до сих пор Россия осуществляла прогресс в области политики и законности только на словах; судя по тому, как соблюдаются в этой стране законы, их можно безобязательно смягчить. Таким же образом благодаря противоположной системе их ужесточали в Западной Европе в средние века — и тоже без толку! Надо бы сказать русским: для начала издайте указ, позволяющий жить, а потом уже будете мудрить с уголовным правом.

В 1836 году какой-то молодой человек соблазнил сестру некоего господина Павлова и отказался на ней жениться, несмотря на предупреждение брата. Узнав, что соблазнитель собирается взять в жены другую барышню, господин Павлов пришел к его дому и, когда свадебный кортеж возвратился из церкви, заколол обидчика. Назавтра Павлов был разжалован и выслан; однако узнав все обстоятельства дела, император отменил свой первоначальный приговор!.. Через день убийца был оправдан.

Когда слушалось дело Алибо, один русский, отнюдь не крестьянин, а племянник одного из самых мудрых и влиятельных людей в России, возмущался французским правительством: «Что за страна! — восклицал он. — Судить такое чудовище!.. Почему его не казнили на следующий же день после покушения!»

Вот каково представление русских о почтении, с которым следует относиться к государю и к правосудию.

Маленькая брошюра Якова Толстого — не что иное, как гимн в прозе деспотизму, который он без конца то ли преднамеренно, то ли по простоте душевной путает с конституционной монархией; это произведение ценно признаниями, которые облечены в нем в форму похвал: впрочем, оно выдержано в официальном тоне, как все, что публикуют русские, не желающие навлечь на себя неприятности в своем отечестве. Вот несколько примеров невинного ласкательства, которое в другой стране сочли бы оскорблением; но здесь процветает неприкрытая лесть. Автор превозносит Николая I за реформы в российском законодательстве. Благодаря этим усовершенствованиям, говорит он, «впредь ни одного дворянина не имеют права заковать в кандалы, каков бы ни был приговор». Эта заслуга законодателя при сопоставлении с деяниями императора и в особенности с событиями, о которых вы только что прочитали, показывает, в какой мере можно доверять законам этой страны и тем людям, которые

ваше рвение, отмените хотя бы ложь, которая царит во всем, искажает и отравляет все у вас — и вы тем самым сделаете довольно для блага человечества.

Родные ссыльных, семья Трубецких, родовитая знать, живут в Петербурге и бывают при дворе!!! Вот дух, достоинство, независимость русской аристократии. В этой империи насилия страх оправдывает все!.. более того, он всегда в почете. Страх, пышно именуемый осторожностью и умеренностью, — единственная заслуга, которая никогда не остается незамеченной.

Здесь находятся люди, которые обвиняют княгиню Трубецкую в глупости: «Разве она не может одна вернуться в Петербург!» — восклицают они. Мелкая низость, подлая трусливая месть! Бегите страны, где закон запрещает убивать, но зато разрешает сживать со свету целые семьи во имя политического фанатизма, который служит для того, чтобы оправдывать любую жестокость.

Сомнений больше нет; все решено: я вынес наконец суждение о Николае I... Это человек с твердым характером и непреклонной волей, — без этих качеств невозможно стать тюремщиком третьей части земного шара; но ему не хватает великодушия: его злоупотребления властью слишком убедительно мне это доказывают. Да простит ему Бог; к счастью, я больше его не увижу! Я высказал бы ему все, что думаю об этой истории, а это было бы чрезвычайной дерзостью... Впрочем, своей неуместной отвагой я еще больше отягчил бы положение несчастных, в чью защиту самочинно выступил бы, и погубил бы себя*.

Какое сердце не обольется кровью при мысли о добровольной пытке бедной матери? Боже мой! Если ты уготовил самой возвышенной добродетели такую участь на земле, то открой ей путь на небо, распахни райские врата до срока!.. Можно ли вообразить себе, что испытывает эта женщина, глядя на своих детей и вместе с мужем

гордятся то их мягкостью, то их действительностью. В другом месте тот же самый придворный... простите! писатель — продолжает петь хвалы тому, что он принимает за конституцию своей несчастной страны, и превозносит это государственное устройство в следующих выражениях: «В России закон, который исходит непосредственно от государя, приобретает больше силы, нежели те, которые приняты сенатом, по той причине, что народ с *благоговением* относится ко всему, что коренится в царской власти, ибо император — *прирожденный глава духовенства в этой стране*; и народ, которого еще не коснулись *богоубийственные* учения, считает священным все, что происходит из этого источника».

Уверенность, с какой высказана эта лесть, делает всякие замечания излишними, никакая сатира не могла бы нанести более верный удар, чем такая похвала. Точка зрения, избранная писателем, человеком светским, остроумным, толковым, больше говорит о законности в стране, вернее, о путанице в религиозных, политических и правовых вопросах, которую называют в России общественным порядком, о жизни, духе, мнениях и нравах русских, чем все, что я мог бы вам изложить в нескольких томах моих размышлений.

* Издавая мои путевые заметки, я этого не боюсь, ибо, откровенно высказывая свое мнение обо всем, что вижу, не могу вызвать подозрения в том, что говорю по чьему-либо наущению.

пытаюсь восполнить им недостающее образование? Образование!.. Для нумерованного скота это настоящий яд! И однако, будучи светскими людьми, получившими такое же воспитание, как мы, могут ли отец и мать покориться и преподать своим детям лишь то, что тем следует знать, дабы быть счастливыми в сибирской колонии? Могут ли они отречься от всех своих воспоминаний, всех своих привычек, чтобы скрыть от ни в чем не повинных жертв супружеской любви их горестное положение? Не внушит ли врожденное благородство этим юным дикарям желаний, которым не суждено осуществиться? Какая опасность, какие терзания для них и какая смертная мука для их матери! Эта нравственная пытка, вкупе со столькими физическими страданиями, кажется мне страшным сном, от которого я никак не могу очнуться; со вчерашнего утра этот кошмар неотступно преследует меня; я каждую минуту думаю: что делает сейчас княгиня Трубецкая? Что говорит она своим детям? Какими глазами смотрит на них? Чего просит она у Бога для этих созданий, проклятых еще до рождения тем, кто является для России наместником Бога на земле? Ах, эта пытка, которая обрушивается на невинное потомство, позорит весь народ!

В заключение я приведу цитату из Данте, она здесь весьма к месту. Заучивая эти стихи наизусть, я и не подозревал, что однажды они прозвучат для меня зловецким намеком:

О Пиза, стыд псалительного края,
Где раздается si! Коль медлит суд
Твоих соседей, — пусть, тебя карая,

Капрара и Горгона с мест сойдут
И устье Арно заградят заставой,
Чтоб утонул весь твой бесчестный люд!

Как ни был бы ославлен темной славой
Граф Уголино, замки уступив, —
За что детей вести на крест неправый!

Невинны были, о исчадь Фив,
И Угуччоне с молодым Бригатай,
И те, кого я назвал, в песнь вложив.

Я продолжу путешествие, но не поеду в Бородино, не буду присутствовать при торжественном въезде императорского двора в Кремль, не стану вам больше рассказывать о Николае I: что я могу сказать о государе, которого вы знаете теперь так же хорошо, как и я? Чтобы получить представление о положении людей и вещей в этой стране, подумайте о том, что там случается множество историй, подобных той, которую вы только что прочли, просто о них никто не знает и никогда не узнает; мне повезло: стечение обстоятельств, в котором мне видится перст судьбы, открыло мне

события и подробности, о которых совесть не позволяет умолчать*.

Я соберу все письма, которые написал для вас со времени приезда в Россию и которые не отправлял из осторожности; я прибавлю к ним это письмо и надежно запечатаю всю пачку, после чего отдам ее в верные руки, что не так-то легко сделать в Петербурге. Потом я напишу вам другое, официальное письмо и отправлю его с завтрашней почтой; все люди, все установления, которые я здесь вижу, будут превознесены в нем сверх всякой меры. Вы прочтете в этом письме, как безгранично я восхищен всем, что есть в этой стране и что в ней происходит... Забавнее всего то, что я уверен: и русская полиция, и вы сами поверите моим притворным восторгам и безоглядным и неумеренным похвалам**.

Если обо мне не будет ни слуху ни духу, значит, меня сослали в Сибирь: только это вынужденное путешествие может помешать путешествию в Москву, которое я не стану больше откладывать; фельдъегерь уже доложил мне, что завтра утром почтовые лошади будут ждать меня у подъезда.

* Когда первое издание этой книги вышло в свет, одна особа, служившая во французском посольстве в то время, когда умер Александр I, рассказала мне историю, произошедшую у нее на глазах:

После мятежа, сопровождавшего его восшествие на престол, Николай I приговорил к смерти пятерых зачинщиков заговора; их должны были повесить в два часа пополудни у крепостной стены, на краю рва глубиной двадцать пять футов. Смертников поставили под виселицей на скамью высотой в несколько футов. Когда все приготовления были закончены, руководивший казнью граф Чернышов, нынешний военный министр, дал условный сигнал; под барабанную дробь скамью выбивают из-под ног преступников: вдруг три веревки рвутся, две жертвы падают на дно рва, третья остается на краю... Те, кому довелось присутствовать при этой мрачной сцене, приходят в волнение, сердца их сильно колотятся от счастья и признательности, ибо они думают, что император избрал это средство, дабы примирить устремления человеколюбия с интересами политики. Но граф Чернышов приказывает продолжать барабанный бой, заплечных дел мастера спускаются в ров, извлекают оттуда двух несчастных, из которых один переломал ноги, а другой раздробил челюсть: палачи снова подводят приговоренных к виселице, снова накидывают им веревку на шею, тем временем третий осужденный, который остался невредимым и которому также надевают петлю на шею, собирается с силами и с героической яростью кричит, заглушая барабанный бой: «Несчастливая страна, где и повесить-то не умеют!» Он был душою заговора; его звали Пестель.

Сила побежденного и варварство победителя — вот вам вся Россия!

** Я справедливо полагаю, что эти обстоятельные лстивые речи, будучи перехвачены на границе, позволят мне спокойно продолжать путешествие.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ

Дорога из Петербурга в Москву.— Быстрая езда.— Чем вымощен тракт.— Паранеты мостов.— Упавшая лошадь.— Слова моего фельдъегеря.— Портрет этого человека.— Побитый ящик.— Императорский поезд.— Угнетение русских.— Чего стоит народам честолюбие.— Самое надежное средство править страной.— Для чего должна служить неограниченная власть?— Слова Евангелия.— Несчастье славян.— К чему Господь предназначает человека.— Встреча с русским путешественником.— Его предсказание о судьбе моей коляски.— Пророчество сбывается.— Русский ящик.— Сходство русского народа с испанскими цыганами.— Деревенские женщины.— Их головной убор, платье, обувь.— Жизнь крестьян не такая тяжелая, как у остальных русских.— Благотворность землепашества.— Здешние края.— Хилый скот.— Вопрос.— Почтовая станция.— Ее убранство.— Расстояние в России.— Унылый пейзаж.— Сельские жилища.— Валдайские горы: превеличения русских.— Головной убор крестьян; павильны перья.— Плетеные башмаки.— Редкость женщин.— Их наряд.— Встреча с русскими дамами.— Их дорожное платье.— Маленькие русские городки.— Озеро; монастырь на романтическом острове.— Голые леса.— Унылые равнины.— Торжок.— Расшитая кожа, сафьян.— История куриных котлет.— Облик города.— Его окрестности.— Двойная дорога.— Стада коров.— Повозки.— Запруженная дорога.

Померания, почтовая станция
в восемнадцати лье от Петербурга, 3 августа 1839 года

Ехать на почтовых из Петербурга в Москву значит целыми днями испытывать чувство, какое испытываешь, скатываясь с «Русских гор» в Париже. Стоит привезти в Петербург английскую коляску хотя бы ради удовольствия прокатиться на настоящих мягких рессорах (рессоры в русских колясках — одно название) по этой знаменитой дороге, которую русские да, я думаю, и иностранцы называют лучшим трактом в Европе. Надо признать, что он содержится в порядке, но вымощен такой твердой породой, что даже щебень образует шероховатости и расшатывает болты, так что один или два болта непременно выпадают, куда едешь от одной почтовой станции до другой; поэтому на станции вы поневоле теряете все то время, которое выиграли в пути, когда мчались с головокружительной быстротой, поднимая пыль столбом. Англий-

ская коляска очень удобна поначалу, но со временем начинаешь испытывать потребность в русском экипаже, лучше приспособленном к быстрой езде, которую любят ямщики, и твердой дороге. У мостов красивые решетчатые парапеты, украшенные императорским гербом, их поддерживают квадратные гранитные столбы; все это проносится перед глазами ошеломленного путника, мелькает, словно бредовые видения больного.

Этот тракт более широк, чем английские дороги, он такой же гладкий, хотя и не такой мягкий, а лошади маленькие, но жилистые.

Мнения, повадка, облик моего фельдъегеря все время напоминают мне о духе, который царит в его стране. После второго перегона одна из четырех наших лошадей зашаталась и упала прямо под колеса. По счастью, кучер, уверенный в остальных трех, резко остановил коляску; несмотря на то, что лето на исходе, в середине дня еще стоит палящий зной; все живое изнемогает от пыли и духоты. Я решил, что у лошади солнечный удар, и, если ей тотчас же не пустить кровь, она умрет; я кликнул фельдъегеря и, достав из дорожной сумки ветеринарный ланцет, подал ему, призывая скорее им воспользоваться, чтобы спасти несчастное животное. Он, не беря в руки инструмент, который я ему протягивал, и не глядя на лошадь, с насмешливой невозмутимостью ответил мне: «В этом нет нужды, мы уже подъехали к станции».

И вместо того, чтобы помочь бедному ямщику распрячь лошадь, он пошел в соседнюю конюшню и велел заложить нам свежую четверню.

Русским далеко до принятия закона, защищающего животных от дурного обращения людей, какой существует у англичан; у русских в защите нуждаются прежде всего люди, а не собаки и не лошади, как в Лондоне. Мой фельдъегерь просто не поверил бы в существование такого закона.

Этот человек, ливонец по происхождению, на мое счастье, говорит по-немецки. Он носит маску казенной вежливости и ведет угодливые речи, но в мыслях его просвечивает много дерзости и упрямства. Он тщедушен, белобрыс, его можно было бы принять за подростка, если бы не суровое выражение лица и не лживый жестокий взгляд; у него серые, опушенные белесыми ресницами глаза, крутой, но низкий лоб, тускло-желтые густые брови, сухое лицо, белая кожа, задубевшая от мороза и ветра; говорит он, не разжимая губ. Зеленый, как у всех русских, опрятный, ладно скроенный мундир с застежкой спереди, перепоясанный кожаным ремнем, придает ему щеголеватый вид. У него легкая походка, но чрезвычайно медлительный ум.

Хотя он отлично вымуштрован, сразу видно, что он не русского происхождения: наполовину шведское наполовину тевтонское племя, которое заселяет южный берег Финского залива, сильно отличается от славян и финнов, которые преобладают в петербургской

губернии. Коренные русские изначально были достойнее, чем метисы, которые охраняют ныне подступы к этой северной стране.

Мой фельдъегерь не внушает мне доверия; официально он считается моим защитником, моим провожатым; но я вижу в нем переодетого шпиона и думаю, что он в любой момент может получить приказ стать моим сбиром или тюремщиком... Подобные мысли портят удовольствие от путешествия; но я вам уже сказал, что они приходят мне в голову только тогда, когда я берусь за перо: в пути я полностью поглощен быстрой ездой и мельканьем предметов.

Я вам сказал также, что русские состязаются между собой в учтивости и грубости; все раскланиваются друг с другом и все всласть друг друга колотят: вот еще один пример этой вежливости и дурного обращения. Ямщика, который привез меня на почтовую станцию, откуда я пишу вам это письмо, при отъезде наказали за какую-то провинность; ему было привычнее терпеть побои, чем мне видеть подобное обращение с человеком. Итак, ямщик, совсем еще мальчик, перед тем, как везти меня дальше, был жестоко избит своим товарищем, начальником конюшни. Тот изо всех сил колотил беднягу кулаками; я издали слышал, как гудит под ударами его грудь. Когда истязатель, этот поборник справедливости с почтовой станции, утомился, несчастный ямщик молча встал: запыхавшийся, дрожащий, он пригладил волосы, поклонился начальнику и, подбодренный полученной трепкой, легко вскочил на козлы, после чего наша тройка понеслась со скоростью четыре с половиной или пять лье в час. Император ездит со скоростью семь лье в час. Железнодорожный поезд с трудом поспел бы за его каретой. Сколько надо избить людей, сколько загнать лошадей, чтобы мчаться с такой удивительной быстротой, да еще все сто восемьдесят лье кряду!.. Говорят, столь быстрая езда в открытой коляске опасна для здоровья: мало у кого такая крепкая грудь, что ей не вредит постоянно рассекать воздух с такой силой. Благодаря своему могучему сложению император весьма выносив, но сын его, более хилый, уже чувствует, как эти физические упражнения подтачивают его здоровье. Если нрав его таков, как позволяют предположить его манеры, наружность и речи, то великий князь, верно, страдает в родной стране не только телом, но и душой. Тут на память приходят слова Шамфора: «В жизни человека неминуемо наступает пора, когда сердце должно либо закалиться, либо разбиться».

Русский народ, как мне кажется, народ одаренный, но способности его остаются без применения, ибо русские считают, что их удел — творить насилие; как все жители Востока, русские обладают врожденным чувством прекрасного, иными словами, природа наделила этих людей тягой к свободе, но вместо этого господа делают их орудием угнетения. Едва выбившись из грязи, человек тотчас получает право, более того, ему вменяется в обязанность помыкать

другими людьми и передавать им тумачи, которые сыплются на него сверху; он причиняет зло, дабы вознаградить себя за притеснения, которые терпит сам. Таким образом дух беззакония спускается вниз по общественной лестнице со ступеньки на ступеньку и до самых основ пронизывает это несчастное общество, которое зиждется единственно на принуждении, причем на принуждении, заставляющем раба лгать самому себе и благодарить тирана; и из такого произвола, составляющего жизнь каждого человека, рождается то, что здесь называют общественным порядком, то есть мрачный застой, пугающий покой, близкий к покою могильному; русские гордятся, что в их стране тишь да гладь. Раз человек не захотел ходить на четвереньках, надо же ему чем-нибудь гордиться, хотя бы ради того, чтобы сохранить свое право на титул человеческого создания... Если бы мне сумели доказать, что несправедливость и насилие нужны для важных политических целей, я заключил бы отсюда, что патриотизм вовсе не гражданская добродетель, как утверждали доселе, но преступление против человечества.

Русские оправдывают себя в собственных глазах тем, что образ правления в их стране благоприятен для их честолюбивых устремлений; но всякая цель, которая может быть достигнута только такими средствами, дурна. Это прелюбопытный народ; наблюдая, как разговаривают люди из низшего сословия, я, хотя и не понимаю слов, замечаю, что они не лишены ума, движения их обличают гибкость и проворство, лицо — чувствительность, меланхолию, приветливость, — все это свойства людей незаурядных, а их взяли да превратили в рабочую скотину. Неужели меня станут убеждать, что надо веками зарывать останки этого человеческого скота в землю, дабы удобрить почву, прежде чем на ней вырастут поколения, достойные той славы, которую Провидение обещает славянам? Провидение запрещает творить малое зло даже во имя самого большого блага.

Это не значит, что можно и должно править сегодня Россией так, как правят другими странами Европы; но я уверен, что можно было бы избежать многих бед, если бы человек, находящийся у кормила власти, подал пример смягчения нравов. Но чего ждать от народа льстецов, которому льстит его государь? Вместо того, чтобы поднять народ до себя, он сам опускается до его уровня.

Если учтивость, принятая при дворе, влияет на поведение людей из низших сословий, то разве пример милосердия, поданный всемогущим властителем, не пробудил бы любовь к ближнему у всех его подданных!

Относитесь с суровостью к тем, кто употребляет свою власть во зло, и со снисхождением к тем, кто страдает, и вскоре вы преобразите ваше стадо в нацию... без сомнения, это не так-то легко; но разве не для того вы поставлены и облечены властью здесь, на земле, чтобы исполнить то, что не в силах сделать другие? Наместник Бога

на земле может все, не может он лишь творить зло. Коль скоро он взял в свои руки такую власть, он должен быть так же справедлив, как Провидение.

Если неограниченная власть не более чем вымысел, который льстит самолюбию одного человека в ущерб достоинству целого народа, ее надо упразднить; если она существует на самом деле, но не приносит пользы, то это слишком дорогое удовольствие.

Вы хотите править всей землей, как то бывало встарь, путем завоевания; вы утверждаете, что с оружием в руках покорите все страны, какие захотите, и потом станете притеснять весь остальной мир. Вы мечтаете подчинить себе все и вся, это и безумно, и безнравственно; и если Бог это допустит, то на горе всему миру.

Я слишком хорошо знаю: земля не то место, где торжествует высшая справедливость. Тем не менее основной закон остается неизменным, зло всегда зло, независимо от его последствий: губит ли оно народ или возвеличивает, приносит ли человеку счастье или бесчестье, вес его на весах вечности неизменен. Провидение никогда не одобряло ни порочности какого-либо человека, ни преступлений какого-либо правительства. Но если дурные дела Богу не угодны, то ему всегда угодны их последствия, ибо божественная справедливость всегда приемлет плоды преступления, для него неприемлемого. Бог занимается воспитанием рода человеческого, а всякое воспитание — череда испытаний.

Завоевания Римской империи не пошатнули христианскую веру; гнет в России не помешает той же вере жить в сердцах праведников. Вера будет жить на земле, покуда существует необъяснимое и непостижимое.

В мире, где все тайна, начиная от величия и падения народов и до появления и исчезновения былинки, где микроскоп так же неопровержимо свидетельствует нам о всевластии Бога в природе, как телескоп — о его всевластии на небесах, а слава — в истории, вера укрепляется с каждым днем, ибо это единственный свет, который нужен существу, блуждающему в потемках и жаждущему уверенности, но самой природой обреченному на сомнение.

Если нам суждено пережить позор нового завоевания, торжество победителей будет, на мой взгляд, свидетельствовать лишь об одном: об ошибках побежденных.

В глазах мыслящего человека успех не доказывает ничего, кроме того, что жизнь человека не ограничивается его земным существованием. Оставим евреям их корыстную веру и вспомним слова Иисуса Христа: «Царство мое не от мира сего».

Слова эти, столь непривычные для человека из плоти и крови, в России приходится повторять на каждом шагу; при виде стольких неминуемых страданий, стольких неотвратимых жестокостей, стольких безутешных слез, стольких осознанных или неосознанных несправедливостей (несправедливость здесь просто носится в воз-

духе) — при виде всех этих несчастий, обрушивающихся не на одну семью, не на один город, но на целое племя, на целый народ, населяющий треть земного шара, душа в растерянности отворачивается от земли и восклицает: «Боже мой, воистину царство твое не от мира сего!»

Увы! Отчего слова мои бессильны? Отчего не могут они искупить преизбыток несчастий преизбытком жалости! Зрелище этого общества, все пружины которого оттянуты, как у готового к бою орудия, так страшно, что у меня голова идет кругом.

С тех пор, как я живу в этой стране и знаю, что представляет собой на самом деле человек, который ею правит, меня всего трясет, и я горжусь этим, ибо если в отравленном тиранией воздухе я задыхаюсь, если ложь вызывает мое негодование, значит, я родился для чего-то другого, потребности моей природы слишком благородны для обществ, подобных тому, какое я наблюдаю здесь, и я создан для лучшей доли. Господь не дал нам способностей, которые пропадают втуне. Божественный промысел указывает нам наше место в вечности; все зависит от нас — будем ли мы достойны славы, которую он нам готовит, и места, которое он нам предназначает, или нет. Все, что в нас есть лучшего, восходит к нему.

Знаете ли вы, почему осуждены читать все эти размышления? У меня поломалась коляска, и покуда ее чинят, я от нечего делать пишу вам все, что мне приходит в голову.

Два часа назад я встретил знакомого русского; он побывал в одном из своих имений и возвращался в Петербург. Мы на минуту остановились, чтобы обменяться несколькими словами; взглянув на мою коляску, мой знакомец начал смеяться и указал мне на круговую подушку, ось, скобы, чеку, оглобли и одну из упорных стоек рессоры.

— Видите все это? — спросил он меня. — Все эти части не доедут в целости и сохранности до Москвы. Иностранцы, которые упорно желают ездить по России в своих колясках, выезжают, как и вы, а возвращаются дилижансом.

— Даже если едут только до Москвы?

— Даже если едут только до Москвы.

— Русские говорили мне, что это лучшая дорога в Европе: я поверил им на слово.

— Не везде есть мосты, некоторые участки дороги нуждаются в починке; приходится то и дело сворачивать с тракта и проезжать по шатким мосткам, где доски настелены как попало, и при нерадивости наших ямщиков иностранные коляски в таких случаях всегда ломаются.

— У меня английская коляска, приспособленная к долгим путешествиям.

— Нигде не ездят так быстро, как у нас; когда лошади мчатся во весь опор, коляску болтает, как корабль в сильный шторм, то есть

начинаются килевая и бортовая качка разом; выдержать такую долгую тряску на гладкой, но твердой дороге могут, повторяю вам, только местные экипажи.

— Вы еще не изжили старый предрассудок и считаете, что тяжелые громоздкие коляски — самые прочные.

— Доброго пути! Напишите мне, если благополучно доберетесь в вашей коляске до Москвы.

Не успел я распротиться с этим горевестником, как круговая подушка сломалась. Случилось это недалеко от почтовой станции, где я и застрял. Обратите внимание, что я проехал всего восемнадцать лье из ста восьмидесяти... Придется мне впредь быть осмотрительнее и отказаться от быстрой езды; я стараюсь выучить, как сказать по-русски «тише», другие путешественники, наоборот, подгоняют ямщиков.

Русский ямщик, одетый в толстый суконный кафтан, а в теплые дни, как сегодня, в цветную домотканую рубаху, похожую на хитон, с первого взгляда кажется жителем Востока; в том, как он вскакивает на облучок, заметно азиатское проворство. Русские правят лошадьми только из повозки, разве что коляска очень тяжелая и запряжена шестеркой или восьмеркой лошадей, но даже в этом случае главный ямщик сидит на козлах. Этот ямщик, или кучер, держит в руках целую связку веревок: это восемь вожжей от четверки лошадей, запряженных в ряд. Изящество и легкость, быстрота и надежность, с какими он правит этой живописной упряжкой, живость малейших его движений, ловкость, с какой он соскакивает на землю, его гибкая талия, его стать, наконец, весь его облик вызывают в памяти самые грациозные от природы народы земли и в особенности испанских цыган. Русские — светловолосые цыгане.

Я уже встретил нескольких крестьянок, они не так безобразны, как те, которых я встречал на петербургских улицах. Они полноваты, но у них приветливые лица и румянец во всю щеку; в это время года они покрывают голову платком, завязывая его сзади узлом, а концы платка с присущей этому народу грацией спускают на спину. Иногда они надевают коротенький, обрезанный по колену редингот, перетянутый в талии поясом; спереди у него разрез, закругленные полы распахиваются и под ними видна юбка. Фасон этот не лишен изящества, но что портит здешних женщин, так это их обувь — кожаные сапоги на толстой подметке с закругленными носами. Внизу сапоги широкие, стоптаные, а голенища собраны в гармошку, так что совершенно не видно, стройные ли ноги у русских женщин; так и кажется, будто они надели обувь своих мужей.

Дома похожи на те, которые я описывал вам по пути из Шлиссельбурга, но не такие красивые. Села являют собой унылое зрелище, село — это всегда два более или менее длинных ряда деревянных домов, равномерно отстоящих друг от друга и расположенных вдоль тракта, но не у самой дороги, ибо деревенская

улица, посреди которой проходит колея, шире, чем проезжая часть. Каждый домишко, сложенный из грубо обтесанных бревен, повернут коньком к тракту. Все избы похожи одна на другую, но, несмотря на их тоскливое единообразие, мне показалось, что в деревнях царят достаток и даже зажиточность. Они не живописные, но все же это не то, что города, здесь владычествует покой, свойственный жизни на лоне природы, — это особенно отрадно после Петербурга. Деревенские жители не кажутся мне веселыми, но нельзя сказать, что вид у них несчастный, как у солдат или государственных чиновников; крестьяне меньше всех страдают от отсутствия свободы; они больше всех порабощены, но зато у них меньше тревог.

Землепашество способно примирить человека с общественным строем, каков бы он ни был; сельские работы прививают крестьянину терпение, он готов сносить все, что угодно, лишь бы его не лишали невинных деревенских радостей и не мешали ему заниматься делами, которые сообразуются с его природой.

Местность, по которой я ехал до сих пор, — болота да перелески, где, насколько хватает глаз, видны лишь карликовые березы да чахлые сосны, разбросанные по бесплодной равнине. Не видать ни тучных нив, ни дремучих щедрых лесов; взгляд встречает лишь скудные поля да убогие рощицы. Наибольшие выгоды здесь приносит скотоводство, однако местный скот хил и плох. Климат здесь угнетает животных, как деспотизм угнетает человека. Природа и общество словно бы объединили свои усилия, чтобы сделать жизнь как можно более трудной. Когда задумываешься о том, каковы исходные данные, послужившие для образования такого общества, то удивляешься только одному: каким образом народ, так жестоко обделенный природой, сумел так далеко уйти по пути цивилизации.

Неужели верно, что единомыслие и незыблемость устоев вознаграждают за самое бесстыдное угнетение? Что до меня, то я так не думаю, а если бы мне стали доказывать, что этот строй — единственный, при котором могла возникнуть и на котором зиждется Российская империя, я ответил бы простым вопросом: так ли важно для судеб рода человеческого, чтобы финские болота были заселены и чтобы несчастные люди, которых туда согнали, построили дивный город, поражающий взор, но в сущности являющийся не более чем подражанием городу западному? Укрепление мощи москвитян принесло цивилизованному миру лишь страх нового вторжения да образец безжалостного и беспримерного деспотизма, подобные которому мы находим разве что в древней истории. И будь еще этот народ счастлив!.. Но ведь он первый пал жертвой честолюбия, которое питает гордыню его господ.

Я пишу вам из дома, который изяществом своим разительно отличается от унылых домишек в окрестных деревнях; это разом почтовая станция и трактир, и здесь почти чисто. Дом похож на жилище какого-нибудь зажиточного помещика; подобные станции,

хотя и менее ухоженные, чем в Померании, построены вдоль всей дороги на определенном расстоянии друг от друга и содержатся за счет правительства; стены и потолки здесь расписаны в итальянском стиле; первый этаж, состоящий из нескольких просторных комнат, напоминает французский провинциальный ресторан. Мебель обита кожей; стулья с плетеными сиденьями имеют опрятный вид: всюду стоят широкие диваны, на которых можно спать, но я по горькому опыту знаю, как опасно на них ложиться; я не решаюсь на них даже сидеть; в русских гостиницах, не исключая самых дорогих, деревянная мебель с мягкими подушками кишит клопами.

Я всюду вожу с собой кровать — шедевр русской промышленности. Если моя коляска еще раз поломается, у меня будет случай воспользоваться ею и порадоваться собственной предусмотрительности; но без нужды не стоит останавливаться по пути из Петербурга в Москву. Дорога красивая, но вокруг ничего примечательного; так что только необходимость может заставить путника выйти из кареты и прервать путешествие.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТОГО ЖЕ ПИСЬМА

Едрово, между Великим Новгородом и Валдаем,
4 августа 1839 года

В России нет далеких расстояний — так говорят русские, а вслед за ними повторяют все путешественники-иностранцы. Я принял это утверждение на веру, но на собственном опыте убедился в обратном. В России — сплошь далекие расстояния: на этих голых равнинах, простирающихся покуда хватает глаз, нет ничего, кроме расстояний; два или три местечка, которые стоит посетить, расположены в сотнях лье друг от друга. Эти необъятные просторы — пустыни, лишённые живописных красот; почтовый тракт разрушает поэзию степей; остаются только бескрайние дали да унылая бесплодная земля. Все голо и бедно, но вовсе не похоже ни на землю, прославленную ее обитателями, опустошенную историей и ставшую поэтическим кладбищем народов — такую, как Греция или Иудея; не похоже это и на девственную природу; здешний пейзаж не отличается ни величием, ни мощью, он просто-напросто невзрачен; это равнина, местами засушливая, местами болотистая, и только два эти вида бесплодности разнообразят пейзаж. Редкие деревеньки, все более и более заброшенные по мере того, как удаляешься от Петербурга, не радуют, но лишь удручают взор. Дома в них не что иное, как нагромождение бревен, впрочем довольно прочно скрепленных, с дощатой крышей, поверх которой на зиму иногда кладут слой соломы. В этих хибарках, наверно, тепло, но облик их наводит грусть: они похожи на солдатские временки, только в солдатских временках не так грязно.

Комнаты в этих хижинах смрадные, черные, душные. Кроватей нет: летом люди спят на лавках, стоящих вдоль стен, а зимой на

печи либо на полу вокруг печи, таким образом русский крестьянин всю жизнь живет как на бивуаке. Слово «жительствовавший» предполагает благоустройство, домашность, неведомые этому народу.

Проезжая через Великий Новгород *, я крепко спал и не видел ни одной из древних построек этого города, который долго был республикой и стал колыбелью Российской империи; если я вернусь в Германию через Вильну и Варшаву, я не увижу ни Волхова, этой реки, в которой нашли свою смерть столько граждан беспокойной республики, не щадившей жизни своих детей, ни церкви Святой Софии, с которой связана память о самых славных событиях русской истории до разграбления и окончательного порабощения Новгорода Иваном IV, предтечей всех современных тиранов.

Мне много рассказывали о Валдайских горах, которые русские пышно именуют московской Швейцарией. Я приближаюсь к Валдаю и уже в тридцати лье от города замечаю, что местность становится неровной, хотя и не холмистой, она изрезана неглубокими оврагами, где дорога проложена так, что подъемы и спуски не замедляют бега лошадей; меня по-прежнему везут очень быстро, но я по-прежнему теряю время на почтовых станциях: русские ямщики очень лениво запрягают лошадей.

Местные крестьяне носят шапку широкую, приплюснутую сверху, но плотно охватывающую голову: этот головной убор похож на гриб: иногда его украшает павлинье перо, заткнутое за повязку вокруг лба: если человек в шляпе, то перо прикреплено к обвивающей тулью ленте. Обувь их по большей части из тростника, они сами плетут ее и привязывают к ногам веревками, заменяющими шнурки. Такой обувью приятнее любоваться на античных статуях, нежели видеть ее в обыденной жизни. Античные изваяния доказывают нам, что этот вид обуви существовал еще в глубокой древности.

Крестьянок по-прежнему мало **: на десяток мужчин встречается одна женщина; платье их обличает полное отсутствие кокетства: это подобие длинного, до полу, и очень широкого пеньюара с глухим воротом. Такой балахон, застегнутый впереди на ряд пуговиц, полностью скрывает фигуру; костюм крестьянок довершает длинный передник, держащийся на двух скрепленных за плечами бретелях, уродливых и похожих на лямки запятого ранца. Почти все ходят босиком; лишь у самых зажиточных на ногах грубые сапоги, которые я уже описывал. Они повязывают голову ситцевой косынкой или полотняным платком. Национальный головной убор русские женщины надевают лишь по праздникам: нынче его носят еще и придворные дамы: это своего рода кивер, открытый сверху, вернее,

* Описание того, что осталось от этого знаменитого города, см. в главе «Изложение дальнейшего пути», написанной по возвращении из Москвы.

** Прошло немногим более ста лет с тех пор, как русские женщины перестали жить замкнуто.

высокая диадема, охватывающая голову. Она украшена камнями у знатных дам и золотым и серебряным шитьем у крестьянок. Этот венец не лишен благородства и не похож ни на один головной убор в мире — если он что и напоминает, то башню Кибелы.

Но не только крестьянки ходят неприбранными. Я видел русских дам, которые путешествуют в самом неприглядном виде. Сегодня, остановившись на почтовой станции, чтобы пообедать, я встретил целое семейство, с которым недавно свел знакомство в Петербурге, где оно живет в роскошном дворце из тех, что русские с гордостью показывают иностранцам. Там эти дамы блистали нарядами, сшитыми по последней парижской моде. Но в гостинице, где они нагнали меня из-за новых неприятностей, постигших мою коляску, я увидел совершенно других людей; с ними произошла столь разительная перемена, что я едва их узнал; феи обернулись ведьмами. Вообразите себе юных особ, которых вы видели прежде в свете и которые вдруг явились вашему взору в костюме Золушек, хуже того, в мятых полотняных косынках сомнительной белизны, без шляп и чепцов, в перепачканных платьях, с замусоленными, похожими на тряпки платками на шее, в старых стоптанных башмаках: так и кажется, будто вы оказались во власти злых чар.

Ужаснее всего было то, что путешественницу сопровождала многочисленная прислуга. Эта челядь, мужчины и женщины, выряженные в старье и рванье, еще более мерзкое, чем у хозяек, сновали туда-сюда, производили адский шум и довершали сходство происходящего с шабашем. Они орали, бегали в разные стороны; они пили, ели, они поглощали припасы с жадностью, которая отбила бы аппетит у самого голодного человека. Однако эти дамы не преминули громко посетовать на то, что на почтовой станции грязновато, словно у них было право замечать чье-то нерадение; мне показалось, я попал в цыганский табор, с той лишь разницей, что цыганки не столь взыскательны.

Я человек неприхотливый в путешествиях, чем горжусь, и я нахожу, что на почтовых станциях, поставленных правительством, то есть императором, на этой дороге, довольно удобств: там пристойно кормят; там можно даже спать, если обходиться без кровати: как вы помните, этот кочевой народ знает только ковер да баранью шкуру либо просто циновку, брошенную на лавку в палатке, деревянной или оштукатуренной или полотняной: славянские народы до сих пор живут, как на бивуаке, они еще не усвоили, что для сна нужна особая мебель; европейская кровать кончается на Одере.

Порой на озерах, которыми усеяно гигантское болото, именуемое Россией, виднеется город, то есть нагромождение серых деревянных домиков, которые отражаются в воде и выглядят довольно живописно. Я проехал через два или три таких человеческих улья, но запомнил только город Зимогорье. Эта довольно круто поднимающаяся в гору улица, вдоль которой стоят деревянные дома, тянется

на целое лье, а незабываемой ее делает открывающийся оттуда вид на романтический монастырь на другой стороне одноименного озера; белые башни монастыря живописно вырисовываются над еловым бором, который показался мне более высоким и густым, чем все, какие я до сих пор встречал в России. Когда думаешь, сколько древесины потребляют русские, ради того ли, чтобы построить дома, ради того ли, чтобы их обогреть, то удивляешься, как они еще не свели все леса.

Все леса, какие я видел здесь доселе, лишены деревьев. Их называют лесом, но на самом деле это заросли кустарника, топкие и сырые, над которыми кое-где возвышаются неказистые сосны да редкие березы, чья чахлая поросль только мешает обрабатывать землю.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТОГО ЖЕ ПИСЬМА

Торжок, 5 августа 1839 года

На равнинах не видно вдаль, потому что всегда что-нибудь мешает; куст, урочище, дворец скрывают от глаз просторы вместе с завершающей их линией горизонта. Впрочем, ни один пейзаж здесь не запечатлевается в памяти, ни один ландшафт не привлекает взора; никаких живописных очертаний, ровные участки редки, лишены разнообразия, ничем не пересекаются, поэтому они все совершенно одинаковы; чтобы придать очарование открытой местности, нужны хотя бы яркие краски южного неба, но они отсутствуют в этой полосе России, где природы, можно сказать, нету вовсе.

То, что называют Валдайскими горами, — цепь холмов, таких же унылых, как торфяники Новгорода.

Город Торжок славится своими кожевенными фабриками; здесь изготавливают красивые, хорошо выделанные сапоги, расшитые золотом и серебром туфли, отраду всех европейских щеголей, особенно тех, кто любит диковинки, привезенные издалека. Путешественники, которые проезжают через Торжок, платят за кожаные изделия, сделанные в этом городе, гораздо дороже, чем в Петербурге или Москве.

Красивый сафьян, русская душистая кожа, производится в Казани, и, по слухам, ее можно дешево купить на ярмарке в Нижнем, выбрав в груде кож то, что нравится.

Торжок имеет еще одно, как нынче говорят, фирменное изделие — куриные котлеты. Когда император однажды остановился в Торжке в маленькой харчевне, ему подали на удивленье вкусные куриные котлеты. И торжокские котлеты сразу прославились на всю Россию. Вот история их происхождения *. Одна местная трактирщица радушно приняла и сытно накормила несчастного француза.

* Нет ничего, что российский император не мог бы ввести в моду в своей стране; в Милане, наоборот, если вице-король покровительствует актеру, дело плохо: того безжалостно освистывают.

Перед отъездом он сказал ей: «Заплатить мне нечем, но я помогу вам разбогатеть» — и научил ее стряпать куриные котлеты. Благоклонной судьбе было угодно, чтобы император первым отведал блюдо, приготовленное по новому рецепту. Трактирщица из Торжка уже умерла, но заведение ее, перейдя к детям, пользуется прежней славой.

Когда Торжок неожиданно встает перед взором путешественника, едущего из Петербурга, он производит впечатление лагеря, разбитого посреди пшеничного поля. Его белые дома, башни, особняки напоминают восточные минареты. Видны позолоченные шпицы куполов, самые разные колокольни: круглые и квадратные, высокие и низкие, все зеленого или синего цвета; некоторые украшены маленькими колоннами; одним словом, этот город — предвестник Москвы. Вокруг него раскинулись поля, засеянные рожью: эта картина мне гораздо милее, нежели вид увечных лесов, которые уже два дня удручают мой взор: возделанная почва хотя бы приносит плоды: земля может не иметь живописных красот, если она щедра; но бесплодная земля, не обладающая величием пустыни, — самое тоскливое зрелище для путешественника.

Я забыл упомянуть об одной довольно странной вещи, поразившей меня в начале пути.

Между Петербургом и Новгородом я заметил еще одну дорогу, идущую параллельно главной на небольшом расстоянии от нее. На этой проселочной дороге есть заставы, ограды, деревянные мосты, чтобы переправляться через речки и болота; одним словом, здесь есть все, что нужно, хотя она не такая красивая и гораздо более ухабистая, чем почтовый тракт. Доехав до станции, я приказал спросить у смотрителя, в чем тут дело; мой фельдъегерь перевел мне объяснение этого человека; вот оно: запасная дорога предназначена для ломовых извозчиков, скота и путешественников в те дни, когда император или члены императорской фамилии едут в Москву. Это разделение позволяет избежать пыли и заторов, которые причинили бы неудобства и задержали августейших путешественников, если бы тракт во время их поездки оставался доступен для простых смертных. Не знаю, не посмеялся ли надо мной смотритель, но он говорил с весьма серьезным видом и, как мне показалось, считал совершенно естественным, что в стране, где государь — это все, царь имеет в своем распоряжении целую дорогу. Король, который говорил «Франция — это я», останавливался, чтобы пропустить стадо овец, и во времена его правления любой путник, пеший или конный, любой крестьянин, шедший по дороге, повторял принцам крови, которых встречал по пути, нашу старую поговорку: «Дорога принадлежит всем»; важны не столько сами законы, сколько способы их применения.

Во Франции нравы и обычаи всегда смягчали политические установления; в России они, наоборот, ужесточают их, и это

приводит к тому, что следствия становятся еще хуже, чем самые принципы.

Впрочем, должен сказать, что двойная дорога доходит только до Новгорода; вероятно, власти решили, что существование двух дорог создаст сильную давку на подступах к столице, а быть может, сочли, что вторая дорога вообще не нужна, и не стали ее достраивать.

Надо признать, что при любви русских к быстрой езде стада коров, которые вы поминутно встречаете на тракте, равно как и длинные обозы, управляемые одним возчиком, могут стать причиной серьезных и частых несчастных случаев. Так что здесь двойная дорога, быть может, нужнее, чем в другом месте: но зачем дожидаться, чтобы опасность угрожала жизни императора либо членов императорской фамилии; не лучше ли устранить ее загодя? Такая непредусмотрительность противоречит духу Петра Великого, который, нанимая дрожки, брал у петербургских купцов деньги в долг, чтобы расплатиться с кучером; однако, узнав, что один из его парков хотят закрыть для публики, он воскликнул: «Вы что же думаете, я потратил столько денег ради себя одного?»

Прощайте; если мое путешествие продолжится благополучно, мое следующее письмо будет из Москвы. Каждое свое послание я складываю без адреса и прячу как можно надежнее. Но все мои предосторожности окажутся тщетными, если меня арестуют и обыщут мою коляску.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ

Госпожа графиня О'Доннелл. — Юные ямщики. — Их манера править лошадыми. — Лошади мчатся как вихрь. — Воспоминания о древнем цирке. — Пиндар. — Поэтическая езда. — Чудесная ловкость. — Дороги, запруженные ломовыми извозчиками. — Одноконные повозки. — Природная грация русского народа. — Его умение придавать изящество окружающим предметам. — Особый интерес России для людей мыслящих. — Женский костюм. — Купчихи из Торжка. — Их наряд. — Качели. — Тихие забавы. — Смелость русских. — Красота крестьянок. — Красивые старцы. — Безупречная красота. — Русские хижиньы. — Крестьянские лавки. — Сельские бивуаки. — Наклонность к воровству. — Учивость, набожность. — Народная пословица. — Мой фельдгегерь обсчитывает ямщиков. — Речи знатной дамы. — Несходство духа, царящего в великовесетских салонах во Франции и в России. — Статс-дамы. — Дипломатия, двойная игра женщин в политике. — Беседы русских дам. — Отсутствие у крестьян нравственного чувства. — Ответ работника своему хозяину. — Счастье русских рабов. — Что следует об этом думать. — Что делает человека членом общества. — Поэтическая истина. — Следствия деспотизма. — Права путешественника. — Относительность добродетелей и пороков. — Отношения между Церковью и главой государства. — Отмена патриаршества в Москве. — Цитата из «Истории России» господина Левека. — Рабский дух русской церкви. — Основное различие между национальными вероисповеданиями и мировой Церковью. — Евангелие — орудие переворота в России. — История жеребенка. — На чем зиждутся добродетели. — Ответственность за преступления: в древности она внушала больше страха, чем нынче. — Грезы наяву. — Волга. — Воспоминание о русской истории. — Сравнение Испании и России. — Пагубное воздействие северной росы.

ГОСПОЖЕ ГРАФИНЕ О'ДОННЕЛЛ *

Клин, маленький городок в нескольких десятках
лье от Москвы, 6 августа 1839 года

Опять остановка и опять по той же причине! Моя коляска ломается каждые двадцать лье. Положительно, русский офицер из Померании был литейщик!..

* Милан, 1 января 1842 г.

Прошло меньше трех лет с того дня, когда было написано это письмо, а госпожи графини О'Доннелл, к которой оно обращено, уже нет в живых; едва дойдя до середины земного пути, она внезапно заболела и покинула нас, не успев приготовить родных и друзей к горькой утрате.

Мы так надеялись, что когда-нибудь она будет искусно и заботливо утешать нас в горестях, которые старость неизбежно приносит с собой! Неужели мы заслужили эту печальную участь — видеть, как молодая, любимая, окруженная друзьями, она раньше нас сходит по склону, по которому однажды сойдем и мы, старые, никому не нужные, на каждом шагу сожалея об отсутствии поддержки, которую сулили нам ее великодушное сердце и пленительный ум?

Бывают минуты, когда, несмотря на мои требования и повторение слова «тише», у меня захватывает дух от быстрой езды; вида, что настояния мои бесполезны, я молчу и закрываю глаза, чтобы избежать головокружения. Впрочем, среди стольких ямщиков я не

Увы, впрямь я не рискую скомпрометировать ее, обращаясь к ней в своих письмах и излагая ей мои суждения об удивительной стране, которую я описываю, ведь имя ее укрывает могильная сень. Поэтому в моих письмах из России будет упомянуто только это имя.

Оно принадлежало одной из самых любезных, самых остроумных женщин, каких я знал; в то же время она была особой, в высшей степени достойной подлинной дружбы, и сама была в высшей степени верным другом. Она умела разом решительно направлять и ненавязчиво скрашивать жизнь своих друзей; твердый разум подсказывал ей самые мудрые советы, сердце подсказывало самые благородные, самые смелые решения, а ее жизнерадостный ум облегчал существование людей самых несчастных; смеясь над настоящим, невозможно предаваться отчаянию при мысли о будущем.

У нее был серьезный нрав, живой, острый ум, отличающийся быстротой и независимостью суждений; ум, полный энергии, ошеломительный, как обстоятельство, вызывающие его остроты; ум, неизменно отзывчивый и умеющий в случае нужды встать на защиту оскорбленного.

Она видела людей насквозь, но, будучи противницей всякого притворства, снисходила к слабости; она с разбором пользовалась оружием, которое давала ей в руки природная пронзительность; справедливая даже в шутках, беспристрастная даже в запальчивости, она высмеивала лишь те недостатки, от которых можно избавиться; одаренная здравым смыслом и притом лишенная всякой педантичности, она излечивала людей от заблуждений с незаметным и потому особенно действенным мастерством; если бы не искреннее чувство, которое руководило ею в этом благотельном труде, ее чутье, ее непогрешимый вкус можно было принять за искусство — так ловко удавалось ей исправлять мелкие недостатки и даже большие изъяны, никого не обижая. Но искусство это происходило от доброты. Пронзительность неизменно служила для того, чтобы исполнять желания своего благородного сердца.

Когда она считала своим долгом наставить друга на путь истинный, она высказывала суровую правду, не оскорбляя самолюбия, ибо прямота ее была доказательством участия, а что могло быть более лестно, чем заслужить ее участие, ведь душа ее была слишком возвышенна, чтобы не быть независимой; не сообразуясь с чужим мнением в своих привязанностях, она не любила слепо, ибо обладала на редкость трезвым умом — достоинство, без которого все прочие ничего не стоят.

Явные свойства ее характера были приятными, потасные — привлекательными; ей всегда было присуще желание творить добро, но обыкновенно она признавалась лишь в желании развлекать и нравиться.

Чем меньше старалась госпожа О'Доннелл произвести впечатление, тем больше простодушия, изысканности, непринужденности было в ее поведении; она любила расточать свой ум, как богач — золото. Она говорила, что ее больше радует чужой талант, ибо ее собственный талант закрывается лишь в умении ценить талант других.

Жизнь в отчем доме являла ей множество примеров и давала массу возможностей для развития врожденной способности искренне радоваться чужим произведениям^o, способности, которую она сумела обратить впоследствии на пользу всем своим друзьям.

Однако было бы ошибкой полностью доверять ее природной скромности: ум, столь щедрый на тонкие замечания, на оригинальные и живописные выражения, блестящий из блестящих, сметливый, как сказал бы Монтень, равноценен таланту; это ум, рожденный парижской светской беседой золотого века, но призванный судить нашу эпоху, которую г-жа О'Доннелл понимала как философ и отражала как

^o Госпожа О'Доннелл была дочерью госпожи Софи Гэ и сестрой госпожи Дельфины де Жирарден.

встретил ни одного увальня, а некоторые были просто на удивление ловкими. Неаполитанцы и русские — лучшие кучера в мире; самые проворные из них — старики и дети; особенно меня поражают дети. В первый раз, когда я увидел, как мою коляску и мою жизнь доверяют десятилетнему мальчишке, я восстал против такой неосмотрительности; но мой фельдъегерь стал уверять меня, что в этом нет ничего страшного, и поскольку он подвергался такой же опасности,

зеркало. Столько различных достоинств, такой твердый характер, такая доброта сердца, такая гибкость ума, такое счастливое сочетание разума и веселости относило ее к тому типу французских женщин, которые благодаря своей энергии, скрытой под прелестью, секретом которой владеют они одни, становятся либо обольстительными кокетками, либо героинями — смотря в какие времена им доведется жить. Революции испытывают сердца и обнаруживают скрытые в них добродетели.

Любезная от природы, г-жа О'Доннелл больше радовалась добру, которое творила сама, чем услугам, которые оказывали ей, и притом — редкий дар! — она подняла дружбу на такую высоту, что научилась не только давать, но и брать; значит, чувство ее достигло совершенства.

Наблюдавшая вблизи и издали за своими друзьями, но никогда не докучавшая им просьбами; неизменно строгая к себе и снисходительная к другим; смирившаяся с их несовершенствами как с неизбежностью, старательно облакавшая, в противоположность женщинам заурядным, глубокую мудрость в форму легкой болтовни, она видела людей в их истинном свете, а события с их лучшей стороны. Те, кто был с ней знаком, не хуже меня знают, сколько философской глубины и смелости было в ее манере просто и быстро подчиняться обстоятельствам, сколько милосердия, возвышенности, проникновения было в ее суждениях о нравах.

Не обольщаясь относительно близости людей, она любила их вопреки их недостаткам, которые пыталась скрыть только от глаз света, она любила их в пору успехов и в пору невзгод, ибо была чужда зависти и — достоинство еще более редкое и прекрасное — умела в то же время удержаться от всякого показного благодушия.

Ее поведение с друзьями, которых постигло несчастье, казалось плодом не столько строгих правил, диктуемых добродетелью, сколько тихого вдохновения; ничто в ней не обличало принужденность, все имело прелесть естественности: мать, дочь, сестра, подруга — она тратила жизнь единственно на то, чтобы делать добро дорогим ей людям, и не только не кичилась своей преданностью, но была последней, кто отдавал себе отчет в собственных жертвах; она не требовала похвал, и за это ее ценили; наконец, ей прощали то, что ненавидели в других: ревность; она была ревнива... но ревновала только к привязанностям и никогда — к выгодам, ибо в ней не было корысти; ее ревность — тревожное чувство, чуждое взыскательности и тщеславия, — обезоруживала самые гордые сердца и не возмущала их, но наполняла нежностью; зависть внушает презрение, ревность, подобная той, какую испытывала, г-жа О'Доннелл, заслуживает сострадания.

Вот какова была женщина, которой я писал это письмо по дороге в Москву; если бы в те поры кто-нибудь сказал мне, что прежде чем его опубликовать, мне придется сопроводить его таким грустным примечанием, то омрачил бы мне весь остаток пути.

Все так любили ее, она была так полна жизни, что невозможно поверить в ее смерть, даже оплакивая ее. Она продолжает жить в нашей памяти; всякая наша радость, всякое наше горе воскрешают ее в нашем воображении, и отныне мы будем постоянно обращаться к ней в мыслях, продлевая ее жизнь, которая не должна была угаснуть так рано.

Словом «мы» я обозначаю здесь не одного себя, я говорю от имени всех, кто ее знал и любил, что в сущности одно и то же, ибо все, кто ее близко знал, очень любили ее, от имени ее семьи, особенно матери, которая на нее похожа, и я уверен, что, хотя все эти люди сейчас далеко, они разделяют мои чувства.

как и я, мне ничего не оставалось, как поверить ему на слово; итак, четверка лошадей, чей горячий нор и гордый вид отнюдь не успокаивали меня, поскокала галопом. Мальчишка, обладающий большим опытом, не пытался их остановить, напротив, чтобы лошади не понесли, он пустил их во весь опор, и коляска мчалась как вихрь. Эта хитрость, более сообразующаяся с темпераментом животных, нежели с темпераментом седоков, длилась весь перегон; но пробежав версту, лошади устали, и роли переменялись, теперь уже ямщик все нетерпеливее погонял измученных лошадей; едва лошади пытались замедлить бег, человек хлестал их, покуда они не начинали бежать так же быстро, как прежде; благодаря соперничеству, которое легко возникает между четырьмя резвыми лошадьми, бегущими рядом, мы мчались с бешеной скоростью до конца перегона. Каждая лошадь стремилась обогнать трех других и готова была бороться не на жизнь, а на смерть. Оценив нор этой породы лошадей и видя, какую пользу извлекают из этого люди, я скоро понял, что слово «тише», которое я так старательно учился произносить, в этом путешествии ни к чему, и если я буду упорно добиваться того, чтобы лошади бежали не так резво, как они привыкли, может произойти несчастный случай. У русских есть дар, даже талант равновесия; люди и кони не удержали бы равновесия при мелкой рыси; их манера ездить была бы для меня приятным развлечением, будь моя коляска прочнее; но на каждом повороте мне кажется, что наш экипаж, того гляди, развалится на части, и опасения мои имеют под собою немало оснований, ибо коляска постоянно ломается. Без камердинера итальянца, который служит мне каретником и плотником, мы бы уже давно застряли где-нибудь в глуши; и все же я не устаю восхищаться беспечным видом, с каким наши ямщики вскакивают на козлы. Они садятся боком, с прирожденной грацией, гораздо более пленительной, чем заученная элегантность вышколенных кучеров. Когда дорога идет под уклон, они вдруг вскакивают на ноги и правят стоя, слегка нагнувшись, вытянув руки вперед и натянув все восемь вожжей. В этой позе античного барельефа они похожи на цирковых наездников. Кони рассекают воздух, клубы пыли, словно брызги бушующих волн, вздымаемые кораблем, очерчивают путь коней, которые летят, почти не касаясь земли. Тогда благодаря английским рессорам кузов коляски качает, как лодку, унесенную свирепым ветром, чью силу смиряет встречное течение; кажется, будто столкновение стихий вот-вот разрушит колесницу, и все же она мчится вперед; кажется, будто ты перечитываешь Пиндара, кажется, будто видишь сон, ибо принято считать, что столь молниеносная быстрота возможна лишь в воображении; устанавливается некое согласие между волей человека и разумом животного. От этого согласия зависит жизнь всех; экипаж мчится вперед не только благодаря механическому импульсу, но благодаря обмену мыслями и чувствами между кучером и конями; тут действует некая

животная магия, подлинный магнетизм. Местная манера править лошадьми кажется мне поистине чудесной. Удивление путешественника еще больше возрастает, когда возница резко останавливает либо поворачивает в нужную сторону четверку лошадей, которыми правит как одной лошадью, и животные слушаются его, словно по волшебству. По мановению его руки лошади бегут то бок о бок — тогда четверка лошадей занимает места не больше, чем парная упряжка, то так широко, что занимают половину тракта. Это игра, это война, которая все время держит в напряжении ум и чувства. Что касается цивилизации, в России все незакончено, потому что все ново; на самой прекрасной дороге в мире всегда что-нибудь недоделано; вам на каждом шагу приходится сворачивать с тракта, который чинят, и ехать по перекидному или временному мостику; тогда ямщик на всем скаку поворачивает квадригу и направляет ее в сторону крупным галопом, как ловкий наездник — верхового коня. Но даже если нет нужды съезжать с тракта, экипаж никогда не движется по нему прямо, ибо почти все время приходится ловко и быстро лавировать между множеством повозок, запрудивших дорогу, потому что по крайней мере десятком из этих телег правит один ломовой извозчик, и этот единственный человек не в силах удержать на одной линии столько повозок, каждую из которых везет норовистая лошадь. Независимость в России — привилегия животных.

Итак, дорога обязательно загромождена повозками, и если бы не сноровка русских ямщиков, умеющих пробираться в этом движущемся лабиринте, почтовым лошадям пришлось бы плестись вслед за ломовиками, то есть шагом. Эти повозки похожи на большие бочки, разрезанные пополам вдоль и положенные на продольные брусья, скрепленные осями; это своего рода утлые суденышки, отчасти напоминающие наши повозки из Франш-Конте, но только своей легкостью, ибо устройство повозок и манера запрягать в России другие. На них возят съестные припасы, которые не отправляют по воде. В повозку впряжена одна небольшая лошадка, которая везет столько клади, сколько ей по силам; это доблестное напористое животное тащит немного, но зато энергично и долго, идет напролом и не останавливается, куда не упадет; поэтому жизнь его столь же коротка, сколь и самоотверженна; двенадцатилетняя лошадь в России — редкость.

Нет ничего более своеобразного, более непохожего на все, что я видел в других местах, чем повозки, люди и животные, которые встречаются на дорогах этой страны. Русский народ наделен природным изяществом, грацией, благодаря которой все, что он делает, все, к чему прикасается или что надевает на себя, приобретает неведомо для него и вопреки ему живописный вид. Если людей менее тонкой породы поселить в русских домах, нарядить в русское платье и заставить пользоваться русской утварью, то все

эти предметы покажутся просто уродливыми; здесь они представляются мне странными, диковинными, но примечательными и достойными описания. Если обрядить русских в платье парижских рабочих, то платье это станет радовать взор; впрочем, русские никогда не придумали бы одежду, настолько лишенную вкуса. Жизнь этого народа занята — если не для него самого, то по крайней мере для наблюдателя; изобретательный ум человека сумел победить климат и преодолеть все преграды, которые природа воздвигла в пустыне, начисто лишенной поэзии, дабы сделать ее непригодной для общественной жизни. Противоположность слепого повиновения крепостного народа в политике и решительной и последовательной борьбы того же самого народа против тирании пагубного климата, его дикое непокорство перед лицом природы, всякий миг проглядывающее из-под ярма деспотизма, — неиссякаемые источники занимательных картин и серьезных размышлений. Чтобы дать полное представление о России, потребовалось бы соединить талант Ораса Верне и Монтескье.

Никогда еще я так не жалел, что я плохой рисовальщик. Россия хуже известна, чем Индия, ее меньше описывали и реже рисовали: и все же она не менее любопытна, чем Азия, прежде всего в отношении истории, но даже и в отношении искусства и поэзии.

Для всякого ума, всерьез занятого идеями, зреющими в мире политики, очень полезно близкое знакомство с этим обществом, управляемым в основном в духе государств, которые раньше всех вошли в анналы истории, но при этом уже насквозь пронизанным идеями, которые зреют в уме самых революционно настроенных современных народов... Патриархальная тирания азиатских правителей в соединении с теориями современной филантропии, нравы народов Востока и Запада, несовместимые по своей природе и притом нераздельно слившиеся друг с другом в полуварварском обществе, где порядок держится на страхе, — это зрелище можно увидеть лишь в России; и, конечно, никакой мыслящий человек не пожалеет о том, что проделал трудный путь и приехал в эту страну посмотреть на все своими глазами.

Общественное, умственное и политическое положение России в настоящий момент — результат и, так сказать, резюме царствования Ивана IV, которого сами русские прозвали Грозным, Петра I, которого люди, кичащиеся своим подражанием Европе, прозвали Великим, и Екатерины II, которую народ, мечтающий о мировом господстве и заискивающий перед нами в ожидании, пока он сможет нас завоевать, обожествляет; таково опасное наследство, доставшееся императору Николаю I... Одному Богу ведомо, как он им распорядится!.. Это узнают наши внуки, ибо в событиях нашей жизни грядущие поколения будут так же сведущи, как нынче Провидение.

Мне по-прежнему время от времени встречались довольно кра-

сивые крестьянки; но я не устаю сокрушаться об уродливом покрое их платья. Этот нелепый наряд не дает представления о свойственном русским чувстве изящного. Он испортил бы, мне кажется, самую совершенную красоту. Вообразите себе подобие пеньюара без пояса, бесформенный мешок вместо платья, присборенный прямо под мышками: я думаю, это единственные женщины в мире, которым взбрело в голову сделать талию над грудью, а не под нею, нарушая обычай, подсказанный природой и принятый всеми другими женщинами; это издержки нашей моды времен Директории: не то чтобы русские женщины подражали француженкам из Ганноверского павильона, которых Давид и его ученики нарядили в греческие одежды; но, сами того не подозревая, они являют собой карикатуры на античные статуи, которые прогуливались по парижским бульварам после эпохи Террора. У русских крестьянок получается талия, которую даже нельзя назвать талией, ведь она, как я вам уже сказал, до того завышена, что проходит над грудью. В результате женщина напоминает большой тук, и невозможно понять, где какая часть тела, вдобавок этот наряд стесняет движения. Но он имеет еще и другие неудобства, которые довольно трудно описать; одно из самых серьезных, несомненно, то, что русской крестьянке, верно, приходится спускать платье с плеча, чтобы дать ребенку грудь, как готтентоткам. Таково неизбежное уродство, произведенное модой, которая не сообразуется с грацией тела; черкешенки лучше понимают женскую красоту и умеют сохранить ее; они с юных лет носят пояс на талии и никогда с ним не расстаются.

Я заметил в Торжке новшество в женском туалете; мне кажется, о нем стоит упомянуть. Мещанки носят здесь короткую накидку, нечто вроде присборенной пелерины, которую я нигде больше не встречал: воротник ее отличается тем, что спереди он глухой, а сзади имеет вырез, открывающий шею и часть спины, причем углы его оказываются где-то между лопаток; это прямая противоположность обычным воротничкам, концы которых расположены спереди. Представьте себе черную бархатную, шелковую или суконную оборку шириной восемь — десять дюймов, которая прикреплена к платью под лопаткой, идет вдоль горловины, укрывая человека, как короткая мантия епископа, и пристегивается к платью у другой лопатки, причем края этой своеобразной занавески не соединяются и не перекрещиваются за спиной. Это не столько красиво или удобно, сколько необычно; но для стороннего наблюдателя довольно и того; в путешествии мы ищем доказательств, что находимся очень далеко от дома, а русские никак не хотят этого понять. Тяга к подражанию в них так сильна, что они простодушно обижаются, когда слышат, что их страна не похожа ни на какую другую: своеобразность, которая кажется нам достоинством, представляется им пережитком варварства; они воображают себе, что, не поленившись приехать на край света, чтобы посмотреть на них, мы должны безмерно обрадоваться,

найдя за тридевять земель от дома дурное подражание тому, что мы покинули из любви к переменам.

Любимое развлечение русских крестьян — качели; это сооружение развивает чувство равновесия, присущее жителям этой страны. Примите в рассуждение, что занятие это тихое и спокойное — такие развлечения под стать народу, в котором страх воспитал осторожность.

Во время всех праздников в русской деревне стоит тишина. Крестьяне много пьют, мало говорят и еще меньше кричат: они молчат либо поют хором гнусавыми голосами грустные песни, высокие ноты которых сливаются в негромкие, но изысканные аккорды. Русские народные песни заунывны; удивило меня то, что почти всем этим мелодиям не хватает простоты.

Если мне случалось проезжать через многолюдные деревни в воскресенье, я видел, как несколько девушек, обычно от четырех до восьми, тихонько раскачивались на досках, подвешенных на веревках, а в нескольких шагах от них, повернувшись к ним лицом, раскачивалось столько же юношей; их немая игра продолжается долго, у меня никогда не хватало терпения дожидаться конца. Это тихое покачивание — своего рода передышка, отдых между настоящим, сильным раскачиванием на качелях. Это очень мощное, даже пугающее зрелище. К высоким столбам четырьмя веревками привязана доска, она висит в двух футах от земли, на концах ее помещаются два человека; эта доска и четыре поддерживающих ее столба расположены так, что качаться можно как угодно: в длину или в ширину.

Когда на качелях раскачиваются всерьез, на них, сколь я мог заметить, не бывает больше двух человек разом; эти два человека — мужчина и женщина, двое мужчин либо две женщины — всегда стоят на ногах один на одном краю доски, другой — на другом и изо всех сил держатся за веревки, на которых она подвешена, чтобы не потерять равновесие. В этой позе они взлетают на страшную высоту, и при каждом взлете наступает момент, когда качели, кажется, вот-вот перевернутся, и тогда люди сорвутся и упадут на землю с высоты тридцати или сорока футов; ибо я видел столбы, которые были, я думаю, вышиной добрых двадцать футов. Русские, обладающие стройным станом и гибкой талией, на удивление легко сохраняют равновесие: это упражнение требует недюжинной смелости, а также грации и ловкости.

Я несколько раз останавливался в деревнях, чтобы посмотреть, как состязаются юноши и девушки, и наконец встретил несколько женщин, восхитивших меня своей совершенной красотой. У них нежные, белые лица; румянец, так сказать, просвечивает сквозь чрезвычайно тонкую и прозрачную кожу. У них ослепительно белые зубы и — большая редкость! — идеально правильной формы рот, изящно очерченные, как у античных статуй, губы; глаза у них чаще

всего голубые, но раскосые; они слегка навькате и выражают лукавство и врожденную непоседливость, свойственные славянам, которые обычно хорошо видят то, что находится сбоку и даже за спиной, не поворачивая головы. Все это полно очарования; но то ли по прихоти природы, то ли из-за наряда все эти достоинства у женщин заметны реже, чем у мужчин. На сотню крестьянок лишь одна хорошенькая, меж тем как среди мужчин многие могут похвастать красиво вылепленной головой и правильными чертами лица. Мне встречались старики с розовыми щеками, большой лысиной, обрамленной серебристыми волосами, и длинной шелковистой седой бородой. Глядя на эти прекрасные лица, думаешь, что время придает им величие в награду за утраченную юность; их головы достойнее кисти живописца, чем те, что я видел на полотнах Рубенса, Риберы или Тициана; но я не встретил ни одной старухи, с которой бы стоило писать портрет.

Порой случается, что правильный греческий профиль сочетается с чертами столь тонкими, что их совершенство не лишает лицо выразительности; тогда столбенеешь от восхищения. Однако и в мужских и в женских лицах преобладает калмыцкий тип: выдающиеся скулы и приплюснутый нос. Женщины большие домохозяйки, чем в Западной Европе; живут они замкнуто, их нечасто встретишь на улице, разве что в воскресенье да в дни ярмарок; но даже и тогда они выходят из дому реже, чем их мужья. Русские плотнее закрывают свои хижины, чем наши крестьяне, поэтому путник, которого любопытство завело туда, горько раскаивается: такие там зловоние и темнота.

Я не раз заходил в эти душные лачуги в час, когда крестьяне отдыхают; кроватей там нет: мужчины и женщины спят вповалку на деревянных лавках, стоящих вдоль стен; но грязь, царящая на этом бивуаке, неизменно пугала меня, и я отступал; однако вместо того, чтобы уйти тотчас же, я всякий раз мешкал, и в наказание за свою нескромность непременно уносил в складках одежды какую-нибудь живность на память.

Лето здесь короткое, но жаркое, и чтобы спастись от зноя, иные крестьяне устраивают подле своих лачуг как бы комнату на свежем воздухе — широкий крытый балкон без боковых стен; эта своего рода терраса окружает дом, и его обитатели спят здесь, иногда прямо на голой земле. Все в этой стране напоминает Восток.

На всех почтовых станциях, где мне пришлось ночевать, я встречал черные овечьи шкуры, лежащие на улице вдоль домов. Эти шкуры, которые я принимал за брошенные на землю бурдюки, были люди, — они спали под открытым небом, чтобы насладиться прохладой. Нынешним летом в России стояла такая жара, какой здесь не бывало с незапамятных времен.

Тулупы из овечьих шкур служат русским крестьянам не только одеждой, но и постелью, коврами и палатками. Работники, которые,

пока стоит дневная жара, спят посреди поля, снимают свое одеяние и делают себе из него живописный навес, чтобы защититься от солнечных лучей: с изобретательностью и сноровкой, которая отличает их от жителей Западной Европы, они продевают оглобли своей повозки в рукава шубы, а затем поворачивают эту подвижную крышу против солнца, чтобы сделать себе навес и спокойно спать в тени. Шуба эта очень теплая и весьма изящного покроя; она выглядела бы красиво, если бы не была всегда старой и засаленной; бедные крестьяне не могут часто покупать себе новое платье, это слишком дорого; они изнашивают одежду до дыр.

Русский крестьянин предприимчив, он умеет найти выход из любого положения; он никогда не выходит из дому без топора — это небольшое железное орудие в умелых руках жителя страны, где еще есть леса, может творить чудеса. Если вы заблудились в лесу и при вас есть русский слуга, он в несколько часов построит хижину, где можно переночевать, причем с большим удобством и уж наверняка в большей чистоте, чем в старой деревне. Но если у вас есть кожаные изделия, берегите их: ловкость присуща русским во всем, в том числе и в воровстве, так что поясам, кожаному фартуку коляски, ремням ваших чемоданов грозит опасность, — впрочем, привычка брать все, что плохо лежит, не мешает тем же самым людям быть очень набожными.

Не было ни одного перегона, когда бы мой ящик не перекрестился раз двадцать при виде каждой, даже самой маленькой часоушки; затем, так же исправно соблюдая долг вежливости, он снимал шапку, приветствуя всех встречных извозчиков, а сколько их было, знает один Бог!.. Отдав дань приличиям, мы приезжали на почтовую станцию, где неизменно оказывалось, что набожный и учтивый плут, запрягая либо распрягая лошадь, что-нибудь да стащил: сумку с инструментами, кожаный ремень, чехол для чемодана, на худой конец свечу от фонаря, гвоздь, болт; у них не принято возвращаться домой «с пустыми руками».

При всей своей алчности эти люди не смеют жаловаться на то, что им мало платят. В последние дни это часто случалось с теми, кто нас вез, потому что мой фельдъегерь безжалостно обшчитывал ящиков, пользуясь тем, что я еще в Петербурге выдал ему все деньги вперед, в том числе и плату за лошадей. В пути я заметил, что он мошенничает, и доплачивал из своего кармана несчастным ящикам, чтобы не разочаровывать их и не уменьшать mzды, на которую они надеялись, зная нравы путешественников, а плут-фельдъегерь, видя мою торопательность (именно так он назвал справедливость), стал бесстыдно сетовать и грозить, что не отвечает за мою безопасность, если я не перестану мешать ему исправлять его обязанности.

Впрочем, стоит ли удивляться, что в стране, где власть имущие считают самую обыкновенную честность законом, который годится

лишь для того, чтобы управлять мешанами, но никак не распространяется на их собственное сословие, большинство людей не отличается тонкостью чувств? Не подумайте, что я преувеличиваю: я говорю только о том, что вижу своими глазами; вельможная спесь, прямо противоположная истинной чести, царит во многих влиятельных семействах России. Недавно одна знатная дама в простоте душевной сделала невольное признание; ее речи меня так поразили, что я запомнил их слово в слово; подобные чувства, довольно распространенные здесь среди мужчин, редко встречаются у женщин, ибо они лучше, чем их мужья и братья, сумели сохранить исконный благородный образ мыслей. Вот почему мне особенно странно было слышать эти речи из уст дамы.

«Для нас, — говорила она, — совершенно немислим ваш общественный строй; меня уверяют, что нынче во Франции самого знатного вельможу могут посадить в тюрьму за двести франков долга; это возмутительно; посмотрите, у нас все совершенно по-иному: во всей России не найдется ни одного поставщика, ни одного купца, который посмел бы отказать нам в кредите на любой срок; вы с вашими аристократическими взглядами, — добавила она, — должны чувствовать себя у нас как дома. Мы больше похожи на французов старого времени, чем другие европейские народы».

И в самом деле, я встречал в России стариков, имеющих репутацию талантливых сочинителей стихов на случай.

Но не могу вам передать, чего мне стоило смолчать и не сказать ей резко и решительно, что ни о каком сходстве наших народов не может быть и речи. Однако несмотря на то, что мне приходится соблюдать осторожность, я не мог сдержаться и заметил ей, что человек, который прослыл бы нынче среди нас рьяным аристократом, вполне мог бы попасть в Петербурге в разряд самых ярых либералов; и под конец добавил: «Мне не верится, что в ваших семьях полагают, будто нет никакой нужды думать о долгах».

«Напрасно; многие из нас владеют огромным состоянием, но они разорились бы, если бы вздумали расплатиться со всеми кредиторами».

Поначалу я счел эти слова шуткой дурного тона или даже ловушкой, рассчитанной на мою доверчивость; но позже я расспросил сведущих людей и убедился, что дама говорила правду.

Чтобы я понял, до какой степени знатные особы в России прониклись французским духом, та же самая дама рассказала мне, как однажды в доме у ее родственников разыгрывали водевили, и хозяин, в ответ на куплеты, спетые в его честь, тотчас сложил стихи и спел их на тот же мотив. «Вот видите, насколько мы французы», — добавила она с гордостью, вызвавшей у меня улыбку. «Да, даже больше, чем мы», — ответил я, и мы заговорили о другом. Я представил себе, как удивилась бы эта русская француженка,

придя в Париже в салоны * госпожи *** и ожидая от нашей современной Франции того, что ушло вместе с эпохой Людовика XV.

Во времена Екатерины II во дворце и в домах многих придворных особ беседовали, как в парижских салонах; нынче речи наши серьезнее или по крайней мере смелее, чем у любого другого европейского народа, и в этом отношении русским далеко до сегодняшних французов, ибо мы свободно говорим обо всем, меж тем как русские не говорят ни о чем.

Царствование Екатерины оставило в памяти иных из русских дам глубокий след; эти дамы, притязающие на то, чтобы вершить судьбами государства, обладают политическим талантом, и поскольку многие из них сочетают с этим даром нравы, свойственные XVIII веку, то по Европе разъезжает целый рой императриц — они производят много шума своим распутством, но скрывают под циничным поведением глубокий государственный ум и наблюдательность. Благодаря умению этих северных Аспазий плести интриги, в Европе почти не осталось столиц, где не было бы двух, а то и трех русских посланников: один гласный, аккредитованный, чрезвычайный и полномочный, другие тайные, неведомые, не несущие никакой ответственности и в юбке и чепце играющие двойную роль — независимого посланника и шпиона посланника официального.

Во все эпохи женщины с успехом принимали участие в политических интригах; многие из современных революционеров прибегали к услугам женщин, чтобы искуснее, надежнее и в большей тайне плести нити заговора; в Испании некоторые из этих несчастных проявляли чудеса храбрости, сохраняя преданность своему избраннику, ибо храбрость испанки зависит прежде всего от любви, и были жестоко покараны за свой героизм. У русских женщин, наоборот, любовь на втором месте. В России существует целая сеть женской дипломатии, и Европа, быть может, недооценивает этот особый способ влиять на политику. Благодаря своей армии двойных агентов, политических амазонок, чье оружие — тонкий мужской ум и коварные женские речи, русский двор собирает сведения, получает донесения и предупреждения, которые в случае огласки пролили бы свет на множество тайн, разъяснили бы многие противоречия, обнаружили бы много низостей.

Занятия политикой лишают беседу большинства русских женщин занимательности, делают ее скучной. Эта задача чаще всего постигает самых утонченных дам, ибо их, естественно, одолевает крайняя рассеянность, когда беседа не касается предметов серьезных; между их мыслями и их речами пролегает пропасть: слова, которые они произносят, обманчивы, ибо ум их далеко; они всегда говорят одно, а думают другое — отсюда происходит

* Салоны госпожи такой-то!!! — это выражение великосветское общество недавно заимствовало у кабатчиков.

несообразность, принужденность, одним словом — утомительная двойственность, мешающая в повседневной жизни. Политика по природе своей занятие не из веселых; с ее тяготами мирятся из чувства долга, поэтому блестящие мысли все-таки оживляют иногда беседу государственных мужей; но жульническая, расчетливая политика — бич беседы. Ум, который сознательно предается этому корыстному занятию, опускается, унижается и безвозвратно утрачивает свой блеск.

Меня уверяют, что русские крестьяне почти полностью лишены нравственного чувства и плохо разбираются в семейных обязанностях; мой каждодневный опыт подтверждает рассказы, которые я слышу из уст самых сведущих особ.

Некий вельможа рассказал мне, что один из его людей, искусный в каком-то ремесле, я запомнил, в каком, был отпущен на заработки и приехал попытать счастья в Петербург: проработав два года, он получил отпуск на несколько недель и отправился в родную деревню к жене. В назначенный срок он вернулся в Петербург.

— Ты доволен, что повидал семью? — спрашивает его хозяин.

— Очень доволен, — простодушно отвечает работник. — Пока меня не было, жена родила мне еще двоих детей, и я был очень рад на них взглянуть.

У этих несчастных нет ничего своего: ни лачуги, ни жены, ни детей, ни даже сердца; они не завистливы: чему завидовать? чужому несчастью?.. то же и с любовью.. Таково существование самых счастливых людей в России — рабов!.. Я часто слышал, как сановные особы завидуют их участи, и, быть может, не даром.

«У них нет никаких забот, — говорят они, — мы печемся о них и об их семьях (один Бог знает, как они это делают, когда крестьяне становятся старыми и немощными!); они уверены, что у них и их потомков будет все, что им нужно, и в сто раз меньше достойной жалости, чем ваши свободные крестьяне».

Я молча слушал этот панегирик рабству, думая про себя: если у них нет никаких забот, то нет и никакой собственности, а следовательно, ни привязанностей, ни счастья, ни нравственного чувства — никакого противовеса материальным тяготам жизни; ибо общественного человека формирует частная собственность, на ней одной зиждется семья.

Факты, которые я привожу, как мне кажется, не совсем согласуются с поэтическими чувствами, выраженными автором «Теленева». В мою задачу не входит примирять противоречия, я должен только изображать контрасты: пусть тот, кто может, объяснит их.

Впрочем, русские поэты, как вообще все поэты, имеют исключительное право на вымысел: давая волю воображению, эти избранные мысли более правдивы, нежели историки.

Единственная истина, заслуживающая нашего поклонения, есть истина нравственная, и все усилия ума человеческого, какова бы ни была область его разысканий, направлены на то, чтобы ее обрести.

Если в моих путевых записках я стремлюсь изобразить мир таким, каков он есть, то единственно ради того, чтобы оживить во всех сердцах, и прежде всего в своем, сожаление о том, что мир не таков, каким должен быть. Я делаю это ради того, чтобы пробудить в душах чувство бессмертия, ради того, чтобы при каждой несправедливости, при каждом превышении власти, неизбежном на земле, мы вспоминали слова Иисуса Христа: «Царство мое не от мира сего».

Никогда мне не случалось так часто повторять эти слова Христа, как теперь, когда я путешествую по России; они, можно сказать, не выходят у меня из головы; при деспотизме все законы призваны способствовать притеснению, то есть чем больше у угнетенных причин жаловаться, тем меньше у них на это прав и тем труднее им на это решиться. Надо признать, что перед Богом дурной поступок гражданина более тяжкий грех, нежели дурной поступок раба и даже несправедливость рабовладельца, ведь в такой стране, как Россия, варварство носится в воздухе. Всевышний принимает в рассуждение, что человек, очерстневший от вечного торжества несправедливости, теряет совесть.

Зло всегда зло, — возразят мне, — и человек, который крадет в Москве, такой же вор, как парижский жулик. Но я с этим не согласен. Ведь именно от общего воспитания, которое получает народ, в большой степени зависит нравственность каждого отдельного человека; Провидение установило страшную, таинственную круговую поруку провинностей и заслуг между правительствами и подданными, и рано или поздно в истории общества наступает время, когда государство судят, выносят ему приговор и предают смерти, как и отдельного человека.

Я не устаю повторять: добродетели, пороки, преступления рабов отнюдь не то же самое, что добродетели, пороки, преступления свободных людей: поэтому, глядя на русский народ, я могу с достоверностью утверждать — я не порицаю за это русских, как порицал бы французов, — что ему, как правило, не хватает гордости, тонкости и благородства и что взамен этих достоинств он обладает терпением и хитростью: таково мое право повествователя, право всякого правдивого наблюдателя; но, признаюсь, прав я или не прав, я на этом не останавливаюсь; я хую либо хвалю все, что вижу; мне мало рисовать, я хочу судить; если вы считаете, что я пристрастен, никто не мешает вам самим проявлять в суждениях больше сдержанности.

Беспристрастие — добродетель, легко доступная читателю, меж тем как она всегда с трудом давалась, если вообще давалась, писателю.

Одни говорят: «русский народ кроток»; на это я отвечаю: «В том нет никакой его заслуги, это всего лишь привычка повиноваться...» Другие говорят: «русский народ кроток только оттого, что не смеет открыть свое сердце: в основе его чувств и мыслей лежат суеверие

и жестокость». Я отвечаю на это: «Бедный народ! Он получил такое дурное воспитание».

Вот почему мне так жаль русских крестьян, хотя они самые счастливые, то есть наименее достойные жалости люди в России. Русские не согласятся со мной и станут искренне возражать против моих преувеличений, ибо нет зла, которое не смягчалось бы привычкой и незнанием того, что есть благо; но я тоже чистосердечен, и мое положение стороннего наблюдателя позволяет мне, хотя и мельком, замечать вещи, которые ускользают от притупившегося взора местных жителей.

Из всего, что я вижу в этом мире и в особенности в этой стране, следует, что человек живет здесь, на земле, вовсе не для счастья. Смысл его существования совершенно иной, религиозный: нравственное совершенствование, борьба и победа.

Но со времени, когда главенствующую роль стала играть мирская власть, христианская вера в России изменила своему назначению: она превратилась в один из винтиков деспотизма, только и всего. В этой стране, где — и это нисколько не удивительно — ничто не имеет четких определений, трудно понять современные отношения Церкви с главой государства, который стал также негласным владыкой в вопросах веры; он присвоил духовную власть и пользуется ею, но не смеет узаконить свое право на эту власть; он сохранил синод: это последняя честь, отданная тиранией Царю Царей и его разоренной Церкви. Вот как описывает этот религиозный переворот Левек, которого я давеча листал.

Я вышел из коляски и ждал на почтовой станции, покуда найдут кузнеца, чтобы починить одну из задних скоб; желая скоротать время, я проглядывал «Историю России»; переписываю для вас слово в слово отрывок из нее:

* * *

«1721 г. После смерти Адриана * Петр **, казалось, медлил с согласием на избрание нового патриарха. За те двадцать лет, что он раздумывал, благоговение народа к главе Церкви незаметно угасло.

Император решил, что может наконец объявить об упразднении этого сана. Он разделил церковную власть, которую прежде осуществлял один патриарх, и сделал высшим органом духовной власти новый совет — святейший синод.

Он не назвал себя главой Церкви; но он стал им на деле благодаря присяге, которую приносили ему члены новой духовной коллегии. Вот она: „Клянусь быть верным и покорным слугой и подданным моего истинного и истинного владыки... Я признаю его верховным судьей духовной коллегии“.

* Последний патриарх московский.

** Император.

Синод состоит из председателя, двух вице-председателей, четырех советников и четырех ассессоров. Эти сменяемые судьи, вершащие церковные дела, вместе взятые обладают гораздо меньшей властью, чем обладал один патриарх, а прежде пользовался митрополит. Их никогда не приглашают на заседания сената; им никогда не дают на подпись указы, изданные верховной властью; даже в областях, которые находятся в их ведении, они подчиняются государю. Поскольку внешне они ничем не отличаются от других духовных лиц, власть их кончается, как только они перестают занимать место в синоде; наконец, поскольку сам синод не имеет большой власти, народ относится к ним без особого почтения».

(Пьер-Шарль Левек. «История России и основных народов, населяющих Российскую империю». Издание четвертое, опубликованное Мальт-Бреном и Деппингом, том 5, стр. 89—90. Париж, 1812 г. Продается у Фурнье, улица Пупе, д. 7; и у Ферра, улица Гранз-Огюстен, д. 11.)

Мне то и дело приходится останавливаться и чинить коляску, но я утешаюсь, говоря себе, что эти задержки благотворны для моих трудов.

В наши дни русский народ самый набожный из всех христианских народов: я только что показал вам главную причину, по которой его вера приносит мало плодов. Когда Церковь отказывается от свободы, она утрачивает моральную силу; будучи сама рабой, она порождает только рабство. Я не устаю повторять: единственная подлинно независимая Церковь — Церковь католическая, она одна сохранила запас истинного милосердия; все остальные Церкви являются составной частью государств, которые используют их в политических целях, дабы поддержать свое могущество. Эти Церкви — превосходные пособницы правительств; снисходительные к власти имущим, князьям или сановникам, строгие к подданным, они призывают Всевышнего на помощь полиции; это сразу приносит свои плоды: в обществе торжествует порядок; но католическая Церковь, обладая не меньшей политической властью, поднимается выше и идет дальше. Национальные Церкви пестуют граждан, мировая Церковь пестует людей.

В России еще и поныне почтение к власти — единственная движущая сила общества; конечно, без почтения к власти не обойтись, но дабы глубоко просвещать сердца людей, мало учить их слепому повиновению.

В день, когда сын Николая I (я говорю «сын», потому что это благородное дело осуществит не отец, все силы которого уходят на укрепление старой воинской дисциплины, на которой держится вся власть в Москве), — итак, в день, когда сын императора внушит всем сословиям этого народа правило, что всякий начальник должен относиться с уважением к своим подчиненным, в России произойдет нравственный переворот, и орудием этого переворота станет Евангелие.

Чем дальше я нахожусь в этой стране, тем яснее вижу, что презрение к слабому заразительно; это чувство становится здесь таким естественным, что самые рьяные защитники угнетенных в конце концов начинают разделять его. Я сужу по себе.

Быстрая езда в России из необходимости превращается в страсть, которая служит поводом для всякого рода жестокостей. Мой фельдъегерь разделяет эту страсть, и от него она передается мне; это приводит к тому, что часто я невольно становлюсь соучастником его несправедливостей. Он сердится, если кучер соскакивает с козел, чтобы поправить упряжь, или останавливается в пути по какой-нибудь другой причине.

Вчера вечером нас вез мальчик, которого мой фельдъегерь не раз грозился побить за медлительность, и я разделял нетерпение и ярость этого человека; вдруг из-за ограды выскочил жеребенок, которому было всего несколько дней от роду и который хорошо знал мальчика: он принял одну из кобыл в нашей упряжке за свою мать и с ржаньем побежал за моей коляской. Маленький ямщик, которого и без того ругали за нерасторопность, хочет, тем не менее, остановиться вновь и помочь жеребенку, ибо видит, что коляска может задавить его. Мой курьер властно запрещает ему спрыгивать на землю; мальчик как истинно русский человек подчиняется и застывает на козлах, словно окаменев, не произнося ни единого слова жалобы, а кони по-прежнему мчат нас галопом. Я одобряю суровость моего курьера: «Надо поддерживать власть, даже когда она неправа, — убеждаю я себя, — таков дух русского правления; мой фельдъегерь и так не больно-то ретив, а если я его одерну, когда он ревностно исполняет свой долг, он пустит все на самотек и от него не будет никакого проку; впрочем, таков обычай: почему я должен меньше торопиться, чем другие? Надо ехать быстро, чтобы не ронять своего достоинства; не торопиться — значит лишиться уважения; в этой стране для пущей важности надо делать вид, будто спешишь». Пока я размышлял об этом, а также о многом другом, настала ночь.

Я больше виноват, что проявил черствость, чем русский фельдъегерь, ибо меня не оправдывают усвоенные с детства привычки; я заставил страдать бедного жеребенка и несчастного мальчика; один громко ржал, другой тихо плакал, — таким образом, у животного было явное преимущество перед человеком. Мне следовало вмешаться и прекратить эту двойную пытку: но нет, я смотрел и безразличием своим потакал издевательствам. Это продолжалось долго, перегон был длиною шесть лье; мальчик, который хотел спасти жеребенка, но вместо этого был принужден мучить его, переносил страдание со смирением, которое тронуло бы меня, если бы сердце мое уже не ожесточилось за время моего пребывания в этой стране; всякий раз, увидев издали крестьянина, шедшего нам навстречу, мальчик надеялся освободить своего любимца; он делал знаки,

пытался заговорить, он кричал за сто шагов до того, как мы поравняемся с пешим путником, но не смел замедлить нещадный бег наших лошадей и поэтому его не успевали вовремя понять. Если же какой-нибудь крестьянин, более сообразительный, чем другие, сам догадывался, что надо помочь жеребенку, он не мог подойти, потому что коляска мчалась очень быстро, и жеребенок, прижавшийся к одной из наших кобыл, пробежал мимо растерянного человека так, что тот не мог до него дотянуться: то же случилось и в деревнях; под конец наш ямщик настолько пал духом, что уже перестал звать прохожих на помощь своему любимцу. У этого мужественного животного, которому, по словам ямщика, была неделя от роду, хватило сил пробежать шесть лье галопом.

На станции наш раб — я говорю о ямщике, — освободившись наконец от тяжкого ярма дисциплины, созвал всю деревню на помощь жеребенку; сила благородного животного была такова, что, несмотря на усталость после быстрого бега, несмотря на неокрепшие разбитые копыта, он не давался в руки людям. Его поймали, только загнав в конюшню вслед за кобылой, которую он принял за мать. На него накинута недоуздок и подвели к другой кобыле, чтобы покормить; но у него уже не было сил сосать. Одни говорили, что жеребенок поест позже, другие — что он надорвался и умрет. Я начинаю чуть-чуть понимать по-русски; услышав суровый приговор из уст старейшины деревни, наш маленький ямщик подумал, что такая же участь ждет и его, вдобавок он представил себе, какое наказание ждет его товарища, недоглядевшего за жеребенком, и огорчился, словно побои грозят ему самому. Я никогда не видел более глубокого отчаяния на лице ребенка; но он ни единым взглядом, ни единым движением не выразил возмущения жестокостью фельдъегеря. Такое владение собой, такая сдержанность в столь юном возрасте пробудили во мне страх и жалость.

Меж тем курьер, ни секунды не думая о жеребенке и ни разу не взглянув на безутешного мальчика, со всей серьезностью приступил к своим обязанностям и с подобающим случаю важным видом отправился за новой упряжкой.

На этой дороге, главной и самой людной в России, в деревнях при почтовых станциях живут крестьяне, обслуживающие почту: когда приезжает коляска, начальник станции посылает из дома в дом искать свободных лошадей и ямщика: иногда дома отстоят друг от друга довольно далеко, и путникам приходится терять четверть часа и даже больше; я предпочел бы, чтобы лошадей меняли побыстрее, а ездили помедленнее. Покидая загнанного жеребенка и несчастного мальчика, я не чувствовал угрызений совести. Они пришли позже, когда я стал обдумывать свое поведение и особенно когда сел писать это письмо: стыд пробудил раскаяние. Как видите, человек прямо на глазах становится хуже, дыша отравленным воздухом деспотизма... Да что я говорю! В России деспотизм на троне, но тирания — везде.

Если принять в рассуждение воспитание и обстоятельства, нельзя не признать, что даже русский барин, привыкший к беззаконию и произволу, не может проявить в своем поместье более предосудительной бесчеловечности, чем я, молчаливо попустительствовавший злу.

Я, француз, считающий себя человеком добрым, гордящийся своей принадлежностью к древней культуре, оказавшись среди народа, чьи нравы я внимательно и скрупулезно изучаю, при первой же возможности проявить ненужную свирепость поддаюсь искушению; парижанин ведет себя как варвар! поистине здесь сам воздух тлетворен...

Во Франции, где с уважением относятся к жизни, даже к жизни животных, если бы мой ямщик не позаботился о том, чтобы спасти жеребенка, я велел бы остановить коляску и сам позвал бы крестьян, там я не тронулся бы в путь, пока не убедился бы, что опасность миновала: здесь я безжалостно молчал, и молчание мое было роковым. Можно ли гордиться добродетелями, когда приходится признать, что они зависят не столько от нас, сколько от обстоятельств! Русский барин, который в приступе ярости не забил насмерть своего крепостного, заслуживает похвал, он поступил гуманно, меж тем как француз, который не вступился за жеребенка, проявил жестокость.

Я всю ночь не спал, размышляя о серьезной проблеме ответственности добродетелей и пороков, и пришел к выводу, что в наши дни один весьма важный вопрос политической морали остался без должного внимания. Это вопрос о том, какова доля ответственности самого человека за свои поступки и какова доля ответственности взрастившего его общества. Если общество гордится великими свершениями своих питомцев, оно должно считать себя в ответе за преступления, совершаемые другими его сынами. В этом отношении древние пошли дальше нас: козел отпущения, существующий у евреев, показывает нам, насколько народ боялся ответственности за преступления. С этой точки зрения смертная казнь была не только более справедливой или менее справедливой карой, постигающей виновного, она была публичным искуплением, протестом общества против всякого участия в злодеянии и злоумышлении. Это помогает нам понять, как человек, живущий в обществе, мог присвоить себе право распоряжаться жизнью себе подобного; око за око, зуб за зуб, жизнь за жизнь; одним словом, закон возмездия имел политическую силу; общество, которое хочет жить, должно извергнуть преступника из своего лона: когда пришел Христос и заменил суровую справедливость Моисея милосердием, он хорошо понимал, что сокращает срок земных царств; но он открыл людям царство Божие... Без идеи вечности и бессмертия души от христианства было бы больше вреда, чем пользы. Вот о чем я размышлял, лежа ночью без сна.

Вереница неясных призрачных мыслей медленно тянулась в моем полусонном мозгу; бег уносивших меня лошадей казался мне более быстрым, чем работа моего неповоротливого ума; у тела выросли крылья, мысль налилась свинцом; я, так сказать, опережал ее, мчась в облаке пыли стремительнее, чем воображение преодолевает расстояния: степи, болота с чахлыми соснами и корявыми березками, села, города мелькали у меня перед глазами, словно фантастические видения, и я не мог понять, что привело меня на этот стремительный спектакль, где ощущения сменяются так быстро, что душа не поспевает за телом!.. Эти перевернутые представления о природе, эти заблуждения ума, имеющие материальную природу, этот оптический обман, переместившийся в область идей, этот сдвиг жизни, эти грезы наяву плавно переходили в заунывные песни ямщиков; их грустные мелодии напоминают мне пение псалмов в наших церквях, вернее даже, гнусавые голоса старых евреев в немецких синагогах. Вот к чему сводятся покамест для меня хваленые русские напевы. Говорят, народ этот весьма музыкален: посмотрим; пока я не слышал ничего достойного внимания: ночная беседа кучера с лошадьми была мрачной; это прерывистое бормотание, как бы греза, которую человек декламирует нараспев, поверяя свои горести единственному верному другу — коню, наполняла мне душу глубокой печалью.

В одном месте дорога вдруг круто обрывается вниз, к понтонному мосту, опустившемуся едва ли не на самое дно, потому что от засухи река обмелела. Эта река, все равно широкая, хотя и ставшая уже из-за летнего зноя, носит великое имя: Волга; на берегу этой знаменитой реки передо мной в лунном свете встает город: его белые стены мерцают в ночи, больше похожей на сумерки, а сумерки — благодатное время для миражей; свежесмошенная дорога вьется вокруг свежепобеленного города, где я на каждом шагу встречаю римские фронтоны и оштукатуренные колоннады, столь любимые русскими, которые надеются с их помощью показать, что они разбираются в искусстве; по этой запруженной дороге можно ехать только шагом.

Город, мимо которого я проезжаю, кажется мне огромным: это Тверь, чье имя вызывает в моей памяти бесконечные семейные распри, наполнявшие русскую историю до татарского нашествия: я слышу, как брат проклинает брата; раздается боевой клич; я вижу резню, вижу, как воды реки окрашиваются кровью; из недр Азии приходят калмыки, пьют эту воду и обагрят Волгу другой кровью. Но я-то зачем полез в эту кровожадную толпу? Чтобы совершить новое путешествие и рассказать вам о нем: словно картина страны, где природа не создала ничего, а искусство произвело только наброски да копии, может заинтересовать вас после описания Испании, этой земли, где самый своеобразный, самый веселый, самый независимый по духу и даже самый свободный, если не по закону,

то на деле * народ ведет глухую борьбу против самого мрачного правительства; где все вместе танцуют, где все вместе молятся, ожидая, когда начнется всеобщая резня и разграбление церквей: вот картина, которую надо затмить живописанием равнины, тянущейся на несколько тысяч лье, и рассказом об обществе, где своеобразно только то, что тщательно скрыто от взора стороннего наблюдателя... Задача не из легких.

Даже Москва не стоит того, чтобы терпеть ради нее столько тягот. Махнем рукой на Москву, прикажем ямщику повернуть оглобли и помчимся во весь опор в Париж! На этой мысли меня застало утро. Коляска моя оставалась открытой всю ночь, а я в полудреме не замечал коварного действия северной росы: платье мое намокло, волосы стали влажными, как от пота, все кожаные ремни коляски пропитались вредоносной сыростью. У меня болели глаза, я видел все как в тумане; я вспоминал князя ***, который, проведя ночь в открытом поле, через сутки ослеп. Это было в Польше, а она находится в той же полосе **.

Слуга докладывает мне, что коляску починили, я трогаюсь в путь, и если меня не околдовали, если какая-нибудь новая поломка не задержит меня, если мне не суждено въехать в Москву на телеге или войти пешком, мое следующее письмо будет из священного для русских людей города, куда я надеюсь прибыть через несколько часов.

Посмотрели бы вы, как старательно прячу я свои писания, ибо любого моего письма, даже того, которое показалось бы вам самым невинным, довольно, чтобы меня сослали в Сибирь. Садясь писать, я запираю дверь, и когда мой фельдъегерь или кто-нибудь из почтовых служащих стучится ко мне, то прежде чем открыть, я убираю бумаги и делаю вид, что читаю. Это письмо я спрячу за подкладкой моей шляпы: надеюсь, эти предосторожности излишни, но все же я их неукоснительно соблюдаю: одного этого довольно, чтобы дать вам представление о российских порядках.

* Во времена абсолютной монархии в двадцати милях от Мадрида кастильский пастух даже не подозревал о том, что в Испании существует правительство.

** Эта участь, которой я надеялся избежать, едва не постигла и меня. Болезнь глаз, только начинавшаяся, когда я писал это письмо, во время моего пребывания в Москве усугубилась и еще долго не проходила; наконец, после нижегородской ярмарки она превратилась в хроническое воспаление глаза, от которого я страдаю и поныне.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ

Первое впечатление от Москвы. — Город плывет над землей. — Главы православных церквей, их традиционное число. — Символический смысл этой архитектуры. — Описание крыши и башенок, металлические украшения церквей. — Петровский замок. — Его архитектурный стиль. — Въезд в Москву. — Привилегия искусства. — Облик Кремля. — Цвет неба. — Храм Василия Блаженного издали. — Французы в Москве. — Анекдот о походе нашей армии на Смоленск. — Сундук военного министра. — Битва под Москвой. — Кремль как крепость. — Происхождение титула «царь». — Центр Москвы. — Постоялый двор госпожи Говард. — Меры предосторожности, которые она принимает, чтобы поддерживать у себя чистоту. — Вечерняя прогулка. — Описание ночного города. — Кремль в лунном свете. — Пыль на улицах; множество дрожек. — Летний зной. — Жители Москвы. — Иллюминация. — Размышления. — Аллея под стенами Кремля. — Крепостные валы. — Что такое Кремль. — Воспоминание об Альпах. — Иван III. — Подвесная дорога. — Чары ночи и архитектуры. — Бонапарт в Кремле.

Москва, 7 августа 1839 года

Вам никогда не случалось видеть на подступах к какому-нибудь порту на берегу Ла-Манша или Бискайского залива лес мачт за невысокими дюнами, которые полностью закрывают от вас город, пристани, набережные и само море с кораблями, стоящими на рейде? Над песчаной грядой возвышаются только голые бревна с ослепительно белыми парусами, реями, пестрыми флагами, развевающимися вымпелами, яркими разноцветными хоругвями: и вы застываете от изумления при виде этой стоящей на суше эскадры: так вот, такое же впечатление произвела на меня Москва, когда я увидел ее впервые: над облаком дорожной пыли сверкало множество колоколен, а сам город тонул в этом вихре, и линия горизонта размывалась в мареве, неизменно заволакивающим летом небо в этих краях.

Бугристая, почти необитаемая, плохо обработанная, неплодородная на вид равнина похожа на дюны с тощими купами елей и редкими рыбачьими хижинами, жалкими, но все же дающими убогий приют. Посреди этой пустыни передо мной вдруг возникло множество разноцветных куполов и усыпанных звездами главок, но основания их оставались скрыты от взора: это был город; низкие дома еще прятались за пригорками, меж тем как взметнувшиеся

высь шпицы церквей, причудливой формы башни, дворцы и старые монастыри уже привлекали мой взгляд, как стоящий на якоре невидимый флот с его плывущими в небе мачтами *.

Это первое явление моему взору столицы славянской империи, которая блистает среди холодных пустынь христианского Востока, невозможно забыть.

Перед путником расстилаются унылые, но безбрежные, как океан, просторы, и посреди этой пустыни встает поэтический город, не похожий ни на один город в мире, город, чья архитектура не имеет ни имени, ни подобия.

Чтобы как следует представить себе особенность картины, вам надо вспомнить облик всякой православной греческой церкви; эти храмы неизменно увенчаны несколькими башенками различной формы и размеров, башенок этих не меньше пяти, а иногда гораздо больше. Самая высокая — средняя главка, ее почтительно окружают четыре других, пониже. Они бывают разной формы: эти символические башни часто заканчиваются подобием островерхого колпака; можно сравнить большую башенку некоторых церквей, раскрашенную и позолоченную, с митрой епископа, с усыпанной камнями тиарой, с китайской пагодой, с минаретом, с шапкой бонзы; часто это просто-напросто маленький круглый купол, заканчивающийся острием; все эти более или менее причудливые главки увенчаны большими медными позолоченными крестами ажурной работы, сложным узором напоминающими филигрань. Число и расположение этих башенок всегда имеет сакральный смысл; они символизируют ступени церковной иерархии. Это патриарх в окружении священников, дьяконов и иподьяконов радостно поднимает голову к небу. В очертаниях этих причудливо изукрашенных кровель проявляется все богатство фантазии, но первоначальный замысел, теологическая идея всегда старательно сохраняется. Блестящие на солнце металлические цепи, позолоченные или посеребренные, соединяют кресты на нижних главках с крестом на главной башне, и эта металлическая сеть, опутывающая целый город, производит впечатление, которое невозможно передать даже красками, а тем более словами, ибо слова бессильны передать краски, так же как и музыку. Итак, попытайтесь представить себе, какое впечатление производит это священное воинство куполов, которое хотя и не изображает людей, все же гротескным образом напоминает толпу, собравшуюся на крышах церквей и часовен: это сонм призраков, которые реют над городом.

* Шницлер в своей статистике так описывает земли Московской губернии; я переписываю слово в слово:

«Почти везде почва тощая, болотистая и неплодородная, и хотя почти половина земель обработана, этого совершенно недостаточно для населяющих ее жителей; урожай в здешних краях очень скудный и голодный» и т. д. (М. Ж. Г. Шницлер, «Россия, Польша и Финляндия», Париж, издано у Ж. Ренуара, 1835, стр. 37).

Но я еще не назвал вам главную особенность русских церквей: их таинственные купола одеты, так сказать, в кольчугу — такой тонкой работы их покрытие. Они словно в золотой и серебряной оправе, и наблюдатель теряет дар речи от изумления, видя, как искрится на солнце множество узорчатых, чешуйчатых, покрытых глазурью, усыпанных блестками, разрисованных продольными или поперечными полосами, ярких и переливающихся всеми цветами радуги кровель.

Самые заметные здания города выглядят так, словно их сверху донизу укрывают богатые ковры: благодаря этому их каменные громады выделяются на зеленоватом фоне безлюдной местности. Пустыня, так сказать, расцвечена этой волшебной сетью карбукулов, сверкающей на металлическом фоне песка. Игра света, отраженного этим парящим в воздухе городом, кажется сказкой, обманом средь бела дня и напоминает блеск драгоценных камней в лавке ювелира: эти мерцающие огни делают Москву не похожей ни на один крупный европейский город. Вы можете вообразить себе небо над таким городом: это сияние, как на картинах старинных живописцев, сплошное золото.

Не премину напомнить вам, как много в этом городе церквей. Шницлер на пятьдесят второй странице своего труда говорит, что в 1730 году Вебер насчитал в Москве тысячу пятьсот церквей и что в те времена местные жители хотели довести это число до тысячи шестисот, но добавляет, что это преувеличение. Кокс в 1778 году насчитал четырехста восемьдесят четыре церкви. Лаво также приводит эту цифру. Что до меня, то я ограничиваюсь описанием облика вещей; я люблю, а не пересчитываю, и потому отсылаю любителей каталогов к книгам, состоящим единственно из цифр.

Надеюсь, я сказал довольно, чтобы вы поняли и разделили мое изумление при виде Москвы: вот все, чего я хотел. Вы еще больше поразитесь, если вспомните то, что написано во всех книгах: город этот — целая страна, и поля, реки и озера, находящиеся на его территории, разделяют украшающие его здания большими расстояниями. Такая разбросанность лишь усиливает иллюзию: вся равнина тонет в серебристой дымке; три или четыре сотни далеко отстоящих друг от друга церквей раскинулись перед глазами гигантским полукругом; поэтому когда впервые подъезжаешь к городу на закате и небо хмурое, то кажется, будто над московскими церквями встала огненная радуга: это ореол святого города.

Но когда до города остается меньше одного лье, чары рассеиваются, путник останавливается перед весьма реальным Петровским замком, громоздким дворцом из необожженного кирпича, построенным Екатериной II по современным чертежам, замысловатым, перегруженным украшениями, которые резко выделяются своей белизной на красном фоне стен. Эти украшения, мне кажется, не каменные, а гипсовые, в готическом стиле, но это не настоящая готика,

а вычурное подражание. Здание квадратное, как куб; такая правильность плана не придает его облику ни внушительности, ни легкости. Здесь останавливается государь перед торжественным въездом в Москву. Я сюда еще вернусь, ибо здесь устроили летний театр, разбили сад и построили бальную залу, своего рода публичное кафе, где встречаются городские бездельники в теплое время года.

После Петровского замка разочарование усугубляется настолько, что, въезжая в Москву, путник уже не верит тому, что он видел издали — ему приснился сон, а проснувшись, он увидел вокруг все, что есть самого прозаического и скучного на свете: большой город без памятников, то есть без единого произведения искусства, которое было бы всерьез достойно восхищения; глядя на эту грузную, неуклюжую копию Европы, вы спрашиваете себя, куда девалась Азия, явившаяся на мгновение вашему взору? Когда смотришь издали, Москва в своей целокупности кажется созданием сильфов, миром химер; когда видишь ее вблизи, в подробностях, она оборачивается большим торговым городом, беспорядочным, пыльным, плохо вымощенным, плохо застроенным, мало населенным; чувствуется, что его сотворило существо могучее, но явно лишенное чувства прекрасного, а без него создать шедевр невозможно. У русского народа есть сила в руках, он может много, но ему не хватает силы воображения.

Не имея архитектурного дара, не имея таланта и вкуса ваятеля, можно нагромождать камни, возводить гигантские сооружения, но невозможно создать ничего гармоничного, ничего замечательного своей соразмерностью. Счастливое преимущество искусства!.. Шедевры переживают себя; разрушенные временем, они еще много веков продолжают жить в памяти людей; вдохновение, которое воплотилось в них и одухотворяет даже их развалины, делает бессмертной создавшую их мысль, меж тем как уродливые громады при всей своей прочности будут забыты даже прежде, чем их разрушит время. Искусство, достигая совершенства, одушевляет камень, в этом его тайна. Так было в Греции, где каждая деталь усиливает воздействие скульптуры в целом. В архитектуре, как и в других искусствах, чувство прекрасного рождается из совершенства малейших частичек и их умелого соотношения с целым. Во всей России нет ничего, что производило бы подобное впечатление.

Тем не менее в этом хаосе из штукатурки, кирпича и досок, именуемом Москвой, две точки неизменно приковывают все взоры: это храм Василия Блаженного — я вам его сейчас опишу — и Кремль, который не смог взорвать даже Наполеон.

Кремль со своими неровными стенами, своими разной высоты зубцами — белокаменное чудо, это целый город, имеющий, по слухам, около лье в окружности. Когда я въезжал в Москву, день

клонился к закату и причудливые громады дворцов и церквей, находящихся в этой крепости, белели на фоне подернутого дымкой пейзажа, четких линий, голых далей, необъятных просторов, окрашенных в холодные тона, что не мешало нам изнывать от зноя, задыхаться от пыли и страдать от комаров. Южным городам долгое лето дарит яркие краски; на Севере лето чувствуется, но его не видно; как бы ни нагревался порой воздух, земля по-прежнему остается бледной, бесцветной.

Я никогда не забуду трепета, охватившего меня, когда я впервые увидел колыбель современной Российской империи: ради Кремля стоит совершить путешествие в Москву.

У стен этой крепости, но снаружи, как утверждает мой фельдгергер, — сам я туда еще не добрался, — возвышается храм Василия Блаженного; другое его название — Покровский собор. В православии церквям щедро жалуют титул собора: в каждом квартале, в каждом монастыре есть свой собор, в каждом городе их несколько; собор Василия Блаженного, без сомнения, если не самая красивая, то уж во всяком случае самая своеобразная постройка в России. Я видел его лишь издали и совершенно очарован. Вообразите себе скопище маленьких, разной высоты, башенок, составляющих вместе куст, букет цветов; вернее, вообразите себе корявый плод, весь усеянный наростами, дыню-канталупу с бугристыми боками, или, еще лучше, разноцветный кристалл, ярко сверкающий своими гладкими гранями в солнечных лучах, как бокал богемского или венецианского стекла, как расписной дельфтский фаянс, как лаковый китайский ларец: это чешуйки золотых рыбок, змеиная кожа, растеленная поверх бесформенной груды камней, головы драконов, шкура хамелеона, сокровища алтарей, ризы священников; и все это увенчано переливчатыми, как шелка, шпицами; в узких просветах между нарядными щеголеватыми башенками сияет сизая, розовая, лазурная кровля, такая же гладкая и сверкающая на солнце; эти пестрые ковры слепят глаза и чаруют воображение. «Нет сомнения, что страна, где подобное здание предназначено для молитвы, — не Европа, это Индия, Персия, Китай, и люди, которые приходят поклониться Богу в эту конфетную коробку, — не христиане!» Такое восклицание вырвалось у меня, когда я впервые увидел необычную церковь Василия Блаженного; с тех пор, как я в Москве, единственное мое желание — как следует рассмотреть этот причудливый шедевр, который столь необычен, что отвлек меня от Кремля в миг, когда этот грозный замок впервые явился моему взору.

Но вскоре мысли мои устремились по другому руслу, я оторвался от того, что поражало мой взор, и попытался представить себе события, свершившиеся в этих местах. Какой француз мог бы сдерживать порыв почтения и гордости... (в несчастье есть своя гордость, и это вполне естественно), въезжая в единственный город, где в наше время произошло событие, не уступающее библейским,

свершилось грандиозное деяние, достойное величайших подвигов древней истории?

Средство, которое предпринял азиатский город, чтобы отразить врага, есть выражение высшего отчаяния, и отныне имя Москвы роковым образом связано с именем крупнейшего полководца нового времени; священная птица греков предпочла сгореть, дабы избежать когтей орла, и, подобно фениксу, мистическая голубка также возрождается из пепла.

В этой славной битве гигантов равно отличились и победители, и побежденные!!! Огонь подо льдом, орудие дантовских чертей: вот что Бог дал русским, чтобы отразить и разгромить нас! Армия смельчаков может гордиться, что продвинулась так далеко, пусть даже себе на погибель.

Но что оправдывает военачальника, чья непредусмотрительность ввергла его в неравную борьбу? В Смоленске Бонапарт мог диктовать условия мира, а в Москве ему даже не предложили подписать мир. Он надеялся на победу, но надеялся напрасно. Таким образом страсть коллекционера помutila рассудок великого политика, он принес свою армию в жертву ребяческому желанию покорить еще одну столицу!.. Отвергнув самые мудрые предостережения, он не внял голосу разума и пришел, чтобы завоевать крепость царей, как прежде занимал дворцы почти всех правителей Европы: в погоне за суетной победой храбрый полководец утратил всю свою власть.

Страсть брать столицы привела к поражению лучшей армии во Франции и в мире, а через два года — к падению Империи.

Вот не известный у нас, но, ручаюсь, совершенно достоверный факт, подтверждающий мое мнение о том, что поход на Москву — непростительная ошибка Наполеона. Впрочем, в этом мнении нет ничего примечательного, ведь нынче так думают самые просвещенные и самые беспристрастные люди всех стран.

Русские считали Смоленск крепостным валом своей страны; они надеялись, что наша армия ограничится захватом Польши и Литвы и не отважится пойти дальше; но когда они узнали, что этот город, ключ Империи, взят, со всех сторон раздался вопль ужаса; двор и страна были потрясены; русские решили, что все кончено. Ужасная новость застала Александра I в Петербурге.

Его военный министр разделял общее мнение; желая спасти от врага все самое ценное, он сложил изрядное количество золота, драгоценности, брильянты, а также важные бумаги в сундук и приказал одному из своих секретарей, единственному человеку, которому он мог доверить столь ценный груз, отвезти его на Ладогу. Там он велел секретарю ждать новых распоряжений, предупредив, что скорее всего придется доставить сундук в Архангельск, а затем переправить в Англию. Все с тревогой следили за ходом событий; прошло несколько дней, гонцы не появлялись; наконец министр

получил известие о походе французской армии на Москву. Не колеблясь ни минуты, он посылает на Ладогу за секретарем и сундуком и с торжествующим видом предстает перед императором. Александру I уже доложили новость. «Ваше величество,— сказал ему министр,— возблагодарите Провидение; если вы не отступите от принятого решения, Россия будет спасена: завоевателей ждет судьба Карла XII.

— Но как же Москва? — возразил император.

— Ее надо оставить, Ваше величество: вступить в бой опасно — а вдруг мы потерпим поражение? Отступить, уничтожив все на своем пути,— значит погубить врага, ничем не рискуя. Голод и разруха начнут его истребление, зима и пожар довершат; спалим Москву и спасем мир».

Александр I несколько изменил этот план. Он приказал совершить последнее усилие, чтобы сохранить столицу.

Все знают, как храбро сражались русские на Москве-реке. Эта битва, получившая название Бородинской, принесла им победу, но она принесла победу и нам, ибо их благородные усилия не смогли помешать нам войти в Москву.

Господь хотел подарить газетчикам нашего века, самого прозаического из всех, какие видел мир, сюжет для эпопеи. Москва была сознательно принесена в жертву, и пламя этого благодетельного пожара стало сигналом революции в Германии и освобождения Европы.

Народы наконец почувствовали, что получат покой только после того, как уничтожат этого ненасытного завоевателя, который хотел достигнуть мира посредством непрекращающихся войн.

Таковы воспоминания, которые теснились у меня в голове, когда я впервые увидел Кремль. Чтобы достойно наградить Москву, российский император должен был перенести свою резиденцию в этот вдвойне священный город.

Кремль — не такой дворец, как другие, это целый город-крепость, и этот город-крепость — исток Москвы; он служит границей двум частям света, разделяет Запад и Восток: здесь присутствуют старый и новый мир; при наследниках Чингисхана Азия в последний раз ринулась на Европу; отступая, она топнула ногой — и на земле появился Кремль!

Государи, которые владеют ныне этим священным прибежищем восточного деспотизма, считают себя европейцами, потому что изгнали из Московии калмыков, своих братьев, тиранов и учителей; не в обиду им будь сказано, никто не был так похож на ханов из Сарая, как их противники и последователи, московские цари, позаимствовавшие у них все, вплоть до титула. Русские называли татарских ханов царями. Карамзин говорит по этому поводу в томе VI на странице 438:

«Сие имя не есть сокращение латинского Caesar, как многие

неосновательно думали, но древнее восточное, которое сделалось у нас известно по славянскому переводу Библии и давалось императорам византийским, а в новейшие времена ханам монгольским, имея на языке персидском смысл *трона* или верховной власти; оно заметно также в окончании собственных имен монархов ассирийских и вавилонских: *Фаллассар*, *Набонассар* и проч... — И в качестве примечания он добавляет: «См. Баера в «Origin. Russ». — В нашем переводе Священного писания вместо *Caesar* говорится *Кесарь*; а *Царь* есть совсем иное слово».

В черте города я пересек ничем не примечательный бульвар, затем спустился по пологому склону и оказался в довольно красивом квартале с прямыми как стрела улицами и каменными домами; наконец, меня отвезли на Дмитровку: там находится превосходный английский постоялый двор, где меня ждала престелстая уютная комнатка. Еще когда я был в Петербурге, меня рекомендовали госпоже Говард, которая в ином случае не сдала бы мне комнату. Я далек от мысли упрекать ее за щепетильность, ибо благодаря такой осторожности в ее доме можно спать спокойно.

Вы желаете узнать, какой ценой добилась она чистоты, ведь чистота редкость везде, в России же — настоящее чудо? Она построила во дворе отдельный флигель, и русские слуги спят там. Эти люди входят в главное здание лишь по приказанию хозяев. Госпожа Говард идет в своих предосторожностях еще дальше. Она не принимает почти никого из русских; поэтому ни мой ямщик, ни мой фельдъегерь не знали, где находится ее постоялый двор; мы разыскали его не без труда: на доме даже нет вывески, хотя это лучший постоялый двор не только в Москве, но, пожалуй, во всей России.

Устроившись, я решил отдохнуть и сел вам писать. Приближается ночь, светит луна; я прерываю письмо и пойду поброжу по городу; когда вернусь, я расскажу вам о моей прогулке.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО ПИСЬМА

Москва, 8 августа 1839 года, 1 час пополудни

Я вышел около десяти часов вечера, один, без провожатого, и по привычке пошел куда глаза глядят; я бродил по длинным широким улицам, плохо вымощенным, как все улицы в русских городах, да вдобавок еще и ухабистым; но эти мерзкие улицы проложены регулярно. В архитектуре этой страны нет недостатка в прямых линиях; однако прямоугольная планировка испортила Москву не так сильно, как Петербург. Там глупые тираны современных городов начинали на пустом месте, а здесь им приходилось бороться с неровностями почвы и старинными постройками — национальной гордостью: благодаря этим непреодолимым препятствиям, воздвигнутым историей и природой, Москва сохранила облик древнего города; это самый живописный из всех городов Империи, которая по-прежнему признает Москву своей столицей вопреки нечеловечес-

ким усилиям Петра I и его преемников; так сила вещей побеждает волю самых могущественных людей!

Лишенная религиозных почестей, утратившая своего патриарха, покинутая своими властителями и самыми близкими ко двору боярами, не имеющая иных достоинств, кроме своего героизма, проявленного слишком недавно, чтобы его могли по заслугам оценить современники, Москва стала, за неимением лучшего, торговым и промышленным городом; говорят, здесь хорошая шелковая фабрика!.. Но история и архитектура обеспечивают Москве неотъемлемое право на политическое главенство. Русское правительство покровительствует заводам: не в силах остановить стремительное течение века, оно предпочитает дать народу богатство, но только не освободить его.

Когда я вышел из дому, было около десяти часов вечера; день угасал, и в сумерках вставала сияющая сквозь пыль вдохновенная луна полуночных широт. Шпицы монастырей, иглы колоколен, башни, крепостные валы, дворцы и все неправильной формы величественные громады Кремля были озарены случайными лучами света, окружающими их золотой бахромой, меж тем как сам город погрузился в тень; блики закатного солнца, которые скользили, тускнея, с одной черепицы на другую, с одного медного купола на другой, постепенно гасли, а их светящиеся волны порхали и таяли на позолоченных цепях и металлических кровлях, образующих небосвод Москвы: все эти постройки, яркие, как богатые ковры, празднично блистали на фоне голубеющего неба. Закатное солнце словно не хотело покидать город, не попрощавшись; это расставание дня с зачарованными замками древней русской столицы было величественно. В ушах у меня звенели тучи комаров, глаза жег песок, беспрестанно вздымаемый копытами лошадей, которые мчат во все стороны множество экипажей.

Самые многочисленные и самые живописные из них — дрожки: эта поистине национальная повозка — летние сани. Поскольку они могут перевозить зараз с удобством только одного человека, их должно быть бесконечно много, дабы удовлетворять нужды деятельного, многочисленного, но затерянного в гигантском городе населения, постоянно стекающегося со всех окраин к центру. Московская пыль чрезвычайно докучлива; мелкая, как зола, легкая, как рои мошек, с которыми она смешивается в это время года, она застилает взор и затрудняет дыхание. Днем стоит палящий зной, а ночи слишком коротки, и пагубная роса не умеряет засушливую утреннюю жару; это пекло остывает лишь поздно вечером. Даже сами русские удивляются такой нестерпимой и долгой жаре.

Не подчинила ли себе империя славян, это солнце, встающее на политическом небосклоне и притягивающее взоры всей земли, не подчинила ли она себе и Божье солнце? Местные жители утверждают и любят повторять, что климат в России становится все мягче.

Поразительна сила человеческой цивилизации, чьи успехи, похоже, изменили все, вплоть до температуры земного шара!.. Относительно московских и петербургских зим не знаю, но лето мало где так неприятно, как в этих двух городах. Теплое время года — самая мерзкая пора в северных странах.

Первое, что поразило меня на московских улицах, — люди, которые кажутся более бойкими, более открытыми и веселыми, чем жители Петербурга: здесь чувствуются веяния свободы, неведомые всей остальной империи; именно этим объясняется для меня скрытая неприязнь государей к Москве — городу, которому они льстят, которого они побаиваются и избегают.

Николай I как истый русский утверждает, что очень любит Москву: однако я не вижу, чтобы он жывал здесь чаще, чем его предшественники, ненавидевшие этот древний город.

Нынче вечером на нескольких улицах я увидел иллюминацию, правда, довольно убогую; лампаионов было немного, и некоторые из них стояли прямо на земле. Трудно уразуметь любовь русских к иллюминации, ведь в ту недолгую пору, когда можно наслаждаться такого рода украшениями, даже в Москве, не говоря уж о Санкт-Петербурге, почти не бывает темноты.

По пути домой я спросил, по какому поводу происходят эти скромные торжества. Мне ответили, что иллюминацию устраивают в дни рождения и в дни тезоименитства всех членов императорской фамилии, так что увеселения никогда не прекращаются. В России подобные праздники столь часты, что их почти никто не замечает. Это безразличие русских доказывает мне, что страх бывает неосторожен и не всегда умеет так ловко льстить, как хотелось бы. Искусный льстец — только любовь, потому что ее хвалы, даже самые чрезмерные, искренни. Вот истина, которую совесть подсказывает деспотам, но, увы, безуспешно.

Неуспех совести в делах человеческих, как в больших, так и в малых, кажется мне самой непостижимой тайной этого мира, ибо доказывает мне существование мира иного. Господь ничего не делает без умысла; поэтому коль скоро он наделил совестью всех людей и коль скоро этот внутренний свет не находит применения на земле, значит, его предназначение — не здесь; страсти наши порождают несправедливости этого мира, совесть наша будет блюсти неподкупную справедливость мира иного.

Я медленно брел за гуляющими и, преодолев несколько подъемов и спусков вслед за толпой бездельников, которые невольно сделались моими проводниками, пришел в центр города, на пустынную площадь, от которой начинается аллея; эта аллея показалась мне совершенно замечательной: издали доносилась музыка, сверкало множество огней, открытые кафе напоминали Европу; но меня не занимали увеселительные заведения: я был под стенами Кремля, этой гигантской горы, созданной во имя тирании руками рабов.

В наше время вокруг стен древней московской крепости насадили аллею для народных гуляний, своего рода английский сад.

Знаете ли вы, что такое кремлевские стены? Слово «стены» вызывает у нас в памяти нечто чересчур заурядное, чересчур ничтожное, оно обманывает вас; кремлевские стены — горная цепь... Эта цитадель, построенная на границе Европы и Азии, так же не похожа на обыкновенную крепость, как Альпы не похожи на наши холмы: Кремль — это Монблан среди крепостей. Если б великан, который зовется Российской империей, имел сердце, я сказал бы, что Кремль — сердце этого чудовища: но сердца у России нет, значит, Кремль — ее голова...

Я хотел бы дать вам представление об этой каменной громаде, ступенями уходящей в небо. Странное противоречие!.. Это прибежище деспотизма было воздвигнуто во имя свободы, ибо Кремль стал валом, который защищал русских от набегов калмыков: его стены имели два назначения: они стояли на страже государственной независимости и укрепляли власть государя. Стены эти смело повторяют неровности почвы; когда склон становится слишком крутым, стена спускается уступами; эти ступени, которые ведут с земли на небо, огромны, это лестница гигантов, бросивших вызов богам.

В эту первую цепь построек врезаются фантастические башни, высокие, мощные и замысловатые, словно прибрежные скалы и сверкающие ледники; в темноте предметы, конечно, казались больше, чем на самом деле, их очертания и тона изменились; я говорю «тона», ибо ночь, как гравюра, имеет свой колорит... Не знаю, почему я ходил как зачарованный, но зато я твердо знаю, что меня охватил тайный ужас... когда смотришь, как дамы и господа, одетые по парижской моде, гуляют у подножия этого сказочного дворца, кажется, будто спишь и видишь сон!.. Я видел сон. Что сказал бы Иван III, восстановитель, можно даже сказать, основатель Кремля, если бы увидел, как у стен священной крепости москвитяне, бритые, завитые, во фраках и белых панталонах, в желтых перчатках, непринужденно сидят перед ярко освещенными кафе, кушают сладкое мороженое и слушают музыку? Он сказал бы то же, что и я: не может быть!.. И тем не менее летом это можно наблюдать теперь в Москве каждый вечер.

Итак, я прогулялся по саду, разбитому у крепостного вала древней цитадели царей, я видел башни, за ними другие башни, уступы стен, за ними еще уступы, и взор мой парил над зачарованным городом. Слово «феерия» слишком слабо и не передает великолепия открывшейся мне картины!.. Только юность с ее красноречием, юность, которую все удивляет и поражает, могла бы найти подходящие слова для этого чуда. Над длинным сводом, под которым я только что прошел, я заметил подвесную дорогу, по которой в священную крепость входят пешеходы и въезжают коляски. Картина эта показалась мне непостижимой: кругом одни лишь башни,

ворота, террасы, громоздящиеся одна над другой в разных направлениях; всюду крутые скаты, арки, которые подпирают дороги, ведущие из нынешней Москвы, Москвы заурядной, в Кремль, в Москву историческую, в Москву чудесную. Эти акведуки без воды поддерживают этажи еще более фантастических построек; на одной из этих подвесных дорог я увидел низкую, круглую башню, всю оцетинившуюся зубцами, острыми, как пики: это необыкновенное украшение выделяется своей ослепительной белизной на фоне кроваво-красной стены: кричащий контраст, заметный даже в полупрозрачной мгле северной ночи. Эта башня — великан, стоящий на страже форта, и голова его возвышается над укреплениями. Вдоволь насладившись этими грезами наяву, я стал искать обратную дорогу; вернувшись домой, я сел писать вам письмо — занятие, мало способствующее успокоению. Но я переутомился и не могу отдыхать; чтобы спать, нужны силы.

Чего только не увидишь ночью в лунном свете, обходя вокруг Кремля! Все здесь таинственно и чудесно; так и кажется, будто бродишь среди призраков: кто мог бы приблизиться без благоговейного ужаса к этому священному крепостному валу, камень из которого, вывороченный Бонапартом, долетел до самого острова Святой Елены, дабы настигнуть дерзкого победителя среди океана... Прощу прощения, я родился в эпоху пышных фраз.

Самая новая из новых литературных школ окончательно изгоняет их из словесности и упрощает язык, ибо народы, начисто лишенные воображения, паче всего боятся проявлений этого недоступного им дара. Я могу восхищаться пуританским стилем в устах высокоталантливых людей, способных искупить его однообразие, но я не в силах ему подражать.

После всего, что я увидел нынче вечером, мне следовало бы вернуться прямо к родным пенатам: большего потрясения я в этом путешествии уже не испытаю.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ

Кремль при свете дня. — Его исконные хозяева. — Характер его архитектуры. — Символический смысл. — Размеры русских церквей. — Человеческая история как средство описывать места. — Влияние Ивана IV. — Высказывание Петра I. — Преступное долготерпение. — Подданные Ивана IV и нынешние русские. — Иван IV в сравнении со всеми тиранами, упомянутыми в истории. — Источник, откуда я почерпнул рассказанные сведения. — Брошюра князя Вяземского. — Почему следует доверять Карамзину.

Москва, 8 августа 1839 года

Офтальмия, которую я приобрел между Петербургом и Москвой, беспокоит и мучит меня. Но, несмотря на боль, мне захотелось повторить сегодня вчерашнюю вечернюю прогулку, чтобы сравнить Кремль при свете дня с фантастическим ночным Кремлем. Тьма увеличивает, сдвигает с места предметы, но солнце возвращает им их истинные формы и пропорции.

Когда я снова увидел эту крепость царей, она снова поразила меня. Лунный свет увеличивал и выпячивал одни каменные громады, но скрывал от меня другие, и, замечая свои заблуждения, признавая, что мне примерещилось слишком много сводов, слишком много крытых галерей, слишком много подвесных дорог, портиков и подземелий, я все же увидел их довольно, чтобы оправдать мой энтузиазм.

В Кремле есть все: это пейзаж в камне.

Стены его крепче скал; на территории его столько построек и столько достопримечательностей, что это просто чудо. Этот лабиринт дворцов, музеев, башен, церквей, тюрем наводит ужас, как архитектурные сооружения на полотнах Мартина; все здесь так же грандиозно и еще более запутанно, чем в творениях английского художника. Таинственные звуки раздаются из глубины кремлевских подземелий; такие жилища не для обычных людей. Перед внутренним взором встают самые удивительные картины, и человек трепещет при мысли, что картины эти отнюдь не плод воображения.

Голоса, которые там слышишь, кажутся замогильными; в Кремле начинаешь верить в чудеса.

Запомните, московский Кремль вовсе не то, чем его принято считать. Это не дворец, это не национальная святыня, где хранятся древние сокровища империи; это не русская крепость, это не чтимый народом приют, где почивают святые, защитники родины; Кремль и меньше и больше этого; он просто-напросто обиталище призраков.

Нынче утром, снова отправившись гулять без провожатого, я добрался до самой сердцевины Кремля и зашел в несколько церквей, являющихся украшением этой твердыни благочестия, столь почитаемой русскими как за священные реликвии, так и за светские драгоценности и военные трофеи, которые там хранятся. Я сейчас слишком взволнован, чтобы описывать вам все в подробностях; позже я осматриваю сокровищницу внимательнее и поведаю вам обо всем, что там увижу.

Издали Кремль показался мне княжеским градом, стоящим на холме посреди города простолюдинов. Этот замок тиранов, эта гордая каменная громада встает над жилищем простого люда во всю высоту своих скал, стен и куполов и, в противоположность тому, что случается с памятниками обычных размеров, чем ближе подходишь к этой твердыне, тем больше восхищения она вызывает. Подобно скелетам гигантских древних животных, Кремль доказывает нам, что мир, в реальности которого мы все еще продолжаем сомневаться, даже находя его останки, все же существует. Этому чудесному творению сила заменяет красоту, вычурность — изящество; это мечта тирана, мощная, страшная, как мысль человека, который властвует над мыслью народа; здесь есть нечто несоразмерное: я вижу оборонительные сооружения на случай войны, но теперь таких войн уже не бывает; эта архитектура не соответствует нуждам современной цивилизации.

Наследие сказочных времен, когда всюду безраздельно властвовала ложь: тюрьма, дворец, святилище; крепостной вал для защиты от иноземцев, укрепленный замок для защиты от черни, оплот тиранов, тюрьма народов — вот что такое Кремль!

Своего рода северный Акрополь, варварский Пантеон, эта национальная святыня заслуживает имени славянского Алькасара.

Таково излюбленное обиталище старых московских правителей, и все же эти грозные стены не могли успокоить Ивана IV, и чувство ужаса не оставляло его.

Страх человека всемогущего — самое ужасное, что есть в этом мире, поэтому к Кремлю невозможно приблизиться без трепета.

Башни всех форм: круглые, квадратные, островерхие, башни штурмовые, подзорные, караульные башни и башенки, какие-то сторожки на минаретах, колокольни разной высоты, всех цветов, видов и сортов; дворцы, соборы, наблюдательные вышки, зубчатые

стены с амбразурами; обычные бойницы, галереи с навесными бойницами, валы, всевозможные укрепления, какие-то причудливые сооружения, непонятные выдумки, беседка под стенами собора; все обличает беспорядок и произвол, все выдает постоянную тревогу странных созданий, которые обрекли себя на жизнь в этом фантастическом мире, за свою безопасность. Но эти бесчисленные памятники гордыни, прихоти, сластолюбия, славы, благочестия, несмотря на кажущееся разнообразие, выражают одну-единственную мысль, которая подчиняет себе все: эта мысль — вечный страх, порождающий воинственность. Кремль бесспорно есть творение существа сверхчеловеческого, но злобного. Прославление рабства — такова аллегория, запечатленная в этом сатанинском памятнике, столь же необычным для зодчества, сколь видения святого Иоанна необычны для поэзии: это жилище под стать действующим лицам Апокалипсиса.

Хотя у каждой башенки есть свое лицо и свое назначение, все они выражают одну идею: ужас, понуждающий братья за оружие.

Одни башни похожи на архиерейскую митру, другие на пасть дракона, третьи на обнаженный меч: эфес внизу, острие наверху: иные напоминают формой и даже цветом экзотические плоды: иные имеют вид царской короны с острыми зубцами, украшенными камнями, как корона венецианского дожа; у иных обычные венцы, и все эти разнообразные башни крыты глянцевой черепицей; все эти металлические купола, все эти пестрые, позолоченные, лазурные, серебристые своды сверкают на солнце, как эмали на этажерке, вернее, как колоссальные сталактиты в соляных копиях, которые встречаются в окрестностях Кракова. Эти громадные столбы, эти всевозможные главки — пирамидальные, круглые, остроконечные, но всегда отдаленно напоминающие человеческое лицо, — возвышаются над городом и страной.

Когда глядишь издалека, как они сияют в небе, кажется, будто тут собрались на совет главы держав в богатых одеждах и при всех регалиях: это собрание старейшин, царский совет, заседающий на могилах; это призраки, которые бдят на вершине дворца.

Жить в Кремле — значит не жить, но обороняться; угнетение ведет к бунту, а раз возможен бунт, нужно принять меры предосторожности; предосторожности в свой черед усугубляют опасность мятежа, и из этой длинной цепи действий и противодействий рождается чудовище, деспотизм, который построил себе в Москве цитадель: Кремль! Вот и все. Если бы великаны, жившие в допотопные времена, вернулись на землю, чтобы посмотреть, как живет хилое племя, пришедшее им на смену, они могли бы найти здесь пристанище.

В архитектуре Кремля все, вольно или невольно, имеет символический смысл: на самом же деле, когда, преодолев первый приступ страха, вы вступаете в лоно этого дикарского великолесья, взору вашему предстает не что иное, как скопище тюрем, пышно

именуемых дворцами и соборами. Впрочем, русские зря стараются: как ни исхитрайся, а тюрьма все равно тюрьма.

Даже климат в их стране — пособник тирании. Холод не позволяет строить здесь просторных церквей, в них люди просто заочеченили бы во время молитвы; здесь дух не поднимается к небу посредством прекрасных соборов; в этой полосе человек может посвящать Богу лишь мрачные башни. Темные низкие своды и толстые стены делают кремлевские соборы похожими на подземелья, это раскрашенные тюрьмы, а дворцы суть позолоченные застенки.

О чудесах этой пугающей архитектуры можно сказать то же, что говорят путешественники, оказавшись в Альпах: эта красота наводит ужас.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПИСЬМА ДВАДЦАТЬ ПЯТОГО

Вечер того же дня

Мне все сильнее и сильнее жжет глаз, я давеча послал за доктором, и он велел мне три дня не выходить из дому и наложил повязку. По счастью, другой глаз видит нормально, и я могу писать.

Я намереваюсь за эти три дня вынужденного отдыха закончить работу, которую начал в Петербурге и забросил из-за превратностей моей жизни в этом городе. Это краткий рассказ о царствовании Ивана IV, тирана из тиранов и души Кремля. Не он построил эту крепость, но он здесь родился, здесь умер, сюда он возвращается, здесь витает его дух.

План Кремля был задуман и осуществлен его предком Иваном III и его единомышленниками, и я хочу рассказать об этих исполинских фигурах; в них, как в зеркале, отразился Кремль, который я не в силах описать словами, ибо здесь слова мои не соответствуют вещам. Впрочем, эта иносказательная манера, по-моему, не только нова, но и верна; доселе я делал все, что от меня зависит, чтобы описать вам место само по себе, теперь я хочу показать вам его под другим углом зрения, то есть через историю людей, которые в нем жили.

Если по убранству дома мы можем судить о нраве особы, которая в нем живет, нельзя ли таким же образом, исходя из характера людей, вообразить себе облик зданий, которые были для них построены? Наши страсти, наши привычки, наш дух очень сильные и неизгладимо запечатлеваются во всем вплоть до камней наших жилищ.

Несомненно, если существует памятник, к которому приложим этот способ описания, то это Кремль... В нем воочию видны Европа и Азия и объединяющий их дух византийских греков.

Принимая все в расчет и рассматривая эту крепость как в отношении чисто историческом, так и с точки зрения поэтической и живописной, можно сказать, что это самый национальный и,

следовательно, самый интересный для русских и для иноземцев памятник в России.

Как я вам уже говорил, Иван IV вовсе не возводил Кремль: это святилище деспотизма было перестроено в камне при Иване III, в 1485 году, итальянскими зодчими Марко и Пьетро Антонио, выписанными в Москву великим князем, который хотел укрепить деревянные стены крепости, основанной при Дмитрии Донском.

Но если дворец этот и не творение Ивана IV, то он воплощение его мысли. Ибо благодаря пророческому дару великий царь Иван III воздвиг дворец для своего внука-тирана. Итальянские зодчие работали повсюду: нигде они не создали ничего подобного тому, что построили в Москве. Добавлю, что и в других странах были правители, имевшие неограниченную власть, и в других странах на трон восходили несправедливые, властные самодуры, однако царствование ни одного из этих чудовищ не похоже на царствование Ивана IV: одно и то же семя, взошедшее в разных широтах и на разных почвах, приносит плоды одного вида, но различной величины и облика. На земле нет и не будет ни шедевра деспотизма, равного Кремлю, ни народа такого суеверного и терпеливого, каким был народ Московии в легендарное царствование своего тирана.

Последствия этого чувствуются по сию пору. Если бы вы путешествовали вместе со мной, вы, так же как и я, заметили бы неизбежные опустошения, которые произвел в душе русского народа абсолютный произвол; прежде всего это дикое пренебрежение к святости данного слова, к истинности чувств, к справедливости поступков; затем это торжествующая во всех делах и сделках ложь, это все виды бесчеловечности, недобросовестности и обмана, одним словом, притупление нравственного чувства.

Мне кажется, я воочию вижу, как из всех ворот Кремля выходят пороки и заполняют Россию.

Петр I говорил: чтобы обмануть одного русского, нужны три еврея; нам нет нужды стесняться в выражениях, как императору, поэтому мы понимаем его слова так: один русский перехитрит трех евреев.

Другие народы терпели гнет, русский народ его полюбил; он любит его по сей день. Не характерна ли эта фантастическая покорность? Впрочем, нельзя не признать, что подчас эта всеобщая мания кротости становится основой возвышенных поступков. В этой бесчеловечной стране общество исковеркало человека, но не умалило его: удивительное перерождение душевных способностей! Человек здесь порой поднимает низость до героизма; он лишен доброты, но лишен и мелочности: то же можно сказать и о Кремле. Он не радуется взору, но внушает страх. Он не прекрасен, он ужасен, ужасен, как царствование Ивана IV.

Такое царствование навеки делает душу народа, безропотно пережившего его, слепой; даже последние отпрыски этих людей,

заклейменных именем палачей, будут носить на себе отпечаток преступлений своих отцов: преступление против человечества называется вплоть до самого отдаленного потомства. Это преступление состоит не только в том, чтобы творить несправедливость, но и в том, чтобы ее терпеть; народ, который, провозглашая смирение первой добродетелью, завещает потомкам тиранию, пренебрегает собственными интересами; более того, он не исполняет своего долга.

Слепая покорность подданных, их безропотность, их верность безумным хозяевам — не достоинства, а недостатки: повинование похвально, неограниченная власть почтенна лишь постольку, поскольку они становятся средством, охраняющим права человека. Когда царь не признает их, когда он забывает, на каких условиях человеку дозволено властвовать над себе подобными, граждане подчиняются только Богу, своему вечному владыке, который освобождает их от клятвы верности владыке мирскому.

Вот чего русские никогда не допускали и не понимали; однако эти условия необходимы для развития истинной цивилизации; без них наступил бы час, когда жизнь в обществе стала бы для человечества не полезной, а вредной, и софисты без труда вернули бы человека в лесную чащу.

Хотя такие взгляды — не более чем приложение к жизни Священного писания, они при всей их умеренности слынут в Петербурге бунтарскими. Итак, нынешние русские — достойные потомки подданных Ивана IV. Это одна из причин, побуждающих меня кратко изложить вам историю его царствования.

Во Франции я не помнил об этих событиях, но в России приходится вспоминать ужасные подробности. Я посвящу этому следующее письмо; не бойтесь, оно не будет скучным: никогда еще рассказ не был столь увлекательным или по меньшей мере любопытным.

Этот безумец, так сказать, перешел границы, в которых творение Божье получило от Бога под именем свободной воли дозволение творить зло: никогда человек не простирает свою длань так далеко. Иван IV был кровожаднее и свирепее всех Гибриев, Неронов, Каракалл, Людовиков XI, Педро Жестоких, Ричардов III, Генрихов VIII, наконец, всех древних и современных тиранов с их самыми неподкупными судьями во главе с Тацитом.

Поэтому, прежде чем излагать подробности невероятных бесчинств, я должен доказать вам, что мои сведения достоверны. Я ничего не стану цитировать по памяти: пускаясь в путь, я нагрузил карету необходимыми книгами, и главный источник, откуда я черпал сведения, — это Карамзин, автор, которого русские не могут обвинить в очернительстве, ибо ему ставят в упрек, что он не стусил, но, напротив, смягчил краски, заботясь о славе своего народа. Чрезвычайная осмотрительность, доходящая до пристрастности, — таков изъян этого автора; российский патриотизм неизмен-

но грешит снисходительностью. Всякий русский писатель — царедворец, таков был и Карамзин: я нахожу тому доказательства в маленькой брошюре, изданной другим царедворцем, князем Вяземским: это рассказ о пожаре Зимнего дворца в Петербурге, рассказ, написанный исключительно во славу государя, который, по счастью, на сей раз заслужил расточаемые ему похвалы. Там есть следующие слова:

«Разве найдется в России хоть одно знатное семейство, у которого нет какого-либо славного воспоминания, связанного с этими стенами *? Наши отцы, наши деды, все наши государственные, общественные, военные знаменитости получили здесь из государевых рук от имени отечества высокие награды за свои труды, заслуги, доблесть. Именно здесь звучала национальная лира в руках Ломоносова и Державина, здесь Карамзин читал *страницы своей «Истории»* перед августейшей аудиторией **. Этот дворец был палладием нашей славы; то был Кремль нашей современной истории» (Князь Вяземский. «Пожар Зимнего дворца в Санкт-Петербурге». Париж, у Ж. Г. Дантю, в Пале-Руаяле, стр. 11).

Можно и даже нужно верить Карамзину, когда он рассказывает чудовищные подробности жизни Ивана IV. Заверяю вас, что все события, которые вы читаете в моем кратком изложении, подробно рассказаны этим историком в его книге «История государства Российского», переведенной Жоффе и законченной господином Дивольфом, действительным статским советником и камергером российского императора; одиннадцать томов in-8°. Париж, в галерее Боссанжа-отца, улица Ришелье, д. 60. 1826.

* Зимний дворец в Петербурге сгорел 29 декабря 1837 г.

** Карамзин, без сомнения, не пытался преувеличивать то, что могло вызвать неудовольствие таких судей.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ

Биография Ивана IV.— Цитата из брошюры г-на Толстого.— Начало царствования Ивана IV.— Действие его деспотической власти на русских.— Одна из причин жестокости Ивана.— Осада Казани.— Взятие Астрахани.— Как царь обошелся со своими старыми друзьями.— Воспоминания его детства.— Изменения в его нравственном и физическом облике.— Его женитьба.— Ложь и тирания неразлучны.— Изощренная жестокость царя.— Пытки, совершавшиеся по его приказу и в его присутствии.— Участь Новгорода.— Как далеко заходила мстительность царя.— Живые часы.— Кровавая ирония.— Отречение.— Как поступили в этом случае русские.— Тайная причина русского раболовства.— Иван возвращается на престол.— На каких условиях.— Александровская слобода.— Опричнина, или избранники.— Портрет Ивана IV, нарисованный Карамзиным.— Разные отрывки из творений этого автора.— Последствия опричнины.— Трусость Ивана IV.— Его поведение во время пожара Москвы.— Как он обошелся с Ливонией.— Покорение Сибири.— Благорасположение Ивана к Елизавете Английской.— Письмо Елизаветы Ивану.— План бракосочетания Ивана с Марией Гастингс, родственницей английской королевы.— Иван и его сотрапезники меняют платье.— Причины низкопоклонства Ивановых подданных.— Религиозное смирение.— Русская церковь в цепях.— Какова та единственная церковь, что остается свободной.— Русский священник.— Участь, ожидающая всякую схизматическую церковь.— Католический священник.— Продолжение цитат из Карамзина.— Бессердечный поступок великого князя Константина.— Сходство нынешних русских с их предками.— Еще один отрывок из Карамзина: посол русского самодержца и жертва, обреченная на казнь.— Переписка царя с Грязновым.— Иван уступает Ливонию Баторию.— Последствия этого предательства.— Смерть царевича, сына Ивана.— Трагедия.— Бог призывает юношу.— Величие человеческой души.— Смерть Ивана IV.— Его последнее злодеяние.— ПРИЛОЖЕНИЕ.— Кремль.— Новые отрывки из Карамзина.— Чем можно извинить деспотизм.— Что следовало бы русским думать и говорить о Карамзине.— Что означает потребность в справедливости, живущая в человеческом сердце.— Христианская духовность.— Память русского народа об Иване IV.— Портрет Ивана III, нарисованный Карамзиным.— Сходство Петра Великого с Иванами.— Фрагменты из книги господина де Сегюра.— Как обошелся со своим сыном царь Петр I.— Казнь Глебова.— Смерть царевича Алексея.

Москва, 11 августа 1839 года

Если вам не доводилось изучать историю России, вы сочтете главу, которую вам предстоит прочесть, чудовищным вымыслом; меж тем я всего лишь изложил подлинные факты.

Впрочем, когда вглядываешься в долгое царствование Ивана IV, прежде всего обращаешь внимание не на все его злодейства, засвидетельствованные историей, но больше всего напоминающие сказки. Нет, предмет, ставящий в тупик философа, вечный источник изумления и опасных раздумий, — действие, которое оказала эта беспримерная тирания на истребляемый народ; жертвы не только не восстали против деспотической власти, но, напротив, прониклись к ней безграничным почтением. Это чудесное обстоятельство проливает, как мне кажется, новый свет на тайны человеческого сердца.

Иван IV вступил на престол еще ребенком, в 1533 году; коронован он был семнадцати лет от роду, 16 января 1546 года, а умер в Кремле, в своей постели, 18 января 1584 года, в возрасте шестидесяти четырех лет; он правил своей державой пятьдесят один год и после кончины был оплакан всеми подданными без исключения, в том числе и детьми убиенных им жертв. Впрочем, летописи ничего не сообщают о том, как приняли смерть Ивана московские матери: сомнительно, чтобы они разделили всеобщую скорбь.

При дурном правлении женщины развращаются не так быстро, как мужчины, выполняющие приказания властей и потому в большей степени подверженные воздействию общественных предрассудков своей эпохи и страны. Как бы там ни было, следует признать, что чудовищное царствование Ивана так сильно заморозило русских, что они научились находить предмет для восхищения даже в бесстыдстве своих правителей; политическая покорность сделалась для русских культом, религией *. Насколько мне известно, нет

* Г-н Толстой, на которого я уже ссылался, излагает политическую доктрину своих соотечественников следующим образом: «И пусть мне не говорят, что человек, правящий единолично, может не проявить должной твердости, что его заблуждения могут привести к серьезным катастрофам, особенно если он не несет никакой ответственности за свои действия...

Возможно ли допустить отсутствие патриотического чувства в человеке, которому Провидение верило власть над ему подобными? Такой государь явился бы чудовищным исключением из правила.

Что же до ответственности^o, то разве не должен государь бояться проклятия народов и реzza истории, навечно запечатлевающего на ее скрижалях злодеяния сильных мира сего? Что случилось бы сегодня с Россией, если бы Петр Великий не правил ею самовластно?

Что случилось бы с русскими, если бы их депутаты собирались ежегодно, чтобы шесть месяцев подряд обсуждать меры, в которых большинство из них ровно ничего не смыслят? Ведь наука правления не принадлежит к числу врожденных знаний; что же случилось бы со всеми нами, не управляй Россией монарх, чья мудрая и энергическая, ничем не скованная мысль печется не о чем ином, как о счастье России? («Взгляд на российское законодательство», стр. 143, 144).

Сказанного, я полагаю, довольно, чтобы доказать, что политические идеи самых просвещенных из наших русских современников немногим отличаются от тех взглядов, которые исповедовали подданные Ивана IV, и что в своем монархическом идолопоклонничестве они не отличают безграничный деспотизм от монархии, ограниченной конституцией.

^o Ее не существует в странах, где даже самые страшные злоупотребления тирании получают всеобщее благословение.

другой страны, где бы жертвы боготворили своих палачей!.. Разве римляне падали к ногам Тиберия или Нерона, умоляя их не отречься от абсолютной власти и по-прежнему жечь и грабить Рим, проливать кровь его жителей и бесчестить их детей? А москвичи в самый разгар деспотического царствования Ивана IV поступили, как вы скоро убедитесь, именно таким образом.

Тиран пожелал покинуть престол, но русские, надеясь перехитрить своего повелителя, упросили его не отречься от царской короны и полностью предали себя в его власть. Оправданный и обнадеженный своим народом, Иван вновь принялся зверствовать. Для него царствовать значило убивать; он истреблял людей из страха и из чувства долга, причем эту незамысловатую хартию скрепили согласие всей России и скорбные рыдания всей нации, оплакавшей смерть тирана!.. Решившись, подобно Нерону, сбросить бремя славы и добродетели, дабы править исключительно с помощью страха, Иван не ограничивается зверствами, каких не знало человечество ни до ни после него, он осыпает несчастные жертвы оскорблениями; алча чужих мучений, он не брезгует ничем, вплоть до насмешек; в его уме, безжалостном и сатирическом, жуткое уживается с бурлескным. Ему мало терзать тела: издевательскими речами он разрывает сердца; объятый страхом и гордыней, он подвергает себе подобных адским мукам, причем жестокость его слов превосходит в изощренности даже бесчеловечность его деяний.

Сказанное не означает, что и для тела он не изобрел таких мучительных и продолжительных казней, каких не знал никто до него: его правление было царством пытки.

Воображение отказывается поверить, что подобный нравственный и политический феномен мог быть столь долговечным. Впрочем, я только что сказал и повторяю еще раз: подобно сыну Агриппины, Иван начал со свершений благородных и с таких подвигов, какие, быть может, даже скорее, чем добродетель, способны снискать герою любовь нации честолюбивой и суетной, — а именно с завоеваний. В эту пору своей жизни, умерив кровожадность и грубость, присущие ему с детства, он вверился советам мудрых и суровых друзей.

Стараниями набожных советников и осмотрительных наставников начало Ивана царствования сделалось одной из блистательнейших и счастливейших эпох московской истории; но эпоха эта долго не продлилась, а происшедшая с царем перемена оказалась стремительной, ужасной и всеобъемлющей.

В 1552 году, после достопамятной осады, Казань, этот грозный форпост азиатского мусульманства, пала под ударами юного царя; мощь этого государя поразила противостоявших ему полуварваров. Он отстаивал свои военные замыслы с упорством героя и прозорливостью мудреца, сокрушая многоопытных полководцев и завоевывая в конце концов их восхищение.

В начале своей воинской карьеры Иван действовал с отвагой, исключавшей всякую мысль об осторожности; но прошло немного времени, и он сделался столь же пуглив и раболепен, сколь смел был в юности: трусость его возрастала одновременно с жестокостью, ибо у него, как почти у всех злодеев, бесчеловечность являлась следствием страха. До конца дней своих он не мог забыть о том, что претерпел в юности, — о деспотизме бояр. Их распри угрожали его жизни в ту пору, когда он был слишком слаб, чтобы постоять за себя; кажется, будто в зрелом возрасте им овладело единственное желание — отомстить за отроческую беспомощность.

Но ужасная жизнь этого человека содержит урок, исполненный глубокого нравственного смысла: теряя добродетель, он терял и отвагу.

Неужели, вкладывая сердце в грудь человека, Творец сказал ему: «Ты останешься храбр лишь до тех пор, пока останешься милосерден!»

Будь это истиной и не опровергай этого утешительного правила чересчур многочисленные и чересчур прославленные примеры, вера в Бога оказалась бы делом чересчур легким: мы получили бы основания думать, что Господь вмешивается в жизнь каждого из своих творений так же решительно, как вмешивался он, в чем мы имеем возможность удостовериться, в жизнь такого человека, как Иван IV. Этот монарх, чья история и характер единственные в своем роде, был храбр, как лев, до тех пор, пока хранил великодушие; стоило ему утратить сострадание к людям, как он сделался труслив, словно раб. Хотя в анналах рода человеческого такой итог — редкостное исключение, он кажется мне драгоценным и утешительным, и я счастлив, что могу извлечь такую мораль из столь чудовищной истории.

Благодаря упорству юного героя, осужденному поначалу всеми его советниками, судьба Казани постигла еще один город — Астрахань. Освобожденная от соседства со своими прежними повелителями, татарами, Россия испустила вопль радости; однако русский народ, рожденный для повиновения, избавился от одного ига лишь для того, чтобы покориться другому, и, в робкой гордыне вольноотпущенника, возвел своего юного царя в сан божества. В ту пору Иван был столь же красив, сколь и мужествен: русские боготворили его.

Но внезапно утомленный царь решает предаться отдыху и в расцвете славы оставляет оружие; наскучив благословенными добродетелями, изнемогши под тяжестью лавровых венков и пальмовых ветвей, он навсегда отрекается от святых деяний. Он избирает иную участь: никому не доверять и, вместо того чтобы внимать мудрым советам своих друзей, карать их за тот страх, который они ему внушают. Однако безумие поселяется только в его сердце: разум остается здрав. Сколь бы сумасбродные поступки он ни совершал, речи его блистают рассудительностью, а письма — логичностью; их

язвительный тон обличает коварство его души, но делает честь пронизательности и ясности ума.

Первыми гибнут от руки Ивана его многолетние советники; он видит в них учителей, а следственно — предателей. Он приговаривает к ссылке или к смерти этих преступников, замахнувшихся на самодержавную власть, этих министров, имевших наглость долгое время почитать себя мудрее царя, — и вся нация соглашается с приговором. Советам этих неподкупных людей он обязан своей славой, но груз признательности ему не по силам; дабы его не упрекнули в неблагодарности, он убивает своих спасителей... Тогда зажигается в его груди дикая ярость; детские страхи пробуждают жестокость во взрослом муже; память о раздорах и неистовстве старших, оспаривавших друг у друга честь охранять его колыбель, ни на минуту не покидает душу Ивана, заставляя его видеть повсюду предателей и заговорщиков.

Поклонение самому себе со всеми вытекающими из него последствиями — вот на чем, с согласия всей России, зиждились государственная политика царя и его правосудие. Несмотря на свои злодеяния, Иван IV был любимцем нации; повсюду, кроме Московии, на него смотрели бы как на чудовище, извергнутое адом.

Устав лгать, в своем цинизме он доходит до того, что избавляет себя от необходимости притворяться, этой последней предосторожности заурядных тиранов. Он не скрывает своей кровожадности и, дабы не краснеть более при виде чужой добродетели, отдает последних неподкупных друзей на растерзание новоявленным фаворитам, не страдающим излишней шепетильностью.

Царь и его приспешники начинают состязаться в злодеяниях, о которых невозможно слышать без содрогания, причем — ибо Господь еще раз являет себя в этой почти сверхъестественной истории — лишь только наступает новая эпоха в нравственном бытии Ивана, изменяется и его внешность: если в ранней юности он был прекрасен, то, став преступником, немедля утрачивает прежнюю красоту.

Он теряет супругу — верх совершенства — и женится на другой, столь же кровожадной, сколь и он сам; она также умирает. К ужасу Греческой церкви, не разрешающей сочетаться браком более двух раз, он женится в третий раз, а затем в четвертый, пятый, шестой и седьмой!!! Точное число его женитьб покрыто мраком. Он прогоняет своих жен, убивает их, забывает об их существовании; ни одна женщина не может долго сопротивляться ни его ласкам, ни его гневу, а он, несмотря на подчеркнутое равнодушие к предметам своей давнишней страсти, мстит за их смерть с мелочной злобой, так что уход из жизни царской жены неизменно вселяет ужас в души всех его подданных. Меж тем чаще всего в смертях, служащих предлогом для стольких казней, виновен сам царь: иной раз он убивает жену собственноручно, иной раз отдает приказ наемным

убийцам. В трауре он видит лишь случай пролить чужую кровь и исторгнуть чужие слезы.

Рассказывая всем и каждому, что благочестивая царица, прекрасная царица, несчастная царица была отравлена царскими министрами, царскими советниками или приближенными к царю боярами, он называет имена тех, от которых ему хотелось избавиться.

Взгляните на него. Маска приросла к его лицу; он лжет по привычке, если не по необходимости, ведь ложь и тирания неразлучны! Ложь — пища развращенных душ и бесчестных правительств, подобно тому как истина — пища душ возрождающихся и обществ, устроенных разумно.

Никто не смел сомневаться в справедливости Ивановых наветов; яд его речей поражал людей насмерть, трупы громоздились вокруг него, но смерть была наименьшим из зол, грозивших его врагам. В жестокости своей он измышлял пытки, заставлявшие несчастных ждать смерти как избавления. Многоопытный палач, он наслаждался, с адской искусностью продлевая пытки, и в своей беспощадной предупредительности настолько же сильно опасался гибели своих жертв, могущей положить конец их мукам, насколько сильно сами они ее желали. Смерть — единственная милость, какую он жаловал своим подданным.

Мой долг — описать вам некоторые из новейших казней, изобретенных Иваном для так называемых преступников*: по его приказу людям обваривали часть тела кипятком, одновременно обливая остальные члены ледяной водой; с людей заживо сдирали кожу *в присутствии царя*, а затем бичевали их обнаженную, трепещущую плоть ремнями; глаза изверга наслаждались зрелищем их конвульсий, уши жадно впитывали их стоны; иной раз он сам приканчивал несчастных ударом кинжала, но чаще всего старательно оберегал голову и сердце, дабы продлить пытку; он приказывал отрубать жертвам члены так искусно, чтобы не затронуть туловище, а затем швырял обрубки голодным псам, которые жадно вырывали друг у друга эту жалкую плоть на глазах у наполовину изрубленных мучеников.

Прислужники царя тщательно, умело, с безжалостной сноровкой поддерживали трепещущие туловища, дабы жертвы могли как можно дольше присутствовать на этом собачьем пиру, где угощением служили их собственные члены, пиру, устроенном по приказу царя, в кровожадности не уступавшего тигру...

Палачи падали с ног от усталости; священники не успевали отпевать покойников. Для примерного наказания изверг избрал Новгород Великий. Весь город был обвинен в переходе на сторону поляков, но истинная вина новгородцев состояла в том, что они долгое время вели жизнь независимую и покрыли себя славой;

* Карамзин, из книги которого я почерпнул эти сведения, подтверждает свой рассказ документами.

поэтому прямо в стенах залитого кровью города свершилось множество незаконных казней; бесчисленные трупы, брошенные без погребения, гнили, отравляя течение Волхова; вдобавок, словно казни унесли недостаточно жизней, смертоносная эпидемия, истребляя тех новгородцев, что избежали эшафота, действовала заодно с палачами, утоляя ярость *батюшки*, — это нежное имя или, точнее, титул русские, добродушные в своем низкопоклонстве, присваивают машинально всем своим могущественным и обожаемым государям, каков бы ни был их нрав.

Во время этого безумного царствования ни один человек не следует естественному течению своей жизни, ни один не проживает ее до положенного природой конца: человек в нечестии своем притязает на роль Бога; сама смерть, низведенная до прислужницы палача, теряет свою грозность постольку, поскольку жизнь теряет цену. Тиран низвергнул ангела, и земля, напоенная слезами и кровью, безропотно смотрит, как посланец небес послушно следует за наемниками земного владыки. При Иване смерть становится рабыней человека. Этот всемогущий безумец поставил себе на службу саму чуму, которая с покорностью капрала истребляет целые страны, обреченные на гибель по прихоти монарха. Источник радости этого человека — чужое горе; источник его власти — убийства; жизнь его — бесславная война, война мирного времени, война против созданий, не способных защищаться, нагих, безвольных и отданных Господом под его священное покровительство; закон, которым он руководствуется, — ненависть к роду человеческому, владеющая им страсть — ужас, причем ужас двуединый: тот, какой ощущает он сам, и тот, какой он внушает окружающим.

Если он берет ся мстить, то его справедливый суд обрекает на гибель всех родственников виновного вплоть до самых дальних; истребляя целые семейства, убивая юных дев и стариков, беременных женщин и младенцев, он, не в пример заурядным тиранам, не ограничивается уничтожением нескольких подозрительных личностей, нескольких родов; подражая иудейскому Богу, он стирает с лица земли обитателей целых областей, не щадя никого: все, что жило, расстаётся с жизнью, — все, вплоть до зверей и рыб, ибо — возможно ли в это поверить? — он отравляет реки и озера. Он заставляет сыновей казнить... собственных отцов!.. и находятся такие, кто соглашается!!! Оказывается, любовь к жизни может заставить человека убить того, кто ему эту жизнь даровал.

Превращая человеческие тела в часы, Иван изобретает яды, оказывающие свое действие через строго определенные промежутки времени, и таким образом измеряет свой день чужими смертями; жертвы сходят в могилу, которую царь постоянно отверзает перед ними с веселящей убийцу безупречной точностью. Разве, назвав это веселье адским, мы погрешим против истины? Разве способен человек самостоятельно изобрести подобные источники наслаждения?

Разве посмел бы он осквернить священное слово «правосудие», применив его к этой нечестивой игре? Кто, читая подобные истории, может усомниться в том, что ад существует?

Царь-изверг самолично присутствует при пытках, совершаемых по его приказу; льющаяся кровь пьянит его, но не насыщает; чем больше людей гибнет и мучится на его глазах, тем большей радости он исполняется.

Ему доставляет удовольствие — да что там, он почитает своим долгом оскорбить жертву, и жало его насмешек оказывается острее лезвия его кинжалов.

И что же? видя все это, Россия молчит!.. Впрочем, подождите; скоро вы увидите, как она взволнуется, как поднимет свой голос. Не подумайте, однако, что она встанет на защиту поруганного милосердия; нет, она бросится отстаивать свое право жить под властью государя, только что нами описанного.

Казалось бы, народ должен хорошо знать изверга, столько раз являвшего миру свою кровожадность, — и народ его знает. Внезапно, то ли для того, чтобы позабавиться, испытывая терпение русских, то ли под действием христианского чувства (он притворялся, будто уважает святую веру; лицемерие могло в иные мгновения его сверхъестественной жизни оборачиваться истинной религиозностью, ибо благодать, этот божественный яд, проникает постепенно даже в сердца величайших преступников, и конец этому кладет только смерть, произносящая свой обвинительный приговор)... итак, под действием раскаяния или страха, из каприза, из слабости или из хитрости, но однажды Иван оставляет свой скипетр, а вернее сказать, свой топор, и бросает наземь царский венец. Тогда — единственный раз за все долгое царствование злодея — империя приходит в волнение; нация, которой грозит освобождение, просыпается; русские, дотоле остававшиеся немymi свидетелями, безвольными исполнителями стольких зверств, возвышают голос, и голос этот — глас народа, притязающий на звание гласа Божьего, — как это ни удивительно, оплакивает потерю государя-тирана!.. Быть может, подданные Ивана сомневались в его искренности и справедливо опасались, что, поверив его поддельному отречению, будут жестоко наказаны; кто знает, не была ли вся их любовь к государю порождена исключительно страхом перед тираном! Русские отточили страх до того, что он принял форму любви.

Москве угрожает чужеземное нашествие (царь верно выбрал время для покаяния); люди боятся анархии, иначе говоря, русские предвидят миг, когда им больше не удастся избежать свободы и придется думать и желать самостоятельно на благо самим себе; придется показать себя мужчинами и, что гораздо труднее, гражданами: то, что составило бы счастье другого народа, приводит этот в отчаяние. Одним словом, затравленная, ослабевшая от длительного бездействия Россия, не помня себя, падает к ногам Ивана, которого

боится меньше, чем самой себя; она молит этого неотвратимого победителя принять окровавленный венец и скипетр, она подбирает их с земли и вручает ему, выпрашивая у него дозволения вновь склонить голову под тем железным ярмом, которое ей никогда не надоест носить.

Если это — смирение, то оно чрезмерно даже для христиан, если это — трусость, то она непростительна, если это — патриотизм, то он нечестив. Когда человек смиряет гордыню, это — благо, когда он любит рабство, это — зло; религия укрощает, рабство унижает; между ними такая же разница, как между святостью и зверством.

Как бы там ни было, русские, принудив свою совесть к молчанию, ставят монарха выше Бога и почитают за добродетель принести все, что имеют, в жертву империи... ненавистной империи, чье существование зиждится исключительно на пренебрежении человеческим достоинством!!! Ослепленные монархическим идолопоклонством, преклонив колени перед политическим кумиром, которого они сами же и изваяли, русские, как в наш век, так и в век Ивана, забывают, что для человечества, включая и славян, уважение к истине и справедливости важнее судьбы России.

Здесь в античную драму вновь вмешивается сила сверхъестественная. Какое же будущее уготовливает Провидение обществу, платящему за продление своего бытия такую страшную цену? — этот вопрос повергает меня в трепет.

Как я уже многократно говорил, под пеплом Греческой империи тлеет в России новая империя — империя Римская. Страх сам по себе не способен внушить людям столь безграничное терпение. Нет, поверьте моему предчувствию, русскими владеет страсть, которая не была свойственна в такой степени никому, кроме римлян, и страсть эта зовется честолюбием. Честолюбие принуждает их, подобно Бонапарту, жертвовать всем, решительно всем, потребности длить свое существование.

Именно этот верховный закон предал нацию во власть Ивана IV; они согласны поклоняться тигру вместо бога — лишь бы не погибла их империя; такой политики придерживались русские во время царствования, положившего начало России, и в политике этой — стихийной или обдуманной, не важно, — долготерпение жертв пугает меня даже больше, чем неистовость тирана. Больше того, я с ужасом замечаю, что, как бы ни изменялись обстоятельства, те же взгляды русские исповедуют по сей день, так что, роди русская земля второго Ивана IV, все повторилось бы вновь.

Итак, полюбуйте картину, равной которой не найти в мировой истории: русские с отвагой и низостью людей, алчущих господства над миром, в слезах молят Ивана, чтобы он продолжал править ими... вы уже знаете, каким образом, и чтобы он сохранил тот порядок, который вызвал бы ненависть у любого другого народа, не охваченного фанатическим предчувствием грядущей славы.

Большие и малые, бояре и купцы, сословия и частные лица — словом, вся нация рыдает, заверяет царя в своей любви и клянется повиноваться ему во всем, лишь бы он не покинул ее, ибо для русских действовать по собственному усмотрению — такое страшное испытание, о каком они с их подлым патриотизмом боятся даже помыслить: ведь следствием этого испытания не может не стать хаос, губительный для империи рабов. В низости, достигшей подобных пределов, есть нечто величественное; это — римская добродетель, залог нерушимости Государства, но какого Государства, Боже милостивый!.. В этом случае средство бесчестит цель!

Между тем хищник, растрогавшись, соглашается исполнить просьбу пожираемых им жертв; он обещает стадам снова приняться за их истребление, он снова берет власть в свои руки, не только не посулив народу никаких послаблений, но, напротив, выставив абсурдные условия, направленные исключительно к удовлетворению его неистовой гордыни, и эти условия народ, мечтающий о рабстве, как другие мечтают о свободе, народ, алчущий собственной крови и готовый умереть ради забавы государя, принимает как великую милость: ведь он, этот народ, тревожится и трепещет, стоит ему вздохнуть свободно.

С этой поры тирания забирает над русскими все права и при этом продолжает быть столь кровавой, что подобной ей мы не найдем во всей мировой истории, ибо здесь равно безумны были и гонители, и гонимые. И государь, и нация — вся империя впала в неистовство, и последствия этого помрачения ума не изжиты и по сей день.

Грозный Кремль со всеми его красотами, с железными воротами, сказочными подземельями, неприступными крепостными стенами, уходящими далеко в небо, с галереями, бойницами и башнями кажется обезумевшему монарху, жаждущему уничтожить половину своих подданных, дабы мирно править другой половиной, недостаточно надежным убежищем. В его сердце, которое развращает само себя тем сильнее, чем больше злодеяний и преступлений совершает его обладатель, в сердце, где зверства и рождаемый ими страх творят каждый день новые опустошения, непостижимая, не имеющая видимой или, по крайней мере, положительной причины недоверчивость соединяется с бесцельной жестокостью; таким образом, самая постыдная трусость питает самую слепую кровожадность. Новый Навуходоносор, царь превращается в тигра.

Вначале он удаляется во дворец, расположенный неподалеку от Кремля, и устраивает из него неприступную крепость, а затем поселяется в *пустыни* — Александровской слободе. Это место становится его постоянной резиденцией. Здесь из самых развращенных, самых беспутных своих рабов он выбирает тысячу человек, призванных служить в особом войске — опричнине. Этому адскому полчищу он вверяет на целых семь лет благосостояние и жизнь русского

народа; я сказал бы: благосостояние, жизнь и честь, если бы слово «честь» имело какой-нибудь смысл применительно к людям, которым нравится, чтобы правители затыкали им рот кляпом.

Вот как Карамзин в девятом томе своей истории описывает Ивана в 1565 году, на девятнадцатом году его царствования:

«Он был велик ростом, строен; имел высокие плечи, крепкие мышцы, широкую грудь, прекрасные волосы, длинный ус, нос римский, глаза небольшие, серые, но светлые, пронизательные, исполненные огня, и лицо некогда приятное. В сие время он так изменился, что нельзя было узнать его: на лице изображалась мрачная свирепость; все черты исказились, взор угас, а на голове и в бороде не осталось почти ни одного волоса от неизъяснимого действия ярости, которая кипела в душе его. Снова исчислив вины бояр и подтвердив согласие остаться царем, Иоанн много рассуждал о должности венценосцев блюсти спокойствие держав, брать все нужные для того меры — о кратковременности жизни, о необходимости видеть далее гроба, и предложил устав *опричнины*: имя, дотоле неизвестное! Иоанн сказал, что он для своей и государственной безопасности учреждает особенных телохранителей. Такая мысль никого не удивила: знали его недоверчивость, боязливость, свойственную нечистой совести; но обстоятельства удивили, а следствия привели в новый ужас Россию... Царь выбирал тысячу телохранителей из князей, дворян, детей боярских * и давал им поместья в сих городах, а тамошних вотчинников и владельцев переводил в иные места. В самой Москве он взял себе иные улицы, откуда надлежало выслать всех дворян и приказных людей, не записанных в царскую тысячу... Как бы возненавидев славные воспоминания кремлевские и священные гробы предков, не хотел жить в великолепном дворце Иоанна III; указал строить новый... и подобно крепости оградить высокою стеною. Сия часть России и Москвы, сия тысящная дружина Иоаннова, сей новый двор как отдельная собственность царя, находясь, под его непосредственным ведомством, были названы *опричниною*».

Далее в том же томе описаны мучения, которым продолжали подвергаться бояре при Иване IV:

«4 февраля Москва увидела исполнение *условий*, объявленных царем духовенству и боярам в Александровской слободе. Начались казни мнимых изменников, которые будто бы вместе с Курбским умышляли на жизнь Иоанна, покойной царицы Анастасии и детей его. Первою жертвою был славный воевода, князь Александр Борисович Горбатый-Шуйский, потомок Святого Владимира, Всеволода Великого и древних князей суздальских, знаменитый участник в завоевании Казанского царства, муж *ума глубокого*, искусный в де-

* Боярские дети — владельцы земель, пожалованных царем; эта новая знать, числом до трехсот тысяч, была создана дедом Ивана IV Иваном III.

лах ратных, ревностный друг отечества и христианин. Ему надлежало умереть вместе с сыном, Петром, семнадцатилетним юношею *. Оба шли к месту казни без страха, спокойно, держа друг друга за руку. Сын не хотел видеть казни отца, и первый склонил под меч свою голову: родитель отвел его от плахи, сказав с умилением: «да не зрю тебя мертвого!» Юноша уступил ему первенство, взял отсеченную голову отца, поцеловал ее, взглянул на небо и с лицом веселым отдал себя в руки палача. Шурин Горбатого, Петр Ховрин (родом грек), окольный Головин, князь Иван Сухой-Кашин, и кравчий, князь Петр Иванович Горенский, были казнены в тот же день, а князь Дмитрий Шевырев посажен на кол. Пишут, что сей несчастный страдал целый день, но, укрепляемый верою, забывал муку и пел канон Иисусу. Двух бояр, князей Ивана Куракина и Дмитрия Немого, постригли; у многих дворян и детей боярских отняли имение; других с семействами сослали».

Набирая воинов в свою новую гвардию, царь отнюдь не ограничивался объявленной первоначально тысячею и вербовал опричников далеко не в одних только высших сословиях.

«Приводили, — пишет Карамзин, — молодых детей боярских, отличных не достоинствами, но так называемым удалством, распутством, готовностью на все... Иоанн предлагал им вопросы о роде их, о друзьях и покровителях: требовалось именно, чтобы они не имели никакой связи со знатными боярами; неизвестность, самая низость происхождения вменялась им в достоинство. Вместо тысячи царь избрал шесть тысяч и взял с них присягу служить ему верою и правдою, доносить на изменников, не дружить с *земскими* (то есть со всеми, не записанными в опричнину) **, не водить с ними хлеба-соли, не знать ни отца ни матери, знать единственно государя. За то государь дал им не только земли, но и дома и всю движимую собственность старых владельцев (числом двенадцать тысяч), высланных из пределов опричнины с голыми руками, так, что многие из них, люди заслуженные, израненные в битвах, с женами и детьми шли зимою пешком в иные отдаленные, пустые поместья».

О результатах этих адских установлений рассказано у того же Карамзина. Но подробностям, какими сопровождает свое повествование историк, не место в узких пределах нашей книги.

Стоило Ивану спустить с цепи свору опричников, как на страну обрушился шквал грабежей и убийств; новые любимцы тирана обирали соотечественников совершенно безнаказанно. Купцы и бояре с их крепостными, горожане, одним словом, все, кто не принадлежали к *избранному* кругу опричников, становились добычей

* Их казнили сразу — милость, которой могли бы позавидовать многие несчастные подданные Ивана.

** Таким образом, *земскими* были все русские, за исключением шести тысяч разбойников, состоявших в царской службе.

царевых *избранников*. Это страшное воинство сливалось, кажется, в некое единое существо, чьей душою был сам царь.

Грабители совершают ночные набеги на Москву и ее окрестности; всякое достоинство: добродетель, высокий род, богатство, очарование — губит его обладателя; женщины и девушки, блистающие красотой и имеющие несчастье слыть целомудренными, попадают в лапы насильников и становятся игрушкой царских фаворитов. Царь удерживает несчастных в своем логове, а когда они наскучивают ему, отправляет тех из них, кого не сгубил в подземельях нарочно для них изобретенными пытками, назад к мужьям или родителям. Вырвавшиеся из когтей тигра женщины возвращаются домой, где чахнут, не в силах снести позор.

Этого мало: не довольствуясь теми гнусностями, которые творит он сам, царь требует, чтобы в оргиях принимали участие его сыновья, и тем отнимает у своих бессильных подданных последнюю отраду — надежду на будущее.

Ожидание лучшего завтра для Ивана равносильно заговору против сегодняшнего монарха. Вдобавок, будь его сын не так развращен, не так подл, он, чего доброго, мог бы возвысить голос против отца? Впрочем... кто способен измерить глубину той бездонной пропасти, какую являла собою душа Ивана? Ему нравилось растлевать: ведь это все равно что убивать. Устав кромсать тела, он губил души, переходя от одного способа уничтожить к другому. Каждый развлекается по-своему.

В делах этот изверг представлял собою непостижимую смесь мощи и трусости. До тех пор, пока он считает себя сильнее противника, он угрожает ему; потерпев поражение — плачет и молит; он пресмыкается, позорит себя, свою страну, свой народ — и никто не противится этому, никто не возмущается подобной низостью!!! Даже стыд — та кара, что последней настигает нации, изменившие самим себе, не отверзает русским глаза!..

Крымский хан сжигает Москву, царь спасается бегством; вернувшись, он находит на месте столицы одни развалины; его появление пугает горюющих на пепелище жителей больше, чем нашествие врага. Однако никто ни единым словом не напоминает монарху о том, что покидать свой пост в минуту опасности — недостойно мужчины.

Поляки и шведы убеждаются поочередно то в его крайней спесивости, то в его безграничной трусости. Во время переговоров с крымским ханом он опускается так низко, что предлагает татарам Казань и Астрахань, некогда отвоеванные у них с такой славой. Славу он чтит ничуть не больше, чем все остальное.

Позже он уступит Стефану Баторию Ливонию, ради завоевания которой его народ в течение нескольких столетий потратил столько сил, пролил столько крови; и все же, несмотря на бесконечные предательства самодержца, русские, чье подобострастие не имеет

предела, ни на мгновение не раскаиваются в своей покорности, столь же разорительной, сколь и унижительной: отвага обошлась бы этой ополчившейся против самой себя нации куда дешевле. Даже Карамзин, наш современник, считает своим долгом описать постыдное поведение русского монарха в словах, призванных смягчить неизбежное, казалось бы, негодование: «Мы писали о ратных учреждениях сего деятельного Царствования: своим *малодушием срамя* наши знамена в поле, Иоанн оставил России войско, какого она не имела дотоле: лучше устроенное и многочисленнейшее прежнего». Последнее утверждение бесспорно, однако как не прибавить к нему несколько слов в защиту человеколюбия и славы отечества?

Именно в царствование Иоанна была, можно сказать, открыта и завоевана отважными русскими искателями приключений Сибирь. Ивану IV было суждено оставить в наследство своим потомкам это средство угнетения.

Иван питает безотчетное благорасположение к Елизавете Английской: два тигра издали угадывают, узнают друг друга; различие обстоятельств, в которых действуют два монарха, не может скрыть родства их натур. Иван — тигр на воле, Елизавета — тигр в клетке.

По-прежнему пребывая во власти вымышленных страхов, московский царь пишет послание жестокосердой дочери Генриха VIII, удачливой сопернице Марии Стюарт, прося, на случай, если удача отвернется от него, убежища в ее владениях. Елизавета отвечает письмом пространным и нежным. Карамзин цитирует по-английски лишь отдельные его фрагменты, которые я перевел дословно; оригинал, по словам историка, хранится в русских архивах:

«Господин брат наш царь и великий князь
Иван Васильевич, повелитель всея Руси!

Если бы когда-либо постигла вас, господин брат наш, такая несчастная случайность, по тайному ли заговору, по внешней ли вражде, что вы будете вынуждены покинуть ваши страны и пожелаете прибыть в наше королевство и во владения наши с благородною царицею, супругою вашею, и с любезными вашими детьми, князьями, — мы примем и будем содержать ваше высочество с такими почестями и учтивостями, какие столь высокому государю приличествуют, и будем усердно стараться все устроить в удобность желанию вашего величества, к свободному и спокойному проведению жизни вашего высочества со всеми теми, которых вы с собою привезете; вам, царь и великий князь, предоставлено будет исполнять христианский закон, как вам будет угодно; и мы не посягнем ни в каком отношении на оскорбления вашего величества или кого-либо из ваших подданных, не окажем никакого вмешательства в веру и закон вашего высочества, ниже отлучим ваше высочество от ваших домочадцев или допустим насильное отнятие от вас кого-либо из ваших. Сверх того назначим мы вам, царь и великий князь, в нашем

королевстве место для содержания *на вашем собственном счете* на все время, пока будет вам угодно оставаться у нас. Обещаем сие по силе сей грамоты и словом христианского государя, в свидетельство чего и в большее укрепление сей грамоты мы, королева Елизавета, подписываем оную собственною нашею рукою в присутствии нижепоименованных вельмож наших и советников:

Великого канцлера Николая Бэкона (отца знаменитого философа), лорда Уильяма Парра, маркиза Нортгемптонского, кавалера ордена Подвязки, Генри, графа Арондела, кавалера сказанного ордена, Роберта Дедлея, графа Лейчестерского, нашего конюшего и кавалера ордена Подвязки. Далее следуют еще несколько имен, из коих последним — кавалер Сесил, первый секретарь».

В заключение королева добавляет: «Обещаем совместными усилиями сражаться против общих наших врагов и хранить верность всем данным здесь обещаниям до той поры, пока Господу не угодно будет прибрать нас к себе, чему порукою королевское слово и честь.

В нашем дворце Хэмптон-Корт, 18 мая двенадцатого года нашего царствования и 1570 года от Рождества Христова».

Дружба эта длилась до самой смерти царя, который даже подумывал одно время о вступлении в восьмой брак — с Марией Гастингс, родственницей королевы Англии: однако слава Ивана IV, покорившая мужественный ум Елизаветы, оставила равнодушной английскую невесту; к счастью, далеко не все сердца пленяются жестокостью.

Переговоры касательно этого брака были начаты английским лейб-медиком Робертом Якоби, которого Елизавета послала ко двору *своего друга* незадолго до смерти этого последнего; Якоби вез с собою письмо следующего содержания: «мужа искуснейшего в целении болезней уступаю тебе, *моему брату кровному*, не для того, чтобы он был не нужен мне, но для того, что тебе нужен. Можешь смело верить ему свое здравие. Посылаю с ним, в удобность твою, аптекарей и цирюльников, *волею и неволею*, хотя мы сами имеем недостаток в таких людях».

Подобные послания позволяют вполне постичь характер уз, какими наклонность к деспотизму и торговые интересы, для англичан первейшие из всех, связывали двух властителей. Довершим наш очерк Ивановой тирании.

Однажды ему взбрело на ум облачиться в монашеское платье; так же нарядил он и своих пособников, однако и переодетый монахом, царь продолжал устрашать небо и землю бесчеловечностью и чудовищным распутством. Злодеяния Ивана притупляют у народов способность к возмущению; как ни истошай самодержец их терпение, ему не видно конца! На ненасытную жестокость выжившего из ума повелителя рабы отвечают безграничным смирением: русские хотят жить под властью этого монарха, они любят его,

как бы неистов и развращен он ни был; жалея царя за его страхи, они охотно расстаются с жизнью ради его спокойствия. Им не нужно большего счастья, большей независимости, большего уважения — лишь бы Иван оставался царем и правил ими. Ничто не утоляет вечную жажду этих смиренных мучеников пребывать в рабстве; никогда еще скоты не были более великодушны, вернее сказать, более слепы в своей покорности... Нет, послушание, доведенное до таких размеров, это уже не терпение, это страсть!

Нации юные так истово веруют в повсеместное присутствие Бога, в его способность вмешиваться в малейшие земные происшествия, что им никогда не приходит на мысль объяснить движение человеческой истории действиями самого человека; по их понятиям, все, что свершается, свершается по Господней воле: нет таких бранных благ, от каких истинный верующий не отказался бы с радостью. Для того, кто алчет блаженства избранных, жизнь — пустяк. Чья бы рука ни прекратила течение ваших дней, она сотворит благо, а не зло. Вы поступите малым ради великого, вы претерпите минутное страдание ради вечного блаженства; что значит власть над всей землей сравнительно с добродетелью — тем единственным сокровищем, какое тиран не в силах отнять у человека, ибо палач стократно умножает святость жертв, с набожным смирением глядящих в глаза смерти?!

Так рассуждают народы, чье призвание — покорно сносить любые испытания; однако нигде эта опасная религия не рождала столько фанатиков, сколько их встречалось и встречается по сей день в России.

Невозможно без трепета слышать о том, каким целям служат в этой стране религиозные истины; услышав же, остается лишь преклонить колени и молить Господа об одной-единственной милости — чтобы толкователями его верховной мудрости были люди свободные; ведь священник-раб — это всегда лгун и вероотступник, а иногда еще и палач. Всякая *национальная Церковь* — плод раскола и, следственно, лишена независимости. Святилище, однажды оскверненное бунтом, превращается в лабораторию, откуда под видом лекарства исходит яд. Истинный священник — гражданин мира и паломник в страну небесную. Покоряясь как человек законам своей страны, как проповедник он не должен признавать над собою иного судьи, кроме первосвященника — единственного независимого прелата, какой существует на земле. Именно независимость земного главы Церкви сообщает папское достоинство всем католическим священникам, и в ней же — зарок нерушимости той власти, какую обладает папа римский. Все прочие священники возвратятся в лоно матери-Церкви, если признают святость своей миссии, а признав, оплатят свое позорное отступничество. Тогда светская власть не сумеет уже отыскать пастырей, готовых оправдать ее нападки на власть духовную. Церкви схизматические

и еретические, исповедующие национальные религии, уступят место Католической Церкви, религии рода человеческого; ведь, согласно превосходному выражению господина де Шатобриана, протестантизм — религия князей.

Впрочем, я обязан отметить, что, несмотря на общеизвестную робость русского духовенства, во время непостижимого царствования Ивана IV именно Церковь больше всех противилась деспотизму. Позже Петр I и Екатерина II сполна отомстили ей за смелость, выказанную при их предшественнике. Свершилось: русский священник, бедный, униженный, развращенный, лишенный всякого авторитета, всякого сверхъестественного могущества, обыкновенный человек из плоти и крови, влечется за триумфальной колесницей своего врага, которого по-прежнему именует своим повелителем; он стал тем, чем пожелал сделать его этот повелитель: ничтожнейшим из рабов самодержавия; Иван IV мог бы порадоваться твердости Петра I и Екатерины II. Нынче вся Россия, от края и до края, твердо знает, что гласу Божьему не заглушить голоса императора.

Это — пропасть, куда неизбежно скатятся рано или поздно все национальные Церкви; обстоятельства, возможно, изменятся — нравственное раболепство останется неизменным; везде, где священник отрекается от своих прав, их присваивает Государство. Создать секту — значит лишить священство свободы. Там, где Церковь отпала от основного древа, совесть пастыря — не больше, чем иллюзия; там вера утрачивает былую чистоту, а милосердие, этот небесный огонь, сжигающий сердца святых, угасает в людских душах!!!

На смену подаянию приходят приюты для бедных, на смену благодати — разум, который в делах веры — не что иное, как лицемерный пособник материи.

Вот в чем причина глубочайшей ненависти, которую питают пасторы и вообще все сектанты к католическому священнику. Все они сходятся на вражде к нему, ибо священник — только он; другие разглагольствуют, он учит.

Дабы дополнить портрет Ивана IV, следует вновь обратиться к Карамзину; завершая свой рассказ, я приведу самые характеристические отрывки из девятого тома его «Истории»:

«Сие местничество оказывалось и в службе придворной (как видите, во чреве хищного зверя царил своеобразный этикет): любимец Иоаннов, Борис Годунов *, новый кравчий (в 1578 году), судился с боярином, князем Василием Сицким, которого сын не хотел служить наряду с ним за столом государевым; несмотря на боярское достоинство князя Василия, Годунов царскою грамотою был объявлен выше его *многими местами*, для того, что дед Борисов в старых разрядах стоял выше Сицких. — Дозволяя Воеводам спо-

* Тот самый, что позже зарезал наследника и захватил престол.

речь о первенстве, Иоанн не спускал им оплошности в ратном деле: например, знатного сановника, князя Михаила Ноздроватого, *высекли на конюшне за худое распоряжение при осаде Шмильтена*».

Вот как почитал царь достоинство дворянства и армии. Описанный Карамзиным случай, происшедший в 1577 году, напоминает мне другой эпизод русской истории, совсем недавний, ибо случился он в наши дни. Я нарочно stalkиваю разные эпохи, чтобы доказать, что разница между прошлым и настоящим этой страны не так велика, как кажется. Дело происходило в Варшаве при великом князе Константине; Россией правил император Александр, человеколюбивейший из царей.

Однажды Константин командовал смотром гвардии; желая похвалиться перед неким знатым иностранцем дисциплиной, царящей в русской армии, он спрыгивает с коня, подходит к одному из генералов... ГЕНЕРАЛОВ!.. и, ни в чем его не упрекая, хладнокровно пронзает ему ногу шпагой. Генерал не шевельнулся и не испустил ни единого стога: его унесли после того, как великий князь вытащил шпагу из раны. Этот рабский стоицизм подтверждает изречение аббата Гальяни: «Отвага — не что иное, как очень сильный страх!»

Зрителям, наблюдавшие эту сцену, также не проронили ни слова. Напомним: это случилось в XIX столетии, на площади посреди Варшавы.

Как видите, нынешние русские достойны подданных Ивана IV, и дело тут вовсе не в безумии Константина. Положим даже, что он в самом деле был умалишенным, — ведь поступки его неизменно оскорбляли общественные приличия. Но позволять человеку, так много раз выказывавшему несомненные признаки безумия, командовать армией, править царством — значит расписываться в отвратительном презрении к человечеству, длить издевательства над людьми, столь же пагубные для власть имущих, сколь и оскорбительные для их жертв. Впрочем, лично мне не кажется, что великий князь Константин был не в своем уме; я вижу в его поступках лишь необузданную жестокость.

Я много раз слышал, что безумие — наследственная болезнь членов русской императорской фамилии: на мой взгляд, те, кто так говорят, просто льстят Романовым. Я полагаю, что виной всему не дурное здоровье индивидов, а порочное устройство самого общества. Абсолютная власть, если она в самом деле абсолютна, способна в конце концов расстроить самый здравый рассудок; деспотизм ослепляет людей; испив из чаши тирании, хмелеют и государь и народ. История России, на мой взгляд, доставляет неопровержимые доказательства этой истины.

Продолжим наши выписки из Карамзина, который, в свою очередь, цитирует ливонского летописца. На сей раз перед нами предстанут рабелепный посол и боярин, подвергаемый пыткам, причем оба в равной степени боготворящие своего повелителя и палача.

«Но сии люди, — пишет историк ливонский, — ни от казней, ни от бесчестия не слабели в усердии к их монарху. Представим достопамятный случай. Чиновник Иоаннов, князь Сугорский, посланный (в 1576 году) к императору Максимилиану, занемог в Курляндии. Герцог, из уважения к царю, несколько раз навещивался о больном чрез своего министра, который всегда слышал от него сии слова: *жизнь моя ничто: лишь бы государь наш здравствовал!* Министр изъявил ему удивление. «*Как можете вы, — спросил он, — служить с такою ревностию тирану?»* Князь Сугорский отвечивал: «*Мы, русские, преданы царям, и милосердным, и жестоким*». В доказательство больной рассказал ему, что Иоанн незадолго пред тем велел, ЗА МАЛУЮ ВИНУ, *одного из знатных людей* посадить на кол; что сей несчастный жил целые сутки, в ужасных муках говорил с своею женою, с детьми и беспрестанно твердил: *Боже! помилуй царя!..* * То есть (добавляет от себя Карамзин) россияне славились тем, чем иноземцы укоряли их: слепую, неограниченную преданностию к монаршей воле в самых ее безрассудных уклонениях от государственных и человеческих законов».

Не дерзая выписывать эти удивительные эпизоды страница за страницей, я стараюсь выбирать наиболее выразительные. Поэтому здесь я ограничусь фрагментами из переписки царя с одним из его ставленников.

«Один из любимцев Иоанновых, Василий Грязной, был взят крымцами в разезде на Молошних Водах: хан предлагал Царю обменять сего пленника на мурзу Дивия. Иоанн не согласился, хотя и жалел о судьбе Грязного, хотя и писал к нему *дружественные письма*, в коих, по своему характеру, милостиво издевался над его заслугами, говоря: «Ты мыслил, что воевать с крымцами так же легко, как шутить за столом моим. Они не вы: не дремлют в земле неприятельской и не твердят беспрестанно: *время домой!* Как вздумалось тебе назваться знатным человеком? Правда, что мы, окруженные боярами изменниками, должны были, удалив их, приблизить вас, низких рабов, к лицу нашему; но не забывай отца и деда своего! Можешь ли равняться с Дивием? Свобода возвратит тебе мягкое ложе, а ему меч на христиан. Довольно, что мы, жалуя рабов усердных, готовы искупить тебя нашею казною».

Ответ слуги не уступает письму хозяина; мало того, что в нем высказалось сердце человека подлого, — по нему можно составить представление о шпионстве, которому с той поры и по сей день подвергаются в России иностранцы. Конечно, далеко не все русские были бы способны на такие преступления, как Грязной, но я не в силах удержаться от мысли, что многие из них охотно начертали бы послания, похожие, по крайней мере, по характеру выраженных в них чувств, на письмо этого презренного существа; вот его текст:

* Эта преданность жертвы тирану — род фанатизма, присущий азиатам и русским.

«Нет, государь; я не дремал в земле неприятельской: *исполняя приказ твой, добывал языков для безопасности Русского царства*; не верил другим: сам день и ночь бодрствовал. Меня взяли израненного, полумертвого, оставленного робкими товарищами. В бою я губил врагов христианства, а в плену твоих изменников: никто из них не остался здесь в живых; *все тайно пали от руки моей!*.. * Шутил я за столом государевым, чтобы веселить государя; ныне же умираю ЗА БОГА и ЗА ТЕБЯ; еще дышу, но единственно по особенной милости Божией, и то из усердия к твоей службе, да возвращуся вновь тешить Царя моего. Я телом в Крыму, а душою у Бога и у тебя. Не боюсь смерти: боюсь только опалы».

Такую дружескую переписку вел царь со своим ставленником.

Карамзин добавляет: в таких-то людях Иван имел нужду «для своей забавы и (как он думал) безопасности».

Однако все происшедшее во время этого удивительного царствования, удивительного прежде всего своей продолжительностью и спокойствием, бледнеет перед самым ужасным злодеянием царя.

Мы уже сказали, что, объятый подлым страхом, трепеща при одном упоминании Польши, Иван почти без боя уступил Баторию Ливонию — область, которую русские уже несколько столетий пытались отвоевать у шведов, поляков, ливонцев, а главное, у завоевавших ее и ею правивших рыцарей-меченосцев. Для России Ливония была воротами в Европу, средством сообщения с цивилизованным миром; с незапамятных времен о ней мечтали русские цари, за них проливали кровь их подданные: под действием необъяснимого приступа страха спесивейший и одновременно трусливейший из монархов оставляет вожделенную добычу противнику без боя, без всякой видимой причины, одним росчерком пера, имея в своем распоряжении огромную армию и неисчислимые богатства; послушайте же, каково оказалось первое следствие этого предательства.

Царевич, любимый сын Ивана IV, которого он всегда баловал, которого воспитывал своим примером, приучая вершить злодеяния и предаваться самому грязному распутству, ощущает при виде бесчестного отступления царя-отца прилив стыда; он не смеет возражать, ибо знает Ивана, но, тщательно избегая любых слов, в которых можно было бы расслышать несогласие, просит позволения отправиться на войну против поляков.

«Тебе не по нраву моя политика — стало быть, ты предатель! — восклицает царь. — Кто знает, может быть, ты уже замыслил поднять бунт против отца?»

Охваченный внезапной яростью, он хватает свой посох и что есть мочи ударяет сына по голове; один из приближенных хочет удержать руку тирана; Иван бьет еще раз — царевич падает: рана его смертельна!

* При дворе императора Николая можно всякий день увидеть вельможу, прозванного «отравителем»; слыша это свое прозвище, он улыбается.

Тут разыгрывается единственная в жизни Ивана IV трогательная сцена. Природа не знает ничего подобного: лишь поэзии по силам изобразить добродетели настолько величественные, что они выходят за рамки человеческого понимания.

Агония царевича длилась несколько дней; царь, едва постигнув, что он собственной рукою уничтожил самое дорогое ему существо, впал в отчаяние, столь же буйное и бешеное, сколь бешеной была его ярость; он катался в пыли, испуская дикие вопли, он смешивал свои слезы с кровью сына, целовал его раны, молил небо и землю сохранить несчастному царевичу жизнь, которую сам отнял, призывал к себе докторов, колдунов, сулил им богатства, почет, власть, лишь бы они возвратили ему наследника престола, средоточие его нежных чувств... нежных чувств Ивана IV!..

Все тщетно! Неизбежная смерть приближается; отец поднял руку на сына; Господь вынес приговор обоим: сын умрет!.. Но пытка окончится не сразу; Иван узнает, что такое — сострадать чужой боли.

Четыре дня юноша, полный жизни, боролся со смертью.

Как же провел он эти четыре дня? Как, по-вашему, этот отрок, развращенный отцом, — не забудьте об этом! — несправедливо заподозренный в предательстве, оскорбленный и смертельно раненный им, — как отомстил он за утрату всех надежд и четырехдневную пытку, на которую обрекло его небо, дабы преподать урок всем живущим на земле и, если возможно, наставить на путь истинный его убийцу?

Он провел эти четыре дня в молитвах: он просил небо за царя, он утешал своего губителя, ни на минуту не расстававшегося с ним, оправдывал его, твердил ему, выказывая тонкость чувств, достойную сына лучшего отца, что возмездие, каким бы суровым оно ни казалось, справедливо, ибо сын, ропщущий, пусть даже тайком, против решений венценосного родителя, заслуживает смерти. А ведь смерть была уже у дверей, и говорящим владел не страх, но предрассудок, политическая вера.

Чуя приближение своего последнего часа, царевич тревожится лишь о том, чтобы скрыть свои ужасные мучения от убийцы, которого он почитает, как почитал бы лучшего из отцов и величайшего из царей: он умоляет Ивана удалиться.

Когда же царь, вместо того чтобы уступить просьбам умирающего, бросается в припадке раскаяния на постель сына, а затем падает на колени, дабы попросить запоздалого прощения у своей жертвы, этот юноша — героический образец сыновней почтительности — черпает сверхъестественную мощь в сознании своего долга; стоя одной ногой в могиле, он каким-то чудом еще на мгновение продлевает свое земное бытие, дабы повторить еще более убедительно и торжественно, что он виновен, что гибель его справедлива и даже чересчур легка; сила духа, сыновняя любовь и уважение

к царской власти помогают ему скрыть от отца муки юного тела, гибнущего в неравной борьбе со смертью. Уходя в мир иной, гладиатор прощает своему гонителю не из низкой гордыни, но из милосердия — единственно ради того, чтобы смягчить угрызения совести, терзающие преступного родителя. До последнего вздоха царевич уверяет отца в своей преданности законному правителю России и наконец, целуя убившую его руку, благословляя Господа, свою страну и своего отца, засыпает вечным сном.

Здесь гнев мой переходит в благочестивое изумление; я восхищаюсь чудесными дарами человеческой души, памятующей о своем божественном происхождении повсюду, даже там, где царят самые порочные обычаи и установления... Но я не дерзаю продолжать: страшно помыслить, что рабская покорность не покинула славного мученика даже у врат рая.

Но нет! смерть чуждается лести везде, даже в России; нет, нет, этот случай убеждает нас лишь в той прекрасной мысли, что самое растленное общество не способно извратить первоначальный замысел Провидения и что человек, являющийся, по Платону, падшим ангелом, всегда может сделаться святым.

Царевич испускает дух в подмосковном логове тирана, именуемом Александровской слободой. Какая трагедия! Ни языческий Рим, ни Рим христианский не зрели сцен, подобных прощанию Ивана IV с его великодушным отпрыском.

Хотя русские и не умеют быть человечными, иногда им удается воспарить выше всего человечества. Они опровергают общеизвестную поговорку: «Кто на многое горазд, тому и малое нипочем».

Карамзин, судя Ивана более строго, чем я, сомневается в неприговорности его горя. В самом деле, горевал царь недолго — но, как кажется мне, искренно.

Впрочем, нужно признать, что испытание это не смягчило характер изверга, и он продолжал до конца своих дней упиваться кровью невинных и коснеть в самом гнусном разврате.

Перед смертью царь не раз приказывал отнести себя в дворцовую кладовую. Там он жадно обводил угасающим взором свои сокровища — бесполезные богатства, ускользавшие из его рук вместе с жизнью!

На пороге смерти дикий зверь становится сатиром и в припадке отвратительного любопытства оскорбляет собственную невестку, юную и ангельски чистую супругу своего второго сына Федора, ставшего после смерти царевича Ивана наследником престола. Молодая женщина приближается к смертному одру царя, дабы утешить его в предсмертных муках... но внезапно отшатывается и убегает, испутив вопль ужаса.

Так умер Иван IV в Кремле и... как ни трудно в это поверить, был оплакан, горько оплакан всей нацией: вельможами и крестьянами, горожанами и духовенством — так, как если бы он был

лучшим из монархов. Эти проявления скорби, вольные или невольные, не слишком утешительны для тех монархов, чья жизнь представляет собою цепь благодеяний. Повторим же еще и еще раз, что ничем не сдерживаемый деспотизм одурманивает ум человеческий. Сохранить рассудок после двадцатилетнего пребывания на российском престоле может либо ангел, либо гений, но еще с большим изумлением и ужасом я вижу, как заразительно безумие тирана и как легко вслед за монархом теряют разум его подданные; жертвы становятся старательными пособниками своих палачей. Вот урок, какой преподает нам Россия.

Подробная и совершенно достоверная история этой страны оказалась бы, вероятно, поучительнейшей из книг, однако создать ее было невозможно. Карамзин, попытавшийся это сделать, льстил своим героям; вдобавок он не дошел до воцарения династии Романовых. Впрочем, даже моего короткого и приглаженного рассказа довольно, чтобы дать вам понятие о событиях и людях, к которым путешественник невольно обращает мысленный взор при виде страшных кремлевских стен.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Заклячая очерк русской истории, написанный мною уже после возвращения в Петербург, я хочу еще раз повторить, что искусство не способно выразить впечатление, производимое архитектурой этой адской крепости; стиль дворцов, тюрем и часовен, именуемых здесь соборами, не похож решительно ни на что из виденного мною прежде. Кремль не имеет образца: он выстроен не в мавританском, не в готическом, не в античном и даже не в византийском вкусе, он не напоминает ни Альгамбру, ни египетские пирамиды, ни греческие храмы (какую бы эпоху мы ни взяли), ни архитектурные памятники Индии, Китая, Рима... Это, с позволения сказать, царская архитектура.

Иван — идеальный тиран, Кремль — идеальный дворец тирана. Царь — житель Кремля; Кремль — жилище царя. Я не любитель новых слов, особенно если сам еще не привык к ним, но царская архитектура — словосочетание, необходимое любому путешественнику; никакие другие слова не способны выразить впечатления от Кремля; кто знает, что такое царь, поймет меня.

Вообразите себе однажды, в горячем бреду, что вы прогуливаетесь по обиталищу людей, которые только что жили и умерли на ваших глазах, и вы сразу мысленно перенесетесь в Москву — город великанов посреди города людей, город, где здания громоздятся одно на другое, где приют палачей соседствует с приютом жертв. История помогает уяснить, как они возникли и как случилось, что один из них разместился внутри другого.

В своем описании города, населенного допотопными гигантами,

господин де Ламартин, не видевший Кремля, угадал его облик. Несмотря на скорость, с какою было сочинено «Падение ангела», а быть может, благодаря этой скорости, приближающей поэму к импровизации, в ней есть первоклассные красоты; «Падение ангела» — фреска, французская же публика принялась рассматривать ее в лупу; она стала сравнивать свежий плод вдохновения с законченными произведениями поэта; публика ошиблась — это иной раз случается и с публикой.

Признаюсь, мне самому для того, чтобы оценить по достоинству этот эпический набросок, пришлось добраться до стен Кремля и перелистать кровавые страницы «Истории государства Российского». Как ни робок Карамзин, чтение его книги поучительно, ибо, несмотря на всю осторожность историка, несмотря на его русское происхождение и предрассудки, привитые воспитанием, книга эта написана честным пером. Господь призвал Карамзина отомстить за поруганных соотечественников, — быть может, помимо его и их воли. Не допускай он тех недомолвок, в которых я его упрекаю, ему не позволили бы писать: в этой стране честность кажется бунтом, а моя искренность будет объявлена предательством. «В подобных словах отзываться о стране, где вас так прекрасно приняли!» Что же сказали бы они, если бы принимали меня дурно? Что моя книга — низкая месть. Я предпочитаю прослыть неблагодарным. Из всех этих соображений, не имеющих отношения к существу дела, можно извлечь один-единственный вывод: говорить о России правду дозволено лишь тому, кто вообще не был там принят.

Прибавлю к уже сказанному отрывки, которые, как мне кажется, разительным образом подтверждают то мнение о русских и об их стране, какое составилось у меня в ходе моего путешествия.

Начну с извинений, которые Карамзин счел своим долгом принести деспотической власти после того, как осмелился изобразить власть тираническую; смесь отваги и боязни, заметная в этом фрагменте, внушит вам, как внушила мне, восхищение, смешанное с состраданием к историку, которому обстоятельства до такой степени препятствуют изъяснить свои мысли.

«Сверх ига монголов, Россия должна была испытать и грозу самодержца-мучителя; устояла с любовью к Аристократии *, ибо верила, что Бог посылает и язву, и землетрясение, и тиранов; не преломила железного скиптра в руках Иоанновых, и двадцать четыре года ** сносила губителя, вооружаясь единственно молитвою и терпением, чтобы, в лучшие времена, иметь Петра Великого, Екатерину Вторую (история не любит именовать живых). В смиренной великодушном страдальцы умирали на лобном месте, как греки

* Я подозреваю, что это ошибка переводчика, и вместо Аристократии следовало бы написать Автократии (Самодержавию), однако я цитирую перевод дословно.

** Таким сроком ограничил Карамзин тиранию Ивана IV, хотя в общей сложности этот царь правил пятьдесят лет.

в Термопилах *, за отечество, за веру и верность, не имея и мысли о бунте **. Напрасно некоторые чужеземные историки, извиняя жестокость Иоаннову, писали о заговорах, будто бы уничтоженных ею: сии заговоры существовали единственно в смутном уме царя, по всем свидетельствам наших летописей и бумаг государственных. Духовенство, бояре, граждане знаменитые не вызвали бы зверя из вертепа слободы Александровской, если бы замышляли измену, возводимую на них столь же нелепо, как и чародейство ***. Нет, тигр упивался кровию агнцев — и жертвы, издыхая в невинности, последним взором на бедственную землю требовали справедливости, умильного воспоминания от современников и потомства!

Несмотря на все умозрительные изъяснения, характер Иоанна, Героя добродетели в юности, неистового кровопийцы в летах мужества и старости, *есть для ума загадка, и мы усомнились бы в истине самых достоверных о нем известий, если бы летописи других народов не являли нам столь же удивительных примеров*».

Продолжая свою защитительную речь, Карамзин прибегает к сравнениям, слишком лестным для Ивана IV, и называет имена Калигулы, Нерона и Людовика XI, а затем восклицает: «Изверги вне законов, вне правил и вероятностей рассудка: сии ужасные метеоры, сии блудящие огни страстей необузданных озаряют для нас, в пространстве веков, бездну возможного человеческого разврата, да видя содрогаемся! Жизнь тирана есть бедствие для человечества, но его история всегда полезна для государей и народов: вселять омерзение ко злу есть вселять любовь к добродетели — и слава времени, когда вооруженный истиною деесписатель может, в правлении Самодержавном, выставить на позор такого властителя, да не будет уже впредь ему подобных! Могилы бесчувственны; но живые страшатся вечного проклятия в истории, которая, не исправляя злодеев, предупреждает иногда злодейства, всегда возможные, ибо страсти дикие свирепствуют и в веки гражданского образования, веля уму безмолвствовать или рабским гласом оправдывать свои иступления».

Далее следует похвальное слово извергу. Все эти нравоучительные увертки, все эти риторические предосторожности незаметно оборачиваются кровавой сатирой; подобная робость стоит смелости, ибо звучит как разоблачение — разоблачение еще более разительное оттого, что невольное.

Тем не менее русские, вдохновляемые одобрением императора, гордятся талантом Карамзина и восхищаются им из послушания,

* Истинно русское сравнение, показывающее, как мало пользы приносит изучение истории, если из нее извлекаются столь натужные выводы. Впрочем, повторю еще раз, Карамзин был человек выдающегося ума; однако он родился и жил в России.

** И вы смеете называть этих низкопоклонников страдальцами, мучниками!

*** Переписываю перевод слово в слово.

хотя гораздо правильнее с их стороны было бы вышвырнуть его книгу из всех библиотек и выпустить другое, исправленное ее издание, объявив первое апокрифом, а всего лучше — сказать, что этого первого издания никогда не существовало, и первым вышло в свет издание второе.

Разве не так поступают русские со всякой неприятной для них истиной? В Санкт-Петербурге опасным людям затыкают рот, а неудобные факты изображают небывшими; благодаря этому власти могут позволить себе все, что угодно. Если русские не примут мер, чтобы защитить деспотизм от ударов, наносимых ему книгою Карамзина, история почти наверняка отомстит им, ибо в этой книге хотя бы отчасти приоткрыта правда о России.

Европейцы, напротив, должны произносить имя Карамзина с благодарностью: разве чужестранцу дозволено было бы производить разыскания среди тех бумаг, к каким получил доступ русский сочинитель, проливший свет на некоторые эпизоды самой темной из историй? Уже одного этого обстоятельства довольно для того, чтобы осудить деспотическое правление. Деспот может властвовать только в безмолвии и в потемках!!!

Кажется, однако, Господу угодно, чтобы эта удивительная страна пребывала под пятою деспотов: ослепляя народ, писателей и вельмож, он, однако, — я вынужден это признать — учит абсолютных монархов умерять жар огня в пекле; тирания сделалась нынче менее тягостной, хотя принципы ее не изменились и по сей день слишком часто приводят к ужасающим последствиям: вспомним Сибирь... вспомним подземелья Петровской крепости в Петербурге, московские тюрьмы, крепость Шлиссельбург и многие другие, неизвестные мне, немые темницы, вспомним Польшу...

Пути Господни неисповедимы: люди исполняют его волю, не понимая ее... Однако, несмотря на свое ослепление, человек вечно испытывает потребность в истине и справедливости: потребность эта, которую ничто не способно вытравить из сердец, — залог бессмертия, ибо не в этом мире суждено ей найти удовлетворение. Она живет в нашей душе, но истоки ее — не на земле, а в небе, куда она нас и влечет.

Спиритуализм, в котором ныне упрекают христиан те люди, что тщатся отыскать в Евангелии подтверждение своей политики и желают положить удовольствие в основание религии, зиждущейся на самоотречении, — этот спиритуализм, представляемый нам благочестивой выдумкой наших священников, остается между тем единственным лекарством, дарованным нам Господом для врачевания неизбежных недугов, которые умножает наша жизнь по его и нашей воле.

Русский народ — тот из цивилизованных народов, чьи понятия о справедливости наиболее зыбки и расплывчаты; присвоив Ивану IV прозвище Грозный, каким прежде был награжден за подвиги его

предок Иван III, русские не оценили по достоинству ни славного монарха, ни жестокосердого тирана; даже после смерти этого последнего они продолжали ему льстить — разве эта деталь не характеристична? Неужели правда, что в России тирания бессмертна? Вновь отсылаю вас к Карамзину:

«В заключение скажем, что *добрая слава Иоаннова пережила его худую славу в народной памяти*: стенания умолкли, жертвы истлели, и *старые предания затмили новейшими*; но имя Иоанново блистало на Судебнике и напоминало приобретение трех царств монгольских: доказательства дел ужасных лежали в книгохранилищах, а народ в течение веков видел Казань, Астрахань, Сибирь, как живые монументы царя-завоевателя; чтил в нем знаменитого виновника нашей государственной силы, нашего гражданского образования; отвергнул или забыл имя *Мучителя*, данное ему современниками, и по темным слухам о жестокости Иоанновой отныне именует его только *Грозным*, не различая внука с дедом, так названным древнею Россиею более в хвалу, нежели в укоризну. История злопамятнее народа!»

Как видите, обоих, и великого правителя, и изверга именуют *Грозными!*.. именуют не кто иные, как потомки! Вот праведный суд русского образца; само время в этой стране — пособник несправедливости. Лекуэнт Лаво в своем «Путеводителе по Москве», описывая царский дворец в Кремле, не постыдился вызвать тень Ивана IV и дерзнул сравнить его с Давидом, оплакивающим заблуждения юности. Книга Лаво написана для русских.

Не могу отказать себе в удовольствии познакомить вас с последней цитатой из Карамзина; это — описание характера князя, которым Россия гордится. Только русский может говорить об Иване III так, как говорит Карамзин, и при этом полагать, что произносит монарху хвалу. Только русский может описывать царствование Ивана IV так, как описывает Карамзин, и закончить свой рассказ словами, извиняющими деспотизм. Вот подлинное мнение историка об Иване III, великом предке Ивана IV:

«Гордый в сношениях с царями, величавый в приеме их посольств, любил пышную торжественность; уставил обряд *целования* монаршей руки в знак лестной милости; хотел и всеми наружными способами возвышаться пред людьми, чтобы сильно действовать на воображение; одним словом, разгадав тайны самодержавия, сделался как бы земным Богом для россиян, которые *с сего времени* (подчеркнуто Карамзиным или его переводчиком) начали удивлять все иные народы своею беспредельною покорностию воле монаршей. Ему первому дали в России имя *Грозного*, но в похвальном смысле: грозного для врагов и строптивых ослушников. Впрочем, не будучи тираном, подобно своему внуку, Иоанну Васильевичу Второму, он без сомнения имел природную жестокость во нраве, умеряемую в нем силою разума. Редко основатели монархий славятся нежною

чувствительностью, и твердость, необходимая для великих дел государственных, граничит с суровостью. Пишут, что робкие женщины падали в обморок от гневного, пламенного взора Иоаннова; что просители боялись идти ко трону; что вельможи трепетали и на пирах во дворце не смели шепнуть слова, ни тронуться с места, когда Государь, утомленный шумною беседою, разгоряченный вином, дремал по целым часам за обедом: все сидели в глубоком молчании, ожидая нового *приказа* веселить его и веселиться. Уже заметив строгость Иоаннову в наказаниях, прибавим, что самые знатные чиновники, светские и духовные, лишаемые сана за преступления, не освобождались от ужасной торговой казни: так (в 1491 году) всенародно секли кнутом Ухтомского князя, дворянина Хомутова и бывшего архимандрита Чудовского, за подложную грамоту, сочиненную ими на землю умершего брата Иоаннова.

История не есть похвальное слово и не представляет самых великих мужей совершенными. Иоанн как человек не имел любезных свойств ни Мономаха, ни Донского, но стоит как государь на вышней степени величия. Он казался иногда боязливым, нерешительным, ибо хотел всегда действовать осторожно. Сия осторожность есть вообще благоразумие: оно не пленяет нас подобно великодушной смелости; но успехами медленными, как бы неполными, дает своим творениям прочность. Что оставил миру Александр Македонский? славу. Иоанн оставил государство, удивительное пространством, сильное народами, еще сильнее духом правления, то, которое ныне с любовью и гордостью именуем нашим любезным отечеством».

Похвалы историка-царедворца царю-герою кажутся мне несколько не менее выразительными, нежели его робкие упреки царю-тирану. Явное сходство панегирика славному правителю с приговором извергу позволяет оценить, насколько смутны идеи и чувства, владеющие лучшими русскими умами. В этом неразличении добра и зла — напоминание о том, как велика пропасть, отделяющая Россию от Европы.

Истинным основателем Российской империи в том виде, в каком она существует и поныне, был именно Иван III; он же приказал выстроить на месте деревянного Кремля каменный. Вот еще один грозный хозяин этих стен, еще один дух, имеющий полное право посещать этот дворец и опускаться на верхушки его башен!!!

Иван III, нарисованный Карамзиным, вполне мог бы произнести приписываемые ему слова: «Я оставлю Россию тому, кому захочу». Так он ответил боярам, когда те потребовали, чтобы он назначил своим наследником внука, меж тем как он хотел оставить престол своей второй жене; к слову сказать, русские цари до сих пор распоряжаются короной по своему усмотрению. Какова же должна быть участь сословия, именуемого знатью, в стране, управляемой подобным образом?

Петр Великий последовал примеру Ивана III и также поставил наследование престола в зависимость от царского каприза. Этот государь-преобразователь уподобился предшественнику-тирану, убив собственного сына и его так называемых сообщников. Фрагмент из книги господина де Сегюра, с которым я вас сейчас познакомлю, доказывает, что великий реформатор был гораздо большим злодеем, чем утверждали историки прежде. Французский писатель рассказывает о законах, изданных Петром Великим, о коварном обращении этого монарха с его несчастным сыном, о казнях священников и других особ, поддерживавших юного царевича в его борьбе против заимствованной у Запада цивилизации, которую беспощадный основатель новой Российской империи предписывал своим подданным чтить как святыню.

«Устав воинский, из двух частей и девяноста одной главы состоящий, публиковавшийся начиная с 1716 года.

Начало его замечательно: то ли из искренней набожности, то ли из соображений политических и желания сохранить такое действительное орудие влияния на подданных, как религия, царь начинает с утверждения, что из всех истинных христиан воин — тот, чьи нравы должны быть самыми честными, достойными и христианскими; ратник-христианин должен быть всегда готов предстать перед Богом, иначе он не будет способен с полным бесстрашием в любую минуту отдать жизнь за отечество. В заключение Петр приводит слова Ксенофонта о том, что в сражениях те, кто больше всего боятся богов, меньше всего боятся людей! Он предусматривает наказания за малейшие преступления против Господа, нравственности и чести, за нарушения дисциплины и даже приличий, как если бы он желал превратить свою армию в нацию внутри нации, сделать ее образцом для всех остальных подданных.

Но именно на этом поприще с ужасающей легкостью расцвел его деспотический гений! — Все государство, — говорил он, — заключено в государе, все в государстве должно совершаться на благо ему, абсолютному и деспотическому монарху, который не обязан давать отчет в своих деяниях никому, кроме Бога! — Поэтому всякое оскорбление его особы, всякое непристойное суждение о его поступках и намерениях должны караться смертью.

Ставя себя таким образом вне и выше всяких законов в 1716 году, царь словно готовился к ужасному государственному перевороту, каким запянул свою славу в году 1718». (История России и Петра Великого, сочинение господина графа де Сегюра. Второе издание. Бодуэн, Париж, Книга XI, глава VI, стр. 489, 490.)

Далее господин де Сегюр пишет: «В сентябре 1716 года царевич Алексей, желая спастись от нарождающейся русской цивилизации, ищет убежища в лоне цивилизации европейской. Он отдает себя под покровительство Австрии и тайно поселяется с любовницей в Неаполе.

Петр раскрывает тайну его местопребывания. Он пишет царевичу письмо, начинающееся обоснованными упреками и кончающееся исчислением ужасных бедствий, которые грозят Алексею, если тот ослушается приказаний отца.

Вот главная мысль этого письма: «Буде же побоишься меня, то я тебя обнадеживаю и обещаю Богом и судом его, что никакого наказания тебе не будет, но лучшую любовь покажу тебе, ежели воли моей послушаешь и возвратишься».

Поверив этой торжественной клятве отца и государя, Алексей 3 февраля 1718 года возвращается в Москву и на следующий же день его лишают оружия и свободы, допрашивают, с позором отнимают у него и его потомков право наследовать российский престол; если же он когда-либо посмеет притязать на корону, его ждет проклятие.

Хуже того: его бросают в крепость. Там ежедневно и еженощно венценосный отец, поправ свою клятву, законы природы, а равно и законы государственные, собственноручно им писанные *, допрашивает чрезмерно доверчивого сына; устроенное Петром политическое судилище не уступает в коварстве и жестокости религиозным судилищам времен инквизиции. Он мучает пугливый ум несчастного царевича рассказами о всевозможных небесных и земных карах; он вынуждает его доносить на друзей, родственников и даже на собственную мать, наконец, заставляет его сознаться, что он виновен, недостойн жить и заслуживает смерти.

Это злодеяние вершится в течение пяти долгих месяцев. Высылка и лишение имущества многих вельмож, отрешение от наследства престола сына, заключение в темницу сестры, заточение в монастырь и бичевание кнутом первой жены, казнь шурина — всего этого царю мало.

Генерал Глебов, уличенный в любовной связи с бывшей царицей, посажен на кол посреди эшафота, в четырех углах которого выставлены на всеобщее обозрение головы одного епископа, одного боярина и двух сановников, колесованных и обезглавленных в тот же самый день **. Этот ужасный эшафот в свой черед окружен кольями, на которые насажены головы более чем пяти десятков священников и других граждан.

Такова была чудовищная месть царя тем, чьи интриги и предрассудки вынудили непреклонного монарха принести сына в жертву империи! Однако тот, кто обрушил на людей все эти кары, был стократ более виновен: ибо что может служить оправданием стольким жестокостям? Хуже того: по всему судя, под действием той подозрительности, что присуща правителям, попирающим природный порядок, Петр упорно искал и находил заговоры там, где их не было; люди, которых он подозревал в мятеже, просто-напросто

* См. в его Своде законов, гл. IV, параграфы 1 и 2.

** См. у Брюса.

втайне противились его реформам, ничего не предпринимая и возлагая все надежды на его смерть.

Меж тем даже за столь ужасное кровопролитие царь удостоился льстивых похвал! Герой Полтавы сам гордился этим злодеянием, как победой в битве. «Когда огонь найдет солому, — говорил он, — то ее пожирает, но как дойдет до камня, то сам собою угасает». С этими словами он хладнокровно прохаживался среди казнимых. Говорят даже, что, гонимый кровожадностью и тревогой, он продолжал допрашивать Глебова на эшафоте, и тот, знаком попросив своего мучителя приблизиться, плюнул ему в лицо.

Вся Москва оказалась узницей; выехать из ее пределов без ведома монарха значило совершить непростительное преступление. Жителям города предписывалось под страхом смерти шпионить за соседями и доносить на них.

Однако главная жертва Петра — его сын, обездоленный, сломленный гибелью близких, — был еще жив. Царь решил перевезти его из московской темницы в петербургскую.

Тут он принимается терзать душу сына, вырывая у него признания во всех, даже самых ничтожных, проступках; всякий день он с ужасающей дотошностью записывает воспоминания царевича о выказываемых им раздражении, непокорстве или строптивости; радуясь всякому новому открытию, собирая воедино все стоны и слезы, он подводит им итог, в бесчестности своей стараясь представить все эти печали и робкие попытки неповиновения тяжким грехом, который и ляжет на чашу весов царского правосудия *.

Когда же, истолковав слова царевича в нужном ему духе, он утверждает в мысли, что создал из ничего нечто, он спешит созвать преданнейших своих рабов. Он посвящает их в свой дьявольский план, раскрывает перед ними свой свирепый и деспотический замысел с варварским простодушием, с наивностью тирана, ослепляемого всевластием и мнящего, что его воля выше правосудия, а его цель — к счастью, великая и полезная — оправдывает любые средства.

Жертву, приносимую интересам политическим, он хочет объяснить интересами правосудия. Он желает оправдать себя за счет погубленного им сына и заставить замолчать докучающие ему голоса вести и природы.

Уверясь, что составленный им обвинительный акт неопровержим, абсолютный монарх созывает своих приближенных. Они, восклицает он, «ныне уже довольно слышали о малослыханном в свете преступлении сына моего против нас, яко отца и государя своего». Один лишь царь вправе судить преступника, однако он просит помощи, ибо «боится Бога, дабы не погрешить», вдобавок же «с клятвою суда Божия письменно обещал оному своему сыну

* Разве в этом эпизоде Петр Великий не более отвратителен, чем Иван IV Грозный — если, конечно, возможно быть более отвратительным?

прощение и потом словесно подтвердил...» Следственно, им, приближенным царя, предстоит произнести царевичу приговор, невзирая на его звание и помышляя лишь о спасении отечества. Впрочем, к этому приказу, недвусмысленному и страшному, он прибавляет с грубым лукавством, что судьям надобно постановить без лести и страха, не достоин ли его сын лишь легкого наказания.

Рабы поняли хозяина: они угадали, о какой ужасной услуге он их просит. Священники, сославшись на Писание, привели равное число выписок в пользу прощения и в пользу осуждения и не посмели отдать предпочтение первому, а о царской клятве побоялись даже упомянуть.

Сановники же, число которых в Верховном суде достигало ста двадцати четырех человек, повиновались царю. Они единогласно и беспрекословно высказались за смерть царевича; впрочем, приговор этот осуждает их самих куда более сурово, чем их жертву. Отвратительно видеть старания этой толпы рабов оправдать хозяина-клятвопреступника; их подлая ложь, прибавляясь к лжи Петра, лишь усугубила его вину!

Царь непреклонен: ничто не может остановить его: ни время, усмиряющее гнев, ни угрызения совести, ни раскаяние несчастного царевича, ни его слабость, покорство, мольбы! Одним словом, все, что обычно смягчает и обезоруживает даже судей, имеющих дело с посторонними, с врагами, не трогает сердце отца, решающего участь собственного сына.

Больше того: не довольствуясь ролью судьи и обвинителя, Петр становится царевичу палачом. 7 июля 1718 года, на следующий день после объявления приговора, он вместе со свитой приходит в темницу: проститься с сыном и оплакать его; можно подумать, что сердце царя наконец дрогнуло, но в эту самую минуту он посылает за *крепким питьем*, которое приготовил собственноручно! Не в силах сдерживать нетерпения, он торопит гонца и удаляется — впрочем, в большой печали *, — лишь напоив несчастного, который все еще молит его о прощении, отравой. А затем приписывает гибель царевича, спустя несколько часов испутившего дух в страшных мучениях, ужасу, который внушил ему смертный приговор! Царь довольствуется этим топорным оправданием, полагая, что оно отвечает грубым нравам его приближенных; впрочем, он велит им молчать, и они исполняют приказание так старательно, что если бы не записки чужестранца (*Брюса*), свидетеля и даже участника этой отвратительной драмы, ее страшные подробности остались бы навсегда скрыты от потомков». (История России и Петра Великого, сочинение господина графа де Сегюра, книга X, глава III, стр. 438—444.)

* Оплакивать собственную жертву — истинно русская черта.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЕ

Английский клуб. — Новое посещение кремлевской кладовой. — Особенности московской архитектуры. — Восхищение госпожи де Сталь. — Преимущество безвестного путешественника. — Китай-город — купеческий квартал. — Иверская Богоматерь. — Русские чудеса, засвидетельствованные итальянцем. — Памятник Мишину и Пожарскому. — Храм Василия Блаженного. — Как царь Иван отблагодарил зодчего. — Святые ворота. — Почему, входя в них, нужно непременно обнажать голову. — Преимущества веры перед сомнением. — Контрасты в облике Кремля. — Успенский собор. — Чужеземные мастера. — Отчего пришлось выписать их в Москву. — Фрески. — Колокольня Ивана Великого. — Церковь Спаса на Бору. — Огромный колокол. — Чудов и Вознесенский монастыри. — Могила царицы Елены, матери Ивана IV. — Шапка Мономаха. — Сибирская корона. — Польская корона. — Размышления. — Чеканные чаши. — Стекляная посуда редкостной красоты. — Носилки Карла XII. — Цитата из Монтеня. — Удивительная историческая подробность. — Сравнение русских великих князей с современными им монархами. — Парадные кареты царей и патриарха московского. — Дворец нынешнего императора в Кремле. — Прочие дворцы. — Угловой дворец. — Особенности его архитектуры. — Новые постройки, начатые в Кремле по приказу императора. — Осквернение святыни. — Ошибка императора Петра и императора Николая. — Где подобает находиться столице Российской империи. — Чем могла бы стать Москва. — Пожар петербургского дворца — небесное знамение. — Замысел Екатерины II, частично осуществленный Николаем. — Вид с кремлевского холма на вечернюю Москву. — Закат солнца. — Ход в подземелье. — Московская тьма ночью. — Воробьевы горы. — Воспоминания о французской армии. — Слова императора Наполеона. — В России опасно быть заподозренным в героизме. — Борьба посредственностей. — Долг абсолютных монархов. — Ростопчин. — Он боится прослыть великим человеком. — Его брошюра. — Какие выводы можно из нее извлечь. — Падение Наполеона: к чему оно привело в конечном счете. — Людовик XIV. — Исторический феномен.

Москва, 11 августа 1839 года, вечер

Глаз мой болит меньше, и вчера, покинув свою темницу, я отправился пообедать в Английский клуб. Это особый ресторан, куда гости допускаются лишь по рекомендации одного из завсегдатаев, принадлежащих к избранному московскому обществу. Заведение это, устроенное, как и наши парижские кружки, по английскому образцу, открылось сравнительно недавно. Я расскажу вам о нем в другой раз.

В нынешней Европе способы сообщения между странами облегчились настолько, что отыскать самобытные нравы или обычаи, служащие выражением характеров, сделалось решительно невозможно. Привычки всех современных народов суть следствие множества заимствований: смешение всех национальных характеров в ступе всемирной цивилизации сообщает нравам однообразие, малопривлекательное для глаза путешественника; между тем никогда еще путешествия не были в такой моде. Все дело в том, что большинство людей трогается с места не столько из любви к просвещению, сколько из скуки. Я не принадлежу к числу странников такого рода; любознательность моя беспредельна, и каждый день я на собственном опыте убеждаюсь, что разнообразие — самая редкостная вещь на этом свете, однообразие же впечатлений — бич путешественника, ибо ставит его в положение глупца — положение самое неприятное именно оттого, что самое распространенное.

Люди отправляются путешествовать, дабы на время покинуть тот мир, где прожили всю свою жизнь, — и не достигают цели: нынче цивилизация достигла отдаленнейших уголков земного шара. Род человеческий переплавляется в единое целое, различия между языками стираются, наречие, на котором мы пишем, исчезает, нации отрекаются от самих себя, философия низводит религию до внутреннего дела каждого верующего, и этот вялый католицизм будет служить людям вплоть до того дня, когда его новый расцвет ознаменует рождение нового общества. Кто может сказать, когда завершится это преобразование рода человеческого? Нельзя не узреть во всем происходящем ныне волю Провидения. Вавилонское смешение языков скоро уйдет в прошлое; нации начнут понимать одна другую, несмотря на все, что их разобщает.

Сегодня я начал день с подробного и основательного осмотра Кремля в обществе г-на ***, к которому имел рекомендательное письмо; да, я снова отправился в Кремль! Для меня Кремль — это вся Москва, вся Россия! Кремль — целый мир! Местный слуга с утра пошел в Оружейную палату предупредить хранителя, и тот уже ждал нас. Я думал, что увижу заурядного привратника, но нас принял офицер, человек просвещенный и учтивый.

Кремлевская кладовая — предмет законной гордости русских; она могла бы заменить России летописи, ибо это ее история, написанная драгоценными камнями, подобно тому, как римский форум — история, писанная камнями тесаными.

Золотые чаши, доспехи, старинная мебель — все эти вещи выставлены здесь не только за их красоту; всякая из них служит напоминанием о каком-нибудь славном, удивительном, достопамятном событии. Но прежде, чем изобразить, или, вернее, коротко перечислить вам сокровища, хранящиеся в арсенале, которому, я полагаю, нет равных в Европе, я хочу, чтобы вы мысленно проделали вместе со мною тот путь, каким я шел к этому святилищу, достойному поклонения русских и восхищения чужестранцев.

Выехав с Большой Дмитровской, я пересек, как давеча, несколько площадей, на которые выходят крутые, но прямые улицы; в крепость я въехал через ворота, пользующиеся здесь такой славой, что местный слуга, не счев нужным спросить моего мнения, велел кучеру остановить карету, дабы я мог насладиться их видом!.. Ворота эти проделаны в башне, столь же диковинной, что и все постройки в старом центре Москвы.

Я не бывал в Константинополе, но полагаю, что после него Москва — поразительнейшая из всех европейских столиц. Это — сухопутный Византий. Благодарение Богу, площади древней столицы не так огромны, как петербургские, среди которых потерялся бы даже римский Собор Святого Петра. В Москве памятники стоят не так далеко один от другого, и потому производят куда большее впечатление. Здесь история и природа не позволяют разгуляться деспотизму прямых линий и симметричных планов; Москва прежде всего живописна. Небо над Москвой хотя и не безоблачно, но радует глаз серебристым блеском; образцы архитектуры всех сортов громоздятся на улицах без всякого порядка и плана; ни одна постройка не может быть названа совершенной, но все они вместе вызывают если не восхищение, то изумление. Неровности почвы умножают прекрасные виды. Церкви, увенчанные куполами, которых нередко больше, чем предписывает православное учение, сверкают волшебным блеском. Бесчисленные золоченые пирамиды и колокольни в форме минаретов устремляют свои вершины в лазурное небо; восточная беседка, индийский купол переносят вас в Дели, донжоны и башенки возвращают в Европу времен крестовых походов, часовой на верху сторожевой башни напоминает муэдзина, сзывающего мусульман на молитву; наконец, окончательно спутывают ваши мысли блистающие повсюду кресты, повелевающие народу пасть ниц перед Словом; кажется, будто кресты эти спустились в азиатскую столицу с неба, дабы указать здешним жителям узкий путь к спасению: должно быть, именно эта поэтическая картина внушила госпоже де Сталь восклицание: «Москва — это северный Рим!»

Восклицание не слишком справедливое, ибо между этими двумя городами нет решительно ничего общего. Москва приводит на память скорее Ниневию, Пальмиру, Вавилон, нежели шедевры европейского искусства, будь то творения языческие или христианские; история и религия этой страны также не располагают к тому, чтобы уподоблять ее столицу Риму. Между Москвой и Римом сходства куда меньше, чем между Москвой и Пекином, однако госпожа де Сталь, попав в Россию, менее всего интересовалась этой страной; она стремилась в Швецию и Англию, дабы обратить свой гений и свои идеи на борьбу с врагом всяческой свободы мысли — Бонапартом. Долг великого мыслителя, явившегося в незнакомую страну, — нарисовать ее изображение, и госпожа де Сталь произ-

несла по поводу России те несколько слов, какие от нее требовались. Несчастье знаменитостей состоит в том, что они обязаны изъясняться афоризмами, если же они уклоняются от исполнения этой обязанности, им приписывают афоризмы, сочиненные другими.

Я доверяю лишь отчетам безвестных путешественников; вы скажете, что я говорю так из корысти: не стану отрицать, вы правы — во всяком случае, мне моя безвестность на руку: она позволяет мне искать и находить истину. С меня довольно, если я буду иметь счастье избавить от предубеждений и предрассудков такого читателя, как вы, а также избранный круг людей, вам подобных. Как видите, притязания мои весьма умеренны: ведь нет ничего легче, чем исправлять заблуждения умов выдающихся. Мне кажется, что даже тот, кто ненавидит деспотизм не так сильно, как я, возненавидит деспотов за их деяния и вопреки их чарам, когда прочтет правдивое описание, предлагаемое мною вниманию публики.

Массивная башня с двумя живописными арками, у подножия которой местный слуга предложил мне выйти из кареты, отделяет Кремль от его продолжения, называемого Китай-городом, — купеческого квартала старой Москвы, основанного матерью царя Ивана Васильевича в 1534 году. Нам эта дата кажется не слишком отдаленной, но для русского народа, самого молодого из всех европейских народов, это — глубокая древность.

Китай-город, своего рода приложение к Кремлю, — это огромный базар, целый город, изобилующий темными сводчатыми улочками, напоминающими подземелья; впрочем, эти купеческие катакомбы менее всего походят на кладбище; в лабиринте галерей, которые уступают парижским в изяществе и блеске, но зато выигрывают в основательности, шумит вечная ярмарка. Архитектура Китай-города приспособлена к здешнему климату: на Севере крытые улицы помогают бороться с непогодой; странно, что они здесь так редки. Продавцы и покупатели спасаются здесь от ветра, снега, холода и весеннего разлива рек; напротив, легкие ажурные колоннады и воздушные портики выглядят в России смехотворной бессмыслицей: русским зодчим следовало бы брать пример не с греков и римлян, но с кротов и муравьев. Арабы лучше поняли необходимость соотносить законы искусства с природными условиями. Ульи Альгамбры — архитектура, подобающая почве и климату Испании, равно как и нравам ее обитателей.

В Москве вы на каждом шагу видите какую-нибудь часовню — предмет поклонения для простонародья и почитания для всех жителей города. Часовни эти, как правило, представляют собою ниши, с застекленным изображением Божьей матери, возле которого всегда горит лампада. Рядом несет караул старый солдат. Ветераны в России служат привратниками не только у вельмож, но и у самого Господа Бога. Их неизменно встречаешь у входа в богатые дома, куда они не впускают посторонних, и в церкви, откуда они

выметают мусор. Не будь на свете богачей и священников, старым русским солдатам пришлось бы прозябать в нищете.

Над двухпроездными воротами, через которые я вошел в Кремль, помещается икона Божьей матери, написанная в греческом стиле и почитаемая всеми жителями Москвы.

Я заметил, что все, кто проходят мимо этой иконы — господа и крестьяне, светские дамы, мещане и военные, — кланяются ей и многократно осеняют себя крестом; многие, не довольствуясь этой данью почтения, останавливаются; хорошо одетые женщины склоняются перед чудотворной Божьей матерью до земли и даже в знак смирения касаются лбом мостовой; мужчины, также не принадлежащие к низшим сословиям, опускаются на колени и крестятся без устали; все эти действия совершаются посреди улицы с проворством и беззаботностью, обличающими не столько благочестие, сколько привычку.

Мой слуга, нанятый в Москве, — итальянец; нет ничего смешнее той смеси самых различных предрассудков, которая образовалась в голове этого несчастного иностранца, уже много лет живущего в Москве, на своей названной родине; воспитание, полученное в детские годы в Риме, заставляет его верить в то, что святые и Богоматерь вмешиваются в земную жизнь, поэтому, не вдаваясь в обсуждение богословских тонкостей, он, за неимением лучшего, принимает на веру все истории о чудесах, творимых мощами и образами греческой Церкви. Этот бедный католик, ставший ревностным поклонником московской Божьей матери, доказал мне, что религиозные верования повсюду зиждутся на одном и том же основании; единство их, всемогущее, хотя и мнимое, производит неотразимое действие. Слуга все время твердил мне с итальянской словоохотливостью: ««Signor, creda a me: questa madonna fa dei miracoli, ma dei miracoli veri, veri verissimi; non è come da noi altri; in questo paese tutti gli miracoli sono veri» *.

Этот итальянец, привезший в империю осмотрительности и безмолвия простодушную живость своего отечества, чрезвычайно забавлял, но одновременно и пугал меня: его вера в иноземную религию выдавала безграничный политический террор, царящий в России!

В этой стране болтун — редкость, драгоценное исключение из правила; путешественник, окруженный сдержанными и осторожными уроженцами здешних мест, испытывает нужду в нем на каждом шагу. Дабы разговорить моего итальянца, что, впрочем, не составляло большого труда, я рискнул выразить некоторые сомнения в подлинности чудес, сотворенных московской Божьей матерью: я меньше оскорбил бы набожного римлянина, усомнись я в духовном авторитете папы.

* Поверьте мне, синьор: эта мадонна творит чудеса, причем настоящие, самые настоящие чудеса, не то что у нас: в этой стране все чудеса настоящие (*ит.*).

Слушая, как бедный католик старается уверить меня в сверхъестественном могуществе греческой иконы, я лишний раз убедился: если что и разделяет нынче две Церкви, то это отнюдь не богословие. Из истории христианских наций мы знаем, как использовали государи упорство, хитроумие и диалектические таланты священников для разжигания религиозных споров.

Выйдя из ворот, увенчанной знаменитой мадонной, на небольшую площадь, видишь бронзовый памятник, изваянный в очень скверном, так называемом псевдоклассическом вкусе. Мне показалось, будто я попал в Лувр, в мастерскую посредственного скульптора времен Империи. Памятник изображает в виде двух римлян Минина и Пожарского, спасителей России, которую они освободили от господства поляков в начале XVII века: нетрудно догадаться, что римская тога — не самый подходящий костюм для подобных героев!.. Нынче эта пара в большой моде. Что предстает взору затем? Чудесный собор Василия Блаженного, вид которого так поразил меня сразу по приезде в Москву, что напрочь лишил покоя. Стиль этого причудливого памятника на удивление несхож с классическими изваяниями освободителей Москвы. Гуляя по этому городу в одиночестве, я еще не имел возможности рассмотреть как следует этот храм в змеиной коже, именуемый Покровским собором. Теперь он был прямо передо мной, но какое разочарование!! Множество луковиц-куполов, среди которых не найти двух одинаковых, блюдо с фруктами, дельфтская фаянсовая ваза, полная ананасов, в каждый из которых воткнут золотой крест, колоссальная гора кристаллов — все это еще не составляет памятника архитектуры; увиденная с близкого расстояния, церковь эта сильно проигрывает. Как почти все русские храмы, она невелика; бесформенная ее колокольня хороша только издали, а неизъяснимая пестрота скоро наскучивает внимательному наблюдателю; довольно красивая лестница ведет на крыльцо, откуда богомольцы попадают внутрь храма — тесного, жалкого, ничтожного. Этот несносный памятник стоил жизни его создателю. Его начали строить в 1554 году, в память о взятии Казани, по приказу Ивана IV, любезно прозванного *Грозным* *. Государь этот, оставаясь, как вы сейчас поймете, верным себе, отблагодарил архитектора, украсившего Москву, по-своему: он приказал выколоть бедняге глаза, дабы тот никогда уже не смог создать второго такого храма.

Не преуспей несчастный в строительстве, его бы наверняка посадили на кол, однако результат его трудов превзошел все ожидания великого монарха, поэтому несчастный всего-навсего лишился глаз: обнадеживающая перспектива для художников!

От Покровского собора мы направились к священным вратам

* Так утверждает Лаво. У другого автора я прочел, что храм этот выстроен при Василии Блаженном, и он-то и отдал тот бесчеловечный приказ, в котором Лаво обвиняет Ивана IV.

Кремля; дабы не нарушить обычая, истово соблюдаемого русскими, я прошел под этими сводами, впрочем, не весьма широкими, с обнаженной головой. Обычай этот восходит, как мне объяснили, ко временам последнего нашествия калмыков, которым лишь чудесное заступничество сил небесных помешало проникнуть в крепость. Святым тоже случается зазеваться, но в тот день они были начеку, Кремль остался цел и невредим, русские до сих пор снимают шапки в знак благодарности к своим славным покровителям.

В подобных публичных проявлениях религиозного чувства заметно больше практической философии, чем в безверии народов, которые мнят себя просвещеннейшими племенами земли оттого, что, исчерпав силы ума, наскучив простыми истинами, во всем сомневаются и в гордыне своей призывают соседей брать с них пример, словно их колебания достойны подражания!.. видите, говорят они, как мы жалки; поступайте же, как мы!.. Вольнодумцы — мертвецы, обволакивающие могильным холодом всех, кто их окружает; эти опасные умники отнимают у наций способность действовать; они разрушают, не умея созидать, ибо любовь к роскоши и удовольствиям рождает в душе не более, чем лихорадочное волнение, мимолетное, как сама человеческая жизнь. В своем шатком бытии материалисты слушаются скорее биения крови, нежели просвещенной мысли, и вечно пребывают во власти сомнений, ибо ум самого честного человека, будь то первый мудрец страны, будь то сам Гёте, ни на что, кроме сомнений, не способен, сомнения же располагают сердце к терпимости, но отвращают от жертвенности. Между тем в искусствах, науках и политике всякое значительное творение, всякое возвышенное стремление жидутся именно на жертвенности. Нынче же идти на жертвы никто не желает: христианство упрекают в том, что оно проповедует самоотречение — добродетельным людям это не по нраву. Христианские священники указывают дорогу, которую прежде избирали только избранные, толпе!! Кто отгадает, куда приведут народ столь коварные наставники?

Я не устаю любоваться общим видом Кремля: его причудливыми постройками, мощными крепостными стенами, множеством стрельчатых арок, сводов, башенок, колоколен, тайников, бойниц и проемов; все эти колоссальные диковины, громоздящиеся одна подле другой, рождают в душе путешественника массу впечатлений и никогда не наскучивают. Внешняя крепостная стена, которая опоясывает Кремль и, следуя за неровностями холмистой местности, то поднимается вверх, то опускается вниз; обилие зданий удивительной архитектуры, возведенных едва ли не впритык одно к другому, — все здесь создает одну из самых оригинальных и поэтических картин, какие существуют на свете; изобразить подобные чудеса под силу только живописцу; слова не в силах передать производимое ими впечатление: есть вещи, внятные только взору.

Но как выразить изумление, охватившее меня, когда, оказав-

шись внутри этого волшебного города, я подошел к современному зданию, именуемому Оружейной палатой, и увидел маленький прямоугольный дворец с греческими фронтонами и коринфскими колоннами? Это холодное и пошлое подражание античности, к которому мне следовало бы уже привыкнуть, показалось мне настолько смешным, что я отступил на несколько шагов назад и попросил у своего спутника позволения отложить осмотр кладовой и вначале посетить несколько церквей. С тех пор, как я в России, я видел уже немало самых бессмысленных и безвкусных творений имперских архитекторов, но на сей раз несообразность была столь разительна, что потрясла меня заново.

Итак, мы начали знакомство с Кремлем, отправившись в Успенский собор. В храме этом находится одно из тех изображений Девы Марии, которые правочерные христиане всего мира приписывают кисти апостола Луки. Сам храм больше похож на саксонские или нормандские постройки, нежели на наши готические соборы. Создан он в XV веке итальянским архитектором, которого правивший тогда великий князь пригласил в Москву, ибо русские в ту пору не могли обойтись в строительстве без помощи иноземцев. Здание, которое они возводили собственными силами, несколько раз рушилось, погребая под своими останками невежественных рабочих, исполнявших приказы еще более невежественных зодчих; наконец, после двухлетних неудачных попыток пришлось прибегнуть к услугам итальянцев: архитектор, явившийся в Москву, подчинился господствовавшему здесь вкусу и употребил свое мастерство лишь на то, чтобы сделать храм прочным. Своды его высоки, стены толсты, но здание не назовешь ни величественным, ни светлым, ни красивым.

Мне неизвестны предписания греко-русской Церкви касательно поклонения образам, но при виде этой церкви, чьи стены сплошь покрыты безвкусными фресками, выполненными в той однообразной и грубоватой манере, что именуется современным греческим стилем, потому что в основе ее лежит подражание византийским образцам, я то и дело спрашивал себя, какими же изображениями запрещено украшать русские церкви? Вероятно, решил я, в сии святилища благочестия закрыт доступ лишь творениями превосходным.

Когда мы приблизились к Богоматери Святого Луки, мой чичероне-итальянец заверил меня, что она в самом деле принадлежит кисти апостола; с истинно мужицким благочестием он твердил мне: «Signore, signore, è il paese dei miracoli! Это страна чудес!» Охотно верю: страх — первый чудотворец! Что за удивительное путешествие я совершил: в две недели отдалился от Европы на четыре столетия! Впрочем, у нас в Средние века чувство собственного достоинства было развито куда больше, чем в России сегодня. У нас хитрые и двуличные государи, правившие Россией из Кремля, никогда не заслужили бы имени великих.

Иконостас Успенского собора, идущий от пола до высокого сводчатого потолка, роскошен и блистает позолотой. Иконостас — это живописная перегородка, отделяющая алтарь, располагающийся за закрытыми дверями, от нефа церкви, где находятся верующие; в Успенском соборе перегородка эта грандиозна и пышна. Собор почти квадратной формы очень высок, но не слишком просторен, так что, обходя его, чувствуешь себя так, будто меряешь шагами темницу.

В соборе похоронены многие патриархи; здесь также хранятся богато украшенные раки и прославленные святые, привезенные из Азии; каждая деталь по отдельности производит крайне унылое впечатление, но в целом памятник выглядит довольно внушительно. Очувтившись внутри, испытываешь если не восхищение, то печаль, а это уже немало; печаль предрасполагает душу к благочестию: к кому, как не к Господу, прибегнуть в страдании? Однако великие храмы, воздвигнутые во славу католической религии, навевают не одну лишь грусть; в них запечатлена триумфальная песнь победившей веры.

В ризнице хранятся достопримечательности, исчислением которых я не стану утомлять ваш слух; не ждите от меня ни перечня московских сокровищ, ни каталога тамошних памятников. В Москве все любопытно издали, но несносно вблизи. Я рассказываю лишь о том, что меня поразило, что же до всего остального, то я отсылаю вас к Лаво и Шницлеру, а главное, к нашим преемникам, которые справятся со своей задачей лучше меня. Без сомнения, вскоре в Россию устремятся многочисленные путешественники, ибо стране этой недолго осталось пребывать в безвестности.

Еще одна кремлевская диковина — колокольня Ивана Великого. Это — самое высокое здание в городе; купол его, по русскому обычаю, покрыт червонным золотом. Мы миновали эту роскошно украшенную башню причудливого вида, свято чтимую московскими простолудинами. В Москве всякий памятник — святыня: так велика потребность в благоговении, живущая в сердце русского народа!

Мне показали издали церковь Спаса на Бору — самую древнюю в Москве, и колокол с отбитым куском — насколько я мог понять, самый большой колокол в мире; он стоит на земле и по величине не уступает церковному куполу; говорят, в царствование императрицы Анны он свалился на землю при пожаре, а затем был отлит заново. Господин де Монферран, французский архитектор, возводящий ныне собор Святого Исаака в Санкт-Петербурге, сумел вытащить этот колокол из ямы, куда он наполовину провалился. Успешное завершение этой операции, потребовавшей нескольких попыток и стоившей немалых денег, делает честь нашему соотечественнику.

Посетили мы и два монастыря, также расположенные внутри кремлевской ограды: Чудов, где в двух соборах хранятся мощи святых, и Вознесенский, где похоронены многие царицы, в том числе

Елена, мать Ивана Грозного; мать была достойна сына: столь же безжалостная, она во всем руководствовалась исключительно расчетом; здесь же похоронены и некоторые из жен этого монарха. Соборы Вознесенского монастыря поражают иностранцев своей роскошью.

Наконец, я превозмог себя и, стараясь не обращать внимания на греческие перистили и коринфские колонны — этих безвкусных драконов, стерегущих царские сокровища, вошел в прославленную Оружейную палату, где, словно в музее древностей, собраны самые любопытные достопримечательности русской истории.

Какое собрание доспехов, чаш, драгоценностей! Какое обилие корон и тронов в стенах одного здания! Расположение всех этих предметов лишь усиливает производимое ими впечатление. Невозможно не восхищаться художественным вкусом, а еще более — политическим умом, с которым устроители музея выставили на обозрение посетителей все ордена и трофеи — выставили, разумеется, не без гордости, но патриотическая гордость — законнейшая из всех. Страсть, вдохновляющая на подобные свершения, простительна. В царской кладовой вещи служат символами глубокой идеи.

Короны возлежат на подушках, в свой черед покоящихся на особых подножиях; троны стоят вдоль стен также на специальных пьедесталах. Для полноты картины недостает лишь людей, по заказу которых были изготовлены все эти предметы. Их отсутствие стоит красноречивейшей проповеди о тщете всего сущего. Кремль без царей — это театр, где погасили свет и откуда ушли актеры.

Наибольшего почтения, если не наибольшего восхищения заслуживает корона Мономаха; ее доставили ему в Киев из Византии в 1116 году.

Другая корона также считается Мономаховой, хотя многие полагают, что она создана задолго до царствования этого князя.

В Оружейной палате хранятся короны, принадлежавшие некогда властителям держав, покоренных Россией. Среди них — венцы казанского и астраханского ханов, грузинского царя; вид этих спутников императорского светила, держащихся в почтительном удалении от него, производит изумительное действие; в России всё — эмблемы, Россия — страна поэтическая... поэтическая, как скорбь! Что может быть красноречивее слез, сдерживаемых человеком и омывающих его сердце? Выставлена среди прочих и сибирская корона; она изготовлена в России нарочно для кладовой и помещена рядом с другими венцами в память о великом подвиге, свершенном бесстрашными купцами и солдатами в царствование Ивана IV, когда была не открыта, но завоевана Сибирь. Все короны усыпаны драгоценными камнями исключительной величины. Недра этой скорбной земли отверзлись, дабы потешить гордость правящих ею деспотов.

Польский трон и польская корона также сияют на великолепном

императорском небосклоне... Бесчисленные сокровища, заключенные в столь тесном пространстве, ослепительны, словно павлиний хвост! Какое кровавое тщеславие! — твердил я себе всякий раз, когда провожатые мои принуждали меня остановиться перед очередным сокровищем...

Особенно поразили меня короны Петра I, Екатерины I и Елизаветы: сколько золота, брильянтов... и праха! Царские державы, троны, скипетры — все собранное здесь призвано свидетельствовать о величии вещей и ничтожестве людей, сознав же, что бранны не только люди, но и сами империи, решительно перестаешь понимать, куда укрыться от потока времен.

Как можно дорожить миром, где жизнь — форма, формы же преходящи? Не создай Господь рая, на земле нашлись бы души достаточно могучие, чтобы восполнить этот пробел... Читая у Платона о существовании мира вечного и сугубо духовного — идеального прообраза всех миров, я верю, что мир этот — не вымысел. Разве вправе мы предположить, что Бог менее обилен, менее щедр, менее могуществен и справедлив, нежели мозг человека? Разве могут плоды нашего воображения быть богаче творений Господа, наделившего нас способностью мыслить? Нет, это невозможно... в этом заключалось бы явное противоречие. Говорят, что это человек создал Бога по своему подобию: так ребенок играет в войну, сталкивая полки оловянных солдатиков; однако ведь сама эта детская игра доказывает, что наша история — не выдумка. Не существуй на свете Тюренна, Фридриха II и Наполеона, разве затевали бы наши дети игрушечные сражения?

Сосуды, украшенные чеканкой в манере Бенвенуто Челлини, чаши, усыпанные драгоценными камнями, оружие и доспехи, расшитые золотом ткани, стеклянная посуда всех стран и веков, — этими сокровищами, на перечисление которых недостало бы, пожалуй, целой недели, поражает взоры истинно любознательных посетителей восхитительная коллекция, собранная в царской кладовой. Помимо тронов и тронных кресел, принадлежавших русским государям разных эпох, здесь выставлены конские чепраки, царские одежды, мебель: все эти более или менее роскошные, более или менее редкостные вещи слепили мой взор. Описание мое напоминает страницы «Тысячи и одной ночи» — что ж, у меня не нашлось иного способа изобразить вам этот сказочный — если не волшебный — дворец.

Вдобавок всем этим чудесам придает дополнительный интерес история: сколько любопытных событий воплощено здесь в живописных и достойных благоговения реликвиях!.. Начиная с искусно выделанного шлема Александра Невского и кончая носилками, в которых покоился Карл XII во время Полтавской битвы, каждый предмет напоминает о трогательном происшествии, об удивительном случае. Поистине эта кладовая — альбом кремлевских великанов.

Заканчивая осмотр горделивых обломков российского прошедшего, я вдруг, словно по наитию, вспомнил отрывок из Монтеня, который сообщаю вам, дабы дополнить — по контрасту — свое описание московских сокровищ:

«Великий князь Московский в старые времена должен был оказывать татарам такой почет: когда от них прибывали послы, он выходил к ним навстречу пешком и предлагал им чашу с кобыльим молоком (этот напиток они почитают самым сладостным), а если, выпивая его, они проливали хоть несколько капель на конскую гриву, он обязан был слизать их языком *.

Войско, посланное в Россию султаном Баязетом, было застигнуто такой ужасной снежной бурей, что для того, чтобы укрыться от нее и спастись от холода, многие решали убить своих лошадей, вспарывали им животы и залезали туда, согреваясь их животной теплотой».

Я привожу эту последнюю подробность, потому что она напоминает великолепное и ужасное описание поля московского сражения, сделанное господином де Сегюром в «Истории русской кампании». В другом своем труде — «Истории России и Петра Великого» — Сегюр сообщает о том же проявлении раболепства, о каком говорит Монтень.

Дело в том, что император всея Руси со всеми своими тронами и всей своей гордыней — не кто иной, как наследник тех великих князей, что еще в XVI веке носили непомерные унижения; впрочем, даже на это наследство права его небесспорны: не говоря уже об интригах семейства Романовых и их приверженцев, отнявших престол у избранных на царство Трубецких, напомним, что потомки Екатерины II заняли русский трон лишь благодаря преступлениям нескольких поколений монархов. Таким образом, правители России отнюдь не без причины скрывают русскую историю от русских и охотно скрывают ее также и от иностранцев. Несомненно, твердость политических принципов государя, занимающего престол, который покоится на подобных основаниях, — одна из удивительнейших особенностей нашего времени.

В ту пору, когда московские великие князья преклоняли колена под позорным игом монголов, в Европе, а в особенности в Испании, где проливались потоки крови во имя чести и независимости христианства, торжествовал дух рыцарства. Несмотря на все варварство средневековых нравов, я не думаю, что в Западной Европе нашелся бы хоть один король, способный обесчестить монархическую власть принятием таких условий, на каких с разрешения повелителей-татар правили своей страной в XIII, XIV и XV столетиях московские великие князья. Лучше потерять корону,

* См. «Записки о Московии» шведа П. Петрея, напечатанные по-немецки в 1620 году в Лейпциге (ч. II, с. 159). В это своеобразное рабство русские попали в середине XIII столетия, продлилось же оно около двухсот шестидесяти лет. (Примечание Коста к «Опытам» Монтеня, кн. I, гл. 48).

нежели унижить королевское достоинство — вот что сказал бы король Франции, Испании или любой другой державы старой Европы. Но в России понятие о славе так же молодо, как и все прочее. Татарское нашествие разделило историю этой страны на две совершенно различные эпохи; между независимыми славянами и русскими, которых три века рабского существования приучили повиноваться тирании, пролегла пропасть, а у обоих этих народов нет, по правде сказать, ничего общего, кроме названия, с теми древними племенами, что стали нацией благодаря варягам.

На первом этаже Оружейной палаты выставлены парадные кареты российских императоров и императриц; в эту коллекцию входит также старая карета последнего патриарха, с роговыми стеклами; эта реликвия принадлежит к числу интереснейших достопримечательностей, которыми богата славная кремлевская кладовая.

Мне показали также маленький дворец, где поселится император, когда приезжает в Москву, но я не обнаружил в нем ничего достойного внимания, кроме картины, изображающей последние выборы польского короля. Бурный сейм, посадивший на трон Понятовского и обрекший Польшу ярму, нарисован французским художником в весьма любопытной манере.

Видел я и много других чудес: сенат, императорские дворцы, древний дворец патриарха; впрочем, все они представляют интерес только благодаря своим названиям, чего нельзя сказать о маленьком грановитом дворце — игрушке, драгоценности, отчасти напоминающей шедевр мавританской архитектуры и блистающей своим изяществом среди окружающих массивных глыб, словно карбункул в оправе из булыжников; во дворце этом несколько этажей, окаймленных галереями, причем каждый следующий уже предыдущего, а самый верхний — совсем крохотный домик; благодаря этому здание приобретает живописную пирамидальную форму. Облицовано оно фаянсовыми изразцами, покрытыми лаком на арабский манер; к сожалению, украшения эти, хотя и выполнены с большим вкусом, имеют очень современный вид. Недавнего происхождения и внутреннее убранство грановитого дворца; впрочем, мебель, витражи и краски подобраны не без изящества.

Смогу ли я выразить, что чувствует путешественник, когда видит среди множества различных построек, теснящихся в центре огромного города, этот маленький дворец, недавно отремонтированный, но сохранивший свой древний полуготический, полуарабский стиль? Тут греческие храмы, там готические формы, дальше индийские башенки и китайские беседки, а кругом всего этого — циклопическая ограда; как изъяснить вам словами все эти контрасты, предстающие взору?

Слова способны живописать предметы лишь с помощью пробуждаемых ими воспоминаний; меж тем ни одно из воспоминаний, дремлющих в вашей душе, не поможет вам вообразить Кремль. Эта архитектура внятна только русским.

В великолепном маленьком дворце, о котором я веду речь, свод нижнего этажа покоится на одном-единственном столпе. Здесь расположен тронный зал, который удостаивают своим присутствием императоры после венчания на царство. Здесь все напоминает о древнем великолепии московских царей, и воображение поневоле переносится во времена Иванов и Алексеев. Стены расписаны, как мне показалось, с большим вкусом, хотя и совсем недавно; росписи эти напомнили мне пекинскую фарфоровую башню, изображение которой мне довелось видеть.

Эта группа памятников превращает Кремль в изумительнейшую театральную декорацию, однако по отдельности ни одно из зданий, загромождающих русский форум, — как, впрочем, и постройки, что разбросаны по городу, — не заслуживает восхищения. С первого взгляда Москва кажется чудом; для курьера, скачущего галопом мимо ее церквей, монастырей, дворцов и крепостей, которые не отличаются безупречным вкусом, но издали напоминают приют существ сверхъестественных, это — прекраснейший город в мире.

К несчастью, нынче в Кремле возводят для удобства императора новый дворец; приходило ли кому-нибудь на ум, что это нечестивое новшество испортит несравненный облик древней священной крепости? Не спорю, теперешнее жилище государя имеет жалкий вид, однако для того, чтобы исправить положение, строители разрушают национальную святыню: это недопустимо. На месте императора я предпочел бы вознести новый дворец на облака, лишь бы не вынимать ни единого камня из древних кремлевских стен.

В Петербурге император сказал мне, когда речь зашла об этих работах, что он желает сделать Москву еще краше: сомнительное намерение, подумал я, — все равно как если бы он захотел приукрасить историю. Разумеется, древняя крепость выстроена против правил искусства, но в ней — выражение нравов, деяний и мыслей народа и эпохи, навсегда ушедших в прошлое и оттого священных. На всех этих памятниках лежит отпечаток силы, которая могущественнее человека, — силы времени. Однако в России для правительства нет ничего невозможного. Император, без сомнения прочтя на моем лице сожаление и упрек, поспешил удалиться, заверив меня перед уходом, что новый его дворец будет просторнее и удобнее прежнего. В стране, как эта, подобная причина кажется вполне уважительной.

Меж тем, готовя двору более удобное пристанище, строители уже окружили оградой маленькую церковь Спаса на Бору. Это святилище, насколько мне известно, самое древнее в Кремле и во всей Москве, скоро, к великому огорчению всех, кто любит древние здания и живописные виды, исчезнет за белыми гладкими стенами.

Более же всего претит мне смехотворный трепет, с каким свершится это осквернение святыни: предметом неподдельной гордости служит тот факт, что старинный памятник не сравниют с землей, но

похоронят заживо в дворцовой ограде. Вот каким образом примиряют здесь официальный культ прошлого с пристрастием к комфорту, недавно заимствованным у англичан. Подобные действия вполне достойны Петра Великого. Разве недостаточно, что этот государь покинул старую столицу ради новой, им основанной? Теперь его наследники разрушают эту древнюю столицу, видя в этом лучший способ ее приукрасить.

Дабы покрыть свое имя славой, императору Николаю следовало бы не влачиться по дороге, проложенной другими, но покинуть петербургский Зимний дворец, ставший жертвой пожара, и навсегда обосноваться в Кремле, ничего здесь не меняя, впоследствии же выстроить для нужд своего двора и для больших празднеств столько дворцов, сколько потребует, но вне священных кремлевских пределов. Тем самым он исправил бы ошибку царя Петра, который увлекал своих бояр в театральную залу, возведенную для них на берегу Балтийского моря, вместо того чтобы просвещать их в родных краях, пользуясь их великолепными природными богатствами — богатствами, которые Петр отверг с презрением и легкомыслием, недостойными такого выдающегося человека, каким был в некоторых отношениях этот император. Чем дальше отъезжаешь от Петербурга и чем ближе подъезжаешь к Москве, тем глубже постигаешь величие бескрайних и изобильных просторов России и тем больше разочаровываешься в Петре I. Мономах, живший в XI веке, был истинно русский князь, Петр же, живший в столетии XVIII, по причине своего ложного представления о способе совершенствования нации, сделался не кем иным, как данником иностранных держав, подражателем голландцев, с дотошностью варвара копирующим чужую цивилизацию. Либо Россия не выполнит того назначения, какое, по моему убеждению, ей предназначено, либо в один прекрасный день Москва вновь станет столицей империи: ведь в этом городе дремлют семена русской самобытности и независимости. Корень древа в Москве, и именно там должно оно принести плод; никогда привою не сравнятся мощью с подвоем.

В тот день, когда российский престол будет с подобающими почестями перенесен в сердце империи, в Москву, в тот день, когда петербургская известь и позолота рассыплются в прах и рухнут в гибельную топь, на которой был воздвигнут этот город, а сам он сделается тем, чем ему следовало бы оставаться всегда, — заурядным военным портом с гранитными набережными, превосходным складом товаров, каким торгуют меж собой Россия и Запад, подобно тому как Казань и Нижний служат перевалочными пунктами в торговле России с Востоком, — в этот день я скажу: «Наконец-то справедливая гордость славян восторжествовала над суетным тщеславием их вождей, наконец-то русский народ сможет зажечь собственной жизнью; он заслужил то воздаяние, какого алчет его честолюбие: Константинополь ждет его; тамошние искусства и бо-

гатства вознаградят нацию, тем более достойную величия и славы, что многие годы она прозябала в безвестности и предавалась самоуничтожению».

Вообразите себе величие столицы, расположенной в середине равнины, простирающейся на многие тысячи лье во все стороны света, равнины, которая тянется от Персии до Лапонии, от Астрахани и Каспийского моря до Урала и Архангельска — порта на берегу Белого моря, равнины, которую омывает Балтийское море с двумя портами-арсеналами — Санкт-Петербургом и Кронштадтом — и которая раскинулась от Вислы до Босфора, где русских ждет Константинополь — связующее звено между Москвой, святыней русских, и миром!! Разумеется, такая столица не уступила бы самым могущественным городам мира и доказала бы, что недаром хранит в своей кладовой роскошные царские венцы.

Император Николай, несмотря на свое здравомыслие и глубокую проницательность, не отгадал наилучшего способа достичь этой цели; он наезжает в Кремль время от времени: этого недостаточно; ему следовало бы понять, что он обязан обосноваться здесь навсегда, если же он это понимает, но не находит в себе сил решиться на подобную жертву, он совершает ошибку. При Александре русские сожгли Москву, дабы спасти империю; при Николае Господь сжег дворец в Петербурге, дабы напомнить России о ее призвании, но Николай не внял зову Провидения. Россия все еще ждет!.. Вместо того, чтобы, подобно кедру, пустить корни в той единственной почве, которая для этого создана, император рыхлит и переворачивает эту почву, дабы воздвигнуть на ней конюшни и дворец. По его словам, он хочет благоустроить свое временное пристанище и ради этой жалкой цели забывает о коренных москвичах, для которых каждый камень национальной святыни — предмет поклонения или, во всяком случае, должен служить таковым. Пристало ли государю, приучившему свой богобоязненный народ к беспрекословному повиновению, колебать святотатственным деянием почтение москвичей к их единственному поистине национальному памятнику? Кремль — творение русского гения, однако ныне этой причудливой, но живописной жемчужине, гордости столетних веков, грозит опасность погибнуть под гнетом современного искусства; в России до сих пор господствует вкус Екатерины II.

Женщине этой, которая при всем ее уме ничего не смыслила ни в изящных искусствах, ни в поэзии, мало было покрыть всю империю бесформенными памятниками, скопированными с шедевров античности, — стремясь придать Кремлю более правильный вид, она начертала план его перестройки, нынче же ее внук вознамерился привести часть этого чудовищного плана в исполнение; белые гладкие поверхности, прямые линии и прямые углы заменяют извивы и закоулки, рождавшие игру света и тени; террасы, лестницы и перила, ниши и выступы, рождавшие великолепные контрасты

и неожиданности, радовавшие взор и погружавшие в мечтательность ум; раскрашенные стены, фасады, облицованные мавританской плиткой, дворцы из дельфтского фаянса, пленявшие воображение, — все обречено на гибель. Разрушат все это, погребут под землей или перекрасят — неважно; главное, что на месте всех этих сокровищ вырастут прекрасные ровные стены с аккуратными квадратными окнами и монументальными широкими дверями... нет, Петр Великий не умер: под командою своего царя, который, подобно предку, любит путешествия и подражает Европе, чьи достижения он презирает, но копирует, азиаты продолжают его варварское дело, именуемое делом цивилизации; они верят на слово новому повелителю, чей девиз — единые для всех помыслы, а эмблема — единый для всех мундир.

Выходит, в России нет художников, нет архитекторов: ведь всем людям, в чьей груди живет хоть малейшее понятие о прекрасном, следовало бы пасть к ногам императора и умолять его сберечь Кремль. То, чего не сделал противник, делает император: он разрушает святыню, которую пощадили Бонапартовы снаряды.

А я — неужели, попав в Кремль, стану я свидетелем гибели этого исторического памятника, увижу, как свершается кощунство, и не издам ни единого стога, не взмолюсь во имя истории, искусства и вкуса о спасении старинных зданий, обреченных погибнуть ради того, чтобы на их месте выросли бездарные поделки современных архитекторов! Нет, я буду протестовать, однако не раньше, чем попаду во Францию, пока же я скорблю об этом покушении на национальное чувство и хороший вкус, об этом пренебрежении историей — но скорблю вполголоса; иной раз среди остроумнейших и ученейших русских людей находятся такие, которые осмеливаются меня выслушать, однако смелость не идет дальше того, чтобы невозмутимо ответить мне: «Императору угодно, чтобы его новая резиденция выглядела более *прилично*, нежели прежняя; на что же вы жалуетесь? (Вы ведь знаете, что понятие «приличия» — краеугольный камень русского деспотизма.) Он приказал возвести новое здание на том самом месте, где стоял дворец его предков; Кремль ничуть не пострадает».

Вот до какой бессмыслицы доводит самых выдающихся людей страх, вот во что он превращает их мужество! Я храню хладнокровие и ничего не отвечаю на такие речи: ведь я иностранец и должен держаться осторожнее, чем местные жители. Однако будь я русским, я вступался бы за каждый камень из древних стен и волшебных башен этой крепости, возведенной Иванами, и согласился бы провести остаток дней в темнице, омываемой невскими водами, или в ссылке — лишь бы не ощущать себя немым пособником этого имперского вандализма!!! Мученик, пожертвовавший собою ради хорошего вкуса, достоин занять почетное место чуть ниже святых мучеников, пострадавших за веру: изящные искус-

ства — религия, причем религия, обладающая в наши дни не самой малой мощью и пользующаяся не самым малым авторитетом.

Вид, открывающийся с кремлевского холма, великолепен, особенно вечером; после утренней прогулки я, уже без спутников, возвратился к подножию колокольни Ивана Великого, самого высокого здания в Кремле, а может быть, и во всей Москве, чтобы полюбоваться закатом солнца; я намерен еще не раз прийти сюда, ибо в Москве ничто не интересует меня так сильно, как Кремль.

Молодые деревья, несколько лет назад посаженные под стенами Кремля, служат древнерусскому Алькасару прекрасным украшением и в то же время оживляют вид современного купеческого города. Зелень сообщает старинным укреплениям дополнительную живописность. Внутри огромных сказочных башен, чьи своды поражают дерзостью замысла и прочностью исполнения, извиваются лестницы, чья крутизна и высота потрясают воображение; в уме зрителя воскресает целая череда мертвецов, которые спускаются по пологим склонам, выходят на орудийные площадки, опираются о балюстрады; тени эти обводят окрестности холодным и презрительным взором — взором смерти; чем дальше я смотрю на неровные и бесконечно разнообразные очертания кремлевских зданий, тем большее восхищение пробуждают в моей груди эти библейские постройки и их поэтические обитатели.

Я видел, как солнце, уже почти скрывшееся за окружающим Кремль парком, бросает свой последний луч на верхушки дворцовых башенок и на купола церквей, блистающие, вместе с колокольнями, на фоне темнеющей небесной лазури: зрелище это обладает колдовской притягательностью.

Посреди окружающего крепостные стены парка есть арка, о которой я вам уже рассказывал; нынче она поразила меня так сильно, словно я увидел ее в первый раз: она ведет в чудовищное подземелье. Покинув расположенный на холмах город, город, ошестинившийся башнями, чьи верхушки устремляются к небу, вы бредете под темными сводами по длинной, круто поднимающейся вверх дороге; достигнув ее конца, вы выходите на свет божий и оказываетесь на холме, откуда открывается вид на всю для вас часть города; пыльная и шумная, она с ее улицами и бульварами простирается у ваших ног, омываемая наполовину высохшей из-за летней жары рекой Москвой; когда последние лучи солнца озаряют ее русло, жалкий ручеек вспыхивает, словно охваченный пламенем. Вообразите себе это естественное зеркало в раме прелестных холмов — впечатление неизгладимое! Вдали виднеются Воспитательный дом и другие благотворительные заведения, приюты, школы — каждый из этих памятников огромен, как целый город. Вообразите себе реку, через которую перекинут небольшой каменный мост, вообразите старые монастыри с их

бесчисленными куполами, которые, возвышаясь над Москвой, возносят к небесам вечную молитву за ее благоденствие, вообразите их негромкий звон, проникнутый в этой стране удивительной гармонией, — этот благочестивый шепот, так идущий к шелесту здешней толпы — покойной, хотя и густой, оживленной, но не обращающей ни малейшего внимания на лошадей и экипажи, которых в Москве так же много, как и в Петербурге, и которые снуют по улицам быстро и бесшумно, — вообразите все это, и вы поймете, что такое закат солнца над пыльной древней столицей. Летним вечером Москва — город, которому нет равных; это не Европа и не Азия, это Россия, самое ее сердце.

За извилистой лентой Москвы-реки, над яркими крышами в блесках пыли взору предстают Воробьевы горы. Именно с их вершины наши солдаты в первый раз увидели Москву...

Что за воспоминание для француза!! Обводя взглядом все кварталы этого огромного города, я напрасно искал хоть каких-нибудь следов пожара, разбудившего Европу и погубившего Бонапарта. Войдя в Москву завоевателем, победителем, он вышел из этого священного для русских города беглецом, обреченным вечно сомневаться в собственной удаче, прежде ему никогда не изменявшей.

Фраза Наполеона, сообщенная аббатом де Прадтом, — фраза, в подлинности которой мы не имеем оснований сомневаться, — обличает, на мой взгляд, всю жестокость, какая таится подчас в неумеренном честолюбии солдата. «От великого до смешного один шаг!» — воскликнул в Варшаве герой без армии. Как! в этот роковой миг он думал лишь о том, что скажут о нем газеты!.. Значит, трупы стольких людей, погибших ради его славы, были смешны, и не более! Только император Наполеон с его колоссальным тщеславием мог разглядеть смешную сторону в этой катастрофе, которую народы мира будут до скончания веков вспоминать с содроганием и которая вот уже три десятка лет отвращает европейские державы от войны. Думать о себе в столь торжественный час — это не эгоизм, это преступление. Фраза, приведенная мехельнским архиепископом, — крик души себьялюбца, на мгновение завладевшего целым миром, но не сумевшего совладать с самим собой. Такая бесчеловечность, проявленная в такую минуту, войдет в историю, когда история наконец сделается справедливой.

Я хотел бы представить себе обстановку, в какой произошла эта эпическая сцена, одна из удивительнейших сцен в нашей недавней истории: однако здесь все силится предать великие подвиги забвению; народ-раб страшится собственного героизма; русская нация, по природе и по необходимости сдержанная и осмотрительная, состоит из людей, чье главное желание — скрыться в тени, в неизвестности. Здесь каждый делает все возможное для того, чтобы исчезнуть, испариться; если в других краях честолюбцы упрекают друг

друга в низостях, то здесь соперникам и врагам припоминают их благородные поступки и героические деяния. Я не нашел в России ни одного человека, который согласился бы ответить на мои вопросы, касающиеся патриотических подвигов и великодушия русских в славнейшую пору их истории.

Я, напоминая иностранцам о таких эпизодах французской истории, как русская кампания, не чувствую себя ущемленным в моей национальной гордости. Размышляя о том, какой ценой этот народ отстоял свою независимость, я радуюсь, и радость моя нисколько не оскорбляет праха наших солдат; по силе защиты можно судить о мощи нападения; история засвидетельствует, что одно стоило другой, но, будучи неподкупной, добавит, что справедливость была на стороне защищавшихся.

Ответственность за все это лежит на императоре Наполеоне; в ту пору Франция подчинялась одному-единственному человеку; она действовала, но не мыслила; ее пьянила слава, как нынче русских пьянит послушание; держать ответ за события должны те, кто берется думать за весь народ. В России же нынче обо всех этих великих событиях стараются забыть, а если и вспоминают, то не с гордостью, а с извинениями.

Ростопчин, прожив много лет в Париже и даже перевезя туда свою семью, вздумал вернуться на родину. Однако, опасаясь славы спасителя отечества, сопутствующей — заслуженно или нет — его имени, он предварил свое возвращение ко двору императора Александра публикацией брошюры, написанной исключительно ради того, чтобы доказать: Москва загорелась сама собою, без всякой предварительной подготовки. Таким образом, Ростопчин употребил весь свой ум на то, чтобы убедить русских, что он не совершал того героического поступка, в котором обвиняет его Европа, изумлявшаяся сначала величию, а затем ничтожеству этого человека, достойного служить лучшему правительству!.. Каковы бы ни были в действительности заслуги Ростопчина, несомненно одно: он скрывал, отрицал свой мужественный поступок и горько жаловался на неслыханную клевету, превращавшую его из неизвестного генерала в освободителя отечества!

Со своей стороны император Александр не переставал повторять, что никогда не отдавал приказа сжечь свою столицу.

Это соперничество за право считаться самым ничтожным характеристично: невозможно не изумляться грандиозности драмы, зная, какие актеры в ней играли. Когда еще исполнители так горячо старались убедить зрителей в том, что они ровно ничего не понимают в том, что делают?

Начав читать Ростопчина, я тут же поймал его на слове; человек, который так боится прослыть великим, сказал я себе, именно таков, как он утверждает. В подобных делах людям должно верить на слово; ложная скромность выдает истинную сущность человека

даже против его воли; она — патент на ничтожество; ведь люди выдающиеся ничего не делают напоказ; они отдают себе должное вполголоса, а если им приходится говорить о себе в обществе, делают это без гордыни, но и без лживого самоуничижения. С тех пор как я прочел эту удивительную брошюру, прошло уже много времени, но я никак не могу забыть ее, ибо она открыла мне глаза на дух русского правительства и русской нации.

Я ушел из Кремля, когда уже почти совсем стемнело; московские здания, многие из которых огромны, как целые города, и отдаленные холмы окутал сумрак; тишина и ночь спустились на город; изгибы Москвы-реки почти исчезли из глаз, потому что сверкающие солнечные лучи уже не отражались от поверхности этого наполовину высохшего потока; пылающий западный край неба догорел, погас, окрасился в коричневые тона: сердце мое сжималось при виде этого грандиозного пейзажа, пробуждающего столько воспоминаний; мне чудилось, будто я вижу, как Иван IV, Иван Грозный, поднимается на самую высокую из башен своего опустевшего дворца и, с помощью своей сестры и подруги, Елизаветы Английской, пытается утопить в луже крови императора Наполеона!.. Казалось, эти два призрака рукоплещут падению великана, которому рок судил, погибнув, позволить двум своим врагам сделаться еще могущественнее, чем они были при его жизни.

Англия и Россия имеют основания быть благодарными Бонапарту и потому не вовсе отказывают ему в признательности. Не таковы были для Франции итоги царствования Людовика XIV. Вот отчего ненависть Европы пережила великого короля на полтора столетия, великий же полководец был после своего падения возведен в ранг божества, и даже его тюремщики, за редким исключением, не боялись присоединить свои неуместные дифирамбы к хору голосов, восхваляющих его во всех концах Европы; этот феномен, подобного которому, я полагаю, не сыщется ни в одной национальной истории, объясняется исключительно духом противоречия, охватившим сегодня все цивилизованные нации. Впрочем, господство этого духа подходит к концу, и у нас есть надежда прочесть вскоре сочинения, авторы которых оценят Бонапарта беспристрастно, не уснащая свои суждения язвительными намеками на нынешних правителей Франции или любой другой страны.

Я надеюсь, что настанет день, когда этому человеку, потрясшему воображение не только поступками, какие он совершил при жизни, но и страстями, какие он возбуждает после смерти, будет вынесен справедливый приговор. Пока луч истины не поднялся выше подножия этой фигуры, которую по сей день защищает от сурового осуждения потомков двойной ореол неслыханных удач и столь же неслыханных бедствий.

Все же внукам нашим бесполезно будет узнать, что изобретательности у него было больше, чем благородства, и что он лучше умел пользоваться благосклонностью судьбы, чем бороться с ее превратностями. Тогда, и только тогда, страшные последствия его политической безнравственности и его лживого, вероломного правления прекратят оказывать свое тлетворное воздействие.

Спустившись с кремлевских холмов, я вернулся домой разбитый, как человек, только что ставший свидетелем ужасной трагедии, или, скорее, как больной, который видел кошмарный сон и проснулся в горячке.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ

Восточный облик Москвы. — Связь между архитектурой этого города и характером его обитателей. — Что отвечают русские, когда их упрекают в непостоянстве. — Шелковые фабрики. — Видимость свободы. — На чем она основывается. — Английский клуб. — Затерянность Москвы среди огромного континента. — Русское благочестие. — Беседа на эту тему с человеком острого ума. — О том, что Англия умеет извлекать выгоду из ханжества. — Об англиканской церкви. — О ее непоследовательности. — Честные богомольцы и государственные мужи. — Заблуждение либералов, отвергающих католицизм. — Политика Англии. — На что она опирается. — Безотказный способ побороть Англию. — Священная власть газет. — Более ли она нравственна, нежели власть духовенства? — Греко-русская церковь. — Ее безгласность. — Отсутствие проповедников. — Отсутствие публичного религиозного образования. — Многочисленные секты. — В них господствует кальвинизм. — Скверная политика. — Секта, поощряющая многоженство. — Купеческое сословие. — Праздник в монастыре на Девичьем поле. — Чудотворная икона Божьей матери. — Могилы цариц и царевен. — Кладбище. — Толпа престолюдинов. — Особенность пейзажей. — Деревня посреди города. — Пьянство — русский порок. — Что его извиняет. — Эмблема нации и ее правительства. — Площадь, где происходило празднество. — Местоположение монастыря. — Особенность этого праздника. — Облик народа. — Скрытая поэзия. — Пение донских казаков. — Мелодия, напоминающая «Испанские безумства». — Музыка северных народов. — Казаки. — Их характер. — Недостойные уловки, к которым прибегают офицеры. — Выторгованное мужество. — «Упряжка» — перевод польской басни.

Москва, 12 августа 1839 года

Перед тем как приехать в Россию, я прочел, кажется, большую часть описаний Москвы, сделанных путешественниками, которые бывали здесь прежде; однако я не представлял себе, до какой степени удивителен вид этого города на холмах, внезапно, словно по волшебству, вырастающего из-под земли среди огромного гладкого пространства. Москва напоминает театральную декорацию. Место, где она выстроена, — едва ли не единственная возвышенность, какой может похвастать центр России... Конечно, это не Швейцария и не Италия, а просто пересеченная местность. Однако контраст этих неровностей почвы с бескрайними пространствами, среди которых глаз теряется словно среди американской саванны или азиатских степей, производит потрясающее впечатление. Москва — го-

род панорам. Со своими пышными ландшафтами и причудливыми постройками, которые могли бы послужить моделями для фантастических полотен Мартена, она воскрешает в уме те представления, которые неведомо как сложились у нас о Персеполисе, Багдаде, Вавилоне, Пальмире — романтических столицах баснословных держав, чья история — поэзия, а архитектура — греза; одним словом, попав в Москву, вы забываете Европу. Вот чего я не знал, находясь во Франции.

Следственно, мои предшественники не выполнили своего долга. Особенно непростительно, на мой взгляд, упущение одного из них, прошедшего в России немало времени. Ни одно описание не стоит полотен художника, чьи работы выразительны и верны действительности, — такого, как Орас Верне. Кто лучше него умеет ощутить и дать ощутить другим дух окружающего мира? Правда живописи коренится в облике предметов; Верне постигает ее как поэт, а воспроизводит как художник: поэтому всякий раз, когда я чувствую, что мне недостает слов, я впадаю в ярость и сожалею о том, что не могу сказать: «Взгляните на полотна Ораса Верне, и вы поймете, что такое Москва»; будь у меня такая возможность, я без труда достиг бы своей цели, теперь же я трачу очень много труда, но цели не достигаю.

Москва — царство пейзажей. Искусство мало помогло этому городу, прихоти же строителей и сила вещей сотворили здесь чудеса. Изумительные группы зданий, массивные громады построек поражают воображение. По правде говоря, наслаждение, которое доставляет вид Москвы, — низшего сорта: этот город не является детищем гения, и знатоки не находят в нем ни одного памятника, достойного внимательного изучения; не отнесешь Москву и к числу тех величественных пустынь, где время в тишине разрушает то, что создала природа; Москва — город, покинутый населявшими его некогда великанами — племенем, стоящим посередине между Богом и человеком; Москва — творение циклопов. Ее нельзя сравнить с другими европейскими городами; в городе, где ни один великий художник не оставил отпечатков своей мысли, испытываешь удивление, и не более; меж тем удивление быстро истощается, и душе наскучивает его высказывать.

Впрочем, я извлекаю некоторый урок даже из того разочарования, каким сменяется здесь первое потрясение; дело в том, что облик всякого города теснейшим образом связан с характером его обитателей. Русские любят все, что блестит, они пленяются внешностью, и сами пленяют ею же; вызвать зависть, чего бы это ни стоило, — вот предел их мечтаний! Англию сдает гордыня, Россию мучит тщеславие.

Здесь мне придется напомнить вам, что обобщения всегда выглядят несправедливыми. Однако постоянное возвращение к этой риторической предосторожности, должно быть, столь же скучно для

вас, сколь утомительно для меня; поэтому я хочу раз и навсегда оговориться, что всякое правило знает исключения, и заверить, что я полон почтения к достоинствам и прелестям частных лиц, никоим образом не заслуживших моей критики. В конце концов, мы ведь не в палате депутатов, и я не докладчик, вносящий проект закона, нуждающегося в поправках.

Путешественники, побывавшие в России прежде меня, уже отмечали, что чем меньше знаешь русского, тем любезнее его находишь: им отвечали, что эти слова свидетельствуют против них и что охлаждение, на которое они жалуются, доказывает не что иное, как их собственную незначительность. «Мы приняли вас учтиво, — говорили русские, — потому что от природы гостеприимны; переменились же к вам лишь потому, что вначале были о вас более высокого мнения, чем вы заслуживаете». Такой ответ выслушал много лет назад один француз, человек небесталанный, но выказывавший в силу занимаемого им положения чрезмерную сдержанность; я не хочу называть здесь ни его имени, ни заглавия его книги, в которой, несмотря на всю ее осторожность и бесцветность, автору удалось приоткрыть истину, что и вызвало крайнее неудовольствие русских. Стоило ли смирять свой ум ради людей, которым невозможно угодить ни лестью, ни беспристрастностью? С таким же успехом можно пренебречь их интересами, что я, как видите, и делаю. Уверенный в том, что суждения мои в любом случае придутся русским не по нраву, я хочу, по крайней мере, высказать всю правду без изъятия.

Москва гордится своими фабриками; русский шелк соперничает с восточным и западным. Купеческий квартал, именуемый Китай-городом, так же как и Кузнецкий мост — улица, где расположены самые лучшие модные лавки, — принадлежат к числу московских достопримечательностей. Я упоминаю о них потому, что предвижу серьезные политические следствия, какие может иметь для Европы желание русского народа перестать зависеть от промышленности других стран.

Свобода, царящая в Москве, иллюзорна, однако невозможно отрицать, что жители этого города движутся, действуют и мыслят по собственной воле, не дожидаясь чужого приказа. В этом Москва разительно отличается от Петербурга.

Дело тут, на мой взгляд, в первую очередь в огромных размерах Москвы и разнообразии ее ландшафта. Неравенство (в любом значении этого слова) вкупе с простором — составные части свободы; напротив, абсолютное равенство — синоним тирании, при которой меньшинство стонет под игом большинства; свобода и равенство несовместимы; не искажайте и не смягчайте смысла этих двух понятий, и вы поймете, что одно исключает другое.

Москва как бы похоронена в глубине России. Отсюда — печать самобытности, лежащая на ее постройках, отсюда — свободный

вид, отличающий ее обитателей, отсюда, наконец, — нелюбовь царей к этому городу, сохраняющему независимость. Цари — древние тираны, чей деспотизм чуть умерен модой, превратившей их в императоров, более того, в людей светских, — избегают Москвы. Несмотря на все его недостатки, они предпочитают Петербург, ибо испытывают потребность постоянно сообщаться с европейским Западом. Та Россия, какую создал Петр Великий, не умеет ни жить, ни учиться, полагаясь на самое себя. В Москве русская знать не смогла бы уже через неделю узнавать все дрянные парижские анекдоты и быть постоянно в курсе всех европейских сплетен, касающихся светского общества и литературных однодневок. Подробности эти, как ни жалки они на наш вкус, более всего интересуют русский двор, а следовательно, и всю Россию.

Если бы снежные заносы и талые воды не препятствовали русским в течение шести — восьми месяцев ездить по железным дорогам, русское правительство обогнало бы все прочие нации в прокладке этих дорог, сокращающих расстояния, ибо оно больше, чем любое другое, страдает от невозможности быстро преодолеть огромные пространства. Но сколько ни строй железных дорог, сколько ни увеличивай скорость поездов, громадные размеры России были и будут величайшим препятствием для распространения идей, ибо твердая земля — не море, по которому можно разъезжать в любом направлении; вода, которая на первый взгляд кажется разлучницей, на самом деле сближает жителей разных континентов. Вот чудесное противоречие: пленник Господа, человек остается, однако, царем природы.

Конечно, будь Москва морским портом или хотя бы центром, откуда расходятся во все стороны железные колеи — электрические проводники человеческой мысли, призванные, кажется, удовлетворить некоторые из нетерпеливых желаний того века, в каком нам довелось жить, здесь невозможно было бы наблюдать такие картины, как та, что предстала мне вчера в Английском клубе: военные всех возрастов, щеголи, важные господа и легкомысленные юнцы, на несколько мгновений прервав беседу, осеняли себя крестом, прежде чем сесть за стол, причем дело происходило не дома, не в кругу семьи, но на людях, в обществе, состоящем из одних мужчин. Люди, воздерживающиеся от исполнения этого религиозного долга (их было немало), следили за действиями соседей без удивления; как видите, Париж недаром отделяют от Москвы добрых восемьсот лье.

Дворец, в котором обосновался клуб, показался мне просторным и красивым; он устроен и обставлен подобающим образом, и в нем можно найти почти все, что имеется в других клубах. Это меня не удивило, но вот благочестием русских я был искренне восхищен, о чем и сообщил особе, введшей меня в клуб.

Мы беседовали наедине, удалившись в глубь сада; дело происходило после обеда. «Не стоит судить о нас по видимости», —

отвечал мой собеседник, один из просвещеннейших подданных Российской империи, в чем вы скоро убедитесь.— «Однако,— возразил я ему,— именно эта видимость и внушает мне уважение к вашей нации. У нас все боятся только ханжества, а ведь цинизм куда более губителен для общества».— «Да, но он менее отвратителен для великодушных сердец».— «Не спорю,— продолжал я,— но отчего выходит, что громче всех обличают святотатство именно безбожники, которые поднимают шум, стоит им только заподозрить, что в сердце человека чуть меньше благочестия, чем он выказывает в поступках и словах? Будь наши философы последовательны, они увидели бы в ханжестве одну из опор государственной машины. Верующие куда более покладисты, чем безбожники».— «Я не ждал от вас апологии ханжества».— «Я ненавижу его как отвратительнейший из пороков, но утверждаю, что ханжество, не причиняющее человеку вреда ни в чем, кроме его отношений с Господом, менее опасно для общества, чем наглое безбожие, и настаиваю на том, что именовать его осквернением святыни вправе лишь особы истинно благочестивые. Людям неверующим, государственным мужам, исповедующим философические убеждения, следовало бы относиться к ханжеству снисходительно и даже использовать его как мощное средство воздействия на политику, однако французы избирали этот путь очень редко, ибо галльское чистосердечие отказывается править людьми с помощью лжи; напротив, наши расчетливые соперники научились извлекать пользу из спасительной лжи куда лучше, чем мы. Разве Англия, страна, где царит дух сугубо практический, не получила щедрого вознаграждения за богословскую непоследовательность и религиозное лицемерие? Англиканская церковь, вне всякого сомнения, подверглась реформам в гораздо меньшей степени, нежели церковь католическая; после того как Тридентский собор удовлетворил законные требования князей и народов, сделалось невозможным выдвигать в качестве предлога для разрушения церковного единства борьбу со злоупотреблениями, которые иные люди, присвоившие себе роковое право создавать секты, осуждают на словах и умножают на деле; меж тем Церковь, зиждущаяся на очевидных противоречиях и созданная благодаря незаконному присвоению чужих прав, по сей день помогает своей стране покорять мир, страна же платит ей лицемерным покровительством; способ этот может показаться отвратительным, но он безотказен. Поэтому я утверждаю, что непоследовательные и ханжеские деяния, чудовищные с точки зрения людей истинно религиозных, не должны оскорблять ни философов, ни государственных мужей».— «Не хотите же вы сказать, что среди прихожан англиканской церкви нет ни одного искренне верующего христианина?» — «Нет, я допускаю, что в этом случае, как и во всех прочих, правило знает исключения, однако я убежден, что большинство тамошних христиан действуют непоследовательно, что, впрочем, никак не мешает мне, французу,

завидовать религиозной политике англичан; равным образом восхищаюсь я и благочестивым смирением русских. У французов всякий священник, пользующийся доверием народа, кажется угнетателем тем вольнодумцам, что вот уже сто тридцать лет управляют страной и либо открыто, посредством своего революционного фанатизма, либо тайно, посредством своего философического равнодушия, погружают ее в хаос».

Мой истинно просвещенный собеседник, казалось, глубоко задумался; после продолжительного молчания он сказал: «Мои взгляды не так далеки от ваших, как вы думаете; путешествуя по Европе, я никогда не мог постичь одного обстоятельства, представляющегося мне необъяснимым: я говорю о враждебности либералов — даже тех, кто именуют себя христианами, — католической религии. Неужели эти люди (а среди них есть такие, которые рассуждают весьма здраво и доводят свои рассуждения до логического конца) не видят, что, отрекаясь от римской религии, они лишают себя покровительницы, способной защитить их от деспотизма, свойственного правительству любой страны, какие бы убеждения оно ни исповедовало?» — «Вы совершенно правы, — отвечал я, — но миром правит привычка; в течение многих столетий самые светлые умы так громко бранили нетерпимость и алчность Рима, что никто у нас еще не успел изменить точку зрения и понять, что папа как духовный глава Церкви есть незыблемая опора религиозной свободы во всем христианском мире, а как светский владыка — достойный правитель, викарий Иисуса Христа, несущий свое двойственное бремя и отстаивающий свою независимость с превеликим трудом, ибо политика его, бессильная внутри страны, уже давно не страшна никому за ее пределами.

Как не разглядеть с первого же взгляда, что всякая нация, безоговорочно принимающая католическую веру, неизбежно становится противницей Англии, чья политическая мощь зиждется исключительно на ереси? Если Франция поднимает и защищает всею силою своих убеждений знамя Католической Церкви, она уже одним этим объявляет во всех концах света страшную войну Англии *. Все это — истины, которые в наше время, кажется, не могут не быть очевидными для всех, между тем по сей день над ними еще не задумался никто, кроме нескольких особ — заинтересованных и потому не пользующихся доверием: ведь особенность нашей эпохи заключается в том, что французы воображают, будто человек, сколько-нибудь заинтересованный в том, чтобы говорить правду, непременно лжет: здравый смысл вызывал бы больше доверия, будь доподлинно известно, что он решительно бесполезен... Таково смятение, царящее в умах после полувека, отданного революциям, и сотни с лишним лет, прошедших под

* См. наше предисловие к книге.

знаком философского и литературного цинизма. Разве нет у меня оснований завидовать вашей вере?»

— Однако ваша религиозная политика призвана побудить всю нацию преклонить колени перед священниками.

— Преувеличенное благочестие, на мой взгляд, — не самая страшная из опасностей, грозящих нашему веку, однако будь даже благочестие истово верующих людей силой устрашающей, я не отступил бы по этой причине от своих убеждений; всякий человек, который желает добиться в этой жизни чего-нибудь положительного, неминуемо, если воспользоваться вашим выражением, преклоняет колени перед кем-либо.

— Согласен, однако я скорее стану льстить газетчикам, нежели священникам; свобода мысли таит в себе больше преимуществ, чем невыгод.

— Имей вы возможность наблюдать ту тиранию мысли, к какой приводит произвол людей, управляющих французской прессой, так близко, как наблюдал ее я, вы не произнесли бы этой красивой фразы: получи вы свободу мысли, вы очень скоро узнали бы, что газетчики правят миром так же пристрастно, но куда менее добродетельно, нежели священники. Забудьте на мгновение о политике и попытайтесь определить, чем руководствуются газетчики, создавая репутацию тем или иным лицам... Нравственность власти зависит от той школы, которую проходят люди, на эту власть притязающие. Не думаете же вы, что чувство собственного достоинства и независимости развито у газетчиков больше, нежели у священников? А ведь вопрос именно в этом, и сегодняшняя Франция призвана решить его, а равно и множество других вопросов, в духе времени; впрочем, какое бы мнение ни взяло верх, я знаю наверное, что Господь никогда не дозволяет человеческой логике безраздельно распоряжаться земным миром и что люди с непреклонной душой и фанатическими идеями недолго удерживают в руках незаконно похищенную ими власть... Однако оставим общие рассуждения и поговорим о состоянии религии в вашей стране; скажите мне, каковы те люди, что проповедуют и толкуют Евангелие в России?

Вопрос мой, пусть даже обращенный к человеку высокого ума, в Петербурге прозвучал бы нескромно; в Москве же я дерзнул задать его, ибо здесь царит загадочная свобода, которой местные жители пользуются безотчетно, не умея ее определить и не зная ее причин; иным людям, пленившимся ею, случается дорого поплатиться за свою доверчивость, и все же свобода эта — не выдумка, а быль *. Вот что ответил мне философически настроенный русский (слово «философический» я употребляю в самом лестном смысле). Вы уже знаете характер его убеждений: после многолетнего пребывания в Европе он возвратился в Россию, исповедуя воззрения либеральные, но весьма здравые. Вот вкратце его речь:

* Беззаконный арест француза, о котором я рассказываю ниже, доказывает опасность подобных иллюзий.

«В греческих церквях проповеди всегда были весьма кратки, у нас же политические и религиозные власти больше, чем где бы то ни было, противились богословским спорам; как только нашлись люди, пожелавшие обсуждать разногласия Рима и Византии, им предписали молчание. Предметы разногласий столь ничтожны, что споры могут продолжаться лишь благодаря невежеству сторон. Во многих учебных заведениях для девочек и мальчиков воспитатели, по примеру иезуитов, давали детям начатки религиозного образования, но власти терпят подобные уроки лишь в виде исключения, время от времени накладывая на них запрет; вот факт, могущий показаться вам невероятным, но тем не менее абсолютно достоверный: публичного религиозного воспитания в России не существует *.

Отсюда — обилие сект, существование которых правительство тщателью скрывает.

Одна из них поощряет многоженство; другая идет еще дальше: она проповедует общность жен и мужей и претворяет свои теории в жизнь.

Нашим священникам запрещено писать что бы то ни было, даже летописи; крестьяне толкуют Библию, вырывая фразы из контекста, что приводит к образованию новых ересей, по преимуществу кальвинистских. Когда деревенский поп спохватывается, выясняется, что ересь уже заразила большую часть местных жителей и даже, благодаря упорству невежд, распространилась среди обитателей соседних деревень; если поп бьет тревогу, еретиков-крестьян немедленно ссылают в Сибирь, поэтом помещик, чтобы не лишиться крепостных и не разориться, самыми разными способами принуждает попа к молчанию; когда же, несмотря на все предосторожности, слухи о новой секте наконец доходят до высших властей, число еретиков становится так велико, что любые меры оказываются бесполезны: насилие может привести к огласке, но не способно искоренить зло; опровержение веры, исповедуемой сектантами, породит дискуссию, а это в глазах русского правительства — страшнейшее из зол; таким образом, единственным средством, к которому прибегают власти, остается молчание, скрывающее недуг, но не лечащее, а, напротив, усугубляющее его.

Именно религиозные распри погубят русскую империю; вы увидите силе нашей веры оттого, что судите о нас понаслышке!»

Таково мнение одного из самых проникательных и искренних людей, каких я видел в России...

Один вполне заслуживающий доверия иностранец, уже много лет живущий в Москве, рассказал мне нынче, что недавно ему случилось обедать у петербургского купца, тайного приверженца одной из новых сект, в обществе его *трех* жен: не любовниц, а именно законных супругов. Не думаю, чтобы государство признало

* Я это знал прежде и уже писал об этом.

детей, прижитых им от этих трех супругов, законными, но его совесть христианина может оставаться спокойной.

Узнай я об этом случае от местного жителя, я не стал бы рассказывать вам о нем, ибо среди русских есть такие, которые охотно морочат голову чересчур любопытным и легковерным путешественникам и тем затрудняют им добросовестное исполнение долга важнейшего, но труднейшего — долга наблюдателя.

Купеческое сословие — самое могущественное, древнее и уважаемое сословие в Москве; богатые торговцы ведут жизнь, подобную той, какой наслаждаются азиатские негоцианты: это еще раз доказывает схожесть московских нравов с восточными обычаями, столь живописно изображенными в арабских сказках. Между Москвой и Багдадом столько общего, что, путешествуя по России, утрачиваешь желание видеть Персию: поездка туда не сулит ничего нового.

Я побывал на народном празднике около монастыря на Девичьем поле. Действующими лицами в этом представлении служили солдаты и мужики, зрителями — светские люди, также не оставившие без внимания эту забаву. Шатры и палатки, где продают спиртное, разбиты подле кладбища; поклонение мертвым служит народу поводом для веселья. Праздник был посвящен не вспомню какому святому, на мощи и образа которого простолюдины исправно молились между кружками кваса. В тот вечер они истребили сказочное количество этого национального напитка.

В монастыре на Девичьем поле восемь церквей; в одной из них хранится чудотворная икона Смоленской Божьей матери, которую некоторые русские считают всего лишь копией.

К концу дня я вошел в главный собор монастыря; он произвел на меня сильное впечатление: полумрак сообщал ему особенное величие. В обязанность монахинь входит украшение алтарей в приделах, и эту обязанность — впрочем, легчайшую из всех, какие предписывает их состояние, — они исполняют с большим тщанием, обязанностями же более трудными пренебрегают, ибо, как говорят особы весьма осведомленные, поведение московских монахинь не назовешь безупречным.

В соборе похоронены несколько цариц и царевен, в частности честолюбивая царевна Софья, сестра Петра Великого, и царица Евдокия, первая жена этого монарха. Эта несчастная женщина, впадшая в немилость, если я не ошибаюсь, в 1696 году, была вынуждена принять постриг в Суздале.

Католическая церковь питает такое великое почтение к неразрывным узам брака, что позволяет замужней женщине уходить в монастырь лишь в том случае, если супруг ее в то же самое время принимает постриг или становится священником. Таково правило, однако у нас, как и везде, законы нередко подчиняются людским интересам; тем не менее известно, что католическое духовенство

и по сей день лучше всех в мире умеет охранять священную независимость религии от посягательств политики.

Императрица-монахиня скончалась в Москве, в Новодевичьем монастыре, в 1731 году.

Внутренний двор собора частично занят весьма красивым кладбищем. Вообще русские монастыри больше походят на скопище небольших домов, на городской квартал в каменной ограде, чем на обитель веры. Многажды разрушавшиеся и перестраивавшиеся, они имеют весьма современный вид; в краю, где нет ничего долговечного, ни одно здание не может противостоять действию климата и злобе стихий. Все очень скоро приходит в негодность и перестраивается наново: поэтому вся страна кажется поселением, основанным не далее, как вчера. Один Кремль, кажется, не боится зимних морозов и готов стоять невредимым столько, сколько просуществует империя, чьей эмблемой и оплотом он является.

Впрочем, хотя русские монастыри и не отличаются красотой архитектуры, воплощаемая ими идея неизбежно сообщает им величие. Выйдя за ограду Новодевичьего монастыря, я постарался отдалиться от толпы, чей шум начал мне докучать. Тьма уже окутала купола церквей, когда я принялся осматривать один из красивейших кварталов Москвы — города, где нет недостатка в живописных видах. Идя по улице, вы не замечаете ничего, кроме стоящих на ней домов, но ступайте на широкую площадь, поднимитесь на горку, даже совсем невысокую, откройте окно, выйдите на балкон или террасу — и вашим глазам предстанет новый, огромный город, раскинувшийся на холмах, между которыми пролегают пашни, пруды, даже леса; город-деревня, окруженный полями, зыблущимися, словно море, которое, в свой черед, даже в непогоду издали всегда напоминает равнину.

Москва — город, созданный для мастеров жанра, архитекторам же, скульпторам и создателям исторических полотен здесь не на что смотреть и нечего делать. Группы зданий, затерянные среди огромных просторов, образуют множество прелестных и смелых передних планов для величественных пейзажей, которые сообщают древней столице России неповторимый облик, ибо в мире нет другого города, который, разрастаясь, сохранял бы всю живописность сельской местности. В Москве столько же проселочных дорог, сколько и улиц, столько же вспаханных полей, сколько и холмов, застроенных домами, столько же запустелых оврагов, сколько и шумных площадей. В двух шагах от центра города вы можете увидеть деревенские дома на берегу пруда и в окружении лесов: взору вашему предстают то величественные монастыри со множеством устремленных в небо соборов и колоколен, то дома на холмах, то колосающиеся поля, то почти совсем пересохшая из-за летнего времени река; переведите взгляд чуть подальше — и вы увидите острова городских построек, столь же необычных, сколь и разнообразных,

увидите театры с античными перистильями, а рядом деревянные дворцы — единственные творения национального архитектурного гения, пригодные для житья, причем все это будет наполовину скрыто от вас зеленью; не забудьте также, что над поэтической декорацией, которую я только что описал, царит древний Кремль с его зубчатыми стенами и изумительными башнями, чьи верхушки напоминают заснеженные вершины вековых дубов. Этот славянский Парфенон правит Москвой и охраняет ее; он подобен венецианскому дожу, восседающему среди сената.

Палатки, где толпились участники гулянья на Девичьем поле, к вечеру пропитались нестерпимым зловонием; воздух отравляли запахи юфти, спиртных напитков, крепкого пива, кислой капусты, казацких сапог, мускуса и амбры, которыми благоухали несколько дворян, забредших сюда от нечего делать и, кажется, из аристократической гордыни решивших во что бы то ни стало проскучать здесь весь день: что до меня, я очень скоро начал задыхаться.

Для русских простолюдинов главное удовольствие — хмель, иначе говоря, забвение. Бедняги! чтобы стать счастливыми, им нужно впасть в забытье; впрочем, о добродушном нраве русских мужиков свидетельствует то, что, захмелев, эти люди, как бы грубы они ни были, смягчаются и, вместо того чтобы по примеру пьяниц всего мира лезть в драку и избивать друг друга до полусмерти, плачут и целуются: что за трогательная и забавная нация!.. Как отраднo было бы сделать ее счастливой. Однако задача эта нелегкая — чтобы не сказать невыполнимая. Укажите мне способ удовлетворить смутные желания великана — юного, ленивого, невежественного, честолюбивого и связанного по рукам и ногам!.. Мне ни разу еще не случалось пожалеть здешний народ, не посочувствовать одновременно всемогущему человеку, этим народом управляющему.

Я отошел от питейных заведений и стал прохаживаться по площади: толпы гуляющих вздымали здесь тучи пыли. В Афинах лето длится долго, но дни там коротки, а воздух благодаря ветру, прилетающему с моря, не теплее, чем в Москве быстротечным северным летом. В России же в это время года стоит невыносимая жара: впрочем, скоро она прекратится, наступит ночь, а вслед за ней и зима, которая вынудит меня сократить пребывание в этой стране, как ни любопытно было бы пожить здесь подольше.

Замерзнуть в Москве невозможно, твердят в один голос все защитники русского климата; быть может, они и правы, однако русская зима — это восемь месяцев взаперти, меха, двойные стекла и предосторожности, каких требует свирепый мороз (а ртутный столбик опускается здесь до 15, а то и до 30 градусов ниже нуля), — тут есть над чем подумать, не так ли?

Монастырь на Девичьем поле стоит на высоком берегу Москвы-реки; ярмарочное поле, как говорят в Нормандии, а иными словами, — площадь, где происходит празднество, — это огромный пус-

тырь, спускающийся, порой полого, а порой и круто, к реке, которая в этом году больше походит на песчаную дорогу то и дело меняющейся ширины, по середине которой струится тоненький ручеек. С одной стороны поля вздымаются ввысь башни монастыря, с другой виднеются вдали здания старой Москвы; поля и луга вперемежку с окаймленными зеленью домами, серые доски хижин рядом с гипсом и известью роскошных дворцов, сосновые леса, окружающие столицу траурным поясом, медленно догорающий вдали закат — все здесь сообщает однообразному северному пейзажу величавую красоту. Здесь взору предстают картины печальные, но грандиозные. Здесь все проникнуто поэзией, написанной на незнакомом нам таинственном языке: попирая эту угнетенную землю, я вслушиваюсь, не понимая слов, в плач безвестного Иеремии; деспотизм не может не рождать пророков: будущее сулит райскую жизнь рабам и адские муки тиранам! По долетающим до моего слуха мелодиям горестных песен, по косым, хитрым, брошенным украдкой лицемерным взглядам я пытаюсь угадать мысль, дремлющую в душе этого народа, однако лишь время и молодость, которая, сколько бы на нее ни клеветали, больше располагает к учению, нежели зрелый возраст, позволили бы мне проникнуть во все тайны этой поэзии скорби.

Вместо того, чтобы заниматься серьезными исследованиями, я — за неимением документов — забавляюсь, рассматриваю лица простолоудинов, их полувосточные, получухонские наряды; я радуюсь, что посетил этот праздник — невеселый, но так сильно отличающийся от всего виденного мною прежде.

Среди тех, кто гулял и выпивал на площади, было множество казаков. Собравшись в кружок, они молча слушали нескольких певцов, которые пронзительными голосами грустно выводили под негромкую, но весьма мелодичную музыку казачью народную песню. Пожалуй, она похожа на старинную песню «Испанские шалости», но звучит гораздо печальнее, нежнее и проникновеннее; кажется, будто слышишь доносящуюся из глубины ночного леса соловьиную трель. Слушатели иногда подтягивали хором последние слова куплетов.

Вот дословный прозаический перевод, сделанный для меня одним русским.

Ю н ы й к а з а к

Они бьют тревогу,
Копь мой рост земаю;
Я слышу его ржанье,
Не удерживай меня.

Ю н а я д е в а

Пусть другие рвутся в бой,
Ты слишком юн и нежен;
Останься в нашей хижине,
Не сди за доп.

Ю н ы й к а з а к

Враг, враг, к оружию!..
Вызываю тебя на бой;
Нежный с тобой, надменный с врагом,
Я молод, но отважен;
Старый казак покраснеет от стыда и гнева,
Если уедет без меня.

Ю н а я д е в а

Посмотри, как плачет твоя мать,
Как дрожат ее колени;
Твоя пика поразит ее и меня
Прежде, чем пронзит врага.

Ю н ы й к а з а к

Бойцы, повествуя о битве,
Назовут меня трусом;
Если же я погибну, братья прославят мое имя,
И это утешит тебя.

Ю н а я д е в а

Нет, мы ляжем в одну могилу;
Если ты умрешь, я умру вслед за тобой;
Ты уедешь один, но погибнем мы вместе.
Прощай, у меня больше нет сил плакать.

Слова этой песни звучат, на мой вкус, вполне современно, мелодия же придает им аромат старины и простоты, благодаря которому я мог бы без скуки слушать ее часы напролет.

С каждым куплетом она производит на слушателя все более глубокое впечатление: много лет назад в Париже танцевали русский танец под сходную музыку, однако в стране, где она родилась, музыка трогает душу куда сильнее.

В песнях северных народов больше грусти, чем страсти, однако они надолго врезаются в память, меж тем как более яркие впечатления от южных песен вскоре забываются. Грусть долговечнее страсти. После того как я прослушал казачью песню несколько раз, она показалась мне уже не столь монотонной и куда более яркой; с музыкой незамысловатой это случается часто: повторение лишь увеличивает ее выразительность. Уральские казаки поют совсем иначе; жаль, что мне не довелось их слышать.

Это племя достойно специального изучения, на которое, однако, у торопливого иностранца нет времени; казаки, по большей части семейные, — это воинский род, не столько регулярная армия, сколько укрощенная орда. Привязанные к своим вождям, как собака к своему хозяину, они исполняют приказания с большим пылом и меньшим раболепством, чем другие русские солдаты. В стране, где ничто не определено раз и навсегда, они почитают себя союзниками, но не рабами императора. Они проворны, привычны к кочевому образу жизни; кони их быстры и горячи, терпеливы и ловки,

как и они сами, так же легко преодолевают усталость и лишения. Невозможно без восхищения думать об этих дикарях-разведчиках, которые благодаря своему географическому чутью находят дорогу в любой незнакомой местности, как в самой пустынной и бесплодной, так и в самой цивилизованной и населенной. Разве на войне само слово «казак» не вселяет ужас в душу врага? Генералы, умеющие с толком использовать эту легкую кавалерию, получают в свое распоряжение такое мощное средство атаки, какого нет у полководцев, возглавляющих самые дисциплинированные армии мира.

Говорят, у казаков от природы мягкий нрав; они более чувствительны, чем можно было бы ожидать от столь грубого народа, однако безграничность их невежества вызывает у меня сочувствие и к ним, и к их повелителям.

Когда я думаю о выгоде, какую извлекают здешние офицеры из доверчивости солдат, все во мне восстает против правительства, опускающегося до подобных уловок и не наказывающего тех своих подчиненных, что осмеливаются к ним прибегать.

Я знаю из надежного источника, что в 1814 — 1815 годах командиры, выводя свои отряды за пределы отечества, говорили казакам: «Убивайте как можно больше врагов, уничтожайте противника, ничего не опасаясь. Погибнув в бою, вы через три дня возвратитесь домой, к женам и детям; вы воскреснете во плоти и крови, душой и телом; чего вам бояться?»

Люди, привыкшие почитать приказы офицеров за волю Бога Отца, понимали эти обещания буквально; вы знаете, как отважно они сражались: до тех пор, пока возможно было избежать опасности, они удирали, как последние мародеры, но, увидев, что гибель неминуема, встречали ее как настоящие солдаты.

Что до меня, я убежден: если бы мне пришлось прибегать к этим или подобным способам ради того, чтобы вести за собою несчастных простаков, я и неделю бы не согласился носить офицерские погоны; обманывать людей, пусть даже ради того, чтобы делать из них героев, кажется мне задачей, недостойной и их и меня; я готов пользоваться храбростью подчиненных мне бойцов, но при этом хочу иметь право восхищаться ими; пробуждать мужество солдат законными средствами — долг командира; толкать их на смерть, скрывая от несчастных их удел, — обман, лишаящий подвиг благородства, а преданность — нравственного величия; армейское лицемерие ничем не лучше лицемерия религиозного. Если бы война извиняла любую неправду, как полагают иные люди, что извиняло бы войну?

Можно ли, однако, без ужаса и отвращения вообразить себе нравственное состояние нации, чья армия не далее, чем двадцать пять лет назад, управлялась подобным способом? Конечно, действие всякого обмана ограничено, однако государственной машине хва-

тает одной выдумки на военную кампанию: у каждой войны своя ложь.

Закончу басней, сочиненной, кажется, нарочно к этому случаю. Мысль принадлежит поляку, епископу Вармийскому, жившему во времена Фридриха II и прославившемуся своим остроумием; французское подражание написано графом Эльзеаром де Сабраном:

УПРЯЖКА

Искусный кучер правил экипажем;
Попарно четверню в него он впряг
И, зная, как ее ускорить шаг,
Такую речь держал (мы перескажем):
«Беда, коль первые уйдут от вас вперед»,—
Вторую поучал он пару.
«Беда, коль задняя вас пара обойдет
Или хотя б нагонит: больше жару!» —
Передних лошадей он торопил,
И те бежали, не жалея сил.
Прохожий, слыша назиданье это,
Сказал: «Морочите вы лошадей своих».
А кучер: «Точно, я морочу их,
Но катит хорошо моя карета» *.

* Перевод М. Гринберга.

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ

Татарская мечеть.— Как живут в Москве потомки монголов.— Их внешность.— Размышления о судьбе различных племен, составляющих род человеческий.— Унизительная терпимость.— Живописные картины.— Вид на Кремль издали.— Цитата из Лаво.— Сухарева башня.— Просторный водоем.— Византийская архитектура. Общественные заведения.— Вездесущий император.— Несовместимость славянского и немецкого характеров.— Большой московский манеж.— Дворянское собрание.— Что понимают русские под цивилизацией.— Указы Петра I касательно этикета.— Пристрастие русских к мишуре.— Обыкновения вельмож.— Разрушительное действие скуки на общество, подобное московскому.— Русские кафе.— Наряд тамошних слуг.— Смирненность бывших крепостных.— Их религиозные верования.— Московское общество.— Загородные дома в черте города.— Деревянные дома.— Обед под навесом.— Истинная учтивость.— Русский характер.— Презрение русских к милосердию.— Император поощряет это чувство.— Изящные манеры русских.— Их умение пленять собеседника.— Порождаемые им иллюзии.— Сходство русского и польского характеров.— Жизнь знатных гуляк в Москве.— Чем объясняется их вольное поведение.— Беспрецедентная ветренность.— Что служит оправданием деспотизму.— Нравственные последствия этого образа правления.— Безбожие губительно даже для людей безнравственных.— Размышления о нашей нынешней литературе.— Уважение к слову.— Великосветский пьяница.— Дотошность и неучтивость русских.— Портрет князя ***.— Его свита.— Убийство в женском монастыре.— Любовные приключения.— Разговор за табльдотом.— Кремлевский ловелас.— Бурлескное прошение.— Современное ханжество.— Загородная поездка.— Прощание с князем *** во дворе трактира.— Описание этой сцены.— Элегантный кучер.— Нравы московских меццан.— Снисходительное отношение к распутникам в этих краях.— В чем его причина.— Плод деспотизма.— Общее заблуждение касательно последствий, к каким приводит самодержавие.— Положение крепостных.— Что составляет действительную силу самодержавия.— Ложный путь.— Результаты политики Петра I.— Истинная мощь России.— На чем зиждилось величие царя Петра.— Его влияние заметно и по сей день.— Каким образом я прячу свои письма.— Петровское.— Пение русских цыган.— Революция в музыке, совершенная Дюпре.— Облик цыганок.— Русская опера.— Французская комедия.— Как русские говорят по-французски и понимают французскую речь.— Обманчивое впечатление, производимое ими на нас.— Русский в своей библиотеке.— Ребьячество.— Тарантас — местное средство передвижения.— Что означает для русского необходимость проехать четьыреста лье.— Приятная черта характера.

Москва, ... августа 1839 года

За последние два дня я видел множество достопримечательностей: прежде всего татарскую мечеть. Победители отправляют сегодня религиозную службу в укромном уголке столицы побежденных — христиан, которые в плату за свою терпимость имеют свободный доступ в святилище магометан.

Мечеть — маленькое невзрачное здание; люди, которым дозволяют поклоняться здесь Богу и пророку, тщедушны, грязны, бедны и пугливы. Каждую пятницу они приходят в этот храм, чтобы простереться ниц на потертом шерстяном коврике, который каждый приносит с собой. Их красивые азиатские одежды давно превратились в лохмотья, их надменность стала бесполезной уловкой, всемогущество — низостью; они стараются держаться обособленно, не сближаясь с местным населением, которое окружает и подавляет их. Разумеется, глядя на тех нищих, что пресмыкаются в нынешней Москве, никто бы не догадался о том, как деспотически правили жителями Москвы их предки.

Сообщаясь преимущественно со своими единоверцами, эти несчастные потомки завоевателей торгуют в Москве азиатскими товарами и, дабы оставаться правоверными магометанами, избегают употребления вин и более крепких напитков, держат жен взаперти или, по крайней мере, не позволяют им показывать лица посторонним мужчинам, которые, впрочем, сносят эту потерю весьма равнодушно, ибо монголов не назовешь привлекательными. Выступающие вперед скулы, приплюснутые носы, маленькие, глубоко посаженные черные глазки, курчавые волосы, смуглая лоснящаяся кожа, небольшой рост, бедность и неопрятность — вот отличительные черты этого выродившегося племени, как мужчин, так и тех редких женщин, чьи лица я все-таки сумел разглядеть.

Разве не очевидно, что воля небес, столь загадочная для всякого, чей кругозор ограничен судьбой личностей, делается совершенно прозрачной, стоит перевести взор на судьбу наций? Жизнь каждого человека — драма, завязка которой свершается на одном театре, а развязка происходит на другом; с жизнью наций все обстоит иначе. Их поучительная трагедия начинается и заканчивается на земле; вот отчего история — священная книга; в ней скрыто оправдание Божественного Промысла.

Апостол Павел сказал: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога». Так же и Церковь вот уже две тысячи лет назад отлучила человека от одиночества и нарекла его гражданином того вечного общества, несовершенными подражаниями которому являются все общества, существующие на земле; никто еще не опроверг этих истин; напротив, опыт лишь подтверждает их. Чем тщательнее изучаешь характер различных наций, тем тверже убеждаешься в том, что участь их зависит от исповедуемых ими религий; религия — залог долговечности общества, ибо лишь веруя

в сверхъестественное, люди могут проститься с так называемым естественным состоянием — состоянием, рождающим только насилие и несправедливость; несчастья угнетенных племен суть не что иное, как кара за их неверие или добровольные заблуждения в области веры; к таким выводам я пришел в продолжение моих долгих странствий. Всякому путешественнику приходится быть философом и даже более, чем философом, ибо хладнокровно наблюдать жизнь различных племен, рассеянных по земному шару, и размышлять, не впадая в отчаяние, о Божием суде, этом таинственном источнике человеческих невзгод, может только христианин...

Вот о чем думал я в мечети, где молились потомки Батыя, ставшие париями в отечестве своих бывших рабов...

Сегодня положение татарина в России хуже положения московского крепостного.

Русские гордятся своей терпимостью по отношению к вере их древних угнетателей, однако, на мой взгляд, в терпимости этой больше показного блеска, чем истинной философской мудрости; для народа же, которому оказывают подобное снисхождение, оно попросту унизительно. На месте потомков безжалостных монголов, так долго правивших Россией и наводивших ужас на весь мир, я предпочел бы молиться Богу в глубине души, лишь бы не вступать под своды мечети, милостиво пожалованной мне моими бывшими данниками.

Прогуливаясь по Москве без цели и без провожатых, я полагаюсь на случай, и он меня еще ни разу не подвел. Разве может наскучить город, где в конце каждой улицы, позади каждого дома открывается неожиданный вид на город, возведенный, кажется, не людьми, а духами, город в кольце кружевных, зубчатых, изрезанных стен, венчаемых множеством сторожевых площадок, башен и шпильей, — одним словом, на Кремль — крепость с поэтической наружностью и историческим именем... Кремль постоянно влечет меня к себе, как влечет нас все, что живо поражает наше воображение; однако прошу вас не забывать, что эту обнесенную оградой гору, на которой беспорядочно громоздятся памятники, не следует рассматривать с близкого расстояния. Утонченного вкуса, иначе говоря, умения отыскать единственную совершенно точную форму для выражения оригинальной мысли, русским недостает, но когда великаны берутся за подражание, они создают копии, не лишенные очарования; плоды рук гения величественны, творения силача велики по размерам: но и это не пустяк.

Для меня Кремль — это вся Москва. Знаю, что я не прав, но не желаю слушать возражений моего разума: мне интересна только эта державная цитадель, исток империи и сердце города.

Вот как описывает древнюю столицу России автор лучшего путеводителя по Москве, Лекуэнт Лаво: «Москва, — говорит он, — обязана своей самобытной красотой зубчатым стенам Китай-города

и Кремля *, своеобразной архитектуре своих церквей, своим золоченым куполам и многочисленным садам; потратьте миллионы на возведение баженовского дворца, сравняйте с землей кремлевские стены **, возведите на фоне ажурных колоколен и пятиглавых соборов храмы, исполненные по всем правилам новейшего архитектурного искусства, застройте, повинувшись современной мании, сады домами, — и вы получите вместо Москвы европейский город, большой, но ничем не интересный любознательным путешественникам».

В этих строках выражены мысли, очень мне близкие и потому поразившие меня своей справедливостью.

Дабы ненадолго забыть о грозном Кремле, я отправился взглянуть на Сухареву башню, выстроенную на возвышенности подле одной из городских застав. Второй этаж ее — просторное помещение, где устроен огромный водоем, по которому в пору кататься на лодке; отсюда поступает питьевая вода во все кварталы Москвы. Вид этого озера, заключенного в четырех стенах и поднятого на большую высоту, производит странное впечатление. Архитектура здания, впрочем довольно современная, тяжеловесна и уныла; однако аркады и украшения в византийском стиле вкупе с широкими перилами лестниц сообщают башне некоторое величие. В Москве много построек в византийском стиле; употребленный с умом, стиль этот мог бы положить начало единственной возможной у русских национальной архитектуре; рожденный в умеренном климате, он близок и потребностям северян, и привычкам южан. Внутренность византийского храма напоминает разукрашенное подземелье; благодаря толщине его массивных стен и царящему под его сводами полумраку, такой храм спасает и от холода, и от зноя.

Мне показали университет, Кадетское училище, Институты Святой Екатерины и Святого Александра, Вдовый дом и, наконец, Воспитательный дом; все это просторные, великолепные здания; русские гордятся обилием общественных заведений, которые можно предъявлять иностранцам; что до меня, я предпочел бы, чтобы заведения такого рода были менее роскошны, ибо нет ничего скучнее осмотра этих белых дворцов, похожих один на другой как две капли воды, — дворцов, где царит военная дисциплина, а жизнь человеческая, кажется, уподобляется монотонному движению маятника. Пусть другие описывают вам, что происходит в этих грандиозных питомниках, где пестуют офицеров, матерей семейств и учительниц; от меня вы об этом не услышите ни слова; скажу лишь, что эти полуполитические, полублаготворительные заведения показались мне образцом порядка, заботливости и чистоты; заведения эти делают честь как их устроителям, так и верховному правителю империи.

* Китай-город — купеческий квартал (см. его описание в нашем 27-м письме).

** Замысел Екатерины II, частично осуществляемый сегодня.

Невозможно ни на мгновение забыть об этом единственном в своем роде человеке, который мыслит, судит и живет за всю Россию: человек этот воплощает в себе знание и сознание собственного народа, предвидит, оценивает, повелевает и определяет, в чем нуждаются и на что имеют право притязать его подданные, которым он заменяет разум, волю, воображение, страсть, ибо под его тяжелой пятой ни одному существу не дозволено ни дышать, ни страдать, ни любить вне пределов, очерченных заранее верховной мудростью, предусматривающей — или, во всяком случае, обязанной предусматривать — все потребности своей державы.

Мы, французы, пресыщенные вольностями и разнообразием, попав в Россию, приходим в отчаяние от царящих здесь однообразия и холодного педантизма, неотделимых от идеи порядка и внушающих ненависть к тому, что, вообще говоря, достойно любви. Вся Россия, нация-дитя, — не что иное, как огромный коллеж; здешняя жизнь напоминает военное училище, с той лишь разницей, что учеба длится до самой смерти.

Немецкий склад ума, отличающий российских правителей, противен славянскому характеру; если бы русские — этот восточный, беспечный, капризный, поэтический народ — высказали вслух свои тайные мысли, они горько пожаловались бы на Алексея, Петра Великого, Екатерину II и их потомков, насаждавших и насаждающих в России германскую дисциплину. Как ни старайся императорская фамилия, она все равно остается чересчур немецкой по духу для того, чтобы безмятежно повелевать русскими и чувствовать себя на троне совершенно уверенно*; она не правит русскими, но подавляет их. Не сознают этого одни лишь крестьяне.

Я так далеко зашел в исполнении обязанностей путешественника, что согласился посетить манеж — полагаю, самый большой во всем мире; свод его поддерживают легкие железные арки весьма смелой конструкции, придающие зданию довольно любопытный вид.

Дворянское собрание в это время года пусто, но для очистки совести я побывал и там. В центральной зале установлена статуя Екатерины II. Залу эту, вмещающую до трех тысяч человек, украшают колонны и расположенная в глубине полуротонда. Зимой здесь задают, как я слышал, блестящие балы; я легко могу поверить, что московские балы роскошны; русские вельможи превосходно умеют разнообразить монотонные развлечения, предписываемые этикетом; когда дело доходит до празднеств, они не жалеют ни денег, ни выдумки; пышность они принимают за цивилизацию, мишуру за элегантность, из всего этого я делаю вывод, что они еще более невежественны, чем мы думаем. Немногим более ста лет назад

* Романовы по происхождению пруссаки, вдобавок с тех пор как родоначальник этой династии занял трон, представители ее — в отличие от московских князей — женились чаще всего на московских принцессах.

Петр Великий начал обучать их правилам хорошего тона, приличествующим разным сословиям. Он устраивал ассамблеи по образцу европейских балов и собраний и силой заставлял русских задавать такие же балы, какие задавали жители западных стран; он принуждал своих подданных брать в гости жен и обнажать голову перед тем, как войти в комнату. Однако, преподавая московским боярам и купцам мелочную науку общежительности, этот великий воспитатель своего народа сам опускался до подлейших занятий, вплоть до ремесла палача; ему случалось собственноручно отрубать в течение одного вечера более двадцати голов, а затем хвастать своею ловкостью; он гордился той беспримерной жестокостью, с какой покарал виновных, но потому еще более несчастных стрелцов: этот-то достойный наследник Иванов наставлял русских, его они почитали как бога, в нем видели непревзойденный образец русского монарха — и все это немногим более ста лет назад, в то самое время, когда в Париже представляли «Гофолию» и «Мизантропа».

Русские — неофиты, недавно приобщенные к цивилизации, — по сей день не утратили свойственной выскочкам привязанности ко всему, что блестит, пленяя взор.

Дети и дикари любят мишуру; русские — дети, которые свыклились с несчастьями, но не извлекли из них никаких уроков. Отсюда, заметим походя, отличающая их смесь легкомыслия и язвительности. Жизнь ровная, покойная, посвященная частным привязанностям и радостям умной беседы, им бы скоро наскучила.

Я не хочу сказать, что знатные господа вовсе нечувствительны к удовольствиям утонченным; однако для того, чтобы насытить этих кичливых и легкомысленных сатрапов, переменявших лишь платье, для того чтобы поразить их взбалмошное воображение, потребны впечатления более резкие. Любовь к игре, невоздержанность, распутство и утехы тщеславия с трудом могут заполнить пустоту этих пресыщенных сердец. Божьи творения не в силах занять эти беззаботные, утомленные бесплодием и праздностью умы, развлечь этих несчастных богачей; в своей ничтожной гордыне они призывают себе на помощь дух разрушения.

Вся современная Европа скучает; свидетельство тому — образ жизни нынешней молодежи; однако Россия страдает от этого зла больше других стран, ибо русские ни в чем не знают меры; я не берусь описать вам все опустошения, какие производит в сердцах москвичей их пресыщенность. Нигде еще болезни души, порожденные скукой — этой страстью людей бесстрастных, — не казались мне столь опасными и столь распространенными, как в Москве: можно подумать, что здесь общество родилось одновременно со злоупотреблениями. Когда порок оказывается уже не в силах помочь сердцу человеческому избавиться от гложущей его скуки, человек идет на преступление. Скоро я вам это докажу.

Внутренность русского трактира весьма необычна: представьте

себе дурно освещенную комнату с низким потолком, расположенную, как правило, на втором этаже. Еду и питье подают слуги в похожих на туники белых рубашках навывпуск, перетянутых в талии, а если изъясняться менее возвышенно, — в блузах, из-под которых виднеются такие же белые брюки. Волосы у трактирных слуг длинные и гладкие, как у всех русских простолюдинов; наряд же их вызывает в памяти теофилантропов эпохи французской революции или жрецов, действовавших на оперной сцене во времена моды на язычество. Слуги молча подают превосходный чай, какого не найдешь ни в какой другой стране, кофе и ликеры; торжественность и таинственность, с какой они держатся, далека от шумного веселья, какое царит в парижских кафе. В России все народные развлечения исполнены меланхолии, радость здесь — привилегия, поэтому она, по моим наблюдениям, почти всегда преувеличенна, наигранна, неестественна и производит куда более тяжкое впечатление, чем печаль.

В России смеются только комедианты, льстецы или пьяницы.

Я слышал, что некогда русские крепостные крестьяне в своем простодушном самоотречении верили, будто попасть на небо суждено только их хозяевам: как ужасно это смирение обездоленных! Вот христианские уроки, какие преподает народу греческая Церковь.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТОГО ЖЕ ПИСЬМА

Москва, 15 августа 1839 года, вечер

Московское общество не лишено приятности; смешение старинных патриархальных традиций с современной европейской непринужденностью выглядит весьма необычно. Гостеприимство древней Азии и изысканность цивилизованной Европы соединились в этой точке земного шара, дабы сделать здешнюю жизнь легче и сладостнее. Москва, выстроенная на границе двух частей света, в центре материка, — пересадочный пункт на пути между Лондоном и Пекином. Дух подражания не окончательно уничтожил здесь национальный характер; вдали от образца копия выглядит почти оригинальной.

В Москве иностранцу довольно нескольких рекомендательных писем, чтобы свести знакомство с множеством особ, замечательных либо огромным богатством, либо высоким положением, либо острым умом. Следовательно, первые шаги в Москве путешественнику даются легко.

Недавно меня пригласили отобедать в загородном доме. Расположен он в черте Москвы, однако дорога туда идет то берегом уединенного пруда, то полями, похожими на степи; проехав целое лье и приблизившись наконец к усадьбе, вы видите позади сада темный и густой еловый лес, окаймляющий город. Кто бы, подобно мне, не пленился этой величественной сенью, этой

истинной пустыней внутри города? Кому не пригрезилась бы в этом месте варварская орда, военный бивак — все, что угодно, только не столица, могущая похвастать всей роскошью, всеми достижениями современной цивилизации? Подобные контрасты весьма характерны для Москвы: ни в каком другом городе их не встретишь.

Еще одна странность: дом, в котором меня принимали, — деревянный. В Москве богачи, как и мужики, живут в бревенчатых хоромах; и те и другие спят под крышей, сколоченной из тех же тесаных досок на манер первобытных хижин. Живи я в Москве, я предпочел бы иметь деревянный дом. Это — единственное жилище в национальном стиле и, что еще важнее, единственное, которое соответствует здешнему климату. Коренные москвичи почитают деревянный дом более теплым и удобным, чем каменный. Тот, в котором побывал я, показался мне комфортабельным и изящным; впрочем, владелец его проводит здесь только лето, а на зиму возвращается в другой свой дом, расположенный в центре столицы.

Обедали мы в саду, причем, для довершения оригинальности, стол был накрыт под навесом. Хотя гости, сплошь мужчины, держались весьма оживленно и вольно, беседа не выходила за рамки приличий: вещь редкая даже у народов, почитающих себя в высшей степени цивилизованными. В число гостей входили особы, много видевшие, много читавшие: их суждения о различных предметах показались мне справедливыми и тонкими; в светском общении русские, как правило, — подражатели, однако непринужденная беседа позволяет разглядеть в тех из них, кто мыслит (таковых, впрочем, единицы), греков, от природы тонких и пронизительных.

Обед длится довольно долго, но время для меня пролетело незаметно; заметьте, что всех гостей я видел первый раз в жизни, а хозяина дома — во второй.

Это весьма существенно: ведь только в обществе людей истинно учтивых чужестранец может чувствовать себя так непринужденно. Воспоминание об этом обеде — одно из самых приятных моих российских впечатлений.

Перед тем как покинуть Москву, где я вторично окажусь лишь проездом, я почитаю не лишним поговорить с вами о характере людей, населяющих Россию — страну, где я пробыл недолго, но где неотрывно и внимательно наблюдал за множеством людей и вещей, а также с превеликим тщанием сопоставлял множество сведений *. Разнообразие предметов, проходивших перед взором любознательного путешественника, которому обстоятельства благоприятствуют так же, как и мне, отчасти возмещает недостаток досуга, омрачающий мою поездку. Как я вам уже многократно говорил, я обожаю восхищаться; зная эту особенность моей природы, можно быть уверенным, что если уж я чем-то не восхищаюсь, то не потому, что я чересчур придиричив.

* Ниже, в главе, посвященной итогам моего путешествия, помещено иное описание русского характера.

Вообще мне не показалось, что жители России страдают избытком великодушия; они не верят в эту добродетель и отрицают бы ее существование, достань у них на это смелости; нынче же они ее презирают, ибо она им совершенно чужда. В них больше хитрости, чем деликатности, больше мягкости, чем чувствительности, больше гибкости, чем непринужденности, больше приятности, чем нежности, больше пронизательности, чем изобретательности, больше ума, чем воображения, больше наблюдательности, чем ума, более же всего в них расчетливости. Трудятся они не для того, чтобы принести пользу окружающим, но для того, чтобы получить вознаграждение, огонь созидания в их груди не горит, воодушевления, рождающего возвышенные плоды, они не ведают, чувства, не требующие иных оценок и иных наград, кроме тех, что исходят из собственного сердца творца, им неизвестны. Лишите их таких движителей, как корысть, страх или тщеславие, и они предадутся бездействию; в изящных искусствах они выказывают себя рабами, прислуживающими во дворце; священное одиночество гения им недоступно; чистая любовь к прекрасному их не насыщает.

С их свершениями в сфере практической дело обстоит точно так же, как с их творениями в мире мысли: там, где бал правит хитрость, благородство кажется обманом.

Величие души, я в этом убежден, не нуждается в наградах; однако, ничего не требуя, великая душа ко многому обязывает, ибо стремится сделать людей лучше: в России же она сделала бы их хуже, ибо здесь великодушие почитают притворством. У народа, ожесточенного постоянным страхом, милосердие слывет слабостью; с таким народом можно справиться, лишь запугивая его; неумолимая суровость ставит его на колени, мягкость же, напротив, позволила бы ему поднять голову; его нельзя убедить, но можно принудить к покорству, он не умеет быть гордым, но может становиться дерзким: он бунтует против снисходительной власти и повинуется безжалостной, ибо принимает злобу за силу.

Все это объясняет, хотя, на мой взгляд, и не оправдывает поведение императора: этот государь знает, как нужно добиваться послушания, и добивается его, однако в политике меры, вызванные необходимостью, не пробуждают во мне восхищения. В других странах дисциплина — только средство, здесь она — цель; между тем мне хотелось бы видеть правительства наставниками наций. Хорошо ли, что государь смиряет добрые порывы своего сердца только оттого, что почитает опасным выказывать чувства, слишком резко отличающиеся от чувств его народа? На мой взгляд, страшнейшая из слабостей та, которая делает человека безжалостным. Кто краснеет за свое великодушие, тот признает себя недостойным высшей власти.

Народы нуждаются в том, чтобы им постоянно напоминали: есть нечто превыше земных радостей; что же поможет им поверить

в Бога, как не милосердие? Осторожность — добродетель лишь постольку, поскольку она не исключает добродетелей куда более возвышенных. Если в сердце императора не больше великодушия, чем он выказывает в своей политике, мне жаль русских; если же чувства его благороднее деяний, мне жаль императора.

Когда русские держатся любезно, они пленяют вас, как бы сильно вы ни были предубеждены против них: сначала вы не замечаете, что очарованы, а потом не можете и не хотите избавиться от этих чар; определить, отчего это происходит, так же невозможно, как объяснить работу фантазии или проникнуть в тайну колдовства; власть русских над нами — могучая, хотя и непонятная — коренится, возможно, в природной прелести славян — том даре, который в обществе заменяет все прочие дары, а сам не может быть заменен ничем, ибо прелесть — это, пожалуй, и есть то единственное достоинство, которое позволяет обойтись без всех остальных.

Вообразите себе французскую учтивость прежних времен, воскресшую во всем своем великолепии, вообразите любезность безупречную и безыскусную, самозабвение невольное и натуральное, простодушное следование правилам хорошего вкуса, инстинктивную верность выбора, эlegantный и чуждый уныния аристократизм, непринужденность без примеси дерзости, сознание собственного превосходства, смягчаемое тем благородством, что неотрывно от истинного величия... Я тщетно пытаюсь приискать слова для исчисления всех этих едва уловимых оттенков; их нельзя описать — их можно только почувствовать; их нужно угадывать — определения им противопоказаны; как бы там ни было, знайте, что все эти, а также многие другие достоинства отличают манеры и речь недюжинных русских людей, причем в наибольшей степени обладают ими те русские, что не бывали за границей, но, живя в России, имели сношения с просвещенными иностранцами.

Эти чары, это обаяние даруют русским безраздельную власть над сердцами: до тех пор, пока вы пребываете в обществе этих незаурядных созданий, вы покоряетесь их власти, становящейся вдвое сильнее оттого, что вы воображаете, будто русские смотрят на вас так же, как вы на них, и это позволяет им торжествовать над вами. Вы забываете о времени и окружающем мире, вы не помышляете ни о делах, ни о заботах, ни о долге, ни о наслаждениях, вы живете настоящим, вы видите только нынешнего вашего собеседника, к которому питаете самые нежные чувства. Люди, у которых потребность нравиться ближним развилась до столь крайних степеней, нравятся непременно; их отличают безупречный вкус, утонченнейшая эlegantность и абсолютная естественность; в их безграничной любезности нет ничего фальшивого, она — талант, ищущий применения; дабы продлить иллюзию, во власти которой вы пребываете, достаточно было бы, возможно, насладиться обществом русских подольше, но вы уезжаете, и все исчезает, кроме остающегося в вашей душе воспоминания. Уезжайте-уезжайте — это надежнее.

Русские — отличные актеры; они умеют играть и без сцены.

Все путешественники обвиняют их в непостоянстве; упрек этот более чем основателен: стоит русским проститься с вами, и они тотчас же вычеркивают вас из сердца; я объясняю этот изъян не только их легкомыслием и ветреностью, но и недостатком образованности. Русские предпочитают поскорее распрощаться с иностранным гостем, потому что опасаются сколько-нибудь продолжительного существования бок о бок с ним: оттого-то их пылкое увлечение приезжими так стремительно оборачивается безразличием. Это мнимое непостоянство — лишь предосторожность, продиктованная верно понятыми интересами тщеславия и достаточно распространенная среди великосветских особ во всем мире. Тщательнее всего скрывают люди не порок, но пустоту; человек стыдится не своей развращенности, но своей ничтожности; следуя этому правилу, русские вельможи охотно выставляют напоказ те свойства ума и характера, которые пленяют с первого взгляда и позволяют в течение нескольких часов поддерживать увлекательную беседу; однако попытайтесь заглянуть за поразившие вас декорации — и гостеприимные хозяева преградят вам путь как нескромному соглядатаю, дерзнувшему приоткрыть дверь в спальню, изящно отделанную только снаружи. Принимают нас русские из любопытства, а отталкивают — из осторожности.

Так поступают и мужчины, и женщины, и в дружбе, и в любви. Изображая одного русского человека, вы изображаете всю нацию; так по одному солдату под ружьем можно составить представление обо всем полку. Нигде единообразие в управлении государством и образовании юношества не ощущается так сильно, как здесь. В этой стране все умы затянуты в одинаковый мундир. О! как, должно быть, тяжело существовать юному, чувствительному и простодушному жить среди этого народа, чье сердце холодно, а ум изощрен природой и обществом! Стоит мне вообразить, что происходит, когда сентиментальные немцы, доверчивые и взбалмошные французы, постоянные в своих привязанностях испанцы, страстные англичане, непринужденные и добродушные, как в доброе старое время, итальянцы сталкиваются с природным кокетством русских, как меня охватывает жалость к этим незадачливым чужестранцам, способным хоть на мгновение поверить, что им по плечу роли в здешнем спектакле. В сердечных делах русские — нежнейшие из хищников, их тщательно спрятанные когти, увы, ничуть не уменьшают их привлекательности.

Кроме России, действие подобных чар мне случилось испытать, пожалуй, только в Польше — еще одно проявление связи русского и польского народов! Какие бы гражданские распри ни разделяли русских и поляков, природа объединяет эти две нации против их воли. Не будь одна из них вынуждена из политических соображений угнетать другую, они прониклись бы взаимной любовью и признательностью.

Поляки — русские, исполненные рыцарственного духа и исповедующие католическую веру, с той лишь разницей, что в Польше живут, а точнее сказать, командуют женщины, а в России — мужчины.

Однако эти же самые люди, столь любезные, столь одаренные и очаровательные, иногда вовлекаются в такие заблуждения, каких избегнули бы люди самые заурядные.

Вы и представить себе не можете, какую жизнь ведут иные московские юноши, выходцы из знатных семейств, известных всей Европе. Они предаются возмутительным бесчинствам; без усталости вкушают они удовольствия, достойные то ли константинопольского сераля, то ли парижского рынка.

До конца дней они ведут жизнь, какую трудно выдержать в течение полугода, выказывая постоянство, которое было бы угодно небу, покойся оно на добродетели. Они словно нарочно созданы для прижизненного ада — так называю я существование многоопытного московского распутника.

В физическом отношении климат, в нравственном — правительство истребляют в этих краях всех слабых и немощных; все, кто не отличается ни могучим телосложением, ни тупым умом, гибнут; выживают лишь скоты либо сильные натуры, умеющие творить и добро и зло. Россия дает жизнь бешеным страстям либо беспомощным характерам, мятежникам либо автоматам, заговорщикам либо тупицам; промежуточные стадии между тираном и рабом, безумцем и скотом русским неведомы; о золотой середине не может быть и речи: она неужодна природе; избыток холода, как и избыток тепла, толкает людей на крайности. Я не хочу сказать, что сильные души встречаются в России реже, чем в других странах; напротив, здесь они более заметны, ибо выделяются на фоне вялой толпы. Далеко не все честолюбивые помыслы русских подкреплены соответствующими способностями: страсть к преувеличениям — признак слабости.

Впрочем, несмотря на контрасты, которые я только что обрисовал, в одном отношении все русские похожи: все они легкомысленны, все живут сегодняшними интересами, забывая наутро о планах, родившихся накануне вечером. Можно сказать, что сердце их — царство случая; с обезоруживающей легкостью они соглашаются на любое дело и так же легко от этого дела отказываются. Они — отражения, они грезят и навевают грезы, они не земные существа, а призраки; они живут и умирают, не успев заметить, что жизнь — серьезная штука. Ни добро ни зло для них не имеют большого веса; они умеют плакать, но не умеют чувствовать себя несчастными. Дворцы, горы, великаны, сильфы, страсти, уединение, блестящая толпа, высшее блаженство, безмерное горе: побеседуйте с ними четверть часа, и перед вами промелькнет целая вселенная. Их быстрый и пренебрежительный взгляд хладнокровно обегает творения человеческого ума, чей возраст исчисляется столетиями; они

думают, что, все презирая, над всем возвысятся; их похвалы суть оскорбления; они превозносят, тоскуя от зависти, они простираются ниц перед теми, кого почитают модными кумирами, скрепя сердце. При первом же порыве ветра картина преобразается — до следующей перемены погоды. Прах и дым, хаос и бездна — вот все, что могут произвести на свет эти непостоянные умы.

Ничто не может укорениться в столь зыбкой почве. Здесь все различия стираются, все способности уравниваются: туманный мир, в котором русские существуют сами и предоставляют существовать нам, появляется и исчезает по мановению руки этих бедных уродцев. С другой стороны, в столь изменчивой атмосфере ничто не прекращается навсегда; дружба или любовь, которые мы считали безвозвратно потерянными, оживают от одного взгляда, одного слова в то самое мгновение, когда мы меньше всего этого ожидаем, — с тем, впрочем, чтобы снова пропасть, лишь только мы уверуем в их прочность. Русские — колдуны: под действием их волшебной палочки жизнь превращается в непрерывную фантазмагорию; игра эта утомительная, но разоряются в ней лишь растяпы, ибо там, где все плутуют, никто не остается в проигрыше: одним словом, если употребить поэтическое выражение Шекспира, чьи широкие мазки помогают постичь самую суть природы, русские лживы, как вода.

Все это объясняет мне, отчего по сей день русские, кажется, обречены Провидением повиноваться деспотической власти: монархи угнетают их столько же по привычке, сколько из сострадания.

Адресуй я свой рассказ лишь такому философу, как вы, мне следовало бы привести здесь эпизоды из летописи нравов, о каких вам наверняка не доводилось читать даже во Франции, где, однако, пишут обо всем и описывают все без исключения; но за вашей спиной я различаю публику, и эта мысль меня останавливает: поэтому воображение дорисует вам все, о чем я умолчу; впрочем, я не прав: воображение ваше здесь бессильно. Больше того, поскольку о злоупотреблениях деспотизма — причине царящей здесь нравственной анархии — вы знаете лишь понаслышке, вы можете не поверить тому, что я расскажу вам о ее последствиях.

Где недостает законной свободы, там избыток свободы беззаконная; где на употребление наложен запрет, там господствуют злоупотребления; отрицая право, вы покровительствуете обману, отринув правосудие, облегчаете жизнь пороку. С некоторыми политическими установлениями и общественными строгостями дело обстоит как с цензурой, в которую стараниями таможенников поступают только вредные книги: ведь никто не дает себе труда рискнуть из-за книг безобидных.

Отсюда следует, что Москва — тот европейский город, где великосветский шалун чувствует себя всего вольготней. Правительство российское достаточно просвещенно, чтобы понимать, что абсолютная власть не исключает мятежей; оно предпочитает, чтобы

мятежи эти свершались не в политике, но в нравственности. Вот причина распутства одних и терпимости других. Впрочем, вольность нравов порождена в России и некоторыми другими обстоятельствами, исследовать которые я не имею ни времени, ни средств.

Впрочем, вот одно из них, на которое я обязан обратить ваше внимание. Дело в том, что множество особ хорошего рода, но дурной славы, впав в немилость из-за своих пороков, покидают Петербург и селятся в Москве.

После того, как современные литераторы живописали нам во всех подробностях — хотя, если верить им, с самыми благородными намерениями, — разнузданнейшие из оргий, мы, казалось бы, должны почитать себя знатоками разврата. О Боже! я готов признать, что подобные сочинения приносят пользу, я обязуюсь выслушивать подобных проповедников, но я не верю в действительность их поведений, ибо если дурная литература безнравственная, то еще страшнее литература подлая; тот, кто под предлогом ускорения благотворных перемен в низших сословиях развращает вкусы высших, поступает бесчестно. Заставлять женщин говорить на языке табачни или хотя бы выслушивать речи на этом языке, внушать светским людям любовь к сальностям — значит причинять нравам нации зло, какого не исправит ни одна политическая реформа. Литература наша обречена на гибель, потому что остроумнейшие из наших авторов, забыв о поэзии и уважении к прекрасному, ублажают пассажиров omnibusов и жителей предместий и, вместо того чтобы возвышать этих новоявленных судей до людей благородных и деликатных, сами опускаются до невежд, которым привычка к грубой пище мешает находить вкус в наслаждениях утонченных. Сочинители эти заменяют литературу эстампами, потому что вместе с чувствительностью утратили простодушие; этот порок куда страшнее, чем все изъязы старинных законов и нравов; это — еще одно следствие современного материализма, ищущего повсюду одну только пользу, пользой же почитающего лишь самые непосредственные, самые положительные плоды сказанного слова. Горе стране, где художники низводят себя до помощников полицейского префекта!!! Если писатель почитает своим долгом живописать порок, ему следует, по крайней мере, удвоить попечение о вкусе и, рисуя самые вульгарные фигуры, держать в уме идеальную истину. Однако чаще всего негодование создателей наших романов — моралистов, а точнее сказать, морализаторов, — обличает не столько любовь к добродетели, сколько цинизм и безразличие людей, не имеющих ни убеждений, ни вкуса. Их романам недостает поэзии, потому что их сердцам недостает веры. Тот, кто облагораживает изображение порока так, как это сделал Ричардсон, рисуя Ловласа, тот не развращает души, но, напротив, остерегается смутить воображение, обесчестить ум. Подобные изображения, исполненные нравственного смысла и уважения к чувствам читателя, представляются мне куда более

насущными для цивилизованных обществ, нежели точное исчисление гнусных проделок разбойников и беспримерных добродетелей проституток! Да простят мне читатели этот экскурс в область литературной критики; я спешу возвратиться к добросовестному исполнению нелегких обязанностей правдивого путешественника — обязанностей, которые, к несчастью, слишком часто вступают в противоречие с законами литературной композиции, о которых я только что напомнил вам из уважения к моему языку и моей родине.

Сочинения самых дерзких из наших нравоописателей — суть не что иное, как слабые подражания тем оригиналам, которые постоянно предстают передо мною в России.

Вероломство губительно во всем, в особенности же в делах торговых; меж тем в этой стране оно простирается так далеко, что даже распутники, заключающие между собою тайные сделки, не могут быть уверены в добросовестности сообщников.

Постоянные изменения денежного курса благоприятствуют множеству обманов; из уст русского вы не услышите точного слова, ясного и четкого обещания, причем неопределенность его речей всегда идет на пользу его кошельку. Эта вечная путаница затрудняет даже сообщение между любовниками, ибо каждый из них, зная наперед лживость другого, желает получить плату вперед, и из этого взаимного недоверия проистекает невозможность договориться до чего бы то ни было, несмотря на добрую волю договаривающихся сторон.

Крестьянки в России куда хитрее жительниц города; иногда эти юные дикарки, развращенные вдвойне, нарушают первейшие заповеди своего ремесла, чтимые любой проституткой, и убегают со своей добычей, даже не исполнив того постыдного долга, за который получили плату.

В других странах разбойники держат данное слово; они блюдают свои воровские законы, русские же куртизанки или падшие женщины, ведущие себя так же порочно, как и разбойники, не имеют ничего святого и не уважают даже той религии разврата, что сулит успех их делу. Недаром ведь говорится, что в самых постыдных делах потребна своего рода честность.

Один офицер, человек знатного рода и большого ума, рассказал мне нынче утром, что некогда получил и оплатил дорогой ценой столь памятные уроки, что теперь ни одна сельская красавица, какой бы простодушной и неразвитой она ни казалась, не может добиться от него ничего, кроме обещаний. «Ты не веришь мне, а я — тебе!» — вот фраза, которую он невозмутимо противопоставляет всем домогательствам.

В других краях цивилизация возвышает души, здесь — развращает. Русские были бы нравственнее, оставайся они более дикими; просвещать рабов — значит подрывать устои общества. Дабы приобщиться к культуре, человеку потребен некоторый запас добродетели.

Стараниями своего правительства русский народ сделался молчалив и плутоват, хотя от природы он мягок, весел, послушен, миролюбив и красив; все это, конечно, замечательные свойства, однако без чистосердечия цена им невелика. Монгольская алчность этого племени и его неискоренимая подозрительность выказывают себя как в самых пустяковых, так и в самых значительных жизненных обстоятельствах. В латинских странах обещание почитается вещью священной, а слово — залогом, которым дорожат в равной мере и тот, кто дает обещание, и тот, кому его дают. У греков же и их учеников-русских слово — не что иное, как воровская отмычка, служащая для того, чтобы проникнуть в чужое жилище.

По любому поводу креститься на образа прямо на улице, а также садясь за стол и вставая из-за стола (как наступают здесь даже великосветские господа), — вот и все, чему учит греческая религия; остальное отгадать нетрудно.

Неумеренность (я говорю не только о простолюдинах, многие из которых — горькие пьяницы) доходит здесь до таких пределов, что один московский весельчак, душа общества, ежегодно пропадает из города месяца на полтора, не более и не менее; если же вы поинтересуетесь, что с ним случилось, то получите исчерпывающий ответ: «Он запил!..»

Русские слишком легкомысленны, чтобы быть мстительными; они — эlegantные моты. Я с удовольствием повторю: они в высшей степени любезны, но учтивость их, как бы вкрадчива она ни была, нередко утрачивает меру и становится утомительна. В таких случаях я начинаю мечтать о грубости: она, по крайней мере, естественна. Первое правило того, кто желает быть учтивым, — произносить лишь те комплименты, которые собеседник вправе принять; все остальные суть оскорбления. Настоящая учтивость — свод речей, исполненных лести, но лести, тщательно скрываемой; нет ничего более лестного, чем сердечность, ибо для того, чтобы ее выказать, надо проникнуться к человеку подлинной симпатией.

Среди русских есть люди весьма учтивые, но есть и совсем невоспитанные; эти последние держатся с оскорбительной нескромностью; по примеру дикарей, они осведомляются ни с того ни с сего о самых важных вещах так, словно это самые ничтожные пустяки; они засыпают вас вопросами, какие задают только дети и шпионы; они досаждают вам ребяческими или бесцеремонными просьбами, интересуются мельчайшими подробностями вашей жизни. Природа создала славян любознательными, и лишь хорошему воспитанию и светским привычкам под силу обуздать их пытливость; те же, кто обделен этими преимуществами, ни за что не упустят возможности подвергнуть вас допросу: их интересуют цель и результаты вашего путешествия; задавая вопрос за вопросом до тех пор, пока им не надоест, они безо всякого стеснения спрашивают, «предпочитаете ли вы Россию другим странам, находите ли вы Москву городом

более красивым, чем Париж, петербургский Зимний дворец строением более великолепным, чем замок Тюильри, Царское Село резиденцией более просторной, чем Версаль», причем каждое новое лицо, с которым вас знакомят, заставляет вас вновь принимать участие в этом диалоге, где национальное тщеславие обрекает на лицемерное дознание чужестранную общезительность. Это плохо скрытое тщеславие тем более раздражает меня, что оно всегда рядится в маску слащавой, хотя и грубоватой скромности, призванной обмануть собеседника. Мне кажется, будто я разговариваю с хитрым, но невежественным школьником, который нисколько не смущается своей нескромности, ибо сам имеет дело исключительно с людьми учтивыми, не умеющими ни в чем ему отказать.

Меня познаномили с неким юношей, судя по рассказам, человеком весьма любопытным; это князь ***, единственный сын очень богатого отца; впрочем, сын этот проматывает вдвое больше, чем имеет, транжиря не только свое состояние, но также свой ум и здоровье. Восемнадцать часов в сутки он проводит в кабаке; кабак — его вотчина; там он царит, там, на этом подлом театре, выказывает совершенно естественно и произвольно манеры самые величественные и благородные; вид у него умный и очаровательный, что полезно везде, даже в стране, где чувство прекрасного развито очень слабо; он добр и неглуп; говорят, ему случалось совершать поступки благодетельные и даже трогательные.

Воспитанный старым французом-аббатом, человеком весьма почтенным, он превосходно образован: его живой ум на редкость пронизателен, шутки всегда самобытны, но речи и поступки исполнены цинизма, который показался бы нестерпим в любом городе, кроме Москвы; лицо его, приятное, но беспокойное, обличает противоречие между натурой и поведением; он храбро предается разврату, который, вообще говоря, не располагает к храбрости.

Распутная жизнь оставила на челе повесы печать преждевременного одряхления; однако следы эти — плод не времени, но безрассудства — не лишили его благородные и правильные черты выражения почти ребяческого. Врожденная прелесть оставляет человека лишь вместе с жизнью, и, как ни старайся человек, исполненный такой прелестью, истребить ее, она все равно его не покинет. Ни в одной другой стране не найдете вы человека, подобного юному князю ***... Но здесь таких, как он, немало.

Его вечно окружает толпа молодых людей, его учеников и подражателей, которые, уступая ему в уме и сердечности, имеют с ним некоторое сходство: впрочем, все они — русские, и с первого взгляда ясно, что никакому другому племени они принадлежать не могут. Вот отчего я ограничусь изложением лишь нескольких эпизодов их жизни... Однако перо заранее выпадает у меня из рук, ибо говорить мне придется о связях этих повес не с девицами легкого поведения, но с юными монахинями, очень дурно, как вы скоро убедитесь,

разумеющими свой долг; я робею, приступая к рассказу об этих происшествиях, отдаленно напоминающих нашу революционную литературу 1793 года; вы почувствуете себя на представлении «Монахинь» в театре Фейдо и поинтересуетесь у меня, зачем я решился приподнять покрывало и обнажить непотребное зрелище, которое следовало бы, напротив, всеми силами стараться утаить от посторонних взоров? Быть может, любовь к истине ослепляет меня, но я убежден, что до тех пор, пока зло остается тайным, оно торжествует, разглашение же этих тайн — залог нашей победы; к тому же разве я не обещал вам нарисовать правдивую картину русской жизни? Я не сочиняю, но описываю увиденное с как можно большей полнотой. Я отправляюсь в путешествие, чтобы изобразить общества такими, каковы они есть, а не такими, каковы они должны быть. Единственное ограничение, которое я взял себе за правило из деликатности, касается намеков на особ, пожелавших остаться неизвестными; я свято чту их волю. Что же до человека, которого я избрал, дабы на его примере познакомить вас с жизнью бесстыднейших московских распутников, вы скоро убедитесь, что он до такой степени презирает мнение окружающих, что, по его собственным словам, желает, чтобы я описал его, ничего не опуская, и был, насколько я могу судить, весьма раздосадован, когда я отвечал, что не собираюсь ничего писать о России. Я привожу здесь лишь те из слышанных от него рассказов, достоверность которых мне подтвердили и другие мои собеседники. Я не желаю обманывать вас патриотическими баснями благонамеренных русских, ибо не хочу, чтобы вы в конце концов поверили, будто греческая церковь воспитывает свою паству более строго и с большим успехом, чем некогда католическая церковь во Франции и в других странах.

Поэтому, когда волею судеб мне доводится узнать об ужасном, кровавом преступлении, подобном тому, о котором вы сейчас услышите, я почитаю себя обязанным не держать его в тайне. Да будет вам известно, что речь идет не о чем ином, как о гибели некоего юноши, убитого в монастыре *** самими монахинями. Я услышал об этом убийстве вчера за табльдотом, в присутствии многих почтенных особ преклонного возраста, занимающих высокие должности, — все они внимали этой и другим, столь же безнравственным историям, с изумительным спокойствием; заметьте, что они не потерпели бы ни малейшей шутки, оскорбляющей их достоинство. Вот почему я полагаю, что этот случай, достоверность которого подтвердили несколько молодых людей из окружения князя ***, не выдуман.

Я окрестил этого удивительного юношу ветхозаветным Дон Жуаном, ибо, по моему разумению, его безрассудство и дерзость выходят далеко за рамки современного бесстыдства; не устаю повторять: в России нет ничего маленького и умеренного; если это и не страна чудес, как уверял меня мой итальянский чичероне, это безусловно страна великанов!..

Итак, вот слышанный мною рассказ: юноша, тайно проведший целый месяц в женском монастыре ***, наконец пресытился своим счастьем и пресытил святых дев, которым и был обязан как своими радостями, так и последовавшей затем скукой. Он совершенно обессилел; тогда монахини, желая избавиться от него, но, боясь, что он умрет, вышедши от них, и разгорится скандал, решили покончить с ним сами. Сказано — сделано... через несколько дней труп несчастного, разрубленный на куски, был найден на дне колодца. Огласки дело не получило.

Из тех же источников мне известно, что во многих московских монастырях иноки и инокини ведут жизнь отнюдь не монашескую; один из друзей юного князя *** вчера хвастался в моем присутствии перед целой толпой повес четками, которые, по его словам, забыла у него в спальне некая юная послушница; другой выставлял напоказ молитвенник, полученный, если верить ему, от монахини, принадлежащей к общине *** и слывущей истинной святой... и речи эти были встречены рукоплесканиями.

Вознамерься я посвятить вас во все истории такого рода, слышанные мною за табльдотом, я никогда не довел бы свой рассказ до конца; каждый имел в запасе собственный скандальный анекдот и излагал его под громкий смех окружающих; всеобщую веселость подогревало вино аи, лившееся рекою в широкие кубки, куда лучше способные утолять жажду невоздержанных москвичей, нежели наши старинные бокалы для шампанского; очень скоро все окончательно захмелели; рассудка не потеряли только двое: князь *** и я; он — оттого, что может перепить любого, я — оттого, что вовсе не умею пить и не выпил ни капли.

Внезапно кремлевский ловелас с торжественным видом поднялся и властно, как подобает человеку, имеющему огромное состояние, славное имя, очаровательное лицо, а главное, незаурядный ум и характер, попросил всех замолчать; к моему удивлению, все повиновались. Казалось, языческий бог из древней эпической поэмы одним словом смиряет бушующие волны. Юный бог предложил своим друзьям, тотчас притихшим от его серьезного тона, присоединиться к прошению на имя московских властей, в котором здешние распутницы смиренно указали бы на то, что старинные женские монастыри, самым предосудительным образом соперничая с «мирскими общинами», лишают жриц любви прибыли, причем поскольку, почтительно заметили бы эти девицы, расходы их уменьшаются вовсе не так же сильно, как доходы, они надеются, что господа такие-то и такие-то, решив дело по справедливости, вытребуют у вышеупомянутых монастырей необходимые суммы, в противном же случае затворницы, пребывающие в обителях, будут постоянно отбивать хлеб у затворниц, живущих в миру. Предложение было поставлено на голосование и одобрено единогласно, а затем юный сумасброд,

вооружившись пером и бумагой, с величием, достойным государственного мужа, составил на прекрасном французском языке бумагу, слишком скандальную и бурлескную, чтобы я позволил себе переписать ее здесь слово в слово. Копию ее я сохранил, но нам с вами вполне довольно и того, что вы теперь прочли.

По просьбе присутствующих автор немедля, ясным и громким голосом, продекламировал свой шедевр; чтение повторилось трижды под одобрительные возгласы всей компании.

Вот что произошло на моих глазах в трактире ***, одном из самых бойких московских заведений такого рода, вчера, на следующий день после того, как я обедал в прелестной усадьбе ***. Как видите, хотя по закону в Российском государстве царит единообразие, природа, алчущая пестроты, любой ценой отстаивает свои права.

Учтите, прошу вас, что я избавил вас от множества подробностей и смягчил те, без которых не смог обойтись. Будь я более правдив, меня бы не стали читать; если бы Монтень, Рабле, Шекспир и многие другие великие авторы жили в наше время, они куда тщательнее выбирали бы слова: нам же, имеющим гораздо меньше прав презирать мнение публики, и подавно приходится щадить ее чувства.

Невежды, говоря на скользкие темы, находят слова вполне невинные, ускользающие от многоопытных людей нашего века, чье ханжество вызывает не столько почтение, сколько тревогу. Добродетель краснеет, лицемерие звереет — это куда страшнее.

Главарь банды распутников, стоящих лагерем в трактире *** (эти люди не живут оседло, как прочие, но кочуют), так элегантен, так изыскан, держится так любезно, сохраняет столько хорошего вкуса даже в сумасбродствах; лицо его выражает такую доброту, а манеры и даже самые рискованные речи исполнены такого благородства, что этого знатного вертопраха не столько осуждаешь, сколько жалеешь. Он — не ровня своим сообщникам; кажется, что он вовсе не создан для разврата, и невозможно не сострадать ему, невозможно не проникнуться к нему сочувствием, хотя он в большой мере ответственен за грехи своих подражателей; превосходство, пусть даже в злых делах, всегда вызывает уважение; какие таланты, какие способности пропадают втуне! — думал я, слушая его...

Нынче он пригласил меня поехать с ним за город на пару дней. Однако я посетил утром его *бивуак* и, сославшись на необходимость ускорить свой отъезд в Нижний, получил свободу.

Прежде чем расстаться с этим безрассудным повесой, я хочу изобразить вам нашу последнюю встречу. Вот картина, ждавшая меня во дворе трактира, где мне довелось насладиться зрелищем орды распутников, снимающейся с места. Прощание превратилось в подлинную вакханалию.

Вообразите себе дюжину полупьяных молодцов, с шумными

спорами рассказывающихся в три запряженные четверней кареты: главарь усмирал их жестами, голосом, мимикой. Толпа зевак, составленная из хозяина трактира, лакеев и конюхов, взирала на него с восхищением, завистью, а иной раз и с насмешкой, но если кто и посмеивался, то потихоньку, вполголоса. Что же до предводителя повес, то он, стоя в открытом экипаже, играл свою роль с серьезностью, в которой не было заметно ничего нарочитого, и на голову превосходил свою свиту; у ног его располагалось ведро, а точнее сказать, большой чан со льдом, полный бутылок шампанского. Этот переносной погреб содержал дорожные припасы; поскольку дорога предстоит очень пыльная, толковал вертопрах, надобно иметь, чем промочить горло. Перед самым отъездом один из его адъютантов, которого он окрестил «пробочным генералом», уже откупорил две или три бутылки, и юный сумасброд щедро потчевал всех желающих напитком поистине драгоценным — лучшим шампанским из всех, какие можно купить в Москве. Пробочный генерал, самый ревностный из его соратников, постоянно наполнял две чаши, находившиеся в руках повесы, но чаши эти вновь и вновь оказывались пусты. Одну он выпивал сам, а другую протягивал кому-нибудь из окружающих. Люди его были одеты в парадные ливреи; исключение составлял только кучер — юный крестьянин, лишь недавно привезенный из деревни. Наряд этого юноши, на первый взгляд совсем простой, но поразительно изысканный, резко выделялся на фоне обшитых галунами ливрей остальных лакеев. Молодой кучер был одет в рубашку из шелка-сырца — драгоценной персидской ткани, собранной едва заметными складками, и полураспахнутый на груди кафтан из тончайшего казимира, обшитый первоклассным бархатом. У петербургских денди принято по праздникам одевать самых юных и очаровательных из слуг подобным образом. Остальные детали наряда не уступали в роскоши уже названным: кожаные сапоги из Торжка, расшитые великолепными золотыми и серебряными цветами, своим блеском приводили в изумление самого обутого в них мужлана, который вдобавок был надушен так щедро, что, даже находясь на свежем воздухе и стоя в нескольких шагах от кареты, я не мог не почувствовать благоухания, которое источали его волосы, борода и платье. У нас эlegantнейший из аристократов не носит такого прекрасного платья, каким щеголял этот образцовый кучер.

Напоив весь трактир, главарь вертопрахов забавы ради наклоняется к разряженному крестьянину и подает ему пенящуюся чашу. «Пей!» — приказывает он. Бедный мужик, не имеющий никакого опыта в подобных делах, не знал, на что решиться... «Пей же, — повторил ему хозяин (мне перевели его слова), — пей, негодяй: я даю тебе шампанского не ради тебя, а ради твоих лошадей: если кучер не будет пьян, он не сможет заставить их всю дорогу мчаться вскачь!» На что все присутствующие ответили хохотом, криками

«ура!» и рукоплесканиями. Убедить кучера не составило труда; он допивал третью чашу, когда его хозяин подал знак трогать и вновь с безупречной учтивостью заверил меня в том, что отказ мой искренно его огорчил. Тон у моего собеседника был настолько изысканный, что, слушая его, я на мгновение забыл, где происходит наш разговор, и решил, что оказался в Версале времен Людовика XIV.

Наконец мой повеса уехал в поместье, где собирается провести три дня. Приятели его именуют это развлечение летней *охотой*.

Нетрудно догадаться, чем забавляются эти вертопрахи в деревне; они проводят время по меньшей мере так же, как и в Москве: сцены повторяются прежние, но с новыми актрисами. С собой они везут целые пачки гравюр, воспроизводящих самые прославленные полотна французских и итальянских мастеров; они собираются разыгрывать их в лицах, слегка изменив костюмы.

Деревни и все, кто в них проживают, безраздельно принадлежат этим знатым распутникам; можете не сомневаться в том, что права сеньора в России простираются гораздо дальше, чем на сцене парижской Комической оперы.

Трактир***, открытый для всех желающих, расположен на одной из самых больших московских площадей, в двух шагах от кордегардии, где расквартированы казаки, чья безупречная выправка вкупе с грустным и строгим видом внушают чужестранцу мысль, что в стране, куда он попал, никто не осмеливается смеяться даже над самыми невинными предметами.

Поскольку я вменил себе в обязанность изобразить вам Россию такой, какой увидел сам, я вынужден рассказать еще кое-что о разговорах тех людей, с забавами которых я вас только что познакомил.

Один хвастает тем, что и он, и его братья — дети гайдуков и кучеров своего отца, и поднимает бокал за здоровье всех этих родителей... впрочем, неведомых! Другой ставит себе в заслугу родство — по отцу — со всеми горничными своей матери.

Не все из этих гнусностей соответствуют действительности, многие, разумеется, суть чистой воды бахвальство, однако сам факт, что люди кичатся столь подлыми выдумками, свидетельствует о глубочайшей развращенности умов, которая, на мой взгляд, куда опаснее деяний этих повес, как бы безрассудны они ни были.

Судя по рассказам господ вертопрахов, московские мещанки ведут себя ничуть не более благонаравно, нежели знатные дамы.

Пока мучья их торгуют на Нижегородской ярмарке, офицеры местного гарнизона в свое удовольствие проводят время в городе. Свидания в эту пору незатруднительны: красавицы являются на них в сопровождении почтенных родственниц, чьему попечению доверили их при отъезде предусмотрительные мужья. Дело доходит до того, что за снисходительность и молчание эти дуэньи получают плату; то, что происходит при их покровительстве, нельзя назвать любовью: любви не бывает без целомудрия — таков приговор веков

тем женщинам, которые ищут счастье не там, где нужно, и вместо того, чтобы возвышаться до нежности, опускаются до распутства. Защитники русских утверждают, что московские женщины не имеют любовников; не стану спорить: *друзья*, которых они заводят в отсутствие мужей, достойны какого-нибудь иного наименования.

Повторяю, я склонен сомневаться в правдивости подобных историй, однако у меня нет оснований сомневаться в том, что радостный и горделивый вид, какой принимают русские, пересказывая эти истории всякому иностранцу, означает: «Et anch'io son pittore!» * — и мы тоже люди цивилизованные!

Чем больше я узнаю об образе жизни этих знатных распутников, тем меньше понимаю, отчего, несмотря на все их грехи, они сохраняют здесь, выражаясь современным языком, то общественное положение, какое утратили бы в любой другой стране, где перед ними закрылись бы двери всех салонов. Мне неизвестно, как относятся к этим греховодникам, не стыдящимся своего беспутства, их родные, но я могу засвидетельствовать, что в обществе их встречают с распростертыми объятиями; при появлении этих вертопрахов всех охватывает веселье, присутствие их доставляет удовольствие даже особам более зрелого возраста, которые, разумеется, не берут с них примера, но поощряют их своей терпимостью. Все заискивает перед ними, стремятся пожать им руку, шутовски осведомиться об их *приключениях*, наконец, все стремится выказать им — за неимением уважения — свой восторг.

Видя прием, оказываемый им повсюду, я задаюсь вопросом, что же нужно совершить в этой стране, чтобы утратить уважение общества.

Если у свободных народов по мере того, как демократия завоевывает себе все большую и большую власть, нравы делаются более невинными — пусть не по сути, но хотя бы по видимости, то здесь свободу путают с развращенностью, отчего знатные шалопаи снискивают здесь такой же успех, каким у нас пользуется горстка людей безупречных.

Юный князь *** сделался повесой вследствие трехлетнего пребывания в ссылке на Кавказе; тамошний климат испортил его здоровье. Из Петербурга он был выслан сразу по окончании учебы за то, что разбил стекла в нескольких столичных лавках; правительство усмотрело в невинной проказе политическое злоумышление и своей неумеренной суровостью превратило юного шалопаю в зрелого распутника, погибшего для отечества, семейства и себя самого **.

Таково ослепление, на которое обрекает умы деспотическая власть, безнравственнейшая из всех.

* И я тоже художник! (ит.)

** Впрочем, я слышал, что после моего отъезда из России он женился и остепенился.

В России всякий бунт кажется законным, даже бунт против разума, против Бога! Ничто из того, что служит угнетателям, не считается здесь достойным почтения, даже то, что во всех других странах именуют святым. Там, где порядок лежит в основе угнетения, люди идут на гибель ради беспорядка; там все, что ведет к мятежу, принимается за самоотверженность. Ловлас и Дон Жуан предстают в такой стране освободителями исключительно оттого, что преступают закон; когда правосудие не пользуется уважением, в почете оказывается злодейство!.. Вся вина в этом случае возлагается на судей! Злоупотребления правительства так велики, что всякое повиновение ему встречается в штыки, в презрении к добронравию здесь признаются точно таким тоном, каким в любом другом месте сказали бы: «Я ненавижу деспотизм!»

Я приехал в Россию, находясь во власти одного предрассудка, от которого нынче освободился; вслед за многими неглупыми людьми я полагал, что самодержавие черпает свою силу прежде всего из равенства между всеми подданными самодержца; однако это равенство — не более чем иллюзия; я говорил себе и слышал от других: «Когда одному человеку позволено все, все остальные равны, то есть равно ничтожны; это — если и не удача, то утешение». Рассуждение мое было чересчур логичным, и жизнь, естественно, его опровергла. На этом свете абсолютной власти не существует, однако существуют власти деспотические и капризные; впрочем, какими бы злоупотреблениями они ни грешили, им никогда не удастся поработить всех подданных настолько, чтобы уравнивать их между собою полностью.

Российскому императору позволено все. Однако если это всемогущество государя и приучает к терпению иных вельмож, убаюкивая гложущую их зависть, толпа, уверяю вас, питает совсем иные чувства. Император не совершает всего, что может, ибо, поступай он всегда в соответствии со своими желаниями, он очень скоро лишился бы трона; меж тем, пока он не станет делать всего, на что имеет право, положение помещика, наделенного немалой властью, будет решительно отличаться от положения поработенных этим помещиком мужиков или мелких торговцев. Я убежден, что сегодня в России действительное неравенство сословий куда больше, чем в любой другой европейской стране. Равенство под ярмом здесь — правило, а неравенство — исключение, но там, где правит прихоть, исключения преобладают.

Человеческие деяния слишком сложны для того, чтобы подчинить их строгому математическому расчету, поэтому между кастами, стоящими в общественной иерархии ниже императора, царит вражда, проистекающая исключительно из злоупотреблений, допускаемых чиновниками, легендарного же равенства, о котором мне столько рассказывали, нет и в помине.

Вообще люди разговаривают здесь с величайшим жеманством;

самым сладчайшим тоном они уверяют вас, что русские крестьяне — счастливейшие существа в мире. Не слушайте их, они лгут; в отдаленных областях многие крестьяне голодают; многие умирают от нищеты и дурного обращения; все люди в России влачат жалкое существование, но людям, которых продают вместе с землей, приходится тяжелее других; однако, возражают мне, у них есть право получать предметы первой необходимости — увы, обманчивое это право не имеет ни малейшего отношения к жизни действительной.

Помещикам, говорят мне также, выгодно заботиться о нуждах крестьян. Однако всякий ли человек хорошо понимает собственную выгоду? У нас тот, кто поступает безрассудно, теряет состояние, и тем дело ограничивается; здесь же состояние одного человека — это жизнь множества людей, и тот, кто плохо управляет своим имением, обрекает на голодную смерть целые деревни. Правительство, заметив слишком очевидные злоупотребления, — а одному Богу известно, сколько времени должно пройти, чтобы оно их заметило, — учреждает над имением дурного помещика опеку, надеясь таким образом исправить зло, однако мера эта — неизменно запоздалая — не может воскресить мертвых. Представляете ли вы себе, сколько безвестных страданий и несправедливостей порождают такие нравы при таком правлении и в таком климате? Сердце замирает, как подумаешь об этих нестерпимых мучениях.

Русские равны, но не перед законами, которые не имеют в их стране ровно никакого веса, а перед капризом самодержца, который, однако, что бы там ни говорили, совершает далеко не все, что ему угодно; иными словами, за десять лет ему случается доказать существование этого равенства всех его подданных от силы один раз. Меж тем, не смея часто употреблять гремушку вместо скипетра, самодержец сам гибнет под тяжестью абсолютной власти; слабый человек, он зависит от огромных расстояний и незнания фактов, от местных обычаев и нравов подданных.

Заметьте, однако, что каждый помещик в своем узком мире сталкивается с теми же трудностями, с теми же соблазнами, которым ему, впрочем, гораздо труднее противостоять, ибо, пользуясь гораздо меньшей известностью, нежели император, он куда более равнодушен к мнению Европы и своих соотечественников: из этого общественного порядка, а вернее сказать, беспорядка, зиждущегося на незыблемых основаниях, проистекают несообразности, несправедливости и неравенство, чуждые обществам, где отношения людей меж собой вправе менять лишь закон.

Следственно, неверно утверждать, что сила деспотизма коренится в равенстве его жертв; источник ее — не что иное, как неведение свободы и боязнь тирании. Абсолютная власть — чудовище, всегда готовое произвести на свет чудовище еще более страшное — тиранию народа.

Впрочем, говоря откровенно, демократическая анархия недол-

говечна, тогда как порядок, устанавливаемый самодержавной властью со всеми ее злоупотреблениями, длится из века в век, порождая своею мнимую благотворностью моральную анархию — худшее из зол, и материальную покорность — опаснейшее из благ: гражданский строй, скрывающий подобный нравственный беспорядок, — строй лживый.

Военная дисциплина в управлении государством также является могущественным средством угнетения; именно на ней, а не на мнимом равенстве, зиждется неограниченная власть российского монарха. Однако не оборачивается ли нередко эта страшная сила против того, кто пускает ее в ход? Вот две опасности, грозящие России постоянно: народная анархия, доведенная до крайних степеней, — в том случае, если нация поднимет бунт; в противном же случае — укрепление тиранической власти, угнетающей эту нацию более или менее жестоко, в зависимости от времени и места.

Дабы правильно оценить политическое положение России, следует помнить, что месть ее жителей будет особенно страшной по причине их невежества и многотерпеливости, которой рано или поздно может наступить конец. Правительство, которое ничего не стыдится, ибо притворяется, что ни о чем не ведает, и черпает силу в этом мнимом неведении, не столько прочно, сколько жутко: страдания нации, отупение армии, ужас власть имущих, особенно тех из них, кто сами наводят наибольший страх, раболепство церкви, лицемерие знати, невежество и нищета простолудинов, угроза ссылки, нависшая над всеми без исключения, — вот страна, какой создали ее нужда, история, природа и Провидение, чьи пути испокон веков неисповедимы...

И с этими-то хилыми средствами великан, едва покинувший свою древнюю азиатскую колыбель, желает нынче нарушить равновесие европейской политики!..

В каком ослеплении государство, чьи нравы годны самое большее для того, чтобы цивилизовать бухарцев и киргизов, осмеливается притязать на руководство миром? Вскоре Россия возжаждет не только уравниваться в правах с прочими нациями, но и вознестись превыше их. Ни во что не ставя успехи, достигнутые европейской дипломатией за последние тридцать лет, она пожелает, она уже желает предводительствовать в западных собраниях. В Европе дипломатия положила себе за правило быть искренней, русские же уважают искренность лишь в поведении других и считают ее полезной лишь для того, кто сам ею не пользуется.

В Петербурге солгать — значит исполнить свой гражданский долг, а сказать правду, даже касательно предметов на первый взгляд совершенно невинных, — значит сделаться заговорщиком. Разгласив, что у императора насморк, вы попадете в немилость, а друзья вместо того, чтобы вас пожалеть, станут говорить: «Надо признать»

ся, он был страшно неосторожен» *. Ложь — это покой, порядок; законопослушный подданный — наилучший из патриотов!.. Россия — большой, которого лечат ядом.

Понятно, что Европа, созревшая в трехсотлетних более или менее свободных спорах и омоложенная полувековой эпохой революций, должна дать решительный отпор тайному натиску подобной державы. Вы знаете, как исполняет она этот долг!

Но, спрошу я себя еще раз, что же могло побудить столь скверно вооруженного колосса явиться на поле битвы без доспехов, ринуться в бой за идеи, его не волнующие, за интересы, для него по сей день не существующие (ибо промышленность в России еще не родилась).

Побуждает его исключительно прихоть самодержцев и мелкое тщеславие иных вельмож-путешественников. И вот юный народ в союзе с дряхлым правительством очертя голову бросается в схватку, не пугаясь препятствий, которые останавливают современные общества, с жалостью вспоминающие о тех временах, когда люди вели войны сугубо политические. Злосчастные выскочки, жертвы собственного тщеславия! — вы пребывали в безопасности, но сами без всякой нужды обрекли себя на муки.

Как ужасны последствия политического тщеславия, обувшего горстку людей!.. Эта страна, жертва честолюбия, сущность которого едва внятна ей самой, страна бурлящая, кровоточащая, обливаемая слезами, желает внушить соседям, что в ее пределах царит совершенный покой, и тем умножить свое могущество; как бы она ни была изранена, она прячет свои язвы!.. И какие язвы? Обличающие, что тело больного изъедено страшной раковой опухолью! Правительство, обремененное народом, который либо изнемогает под гнетом, либо бунтует против любой узды, не дрогнув, выступает против врагов, в которых само же и возбуждает ненависть безо всяких к тому оснований, оно выходит на бой со спокойным и гордым челом, оно настаивает, грозит или, по крайней мере, намекает на свою грозность... оно ломает эту политическую комедию, а тем временем сердце его гложет червь.

* Именно такая судьба постигла в нынешнем году князя Долгорукова, автора невинной брошюры «Заметка о главных родах России». В брошюре этой сочинитель, за которого заступилась «Журналь де Деба», дерзнул предать печати то, что известно всему свету, а именно, что род Романовых уступает в знатности роду Долгоруковых, что избрание Романовых на российский престол в начале XVII века не вполне законно, ибо его оспаривали Трубецкие, избранные первыми, и многие другие боярские семейства. Романов был признан царем лишь в обмен на некоторые либеральные перемены в устройстве государства. Весь мир свидетель тому, до чего эти послабления, отмененные вскоре Петром I, довели Россию. И за подобное преступление в наши дни знатный дворянин может быть сослан в Сибирь, в Вятку! Пока он еще не приговорен к ссылке, император лишь посоветовал ° ему отправиться туда. Столь патриархальный способ изгнания возможен лишь при отеческой самодержавной власти, царящей в России.

° См. «Франкфуртскую газету» и «Аутсбургскую газету».

О! как жаль мне голову, управляющую движениями столь тяжело большого тела и зависящую от этих движений!.. Какую роль ей придется играть! Ее удел — защищать с помощью бесконечных обманов славу, жгущуюся на выдумках или, в лучшем случае, на надеждах! Как подумаешь, что ценою куда меньших усилий можно было бы воспитать истинно великий народ, истинно великих людей, подлинных героев, сердце заливают жалость к несчастному предмету страхов и зависти всего мира — императору России, как бы его ни звали — Павел, Петр, Александр или Николай!

Больше того, жалость моя простирается на всю нацию в целом; я страшусь, как бы это общество, ослепленное безрассудной гордыней его вождей, не упилось допьяна цивилизацией еще прежде, чем стать цивилизованным; с народом дело обстоит так же, как и с отдельным человеком: чтобы снять урожай, гению надобно прежде вспахать землю; чтобы достойно снести бремя славы, ему следует начать с глубоких уединенных исследований.

Подлинное могущество, могущество благодетельное, не нуждается в хитростях. Отчего же вы хитрите без устали? Оттого, что в жилах ваших течет яд, который вы даже не удосуживаетесь скрывать от окружающих. Сколько уловок, сколько неловких обманов, сколько покровов, на поверку оказывающихся прозрачными, приходится вам пускать в ход, чтобы утаить хотя бы часть ваших целей и оставить за собою незаконно присвоенную роль! Вы намерены вершить судьбами Европы?! Мыслимое ли это дело? Еще недавно вы были ордой, скованной страхом, еще недавно повиновались приказам дикарей, едва выучившихся учтивым речам, — а нынче вы вознамерились отстаивать цивилизацию от народов сверхцивилизованных! О! эту задачу решать опасно; она выше человеческих сил. Отыскивая корень зла, понимаешь, что все названные заблуждения — не что иное, как неизбежный плод фальшивой цивилизации, которую полтора столетия назад принялся насаждать Петр I. Россия дольше будет ощущать последствия гордыни этого человека, нежели восхищаться его славою; мне он кажется личностью скорее обыкновенной, чем героической, и многие из здравомыслящих русских разделяют это мнение, хотя и не решаются высказать его вслух.

Если бы российские государи вместо того чтобы, подобно Петру I, забавы ради одевать медведей обезьянами или, подобно Екатерине II, заниматься философией, постигли, что приобрести русский народ к цивилизации следует исподволь, медленно развивая те великолепные задатки, которые Господь вложил в сердца здешних жителей, последних выходцев из Азии, — если бы они постигли это, тогда, не так сильно поражая Европу, они зато завоевали бы славу долговечную, всемирную, тогда сегодня на наших глазах русский народ продолжал бы исполнять свое предназначение, одерживая верх над древними азиатскими правительствами. Даже европейская часть Турции испытала бы на себе влияние России, а другие

державы не смогли бы жаловаться на рост этого подлинно благодетельного влияния, — напротив, ныне Россия сильна лишь постольку, поскольку мы признаем за ней силу, иначе говоря, она имеет вид выскочки, стремящегося, худо ли, хорошо ли, вычеркнуть из памяти окружающих свое происхождение и состояние и убедить всех в своем мнимом могуществе. Власть над народами более дикими и рабскими, нежели она сама, принадлежит России по праву; эта власть — ее удел, она, простите мне это выражение, начертана в книге ее будущего; что же до влияния России на народы более просвещенные, оно весьма сомнительно.

Впрочем, нынче эта нация *выбилась из колеи* * на великой дороге цивилизации, и никто не в силах ей помочь. Один Бог знает, что ее ждет: я предчувствовал это в Петербурге, а попав в Москву, убедился, что предчувствия меня не обманули.

Повторяю, Петр Великий или, точнее сказать, Нетерпеливый, стал первым виновником этой ошибки; наследники этого полугения, скорее заклятого врага шведов, нежели преобразователя России, по сей день слепо им восхищаются и потому коснеют в тех же политических заблуждениях, какими грешил он сам. Вечно подражать другим народам, дабы казаться просвещенными, не став ими на деле, — вот что завещал России Петр I.

Не стану спорить, непосредственный результат деяний Петра похож на чудо. Как директор театра царь Петр не имеет себе равных; однако действительное воздействие этого гения, варварского и бессердечного, хотя и более образованного, нежели те рабы, которых он приучал к порядку, было медленным и пагубным; плоды Петровой политики сказываются лишь теперь, и лишь мы вправе вынести о них окончательное суждение. Мир не забудет, что две палаты — единственные учреждения, которые могли дать жизнь русской свободе, — были уничтожены именно этим государем.

Все великое, в искусстве ли, в науках ли, в политике ли, познается в сравнении. Вот отчего в иные века и в иных странах великим человеком сделаться совсем нетрудно. Царь Петр взошел на престол в один из таких веков и в одной из таких стран; не то чтобы он не был одарен возвышенным характером и необычайной силой, но мелочный ум ограничивал его горизонты и сковывал его волю.

Зло, сотворенное царем, пережило его: он принудил своих наследников разыгрывать без устали ту же комедию, какую ломал он сам. Когда законы лишены человечности и, что еще хуже, практическое их применение лишено гибкости, государь рискует стать жертвой собственного правосудия; Впрочем, это не мешает русским горделиво твердить по всякому поводу, что у них отменена смертная казнь; отсюда нам предлагается сделать вывод, что из всех

* См. Рабле, книга III, глава 3.

европейских держав Россия — самая цивилизованная... с юридической точки зрения.

Эти люди, доверяющие лишь мнимостям, забывают о кнуте ad libitum * и его сто одним ударе! Они в своем праве: ведь Европа не видит этой казни. В царстве фасадов, неведомых горестей, беззвучных криков и бесплодных просьб сама юриспруденция превратилась в оболванивание честолюбия и вносит свой вклад в создание того великолепного оптического обмана, той декорации, какую предъявляют иностранцам под именем Российской империи. Вот как низко могут пасть политика, религия, правосудие, милосердие, святая истина, если народ столь неудержимо стремится как можно скорее явиться на древнем театре мира, отказывается прозябать в плодотворной безвестности и предпочитает быть ничем — лишь бы не ждать, лишь бы немедля произвести впечатление на соседей! Солнечные лучи помогают созреть плоду, но испекают зерно.

Завтра я уезжаю в Нижний, иначе мне не поспеть на знаменитую ярмарку, которая уже подходит к концу. Я закончу это письмо нынче вечером, по возвращении из Петровского, где мне предстоит услышать русских цыган.

Я выбрал комнату на постоялом дворе, которая останется за мной во все время моего отсутствия: мне удалось устроить в ней тайник, где я оставляю свои бумаги, ибо не рискну пуститься в путь по Казанской дороге со всем, что написал после отъезда из Петербурга, а здесь я не знаю никого, кому мог бы довериться. В России точность в изложении фактов и независимость в суждениях, — одним словом, правда — кажется в высшей степени подозрительной; именно она приводит в Сибирь... так же, впрочем, как кражи и убийства, что обрекает политических преступников на еще большие муки и вводит в заблуждение соседние народы.

Полночь того же дня
Я только что вернулся из Петровского, где видел прекрасный танцевальный зал; называется он, если не ошибаюсь, Waux-Hall. Перед началом бала, показавшегося мне довольно унылым, я смог послушать русских цыган. Их дикое и страстное пение имеет отдаленное сходство с пением испанских gitanos. Северные мелодии менее пылки и живы, нежели андалузские, но печаль их кажется куда более глубокой. Иные из этих мелодий призваны внушить веселость, но звучат еще грустнее остальных. Московские цыгане поют без сопровождения хоровые песни, не лишённые самобытности, — впрочем, не понимая слов этих выразительных народных напевов, много теряешь.

Дюпре отвратил меня от пения, действующего лишь с помощью звуков; его манера выделять музыкальные фразы и подчерки-

* по своему усмотрению, сколько угодно (лат.).

вать слова сообщает музыке исключительную выразительность; страстное исполнение стократ умножает силу чувства, а мысль, парящая на крыльях мелодии, взмывает ввысь, достигая крайних пределов человеческой чувствительности, берущей начало на границе между душой и телом; те, кто обращаются лишь к одному уму, добиваются куда меньшего. Вот заслуга Дюпре: он создал лирическую трагедию, которую так долго тщились подарить Франции люди, не имевшие для этого довольно таланта; ведь для того, чтобы произвести революцию в искусстве, нужно сначала овладеть своим ремеслом так, как им не владеет никто. Тот, кому довелось наслаждаться таким чудом, как пение Дюпре, становится переборчив и часто бывает несправедлив ко всему остальному. Есть тьма голосов, которые, на мой вкус, не уступают инструментам. Пренебрегать словом как средством музыкального выражения — значит не видеть, сколько поэзии таит в себе вокальная музыка, значит добровольно лишиться себя того могущества, о каком французская публика узнала лишь после того, как Дюпре воскресил «Вильгельма Телля».

Новая итальянская школа пения, которую сегодня возглавляет Ронкони, также обращается к старинной музыке, черпающей силу в поэзии, и обязаны этим итальянцы именно Дюпре, блестяще дебютировавшему на неаполитанской сцене: ведь он творит на всех языках и покоряет своим искусством все народы.

Цыганки, певшие в хоре, — настоящие дочери Востока; глаза у них необычайно живые и блестящие. Самые юные показались мне очаровательными; остальные, с их темными лицами, покрытыми преждевременными морщинами, и черными косами, просились на полотно. Песни их разнообразны и выражают целую гамму чувств; восхитительнее всего удается им гнев. Мне сказали, что тот цыганский хор, который я смогу услышать в Нижнем, считается одним из лучших в России. Свое мнение об этих бродячих виртуозах я выскажу вам после, что же до московского хора, то он доставил мне большое удовольствие, особенно некоторыми мелодиями, весьма сложными и исполненными, на мой взгляд, весьма искусно.

О национальной опере я могу сказать только одно: это отвратительное представление, разыгранное в прекрасной зале; мне довелось увидеть спектакль «Бог и баядера» в переводе на русский!.. Стоит ли пускаться в ход родной язык ради того, чтобы исполнить перевернутое парижское либретто?

Есть в Москве и французский театр, где господин Эрве, сын актрисы, некогда пользовавшейся в Париже кое-какой известностью, весьма непринужденно исполняет роли Буффе. Я видел его в «Мишеле Перрене» — пьесе по новелле г-жи Бауер: он держался просто и естественно, чем доставил мне большое удовольствие, хотя я прекрасно помню спектакль на сцене «Жимназ». Неподдельно остроумную пьесу можно играть по-разному: в чужой стране блекнут лишь те сочинения, авторы которых, в отличие от господ

Мельвиля и Дюверье, требуют, чтобы актер умом и характером был абсолютно похож на своего героя.

Не знаю, до какой степени понятны русским наши пьесы; я не слишком доверяю тому радостному виду, с каким они следят за представлением французских комедий; у них такое изощренное чутье на моду, что они угадывают ее веления еще прежде, чем веления эти будут провозглашены во всеуслышание; это избавляет их от унижительного признания в том, что они ей следуют. Тонкость их слуха, разнообразие гласных и согласных и обилие шипящих в их языке — все это с детства приучает их преодолевать любые трудности в произношении. Даже те, кто знают по-французски всего несколько слов, произносят их точно так же, как и мы. Тем самым они вселяют в нас коварную иллюзию: мы думаем, что они так же хорошо понимают наш язык, как и говорят на нем, а это совершенно неверно. Только горстке русских, побывавших за границей или родившихся в знатных семьях, где принято давать детям превосходное образование, вняты все тонкости парижского наречия; толпе же неясны ни наши шутки, ни наши намеки. Мы не доверяем остальным иностранцам, потому что их акцент нам неприятен либо смешон, однако, как ни трудно им разговаривать на нашем языке, суть дела они схватывают гораздо лучше, чем русские, чья неприятельная и нежная *кантилена* сразу пленяет нас и вводит в заблуждение, хотя на деле чаще всего оказывается, что наши понятия об их идеях, чувствах и сметливости иллюзорны. Заставьте русских разговариваться, рассказать историю, выразить собственные впечатления — туман рассеется и тайное станет явным. Конечно, русские мастерски умеют скрывать собственную ограниченность, но при близком знакомстве сей дипломатический талант скоро наскучивает.

Вчера один русский похвастался передо мной своей дорожной библиотекой, показавшейся мне образцом превосходного вкуса. Я подошел поближе к полке, чтобы рассмотреть один из томов, имевший необычный вид; то была арабская рукопись в старинном пергаментном переплете, «Счастливец, вы знаете арабский?» — спросил я у хозяина дома. — «Нет, — отвечал он, — но я стараюсь окружать себя самыми разными книгами; это очень украшает комнату».

Не успели эти простодушные слова сорваться с его уст, как по моему изменившемуся выражению лица он почувствовал, что разоткровенничался некстати. Тогда, будучи уверен в моем невежестве, он стал декламировать мне второпях придуманные отрывки из этой рукописи с беглостью, плавностью и красноречием, достойными латыни из «Врача против воли»; проворство его ввело бы меня в заблуждение, не будь я настороже; однако я ясно видел, что он хочет исправить свою неосмотрительность и *походя* внушить мне, что признание его было просто шуткой. Хотя и мастерски придуманная, хитрость эта не удалась.

И вот детские забавы, которым предаются народы по воле оскорбленного самолюбия, заставляющего их соперничать в просвещенности с древнейшими из наций!..

Нет такого ухищрения, нет такого обмана, на который не пошли бы русские, движимые всепоглощающим тщеславием, ради исполнения своей заветной мечты: чтобы, вернувшись домой, мы сказали, что их напрасно зовут северными варварами. Это определение не выходит у них из головы; они поминутно напоминают о нем иностранцам с ироническим самоуничижением, не замечая, что сама эта обидчивость дает преимущество их недругам.

Более же всего изумило меня в том коротком эпизоде, о котором я только что рассказал, непоколебимое хладнокровие моего собеседника. На лице русского, если он следит за собой, не отражается ровно ничего, а всякий русский следит за собой почти постоянно. С юных лет всякий русский — я говорю о русской знати — пребывает во власти двух стихий — страха и корысти; на свинцовом или даже медном лице, бесстрастном, точно камень, невозможно прочесть ни одного чувства, волнующего сердце; вы не можете понять, любит вас человек, с которым вы говорите, или ненавидит, слушает он вас с удовольствием или с насмешкой; самому опытному наблюдателю не удалось бы, ручаюсь, разгадать, что скрывают эти черты, не способные ни на одно невольное движение, черты, которые иногда немы, как смерть, а иногда лживы, как искусство; черты эти показывают лишь то, что угодно их хозяину, а ему угодно уверить вас в том, что он почти никогда — а может быть, и совсем никогда — не грешит против истины. Добро русский делает напоказ, зло — исподтишка; главный его талант — талант притворщика, причем лучше всего ему удается роль человека совершенно искреннего: ее он играет с пленительным изяществом; мягкость его повадок даже чрезмерна — он похож на кота, который старается сожрать мышь, даже не поцарапав.

Что же удивительного в том, что народ, одаренный подобными талантами, постоянно рождает ловких дипломатов?

Для поездки в Нижний я нанял местный экипаж; впрочем, тарантас на рессорах * немногим прочнее моей коляски, которую я таким образом хочу уберечь от тряски; только что меня предупредил об этом один москвич, присутствовавший при моих сборах.

— Вы пугаете меня, — отвечал я ему, — мне вовсе не хочется чинить экипаж на каждой станции.

— Для долгой поездки я посоветовал бы вам приискать что-нибудь попрочнее, если бы, конечно, в Москве в это время года можно было найти что-нибудь попрочнее, но для такого короткого пути подойдет и тарантас.

Этот короткий путь насчитывает четыреста лье туда и обратно

* Настоящий тарантас, как я вам уже говорил, это кузов, поставленный без рессор на две дроги, соединяющие переднюю ось с задней.

с учетом крюка, который я собираюсь сделать, дабы заехать в Троицу и Ярославль, причем из четырехсот лье сто пятьдесят мне, судя по рассказам очевидцев, придется проделать по отвратительной дороге; меня ждут гать из круглых бревен, торф, откуда торчат пни, зыбучие пески и проч. Слыша отзывы русских о расстояниях, лишний раз убеждаешься, что они живут в стране, которая — без Сибири — равняется всей Европе.

Одна из самых пленительных черт, отличающих русских, — это, на мой вкус, их способность пренебрегать любыми возражениями; для них не существует ни трудностей, ни препятствий. Они умеют желать. В этом простолюдины не отличаются от дворян с их почти гасконским нравом; русский крестьянин, вооруженный неизменным топориком, выходит невредимым из множества затруднительных положений, которые поставили бы в тупик наших селян, и отвечает согласием на любую просьбу.

ПИСЬМО ТРИДЦАТОЕ

Отъезд из Москвы в Нижний. — Дороги во внутренних областях России. — Усадьбы, деревенские дома. — Облик селений. — Однообразие ландшафта. — Пастушеский быт крестьян. — Деревенские женщины опрятно одеты и красивы. — Красота русских стариков. — Особый вид, который придают они селениям. — Дорожная встреча. — Изофренная хитрость, приписываемая полякам. — Ночь на постоялом дворе в Троице. — Что такое нечистоплотность. — Песталоцци. — Внутренность монастыря. — Паломники. — Кибитка. — Преподобный Сергий. — Патристические воспоминания. — Образ преподобного Сергия. — Гробница Бориса Годунова. — Монастырская библиотека: монахи не хотят ее показывать. — Неудобство езды по внутренним областям России. — Дурное качество воды по всей России. — Зачем люди ездят по этой стране. — Что такое в России страсть к воровству.

В Троицкой лавре, в двадцати лье
от Москвы, 17 августа 1839 года

Если верить русским, летом у них хороши все дороги, даже и не только большие тракты; по-моему же, они все дурны. Неровная колея, то шириною с поле, то совсем узкая, пролегает по пескам, где лошади вязнут выше колен, задыхаются, рвут постромки и через каждые двадцать шагов встают; стоит же выбраться из песка, как попадаешь в грязь, а в ней то и дело натыкаешься на крупные камни и огромные коряги, которые, выскакивая из-под колес, разбивают экипаж и пачкают грязью седоков; таковы дороги этой страны во всякую пору, исключая те времена года, когда по ним и вовсе невозможно ездить либо из-за морозов, своею суровостью делающих путешествие опасным для жизни, либо из-за распутицы и паводков, когда коловращение бессточных вод на два-три месяца в году — шесть недель на исходе зимы и шесть недель на исходе лета — превращает низменную равнину в озеро... остальное же время там просто болото. Все эти дороги сходны между собой, и местность вдоль них всегда одинаковая. Две шеренги деревянных домиков, кое-как украшенных цветною резьбой и неизменно глядящих фасадом на улицу, словно солдаты по команде «на караул»; сбоку каждого домика — длинная постройка вроде крытого дворика или

же трехстенного сарая: таковы русские селенья! Всегда и всюду поражает это единообразие! Чем населеннее губерния, тем ближе стоят села; только часто ли, редко ли они встречаются, а все равно повторяют друг друга; так и ландшафт — одна и та же всхолмленная равнина, то с болотистой, то с песчаной почвой; кое-где, вблизи или вдали от дороги, — поля и пастбища, окаймленные сосновыми лесами, иногда цветущие, обыкновенно же чахлые и тощие; вот и вся природа сей обширной страны!! Изредка встречаются дома и усадьбы довольно красивой внешности; эти барские имения, к которым ведут широкие березовые аллеи, радуют глаз путника, словно оазисы в пустыне.

В иных губерниях хижины строятся из глины, но и тогда видом своим, еще более нищенским, они все равно походят на деревянные избы; большинство же сельских построек от края до края империи сооружается из длинных толстых бревен, грубо отесанных и тщательно проконопаченных мхом и смолою. Исключение составляет Крым — край совсем южный; однако в сравнении с общею протяженностью империи он образует лишь точку, затерянную среди бескрайних просторов.

Единообразие — верховное божество в России; впрочем, и единообразие не лишено известной прелести для душ, способных находить усадю в уединении. Эти неизменные просторы полны глубокого покоя, который порой, посреди пустынной равнины, ограниченной лишь пределами нашего зрения, исполняется величия.

Пусть эти дальние леса лишены разнообразия и красоты, зато кто измерит их глубину? Стоит лишь вспомнить, что они не кончатся до самой Китайской стены, и вас охватит почтительное чувство; природа, подобно музыке, мощь свою отчасти черпает в повторях. Странно и таинственно! однообразием своим она множит наши впечатления; если сверх меры стремиться к новым эффектам, то впадаешь в пошлость и тяжеловесность, — именно так выходит у современных музыкантов, когда им не хватает гениальности; если же художник, напротив, не боится простоты, его искусство делается великим, как сама природа. Классический стиль — слово это употребляется здесь в своем старинном значении — лишен многообразия.

Пастушеский быт всегда пленителен; его мирные и размеренные труды сообразны начальной поре человечества, в них надолго сохраняется молодость расы. Пастухи, никогда не покидающие своих родных мест, — вот, бесспорно, те из русских, кто менее всего достоин жалости. Сама их красота, особенно поразительная с приближением к Ярославской губернии, свидетельствует в пользу их образа жизни.

Для меня в новинку было встречать в России весьма привлекательных крестьянок — светловолосых, белолицых, с едва заметным загаром на нежной коже, с глазами бледно-голубыми и вместе с тем

выразительными, благодаря азиатскому разрезу и томности взора. Будь у этих юных дев, чертами своими напоминающих богородиц на православных иконах, осанка и живость испанок, прелестней их не было бы на свете. Как мне показалось, многие женщины в этой губернии хорошо одеты. Поверх полотняной юбки они носят отороченный мехом сюртучок; эта короткая шубка, не доходя до колен, плотно охватывает талию и придает изящество всей фигуре.

Нигде более, чем в этой части России, не видал я столько прекрасных старческих лиц — и безволосых, и седых. Лики Иеговы, непревзойденно писанные первым учеником Леонардо да Винчи, — творения не столь идеальные, как думалось мне при виде фресок Луини в Лайнате, Лугано, Милане. Здесь такие лики встречаются вживе на пороге любой хижины; эти красавцы старики — румяные, круглощечные, с блестящими голубыми глазами, с умиротворенным выражением на лице, с серебристою, переливающейся на солнце бородой, оттеняющею безмятежно-благожелательную улыбку на устах, — они напоминают идолов-хранителей, стоящих на деревенской околице. Величественно восседая посреди родной земли, эти благородные старцы приветствуют проезжих — точь-в-точь древние статуи, символы гостеприимства, которым поклонился бы язычник; христианин же взирает на них с невольным почтением, ибо в старости красота перестает быть телесною — это торжествующая песнь победившей плоть души...

Надобно побывать среди русских селян, чтобы постичь чистый образ патриархального общества и возблагодарить Господа за тот блаженный удел, что даровал он, невзирая на все ошибки правительств, этим кротким созданиям, между рождением и смертью которых пролегал лишь долгая череда лет, прожитых в невинности.

Ах, да простит мне ангел или же демон промышленности и просвещения, но как не найти великую прелесть в неведении света, когда видишь плод этого неведения на божественных лицах старых русских крестьян!

Словно патриархи нашего времени, они на склоне лет своих величаво вкушают покой; как работник, после трудового дня сбросивший с плеч тяжкую ношу, они, избавившись от барщины, с достоинством усаживаются на пороге своей хижины — вероятно, не раз уже отстроенной ими заново, ибо в здешнем суровом климате человеческое жилище менее долговечно, чем сам человек. Если б из своего путешествия в Россию я привез одно лишь воспоминание об этих безмятежных старцах, сидящих у незапирающихся дверей, — я и тогда не пожалел бы о тяготах поездки, в которой повидал людей, столь непохожих на крестьян любой другой страны. Благородство сельских хижин всегда внушает мне глубокое почтение.

Всякое устойчивое правление, как бы дурно оно ни было, имеет свое благое действие, и всякому народу, живущему в условиях

гражданского порядка, есть чем вознаграждать себя за жертвы, несомые им ради общественной жизни.

Однако ж сколько произвола таится в этой тишине, которая меня так влечет и восхищает! сколько насилия! сколь обманчива эта устойчивость!.. *

Пока я писал это письмо, на почтовую станцию в Троице прибыл один мой знакомец, словам которого можно доверять. Он выехал из Москвы на несколько часов позже меня; зная, что мне придется здесь ночевать, он попросил о встрече со мною, пока ему будут перепрягать лошадей. Он подтвердил то, что я уже знал: совсем недавно в Симбирской губернии, вследствие крестьянского бунта, сожжено было *восемьдесят* деревень. Русские приписывают эти беспорядки польским интригам. «Какая же выгода полякам от пожаров в России? — спросил я рассказчика. — Да хотя бы та, — отвечал он, — что они надеются навлечь на себя гнев русского правительства; они ведь боятся одного — что их оставят в покое. — Вы мне напоминаете, — воскликнул я, — те шайки поджигателей, которые в начале первой нашей революции винили аристократов в том, что те сами жгут свои замки. — Напрасно вы мне не верите, — возразил русский, — я за этим слежу и знаю по опыту, что всякий раз, как государь император склоняется к милосердию, поляки устраивают новые козни: засылают к нам переодетых лазутчиков, если же действительных преступлений не хватает, то создают видимость заговоров; а все лишь затем, чтоб распалить в русских ненависть и навлечь новые кары на себя и своих сограждан; словом, их более всего страшит прощение — ведь от мягкости русского правительства могли бы перемениться чувства польских крестьян к *врагу* и, получая от него благодеяния, они в конце концов могли бы его полюбить. — По-моему, это какой-то героический макиавеллизм, — отвечал я, — только мне в него трудно поверить. Да и отчего бы вам тогда не простить их, чтоб вернее покарать? Так вы превзошли бы их сразу и в хитрости и в великодушии. Однако же вы их ненавиди-

* Уже по выходе в свет первого издания этой книги мне сделалось известно следующее происшествие, способное умерить восхищение, которое внушают патристические добродетели русских селян. Привожу извлечение из «Gazette de Saint-Petersbourg» от 4/16 марта 1837 года: «Состоящий в должности Рязанского гражданского губернатора донес г-ну министру внутренних дел, что крестьянка Рязского уезда, села Ухолова Марья Никифорова представила начальству полученные ею от сына своего, служащего в Тамбовском внутреннем гарнизонном батальоне рядовым Ивана Никифорова, письма, в коих он уведомлял ее о намерении своем бежать, и что потом, когда он действительно бежал, она дала знать сельскому начальству о прибытии его к ней. Г-н министр внутренних дел сообщил об этом г-ну военному министру, который ныне уведомляет его, г-на министра, что государь император, по докладу его императорскому величеству об означенном поступке этой крестьянки, высочайше повелеть соизволил: крестьянку Никифорову, за таковой похвальный поступок ее, наградить серебряной медалью, с надписью «За усердие», на Анненской ленте, для ношения на груди».

Вот для чего служат в России награды.

те; а оттого мне скорей думается, что русские винят во всем свою жертву, чтоб оправдать собственное злопамятство, и во всех несчастных происшествиях у себя дома ищут предлог, чтоб отягчить ярмо на шею своего противника, непростительно провинившегося пред ними своею былою славой; тем более что польская слава, согласитесь, была весьма громкою. — Как и французская... — лукаво подхватил мой приятель (я знавал его еще в Париже); — да только вы превратно судите о российской политике, потому что не знаете ни русских, ни поляков. — Это всякий раз твердят ваши соотечественники, когда кто-то решится сказать им неприятную правду; поляков-то узнать нетрудно — они ведь говорят без умолку, а я скорее доверяю говорунам, которые высказывают все, что у них на уме, нежели молчунам, которые высказывают лишь то, что никому и не интересно знать. — Однако же мне вы как будто доверяете. — Лично вам — да; но стоит мне вспомнить, что вы русский, и я, даже зная вас уже десять лет, начинаю корить себя за неосмотрительность, то есть за откровенность. — Предвижу, как распишете вы нас, когда вернетесь домой. — Да, если б я стал о вас писать; но раз вы говорите, что я не знаю русских, то я воздержусь судить наобум о вашей непроницаемой нации. — Лучше вы и не могли бы поступить. — Ладно же; только не забывайте, что даже самый осторожный человек, однажды уличенный в скрытности, тем самым все равно что разоблачен. — Для таких варваров, как мы, вы слишком сатиричны и слишком проницательны». С этими словами мой бывший друг сел в экипаж и умчался прочь, а я вернулся к себе в комнату, чтобы записать для вас нашу с ним беседу. Свои последние письма я прячу среди оберточной бумаги, ибо все время боюсь какого-нибудь скрытого или даже открытого обыска с целью дознаться до моих тайных мыслей; надеюсь, что, не найдя ничего ни в письменном приборе, ни в портфеле, они успокоятся. Я уже говорил в другом месте, что, собираясь писать, непременно стараюсь отослать фельдъегеря; сверх того я распорядился, чтоб он никогда не входил ко мне в комнату, не спросивши моего разрешения через Антонио. Итальянец в хитрости не уступит русскому, а этот человек служит мне уже пятнадцать лет, он смышлен, как современные римляне, и благороден душою, как римляне древние. С обыкновенным слугою я бы не решился ехать в эту страну или же воздержался бы от записей; Антонио же, препятствуя шпионству фельдъегеря, обеспечивает мне кое-какую свободу.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПИСЬМА

Троица, 18 августа

Если бы мне пришлось извиняться за свои повторы и монотонность изложения, то я должен был бы просить прощения за то, что вообще путешествую по России. Всякий добросовестный путешественник вынужден часто возвращаться к одним и тем же впечатлени-

ям, но в России это более неизбежно, чем где-либо... Желая дать вам как можно более точное представление о стране, по которой езжу, я вынужден подробно, час за часом, рассказывать обо всем пережитом; только так могу я подкрепить те мысли, что придут мне в голову впоследствии. Притом каждый новый предмет, внушающий прежние мысли, подтверждает их справедливость; всякому правдивому рассказу о путешествии присуща несвязность. Методическое изложение уберегло бы меня от критики, зато отняло бы читателей.

Троица составляет в России самое главное и часто посещаемое место паломничества, за исключением Киева. Я решил, что в этой исторической лавре, расположенной в двадцати лье от Москвы, стоит задержаться на день и ночь, чтоб подробней осмотреть святыни, чтимые русскими христианами.

Нынче утром, однако, для выполнения моего замысла пришлось мне насиловать себя: ибо после подобной ночи уже не испытываешь любопытства ни к чему, все перебивается физическим омерзением.

В Москве люди, слышавшие беспристрастными, уверяли меня, что в Троице я найду сносное пристанище. В самом деле, страннопримный дом — нечто вроде гостиницы при монастыре, но за чертою освященной земли, — здание весьма просторное, и комнаты в нем на вид довольно пригодны для жилья; однако стоило мне лечь, как выяснилось, что всегдашние мои предосторожности не помогают; по обыкновению, я не тушил света, и вся ночь для меня прошла в борьбе с полчищами насекомых; были среди них и черные, и коричневые, всякого вида и, должно быть, всякой породы. Разгорелся жаркий бой; гибель одного из них словно возбуждала мщение соплеменников, и они устремлялись на меня, к тому месту, где пролилась кровь; отчаянно отбиваясь, я в ярости восклицал: «Еще бы им крылья — и был бы суций ад!» Оставленные паломниками, что стекаются в Троицу со всех концов империи, насекомые эти кишмя кишат под сенью мощей преподобного Сергия, основавшего сию знаменитую лавру. Небесная благодать проливается и на их благоденствие, и в этой святой обители они плодятся более, чем где-либо еще на свете. Видя, как на меня наступают все новые и новые их полчища, я упал духом и страдал от страха еще больше, нежели от действительной боли; меня не покидало подозрение, что в этом гнусном воинстве таятся невидимые глазу отряды, которые объявятся лишь при свете дня. Я с ума сходил при мысли, что от моих розысков они предохранены цветом своей амуниции; кожа моя горела, кровь бурлила, я чувствовал, как меня пожирают незримые враги; и в тот миг, будь у меня выбор, я, вероятно, предпочел бы сражаться с тиграми, нежели с этим ополчением, которым так богаты нищие; действительно, мы бросаем нищему деньги из страха получить от отвергнутого бедняка некий дар в натуре. Этим ополчением частенько славятся и святые угодники, соединяя крайнюю

аскетичность с нечистоплотностью, — нечестивое сочетание, которое не может не возмущать настоящих приверженцев Господа. Что же будет со мною, грешным, которого паломничьи паразиты язвят без всякой пользы для небес? — так говорил я себе с отчаянием, которое вчуже счел бы комичным; я вставал, шагал по середине комнаты, открывал окна, на миг это меня успокаивало; но напасть настигала меня всюду. Стулья, столы, потолок, пол, стены — все кишело живностью; я не решался ни к чему подойти, боясь потом занести заразу в свои собственные вещи. Слуга мой явился раньше условленного часа; ему пришлось испытать такие же страдания, и даже худшие, ибо он, бедняга, дабы не отягощать нашего багажа, не взял с собою кровати; свой тюфяк он укладывает прямо на пол, избегая местных диванов и прочих лежанок со всем их содержимым. Я так подробно распространяюсь об этих неудобствах, чтобы показать вам, чего стоит тщеславие русских и на какой высоте находится материальный быт у обитателей благополучнейшей части империи. Вид бедняги Антонио с заплавленными глазами и распухшим лицом говорил сам за себя; я не стал докучать ему расспросами, а он, ни слова не говоря, показал мне свой плащ, который за ночь из синего сделался бурым. Растянутый на стуле, этот плащ, казалось, колыхался, он был словно расшит цветными узорами, напоминающими персидский ковер; при сем зрелище нас обоих обьял страх; были пущены в дело все подвластные нам стихии — воздух, вода, огонь; но в подобной войне мучительна и сама победа; наконец, как можно тщательней почистившись и одевшись, я съел подобие завтрака и отправился в лавру, где поджидало меня новое полчище врагов; но эта легкая кавалерия, укрывшаяся в складках ряс православных монахов, уже ничуть меня не страшила — незадолго перед тем я выдержал натиск куда более грозных воинов; после ночной битвы гигантов дневные стычки и вылазки фланкеров казались сущою забавой; а говоря без обиняков, укусы клопов и страх перед вшами настолько закалили меня, что целые тучи блох, взметаемые нашими шагами в церквах и монастырских сокровищницах, уже беспокоили меня не больше дорожной пыли или печной золы. Равнодушие мое было так велико, что я сам его стеснялся; бываю напасти, смиряться с которыми постыдно — ты как будто признаешь, что их заслужил... Нынешним утром и прошлою ночью я вновь ощутил острую жалость к тем злосчастным французам, что остались в русском плену после московского пожара и отступления нашей армии. Паразиты, составляющие неизбежное следствие нищеты, — один из тех физических недугов, что вызывают во мне самое глубокое сострадание. Когда о ком-нибудь говорят «он так бедствует, что ходит неприятным», — сердце мое разрывается. Нечистоплотность — нечто большее, чем кажется; в глазах внимательного наблюдателя она обличает нравственный упадок, который хуже любых телесных

недугов; будучи в известной степени добровольною, эта парша тем лишь отвратительней; явление это относится сразу и к нравственной, и к физической нашей природе; оно проистекает одновременно от душевной и телесной немощи; это порок и вместе с тем болезнь.

Не раз в путешествиях моих приходилось мне вспоминать пронизательные наблюдения Песталоцци — великого практического философа, который задолго до Фурье и сен-симонистов взялся за образование мастеровых; из наблюдений его над бытом простонародья следует, что из двух человек, имеющих одинаковые привычки, один может жить чистоплотно, а другой нет. Телесная опрятность зависит от их здоровья и темперамента не в меньшей степени, чем от того, насколько они следят за собою. Разве не встречаются в свете люди весьма изысканные и, однако же, весьма нечистоплотные? Как бы то ни было, среди русских царит самая гадкая неряшливость; просвещенной нации не подобает так безропотно это терпеть; русские же, по-моему, приучили насекомых выживать даже в горячей бане.

Несмотря на скверное настроение, я все же тщательно осмотрел внутренность Троицкой лавры, составляющей гордость русских. Видом она менее внушительна, чем наши старинные готические монастыри. Хотя к святым местам ездят и не ради архитектуры, но все же если б славные эти святыни стояли того, чтоб их обозреть, то они нимало не потеряли бы в святости, а паломники — в благочестивом рвении.

На низеньком холме возвышается городок, опоясанный мощною зубчатою стеной, — это и есть лавра. Подобно московским монастырям, она украшена шпилями и золочеными куполами, которые блеском своим, особенно по вечерам, издалека возвещают паломникам о цели их набожного странствия.

В летнюю пору окрестные дороги полны бредущих чередою странников; в деревнях кучки богомольцев едят или спят, лежа в тени берез; эти крестьяне, обутые в подобие сандалий из липовой коры, встречаются на каждом шагу; часто рядом с мужиком идет и баба, неся свои башмаки в руке и прикрываясь зонтиком от солнечных лучей, которых летом москвиты опасаются более, чем жители южных стран. Следом за этою пешею четой идет шагом лошадь, впряженная в кибитку, — в ней везут принадлежности для сна и для приготовления чая! Русская кибитка, должно быть, походит на повозки древних сарматов. Экипаж этот отличается первобытною простотой — кузов колесницы составляет большая бочка, распиленная пополам вдоль и поставленная на две оглобли с осями наподобие пушечного лафета; иногда снабжена она еще и верхом, то есть огромною опрокинутую вверх дном деревянную миской. Обычно эту диковатую на вид кровлю устанавливают продольно сбоку на оглобли, и она закрывает половину повозки, как империял швейцарского шарабана.

Деревенские мужики и бабы, умеющие спать где угодно, кроме кровати, путешествуют, лежа в полный рост в сей легкой и живописной повозке; бывает, один из паломников, присматривая за спящими, садится свесив ноги на краю кибитки и навевает уснувшим своим спутникам патриотические сновидения. Он затягивает глухую и жалобную песню, где звучит скорее печаль, чем надежда,— печаль унылая, а не страстная; в душе этого народа, по натуре своей беспечно-веселого, но воспитанного в молчаливости, все сдавлено и несмело. Если б я не считал, что судьба каждой расы начертана на небесах, то сказал бы, что славяне рождены были жить на земле более благодатной, нежели та, где они осели, придя из Азии — великого рассадника народов.

Выйдя из монастырской гостиницы и пересекши площадь, попадаешь в святую обитель. Сперва идешь по древесной аллее, затем навстречу попадают несколько небольших церквей, именуемых *соборами*, высокие колокольни, стоящие отдельно от храмов, к которым они относятся, и еще несколько часовен, не считая многочисленных жилых строений, разбросанных там и сям без плана и порядка; в этих постройках, не имеющих ни стили, ни характерного облика, живут нынешние последователи преподобного Сергия.

Сей знаменитый пустынный основал в 1338 году Троицкий монастырь, чья история не раз сливалась с историей всей России; во время войны с ханом Мамаем святой инок помог советом князю Дмитрию Ивановичу, и тот, одержав победу, в благодарность щедро одарил хитроумных монахов; позднее их монастырь был разрушен новыми ордами татар, однако мощи преподобного Сергия, чудесно обретенные под развалинами, придали новую славу этой обители молитв, отстроенной Никоном на благочестивые царские дары; еще позднее, в 1609 году, монастырь, где укрылись защитники отечества, шестнадцать месяцев осаждали поляки; неприятель так и не смог взять приступом святую крепость и принужден был снять осаду к вящей славе преподобного Сергия и к радости его набожных преемников, сумевших извлечь выгоду из своих действительных молитв. По монастырской стене тянется крытая галерея; я обошел ее кругом — стены имеют в окружности примерно половину лье и оснащены башнями. Из патриотических воспоминаний, коими славна эта обитель, любопытнее всего, по-моему, история бегства Петра Великого и его матери от буйных стрельцов; мятежные солдаты гнались за ними от Москвы до самого Троицкого собора, до алтаря преподобного Сергия, но там при виде десятилетнего героя вынуждены были сложить оружие.

Все православные церкви похожи одна на другую; росписи в них всегда византийские, то есть ненатуральные, безжизненные и оттого однообразные; скульптуры нет нигде, ее заменяют резьба и позолота, лишенные стилиа — богатые, но некрасивые; говоря коротко,

видны одни лишь рамы, в которых теряются картины, — великолепно, но безвкусно.

Все видные деятели российской истории охотно множили богатства лавры, и сокровищница ее полна золота, алмазов и жемчуга; эта груда драгоценностей, собранных со всего света, слывет великим дивом; я, однако, дивлюсь на нее скорее недоуменно, чем восхищенно. Цари, императрицы, набожные вельможи и истинные святые состязались в щедрости, дабы умножить, каждый по-своему, сокровища Троицы. В этом великолепном собрании исторических даров бросаются в глаза своею сельскою простотой грубые ризы и деревянные чаши преподобного Сергия, достойно оттеняя пышные церковные облачения, преподнесенные князем Потемкиным, который также не обошел своим вниманием Троицу.

Гробница преподобного Сергия в Троицком соборе блистает ослепительною роскошью. Этот монастырь мог бы стать богатою добычей для французов; ведь с XIV века он ни разу не был захвачен врагами.

Он включает в себя девять храмов, ярко сияющих своими куполами и колокольнями; однако все они невелики и теряются, разбросанные на обширном пространстве.

Мощи святого хранятся в раке из позолоченного серебра; ее накрывает серебряный балдахин на серебряных столбах — дар императрицы Анны. Образ преподобного Сергия слывет чудотворным; Петр Великий возил его с собою в кампаниях против Карла XII.

Неподалеку, под сенью мощей святого отшельника, покоится тело узурпатора и убийцы Бориса Годунова вместе с останками нескольких его родственников. Есть в лавре и много других знаменитых могил. Вида они все бесформенного; искусство здесь пребывает одновременно в детстве и в дряхлости.

Я осмотрел дом архимандрита и царские палаты. Здания эти ничем не любопытны. Число монахов ныне, как мне сказали, достигает лишь сотни; раньше их было более трехсот.

Несмотря на мои долгие и упорные просьбы, мне так и не захотели показать библиотеку; переводчик мой всякий раз отвечал одно и то же: «Не велено!..»

Странно было видеть такую застенчивость монахов, утаивающих сокровища науки, но зато выставляющих напоказ сокровища мирской суеты. Я заключил отсюда, что на их драгоценностях меньше пыли, чем на их книгах.

Тем же вечером в Дерниках, деревушке по дороге из уездного городка Переяславля в Ярославль — столицу одноименной губернии

Странная, право, манера — находить удовольствие в том, чтобы развлечения ради путешествовать по стране, где нет ни больших

дорог *, ни трактиров, ни кроватей, ни даже соломы для тюфяка (ибо свой матрац, как и матрац моего слуги, мне приходится набивать сеном), ни белого хлеба, ни вина, ни питьевой воды, где не полюбуешься ни живописным пейзажем в пути, ни творениями искусства в городах; где зимой, если не соблюдать осторожность, можно обморозить себе щеки, нос, уши, голову, ноги; где в летнюю пору днем приходится жариться на солнце, а ночью дрожать от холода; и вот за такими-то увеселениями и забрался я в самое сердце России!

Будь в том нужда, я легко мог бы привести подтверждение всем своим жалобам. Оставим пока в стороне дурной вкус, что царит здесь в искусствах. Я уже говорил и еще буду говорить в других местах о византийском стиле в живописи, который словно иглом гнетет воображение художников, делая из них ремесленников; ограничусь ныне только наблюдениями над материальным устройством жизни... Ни перепаханное поле, ни изрытый ямами луг, ни песчаная колея, ни бездонная прорва грязи, с чахлым редколесьем по бокам, — все это нельзя назвать дорогою; а еще по временам встречается бревенчатая гать, этакий сельский паркет, вдребезги разбивающий повозки вместе с седоками, которые скачут вверх и вниз как на качелях, — столько упругости заключено в этих колодах. Таковы дороги. Обратимся к жилищам. Назовете ли вы трактиром рассадник насекомых, кучу мусора? Меж тем дома, стоящие вдоль этой дороги, ничего иного собою не представляют: из каждой поры их стен сочатся гады; днем вас кусают там мухи, ибо решетчатые ставни считаются южною роскошью и почти никому не ведомы в сих краях, где перенимают лишь то, что блестит; ночью же... вам уже известно, что за враги подстерегают путешественника, решившегося спать не у себя в экипаже... Хотя пшеница в здешнем климате растет на славу, в селах не знают белого хлеба. Вино в трактирах — обыкновенно белое и именуемое «сотерном» — встречается редко, стоит дорого, а качества дурного; вода почти во всех частях России скверная — можно потерять здоровье, если пить ее, положившись на заверения местных жителей и не обезвреживая ее шипучими порошками. Правда, во всех крупных городах найдете вы сельтерскую воду — изысканное заграничное питье, чем и подтверждается все сказанное выше о скверном качестве местной воды.

Эта сельтерская вода, конечно, изрядно выручает, но ею приходится запастись порой весьма надолго, что очень неудобно. «Зачем же вы делаете остановки? — говорят русские. — Поступайте как мы: мы ездим не останавливаясь». Хорошенькое удовольствие — проехать по вышеописанным дорогам сто пятьдесят, двести, триста лье креду, ни разу не выйдя из кареты!

Что до пейзажей, то в них немного разнообразия; жилища же

* То, что зовется этим именем во всей остальной части Европы, в России проложено пока лишь от Петербурга до Москвы и отчасти от Петербурга до Риги.

настолько схожи на вид, что кажется, будто на всю Россию есть только одна деревня и один крестьянский дом. Расстояния тут немеренные; правда, русские их сокращают своею манерой путешествовать; из экипажа они выходят лишь по прибытии на место, а все время пути спят, как будто у себя в постели; их удивляет, что нам не по нраву такой способ кочевать во сне, позаимствованный ими от предков-скифов. Не следует верить, будто ездят они всегда так уж скоро: добравшись до места, эти северяне по-гасконски умалчивают о задержках, что случались в дороге. Когда можно, ямщики едут быстро, но их останавливают или, во всяком случае, часто сдерживают сильнейшие помехи, что не мешает русским нахваливать приятности, ожидающие путешественника в их стране. Они словно все сговорились — соревнуются во лжи, чтоб обольстить чужеземцев и превознести свое отечество во мнении дальних народов.

Сам я обнаружил, что даже по тракту от Петербурга до Москвы ехать приходится то быстро, то медленно; оттого в итоге поездки времени сберегается немногим больше, чем в других странах. В стороне же от тракта неудобства возрастают стократ, сменных лошадей не хватает, а от дорожных ухабов рвется вся упряжь; так что к вечеру впору пощады просить; а поскольку твоя единственная цель — повидать страну, то начинаешь мнить себя безумцем, чинящим себе попусту множество неудобств, и смущенно задумываешься, чего ради забрался ты в такой дикий край, притом лишенный поэтического величия пустыни. Таким-то вопросом я и задавался нынче вечером. Темнота застала меня на дороге вдвойне неудобной, так как она полузаброшена из-за пересекающего ее через каждые пятьдесят шагов недостроенного тракта; ежеминутно то съезжаешь с этой кое-как проложенной широкой колеи, то вновь на нее въезжаешь; для съезда и въезда устроены временные бревенчатые мостки — разболтанные, как клавиши старого фортепиано, неровные и опасные, так как часто в них недостает самых главных звеньев; и вот как ответил на мой вопрос некий внутренний голос: «Чтоб заехать сюда так, как ты, без определенной цели, без нужды, надобно иметь стальное телосложение и шальное воображение».

Услышав сей ответ, решился я сделать остановку и, к великому негодованию ямщика и фельдъегеря, выбрал себе ночлегом крестьянскую избушку, откуда сейчас вам и пишу. Пристанище это не столь мерзостно, как постоялый двор; в такой глухой деревушке не останавливается ни один проезжий, и в деревянных стенах избы скрываются лишь те насекомые, что занесены из лесу; комната моя — чердак, на который ведет деревянная лестница в дюжину ступенек, — напоминает квадратный ящик длиной и шириной в девять или десять футов и высотой в шесть или семь; эта ничем не отделанная каморка похожа на каюту на нижней палубе судна и приводит мне на память хижину умалишенного в истории Теленева; весь дом построен из еловых бревен, а щели между ними, как

корпус шляпки, законопачены пропитанным смолою мхом; мне мешает запах, который исходит от этой смеси и соединяется со зловонием кислой капусты и неизменно господствующим в российских деревнях ароматом дубленых кож; но лучше уж страдать от головной боли, чем от тошноты, и такой ночлег нравится мне куда больше, чем тот большой свежоштукатуренный зал, который снимал я на постоялом дворе в Троице.

Однако ж кроватей ни в этом, ни в других домах нет; крестьяне спят, завернувшись в свои овчины, на лавках вдоль стен нижней комнаты. Наверху для меня только что разложили мою железную кровать и набили тюфяк свежим сеном, от запаха которого еще сильней болит голова.

Антонио ночует в коляске и вместе с фельдъегерем, не оставившим своего сиденья, сторожит ее. Большие дороги в России довольно безопасны; зато в деревнях славянские крестьяне почитают повозки и их принадлежности своею законною добычей, и если не стеречь коляску самым тщательным образом, то наутро я вполне могу обнаружить ее без верха и вообще обобранною — без пасов, без штор, без фартука, одним словом, превращенною в незатейливый тарантас, в обыкновенную телегу; и во всем селе ни одна душа не ведала бы, куда делась украденная сбруя; если бы, после долгих розысков, ее обнаружили у кого-нибудь в сарае, то разбойник отговорился бы тем, что нашел-де ее да принес! Такое оправдание в ходу среди русских; воровство укоренилось в их нравах; а потому воры живут с совершенно чистою совестью, и физиономия их до конца дней выражает безмятежный покой, способный обмануть даже ангелов. На память мне то и дело приходит наивно-характерная поговорка, непрестанно звучащая у них в устах: «И Христос бы крал, кабы за руки не прибили» *.

Не думайте, будто пороком воровства поражены одни лишь крестьяне: воровство имеет столько же видов, сколько есть ступеней в общественной иерархии. Всякий губернатор знает, что ему, как и большинству его собратьев, грозит провести остаток своих дней в Сибири. Если, однако, за время своего губернаторства он исхитрится наворовать довольно, чтобы в нужный момент защитить себя в суде, то он выпутается; если же (случай невозможный) он остался бы честен и беден, то пропал бы. Замечание это не мое, мне доводилось слышать его от нескольких русских, которых я считаю

* «Ликург считал, что для того, чтобы украсть какую-нибудь вещь у своего соседа, нужно проявить сметливость, воровство, смелость и ловкость; с другой стороны, он полагал, что для общества будет полезно, если каждый будет тщательно охранять свое добро; поэтому он решил, что воспитание обоих этих качеств — умения нападать и умения защищаться — принесет богатые плоды при обучении военному делу (являвшемуся главной наукой и добродетелью, которые он хотел привить своему народу) и что это возместит тот ущерб и ту несправедливость, которые вызываются присвоением чужой вещи». («Опыты Монтеня», кн. 2, глава XII, «Апология Раймунда Сабундского», страница 299. Париж, издание братьев Дидо, 1836).

достойными доверия, но воздержусь называть их имена. Рассудите сами, насколько следует верить их рассказам.

Кригс-комиссары обкрадывают солдат и наживаются на их голоде; вообще, среди здешних чиновников честность была бы так же опасна, как сатира, и так же смешна, как глупость.

Завтра я надеюсь доехать до Ярославля; это главный город губернии; остановлюсь там на день-два, чтобы найти наконец в глубине страны настоящих русских; на сей предмет я еще в Москве озаботился запастись несколькими рекомендательными письмами в столицу этой губернии — одной из самых любопытных во всей империи, как по положению своему, так и по промыслам своих обитателей.

ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ

*Значение Ярославля для внутренней торговли. — Мнение одного из русских об архитектуре своей страны. — Смешные претензии народа-высочки. — Вид Ярославля. — Набережный бульвар у Волги. — Вид из города на сельские окрестности. — Еще раз о пристрастии русских к рабскому подражанию классической архитектуре. — Сходство Ярославля с Петербургом. — Красота сел и их жителей. — Однообразие ландшафта. — Пение волжских матросов вдали. — Саркастичность светских людей. — Еще один взгляд на характер русских. — Первобытные дрожки. — Обувь крестьян. — Древние статуи. — Русские бани недостаточны для поддержания чистоты. — Визит к ярославскому губернатору. — Два мальчика: русский и немецкий. — Салон губернатора. — Я в изумлении. — Воспоминания о Версале. — Г-жа де Полиньяк. — Невероятная встреча. — Изысканная учтивость. — Влияние нашей литературы. — Поездка в Преображенский монастырь. — Набожность князя ***, моего провожатого. — В современной России продолжают традиции византийского искусства. — Мелочность православной церкви. — Нелепые разграничения. — Спор о том, как давать благословение. — Закуска, легкое кушанье, подаваемое перед самым обедом. — Стерлядь, волжская рыба. — Русская снедь. — Обед длится недолго. — Хороший вкус в беседе. — Память о старой Франции. — Вечер в семейном кругу. — Разговор с дамой-француженкой. — В России жены превосходят своих мужей. — Оправдание божественного промысла. — Розыгрыши благотворительной лотереи. — Во Франции светский тон искажен политикою. — Глубокая пропасть между богатыми и бедными в России. — Отсутствие благотельной аристократии. — Кто в действительности правит Россией. — Сам император стеснен в отправлении своей власти. — Русская бюрократия. — Поповичи. — Влияние Наполеона на государственное управление в России. — Его макиавеллизм. — План императора Николая. — Правительство иностранцев. — Проблема, требующая разрешения. — Об одном особенном затруднении.*

Ярославль, 18 августа 1839 года

То, что предрекали мне в Москве, уже сбывается, а меж тем я едва проделал четверть своего пути. К прибытию в Ярославль ни одна часть моей коляски не осталась в целости; ее будут теперь чинить, но вряд ли она довезет меня до конца пути.

Погода стоит осенняя; здесь говорят, что такую она и должна быть об эту пору; за один день всю летнюю жару смыло холодным дождем. Теперь, говорят, жарко уже не будет до будущего года; но я настолько привык к неудобствам летнего зноя — пыли, мухам,

комарам,— что мне даже не верится, чтобы одна-единственная гроза могла избавить меня от всех этих напастей... слишком похоже на волшебство... Нынешний год необыкновенно засушлив, и я убежден, что мы еще застанем дни жаркие и душные, ибо на Севере зной бывает не столько резкий, сколько давящий.

Город, куда я прибыл, служит важною перевалочною станцией во внутренней торговле России. Через него Петербург сообщается также и с Персией, Каспийским морем и всею Азией. Здесь протекает Волга — великий и оживленный природный путь, и Ярославль служит национальной столицей водных сообщений, умело налаженных и образующих предмет гордости русских и один из главных источников их благосостояния. К Волге примыкает обширная сеть каналов, составляющих богатство России.

Город Ярославль, столица одной из самых примечательных губерний во всей империи, замечен уже издалека, как и предместья Москвы. Подобно всем провинциальным городам в России, он обширен и кажется безлюдным. Обширность его — не столько от многочисленности обитателей и домов, сколько от огромной ширины улиц и площадей и оттого, что здания здесь обычно расположены далеко друг от друга, так что жителей почти и не видать. От края до края империи царит один и тот же архитектурный стиль. Вот вам пример того, насколько ценят сами русские свои псевдо-классические здания.

В Москве некий остроумец говорил мне, что в Италии он не увидел ничего такого, что показалось бы ему внове.

— Вы серьезно это говорите? — воскликнул я.

— Совершенно серьезно, — отвечал он.

— Мне, однако же, кажется, — возразил я, — что когда впервые спускаешься по южному склону Альп, то вид местности просто не может не совершить переворота в твоей душе.

— Отчего же? — спросил русский, тоном своим и видом выражая пренебрежение, которое так часто принимают здесь за примету образованности.

— Как же! — отвечал я, — а новизна всего пейзажа, которому архитектура служит главным украшением? а ровные склоны холмов, засаженные лозою, тутом и оливами и перемежающиеся монастырями, дворцами, селеньями? а эти длинные ряды белых столбов, поддерживающих виноградные шпалеры под названием pergola и доносящих красоту архитектуры даже в сердце самых суровых гор? а вся эта пышность природы, напоминающей более парк, разбитый Ленотром для королевских прогулок, нежели возделанные нивы, дающие хлеб насущный землепашцу? и вам не показались внове все эти творения человеческой мысли, украшающие собою замысел Божий? А изящные очертания храмов, в чьих колокольнях распознается классический вкус, преобразованный феодальными нравами, а множество необыкновенных и величественных зданий,

что разбросаны в этом роскошном естественном парке, подобно тому как посреди природного ландшафта нарочно, чтоб оттенить его красоты, расставляют мельницы,— все это вас нисколько не удивило?

Но ведь один лишь вид этих картин способен внушить нам чувство истории! Повсюду новые здания высятся на грандиозных руинах древности, дороги проходят по аркадам, прочным, хотя на вид и легким*; повсюду холмы служат опорой для монастырей, дворцов и селений, напоминая, что в стране этой искусство властно правит природою. Горе тому, кто способен ступить по земле Италии, не распознав по величественности ее пейзажей и зданий, что страна эта — колыбель цивилизации.

— Я рад, что ничего этого не увидал, — иронически возразил мой собеседник, — коль скоро моя ненаблюдательность дает вам повод явить свое красноречие.

— Неважно, если восторг мой показался вам смешным, — продолжал я уже спокойнее, — лишь бы мне удалось пробудить в вас чувство прекрасного... Прирожденный художественный талант народа видится мне уже в выборе живописных мест для блистающих красотой селений, монастырей и большинства городов Италии; а как распорядились люди накопленными сокровищами в тех краях, где богатство их приумножалось торговлею, — например, в Генуе, Венеции или у подножия всех главных альпийских перевалов? Они выстроили вдоль озер, рек, морских берегов, горных ущелий зачарованные дворцы, фантастические набережные, мраморные стены, сложенные словно по волшебству; и чудеса эти можно созерцать не только на берегах Brenty: за каждую горную грядой встречаешь новые красоты. Множество храмов, высящихся один над другим, привлекают любопытных своим изяществом и величественным стилем своих росписей; множество мостов изумляют взор дерзостью и прочностью своего строения; каждый монастырь, город, замок, селение, вилла, отшельничий скит, обитель покаяния или же приют наслаждения, богатства и неги — все настолько поражает воображение роскошною архитектурой, что завораживает и глаза и мысли путешественника по сей славнейшей из стран. Величественные громады, гармонические линии — все это ново для северянина; иноземцу в Италии прибавляет радостей знание истории, но и одного лишь вида местности довольно, чтоб возбудить в нем интерес... Даже Греция, с ее дивными, но слишком немногочисленными святынями, не так изумляет большинство паломников, потому что после долгих веков варварства она кажется опустошенной, и, чтоб оценить ее по достоинству, требуется ее изучить; Италию же, напротив, довольно увидеть...

— Неужто вы думаете, — воскликнул, потеряв терпение,

* Примерами тому город Бергамо, озера Маджоре и Комо и проч., а также все южные долины Альп.

русский, — что нас, жителей Петербурга и Москвы, итальянская архитектура может удивить так, как вас? Разве не встречаете вы ее образцы на каждом шагу в самых малых наших городах?

При сей вспышке национального тщеславия я утомлен; я находился в Москве, и как ни одолевало меня желание расхохотаться, отдаться ему было бы опасно; лишь с трудом сохранил я благоразумие — вот вам лишний пример того влияния, какое оказывает здешнее правительство даже на иностранца, притязającego ни от кого не зависеть.

Это решительно то же самое, думал я про себя, как если бы вы не захотели смотреть в Риме Аполлона Бельведерского, потому что видали раньше его гипсовые слепки, или отказались бы посетить Рафаэлевы Станцы, потому что Ватикан уже был вам представлен в декорациях Оперы. Да, влияние на вас монголов оказалось долговечнее их владычества!! Неужто вы прогнали завоевателей лишь затем, чтобы следовать их вкусам? Хуля других, не продвинуешься далеко ни в искусствах, ни вообще в просвещенности. В наблюдениях своих вы недоброжелательны по недостатку чувства современной красоты. Вам не сравняться со своими образцами, пока вы не перестанете им завидовать. Да, империя ваша огромна; но чем в ней можно восхититься? не могу же я любоваться колоссом, изваянным обезьяной. На беду ваших художников, в основания обществ, предназначенных просвещать род людской, Бог заложил отнюдь не только повиновение да державную власть.

Я подавил в себе этот приступ гнева, но сильные переживания читаются у нас на челе; должно быть, о них догадался и путешественник-верхогляд, ибо больше он ничего мне не сказал, лишь заметил небрежно, что оливы он видал в Крыму, а тутовые деревья — в Киеве.

Могу лишь радоваться, что приехал в Россию ненадолго; от более длительного пребывания в этой стране у меня пропало бы мужество, да и желание говорить правду о том, что я здесь вижу и слышу. Деспотизм внушает безразличие и уныние даже тем, кто полон решимости бороться с его вопиющими злоупотреблениями.

Презрение ко всему, чего не знаешь, — это, по-моему, преобладающая черта в характере русских. Вместо того чтобы попытаться понять непонятное, они норовят его высмеять. Если однажды им удастся в чем-то проявить свой настоящий талант, то окажется, к удивлению света, что это талант карикатуры. Изучая образ мышления русских и разезжая по России, последнюю из всех государств вписавшей свое имя в великую книгу европейской истории, я убеждаюсь, что вздорные причуды выскочек способны овладеть множеством людей и сделаться достоянием целого народа.

Цветные и золоченые главы ярославских церквей, которых здесь немногим меньше, чем домов, видны путнику издали, как и в Москве, но сам город менее живописен, нежели старая столица им-

перии. Рядом с ним протекает Волга, и со стороны реки город заканчивается высоким, обсаженным деревьями набережным бульваром. Ниже этого широкого бульвара пролегает подъездной путь, спускаясь от города к реке и пересекая под прямым углом бечевую тропу. Этот необходимый для хозяйственных и торговых нужд путь не прерывает собою набережной, переходящей в красивый мост. Скрытый под прогулочную аллею, мост этот заметен лишь снизу; в целом получается недурная картина, которая имела бы внушительный вид, будь в ней еще и движение и свет; однако город, несмотря на свое торговое значение, настолько плосок, настолько правильно расчерчен, что кажется вымершим; в нем пусто, печально и тихо; впрочем, другой, сельский берег реки, который виден с набережной, еще более пуст, тих и печален. Я почитаю своим долгом представлять вам воочию все, что вижу сам, — и потому опишу этот пейзаж, рискуя показаться неоригинальным и навеять вам тоску, какую испытываю я сам при его созерцании.

Огромная серого цвета река, с берегами крутыми, словно утесы, но песчаными, невысокими, а наверху переходящими в бескрайнюю серую равнину с пятнами сосновых и березовых лесов, — другие деревья на здешней холодной почве не растут; серо-металлическое небо, где сквозь монотонные свинцовые тучи, отражающиеся в жестяного цвета воде, местами проглядывают серебристые полосы, продуваемые ветром и дождем; вот такие холодные и суровые картины ожидали меня в окрестностях Ярославля!.. Впрочем, край этот наилучшим образом возделан, и русские хвалят его как самый богатый и живописный во всей империи, за исключением Крыма; последний, правда, по словам достойных доверия путешественников, далеко уступает горным карнизам Генуи и побережью Калабрии; да и что значит Крым в сравнении с обширными равнинами этой страны? Говорят, что красивы степи в окрестностях Киева, но такая красота быстро утомляет.

Внутреннее устройство русских жилищ весьма разумно; внешний же их вид, а равно общий план городов этой разумности лишены. Разве не высится в Ярославле колонна наподобие петербургской, а напротив нее — несколько зданий с аркой внизу, подражающих Генеральному штабу в СТОЛИЦЕ? Все это отличается самым дурным вкусом и странно не соответствует строению церквей и колоколен; здания эти словно принадлежат не тому городу, для которого их возводили.

Чем ближе подъезжаешь к Ярославлю, тем более поражает красота местных жителей. Села здесь богаты и добротнo отстроены; я даже видал в них несколько каменных домов, но они еще слишком малочисленны, чтоб разнообразить облик местности, монотонность которого не нарушается ни единым предметом.

Волга — это российская Луара, только вместо радующих глаз холмов Турени, на которых гордо высится прекрасные замки

средних веков и Возрождения, здесь все время тянутся ровные берега, образующие естественные пристани, а на них стоят серые дома, выстроенные в ряд, словно лагерные шатры, и не столько оживляющие собою пейзаж, сколько делающие его еще скуднее; таков край, которым русские советуют нам любоваться.

Прогуливаясь давеча вдоль Волги, я был принужден идти против северного ветра, который в этих местах царит всевластно и разрушительно, — три месяца в году буйно метет пыль, а остальное время снег. Нынче вечером между порывами ветра, когда этот противник мой словно переводил дух, до меня доносилось издали пение матросов на реке. На таком расстоянии гнусавые звуки, обезображивающие русскую народную песню, пропадали, и я слышал лишь невнятно-жалобную мелодию, смысл которой угадывал сердцем. Несколько человек сплавляли по родной своей Волге длинный плот, умело им управляя; поравнявшись с Ярославлем, они решили сойти на сушу; увидав, что туземцы эти причалили к берегу и направляются ко мне, я остановился; они прошли мимо, не взглянув на чужестранца, даже словом не перемолвившись между собою. Русские молчаливы и нелюбопытны; мне это понятно — то, что они знают, отвращает их от того, что им неизвестно.

Я любовался их тонкими лицами и благородными чертами. Повторяю уже в который раз: если не считать женщин калмыцкой расы, горбоносых и скуластых, русские чрезвычайно красивы.

Другая свойственная им приятная черта — это мягкий голос; он звучит всегда густо и звонко, без усилия. Русские делают музыкальным язык, который становится грубым и шипящим, когда на нем говорят чужие; мне кажется, это единственный язык в Европе, который в устах людей благовоспитанных нечет теряет. Уху моему приятнее уличный русский говор, чем салонный; на улицах это язык родной, в салонах же и при дворе — свежезаимствованный на стороне и предписанный придворным политикою государя.

Самое обыкновенное состояние духа в этой стране — печаль, скрытая под иронией; особенно в салонах, ибо там более чем где-либо приходится таить свою грусть; отсюда саркастично-язвительный тон, ради которого насилуют себя и говорящие, и слушающие. Простонародье топит свою тоску в молчаливом пьянстве, а знать — в пьянстве шумливом. Так один и тот же порок принимает разные формы у раба и господина. У господ есть еще и другое средство от тоски — честолюбие, опьянение духа. Вообще же в народе этом, во всех его классах, царит некая врожденная грация, природная утонченность: изначальное преимущество, которого не отняли у него ни варварство, ни цивилизация — даже та, в которую он рядится.

Однако же следует признать, что ему недостает другого, более существенного качества — способности любить. Способность эта менее всего господствует в его сердце; оттого в повседневных,

мелких делах русским совершенно чуждо добродушие, а в делах крупных — добросовестность; изящный эгоизм, вежливое безразличие — вот что обнаруживается в них при ближайшем рассмотрении. Такое бессердечие составляет здесь принадлежность всех классов общества и проявляется в различных формах в зависимости от положения наблюдаемого человека; суть же повсюду одна. Столь редкие среди русских чуткость и участливость преобладают у немцев, которые называют их *Gemüth*. Мы назвали бы это сочувственностью, сердечностью, если б имели надобность определить то, что и у нас самих немногим более распространено, чем у русских. Зато тонкую и простодушную французскую шутовскую заменяют здесь враждебная наблюдательность, лукавая приметливость, завистливая колкость, наконец, унылая язвительность, которая кажется мне куда опасней нашего смешливого легкомыслия. В здешних краях суровый климат, принуждающий человека к постоянной борьбе, непреклонное правительство и привычка к шпионству делают характер людей желчным, недоверчиво-самолюбивым. Здесь вечно кого-то или чего-то опасаются; и, что хуже всего, опасливость такая небезосновательна; прямо в ней не сознаются, но и скрыть ее не скроешь, особенно от наблюдателя мало-мальски внимательного и привыкшего, как я, сопоставлять разные народы между собой.

Малодоброжелательное расположение русских к иностранцам кажется мне до известной степени простительным. Еще не зная нас, они встречают нас с видимою предупредительностью, ибо они гостеприимны, как жители Востока, и томимы скукой, как европейцы, но, принимая нас с более показною, чем сердечною приветливостью, они вслушиваются в самые незначительные наши слова, подвергают придирчивому рассмотрению малейшие наши поступки, а поскольку при этом им неизбежно открывается в нас много достойного порицания, то они, внутренне торжествуя, говорят себе: «Вот, значит, каковы те, кто считает себя во всем выше нас!»

Надобно прибавить, что исследования такого рода им по нраву, ибо в природе их больше изощренности, чем чувствительности, а оттого им ничего не стоит держаться с иностранцами начеку. Такое отношение не исключает ни известной любезности, ни своеобразного изящества, но оно противоположно настоящей учтивости. Быть может, долгими стараниями кто-то и может вызвать у них к себе некоторое доверие; но я лично сомневаюсь, чтобы при всех усилиях сумел когда-либо этого добиться, ибо русские — одна из самых ветреных и вместе самых непроницаемых наций на свете. Что сделала она, чтобы способствовать развитию человеческого духа? она еще не имела ни философов, ни моралистов, ни законодателей, ни ученых, чьи имена остались бы в истории; зато никогда не было и не будет у ней недостатка в отменных дипломатах, хитроумных политиках; низшие же классы если и не дают изобретательных мастеров, зато изобилуют превосходными подмастерьями; наконец,

если здесь недостает слуг, способных облагородить свою профессию высотой души, то во множестве найдутся отличные шпионы.

Я вожу вас по лабиринту противоречий, то есть показываю здешнюю жизнь такой, какой она представляется на первый-второй взгляд; ваше дело обобщать мои замечания, соотносить их между собою, дабы из личных моих мнений составить мнение общее. Намерение мое осуществится, если вы, сопоставляя и отбрасывая множество неосновательных и скороспелых суждений, сумеете образовать мнение твердое, беспристрастное и зрелое. Сам я этого не сделал, потому что больше люблю путешествовать, чем трудиться; писатель, в отличие от путешественника, не свободен; и вот я описываю свое путешествие, а завершение книги предоставляю вам.

Те новые соображения о русском характере, которые вы только что прочли, навеяны мне несколькими визитами, которые сделал я по прибытии в Ярославль. Этот город в сердце страны я рассматривал как один из примечательнейших пунктов на своем пути; и потому, прежде чем выехать из Москвы, запасся сюда несколькими рекомендательными письмами.

Завтра вы узнаете итог моего визита к главному лицу здешнего края, ибо я только что отправил письмо губернатору. В различных домах, где был я принят нынче утром, мне наговорили о нем много дурного, вернее, на многое намекнули. Ненависть, вызываемая им к себе, внушает мне доброжелательное любопытство. Мне кажется, мы, чужеземцы, должны судить о людях справедливей местных жителей. Завтра я составляю себе мнение о первом лице в Ярославской губернии, и мнение это сообщу вам откровенно и безбоязненно. А пока займемся простонародьем.

Русские крестьянки обыкновенно ходят босыми; мужчины же чаще всего носят нечто вроде башмаков, грубо сплетенных из тростника; издали обувь эта отчасти походит на античные сандалии. Одеты они в широкие штаны, складки которых, перехваченные у щиколотки повязкой на античный лад, заправлены в башмаки. Такой наряд совершенно напоминает статуи скифов, исполненные римскими ваятелями. Женщин же варварских в их одежде эти художники, кажется, никогда не изображали.

Пишу вам из скверного трактира; во всей России лишь два трактира чего-то стоят, и оба держат иностранцы — английский пансион в Санкт-Петербурге и заведение госпожи Говард в Москве.

Нередко случается, что я с содроганием сердца усаживаюсь на диван даже в частном доме.

В Петербурге и Москве видел я несколько общественных бань; моются в них по-разному; некоторые заходят в камеру, прогретую до совершенно нестерпимого, на мой взгляд, жара; в ней просто задыхаешься от прохватывающего пара; в других помещениях голые люди моют с мылом других голых, лежащих на раскаленных полках; у людей изысканных, как и повсюду, есть дома ванны; но все

же в заведения эти стекается столько народу, столько насекомых питается постоянно поддерживаемым там влажным паром, столько гадов ютится среди снимаемой одежды, что редко случается оттуда уйти, не унеся на себе некое неопровержимое доказательство безобразной нечистоплотности русского народа. Одно лишь это воспоминание и вызванная им постоянная опаска заставляют меня сурово судить о всей стране в целом.

Прежде чем мыться самим, те люди, что пользуются общественными банями, могли бы подумать о том, как отмыть дочиста дом банного заведения, банщиков, полки, белье, да и все прочее, что приходится трогать, видеть и вдыхать в этих вертепах, куда истые москвичи ходят якобы для поддержания чистоты тела, но на деле лишь приближают свою старость, злоупотребляя паром и без меры потя.

Сейчас десять часов вечера; губернатор только что сообщил, что за мною заедет в карете его сын; отвечаю извинениями и благодарностями; пишу, что уже лег спать и не могу нынче вечером воспользоваться любезностью г-на губернатора, но что следующий день проведу в Ярославле и поспешу выразить ему свою признательность. Охотно воспользуюсь этим случаем для углубленного изучения провинциального русского гостеприимства.

Итак, до завтра.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПИСЬМА

Ярославль, 19 августа 1839 года, после полуночи

Нынче утром, около одиннадцати часов, губернаторский сын, совсем еще мальчик в роскошном мундире, приехал за мною в купе, запряженном четверкою лошадей и управляемом кучером и *фалейтером*, который восседает на передней правой лошади; выезд совершенно такой же, как у петербургских придворных. Столь изысканное явление у ворот трактира меня смутило; я сразу почувствовал, что буду иметь дело не с исконно русскими людьми, что ожидания мои вновь окажутся обмануты; это не чистокровные москвиты, не настоящие бояре, — подумал я. Я боялся вновь оказаться среди европейских путешественников, александровских придворных, космополитических вельмож.

— Мой отец хорошо знает Париж, — сказал мне юноша, — он будет очень рад принять у себя француза.

— Когда же бывал он во Франции?

Юный русский промолчал; вопрос, казалось, поставил его в тупик, хотя и был как будто очень прост; сперва я не мог объяснить себе его смущение и понял лишь потом, воздав должное этому свидетельству душевной тонкости — чувства редкостного среди людей всех стран и всех возрастов.

Г-н ***, ярославский губернатор, находясь в свите императора Александра, воевал во Франции в кампанию 1813—1814 годов, и об

этом-то его сын не хотел мне напоминать. Такая тактичность напоминает мне другой, совсем иной случай: как-то в одном германском городке обедал я у посланника другого немецкого княжества; хозяин дома, представляя меня жене, сказал, что я француз...

— Значит, он наш враг! — перебил их сын, лет тринадцати — четырнадцати.

Этот мальчик никогда не ходил в русскую школу.

Войдя в просторный и богатый салон, где ожидал меня губернатор с женою и многочисленным семейством, я очутился словно в Лондоне или, вернее, в Петербурге, ибо хозяйка дома сидела по русскому обычаю на небольшом закрытом возвышении, которое занимает угол гостиной и называется «альтаной»; к нему ведут несколько ступенек — и все это похоже на увитую зеленью сцену домашнего театра. В другом месте я уже описывал вам эту великолепную живую решетку, столь же своеобразную, сколь и изящную на вид. Губернатор встретил меня учтиво; затем, представив нескольким женщинам и мужчинам из числа своей родни, проводил в эту зеленую беседу, где я увидел наконец его жену.

Едва пригласив меня сесть в глубине своего алтаря, она с улыбкою спросила: «А что, господин де Кюстин, Эльзеар по-прежнему сочиняет басни?»

Мой дядя, граф Эльзеар де Сабран, еще в детстве славился в Версале своим поэтическим даром и был бы славен также среди публики, если б друзьям и родственникам удалось уговорить его издать сборник басен — настоящий свод поэтической мудрости, обогащенный временем и опытом, ибо любые житейские обстоятельства, любые общественные или частные происшествия, любые возникшие в душе мечтания побуждают его написать новую притчу, всякий раз замысловатую, а порой и глубокую, особенно прелестную от изящно-легких стихов и самобытно-острого слога. Входя в дом ярославского губернатора, я и не думал об этом вспоминать, поглощенный своею надеждой (столь редко сбывающеюся) отыскать наконец в России настоящих русских.

Я отвечал губернаторше изумленной улыбкой, означавшею: «Это прямо сказка об Алине; объясните же, в чем здесь секрет».

Объяснение не заставило себя ждать.

— Я была воспитана, — продолжала губернаторша, — одною из подруг г-жи де Сабран, вашей бабушки; она часто рассказывала мне о прюдной прелести и изяществе ума г-жи де Сабран, об уме и талантах вашего дядюшки, вашей матушки; нередко она упоминала и о вас, хоть и уехала из Франции еще до вашего рождения; ее зовут г-жа де ***; она эмигрировала в Россию вместе с семейством Полиньяк, а после смерти герцогини де Полиньяк уже не расставалась со мною.

С этими словами г-жа *** представила меня своей гувернантке — пожилой женщине, которая лучше меня говорила по-французски, а лицом своим выражала тонкость ума и мягкость сердца.

Я понял, что с мечтою о боярах на сей раз придется расстаться, — о чем не мог не жалеть при всей глупости этой мечты; однако обманутые мои надежды были вознаграждены. Г-жа ***, жена губернатора, происходит из знатного рода, основатель которого был выходцем из Литвы; она урожденная княжна ***. Помимо учтивости, общей почти для всех особ ее положения во всех странах, она еще и усвоила вкус и тон французского света лучших времен и, несмотря на молодость, благородною простотою обращения напоминает мне манеры пожилых дам, которых знал я в детстве. Все это старинные традиции двора: безупречное соблюдение приличий, хороший вкус, доведенный до совершенства — до доброты, до естественности; одним словом, лучшие черты парижского большого света той эпохи, когда наше общественное превосходство было неоспоримо; когда г-жа де Марсан могла жить на скромный пенсион, добровольно заточив себя в монастыре Успения и заложив на десять лет свои огромные доходы, чтобы заплатить долги брата, принца де Гемене, и благородным своим самопожертвованием по возможности приглушить скандал от разорения этого вельможи.

«Мне ничего здесь не узнать о стране, по которой ездю, — думал я, — но от такого удовольствия тоже грех отказываться, ведь ныне оно, пожалуй, выпадает куда реже, чем просто возможность удовлетворить привлекшее меня сюда любопытство».

Я как будто вновь очутился в комнате своей бабушки *, где, правда, не было ни шеваляе де Буфлера, ни г-жи де Куален, ни даже самой хозяйки, ибо сии блестящие образцы того особенного остроумия, что расточалось некогда во Франции в светской беседе, безвозвратно исчезли даже в России; зато я находился в избранном кругу их друзей и учеников, которые словно собрались в их доме и ждут, когда отлучившиеся ненадолго хозяева вернутся назад. Казалось, они вот-вот появятся вновь.

К подобному переживанию я был не готов; право, из всех неожиданностей путешествия эта стала для меня самою внезапною.

Хозяйка, разделявшая мое чувство, рассказала, как она накануне изумилась сама, увидав мое имя внизу записки, с которою я препровождал губернатору свои рекомендательные письма из Москвы. Столь необычная встреча в стране, где я считал себя никому не ведомым как китаец, сразу же придала непринужденный, почти дружеский тон общей беседе, которая и дальше шла приятно и легко. Я подивился, с каким видимо неподдельным, ненаигранным удовольствием меня принимали. Встреча оказалась неожиданною для обеих сторон — прямо как в театре. В Ярославле меня никто не ждал: отправиться этою дорогою я решил лишь накануне своего отъезда из Москвы и, при всем мелочном самолюбии русских, в глазах человека, у которого я в последний момент попросил

* Графини де Сабран, позднее маркизы де Буфлер, скончавшейся в Париже в 1827 году, семидесяти восьми лет.

несколько рекомендательных писем, вряд ли был настолько важною особой, чтобы тот стал посылать вперед меня нарочных.

У губернаторши есть брат — князь ***, который превосходно пишет на нашем языке. Его стихотворные сочинения были изданы по-французски, и он любезно преподнес мне один из своих сборников. Раскрыв книгу, я нашел в ней следующий стих, полный искреннего чувства (он содержится в пьесе, озаглавленной «В утешение матери»):

Les pleurs sont la fontaine où notre âme s'épure *.

Это, несомненно, удача — так хорошо выразить свою мысль на иностранном языке.

Правда, в русском большом свете все, особенно сверстники князя ***, владеют двумя языками; но эту роскошь нельзя считать настоящим богатством.

Все члены семейства *** наперебой приглашали меня посетить их дома, осмотреть городские достопримечательности.

Меня осыпали хитроумно иносказательными похвалами по поводу моих книг, пересказывая их с множеством подробностей, которые я сам уже успел позабыть. Непринужденно-деликатная манера, с какою приводились эти подробности, понравилась бы мне, если бы не так мне льстила. Мне хотелось бы быть принятым в этом изысканном кругу, пусть даже в нем чествовали бы кого-то другого. Немногочисленным иностранным книгам, которые, будучи допущены цензурою, попадают в эти отдаленные края, суждена здесь долгая жизнь. Должен сказать (не своей славы ради, но в похвалу нынешним временам), что в странствиях своих по Европе я бывал по-настоящему благодарен лишь за тот прием, который оказывали мне из-за моих сочинений; в чужих краях книги эти доставили мне немногих безвестных друзей, которые гостеприимством своим всякий раз немало поддерживали мою прирожденную страсть к путешествиям и к поэзии. Если столь много дает мне даже то малозначительное место, что занимаю я во французской литературе, то легко вообразить себе, какое влияние должны оказывать вдали от родины настоящие таланты, властители дум нашего общества. В этом апостольском призвании наших писателей и заключается истинное могущество Франции; но разве не влечет оно за собою и великую ответственность? По правде сказать, с этою должностью происходит то же, что и со всякою иной: стремясь ее добиться, забывают о том, сколь опасно ее отправлять. Что же до меня, то в жизни моей я сознавал и ощущал лишь одно стремление — посылно участвовать в руководстве умами, которое стоит настолько же выше политической власти, насколько электричество выше пороха.

* В фонтане твоих слез омоется душа (*фр.*).

Хозяева мои много говорили о «Жане Сбогаре»; узнав же, что я имею счастье быть лично знакомым с автором, меня засыпали вопросами о нем; жаль, что я не умел отвечать на них с тем совершенным даром рассказчика, каким обладает он сам!

Один из зятьев губернатора свозил меня в Преображенский монастырь, который служит резиденцией ярославскому архиепископу. Как и все православные монастыри, обитель эта представляет собою приземистую крепость, заключающую внутри себя несколько церквей и мелких зданий во всяком вкусе, кроме хорошего. Все вместе это нагромождение построек, якобы посвященных Богу, выглядит жалко — на большом зеленом лугу разбросано множество белых строений; единого целого они не составляют. То же самое замечал я и во всех русских монастырях.

Более всего при осмотре обители поразила меня необычайная набожность моего проводника, князя***, то, с каким рвением прикладывался он устами и челом ко всем выставленным для поклонения верующих святыням; а поскольку в монастыре имеется несколько разных святилищ, то проделывал он это раз двадцать. Казалось, его светский тон менее всего предвещал такую монашескую истовость. Напоследок он предложил и мне самому облобызать мощи святого, гробницу которого растворил нам один из монахов; на моих глазах он перекрестился... не единожды, но раз пятьдесят кряду, потом раз двадцать приложился к образам и реликвиям — одним словом, в наших обителях ни одна монахиня не стала бы так часто опускаться на колени, кланяться и падать ниц перед церковным алтарем, как это делал в Преображенском монастыре на глазах у иностранца русский князь, в прошлом военный и адъютант императора Александра.

В православных церквях стены покрыты фресками в византийском стиле. Иностранец сперва почтительно взирает на эти росписи, считая их древними, но стоит ему приметить, что такова и по сей день манера русских иконописцев, как благоговение сменяется глубокою скукой. Храмы, которые кажутся нам самыми старинными, на самом деле перестроены и заново расписаны не далее как вчера; образа в них, даже совсем недавнего происхождения, подобны тем, что были завезены в Италию в конце средних веков и возродили там живописный вкус. Но итальянцы с тех пор ушли вперед; воспламенные завоевательным духом римской церкви и питаюсь воспоминаниями о древности, они гением своим постигли и сделали своею целью великое и прекрасное; во всех родах искусства они дали высочайшие произведения, какие видывал свет. Меж тем византийские греки, а следом за ними и русские, продолжали точно копировать свои иконы VIII века.

Восточная церковь никогда не благоприятствовала искусствам. И после раскола, и до него она своими богословскими тонкостями лишь притупляла умы. Еще и поныне верующие люди в России

серьезнейшим образом спорят меж собой, можно ли писать лицо святой девы естественным телесным тоном или же следует и дальше, как на так называемых иконах святого Луки, красить его в совершенно противный правде темно-бурый цвет; заботит их и то, как изображать остальную часть ее фигуры: вряд ли тело ее следует писать красками, лучше уж запечатлеть его в металле и облечь в резную кирасу, из-под которой выглядывает одно лицо, или даже одни глаза да запястья. Попробуйте-ка объяснить, почему железная фигура кажется православным священникам благопристойнее, нежели холст, окрашенный в цвет женского платья.

И это еще не все: некоторые вероучители (их набирается целая секта) нарочно отмежевались от матери-церкви, из-за того что в ней ныне засели безбожные новозаконники, разрешающие попам давать святое благословение тремя перстами, тогда как истинный обряд требует, чтобы в излиянии на верующих небесной благодати участвовали только указательный и средний пальцы пастыря, которые освящаются при его рукоположении.

Вот какие вопросы волнуют сегодня греко-русскую церковь, и не думайте, будто их считают пустяками; от них распалются страсти, возникают ереси и зависит участь целых народов как на том, так и на этом свете. Если бы я лучше знал эту страну, то набрал бы для вас и много других документов. Но вернемся к моим гостеприимным хозяевам.

В провинции русская знать, на мой взгляд, любезнее, чем при дворе.

У жены ярославского губернатора как раз гостила вся родня — сестры с мужьями и детьми; к своему столу губернаторша пригласила главных чиновников, служащих под началом ее мужа и живущих в городе; наконец, сын ее (тот, что приезжал за мною в экипаже) еще в том возрасте, когда ему требуется воспитатель; итак, на семейный обед нас собралось за столом двадцать человек.

На Севере принято перед основною трапезой подавать какое-нибудь легкое кушанье — прямо в гостиной, за четверть часа до того как садиться за стол; это предварительное угощение — своего рода завтрак, переходящий в обед, — служит для возбуждения аппетита и называется по-русски, если только я не ослышался, «закуска». Слуги подают на подносах тарелочки со свежесою икрой, какую едят только в этой стране, с копченою рыбой, сыром, соленым мясом, сухариками и различным печением, сладким и несладким; подают также горькие настойки, вермут, французскую водку, лондонский портер, венгерское вино и данцигский бальзам; все это едят и пьют стоя, прохаживаясь по комнате. Иностранец, не знающий местных обычаев и обладающий не слишком сильным аппетитом, вполне может всем этим насытиться, после чего будет сидеть простым зрителем весь обед, который окажется для него совершенно излишним. В России едят много, и в хороших домах угощают вкусно;

правда, здесь слишком любят рубленое мясо, фарш, а также пирожки с мясом и рыбой по-немецки, по-итальянски или же на французский манер — горячие.

Стерлядь, одну из самых нежных на свете рыб, ловят в Волге, где она водится в изобилии; в ней есть нечто и от морской и от пресноводной рыбы, хотя она и не походит ни на одну из тех, что едал я в других краях; она крупная, с мягким легким мясом, кожа у нее восхитительна на вкус, а особенно лакомою считается остроносая, вся в хрящах голова; подают это чудо-юдо с изысканными, не слишком пряными приправами, под соусом, имеющим вкус одновременно вина, бульона и лимонного сока. Это национальное блюдо нравится мне более всех прочих местных кушаний; особенно отвратителен холодный кислый суп; это какой-то ледяной рыбный бульон — русские любят им потчевать. Готовят здесь и супы со сладким уксусом, которых я отведал, чтобы больше к ним не прикасаться.

Обед у губернатора был вкусен и хорошо сервирован, без излишеств, без ненужных изысков. К моему удивлению, подавались в изобилии вкусные арбузы; оказывается, их выращивают в окрестностях Москвы, а я-то думал, что их привозят издалека, чуть ли не из Крыма, где арбуз растет лучше, чем в средней России. В этой стране принято с самого начала обеда выставлять на стол десерт, а затем подавать блюдо за блюдом. У такой методы есть и свои достоинства и свои недостатки; по-моему, она вполне хороша лишь для парадных обедов.

Обедают в России не слишком долго, и, встав из-за стола, почти все гости расходятся. Одни имеют обыкновение после обеда отдыхать на восточный лад; другие идут гулять или, выпив кофе, возвращаются к делам. Обедом здесь трудовой день не завершается; поэтому, когда я прощался с хозяйкою дома, она любезно пригласила меня вечером зайти вновь; я согласился — отказываться было бы явно неучтиво; все приглашения здесь делаются столь изящным тоном, что даже при всей усталости и желании уединиться, чтоб написать вам письмо, я не в силах отстаивать свою свободу; подобное гостеприимство — род мягкой тирании, и я чувствую, что было бы невежливо совсем его не принимать; мне предоставляют экипаж с четверкою лошадей, в моем распоряжении целый дом, все семейство старается меня развлечь, показать здешние места; всяк спешит меня чем-нибудь потчевать; и все это происходит без натушной лести, без пустых уверений, без назойливого усердия, с совершенною простотою; противиться столь приятному обхождению, пренебрегать столь изящными манерами я не приучен; невозможно не уступить хотя бы из патриотического чувства, ведь в основе этой обходительности — трогательная и подкупающая память о старой Франции; я словно захал на самый край цивилизованного света лишь затем, чтоб обрести здесь часть наследства, завещанного нам

Францией XVIII века, — тот дух ее, который мы сами давно утратили. Это невыразимое очарование хороших манер и безыскусного языка приводит мне на память парадокс, принадлежащий одному из умнейших людей, которых я знал: «Нет такого дурного поступка или дурного чувства, — говорил он, — которые не коренились бы в недостатке благовоспитанности; а потому подлинная учтивость — это и есть добродетель, в ней все добродетели сходятся воедино». Более того, он утверждал, что нет на свете и иного порока, кроме неотесанности.

Вечером, в девять часов, я вновь приехал к губернатору. Сначала мы слушали музыку, потом была устроена лотерея.

Один из братьев хозяйки дома с большою приятностью играет на виолончели; на фортепьяно ему аккомпанировала жена, чрезвычайно милая особа. Благодаря этому дуэту, а также отличавшемуся хорошим вкусом пению народных песен, вечер пролетел для меня быстро.

Скоротать его мне немало помогла и беседа с г-жой де ***, дружившей некогда с моею бабушкой и с г-жой де Полиньяк. Эта дама уже сорок семь лет живет в России; она много здесь повидала и судит о русских тонко и справедливо, рассказывая правду без предвзятости, но и без обиняков; для меня такая прямота оказалась внове; она резко отлична от скрытности, соблюдаемой большинством русских. Умная француженка, прожившая среди них всю жизнь, надо думать, знает их лучше, чем они знают себя сами, — ибо они для пущего обмана сами себя морочат. Г-жа де *** несколько раз говорила, что в стране этой чувство чести живет в одних лишь женских сердцах; женщины здесь свято блюдут верность слову, презирают ложь, хранят щепетильность в денежных делах и независимость в делах политики; наконец, большинству из них, по словам г-жи де ***, присуще качество, какого недостает здесь большинству мужчин, — порядочность во всех жизненных положениях, даже в самых маловажных. Вообще женщины в России мыслят больше мужчин, поскольку живут в бездействии. Всюду в этой стране развитию характера и ума способствует досуг — неотъемлемое преимущество женского образа жизни; женщины более образованы, менее раболепны, более энергичны и отзывчивы, чем мужчины. Подчас даже и героизм дается им непринужденно и легко. Княгиня Трубецкая — не единственная жена, поехавшая вслед за мужем в Сибирь; многие ссыльные получили от супруг своих это высшее доказательство преданности, которое ничуть не теряет в цене оттого, что встречается чаще, чем я полагал; к сожалению, имена их мне неизвестны. Где сыскать для них летописца и поэта? именно ради таких никем не знаемых добродетелей следует верить в Страшный суд. От прославления праведников еще на земле терпела бы ущерб Божья справедливость. Добродетель на то и добродетель, что воздание ей — не от людей. Знай она, что ее непре-

менно оценят и вознаградят на земле, она потеряла бы в совершенстве: не достигая сверхъестественных высот, добродетель была бы неполна. Не будь зла, откуда бы взялись святые? для победы нужна борьба, а победителя принужден увенчать сам Бог. Великолепное сие зрелище оправдывает собою божественный промысел, который, дабы явить его зорким очам небес, попускает мирским заблуждениям. Да впрочем... так должно быть хотя бы уже потому, что так есть.

К концу вечера, прежде чем мне позволили удалиться, состоялось торжество, к которому полгода готовилось все семейство и которое в мою честь было устроено на несколько дней раньше задуманного, — розыгрыш благотворительной лотереи; все выигрыши, состоявшие из вещей, собственноручно изготовленных хозяйкою дома и ее родными и друзьями, были красиво разложены на столах; тот, что выпал мне, — не могу сказать «по воле случая», так как билеты мои были тщательно подобраны, — представлял собою прелестную записную книжку в лаковой обложке. Я тут же записал в ней число и год и прибавил в качестве заметок несколько памятных слов. Во времена отцов наших в подобном случае следовало бы сочинить импровизированные стихи; но ныне, когда все вокруг заполонила импровизация публичная, мода на салонные экспромты миновала. В свете теперь ищут лишь отдохновения для ума; результаты налицо. Ученые речи, сиюминутные писания, политика не оставили места ни для эпиграмм, ни для песен, ни даже для личных писем, которые теперь принимают форму газет, фельетона. Мне недоставало выдумки, чтоб написать хоть один куплет; но справедливости ради должен прибавить, что мне этого и не хотелось.

Простившись с моими любезными хозяевами, которых я еще раз должен повидать на Нижегородской ярмарке, возвратился я в трактир, весьма довольный своим вышеописанным днем. Крестьянская изба, где нашел я пристанище (вам известно, какое) позавчера, — и сегодняшний салон; Камчатка и Версаль в трех часах езды друг от друга — такова Россия. Я жертвую сном, чтоб описать вам эту страну, какую ее вижу. Письмо еще не кончено, а уже светает.

Различия между людьми в этой стране столь резки, что кажется, будто крестьянин и помещик не выросли на одной и той же земле. У крепостного свое отечество, у барина — свое. Государство здесь внутренне расколото, и единство его лишь внешнее; знать по образованности своей словно предназначена жить в иных краях; а крестьянин невежествен и дик, будто покорствуется таким же господам, как он сам.

Изъян русского образа правления видится мне не в чрезмерном аристократизме, а скорее в отсутствии признанной аристократии, права которой точно определялись бы конституциею. Мне всегда представлялось, что политически узаконенная аристократия — благотворна, тогда как аристократия, зиждущаяся на одних лишь химерах да несправедливых привилегиях, — вредоносна, поскольку

права ее неопределенны и дурно упорядочены. Действительно, русские помещики — полновластные, даже слишком полновластные господа у себя в имениях; отсюда проистекают произвол и насилие, боязливо и лицемерно прикрываемые человеколюбивыми фразами, чей слащавый тон обманывает путешественников, а нередко и самих правителей страны. Но, по правде сказать, хотя эти люди и всевластны в своих поместьях, далеких от средоточия политических дел, в государстве они никто; у себя дома они творят всяческие бесчинства и ни в грош не ставят императора, подкупая или же запугивая исполняющих его волю второстепенных чиновников; однако же странною правят вовсе не они; всемогущие в мелких злодействах, творимых тайно от верховной власти, они бессильны и безвластны в общем руководстве государством. В России даже носитель самой громкой фамилии не представляет собою ничего, кроме себя самого, не пользуется никаким почетом помимо своих личных заслуг, о которых судит исключительно император, и, каким бы знатным вельможей он ни был, власть он имеет лишь ту, что сам себе незаконно присвоит в своих поместьях. Зато он обладает влиянием, и оно может стать огромным, если он умеет им ловко пользоваться, продвигаясь в чинах при дворе и благодаря двору*; угодничество — промысел не хуже других. Но любой промысел, а этот в особенности, доставляет лишь шаткое благополучие; в жизни царедворца нет места высоким чувствам, духовной независимости, истинно человеколюбивым и патриотическим воззрениям и великим политическим замыслам — они всецело принадлежат такому аристократическому классу, который законно утверждён в рамках государства, призванного простираť вширь свое господство и обеспечивать себе долгую жизнь. С другой стороны, нет места в ней и справедливой гордости человека, составившего себе богатство собственным трудом; итак, в ней соединяются недостатки демократии и деспотизма и отсутствует все, что есть доброго в этих двух общественных устройствах.

Здесь имеется особый класс людей, соответствующий нашей буржуазии, но не имеющий ее твердого характера — следствия независимости, и ее опытности — следствия свободы мысли и образованности ума; это класс низших чиновников, как бы второе дворянство. По взглядам своим эти люди большею частью сторонники нововведений, тогда как по поступкам они самые жестокие деспоты в этом деспотическом государстве; выходяцы из народных училищ, вступившие в статскую службу, они правят империей вопреки императору. Каждый из этих людей — чаще всего сын иностранца — получает дворянство вместе с крестом в петлицу, причем награды может присваивать не только император; обрета сей магический знак, они делаются землевладельцами, получают

* Смотри письмо девятнадцатое.

в собственность имения и крестьян; и новоиспеченные эти помещики, добившись власти, но не унаследовав от отцов привычку распоряжаться, а с нею и хозяйское великодушие, — употребляют власть как истые выскочки. Они притязают просвещать народ, а сами тем временем лишь смешат старых и малых; их чудачества стали притчей во языцех; все, кто имеет дело с этими полудворянами, которых должность и положение возвели в чин, доставляющий земельную собственность, платят им за спесивое обращение злыми остротами. Свои феодальные права люди эти осуществляют с такою суровостью, что вызывают к себе ненависть злосчастных крестьян. Диковинное дело! в здешнем обществе деспотическое правление оказывается нестерпимо благодаря либеральному, подвижному началу, внесенному в его устройство! «Будь у нас одни старые помещики, нам бы не на что было жаловаться», — говорят крестьяне. Эти новые люди, столь ненавистные своим немногочисленным крепостным, властвуют и над самою верховною властью, ибо во множестве случаев они навязывают императору свою волю; именно они подготавливают в России революцию сразу двумя путями — прямым, через свои воззрения, и косвенным, через ту ненависть и презрение, что возбуждают они в народе к аристократии (ведь до нее могут возвыситься подобные люди!) и к крепостному праву, окончательно утвердившемуся в России в то самое время, когда в старой Европе феодальный строй уже начал разрушаться. Что за сочетание двух зол — здесь командуют подчиненные, здесь под самодержавною тиранией кроется тирания республиканская!..

Таких-то врагов добровольно сотворили себе российские императоры, не доверяя старинной знати; а ведь аристократия признанная, исстари укорененная в стране, чьи нравы и обычаи смягчились благодаря общественному прогрессу, — разве не была бы она лучшим орудием просвещения, чем лицемерно-послушная и всеразлагающая армия приказчиков, в большинстве своем иностранцев по происхождению, в глубине души сплошь более или менее проникнутых революционными идеями и в тайных своих мыслях столь же дерзких, сколь подобострастны они в словах и повадках?

Из своих канцелярий эти незаметные тираны, эти деспотичные пигмеи безнаказанно угнетают страну, даже императора, стесняя его в действиях; тот хоть и понимает, что не столь всемогущ, как о нем говорят, но, к удивлению своему (которое желал бы сам от себя скрыть), порой не вполне знает, насколько ограничена его власть. Болезненно ощущая этот предел, он даже не осмеливается сетовать, а ставит ему этот предел бюрократия, страшная всюду, ибо злоупотребление ею именуют любовью к порядку, но в России более страшная, чем где-либо. Видя, как тирания чиновников подменяет собою деспотизм императора, содрогаешься от страха за эту страну, где, ничем не уравновешенная, утвердилась та система правления, что распространилась в Европе при Французской империи.

В России отсутствовали и демократические нравы — плод социальных и юридических перемен, свершившихся во Франции, — и пресса, плод и вместе зачаток политической свободы, которую она поддерживает, сама же ею порожденная. Российские императоры, равно заблуждаясь и в доверии своем и в недоверчивости, видели в знати лишь соперников себе, а в тех, кого ставили своими министрами, желали иметь лишь рабов; итак, в двояком своем ослеплении, они безбоязненно предоставили высшим чиновникам и их подчиненным полную свободу опутывать сетями беззащитную страну. Отсюда возник рой мелких служаек, которые норовят править страной согласно чуждым ей понятиям, не способным удовлетворить ее действительные нужды. Этот чиновничий класс, в глубине души враждебный тому строю, которому он служит, пополняется по большей части поповичами *, пошлыми честолюбцами, бездарными выскочками — ведь, чтоб заставить государство заняться собою, им не требуется заслуг; они сближаются с людьми всякого звания, но своего звания не имеют; в душе разделяют все предрассудки простонародья и все предубеждения знати, не обладая ни энергией первых, ни мудростью вторых; словом, сыновья священников в России — это революционеры, по должности своей обязанные поддерживать существующий строй.

Как вам понятно, такие чиновники становятся бедствием для страны.

Полуобразованные, соединяющие либерализм честолюбцев с деспотичностью рабов, напичканные дурно согласованными между собою философскими идеями, совершенно неприменимыми в стране, которую называют они своим отечеством (все свои чувства и свою полупросвещенность они взяли на стороне), — люди эти подталкивают Россию к цели, которой они, быть может, и сами не ведают, которая неизвестна императору и к которой вовсе не должны стремиться истинные русские, истинные друзья человечества.

Говорят, что их многолетний заговор восходит ко временам Наполеона. Этот политик предчувствовал, сколь опасным может быть могущество России; и вот, желая ослабить противника мятежной Европы, он сперва прибегнул к силе идей. Воспользовавшись дружескими отношениями с императором Александром и природною расположенностью сего государя к либеральным установлениям, он заслал в Петербург, якобы для помощи в осуществлении замыслов императора, множество политических агентов — целую переодетую армию, призванную тайно проложить путь нашим солдатам. Эти ловкие проныры должны были проникнуть в правительство и, прежде всего овладев народным образованием, внушать молодежи учения, противные политическим верованиям страны. Так великий наш полководец, наследник Французской революции

* Сыновьями православных священников.

и враг свободы на всем свете, издавек забрасывал сюда семена смуты, видя в единстве деспотического строя грозную опору военного правления, образующего мощь Российской державы. С тех пор и начали создаваться тайные общества, которые после походов во Францию и участвовавших сношений русских с Европою настолько широко охватили Россию, что их незримую власть многие рассматривают как причину неотвратимой революции.

Ныне Российская империя пожинает плоды неторопливой и глубоко продуманной политики своего противника — казалось бы, он повержен, но его макиавеллическая хитрость не исчезла и по его смерти, пережив неслыханные в истории войны поражения.

Революционные идеи, вызревающие во многих семействах и даже в полках русской армии, в немалой мере объясняются именно невидимым влиянием этих разведчиков нашей армии, а также их детей и учеников; прорываясь наружу, такие идеи порождали мятежи, которые до сих пор, как мы видели, разбивались, сталкиваясь с силою правительства. Быть может, я и ошибаюсь, но мне думается, что нынешний император сумеет одолеть эти идеи, покарав или же выслав всех до последнего людей, которые их отстаивали.

Отнюдь не ожидал я встретить в России такие последствия нашей политики и услышать от русских упреки, сходные с теми, что вот уже тридцать пять лет обращают к нам испанцы. Если те лукавые умыслы, что приписывают русские Наполеону, действительно существовали, то их нельзя оправдать никаким политическим интересом, никаким патриотизмом. Нельзя спасти одну страну, обманывая другую. Насколько восхищает меня наша религиозная пропаганда — ибо господство католической церкви согласуется с любовью формой правления и любовью степенью просвещенности, возвышаясь над ними так же недостижимо, как душа над телом, — настолько же ненавистно мне миссионерство политическое, то есть узколюбное завоевательство, а точнее сказать, дух захватов, ловко извиняемый софистикою славы; узкокорыстное притязание это, вместо того чтоб объединить род людской, разделяет его; единство может родиться лишь от возвышенности и широты идей; меж тем внешняя политика всегда мелочна, свободолюбие ее лицемерно или же тиранично; благодеяния ее всегда обманчивы — ведь всякий народ в себе самом должен черпать средства для потребного ему совершенствования. Знание истории других стран полезно теоретически, но вредно, когда оно ведет к принятию чужих политических учений; таким образом истинную веру подменяют суеверием.

Повторю вкратце: задача, которая не людьми, но событиями, чередою обстоятельств, самым порядком вещей ставится перед любым российским императором, — способствовать развитию просвещения в своем народе, дабы ускорить освобождение крепостных, причем добиваться этой цели смягчением нравов, любовью к человечеству, к свободе и законности, одним словом, ради смягчения судеб

людей исправлять их сердца — таково неперемное условие, без которого ныне никто не может царствовать, даже в Москве; особенная же обязанность, лежащая на российских императорах, заключается в том, что к этой цели им должно идти, не поддаваясь, с одной стороны, молчаливой и хорошо налаженной тирании революционного чиновничества, а с другой — высокомерию и злоумышлениям знати, которая тем недоверчивей и опасней, чем неопределеннее границы ее власти.

Следует признать, что ни один самодержец еще не справлялся с такою тяжкою задачей столь твердо, вдохновенно и счастливо, как император Николай.

Первым из российских правителей нового времени он наконец понял: чтобы принести благо русским, нужно самому быть русским. История, вероятно, скажет о нем: то был великий государь.

Спать уже некогда, лошади мои запряжены в коляску, и я выезжаю в Нижний.

ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ВТОРОЕ

Вид волжских берегов. — Как русские ездят на повозках по крутым дорогам. — Сильная тряска. — Почтовая станция. — Русский переносной замок. — Кострома. — Память об Алексее Романове. — Паром через Волгу в Кинешме. — Добродетель, переходящая в порок. — Вынужденная остановка в лесу. — Цивилизация повредила русским. — Подтверждение идей Руссо. — Отличительные черты характера и облика русских. — Происхождение слова «сиромед». — Выражение Тацита. — Тонкая натура крестьян. — Их промыслы. — Мужичий топор. — Тарантас. — Простодушие русского крестьянина. — Его отличие во взглядах от крестьян других стран. — Характер народных песен. — Музыка-обличительница. — Неосмотрительность правительства. — Чем заменить сломанное колесо. — Сибирский тракт. — Русские крестьяне. — Берега Волги. — Встреча с тремя ссыльными. — Шпионство моего фельдшера. — Последние станции перед Нижним. — Трудная дорога.

Юрьевец-Повольский, городок между Ярославлем и Нижним Новгородом, 21 августа 1839 года

Дорога наша идет вдоль Волги. Вчера я пересек реку в Ярославле, а сегодня — еще раз в Кинешме. Берега ее во многих местах несхожи друг с другом; с одной стороны тянется необъятная равнина, подходящая вровень к воде; с другой — крутой обрыв. Этот природный вал имеет порой сто — сто пятьдесят футов высоты; сплошную стеной он возвышается над рекою, а с другой стороны переходит в поросшее кустарником плоскогорье, пологим склоном уходящее вдаль. Кое-где эту твердыню, ошестиненную ветвями ив и берез, пробивают притоки великой реки; прорываясь сквозь береговой откос, чтоб влиться в Волгу, они образуют в нем весьма глубокие теснины. Сам же береговой вал, как уже сказано, настолько широк, что напоминает настоящее горное плато, лесистую возвышенность, тогда как расселины, прорытые в нем водами притоков, — настоящие долины, примыкающие к главному руслу Волги. Когда едешь вдоль берега реки, эти пропасти невозможно объехать стороною: пришлось бы каждый раз делать крюк в целое лье, если не более; оттого оказалось легче проложить дорогу так, что она

спускается с кручи до дна поперечных расселин; пересекши текущую там речку, она вновь поднимается по противоположному склону, продолжающему собою вал, что воздвигнут природою вдоль главной русской реки.

Русские ямщики, или, точнее сказать, возчики, на равнине весьма искусные, становятся крайне опасны на крутизне. Дорога, которою мы едем вдоль Волги, подвергает испытанию и их осторожность, и мое хладнокровие. Лошадьми в этой стране правят так, что непрерывные подъемы и спуски, будь они длиннее, грозили бы бедою. В начале склона возница пускает коней шагом; когда позади остается треть высоты (обычно это самое крутое место) и ямщику и мало привычным к узде коням надоедает осторожность, коляска разгоняется во весь опор и несется все быстрее до самой середины моста из толстых брусьев — непрочных, дурно пригнанных, неровных и шатких, поскольку они не закреплены, а просто уложены на опоры и накрыты жердями, которые еле-еле огораживают по бокам все это содрогающееся сооружение; а уж дальше повозка, если только кузов, колеса, рессоры и пасы в ней еще держатся вместе (до людей дела никому нет), катится, сотрясаясь, помедленнее. Подобный мост имеется на дне каждой расселины; если б кони, пущенные галопом, не проскочили его строго по прямой, то экипаж опрокинулся бы, и неизвестно, что случилось бы с животными и людьми; это настоящий цирковой номер, от исполнения которого зависит жизнь путников. Стоит лошади споткнуться, стоит где-то выпасть гвоздю или лопнуть постромке — и все пропало. Жизнь ваша держится на ногах четырех храбрых, но слабосильных и усталых коней.

При третьем повторении этой азартной игры я потребовал тормозить, но оказалось, что коляска моя, нанятая в Москве, не имеет тормозного башмака; при отъезде меня заверяли, что в России в нем никогда не бывает надобности. Взамен тормоза пришлось выпрячь одну из четырех лошадей и, пустив ее на волю, держать за постромки. К великому изумлению ямщиков, я заставлял их повторять эту операцию всякий раз, когда склоны по высоте и крутизне своей казались опасными для коляски; в непрочности же ее я уже довольно убедился. Как ямщики ни удивлялись, они ни разу не перечили странному моему прихотям и никак не противились приказам, которые я передавал им через фельдъегеря; но мысли их читались у них на лицах. Благодаря присутствию правительственного чиновника мне всюду оказывают почтение, в моем лице уважают волю того, кто дал мне такого заступника. Подобный знак благосклонности властей делает меня предметом народного почтения. Ни одному столь малоопытному, как я, иностранцу я бы не посоветовал пускаться в путь по российским дорогам без такого проводника, особенно если он хочет добраться до мало-мальски удаленных от столицы губерний.

Спустившись до дна расселины, нужно затем вновь вскарабкаться

ся на кручу с противоположной стороны; возница, который любой косогор одолевает только с лету, поправляет упряжь и снова пускает свою четверку вперед во весь опор. Русские кони умеют скакать не иначе как галопом; и если подъем не затяжной, крутизна коротка, а повозка легка, то вы взъезжаете наверх единым порывом; но если, как часто случается, склон песчаный или же длиннее, чем лошади могут осилить не переводя духа, то они скоро встают, задыхаясь и поводя боками, на его середине; под ударами кнута они упрямятся, брыкаются и непременно пятятся назад, грозя опрокинуть экипаж в канаву; зато при каждой такой задержке я насмешливо вспоминаю похвальбу русских: в России-де не существует расстояний!

Такая манера ехать рывками всегда отвечает характеру здешних людей, близка по нраву лошадям и почти всегда согласна с особенностями рельефа. И все же если вдруг случится вам ехать по сильно неровной местности, то вы на каждом шагу будете застревать из-за горячности коней и неопытности ямщиков. Последние ловки и расторопны, но смышленность не возмещает им недостатка знаний; рожденные для равнин, они не умеют толком приучить коней к езде по горам. При малейшей неуверенности все седоки слезают на землю, слуги толкают колеса экипажа, через каждые три шага приходится делать остановку, чтоб дать упряжке отдышаться; повозку при этом удерживают на месте, подкладывая сзади толстый чурбан; потом, чтоб двинуться дальше, коней нахлестывают вожжами, подгоняют возгласами, похлопывают по бокам, тянут за морду, натирают им ноздри уксусом, чтоб легче дышалось; наконец, с помощью всех этих средств, а также диких криков и ударов кнута, раздаваемых обычно на удивление точно, вы кое-как добираетесь до вершины грозного утеса, куда в другой стране поднялись бы, даже сами не заметив.

Дорога из Ярославля в Нижний — одна из самых овражистых дорог во всех внутренних губерниях России; однако даже в тех местах, где возвышенный берег Волги глубже всего прорезан ее притоками, эта природная стена от уровня воды до гребня вряд ли превышает пяти-шестиэтажный парижский дом. Береговая гряда, сквозь которую пробиваются к реке притоки, выглядит внушительно, но уныло: этот кряж мог бы служить основой для великолепной дороги, но раз огнать овраги невозможно, то она должна была бы либо преодолевать их по арочным мостам (которые обошлись бы так же дорого, как сводчатые акведуки), либо спускаться на дно каждой такой узкой расселины; а поскольку спуски не устроены пологими, то порой они небезопасны из-за крутизны уклона.

Русские расписывали мне радостный и разнообразный вид местности, который открывается, когда едешь вдоль берега Волги; на самом деле это все тот же самый ландшафт, что в окрестностях Ярославля, да и погода все та же.

Если и есть нечто непредвиденное в поездках по России, то, конечно же, не облик местности; чего ни вы ни я не могли бы предположить заранее, так это одна опасность — сейчас скажу какая: разбить себе голову о кузов собственной коляски. Не смейтесь — это в самом деле грозная беда; мосты, а часто и сама дорога, вымощены здесь бревнами, от которых экипаж так трясет, что неопытный ездок может вылететь из него вон, если коляска открытая, или же разможить себе череп, если в ней поднят кузов. В России, стало быть, лучше пользоваться такими экипажами, у которых верх поднимается как можно выше. Толчки столь сильны, что в сундуке под моим сиденьем только что разбилась бутылка сельтерской воды, хоть и была тщательно обложена сеном (да и сами эти бутылки, как вам известно, прочные).

Вчера я ночевал на почтовой станции, где испытывал недостаток решительно во всем; коляска такая жесткая, а дороги такие тряские, что почти невозможно проехать более двадцати четырех часов кряду, не заработав сильной головной боли; и тогда, предпочитая скверное пристанище воспалению мозга, я делаю остановку где придется. Труднее всего на этих стоянках, да и вообще в России, раздобыть чистое белье. Как вам известно, я вожу с собою кровать, но много белья захватить не смог, а полотенца, которые дают на почтовых станциях, всегда несвежие; не знаю, кто имел честь их запачкать. Вчера в одиннадцатом часу вечера станционный смотритель послал для меня за чистым бельем в село, расположенное более чем за лье от его дома. Я бы воспротивился такому чрезмерному рвению фельдъегеря, да сам узнал о нем лишь наутро. В окошко своей конуры, сквозь сумерки, которые называются в России ночью, я мог в свое удовольствие созерцать непрменный римский портик с беленым известкою фронтоном и лепными колоннами, что украшают со стороны конюшни фасады русских почтовых станций. Неуклюжая эта архитектура — неотвязный кошмар, преследующий меня по всей империи. Классическая колонна сделалась в России знаком любого казенного здания.

Непрменная предосторожность при поездках в России — иметь при себе одну вещь (вам ни за что не догадаться какую): русский замок о двух кольцах, устройство простое и одновременно хитрое. Вы приезжаете в трактир, полный людей разного пошиба; вам уже известно, что русские крестьяне воруют — если не на большой дороге, как дома; свою поклажу вы оставляете у себя в комнате, а сами намереваетесь прогуляться. Однако ж перед уходом желаете вы, и не без причины, запереть дверь и забрать с собою ключ — но ключа нет! нет даже и замка! разве что щеколда, гвоздь с веревочкой, то есть все равно что ничего; какой-то пещерный золотой век... Один из ваших людей стережет коляску; и вот, дабы не ставить второго охранять комнату — что и не очень надежно, ибо, усевшись, караульный засыпает, и не очень человечно, — вы можете восполь-

зваться следующим средством: в дверной наличник ввинчивается железное кольцо, второе такое же кольцо — в дверь, как можно ближе к первому; а затем в эти два кольца, служащие скобами, продевается дужка навесного замка, который также снабжен винтом; винт, которым замок открывается и закрывается, служит ему ключом; вы берете его с собою, и дверь ваша надежно заперта; ибо кольца, ввинченные в дверь, можно вывинтить обратно лишь поодиночке, а это невозможно, пока они скованы вместе замком. Запор действует довольно быстро и весьма удобно; ночуя в подозрительном доме, можно мгновенно обезопасить себя с помощью этого хитроумного изобретения — достойного страны, которая кишмя кишит крайне пронырливыми и наглыми ворами! Преступлений здесь совершается так много, что правосудие не решается быть строгим к преступникам, да и вообще все здесь делается не по правилу, а по прихоти! такой капризный государственный строй, к сожалению, весьма согласен со своенравными представлениями народа, равнодушного и к истине, и к справедливости.

Вчера утром я посетил монастырь в Костроме, где мне показали покои Алексея Романова и его матери; из этого пристанища отправился он, чтобы воссесть на престол и основать правящую поныне династию. Монастырь походил на все прочие; по зданию меня водил молодой монах, который явно не изнурял себя постами и издали пахнул крепким вином; такие упитанные молодые иноки нравятся мне менее, чем седобородые старцы монахи или же безволосые попы. Сокровища монастыря также походят на виденные мною в других местах. Знаете, что такое Россия, в двух словах? Россия — это страна, где повсюду видишь одно и то же, встречаешь одних и тех же людей. Это настолько верно, что по приезде куда-либо всегда чудится, будто перед тобою те же предметы и лица, с которыми расстался в другом месте.

В Кинешме вновь переправились мы через Волгу на ненадежном пароме — суденышко это так мало выступает из воды, что от любого пустяка может перевернуться. Печально было глядеть на этот городок под серым небом; погода стояла сырая и холодная, лил дождь, из-за чего все жители сидели по домам; дул резкий ветер; если б волнение на реке усилилось, переправляться стало бы совсем опасно. Мне вспомнилось, как в Петербурге, если человек упадет в Неву, никто и не думает его вытаскивать; и я говорил себе: «Коли я стану тонуть в Волге у Кинешмы, ни один человек не бросится в воду ко мне на помощь... ни один возглас сочувствия не раздастся на этих берегах, которые густо заселены, но кажутся безлюдными — столько уныния и молчаливости в этих городах и небесах, в этой земле и в ее обитателях». У русских такой тоскливый вид, что кажется, будто они безразличны не только к чужой жизни, но и к своей собственной.

Одно лишь чувство собственного достоинства, одна лишь

свобода заставляет человека дорожить собою, своим отечеством, вообще чем бы то ни было; здесь же люди живут в такой нужде, что, мнится, всякий втайне питает желание куда-нибудь переселиться — и не может этого сделать. У знати нет паспортов, у крестьян — денег, и человек живет как есть, с терпеливостью отчаяния, равнодушный и к жизни своей и к смерти. Смирение, которое во всех прочих краях является добродетелью, в России становится пороком, ибо поддерживает порядок вещей жестокий и косный.

Я говорю не о политической вольности, но о личной независимости, о незатрудненности передвижения, да хоть бы даже о беспрепятственном излипании своих естественных чувств; все это недоступно в России никому, исключая верховного властелина. Рабы даже бранятся друг с другом вполголоса; право гневаться составляет здесь одну из привилегий власти. Чем больше я убеждаюсь, что люди при таком строе хранят наружное спокойствие, тем больше мне их жаль; безгласность или кнут — таков здесь человеческий удел! Для знати же вместо кнута — Сибирь!! да и сама Сибирь — та же Россия, только еще страшнее.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПИСЬМА

В лесу, вечером того же дня

Вот мы и застряли на песчаной, мощенной бревнами дороге; песок так глубок, что даже самые толстые бревна в нем тонут. Мы завязли посреди леса, в нескольких лье от всякого жилья. В коляске, хоть она и русская, случилась поломка, не выпускающая нас из этой глуши, и вот камердинер мой, с помощью какого-то посланного нам Богом крестьянина, исправляет повреждение — я же, подавленный тем, как мало от меня пользы в таких обстоятельствах, чувствуя, что буду лишь мешать работе, если вздумаю ей помочь, начинаю писать вам письмо, дабы доказать, как бесполезна образованность, когда человек, лишившись всех благ цивилизации, принужден один на один, располагая лишь собственными силами, бороться с дикою природой, которая по-прежнему сильна первозданною силой, полученною от творца. Вы это знаете лучше моего, но вы этого не чувствуете так, как чувствую ныне я.

Русские крестьянки редко бывают привлекательны — я это твержу каждый день; но у тех, что красивы, красота безупречная. Их миндалевидные, необыкновенно выразительные глаза имеют разрез чистый и четкий, а замутненною голубизной зрачков нередко напоминают описание сарматов у Тацита, который говорит, что глаза у них *цвета морской воды*; этот оттенок, заволакивая взор, придает ему неотразимо чарующую нежность и невинность. В них есть вместе и тонкость воздушных красавиц Севера, и сладострастие женщин Востока. Добросердечным своим видом эти чудные создания вызывают странное смешанное чувство почтения и доверия. Заехав в глубину России, понимаешь, сколь много достоинств у пер-

выбитного человека и сколь много он потерял из-за утонченностей общественной жизни. Я уже говорил, повторяю вновь и готов повторять впредь в споре с любым философом: в патриархальной этой стране человека портит цивилизация. Славянин от природы смышлен, музыкален, едва ли не сострадателен к людям; просвещение сделало русского двуличным, деспотичным, подражательным и тщеславным. Чтоб привести здесь национальные нравы в согласие с новейшими европейскими идеями, потребуются века полтора, да и то при условии, что все это долгое время русскими будут править одни лишь просвещенные государи — как теперь говорят, поборники прогресса. В ожидании же сих блаженных перемен резкая несходность классов делает общественную жизнь в России жестокою и безнравственною; кажется, будто именно эта страна навеяла Руссо первый очерк его системы, — ибо нет даже нужды в чудном его красноречии, чтобы доказать, что искусства и науки принесли русским больше зла, чем добра. Будущее покажет свету, сумеет ли этот народ возместить себе воинскою и политическою славой то счастье, которого лишают его общественное устройство и непрестанное подражание чужеземцам.

Чистокровных представителей славянской расы отличает природное изящество. В характере их пленительно смешаны простодушие, мягкость и чувствительность; порой прибавляется к тому еще и изрядная доля иронии и толика притворства, но в здоровых натурах подобные изъяны делаются обаятельны — от них остается лишь неподражаемо хитроватое выражение лица; чувствуешь себя во власти неведомых чар — нежной, без горечи, печали и кроткого страдания, почти всегда порожденного тайным недугом, который человек, чтоб надежней спрятать от чужих глаз, скрывает от себя самого. Короче говоря, русские — народ смиренный... простым этим словом сказано все. Человек, лишенный свободы — здесь она означает его природные права, его истинные потребности, — даже будь у него все прочие блага, похож на растение, которому не хватает воздуха; сколько ни поливай водою его корни, на стебле все равно появятся разве несколько чахлах листков без цветов.

У настоящих русских есть нечто особенное в умонастроении, в выражении лица и в манерах. Походка у них легкая, и все движения выказывают незаурядность натуры. Глаза у них глубоко посаженные, прорисованные в форме удлиненного овала; во взгляде почти у всех есть отличительная черта, придающая лицу выражение лукавой чувствительности. Греки на своем поэтическом языке называли обитателей здешних краев «сиромедами», что значит «ящереглазые»; отсюда произошло латинское слово «сарматы». Итак, эта отличительная черта во взгляде поражала всех внимательных наблюдателей. Лоб у русских не очень высок и не очень широк; но форма его чиста и изящна; в характере у них есть одновременно и осторожность и наивность, и плутовство и ласковость; и все

эти противоположности пленительно соединяются; затаенная чувствительность русских скорее доверительна, чем общительна, она открывается лишь при душевной близости; ибо любовь к себе они внушают произвольно, несознательно, без слов. В отличие от большинства северян, они не грубы и не вялы. Поэтичные, как сама природа, они наделены воображением, которое сказывается во всех их привязанностях; любовь для них сродни суеверию и переживается скорее тонко, чем ярко; всегда утонченные даже в страстях своих, они, можно сказать, умны чувством. Все эти неуловимые оттенки и выражаются в их взгляде, столь верно определенном греками.

Действительно, древние греки обладали редкостным даром схватывать достоинства людей и вещей и давать им живописные имена; благодаря этому язык их неслыханно богат, а поэзия — божественно прекрасна.

С моим очерком характера русских крестьян хорошо согласуется их пристрастие к чаю, выказывающее тонкость натуры. Чай — напиток изысканный. В России же это питье сделалось первою необходимостью. Желая вежливо попросить немного денег, простолоудин здесь говорит «на чай», подобно тому как в других странах говорят «на стаканчик вина».

Такой инстинктивный хороший вкус не зависит от образования; он не исключает ни варварства, ни жестокости, но исключает даже намек на пошлость.

То, что вижу я сейчас перед собою, подтверждает истинность не раз мною слышанного суждения о чрезвычайной ловкости и смысленности русских.

Русский крестьянин правилом себе полагает не считаться ни с какими препонами — только не в желаниях своих, бедный слепец! — но в выполнении господской воли. Вооружившись топором, который всюду носит с собой, он превращается в настоящего волшебника и сотворяет в мгновение ока любую вещь, какой не найти в глуши. Он сумеет доставить вам среди пустыни все блага цивилизации; он исправит вашу коляску; он найдет замену даже сломанному колесу, вместо него ловко пропустив под кузовом жердь, так чтобы один конец был привязан к поперечине, а другой волочился по земле; если же, несмотря на эти ухищрения, телега ваша не сможет ехать, то он мгновенно построит вам вместо нее другую, с чрезвычайною ловкостью употребляя обломки старой для сооружения новой. В Москве мне советовали ездить в тарантасе, и лучше бы мне последовать этому совету, ибо в таком экипаже никогда нет опасности застрять в пути!.. Любой русский крестьянин способен его исправить и даже соорудить заново.

Если вы решили заночевать в лесу, этот мастер на все руки возведет вам дом для ночлега; и наскоро сметанная хижина будет лучше любого городского трактира. Поместивши вас со всевозмож-

ным удобством, сам он закутается в вывернутую овчину и ляжет спать на пороге вашего нового жилища, охраняя вход в него, подобно верному псу; или же, устроив для вас кров, усядется напротив под деревом и, глядя в небо, будет развеивать вашу тоску пением народных песен, которые печалью своею вторят самым сладостным порывам вашего сердца, ибо еще одним достоянием этой одаренной, но обездоленной расы является также и врожденный музыкальный талант... и никогда не придет ему в голову, что по всей справедливости он и сам бы мог занять место рядом с вами в той хижине, которую только что для вас соорудил.

Долго ли еще эти избранные люди будут оставаться скрыты в глуши, где держит их провидение... и ради какой цели? Это ведомо лишь ему одному!.. Когда пробьет для них час освобождения и, более того, господства? Сие — божья тайна.

Меня восхищает простота их понятий и чувств. Бог — властелин небес, царь — властелин земли; вот и вся теория; а вся практика — барские приказы, а то и прихоти, подкрепляемые покорством раба. Русский крестьянин считает себя телом и душою принадлежащим своему помещику.

Соответственно таким социальным верованиям, живет он безработно, но и не без гордости; а человеку достаточно гордиться, чтобы жить на свете; гордость — нравственное начало ума. Формы она принимает самые разные, вплоть до униженности, до религиозного самоуменьшения, открытого христианами.

Русский не понимает, как можно перечить барину, представителю двух неизмеримо могущественнейших господ — Бога и императора, — и весь свой ум, всю доблесть свою прилагает к тому, чтоб справиться с теми мелкими житейскими трудностями, которыми с преувеличенным почтением отговариваются заурядные люди других народов: ибо те пользуются подобными препятствиями в отместку богатым, видя в них врагов и называя счастливыми мира сего.

Русские настолько лишены всех жизненных благ, что не могут быть завистливы; кто доподлинно достоин участия, сам уже не ропщет; завистниками становятся неудачливые честолюбцы, и Франция, где благополучие легкодоступно, где обогащаются очень быстро, служит их рассадником; меня неспособны разжалобить злобные стенания подобных людей, чья душа изнурена житейскими уладами; зато терпеливость здешнего народа внушает мне сочувствие — я чуть было не сказал глубокое почтение. В политике самоуничижение русских низко и возмутительно; в делах же домашних их смирение благородно и трогательно. Что для нации порок, то для частного человека становится добродетелью.

Русские песни поражают всех иностранцев своею грустью; однако музыка их не просто печальна, но еще и искусно-замысловата; вдохновенно мелодичная, она в то же время содержит весьма изысканные гармонические сочетания, каких в иных краях добиваются

лишь учением и расчетом. Нередко, проезжая через какую-нибудь деревню, я останавливаюсь послушать, как поют песню — на три-четыре голоса и с такою точностью и музыкальным чутьем, каким я не устаю изумляться. Исполнители этих сельских квинтетов наитием постигают законы контрапункта, правила композиции, гармонию, эффекты различных голосов; пением же в унисон они пренебрегают. Одно за другим извлекают они изысканно-непривычные созвучья, перемежая их руладами и изящными украшениями. Однако же, несмотря на тонкость своих органов, они не всегда поют совершенно верно; это и не удивительно, когда за трудные пьесы берутся люди с усталыми хрипыми голосами; зато когда певцы молоды, то впечатление, которое они производят, умело исполняя такие сложные места, выходит, по-моему, гораздо сильнее, чем от народных песен любой другой страны.

Песни русских крестьян поются жалобно-гнусаво, что малопривратно при исполнении на один голос; при исполнении же хором эта жалобная песнь приобретает некую религиозную серьезность и производит поразительные гармонические эффекты. На театре мы бы назвали их, несмотря на их грубость или же благодаря ей, замысловатыми созвучьями. Взаимоналожение разных партий, неожиданное следование аккордов, композиционный рисунок, введение новых голосов — все это трогательно и всегда незаурядно; только здесь я в народных песнях во множестве слышал рулады. Такого рода украшения всегда дурно исполняются крестьянами и неприятны для слуха! и все же в общем звучание этих сельских хоров своеобразно и даже красиво.

Я полагаю, что русская музыка завезена в Московию из Византии, но здесь меня уверяют, что она, напротив, местного происхождения; возможно, этим и объясняется глубокая печаль таких мелодий, особенно тех, которые своею живостью и подвижностью изображают веселье. Не умея восстать против угнетения, русские зато умеют томиться и стенать.

На месте императора я бы не только запрещал подданным жаловаться, но не позволял бы им и петь, ибо пение их — скрытая жалоба; эти звуки, полные боли, составляют признание и могут стать обличением — действительно, при деспотическом правлении даже искусства, бытуя в народе, не могут считаться чем-то невинным; в них скрывается возмущение.

Отсюда, вероятно, и происходит склонность русского правительства и двора к иностранным книгам, авторам и художникам: ведь заемная поэзия мало укоренена в народе. В стране рабов опасаются глубоких переживаний, порождаемых патриотическими чувствами; оттого все национальное, даже музыка, делается здесь оружием оппозиции. Такова музыка в России, в самых удаленных и пустынных уголках которой голос человека обращает к небу свои песни мести и печали, прося себе у Бога хоть частицу того блаженств-

ва, в коем отказано ему на земле... Итак, обладая достаточным могуществом, чтоб угнетать людей, должно быть и достаточно последовательным, чтоб сказать им: «Не смейте петь». Ничто так не обнаруживает каждодневных страданий народа, как печальность его забав. Русские же вообще забав не имеют, у них есть лишь утехи. Удивительно, как еще никто до меня не остерег власти от той неосторожности, какую они совершают, позволяя русским отводить душу в занятии, избличающем их несчастье и показывающем всю степень их смирения; столь глубокое смирение — это бездна боли.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПИСЬМА

22 августа 1839 года, на последней станции перед Нижним

Доехали мы сюда на трех колесах и с волочащимся по земле еловым шестом вместо четвертого. Не перестаю дивиться хитроумной простоте этого дорожного приема: жердь легко приделывается к передней оси, будучи вставлена в паз и привязана веревкою, и волочится так, проходя под заднею осевою подушкой и заменяя недостающее заднее колесо; с потерею одного из передних колес справиться было бы сложнее.

В значительной своей части дорога из Ярославля в Нижний представляет собою широкую парковую аллею; прочерченная почти всюду по прямой линии, дорога эта шире главной аллеи Елисейских полей в Париже, а по бокам ее идут две других аллеи, покрытых естественным газоном и обсаженных березами. Езда здесь нетрясая, ибо катишь почти все время по траве, кроме болотистых низин, которые мы переезжаем по зыбким настилам — своего рода плаву-челю, непривычному и неудобному. Такая гать из неровных бревен опасна и для лошадей и для повозок. Раз на дороге так густо растет трава — значит, по ней мало ездят, то есть ее легче содержать в порядке. Вчера, перед поломкой, мы мчались во весь опор, и мне вздумалось похвалить красоту этой дороги своему фельдъегерю. «Известно, красиво, — отвечал мне этот тщедушный человек с осиною талией, с прямою военною выправкой, с подвижными серыми глазами, с поджатыми губами, от природы белокожий, но обветренный, загорелый и красный от привычки к езде в открытых повозках, на вид и робкий и грозный, как подавленная страхом злоба. — Известно, красиво... Это же сибирский тракт!»

От слов его я весь похолодел. Я-то, подумалось мне, еду этою дорогой для собственного удовольствия; а с какими мыслями и чувствами брели по ней прежде множество несчастных? И вновь стали мучить меня эти мысли и чувства, рожденные воображением. Чтобы развлечься, развеяться, я еду по следам чужого отчаяния... Сибирь!.. все время предо мною этот ад России... И от призраков его я весь цепенею, словно птица под взглядом василиска!.. Что за страна!.. природа здесь ничто, ибо приходится забыть о природе на

этой бескрайней бесцветной равнине, где нет ни переходов, ни линий, не считая неизменно ровной линии, очерченной свинцовым кругом небес на стальной поверхности земли!! По такой-то равнине, лишь кое-где всхолмленной, и еду я с тех самых пор, как отправился из Петербурга: вечные болота, иногда перемежаемые полями овса или ржи, которые растут вровень с камышом; иногда, ближе к Москве, квадратики огородов, с огурцами, дынями и разными другими овощами, не нарушающие собою однообразия местности; а вдали — чахлые сосновые леса или же хилые узловатые березы; наконец, вдоль дороги — серые деревни с приземистыми деревянными избами, через каждые двадцать, тридцать или пятьдесят лье — чуть более высокие, хоть и стбль же приземистые, города, где люди затеряны среди просторных улиц, напоминающих воинский лагерь, выстроенный на один день маневров; такова, повторюсь уже в сотый раз, Россия, как она есть. Прибавьте к этому разные прикрасы, позолоту и множество на словах льстивых, а в душе насмешливых людей, и вот вам Россия, как нам ее хотят показать; скажем прямо — здесь все время присутствуешь на пышных представлениях. Знаете, что такое русские воинские учения? это настоящие походы, словно на войне, правда, без славы, зато с большими издержками, так как невозможно кормить войско за счет неприятеля.

Среди безликой этой местности протекают огромные, но бесцветные реки; разливаясь на сероатой равнине, среди песчаных пустошей, они исчезают из виду за холмами, высотой не превосходящими наших дамб и темнеющими топким лесом. Северные реки унылы, как небо, которое в них отражается; вдоль берегов Волги кое-где стоят села, слывающие зажиточными, но и эти штабеля серых досок под замшелыми крышами не оживляют вид местности. Над всеми ландшафтами как будто витают зима и смерть; от тусклого света и северного климата все предметы имеют какую-то могильную окраску; поездивши здесь несколько недель, с ужасом чувствуешь, будто ты заживо похоронен; хочется порвать свой саван и бежать прочь с бескрайнего кладбища, простирающегося сколько хватает глаз, из последних сил приподнять свинцовый покров, отделяющий тебя от живых людей. Не вздумайте ездить на Север ради удовольствия — разве что удовольствие вы находите в науке, ведь для науки здесь непочатый край.

Итак, ехал я, разочарованный, *сибирским трактом*, как вдруг заметил издали группу военных, остановившихся на одной из боковых аллей у дороги.

— Что здесь делают эти солдаты? — спросил я курьера.

— Это казаки, — отвечал он, — они ведут ссыльных в Сибирь!!

Итак, то был не сон, не газетные небывицы; я видел пред собою подлинных горемык, настоящих изгнанников, которые тяжело брели пешком в края, где суждено им умереть забытыми всем светом, вдали от всего им дорогого, наедине с Богом, не на такую муку их

сотворившим. Быть может, я уже встречал или еще встречу их матерей, их жен; то были не преступники — о нет, то были поляки, беззаветные и злосчастные герои; слезы навернулись мне на глаза с приближением этих страдальцев, рядом с которыми я даже не решался остановиться, дабы не вызвать подозрений своего стража. Ах!.. при виде таких бедствий чувство бессильного сострадания было мне унизительно, и растроганность в моем сердце заглушалась гневом! Хотелось оказаться вдали от этой страны, где ничтожный холоп, служащий мне посыльным, может забрать себе такую силу, чтобы присутствие его вынуждало меня таить самые естественные душевные порывы. Напрасно твердил я себе, что наши французские каторжники, пожалуй, достойны сострадания поболее сибирских поселенцев; ведь в столь дальней ссылке есть и нечто поэтическое, суровость законов окрашивается в ней всемогущим воображением, и бесчеловечное это сочетание дает потрясающий итог. Впрочем, наших каторжников судят серьезным судом; когда же проживешь несколько месяцев в России, то перестаешь верить в силу закона.

Ссылных было шестеро, и узники эти, хоть и закованные в кандалы, были в моих глазах невинны, ибо при деспотизме нет иного преступника, кроме палача. Шестерых узников вели двенадцать конных казаков. Кожух моей коляски был закрыт, и чем ближе мы подъезжали, тем внимательней наблюдал за моим лицом фельдъегерь: он в меня так и вперился. Поразительно, как силился он убедить меня, что встреченные нами люди были обычными злодеями и что среди них не было ни одного политического арестанта. Я хранил угрюмое молчание; с каким же знаменательным старанием, думалось мне, отвечает он на мою мысль — значит, он прочел ее у меня на лице или же угадал по своим собственным мыслям.

Ужасная пронизательность подданных деспотической власти! здесь все шпионят, пусть даже по-любительски и безвозмездно.

Последние перегоны на дороге в Нижний долги и трудны из-за все более глубокого песка *, в котором увязает чуть ли не с головой; а в песке под колесами и под копытами лошадей ворочаются огромные камни и деревянные колоды; похоже на песчаный пляж, усеянный обломками. Дорогу здесь обступают леса, а в них через каждые пол-лье стоят казачьи заставы для охраны купцов, едущих на ярмарку. Такое обустройство не столько ободряет, сколько поражает своею дикостью — как будто ты попал в средние века.

Колесо мое починено, его как раз устанавливают на место, так что надеюсь прибыть в Нижний еще до вечера. Последний перегон составляет восемь лье по вышеописанной неудобной дороге; еще раз о том напоминаю, ибо слов не хватает описывать эти вещи, которые отнимают у меня столько времени.

* Из Москвы в Нижний прокладывают мощный тракт; скоро он будет завершен.

ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕ

Местность, где расположен Нижний Новгород. — Замечание императора Николая. — Особенная любовь этого государя к Нижнему. — Нижегородский кремль. — Народы, съехавшиеся со всех концов света на здешнюю ярмарку. — Множество иностранцев. — Нижегородский губернатор. — Губернаторский павильон на ярмарке. — Мост через Оку. — Суда, перегородившие реку. — Общий вид ярмарки. — Трудность в подыскании жилья. — Я останавливаюсь на ночлег в кофейне. — Неведомые доселе насекомые. — Высокомерие фельдгегера. — Местонахождение ярмарки. — Облик различных народностей. — Расположение ярмарки. — Подземный город. — Превосходная клоака: грандиозность этого сооружения. — Необычный облик женщин. — Окрестности ярмарки. — Чайный городок. — Ветошный городок. — Городок каретного леса. — Городок сибирского железа. — Происхождение Нижегородской ярмарки. — Персидский поселок. — Соленая рыба из Каспийского моря. — Кожу. — Меха. — Северные лаццарони. — Внутренность ярмарки. — Дурной выбор места. — Торговый кредит российских крепостных. — Народный способ счета. — Добросовестность крестьян. — Как помещики обманывают крепостных. — Борьба самодержавия и аристократии. — Цены товаров на Нижегородской ярмарке. — Бирюза, привозимая бухарцами. — Киргизские кони: их неразлучность. — Ярмарка после захода солнца. — Вереницы ломовых возчиков, едущих стоя на оси. — Серьезность русских. — Еще о русских песнях.

Нижний Новгород, 22 августа 1839 года, вечером

Место, где расположен Нижний, — красивейшее из всех виденных мною в России; здесь уже не просто низкие утесы, приземистым валом тянущиеся вдоль берега великой реки, не просто волнообразные складки местности посреди обширной равнины, именуемые холмами; здесь целая гора, настоящая гора, образующая мыс у слияния Волги и Оки — двух равно полноводных рек, ибо в устье своем Ока кажется столь же широкою, что и Волга, и название свое она утрачивает здесь лишь оттого, что течет не так издалека. Нижегородский верхний город, построенный на этой горе, возвышается над необъятною, словно море, равниной; у подножия этого мыса открывается целый бескрайний мир, по соседству же с ним устраивается крупнейшая в мире ярмарка; ежегодно в течение шести недель у слияния Волги и Оки встречаются купцы обеих богатейших частей

света. Место это поистине картинно; до сей поры в России я любовался подлинно живописными видами лишь на московских улицах да вдоль петербургских набережных, но те ландшафты были созданы человеком; здесь же прекрасна сама природа; а между тем древний нижегородский посад, вместо того чтобы стоять лицом к обеим рекам, пользуясь ими для своего обогащения, остается совершенно скрыт за горою; теряясь вдали от берега, он словно избегает того, что могло бы составить его славу и процветание; столь неудачное его расположение поразило императора Николая, который воскликнул, впервые увидав здешние места: «В Нижнем природа сделала все необходимое, люди же все испортили». Дабы исправить ошибку основателей Нижнего Новгорода, ныне под обрывом, на одном из двух мысов, разделяющих Волгу и Оку, строится новое предместье в виде набережной. Предместье это с каждым годом разрастается, становится значительней и многолюдней самого города; старинный же нижегородский кремль (каковой есть в каждом русском городе) отделяет старый Нижний от нового, расположенного на правом берегу Оки.

Ярмарка помещается на другом берегу той же реки, на низменной треугольной площадке между нею и Волгой. Эта земля сложена из речных наносов в той самой точке, где сливаются два потока, то есть одною своею стороною она служит берегом Оке, а другую — Волге; то же относится и к нижегородскому утесу на правом берегу Оки. Два эти берега соединены понтонным мостом, ведущим из города на ярмарку; он показался мне таким же длинным, как мост через Рейн у Майнца. Два мыса, разделенные лишь водным пространством, сильно отличны друг от друга; один горою вздымается над гладью равнины, имя коей Россия, и походит на исполинский пограничный столб, на природою сложенную пирамиду; этот нижегородский утес величественно высится посреди окрестных просторов; другой же мыс, ярмарочный, ютится вровень с водою, которая ежегодно его затопляет; необыкновенная красота такого контраста не ускользнула от взора императора Николая; государь, с присущею ему прозорливостью, почувствовал, что Нижний — одна из важнейших точек его империи. Он питает особенную любовь к этому срединному городу, которому благоприятствует сама природа и в котором сходятся и собираются вместе народности самых дальних краев, влекомые властным торговым интересом. В своей неусыпной заботливости император не забывает ни о чем, лишь бы сделать город краше, обширней и богаче; по его воле ведутся земляные работы, строятся набережные, всего роздано подрядов на семнадцать миллионов, и следит за исполнением лично государь. В пользу короны и губернии была изъята Макарьевская ярмарка, которая некогда устраивалась во владениях одного боярина на двадцать лье ниже по течению Волги, ближе к Азии; позднее император Александр перенес ее в Нижний. Мне жаль той азиатской ярмарки,

проходившей в вотчине старомосковского князя: должно быть, она была живописней и своеобразней, хоть и не столь грандиозною и упорядоченною, как увиденная мною здесь.

Я уже писал вам, что в каждом русском городе есть свой кремль — так в каждом испанском городе есть свой алькасар; нижегородский кремль имеет в окружности около полулье, с непохожими одна на другую башнями и зубчатыми стенами, змеящимися по горе, куда более высокой, нежели холм московского Кремля.

Завидев эту крепость издалека, путник не может не прийти в изумление; блестящие шпили и белые контуры твердыни по временам открываются ему поверх чахлах сосен; она словно маяк, на который он держит путь среди песчаных пустошей, затрудняющих подъезд к Нижнему со стороны Ярославля. Эта национальная архитектура производит сильное впечатление; затейливые башни, своего рода христианские минареты, которыми непременно оснащен всякий кремль, кажутся здесь еще краше благодаря необычному рельефу местности — кое-где рядом с этими творениями зодчих разверзаются настоящие пропасти. Внутри укреплений, как и в Москве, проложены лестницы, по которым можно, идя вдоль крепостных зубцов, подняться до верхнего гребня утеса, увенчанного высокою стеной; эти огромные ступени, с башнями по бокам, с наклонными подъемами, с поддерживающими их сводами и аркадами, образуют живописную картину, откуда ни посмотри.

На Нижегородской ярмарке, которая ныне стала крупнейшею на свете, встречаются самые чуждые друг другу народы, то есть самые несхожие по облику, по одежде и языку, по верованиям и нравам своим. Жители Тибета и Бухары — стран, соседствующих с Китаем, сходятся здесь с персами, финнами, греками, англичанами, парижанами; здесь словно собрались на Страшный суд купцы со всего света. Число иностранцев, постоянно находящихся в Нижнем на всем протяжении ярмарки, составляет двести тысяч; образующие это множество люди несколько раз сменяются, но количество остается примерно одинаковым; в иные же дни этого съезда негоциантов в Нижнем бывает одновременно до трехсот тысяч человек; средний расход хлеба в сем мирном лагере — четырехста тысяч фунтов в день; по окончании же промышленно-торговых сатурналий город вымирает. Вообразите, сколь странно выглядит столь резкий переход!.. Девять месяцев в году, пока ярмарка пустует, в Нижнем едва ли набирается двадцать тысяч жителей, затерянных среди его обширных улиц и безлюдных площадей.

Во время ярмарки не случается особых беспорядков; в России беспорядок вещь немыслимая — то был бы даже прогресс, ибо беспорядок — плод свободы; любовь же к наживе и потребность в роскоши, непрестанно возрастающие всюду вплоть до варварских племен, ведут к тому, что даже полудикие народы, вроде тех, что приезжают сюда из Персии и Бухары, находят свою выгоду в об-

щественном спокойствии и добросовестности; надобно к тому же прибавить, что магометанам вообще свойственна честность в денежных делах.

Я всего несколько часов в этом городе и уже успел повидать губернатора; мне дали на его имя несколько весьма внушительных рекомендательных писем; для русского он показался мне гостеприимным и общительным. Мне будет вдвойне любопытно увидеть Нижегородскую ярмарку под его руководством и с его точки зрения — во-первых, ознакомиться с ходом дел, почти неизвестным французу, а во-вторых, проникнуть в образ мыслей тех людей, которые служат русскому правительству.

Губернатор этот носит имя с давних пор славное в российской истории: он зовется Бутурлин. Бутурлины — старинный боярский род; ныне столь знатное происхождение встречается редко. Завтра расскажу вам о приезде своем в Нижний, о том, как трудно было мне найти пристанище и как я в конце концов устроился, ежели только вообще можно сказать, что я устроился.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПИСЬМА

23 августа 1839 года, утром

В Нижнем на мосту через Оку мне впервые в России встретилась толпа народу; действительно, узкий этот переход составляет единственный путь из города на ярмарку; по нему же попадают в Нижний со стороны Ярославля. При въезде на ярмарку нужно свернуть направо на мост, оставив слева ярмарочные лавки и павильон губернатора, который по утрам покидает свой особняк в верхнем городе и обосновывается здесь, дабы с этого наблюдательного поста власти вершить надзор и управу над всеми рядами, всеми лавками и всеми делами ярмарки.

Слепящая глаза пыль, оглушительный шум, повозки, пешеходы, солдаты, выставленные для поддержания порядка, — все это затрудняет проезд по мосту, а поскольку судов на реке так много, что не видать воды, то спрашиваешь себя — а к чему этот мост, когда речное русло кажется сухим. При слиянии Волги и Оки лодки составлены так плотно, что Оку можно перейти пешком, перешагивая с джонки на джонку. Этим китайским словом я пользуюсь потому, что большая часть судов, прибывающих в Нижний, служит для доставки на ярмарку товаров из Китая, особенно чая. Все это пленяет мое воображение; не нахожу, однако, чтобы в равной мере был удовлетворен и мой взор. На ярмарке, состоящей сплошь из новостроек, недостает живописных картин.

Вчера, при въезде в город, казалось мне, что наши кони задавят человек двадцать, прежде чем мы доберемся до набережной Оки; набережная эта — новое предместье Нижнего, которое через несколько лет должно разрастись. Длинный ряд домов тянется между Окой, приближающеюся к своему устью, и обрывистым берегом,

теснящим с этой стороны речное русло; гребень обрыва ошетинился крепостными стенами, образующими внешний обвод нижегородского кремля; стены и гора полностью скрывают от взора верхний город. Ступивши наконец на желанный берег, я столкнулся с новыми затруднениями: нужно было прежде всего где-то поселиться, а трактиры оказались переполнены. Мой фельдъегерь стучался во все двери, но каждый раз возвращался с одинаково неподвижно-злой улыбкой, говоря, что не сумел найти ни единой комнаты. Он советовал мне просить гостеприимства у губернатора; я же этого делать не желал.

Наконец, доехав до крайней оконечности этой длинной улицы, где начинается дорога, крутым подъемом ведущая в старый город и проходящая под темною аркой в толстой зубчатой крепостной стене, а сама улица сужается, идя дальше между прибрежным молом и подошвою утеса, заметили мы кофейню, что стояла ближе всего к Волге. Приблизиться к ней мешал рынок — небольшие крытые ряды, источавшие запахи менее всего благовонные. Тут велел я остановиться и проводить меня в кофейню, заключающую в себе не один зал, но также целое торжище, занимавшее длинный ряд помещений. Хозяин принял меня с почетом и учтиво проводил сквозь шумную толпу, заполнявшую всю эту череду комнат; дойдя вместе со мною до последнего зала, как и прочие заставленного столами, за которыми сидели посетители в шубах и пили чай и крепкие напитки, он показал, что не имеет ни единой комнаты, которая бы повствовала.

— Этот зал находится в углу дома, — сказал я ему, — есть в нем особый вход?

— Да.

— Ну так запирайте дверь, что отделяет его от других залов кофейни, и отдайте его мне для ночлега.

Воздух в этой комнате был такой спертый, что я тотчас стал задыхаться; то была отвратительная смесь всевозможных выделений: жирный смрад овчин, мускусный запах дубленых кож (так называемой русской кожи), запахи смазных сапог, кислой капусты (главной пищи крестьян), кофе, чая, ликеров, водки — все это сгущало атмосферу. Я вдыхал настоящую отраву — но что делать? то была последняя возможность. К тому же я надеялся, что как только комнату освободят и хорошенько вымоют, дурные запахи рассеются вместе с толпою посетителей. Итак, я заставил фельдъегеря растолковать хозяину кофейни мое предложение.

— Я потеряю в деньгах, — отвечал тот.

— Я заплачу столько, сколько потребуете; найдите только какое-нибудь пристанище моему камердинеру и курьеру.

Сделка наша состоялась, и я был немало горд этою завоеванною с бою вонючею комнатенкой, за которую взяли с меня дороже, чем за лучшие апартаменты в парижском «Отеле принцев». Хоть я и по-

нес убыток, но утешался мыслью об одержанной победе. Только в России, стране, где человек, почитаемый могущественным, не ведает преград своим прихотям, можно в мгновение ока превратить зал кофейни в спальню.

Фельдъегерь велел посетителям выйти вон; они удалились без малейших возражений и были кое-как рассажены в соседнем зале, дверь которого заперли на тот самый замок, что описан мною выше. Вдоль стен комнаты стояло штук двадцать столов; мгновенно налетела целая туча попов в рясах, то бишь трактирных половых в длинных рубахах, и вынесла всю обстановку. Но что я вижу? из-под каждого стола, из-под каждого табурета вылезают полчища тварей, каких я еще ни разу не видывал, — черных насекомых длиною в полдуйма, довольно толстых, рыхлых, ползучих, липких, вонючих и весьма проворных. Этот зловонный гад известен в некоторых странах Восточной Европы, на Волыни и Украине, в России, а также, кажется, и в великой Польше; называют его там как будто «персика», поскольку занесен он из Азии; какое имя давали ему половые из нижегородской кофейни, я не расслышал. Увидев, что полы в моем пристанище сплошь усеяны этими кишашими тварями, которых половые умышленно и нечаянно давили даже не сотнями, но тысячами, особенно же ощутив дополнительное зловоние, производимое при их истреблении, я пришел в отчаяние, опрометью выскочил из комнаты и помчался прочь из этой улицы представляться губернатору. В гнусное мое пристанище вернулся я лишь после того, как меня не единожды заверили, что оно вычищено самым тщательным образом. Кровать моя, набитая якобы свежим сеном, стояла посреди зала, все четыре ее ножки были поставлены в миски с водою, и я всю ночь провел при свете. Несмотря на все эти предосторожности, пробудившись наутро после тяжелого, беспокойного сна, я обнаружил у себя на подушке двух-трех «персик». Твари эти безвредны; но невозможно передать, какое отвращение они мне внушают. Присутствие подобных насекомых в людских жилищах говорит о такой неопрятности и нерадивости, что я невольно пожалел о своей затее — ездить по здешним краям. На мой взгляд, подпускать к себе нечистых тварей есть нравственное унижение; физическая брезгливость тут оказывается сильнее любых доводов рассудка.

Теперь, сознавшись вам в своем несчастье и описавши свои злоключения, более я говорить о них не стану. Для полноты картины скажу только, что окна в комнате, отвоеванной мною у кофейни, занавешены скатертями, прикрепленными к рамам железными вилками; внизу они схвачены бечевками; два чемодана, накрытых персидским ковром, служат мне диваном; и все прочее в том же роде.

Нынче утром меня посетил московский купец, хозяин одного из самых богатых и крупных на ярмарке магазинов шелковых тканей:

он желает показать мне здесь все по порядку и в подробностях; об итогах этого осмотра расскажу вам после.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПИСЬМА

24 августа 1839 года, вечером

Здесь опять стало по-южному пыльно и удушливо жарко, а потому на ярмарку мне посоветовали ехать непременно в экипаже; но в Нижнем теперь такой наплыв иностранцев, что нанять себе экипаж я не смог; пришлось воспользоваться тою же самою коляской, в которой я приехал из Москвы, и запрячь в нее лишь двух лошадей, что меня раздосадовало так сильно, как будто я превратился в русского; в этой стране отнюдь не из тщеславия все ездят четверкою; местная порода лошадей — горячая, но слабосильная; они могут долго скакать, когда ничего не везут, в упряжке же быстро устают. Как бы там ни было, ездить в коляске с парюю лошадей оказалось удобно, хотя и не слишком изящно; так я и катался весь день по ярмарке и по городу.

Садясь в эту коляску вместе с купцом, любезно вызвавшим меня проводить, и с его братом, я велел фельдъегерю следовать за мною. Тот, не колеблясь, не спрашивая позволения, решительно вскочил в экипаж и с поразительною самоуверенностью уселся рядом с братом г-на ***, который, несмотря на мои просьбы, захотел ехать на переднем сиденье.

В этой стране нередко можно видеть, как хозяин экипажа, даже если рядом с ним нет женщины, занимает задние места, в то время как друзья его сидят впереди. Такая неучтивость, у нас позволительная лишь при очень тесном знакомстве, никого здесь не удивляет.

Опасаясь, что ехать бок о бок с курьером будет зазорно для моих любезных провожатых, я счел своим долгом посадить этого человека и очень мягко предложил ему залезть на передок, рядом с кучером.

— Не буду я этого делать, — отвечал мне фельдъегерь с невозмутимым хладнокровием.

— Почему вы не слушаетесь? — спросил я еще спокойнее, зная, что, общаясь с этою полувосточною нацией, следует для поддержания своего авторитета никому не уступать в бесстрастии.

Мы разговаривали по-немецки. «Мне это было бы неприлично», — ответил мне русский все тем же тоном. Тут мне вспомнились боярские споры о местах в думе, последствия которых во времена царей Иванов бывали столь серьезны, что им отведено множество страниц российской истории. «Что значит неприлично? — спросил я. — Разве это не то место, которое вы занимали с самого нашего отъезда из Москвы?»

— Да, сударь, это мое место в дороге; на прогулке же я должен сидеть внутри. Я ведь ношу мундир.

Мундир его, описанный мною в другом месте, — просто-на-просто одежда почтового рассыльного.

— Я, сударь, ношу мундир, у меня есть чин; я не лакей, я слуга императора.

— Мне мало дела до того, кто вы такой; да я и не говорил, что вы лакей.

— Я бы так выглядел, если б сел на это место во время прогулки по городу. Я служу уже не первый год, в награду за примерное поведение мне обещают дворянство; и я хочу получить его, у меня есть свое честолюбие.

Меня ужаснуло такое смешение наших старинных аристократических понятий с новейшим тщеславием, которое недоверчивый деспот внушает болезненно завистливым простолюдинам. Передо мною был образец погони за отличиями в самом худшем ее виде, когда выслуживающийся напускает на себя вид уже выслужившегося.

Мгновение помолчав, я заговорил вновь: «Одобряю вашу гордость, если она обоснованна; но, будучи мало сведущ в обычаях вашей страны, я хочу, прежде чем позволить вам сесть в коляску, сообщить о вашем притязании господину губернатору. Я намерен спрашивать с вас не более того, что вы обязаны, согласно полученным вами приказам; коль скоро появилось сомнение, то на сегодня освобождаю вас от службы; я поеду без вас».

Мне самому был смешон тот внушительный тон, каким я говорил; но я полагал, что такая напускная важность необходима, чтоб оградить себя от неожиданностей до конца поездки. Нет такого комизма, который бы не извинялся условиями и неизбежными последствиями деспотизма.

Этот человек, притязающий на дворянство и тщательно блюдуший дорожный этикет, при всей гордости своей обходится мне в триста франков жалованья ежемесячно; при последних моих словах он покраснел и, не ответив ни слова, вылез наконец из коляски, в которой до тех пор столь непочтительно восседал; молча вернулся он в дом. Не премину вкратце рассказать губернатору о вышеизложенном разговоре.

Место, где размещается ярмарка, очень обширно, а живу я весьма далеко от моста, который ведет к этому городку, заселяемому на один месяц в году. Пришлось признать, что я правильно поступил, поехав в коляске, я бы выбился из сил, еще не добравшись до ярмарки, если б был принужден проделать этот путь пешком по пыльным улицам, по открытой набережной и по мосту, где солнце палит целый день, а дни пока еще длятся примерно по пятнадцать часов, хотя с наступлением осени они скоро начнут стремительно убывать.

На ярмарке встречаются люди из всех стран мира, в особенности из дальних краев Востока; однако люди эти более необычны

именами, нежели обликом. Все азиаты походят друг на друга, или, во всяком случае, их можно поделить на два разряда: у одних обезьяньи лица (калмыки, монголы, башкиры, китайцы), у других греческий профиль (черкесы, персы, грузины, индийцы и проч.).

Нижегородская ярмарка располагается, как я уже говорил, на огромном треугольнике песчаной, совершенно плоской суши, образующем мыс между Окою и широким руслом Волги, куда эта река впадает. С обеих сторон эта площадка примыкает, таким образом, к одной из рек. Земля, на которой скапливается столько богатств, почти не возвышается над уровнем воды; потому вдоль берегов Оки и Волги стоят одни лишь сараи, лачуги и товарные склады, сам же ярмарочный городок помещается заметно дальше от воды, у основания образуемого двумя реками треугольника; со стороны бесплодной равнины, простирающейся на запад и северо-запад, к Ярославлю и Москве, он ограничен лишь теми пределами, что пожелали поставить ему люди. Этот обширный торговый городок состоит из широких, длинных и совершенно прямых улиц; такое расположение вредит живописности целого; над лавками возвышается около дюжины павильонов причудливого стиля, называемых китайскими, но их недостаточно, чтоб скрасить унылое однообразие общего вида ярмарки. Этот прямоугольный базар кажется безлюдным, настолько он велик: стоит углубиться в ряды его лавок, как толпы уже больше не видать, в то время как у подходов к этим улицам теснятся целые орды. Ярмарочный городок, как и все современные города России, слишком просторен для своего населения, а между тем вам уже известно, что средняя численность этого населения составляет двести тысяч душ ежедневно; правда, в столь огромное количество приезжих следует включить и всех тех, что рассеяны по рекам, по судам, дающим кров целому народу водоплавающих существ, а также по палаточным лагерям, что окружают ярмарку как таковую. Дома купцов стоят поверх другого, подземного города — это превосходная сводчатая клоака, огромный лабиринт, где без опытного проводника можно заблудиться. Каждому ярмарочному ряду соответствует подземная галерея, которая тянется под ним на всю его длину и служит стоком для нечистот. Эти стоки, выложенные тесаным камнем, несколько раз в году промываются с помощью многочисленных насосов, качающих воду из ближних рек. В подземные галереи можно проникнуть по широким лестницам, сложенным из отличного камня. Если кто-то вздумает сорить на улицах базарного городка, то наблюдающие за порядком на ярмарке казаки вежливо приглашают его спуститься в эти катакомбы для нечистот. Это одно из самых грандиозных сооружений, виденных мною в России. Здесь есть образцы, которым могли бы следовать строители парижских стоков. По своей величине и прочности это напоминает Рим. Подземелья были построены императором Александром, который, по примеру предшественников своих, вознамерился победить

природу, устроив ярмарку на участке, шесть месяцев в году затопляемом водою. Он расточил многие миллионы, чтоб устранить последствия своего неосмотрительного решения перенести в Нижний Макарьевскую ярмарку.

При впадении в Волгу Ока раза в четыре шире Сены; река отделяет постоянный город от ярмарочного городка; на ней стоит столько судов, что на протяжении половины лье из-за них не видно воды. На судах, превращенных в шатры плавучего бивуака, каждую ночь кое-как ютятся сорок тысяч человек. Этот водоплавающий люд может примоститься где угодно — на мешке, на бочке, на лавке, на доске, на дне лодки, на ящике, на полене, на камне, на свернутом парусе; любая постель им впору, и спят они не раздеваясь; выбрав себе лежанку, расстилают на ней овчинный тулуп и ложатся на нем как на матраце. Скопление судов словно покрывает реку подвижным паркетом. По вечерам из этого водного городка доносятся глухие голоса, людская молвь, сливающаяся с бурлением волн; порой с необитаемого на вид островка, составленного из лодок, слышатся песни; действительно, особенно примечательно то, что на внешний взгляд суда, откуда раздаются звуки, пусты — по крайней мере днем; их обитатели лишь ночуют на них, да и то залезая в трюмы и скрываясь под водой, как муравьи под землей. Точно такие же скопления лодок образуются и на Волге близ устья Оки, встречаются они также и по течению Оки значительно выше нижегородского понтонного моста. Одним словом, куда ни бросишь взгляд, он всюду падает на ряды судов, иные из которых отличаются странною формой и расцветкой; над всеми суденышками возвышаются мачты, и все это вместе похоже на американские болота — это затопленный лес, заселенный людьми, съехавшимися со всех уголков земли и одетыми столь же причудливо, сколь странны их облик и физиономия. Более всего поразили меня на этой огромной ярмарке именно населенные людьми реки, напоминающие описания тех китайских городов, где реки становятся улицами и люди, по нехватке места на суше, живут на воде.

В этой части России крестьяне часто носят белые с красной вышивкой рубахи навыпуск; такой костюм заимствован у татар. Днем он блестит на солнце, а ночью белая ткань привидением выступает из тьмы; в целом ярмарка имеет вид чрезвычайно картинный, но слишком уж обширный и плоский; она не позволяет обозреть себя с первого взгляда и тем обманывает мое любопытство. Нижегородская ярмарка хоть и необыкновенно примечательна, но отнюдь не живописна: так чертеж отличается от рисунка; здесь больше дела для человека, занимающегося политической экономией, промышленностью, арифметикой, нежели для поэта или художника; ведь здесь происходит торговый обмен между двумя главными частями света — не больше и не меньше. Повсюду в России я вижу, как ее по-голландски мелочное правительство ханжески заглушает

природные качества своего народа — сообразительных, веселых, поэтических жителей Востока, прирожденных художников.

На просторных улицах ярмарки можно найти вместе любые товары со всего света, однако все они как-то затеряны; самый редкий товар — покупатели; что бы я ни видел в этой стране, я всякий раз восклицаю: «Слишком много места и слишком мало людей». Здесь все иначе, чем в странах с древним прошлым, где для цивилизации не хватает земли. Самые изящные и изысканные лавки на ярмарке — французские и английские; там ты словно попадаешь в Париж или Лондон; но не эта левантийская Бонд-стрит, не этот степной Пале-Руаяль составляют истинное богатство нижегородского рынка; чтобы верно понять значение ярмарки, надо вспомнить о ее происхождении, о том, где устраивалась она первоначально. До Макарьева она располагалась в Казани; в Казань съезжался народ с обоих концов Старого Света: Западная Европа и Китай встречались вместе в древней столице русской Татарии, чтобы обменяться своими изделиями. То же самое происходит ныне в Нижнем; но составить полное представление об этом рынке, куда посылают свои изделия два континента, нельзя, не отойдя прочь от прямолинейных торговых рядов и изящных «китайских» павильонов, что украшают базар, заложенный Александром; нужно прежде всего осмотреть стойбища, обступающие с разных сторон благоустроенную ярмарку. Линейка и шнур архитектора вслед за торговлею доходят до этих окраин, составляющих как бы задний двор замка или же ферму при нем; сколь бы пышным и блестящим ни было основное здание, в хозяйственных постройках царит вечный беспорядок — плод врожденной неряшливости и неизбывной нужды.

Осмотреть даже бегло эти окраинные склады — немалый труд, ибо величиною они не уступают целым городам. В них происходит непрерывное, поистине впечатляющее движение — хаос купли-продажи, где можно заметить такое, во что трудно поверить, пока не увидишь своими глазами либо не услышишь рассказы серьезных и достойных веры людей, сопровождаемые расчетами.

Начнем с чайного городка: это азиатское стойбище раскинулось по берегам обеих рек, на самой стрелке у их слияния. Чай доставляется в Россию через Кятку, расположенную в глубине Азии; при этой первой перевалке его обменивают на товары; отсюда его везут в тюках, похожих на ящики-кубики, величиною около двух футов в каждую сторону; тюки эти состоят из остова, обтянутого кожей, и покупатели протыкают их особыми щупами, чтобы, вытащив свой зонд, узнать качество товара. Из Кятки чай по суше перевозится до Томска; там его загружают на суда и везут по нескольким рекам, главные из которых Иртыш и Тобол; так он прибывает в Турмин, откуда едет вновь по суше до сибирского города Пермь, отсюда по реке Каме вниз до Волги и затем опять вверх до Нижнего; каждый год Россия получает от семидесяти пяти до восьмидесяти тысяч

ящиков чая, из которых половина остается в Сибири и перевозится в Москву зимой на саях, а вторая половина поступает на здешнюю ярмарку.

Этот маршрут записал для меня крупнейший чаоторговец России. Не ручаюсь ни за орфографию, ни за географию этого богача; но чаще всего миллионщики бывают правы, ибо они покупают чужую ученость.

Как видите, этот знаменитый караванный чай, якобы столь тонкий на вкус оттого, что перевозится по суше, на самом деле почти всю дорогу путешествует по воде; конечно, вода эта пресная, и речные туманы воздействуют на него куда слабей морских... А впрочем, если я не в силах что-либо объяснить, то ограничиваюсь тем, что просто отмечаю это.

Сорок тысяч ящиков чая — это легко сказать, но невозможно себе представить, сколько времени уходит на их осмотр, даже если просто, не считая, ходить вдоль сваленных грудой тюков. В нынешнем году их продали за три дня тридцать пять тысяч. Я посмотрел навесы, под которыми они сложены; четырнадцать тысяч из них купил один человек — мой купец-географ — за десять миллионов рублей серебром (бумажных рублей больше нет), с оплатою частью на месте, а частью через год.

Ценою на чай определяются цены на все прочие товары ярмарки; до тех пор пока она не сделается известна, остальные сделки заключаются лишь условно. Другой ярмарочный городок, столь же большой, но не такой изысканный и благоухающий, как чайный, — это ветошный городок. Сюда сносят тряпье со всей России — хорошо еще, что предварительно его отбеливают. Этот товар, необходимый для производства бумаги, вошел в такую цену, что русская таможня с чрезвычайною строгостью запрещает вывозить его за границу.

Еще один городок привлек мое внимание среди всех прилегающих к ярмарке торгов: там продают столярную древесину. Подобно предместьям Вены, эти ярмарочные пригороды крупнее самого города. В том, о котором я толкую, идет торговля сибирской древесиной для тележных колес и конских дуг. Это тот самый полукруг, что закрепляется столь самобытным и живописным манером на конце оглобеля и возвышается над головой коренника; делают его из цельного куска дерева, гнутого под паром, также из цельных кусков изготовляют и колесные ободья; запасы ошкуренной древесины, потребные чтобы обеспечить всю Западную Россию дугами и ободьями, громоздятся здесь горами, которым наши парижские лесные дворы не составляют даже слабого подобия.

Еще одно ярмарочное предместье, пожалуй обширнейшее и любопытнейшее из всех, служит складом сибирского железа. На четверть лье тянутся здесь навесы, под которыми живописно разложены железные прутья всех сортов, за ними идут решетки, за ними

скобяные изделия; целые пирамиды сложены из орудий земледелия и домашнего быта. Есть тут и дома, заставленные чугунными горшками, — настоящее царство металла; здесь понимаешь, как много он значит для богатства всей империи. Богатство это внушает ужас. Сколько же требуется осужденных, чтоб разрабатывать такие рудники! А если преступников недостает, приходится нарочно их множить — вернее, множить несчастных; в подземном мире, где добывают железо, гибнет политика прогресса, торжествует деспотизм — государство же процветает!! Любопытно было бы изучить — если б только это дозволялось иностранцам, — какому обращению подвергаются уральские рудокопы; только надобно осматривать все самолично, не полагаясь на писанные бумаги. Исполнить сие намерение для западного европейца было бы столь же сложно, как христианину побывать в Мекке.

Все эти торговые городки, примыкающие к главному, образуют лишь внешнюю окружность; они беспорядочно роятся вокруг самой ярмарки; если же охватить их одною общею городскою чертой, то длина ее окажется как в крупной европейской столице. Чтoб обойти все эти наскоро построенные предместья, служащие спутниками основной ярмарке, недостало бы и целого дня. Невозможно пови-дать все в этой бездне богатств; приходится выбирать; да к тому же духота последних жарких дней, пыль, давка и дурные запахи отнимают всякие телесные силы и притупляют работу мысли. Тем не менее я смотрел во все глаза, как будто мне двадцать лет — так же точно все примечая, хоть и с меньшим любопытством.

Буду рассказывать вкратце — в России привыкаешь к однообразию, такова здесь жизнь, но вы-то будете читать мои письма во Франции, и я не вправе надеяться, что вы окажетесь столь же уступчивы, как я здесь. Вы и не обязаны быть терпеливым — вы ведь не проехали тысячу лье, чтобы учиться этой добродетели побежденных.

Забыл сказать о городке кашмирской шерсти. Глядя на эту запыленную, противную на вид кудель, связанную в огромные кипы, я думал о прелестных плечах, которые она однажды укроет, о великолепных нарядах, которые она собою украсит, превратившись в шали на мануфактурах барона Терно и других.

Повидал я также меховой городок и городок поташный; я намеренно пользуюсь словом «городок» — только оно передает, как широко раскинулись различные хранилища вокруг ярмарки, придавая ей грандиозность, какой не знают ярмарки в других странах.

Подобное коммерческое чудо могло возникнуть только в России; чтоб создать Нижегородскую ярмарку, нужна была сильнейшая тяга к роскоши в полудиких народах, живущих непомерно далеко друг от друга, без быстрых и легких средств сообщения; нужна была такая страна, где из-за сурового климата каждое селение часть года оказывается отрезанным от всего мира; соединение этих обстоя-

тельств, а также, должно быть, и иных, которых я не сумел распознать, необходимо было для того, чтобы купцы сей изобильной империи не могли вести свою торговлю повседневно и понемногу и принуждены были тратить силы и деньги на ежегодный своз всех богатств земли и промышленности в одно время и в одну точку страны. Можно предсказать, что в будущем — думается, довольно скором, — с развитием материальной цивилизации в России Нижегородская ярмарка утратит былую мощь. Сегодня же, повторяю, это крупнейшая ярмарка на свете.

В одном из ярмарочных предместий, за рукавом Оки, помещается персидский поселок, все лавки в котором заполнены только товарами из Персии; среди наиболее примечательных предметов, привезенных издалека, особенно восхитили меня ковры, на вид просто великолепные; а также свертки шелка-сырца и термоламы — нечто вроде шелкового кашемира, который якобы вырабатывают только в Персии. Впрочем, меня бы не удивило, если бы сами русские изготовляли эту ткань у себя, выдавая ее за привозной товар. Но это всего лишь предположение, и никакими фактами подкрепить его я не могу.

Лица персиян производят немного впечатления в здешних краях, где местные жители — сами азиаты и хранят отпечаток своего происхождения.

Меня провели по городку, отведенному единственно для сушеной и соленой рыбы, которую привозят с Каспийского моря, чтоб есть во время русских постов. Православные во множестве поглощают эти морские мумии. За четыре месяца своего воздержания москвиты обогащают магометан из Персии и Татарии. Рыбный городок располагается на самом берегу; выпотрошенные морские чудища частью разложены на суше, частью лежат навалом в трюме судов, которые их привезли; если бы рыбных туш не насчитывалось здесь миллионы, то вся картина была бы похожа на музей естественной истории. Называют их, кажется, «сордак». Даже на открытом воздухе от них исходит неприятный запах. Еще один городок — кожевенный, который в Нижнем чрезвычайно велик, ибо сюда свозят кожи для удовлетворения нужд всей Западной России. Другой городок — меховой; здесь можно найти шкуры всевозможных зверей, начиная от соболя, голубого песца и дорогих медвежьих шкур, шуба из которых обходится в двенадцать тысяч франков, и до обыкновенной лисы и волка, которые идут за бесценнок; сторожа этих сокровищ на ночь сооружают себе шатры из своего товара — живописные пристанища дикарей. Люди эти, хоть и обитают в холодных краях, довольствуются малым: одеты они дурно, спят в ясную погоду под открытым небом, а в дождь забираются в норы под кипами товаров; они прямо-таки северные лаццарони — не столь веселые, острые на язык и подвижные лицом, как лаццарони неаполитанские, зато еще более неопрятные, так как нечистота тела

соединяется у них с нечистотою одежды, которую им невозможно с себя снять.

Вышепрочитанного будет вам довольно, чтоб составить себе представление о внешнем окружении ярмарки; внутренность же ее, повторяю, куда менее любопытна; своим видом она резко и неприятно отличается от внешних городков. Там, снаружи, разъезжают повозки, ручные тележки, там сумятица, шум, давка, крики, пение — в общем, вольность! Здесь же, внутри, снова правильный порядок, тишина, безлюдье и полиция — одним словом, Россия!

Бесконечные ряды домов, вернее лавок, стоят здесь между длинных широких улиц, которых всего то ли двенадцать, то ли тринадцать и в конце которых располагаются русская церковь и двенадцать китайских павильонов. Если обойти всю ярмарку, пройдя по каждой улице, от лавки до лавки, то придется покрыть десять лье. Так мне сказали, но я с трудом могу в это поверить. Имейте в виду, что здесь речь идет только об основном ярмарочном городке, — мы покинули шум и гам его предместий, чтоб очутиться в тиши базара, охраняемого казаками, которые серьезностью и скованностью движений и строгой исполнительностью — по крайней мере в служебное время — не уступают немым прислужникам серала.

Император Александр, выбрав для ярмарки новое место, распорядился о необходимых для его благоустройства работах; сам он никогда ярмарки не видал и потому не знал, сколь огромные расходы придется добавить к прочим тратам казны и, уже после его смерти, зарыть в землю на этой площадке, слишком низменной для назначенного ей применения. Благодаря неслыханным трудам и громадным расходам ярмарка теперь пригодна для жилья в летнее время; для торговли большего и не надобно. Тем не менее размещена она дурно: в солнечную погоду здесь пыльно, а в дождливую — грязно; к тому же при любой погоде место это нездоровое — немалое неудобство для купцов, принужденных на протяжении полутора месяцев ночевать в верхних этажах своих лабазов.

При всей любви русских к прямым линиям, многие здесь считают, что лучше было бы разместить ярмарку по соседству со старым городом, на гребне горы; для подъема туда можно было бы проложить отличные дороги с нечувствительно пологим наклоном и с великолепным видом на окрестности; внизу же, на берегах Оки, складывали бы лишь самые тяжелые и громоздкие грузы, которые трудно затаскивать на холм. Таким образом, железо, лес, шерсть, тряпье, чай оставались бы близ судов, на которых привезены, а торги велись бы со всем блеском на просторной возвышенности у ворот верхнего города; место во всех отношениях более удобное, чем нынешнее! Только вообразите себе высокий берег, заселенный сразу всеми народами Азии и Европы! Такая многоязыкая гора производила бы чудное впечатление; болото же, где копошатся теперь все эти кочевые племена, впечатляет мало.

Современные инженеры, столь искусные во всех странах, нашли бы здесь применение своим дарованиям; поклонники механики удовлетворяли бы свое любопытство видом разнообразных машин, которые пришлось бы изобрести для подъема товаров на гору; а поэты, художники, любители красот и живописных видов, просто любопытные путешественники, что составляют целое племя в наш век, в изобилии рождающий не только деловых людей, но и фанатиков праздности, — все эти люди, полезные обществу благодаря деньгам, которые они тратят, наслаждались бы чудесным местом для гуляния, куда более привлекательным, нежели то, что отведено им на нынешнем базаре, где нет никакого обзора, а дышать приходится зловонием; наконец, заслуживает внимания и то, что императору это обошлось бы в куда меньшую сумму, чем потратил он на свою прибрежную ярмарку — городок, заселенный один месяц в году, плоский как скатерть, летом раскаленный как саванна, зимою же сырой как погреб.

Главными купцами на этой невиданной ярмарке выступают русские крестьяне. Между тем закон запрещает крепостному просить, а вольным людям предоставлять ему кредит более чем на *пять рублей*. И вот с иными из них заключают сделки под честное слово на двести — пятьсот тысяч франков, причем сроки платежа бывают весьма отдаленными. Эти рабы-миллионщики, крепостные Агуадо, не умеют даже читать. Действительно, в России человек порой возмещает свое невежество необыкновенными затратами сообразительности. В странах просвещенных даже тупицы в десятилетнем возрасте знают то, что в отсталом обществе постигают только люди великого ума, да и то лишь к тридцати годам.

Народ в России не знает арифметики; все расчеты он от века выполняет с помощью деревянной рамки, внутри которой помещены ряды подвижных шариков. Каждый ряд окрашен в свой цвет, означающий единицы, десятки, сотни и так далее. Это надежный и скорый способ счета.

Не забывайте, что владелец такого крепостного миллионщика хоть завтра может отнять у него все, что тот имеет; он обязан лишь позаботиться о его пропитании; правда, случаи подобного насилия редки, но они возможны.

Никто не помнит, чтобы хоть один купец, доверившийся честно-му слову крестьян, в торговой сделке был обманут: поистине в любом обществе, если только оно устойчиво, развитием нравов возмещаются изъяны учреждений.

Впрочем, мне рассказали о том, как отец ныне живущего — я чуть не сказал «царствующего» — графа Шереметева однажды пообещал крестьянскому семейству вольную за чудовищно большую сумму в пятьдесят тысяч рублей. Деньги он получил, после чего оставил обобранное им семейство своими крепостными.

Такова школа честности и добросовестности, в которой учатся русские крестьяне, — их угнетает деспотизм аристократов вопреки

государственному деспотизму самодержцев, причем последний зачастую бессилен против своего соперника. Надменные императоры довольствуются словами, внешними формами, цифрами, тогда как властительные аристократы метят в действительные вещи, а словеса ценят недорого. Ни один окруженный лестью правитель не встречал так мало повиновения и не бывал так часто обманут, как якобы безраздельный властелин Российской империи; конечно, прямо ослушаться его опасно, но ведь страна велика, а из глуши не доносится ни одна весть.

Нижегородский губернатор г-н Бутурлин любезно пригласил меня обедать с ним во все те дни, что рассчитываю я пробыть в Нижнем; завтра он обещал разъяснить мне, почему такие дела, как ложное обещание графа Шереметева, которые и всегда-то случались редко, сегодня повториться в России не могут. Я изложу вам эту беседу, если только сумею извлечь из нее какой-то толк; до сих пор слышал я от русских лишь речи совершенно невнятные. Что это — непривычка к логике или намеренное стремление запутать иностранца? думаю, и то и другое. Стараясь скрыть правду от людей, начинаешь и сам видеть ее сквозь какую-то пелену, которая с каждым днем делается плотнее. Старики в России морочат вас чисто-сердечно, сами того не замечая; ложь слетает с их уст так же простодушно, как откровенное признание. Хотелось бы мне знать, с какого возраста в их глазах обман перестает быть грехом. Те, кто живет в страхе, рано начинают лгать самим себе.

На Нижегородской ярмарке ничто не продается дешево — разве лишь то, что никому не нужно. Прошло время, когда цены сильно различались в разных местах; теперь везде известно, что почем; даже татары, приезжающие в Нижний из Средней Азии, чтобы за большие деньги — иначе невозможно — купить парижские и лондонские предметы роскоши, привозят в обмен товары, прекрасно зная им цену. Купцы еще могут пользоваться безвыходным положением покупателя, но уже не могут его обмануть. Они не вздувают цену, как принято говорить в лавках, но еще менее они ее сбавляют — просто невозмутимо требуют слишком дорого; и честность их заключается в том, чтоб ни в коем случае не отступаться от самых преувеличенных своих запросов.

Я не видал в Нижнем никаких шелковых тканей из Азии, разве что несколько штук скверного китайского атласа, ненатуральной окраски, неплотной выделки и к тому же мятого, как старая ветошка. В Голландии встречал я атлас куда лучший, а этот стоит здесь дороже лучших лионских тканей.

В финансовом отношении вес Нижегородской ярмарки возрастает с каждым годом, но она все менее привлекает необычностью своих товаров и причудливым обликом людей. В целом ярмарка обманывает ожидания тех, кто охоч до живописного и забавного; в России все выглядит угрюмо и натянуто, и даже умы у русских

расчерчены по линейке — правда, наступает день, и они все посылают к черту. В такие мгновения долго сдерживавшийся инстинкт свободы вырывается наружу; и тогда крестьяне насаживают на вертел своего помещика и поджаривают на медленном огне или же заставляют его жениться на крепостной; это ад крошечный, но дальнего отклика такие редкие возмущения не имеют, о них никто не говорит; большие расстояния и деятельность полиции позволяют скрыть от народа подобные разрозненные факты; бунты бессильны возмутить повседневный порядок, он зиждется на всеобщей осторожности и молчаливости, которые равнозначны тоске и забитости.

Во время прогулки по лавкам основной ярмарки видал я бухарцев. Народ этот обитает в одном из уголков Тибета, по соседству с Китаем. Бухарские купцы приезжают в Нижний торговать драгоценными камнями. Я купил у них бирюзы, так же дорого, как и в Париже, и притом без уверенности, что она не поддельная; все сколько-нибудь ценные камни идут здесь очень дорого. Бухарцы весь год проводят в пути, так как, по их словам, им требуется более восьми месяцев лишь на дорогу в два конца. Ни лицом, ни одеянием они не показались мне особенно примечательны. Я не очень верю, что нижегородские китайцы — действительно из Китая; впрочем, любопытство мое удовлетворяют татары, персияне, киргизы и калмыки.

Кстати, о киргизах и калмыках: эти варвары пригоняют сюда из своих степей, чтобы продать на Нижегородской ярмарке, табуны низкорослых диких коней, которые отличаются хорошою статью и нравом, только что виду не имеют; они превосходно годятся для седла и ценятся за свой характер. Бедные животные! сердце у них добрее, чем у многих людей; они так нежно и горячо любят друг друга, что их невозможно разлучить. Пока они остаются вместе, им нет дела до чужбины и неволи, как будто они по-прежнему в родном краю; чтобы продать коня, приходится сбивать его с ног и силой волочить на веревках из загона, где заперты его собратья, меж тем как те на протяжении этой экзекуции все время пытаются вырваться или взбунтоваться, мечутся внутри ограды с горестными стонами и ржанием. В наших краях лошади никогда, насколько мне известно, не выказывали столько чувствительности. Несчастье бывал я тронут так, как вчера, при виде отчаяния этих несчастных животных, отторгнутых от степной воли и насильственно разлученных со своими любезными; если угодно, можете ответить мне изящным стихом Жильбера:

И слезы горько льет над бабочкой в беде, —

можете подтрунивать надо мною, неважно; уверен, что будь вы сами свидетелем этих жестоких торгов, напоминающих другой торг, еще более богопротивный, то вы разделили бы мою растроганность. Тому, что закон признает преступлением, найдутся в нашем мире

и судьбы; тогда как дозволенная жестокость карается одним лишь состраданием порядочных людей к ее жертвам, да еще, надеюсь, божьим судом. Именно при виде этого варварства, терпимого обществом, сожалею я о том, что мое красноречие имеет свои пределы; такой писатель, как Руссо или даже Стерн, уж наверно заставил бы вас зарыдать над судьбою бедных киргизских лошадок, которым предназначено отправиться в Европу и возить на себе людей — таких же рабов, как они сами, но часто все же менее достойных жалости, чем лишенные свободы животные.

К вечеру вид равнины становится величавым. Горизонт застилают легкая пелена тумана, позднее выпадающего росой, и пыль от нижегородской земли — мелкого бурого песка, окутывающего небо красноватой дымкой; эти световые эффекты еще более подчеркивают величественный облик всей местности. Из потемок проступают призрачные огоньки, зажигается множество ламп на разбитых вокруг ярмарки биваках; отовсюду слышится говор и гул; из далекого леса доносятся голоса, и внимательный слух различает звуки человеческой жизни даже посреди реки, где расположены плавучие селенья. Что за грандиозное людское сборище! Что за смешение языков, что за резкие отличия в привычках!.. но какое же единообразие в чувствах и мыслях!.. В этом огромном скопище людей каждый стремится лишь заработать немного денег. В других странах жажда наживы скрадывается народным весельем; здесь же торгашество ничем не прикрыто, и бесплодное стяжательство купца преобладает над легкомыслием любопытного; здесь нет ничего поэтического, здесь все исполнено корысти. Нет, я не прав: в этой стране во всем таится поэзия страха и боли; только где же тот голос, что дерзнет ее высказать...

Впрочем, кое-какие живописные картины все же тешат здесь воображение и дают отдохновение взору.

По дорогам, ведущим к различным становищам купцов, которыми окружена ярмарка, по мостам, по песчаным берегам, по спускам к реке тянутся бесконечные вереницы странных повозок, целые обозы порожняком. Эти тележки состоят из пары колес, соединенных осью; они возвращаются с лесных дворов, куда на них отвозили длинные стволы строительного леса. При перевозке бревна были уложены сразу на две или даже три пары колес, теперь же, на обратном пути, каждая тележка отцеплена от остальных и катит сама по себе, запряженная одною лошадию с одним возницей. Возница этот, стоя прямо на оси и сохраняя равновесие, правит своим еле прирученным рысаком с дикарским изяществом и ловкостью, какие встречал я только среди русских. Эти неотесанные Франкони напоминают мне византийских цирковых возничих; одеты они в греческую тунику — прямо на античный лад. Приехав в Россию, попадаешь в Византийскую империю, так же как в Испании — в Африку, а в Италии — в Древний Рим и Афины!..

Бродя в сумерках по окрестностям ярмарки, даже издалека поражаешься тому, как сверкают харчевые лавки, балаганы, трактиры и кофейни!.. Но среди всего этого сияния слышен лишь глухой шум, и есть что-то колдовское в людском безмолвии на фоне ярких огней; ты словно очутился среди людей, замороженных волшебною палочкой чародея. Важные и молчаливые азиаты сохраняют серьезность даже в развлечениях, а русские и есть азиаты, пообтесавшиеся, но вряд ли цивилизованные.

Не устаю слушать их народные песни. В этом месте, где сто разных народов сошлись ради общего торгового интереса, но разделены своими языками и верованиями, музыка обретает двойную цену. Когда речь способна лишь разобщать людей, для взаимопонимания им приходится петь. Музыка составляет противоядие от софизмов. Оттого-то в Европе влияние этого искусства непрестанно растет. В мужицких хорах на берегах Волги есть нечто необыкновенное; мелодии их не назовешь ни сладостными, ни вдохновенными, и все же на нас, людей Запада, они своим множеством далеких несогласных голосов производят впечатление глубокое и свежее. Окружающий пейзаж не смягчает пронизывающей их печали. С обеих сторон обзор ограничен плотным лесом корабельных мачт, местами даже прикрывающих небосвод; остальную же часть картины занимает сплошная безлюдная равнина, окаймленная бескрайними словыми лесами; постепенно огни блекнут и наконец угасают вовсе; и темнота, еще более сгущая вековое безмолвие этих тусклых краев, являет душе новое диво, ибо ночь — мать изумления. Все те сценки, что несколько мгновений назад еще оживляли собою безлюдье, изглаживаются из памяти, лишь только померкнет свет; живое движение уступает место смутным воспоминаниям; и путешественник остается наедине с русскою полицией, которая делает мрак вдвойне пугающим; все виденное кажется сном, и, возвращаясь в свой приют, чувствуешь, как душа твоя полнится поэзией, то есть неясным страхом и горестным предчувствием.

ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ

Особенность финансового устройства. — Серебро здесь замещает бумажные деньги. — Реформа по велению императора. — Как нижегородский губернатор побуждает купцов к повиновению. — Умение подданных действовать наперекор властям, не показывая виду. — Почему они так поступают. — Их честность: указ о денежной системе. — Показная щедрость. — Что делается с духом правосудия и консерватизма при деспотическом правлении. — Работы для украшения Нижнего по велению императора. — Мелочность. — Странность отношений между крепостным и помещиком. — Мнение нижегородского губернатора о деспотическом строе. — Мягкость российских властей. — Как наказывают помещиков, злоупотребляющих своею властью. — Путешественнику трудно дознаться до истины. — Прогулка в экипаже с губернатором. — Вид на ярмарку с вершины китайского павильона. — Общая стоимость ее товаров. — Предвзятости, внушаемые народу правительством. — Портреты нескольких французов: как нелепо выглядят они в чужой стране. — Встреча с французом, приятным в обхождении. — Общество, собравшееся на обеде у губернатора. — Русские женщины; жена губернатора. — Английская причуда. — Анекдот, рассказанный польскою дамой. — В чем польза простых манер. — Прогулка с губернатором. — Беседа с ним. — Мелкие чиновники: какова их роль в империи. — Два аристократии: новая и старинная. — Какая из них ненавистней народу. — Мой фельдъегерь. — Стяг Минаина. — Недобросовестность правительства. — Церковь, перенесенная на новое место, хоть в ней и находилась гробница Минаина. — Петр Великий. — Заблуждение народов. — Характер французов. — В чем истинная слава народов. — Размышления о политике. — Нижегородский кремль. — Распродажа мебели из императорского дворца в московском Кремле. — Женский монастырь. — Воинский лагерь нижегородского губернатора. — Страсть к воинским учениям. — Пение солдат. — Строгановская церковь в Нижнем. — Водевиль на русском языке.

Нижний, 25 августа 1839 года

Этим летом, при открытии ярмарки, губернатор собрал к себе умнейших российских купцов, съехавшихся в те дни в Нижний, и подробно рассказал им о несообразностях существующей в империи денежной системы, которые давно уже выяснились и вызывают множество жалоб.

Как вам известно, в России есть два вида денежных знаков, заменяющих собою товары, — бумажные деньги и серебряная монета; но вам, быть может, неизвестно, что последняя (случай, кажется,

единственный во всей истории финансов) все время меняет свое достоинство, тогда как ассигнации остаются неизменны; странность эта, объяснить которую можно было бы лишь при доскональном исследовании истории и политической экономии страны, влечет за собою необычное следствие: в России серебро замещает собою бумажные деньги, при том что последние и возникли, и существуют по закону лишь затем, чтоб замещать серебро.

Объяснив слушателям сию неправильность и показав все неприятности, из нее вытекающие, губернатор присовокупил, что государь, в неусыпной своей заботе о благополучии народа и благоустройстве империи, решился наконец устранить такой беспорядок, углубление коего грозило нанести тяжкий вред внутренней торговле. Было признано, что есть одно лишь действительное средство — окончательно и бесповоротно установить достоинство серебряного рубля. Преобразование сие было совершено, по крайней мере на словах, императорским указом, который вы можете прочесть ниже (я сохранил номер «Journal de Pétersbourg», где он помещен); для претворения же его в жизнь губернатор в заключение речи своей сказал, что указ, по воле государя, вводится в действие незамедлительно, и, как надеются высшие государственные чиновники (в частности, он сам, нижегородский губернатор), никакие соображения частной выгоды не возобладают над долгом беспромедлительно повиноваться высочайшей воле.

Купечество, к мнению которого обратились в столь важном вопросе, отвечало, что мера эта, сама по себе благая, способна расстроить самые крепкие торговые состояния, если будет применена к ранее заключенным сделкам, которые на нынешней ярмарке должны были лишь совершиться окончательно. *Благословив* высочайшую мудрость Государя и выразив *восхищение* ею, купцы смиренно указали губернатору, что те из них, кто продал свои товары по цене, исчисленной по старой стоимости серебра, и добросовестно договорился об условиях расчета из того соотношения бумажного и серебряного рубля, что существовало в пору прошлогодней ярмарки, — окажутся теперь беззащитны против оправдываемой новым законом нечестности при расплате; а поскольку такой дозволенный обман лишит их прибыли или по крайней мере значительно сократит тот барыш, на который они вправе рассчитывать, то если настоящему указу будет придана обратная сила, они могут разориться: ведь указ вызовет множество мелких частных банкротств, а те не замедлят повлечь за собою и крупные.

Губернатор с мягкостью и спокойствием, которые господствуют в России при всех административных, финансовых и политических словопрениях, отвечал, что он *совершенно* входит в положение почтеннейших представителей купечества, имеющих свой интерес на ярмарочных торгах; но что, в конце концов, прискорбные последствия, коих они опасаются, грозят лишь некоторым частным лицам,

которые к тому же остаются под защитою существующих суровых законов против банкротов, тогда как задержка в применении указа неизбежно имела бы вид известного ослушания, и подобный пример, будучи подан крупнейшим торговым городом империи, имел бы куда опаснейшие последствия для страны, нежели разорение нескольких купцов, ибо такое разорение в конечном итоге причинит вред лишь немногим лицам, тогда как неповиновение указу, одобренное и, прямо скажем, оправданное чиновниками, которые доселе пользовались доверием правительства, явилось бы посягательством на почтение к верховной власти, на государственное и финансовое единство России, то есть на жизненные устои всей империи; нет сомнения, добавил он, что почтеннейшее купечество, учтя сии решительные соображения, со всем усердием соблаговолит отвести от себя чудовищный упрек в заботе о частной своей выгоде вопреки государственным интересам и что даже тень преступного небрежения своим долгом подданных окажется для них страшнее любых денежных потерь, каковые им придется достойно перенести в своем добровольном повиновении и патриотическом рвении.

В итоге такого миролюбивого собеседования на другой день, при открытии ярмарки, было торжественно объявлено об *обратной силе* нового указа, который одобрили и обязались исполнять первейшие негодяи империи.

Рассказал мне об этом, повторяю, сам губернатор, желая показать, сколь мягко действует механизм деспотического правления, облыжно осуждаемый в странах с либеральными учреждениями.

Я позволил себе спросить у этого милого и любезного наставника в тонкостях восточной политики, к чему же привела правительственная мера, а равно та бесцеремонность, с какою сочтено было уместным ввести ее в действие.

«Итог превзошел все мои надежды, — ответил губернатор с довольным видом. — Ни одного банкротства!.. Все новые сделки заключались по новой системе; но куда более удивительно другое: ни один должник, выплачивая старые долги, не воспользовался данною ему законом возможностью обмануть своих займодавцев».

Признаться, поначалу такой итог показался мне ошеломительным, но потом, поразмыслив, я распознал в нем обыкновенную хитрость русских: изданному закону повинуются... лишь на бумаге; правительству же того и довольно. Действительно, его нетрудно удовлетворить, поскольку оно прежде всего и любую ценою добивается безропотности. Политическое состояние России можно кратко определить так: это страна, где правительство говорит все что пожелает, потому что только оно и вправе говорить. Так, в нашем случае правительство объявляет: «закон вошел в силу», — на самом же деле заинтересованные стороны по своему соглашению отменяют несправедливое применение этого закона к старым долгам. В другой стране, где власть не рубит сплеча, правительство остерегалось бы

подвергать честного человека опасности потерять часть причитающихся денег по вине мошенников; изданный им закон, по всей справедливости, касался бы лишь будущих сделок. А здесь то же самое следствие получено из другой посылки, иными средствами. Для достижения этой цели необходимо было, чтобы взбалмошное безрассудство властей возмещалось изворотливостью подданных, оберегающею страну от выходок правительства.

Как бы неумеренно ни увлекались правители выдуманной теорией, некая скрытая сила почти всегда препятствует безрассудному применению теорий на практике. Русским в высокой степени присущ торговый дух; ярмарочные купцы почуяли, что настоящий negociант живет одним лишь кредитом, ради которого можно пойти на жертвы — они окупятся вдвойне. И это еще не все — была, очевидно, и другая причина, которая остановила людей нечестных и заставила умолкнуть слепую страсть к наживе. Поползновения их к банкротству пресекались просто-напросто страхом, этим подлинным властелином России. В данном случае неблагонамеренные купцы, должно быть, думали, что если дело дойдет до судебной тяжбы или просто получит слишком громкую огласку, то на них обрушатся и суд, и полиция, и уж тут-то так называемый закон будет применен со всею строгостью. Их могли посадить в тюрьму, избить палками; да мало ли что еще? быть может, и хуже! Вот по таким-то причинам, вдвойне веским при обычном для России общественном безгласии, они и выказали сей замечательный пример деловой честности, которым столь тщеславился передо мною нижегородский губернатор. На деле поразить меня ему удалось лишь на миг, ибо я не замедлил понять, что если русские купцы не разоряют друг друга, то такое их взаимное расположение имеет ту же подоплеку, что и благодушие ладожских матросов или петербургских крючников и извозчиков, — те тоже сдерживаются не из любви к ближнему, а из опаски, что в их дела вмешается начальство. Я промолчал, глядя, как г-н Бутурлин наслаждается моим изумлением.

— Невозможно понять все величие государя, — продолжал он, — не повидавши содеянного им, и особенно здесь, в Нижнем, где он сотворил настоящие чудеса.

— Прозорливость государя чрезвычайно восхищает меня, — отвечал я.

— Когда мы с вами осмотрим работы, которые выполняются здесь по велению его величества, вы восхититесь еще более. Как видите, благодаря энергическому его характеру и верному взгляду на вещи у нас словно по волшебству произошло упорядочение денежной системы, которое в иной стране потребовало бы бесчисленных предосторожностей.

Верноподданный чиновник скромно промолчал о своей собственной хитрости, проявленной в этом деле; также не дал он и мне времени пересказать ему то, что непрестанно твердят мне втихомол-

ку злые языки, — а именно что всякая финансовая мера наподобие принятой нынче российским правительством предоставляет выгоды и для самой верховной власти, — о чем хорошо известно, но не говорится вслух при самодержавном правлении; не знаю, какие именно уловки использовались в сем случае; но, чтобы представить их себе, вообразим человека, которому некто поверил значительную сумму. Если он имеет власть по своему хотению утроить стоимость каждой из монет, составляющих эту сумму, то он, очевидно, может полностью возратить владельцу доверенные ему деньги и вместе с тем две трети их оставить себе. Не утверждаю, что именно таков был итог принятой по указу императора меры, но, в числе прочего, допускаю и это — я стараюсь понять сплетни, быть может и клеветнические, распространяемые недобольными. Подобные люди также говорят, что прибыль от внезапно осуществленной по высочайшему указу реформы — отъятия у бумажных денег части их прежней стоимости и соответственно повышения достоинства серебряного рубля — предназначена была возместить личной казне государя расходы, которые он понес, когда взялся перестраивать Зимний дворец *за свой счет* и, дабы восхитить Европу и Россию своим великодушием, отклонил подношения от многих городов, частных лиц и крупнейших негоциантов, которые рвались принять участие в обновлении этого государственного здания, служащего резиденцией главе всей империи.

На этом примере самовластного мошенничества, о котором я счит своим долгом рассказать во всех подробностях, можете вы судить о том, как низко ценится здесь правда, как немного стоят благороднейшие чувства и высокопарнейшие фразы, наконец, о том, какая путаница в понятиях проистекает от такого вечного лицедейства. Чтобы жить в России, мало скрытности, требуется еще и притворство. Таиться — полезно, лицемерить же — необходимо; словом, предоставляю вам самому догадываться и судить о том, какие усилия вынуждены делать над собою благородные души и независимые умы, чтобы свыкнуться с таким правлением, где за покой и порядок платят унижением человеческого слова — этой священнойшей из способностей, дарованных небом человеку... В обычном обществе простой народ толкает вперед всю нацию, а правительство его осаживает; здесь же правительство погоняет, а народ его сдерживает, ибо для поддержания политического механизма где-то обязательно должен присутствовать дух консерватизма. До сих пор в одной лишь России видел я пример столь странного политического явления, как указанная перемена понятий. При самодержавном деспотизме революционным оказывается правительство, потому что «революция» означает произвольное правление и насильственную власть*.

* Смотри в конце этого письма указ о денежной системе, взятый из «Journal de Pétersbourg» за 23 июля 1839 года.

Губернатор сдержал свое обещание: он показал мне во всех подробностях работы, которые ведутся в Нижнем по велению государя, дабы всемерно украсить этот город и исправить ошибки его основателей. От берега Оки в верхний город (отделенный, как уже сказано, от нижнего весьма высокою кручей) должна быть проложена превосходная дорога; здесь засыплют овраги, сделают пологий спуск; прямо в толще горы пророят великолепные проемы, городские площади, здания и улицы будут опираться на мощные фундаменты; такие сооружения достойны крупного торгового города. Выемки в береговом откосе, мосты, эспланады, террасы однажды превратят Нижний в один из красивейших городов империи; во всем этом есть нечто грандиозное — но есть и нечто мелочное. Поскольку его величество взял город Нижний под свое особое попечительство, то, всякий раз как возникает хотя бы легкое затруднение при сооружении какой-нибудь стены, всякий раз как собираются обновить фасад старинного дома или же построить новый дом на одной из нижегородских улиц или набережных, — губернатор обязан изготовлять чертеж и представлять сей вопрос на разрешение государя. «Что за человек!» — восклицают русские. «Что за страна!» — воскликнул бы я, если б осмелился подать голос!!

По дороге г-н Бутурлин, чья любезность и гостеприимство выше всяких похвал и благодарностей, сообщил мне любопытные сведения о государственном управлении в России и об усовершенствованиях, каждодневно вводимых в положение крестьян благодаря развиту нравов.

Ныне крепостной может даже владеть землями от имени своего помещика, причем тот не вправе отступить от *морального* обязательства, которое должен выдать своему рабу-богачу. Отнять у этого крестьянина плоды его трудов и промыслов было бы поступком бесчинным, и в царствование императора Николая на это не осмелился бы даже самый властительный боярин; но кто поручится, что он не решится на такое при другом государе? Кто поручится хотя бы за то, что и при нынешнем правлении, несмотря на достопамятное возвращение к справедливости, не найдется алчных и небогатых помещиков, которые сумеют, не обирая вассалов своих открыто, а лишь ловко сочетая угрозы с послаблениями, вымогать у раба по частям те богатства, что не решаются они отнять разом?

Только побывав в России, понимаешь всю ценность установлений, обеспечивающих народную свободу независимо от нрава вельмож. И впрямь: обедневший боярин может пожаловать свое имя владениям разбогатевшего вассала... а тому государство не дает права владеть ни пядью земли, ни даже заработанными им деньгами!! Но ведь такое двусмысленное, официально не узаконенное покровительство зависит единственно от прихоти покровителя.

Как странны отношения между помещиком и крепостным! В них есть что-то ненадежное. Трудно рассчитывать на

долговечность установлений, породивших столь диковинное устройство; а между тем установления эти живут прочно.

В России ничто не называется точным словом; любое сообщение здесь — обман, которого следует тщательно остерегаться. По идее все правила здесь так непреложны, что кажется, будто при таком строе и жить-то невозможно; а в действительности имеется так много исключений, что говоришь себе — при такой путанице противоречивых обычаев и привычек совершенно невозможно управлять государством. Чтоб верно представить себе состояние общества в России, нужно найти решение этой двойной задачи, то есть ту точку, в которой совпадают идея и ее воплощение, теория и практика.

Если верить достопочтенному нижегородскому губернатору, то все очень просто: от привычки к власти формы управления делаются мягкими и необременительными. В них крайне редко встречаются ныне самодурство, произвол, злоупотребления — оттого именно, что общественный строй зиждется на чрезвычайно суровых законах; всякий понимает, что обеспечить соблюдение этих законов, пренебрежение которыми привело бы в расстройство все государство, можно лишь применяя их редко и осмотрительно. Разглядывая вблизи действия деспотического правительства, убеждаешься в его мягкости (разумеется, по словам нижегородского губернатора); если власть и сохраняет в России какую-то силу, то лишь благодаря умеренности отправляющих ее людей. Постоянно находясь между аристократией, которой тем удобней злоупотреблять своими правами, что эти права нечетко определены, и народом, который тем охотней не считается со своим долгом, что требуемое от него повиновение не облагорожено нравственным чувством, — государственные чиновники для поддержания почтения к верховной власти вынуждены как можно реже пользоваться насильственными мерами; такие меры вполне показали бы силу правительства, но оно полагает более уместным скрывать, а не обнажать имеющиеся у него средства. Если помещик совершит что-либо предосудительное, то губернатор несколько раз негласно предостережет его, прежде чем подвергнуть официальному порицанию; если же предупреждений и внушений окажется недостаточно, то в дворянском суде виновнику пригрозят взятием в опеку, и в дальнейшем, буде помещик не одумается, угроза осуществится.

Такая непомерная осторожность очень мало меня обнадевает относительно участи крепостного, который успеет сто раз умереть под кнутом своего барина, прежде чем барина этого, осторожно предупредив и должным образом пожурив, потребуют наконец к ответу за чинимые им несправедливости и жестокости. Правда, и помещик, и губернатор, и судьи в любой день могут потерять свое положение и отправиться в Сибирь; но мне здесь видится скорее воображаемое утешение для несчастного народа, нежели подлинная и действенная мера защиты от произвола низшего начальства, всегда склонного злоупотреблять вверенною ему властью.

Простолюдины в частных своих распрях друг с другом очень редко обращаются в суд. Этот их зоркий инстинкт представляется верным признаком несправедности судей. Если люди редко затевают тяжбы, то тому могут быть две причины — либо справедливость подданных, либо несправедливость судей. В России почти все тяжбы прекращаются по решению властей, которые обычно *советуют* сторонам пойти на разорительную для обеих мировую; те, однако, предпочитают взаимно поступиться частью своих притязаний и даже самых бесспорных своих прав, лишь бы не вести опасную тяжбу наперекор чиновнику, которого наделил властью сам император. Теперь вам ясно, отчего русские могут хвалиться тем, как редко люди у них судятся друг с другом. Страх повсюду производит одно и то же благо — тишину, но без спокойствия.

Так неужели вам не жаль путешественника, очутившегося в обществе, где дела убеждают ничуть не более слов? Своим бахвальством русские производят на меня действие прямо противоположное тому, на какое рассчитывали: я сразу вижу, что меня пытаются морочить, и держусь настороже; оттого получается, что из беспристрастного наблюдателя, каким я был без их похвалы, я невольно превращаюсь в наблюдателя враждебного.

Губернатор пожелал показать мне всю ярмарку; но на сей раз мы лишь быстро объехали ее в экипаже; я полюбовался превосходным ее видом, не хуже чем в панораме, — чтобы насладиться этою великолепною картиной, нужно подняться на верхушку одного из китайских павильонов, которые возвышаются над всем временным городком. Более всего поразило меня, какое огромное множество богатств ежегодно свозится сюда, в этот очаг промышленности, особенно если учесть, что он как бы затерян среди пустынь, окружающих его со всех сторон, сколько хватает глаз и воображения.

По словам губернатора, все товары, доставленные в этом году на Нижегородскую ярмарку, стоят более ста пятидесяти миллионов, судя по декларациям самих купцов, которые, в силу восточной недоверчивости, всегда занижают стоимость привезенного ими. Хотя на Нижегородскую ярмарку присылают дань своих полей и промыслов все страны мира, однако значением своим это ежегодное торжище обязано прежде всего продовольствию, драгоценным камням, тканям и мехам, привозимым из Азии. Оттого иностранцы, привлеченные славою ярмарки, более всего дивятся, как много наезжает сюда татар, персиян, бухарцев; и все же, повторяю, сколь бы ни был велик размах торговли на ярмарке, мне, простому любопытствующему, она кажется менее значительною, чем ее расписывают. На это мне возражат, что в живописности она потеряла по вине императора Александра; действительно, он выпрямил и расширил ее улицы между торговых рядов, и прямизна их выглядит уныло. Только ведь в России угрюмо-безмолвным предстает все и вся; взаимным

недоверием правительства и подданных отовсюду изгоняется радость. Даже умы здесь расчерчены по линейке, даже чувства взвешены, расчислены, соизмерены друг с другом, как будто любая страсть, любое удовольствие должно отвечать за свои последствия перед строгим исповедником в полицейском мундире. Всякий русский — словно поднадзорный школяр. В огромной этой школе под названием «Россия» жизнь течет размеренно и взвешенно, до тех пор пока нужда и тоска не сделаются совсем уж невыносимы, и тогда все сразу обрушивается. В такие дни наступают политические сатурналии. Однако ж, повторяю, отдельные ужасные происшествия такого рода не нарушают общего порядка. Порядок этот тем устойчивей и тем незыблемей, чем более он походит на смерть; ведь истреблять можно только живое. В России почтение к деспотической власти сливается с мыслью о вечности.

В Нижнем сейчас находится несколько французов. Несмотря на горячую свою любовь к Франции — стране, которую я столько раз покидал, досадуя на вздорные затеи ее людей и клянясь никогда не возвращаться, и куда я, однако, всякий раз возвращаюсь и где надеюсь умереть; несмотря на такую безотчетно-патриотическую тягу к родным корням, которая во мне сильнее рассудка, я все же в странствиях своих, встречая в дальних краях множество соотечественников, не перестаю подмечать смешные черты французской молодежи и поражаться, сколь явственно выступают наши недостатки в окружении чужеземцев. Я потому толкую здесь о молодежи, что в этом возрасте душевные черты еще не так стерты под действием обстоятельство и характеры являются более отчетливо. Итак, следует признать, что наши молодые соотечественники выставляют следы на посмешище, простодушно пытаюсь пустить пыль в глаза наивным обитателям других стран. В их представлениях столь прочно утвердилось превосходство всего французского, что оно даже не подлежит обсуждению и кажется им аксиомою, на которую впредь можно опираться без предварительных доказательств. Их непробиваемая самоуверенность, полнейшее самодовольство и самонадеянность, которая была бы искренно-простодушною, если б не сочеталась с известным остроумием, — ужасная смесь, порождающая чванство, зубоскальство и злословие; их образованность, обычно оторванная от воображения и превращающая человеческий ум в чердак, где кое-как сложены даты и факты для сухих, обесценивающих всякую истину ссылок, — ибо без души можно быть точным, но истину постичь нельзя; их вечная забота о своем тщеславии, заставляющая в любой беседе выслеживать всякую высказанную или не высказанную другим мысль, чтобы обратить себе на пользу, — какая-то гонка за похвалами, где всегда побеждает тот, кто бесстыдней всех хвалит себя сам, кому каждое свое или чужое слово или дело приносит выгоду; их пренебрежение к людям, порой унизи-

тельное в своем простосердечии, когда бахвал даже не замечает, как оскорбляет окружающих своим самомнением (выдавая его вслух или тайне за справедливую оценку своих заслуг); их манера постоянно взывать к учтивости ближнего, которая в конечном счете есть не что иное, как совершенная неучтивость к нему; их нечувствительность и обидчивость, язвительный задор, возводимый в патриотический долг, способность чувствовать себя задетым даже при наилучшем к себе отношении и неспособность исправиться даже после самого сурового урока; наконец, непомерное любование собою, которым глупость, как щитом, прикрывается от правды, — все эти черты, к которым вы куда лучше меня сумеете прибавить и кое-какие другие, видятся мне в том поколении французов, что десять лет тому назад были молоды, а ныне превратились в зрелых людей. Подобные характеры подрывают уважение к нам среди чужеземцев; в Париже образцы таких причуд столь многочисленны, что на них больше не обращают внимания, и особого впечатления эти люди не производят, теряясь в толпе себе подобных, как звуки разных инструментов сливаются в оркестре; но стоит им предстать порознь, на фоне общества, где царят иные страсти и умственные навыки, чем те, что волнуют французский свет, как их изыяны делаются удручающе явными для всякого путешественника, который подобно мне любит свою страну. Судите же сами, как рад я был встретить здесь, на обеде у губернатора, г-на ***, одного из тех, кто в наши дни более всего способен дать иностранцам благоприятное представление о молодой Франции. Правда, по происхождению он принадлежит к Франции старой; но именно соединению новых взглядов со старинными преданиями обязан он отличающимися его изычными манерами и верностью суждения. Он много повидал и хорошо о том рассказывает, о себе же самом думает не лучше, чем думают о нем другие, — быть может, даже чуть хуже; оттого было мне весьма поучительно и увлекательно услышать после обеда его рассказ о повседневном опыте своей жизни в России. Обманутый некою петербургскою кокеткой, он нашел утешение от любовных разочарований в том, чтобы с удвоенным вниманием изучать эту страну. Он человек ясного ума, зоркий наблюдатель, точный рассказчик, что не мешает ему слушать других и даже — тут вспоминаются лучшие дни французского света — самому побуждать их высказываться. Беседа с ним, поневоле проникаешься убеждением, будто изыщное общество по-прежнему зиждется у нас на отношениях взаимной любезности; забываешь о том, что нынешние наши салоны заполнил грубый и неприкрытый эгоизм, и веришь, что светская общительность, как и прежде, выгодна для всех; но стоит задуматься, как старомодное это заблуждение развеивается, оставляя тебя во власти унылой действительности, где воры крадут мысли и остроуи, где литераторы предают друг друга — одним словом, где царят законы войны, с наступлением мира единовластно возобладавшие в изычном свете.

Не могу избавиться от таких печальных сближений, слушая приятную речь г-на *** и сравнивая ее с речью его современников. Именно о манере беседовать, в еще большей степени чем о стиле книг, можно сказать, что это сам человек. Письменная речь поддается приукрашиванию, устная же нет — если ее приукрашивать, то от того больше потеряешь, чем выгадаешь; ибо в разговоре наигранность служит не личиной, а уликой.

Общество, собравшееся вчера на обед у губернатора, являло собою странное соединение противных начал; кроме молодого г-на ***, чей портрет набросан выше, был там и еще один француз, некто доктор Р ***, который, как мне рассказали, плывал на государственном корабле к полюсу, зачем-то сошел на берег в Лапландии и из Архангельска прибыл прямо в Нижний, не заезжая даже в Петербург, — утомительное и бесполезное путешествие, которое способен вынести лишь человек железного сложения; действительно, вид у него как у бронзовой статуи; уверяют, что это ученый натуралист; лицо у него примечательное, в нем есть что-то неподвижное и вместе таинственное, захватывающее воображение. Что же до его рассказов — жду, когда он вернется во Францию, ибо в России он не рассказывает ничего. Русские хитрее его; они все время что-нибудь да говорят, правда, совсем не то, чего от них ожидают, но все же довольно, чтобы не выглядеть совсем бессловесными; наконец, присутствовало на обеде целое семейство молодых изысканных англичан из самого высшего круга, за которыми я неотвязно следую с самого своего приезда в Россию — повсюду их встречаю, никак не могу избежать этих встреч, но до сих пор так и не имел случая прямо свести с ними знакомство. Все это общество вкуче с местными чиновниками и другими местными жителями, которые открывали рот лишь для еды, разместилось за губернаторским столом. Нечего говорить, что в подобном кругу общей беседы быть не могло. Чтобы развлечься, оставалось только наблюдать пеструю смесь имен, физиономий и народностей. Женщины в русском обществе достигают естественности лишь путем тщательного воспитания; речь у них искусственная, взятая из книг; и чтоб избавиться от книжного педантизма, им требуется зрелый опыт, знание людей и вещей. Нижегородская губернаторша все еще слишком провинциальна, слишком верна себе и своему русскому происхождению, одним словом, слишком правдива, чтоб казаться непринужденною, подобно придворным дамам; к тому же она не очень бегло говорит по-французски. Вчера, в салоне, ее роль ограничивалась тем, чтобы принимать гостей, выказывая похвальнейшее стремление к учтивости; но она ничего не делала для того, чтоб они чувствовали себя уютно, чтоб им легче было общаться между собой. Оттого был я весьма рад, вставши от стола, потолковать в уголке наедине с г-ном ***. Разговор наш близился к концу, так как все гости губернатора собирались расходиться, когда к соотечественнику моему подошел знакомый с ним молодой лорд *** и церемонно

попросил его представить нас друг другу. Сия лестная просьба была высказана юным англичанином с присущею его стране учтивостью, которая хоть и неизящна, но, несмотря на то или, пожалуй, благодаря тому, не лишена своеобразного благородства, состоящего в сдержанности чувств и холодности манер.

— Я уже давно, милорд, — отвечал я, — желал найти случай свести с вами знакомство и признателен вам за то, что вы сами это предлагаете. Нам в этом году словно судьбою определено часто встречаться: надеюсь, в будущем я сумею лучше воспользоваться случаем, нежели удавалось мне до сих пор.

— Весьма жаль с вами расстаться, но я прямо сейчас уезжаю, — ответил англичанин.

— Мы еще увидимся в Москве.

— Нет, я еду в Польшу; карета уже у подъезда, и я выйду из нее только в Вильне.

Я чуть не рассмеялся, видя по лицу г-на ***, что он думает о том же, о чем и я: после того как мы целых три месяца — при дворе, в Петергофе, в Москве, да вообще повсюду — виделись с молодым лордом, ни разу не заговорив друг с другом, он мог бы и не доставлять сразу трем людям доuku светского знакомства, бесполезного для него и для нас. Казалось, после совместного обеда он при желании мог бы и поболтать с нами хоть четверть часа — ничто не мешало ему принять участие в нашем разговоре. Щепетильно-церемонный англичанин оставил нас в недоумении от своей запоздалой, стеснительной и никчемной учтивости; сам же он, удаляясь, казался равно доволен и тем, что свел знакомство со мною, и тем, что никак не воспользовался этим *преимуществом*, если только то было преимущество.

Его неловкий поступок приводит мне на память другой случай, приключившийся с одной дамой.

Дело было в Лондоне. Главную роль в этой истории сыграла одна пленительная и остроумная полячка, которая сама мне ее и рассказала. Изящество речей, глубина познаний, не говоря уже о родовитости, позволяют ей блистать, если даже не первенствовать, в высшем свете, несмотря на несчастья ее страны и семейства. Я намеренно говорю «несмотря»: ибо, что бы ни думали и ни утверждали любители громких фраз, несчастье ничем не помогает даже и в лучшем обществе; напротив, оно многому мешает. Однако же даме, о которой идет речь, оно не мешает слыть как в Париже, так и в Лондоне одною из изысканнейших и любезнейших женщин нашего времени. Будучи приглашена на большой званый обед, она скучала, сидя за столом между хозяином дома и каким-то незнакомцем; скучать ей пришлось долго — хотя в Англии и начинается проходить мода на бесконечные обеды, они все же до сих пор тянутся там дольше, чем в других странах; терпеливо снося эту муку, дама пыталась разнообразить круг своего общения, и как

только хозяин на миг оставлял ее в покое, оборачивалась к своему соседу справа; но всякий раз она видела перед собою каменное лицо, и такая неподатливость ее обескураживала, несмотря на всю ее аристократическую непринужденность и живое остроумие. Так, в унынии, и прошел этот обед; но и после него все хранили мрачную серьезность; безрадостное выражение столь же неотъемлемо от лица англичан, как мундир от солдата. Вечером мужчины вновь встретились с женщинами в салоне, и тут, не успела рассказчица этой истории заметить своего соседа слева, столь непроницаемого за обедом, как тот, даже не взглянувши на нее, устремился через всю комнату к хозяйну и с торжественным видом попросил представить его любезной иностранке. Когда совершились все требуемые церемонии, сосед наконец-то открыл рот и, набравши полную грудь воздуха, произнес с почтительным поклоном: «Мне *не терпелось*, сударыня, познакомиться с вами».

От такой *нетерпеливости* дама чуть было не расхохоталась, совладав с собою лишь благодаря светской опытности; в конце концов она обнаружила, что церемонный гость на самом деле человек образованный и даже обаятельный, — так мало значат внешние формы в стране, где заносчивость делает большинство людей нерешительными и необщительными.

Это доказывает нам, что непринужденность манер, легкость в беседе, одним словом, истинная эlegantность, требующая добиваться для любого встреченного в салоне человека такого же удовольствия, как и для себя, — что все это отнюдь не пустое и неважное дело, как считают те, кто судит о свете лишь понаслышке, но полезный и даже необходимый навык для жизни в высшем обществе, где дела или же развлечения неперестанно сводят вместе незнакомых между собою людей. Если б для знакомства с ними требовалось всякий раз затрачивать столько же терпения, сколько понадобилось мне или же польской даме, чтобы получить право обменяться парой слов с англичанином, то пришлось бы просто отказываться от таких знакомств... которые зачастую бывают весьма познавательны или занятны.

Нынче утром губернатор, чья любезность не знает усталости, заехал за мною, чтобы показать достопримечательности старого города. При нем были слуги, что избавило меня от необходимости вторично испытывать послушание своего фельдъегеря, с притязаниями которого губернатор склонен считаться.

Этот мой курьер, не желающий более выполнять свою работу, поскольку уже предвкушает чаемые им дворянские привилегии, — прекомичный образец той породы людей, какую я описал выше и какой не встретишь нигде кроме России.

Хотел бы я описать вам его тонкую талию, ухоженное платье — ухоженное не затем, чтобы иметь лучший вид, но в качестве знака, показывающего, что человек достиг почтенного положения в общест-

ве; выражение его лица — хитрое, жесткое, сухое и низменное, которому еще предстоит сделаться надменным; наконец, весь характер этого глупца, живущего в стране, где глупость отнюдь не безобидна, как у нас, ибо в России она всегда пробьет себе путь, если только призовет на помощь угодливость; однако этот малый ускользает от всякого описания, как уж ускользает от взгляда... Меня этот человек пугает, словно некое чудовище; он порождение двух политических сил, внешне совершенно противоположных, но на деле во многом близких и в сочетании своем особенно ужасных, — деспотизма и революции!! Я не решаюсь заглядывать в его глаза мутно-голубого цвета с белобрысыми, почти бесцветными ресницами; не могу видеть его лица, загорелого на солнце и потемневшего от кипящей в душе постоянно сдерживаемой злобы; не могу видеть его бледных поджатых губ, не могу слушать его жеманную и вместе отрывистую речь, чья интонация прямо противоречит смыслу сказанного, — всякий раз мне думается, что это приставленный ко мне шпион-проводжатый, с которым считается даже сам нижегородский губернатор; при мысли этой мне хочется взять почтовых лошадей и бежать прочь из России, не останавливаясь до самой границы.

Могущественный нижегородский губернатор не осмелился принудить самолюбивого курьера сесть на передок моей коляски; в ответ на жалобу мою этот важный и могущественный чиновник, представляющий здесь верховную власть, лишь посоветовал мне быть терпеливым!! Так кто же обладает силою в подобном государстве?

Как вы сейчас увидите, даже смерть не дает прочного покоя в этой стране, беспрестанно потрясаемой деспотическими прихотями.

В Нижнем похоронен Минин, тот самый крестьянин-герой, освободитель России, чью память стали особенно чтить после французского нашествия. Гробницу его можно видеть в городском соборе рядом с гробницами нижегородских великих князей.

Именно из Нижнего в ту пору, когда страна была захвачена поляками, раздался призыв к освобождению.

Простой крепостной крестьянин Минин пришел к знатному дворянину Пожарскому; речи его были полны воодушевления и надежды. Воспламененный суровым и святым словом Минина, Пожарский собрал небольшую дружину; своим мужеством эти благородные герои привлекли к себе других, ополчение двинулось походом на Москву, и Россия была освобождена.

После отступления поляков стяг Пожарского и Минина неизменно был у русских предметом почитания; его берегли как общенародную реликвию крестьяне одного из сел между Ярославлем и Нижним. Однако в 1812 году, стремясь поднять дух солдат, власти решили оживить исторические воспоминания, в особенности память

о Минине, и испросили у хранителя мининского стяга сей палладиум, дабы новейшие освободители отечества несли его во главе войска. Блюстители национального сокровища согласились расстаться с ним лишь из любви к родине и под клятвенное обещание вернуть им стяг после победы покрытым славою новых триумфов. Итак, стяг Минина преследовал нашу отступавшую армию; затем он был привезен в Москву, однако законным владельцам его не вернули; пренебрегая торжественными клятвами, его поместили в сокровищницу Кремля; а в ответ на справедливые жалобы крестьян, лишенных своего достояния, им послали копию чудесного знамени — как сказали им с насмешливой снисходительностью, в точности похожую на подлинник.

Таковы уроки нравственности и добросовестности, которые русское правительство преподает своему народу. Впрочем, в другой стране такое же правительство вело бы себя иначе: плуты всегда точно знают, с кем имеют дело; между обманщиком и обманутым существует совершенное сходство, и различаются они лишь силою.

Мало того! сейчас вы убедитесь, что в этой стране с историческою правдой считаются не больше, чем с клятвенным обещанием; здесь так же невозможно определить подлинность священных камней, как и достоверность слов и документов. В каждое новое правление исторические здания преобразуются заново, словно бесформенная глина, по воле государя; и благодаря нелепой страсти, громко именуемой прогрессивным развитием цивилизации, ни одно здание не остается стоять на том месте, где было поставлено при основании; даже могилы не защищены от бурь императорской прихоти. В России и мертвые должны повиноваться причудам того, кто царит над живыми. Так и императору Николаю, который ныне ничтоже сумняшеся занялся архитектурою и перестраивает Кремль в Москве, подобные дела уже не впервой; ему уже случалось заниматься ими в Нижнем.

Войдя нынче утром в городской собор, я был взволнован его видимою ветхостью; я думал, что коль скоро здесь находится гробница Минина, то, значит, здание это стоит в неприкосновенности более двухсот лет; от такой уверенности я находил вид его еще более величественным.

Губернатор подвел меня к усыпальнице героя; его могила неотличима от надгробий старинных владетелей Нижнего, и император Николай, придя посетить ее, в патриотизме своем изволил спуститься прямо в подземелье, где покоится тело.

— Вот один из самых красивых и примечательных храмов, какие мне довелось видеть в вашей стране, — сказал я губернатору.

— Это я его выстроил, — отвечал г-н Бутурлин.

— Как? что вы хотите сказать? вы, вероятно, восстановили его?

— Да нет; старый храм совсем обветшал; государь счел за лучшее не чинить его, а отстроить целиком заново; еще менее двух

лет назад он стоял на пятьдесят шагов дальше и выступал из ряда прочих зданий, так что портал план нашего кремля.

— А как же кости Минина, его останки? — воскликнул я.

— Их выкопали вместе с останками великих князей, похороненных прежде; теперь все они в новой усыпальнице — вот под этим камнем.

Мне невозможно было бы ответить нижегородскому губернатору, не перевернув все понятия в голове человека, столь истово преданного долгу; молча последовал я за ним смотреть небольшой обелиск на площади и огромные крепостные стены этого кремля.

Теперь вы знаете, как понимают здесь уважение к праху мертвых, почитание памятников старины и поклонение изящным искусствам! Притом император, зная, что старина заслуживает почтения, пожелал, чтоб церковь-новостройку чтили наравне с прежнею; как же он поступил? объявил ее старинною, и она такою стала; так власть берет здесь на себя роль божества. Новый храм Минина в Нижнем является старинным, а ежели вы сомневаетесь в сей истине, то вы просто бунтовщик.

Единственное искусство, в котором преуспели русские, — это искусство подражать зодчеству и живописи Византии; лучше всякого другого современного народа они умеют изготавливать старину, — оттого-то сами ее и не имеют.

Везде и всюду здесь один и тот же порядок, учрежденный Петром Великим и продолженный его преемниками, которые всего лишь учились у него. Сей железный человек счел и доказал, что волею московского царя можно заменить все — законы природы, правила искусства, истину, историю, человечность, кровные узы, религию. Почитая и поныне этого бесчеловечного человека, русские выказывают себя более тщеславными, нежели рассудительными. «Поглядите, — говорят они, — чем была Россия для Европы до пришествия великого государя и чем стала она после его царствования; вот чего может добиться гениальный властитель...» Подобным способом нельзя оценивать славу народа. Надменное стремление оказывать влияние на чужую жизнь — это материализм в политике. В числе цивилизованнейших стран мира есть государства, имеющие власть только над своими собственными подданными, да и то немногочисленными; в мировой политике государства эти ничего не значат; их правительству по праву добились всеобщей признательности не кровавыми завоеваниями и не угнетением других народов, но лишь благим примером, мудрыми законами, просвещенным руководством. Обладая такими достоинствами, небольшой народ может сделаться не захватчиком и не угнетателем, но светочем для всего мира, что стократ предпочтительнее.

Приходится лишь сожалеть, что эти простые, но мудрые понятия еще столь чужды даже самым лучшим, самым блестящим умам,

и не только в России, но и во всех странах, особенно же во Франции. Мы по-прежнему заворожены войною и захватами, мы по-прежнему не внемлем урокам, — получаемым и от Бога небесного, и от бога земного, имя которому — выгода; и все же я не теряю надежды; ибо при всех заблуждениях наших мыслителей, при всей циничности нашего языка и при всей привычке клеветать на самих себя мы все-таки остаемся народом глубоко верующим... Право же, тут нет парадокса: мы беззаветнее всех на свете преданы своим идеям; а разве для христианских народов идеи не заменяют собою кумиров?

К несчастью, в наших предпочтениях мы недостаточно разборчивы и независимы; прежнего кумира, ставшего презренным, мы не умеем отличить от того, которому должно поклоняться. Надеюсь дожить до той поры, когда у нас будет разбит кровавый идол войны, грубой силы. Народу всегда хватает и могущества и земли, когда у него есть мужество жить и умирать за правду, неустанно преследуя заблуждение, проливая кровь в борьбе против лжи и несправедливости и по праву славясь сими высокими добродетелями! Афины были ничтожною точкой на земле; но точка эта сделалась светилом всей древней цивилизации; и в то время как светило это сияло ярким блеском, сколь много других народов, могучих своею численностью и обширностью земель, жили войнами и захватами и умирали от никчемного и безвестного истощения! перегонной людских поколений дает урожай лишь на почве, взрыхленной просвещением. Что бы значила сейчас Германия, господствуй повсюду устарелые понятия завоевательной политики? А между тем, несмотря на свою раздробленность, на материальную слабость составляющих ее мелких государств, Германия ныне, благодаря своим поэтам, мыслителям, ученым, благодаря разнообразию в государственном строе ее частей, где есть и князья и республики, соперничающие не в могуществе, но в просвещенности, в высоте чувств, в проницательности ума, — по уровню цивилизации стоит никак не ниже самых передовых стран мира.

Народы обретают право на признательность человечества не тогда, когда алчно поглядывают на соседей, а когда обращают все силы свои на себя, добиваясь высших достижений как в духовной, так и в материальной цивилизации. Подобная заслуга настолько же почетней, чем доблесть, насаждаемая мечом, насколько вообще добродетель стоит выше славы...

Устарелое выражение «первостепенная держава», применяемое в политике, еще долго будет причиной наших бед. Самолюбие — привычка, глубже всех укорененная в человеке; а потому Бог, основавший учение свое на смирении, — истинный Бог даже со здраво политической точки зрения, ибо только он один указал нам путь бесконечного прогресса, прогресса всецело духовного, то есть внутреннего; однако свет вот уже восемнадцать столетий никак не

поверит его слову; и все же слово это, сколько бы его ни отрицали и ни оспаривали, составляет для нас источник жизни; как же много дало бы это слово неблагодарному свету, будь оно принято всеми с верою? Применить евангельскую мораль в международной политике — такова задача будущего! Европа, с ее старыми, глубоко цивилизованными народами, послужит тем святилищем, откуда сияние веры вновь разольется по вселенной.

Мощные укрепления нижегородского кремля извиваются вдоль обрыва гораздо более высокого и крутого, чем холм Кремля московского. Ступенчатые стены, зубцы, откосы, арки этих укреплений представляют множество живописных видов; и все же, несмотря на красоту местности, напрасно было бы ожидать здесь того волнения, что вызывает московский Кремль — священная крепость, самый облик которой заслуживает исторического описания; там история запечатлена в камне. Московский Кремль — вещь неповторимая, единственная в России и во всем мире.

Кстати, мне хотелось бы добавить здесь одну подробность, упущенную в прежних письмах.

Как вы помните из моего описания, старый царский дворец в Кремле, со своими уступчатыми этажами, рельефными украшениями и азиатскою росписью, напоминает индийскую пирамиду. Мебель во дворце загрязнилась и обветшала; и вот в Москву были посланы искусные краснодеревцы и обойщики, сделавшие *точные копии* старинных предметов. Эта мебель, *оставшаяся прежнею*, хоть и полностью изготовленная заново, украшает теперь обновленный, свежоштукатуренный и расписанный и вместе с тем оставшийся старинным дворец — сущее чудо! Так вот, когда заново построенная старая мебель разместилась в обновленном дворце, то остатки подлинной старой мебели были там же, в Москве, проданы с молотка у всех на виду. В стране, где почтение к верховной власти является священным, не сыскалось никого, кто пожелал бы уберечь предметы царской обстановки от участи заурядной рухляди или же просто возмутился бы такою вопиюще непочтительностью. Когда здесь говорят «держать у себя старинные вещи», то это значит, что новым изделиям даются старые названия; починять предметы старины — значит делать из их остатков современные вещи; на мой взгляд, такая «починка» есть просто варварство.

Мы посетили красивый женский монастырь; сами монахини выглядят бедно, но в доме у них царит примернейшая чистота. Вслед за сим приютом благочестия губернатор повез меня смотреть свой воинский лагерь: здесь всюду господствует страсть к воинским упражнениям, парадам и бивуакам. Губернаторы живут так же, как и император, — играют в солдатиков, командуя полковыми учениями; и чем большее собирается при этом войско, тем более они гордятся сходством своим с государем. В нижегородском воинском лагере стоят полки, собранные из солдатских сыновей; был у же

вечер, когда подъехали мы к их палаткам; они размещены на равнине, продолгающей собою возвышенный берег, на котором стоит старый город.

Вдали, на открытом воздухе, шестьсот человек разом пели молитву, и этот военно-религиозный хор производил поразительное впечатление: как будто под чистым и глубоким небом величественно подымалось ввысь благовонное облако; молитва, исторгающаяся из человеческой души, полной страданий и страстей, подобна столбу огня и дыма, что вздымается из развороченного кратера вулкана и достигает небосвода. И кто знает — не в том ли смысл огненного столпа, который видели сыны Израилевы в бесконечных своих блужданиях по пустыне? Голоса бедных славянских солдат издали звучали мягче и как бы с высоты; когда до слуха нашего донеслись первые созвучья, их палатки еще были скрыты складкою равнины. Эти небесные голоса отзывались слабым эхом на земле, и музыка их прерывалась воинственным оркестром — ружейными залпами, что раздавались в отдалении, звуча, казалось, не громче барабанов в Опере и притом куда уместнее. Когда же взору нашему открылись хижины, откуда неслись столь гармонические звуки, то опалившие палаточный холст лучи заходящего солнца прибавили к очарованию звуков еще и волшебство красок.

Губернатор, видя, с каким удовольствием слушаю я эту музыку под открытым небом, дал мне вволю ею насладиться, наслаждаясь и сам, ибо этого истинно гостеприимного человека ничто так не радует, как возможность порадовать гостей. Лучший способ засвидетельствовать ему свою признательность — показать, что вы довольны.

Из нашей поездки воротились мы уже в сумерках и, снова попав в нижний город, остановились у церкви, которая привлекала мой взор с самого приезда в Нижний. Это настоящий образец русской архитектуры — не в древнегреческом, не в греко-византийском стиле, а вроде фаянсовой игрушки, как московский Кремль или же храм Василия Блаженного, только не столь пестрый по расцветке и формам. Здание это, частью кирпичное, частью оштукатуренное, украшает собою нижнюю улицу, красивейшую во всем городе; впрочем, оно покрыто такими причудливыми лепными узорами, таким множеством ложных колонок, цветов, розеток, что при виде столь богато изукрашенного храма невольно приходит на ум большая настольная ваза саксонского фарфора. Этот шедевр прихотливого стиля построен недавно, от щедрот семейства Строгановых — знатных вельмож, ведущих род свой от первых русских купцов, которых обогатило завоевание Сибири при Иване IV. Тогдашние братья Строгановы сами набрали войско бесстрашных завоевателей, которые и присоединили к России целое царство. Их солдаты были словно сухопутные флибустьеры.

Внутренность Строгановской церкви не отвечает ее внешности,

и все же в целом я решительно предпочитаю это причудливое сооружение тем неловким копиям римских храмов, что громоздятся на площадях Петербурга и Москвы.

День наш завершился посещением оперного театра на ярмарке, где давали русский водевиль. Подобные водевили опять-таки не что иное, как переводы с французского. Местные жители, кажется, весьма горды этою заграничною новинкой. О воздействии представления на души зрителей судить я не мог, поскольку зал был в полном смысле слова пуст. Помимо чувства скуки и жалости к незадачливым актерам, игравшим без публики, спектакль этот вновь возбудил во мне то неприятное впечатление, какое всегда производит на наших театрах смешение разговорных и музыкальных сцен; вообразите же себе это варварство, но без французской остроты и колкости; не будь рядом губернатора, я бы сбежал еще в первом акте; однако пришлось терпеть до конца представления.

Чтоб развеять скуку, я целую ночь писал вам письмо, но от таких усилий сделался совсем болен. Меня лихорадит, ложусь спать.

МАНИФЕСТ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА

Мы, Николай Первый, милостью Божьей император и самодержец, и т. д.

Разные перемены, временем и силою обстоятельств в нашей денежной системе произведенные, имели последствием не только присвоение государственным ассигнациям, вопреки первоначальному их назначению, первенства над серебром, составляющим основную империи нашей монету, но и возрождение, чрез то самое, многообразных лажей, в каждой местности различных.

Убеждаясь в необходимости положить, без всякого отлагательства, конец сим колебаниям, нарушающим единство и стройность нашей монетной системы и влекущим за собою потери и затруднения разного рода для всяких сословий в государстве, мы, во всегдашней попечительности о пользах наших верноподданных, признали за благо принять решительные меры к пресечению происходящих от сего неудобств и к упреждению оных на будущее время.

Вследствие того, по подробном обсуждении всех принадлежащих сюда вопросов в Государственном совете, постановляем ниже следующее:

1. В восстановление правила Манифеста блаженной памяти императора Александра 1-го 20 июня 1810 года, серебряная российского чекана монета отныне впредь устанавливается главной государственною платежною монетою, а серебряный рубль, настоящего достоинства и с настоящими его подразделениями, главной, непрменяемо законною мерою (монетною единицею) обращающихся в государстве денег; соответственно чему все подати, повинности и сборы, а также разные платежи и штатные расходы, в свое время имеют быть исчислены на серебро.

2. При таком установлении серебра главной платежною монетою, государственные ассигнации, согласно первоначальному их назначению, остаются вспомогательным знаком ценности, с определением им отныне впредь единожды навсегда постоянного и неперемняемого на серебро курса, считая серебряный рубль, как в крупной, так и в мелкой монете, в три рубля пятьдесят копеек ассигнациями.

3. По сему постоянному и неперемняемому курсу предоставляется на волю плательщиков вносить как серебряною монетою, так и ассигнациями: а) все казенные подати и повинности, земские, мирские и другие сборы и все вообще казною предназначенные и ей следующие платежи; б) все платежи по особым таксам, как наприм. почтовые и весовые деньги, прогоны, за соль, за откупные напитки, гербовую бумагу, паспорта, бандероли (табачные) и проч., и в) все платежи, следующие государственным кредитным установлениям, приказам общественного призрения и частным, правительством учрежденным, банкам.

4. Равным образом и все штатные расходы, а равно все вообще платежи из казны и кредитных установлений и проценты по билетам Государственного казначейства и по государственным фондам, на ассигнации исчисленным, будут производимы по тому же самому постоянному курсу, серебром или ассигнациями, соображаясь с личностью того или другого рода денег.

5. Все платежи и выдачи вышепоименованные имеют быть производимы по означенному курсу со дня обнародования настоящего манифеста. Но курс податный, который на нынешний год — в ожидании принятия окончательных по сему предмету мер — оставлен был в 360 копеек, как уже утвержденный, сохраняет сей размер свой и впредь по 1840 год в отношении собственно податей, повинностей и других платежей, в ст. 3, лит. а и б, означенных, равно как и по всем штатным и тому подобным определительным из казны выдачам. На том же основании, по неудобству для торгового сословия всякой перемены в середине года, оставляется по 1840 год и настоящий курс таможенный.

6. Все счета, условия и вообще всякого рода сделки, как в делах казны с частными лицами и обратно частных лиц с казною, так и во всех вообще делах частных людей между собою, отныне имеют быть производимы и совершаемы единственно на серебряную монету. Поелику же, по обширности империи, правило сие не может вопрепят действия своего вдруг на всем ее пространстве, то оно делается во всей своей силе обязательным с 1 января 1840 года, и с того времени ни присутственные места, ни маклера и нотариусы не должны принимать к совершению и засвидетельствованию никаких сделок на ассигнации, под собственною их в том ответственностию. Но самые платежи по всем, как прежним, на ассигнации совершенным, так и новым, на одно лишь серебро постановляемым

обязательствам, сделкам и условиям, дозволяется производить без различия серебром и ассигнациями, по курсу, выше во 2 статье постановленному, и никто не имеет права отказаться от приема, по сему курсу, того или другого рода денег без различия.

7. Размер ссуд из государственных кредитных установлений (под залог помещичьих земель) отныне определяется равномерно на серебро, полагая по семидесяти пяти, шестидесяти и сорока рублей серебром на ревизскую мужеского пола душу.

8. Для открытия всех путей к свободному размену вменяется уездным казначействам в обязанность производить, по мере находящихся в них налично сумм, обмена по тому же курсу, в 3 р. 50 к., ассигнаций на серебро и обратно серебра на ассигнации, каждому приносителю, суммою в одни руки до ста рублей серебром, ассигнациями же в соразмерности тому.

9. Засим присвоение ассигнациям какого-либо иного курса, кроме вышепостановленного, равно и надбавка на серебро и на ассигнации какого-либо лажа, или употребление при новых сделках так называемого счета на монету строжайше воспрещается. Биржевой же вексельный курс, а равно всякого рода показания в биржевых ярлыках, преysкурантах и проч. означать отныне на серебро, и курса ассигнациям на биржах впредь вовсе уже не отмечать.

10. Золотая монета в казну и в кредитные установления принимается и под них выдается 3% выше нарицательной ее ценности, именно: империял в 10 р. 30 к. и полуимпериял в 5 р. 15 к. серебром.

11. Дабы устранить всякий повод к стеснениям, казначействам и кредитным установлениям поставляется в обязанность отнюдь не отказывать приносителям в приеме монеты российского, как старого, так и нового чекана, под одним предлогом неясности знаков или легковесности, если только распознать можно наружные изображения штемпеля, возвращая одну монету обрезанную, проколотую или испиленную.

12. Медной, находящейся ныне в обращении монете, впредь до передела оной по счету на серебро, присвоется хождение на следующем основании: а) в отношении к серебру считать три с половиною копейки медью (как 36, так и 24-рублевого в пуде достоинства) за одну копейку серебром, и б) монету сию принимать казне — в подати, повинности и во все прочие платежи, по-прежнему, во всяком количестве, кроме тех только платежей, где количество вноса сей монеты определено именно в самых контрактах; кредитным установлениям — не более как на десять копеек серебром, а между частными лицами по обоюдному в отношении количества соглашению.

Дано в Санкт-Петербурге, первого числа июля месяца года от Рождества Христова тысяча восемьсот тридцать девятого, от царствования же нашего начала четырнадцатого.

Подпись: Николай

В тот же день его императорское величество соизволил направить следующий указ правительствующему Сенату:

По представлению министра финансов, в Государственном совете рассмотренному, повелеваем: для умножения легкоподвижных знаков учредить с 1-го января 1840 года при Государственном коммерческом банке особую Депозитную кассу серебряной монеты, на следующем основании:

1. В кассу сию принимать от приносителей для хранения вклады серебряною монетою российского чекана.

2. Поступающую в Депозитную кассу монету хранить неприкосновенно и отдельно от сумм Коммерческого банка, под ответственности сего банка и под наблюдением особых директоров из членов Совета государственных кредитных установлений, и ни на какой иной расход, как только для обратного промена, не употреблять.

3. Взамен вкладов Депозитная касса выдает билеты под названием «билеты Депозитной кассы», на первый раз достоинством в три, пять, десять и двадцать пять рублей серебром; впоследствии же, по ближайшему усмотрению надобности, могут выпускаемы быть билеты в один, пятьдесят и сто рублей серебром.

4. Билеты сии изготовляются по особой форме, с подписью товарища управляющего Коммерческим банком, одного директора и кассира и с означением на обороте извлечения из правил о депозитных вкладах. Министр финансов образцы сих билетов представит в свое время правительствующему Сенату и разошлет во все министерства, главные управления и казенные палаты. Они должны быть прибиты и на всех купеческих биржах.

5. Билетам Депозитной кассы присвоится хождение по всей империи наравне с серебряною монетою, без всякого лажа, по всем внутренним платежам и обязательствам как частных лиц с казною и кредитными установлениями, и взаимно казны и кредитных установлений с частными лицами, так равно сих последних между собою.

6. По предъявлении билетов в Депозитную кассу предъявителю выдается немедленно, без малейшей остановки и без всякого вычета за обмен и хранение, подлежащее количество серебряною монетою.

7. Выплаченные билеты хранятся отдельно и, в случае годности к обращению, выпускаются опять под новые депозиты или на обмен ветхих билетов в кассу предъявленных.

8. Пересылка билетов Депозитной кассы чрез почту производится с платежом страховых денег и весовых с пакетов.

9. За подделку их поступают по тем же узаконениям, какие существуют насчет подделки государственных бумаг.

Примечание. Прием в Коммерческий банк драгоценных металлов в слитках и посуде на хранение оставляется на основании действующих о том правил.

10. Для производства дел Депозитной кассы, равно как и по

вносимым на хранение драгоценным металлам в слитках и посуде (ст. 9), учреждается при Коммерческом банке, по прилагаемому при сем штату, особая экспедиция Депозитной кассы, под общим наблюдением управляющего банком и под ближайшим заведованием товарища управляющего, из двух директоров: старшего и младшего, и двух избираемых от купечества, с определенным числом чиновников и с обращением издержек на счет прибылей банка.

11. Постановление подобных правил, как по устройству внутреннего порядка производства письменных и счетных дел, так равно по хранению сумм и по всем вообще действиям Депозитной кассы и ее экспедиции, предоставляется министру финансов, по применению к подобным правилам, для кредитных установлений существующим, и по предварительному соглашению с Государственным контролером, с тем чтобы о сделанных распоряжениях доведено было, в свое время, до сведения Совета государственных кредитных установлений.

12. Для проверки действий Депозитной кассы, сверх внутреннего контроля, учреждается еще другой высший, со стороны Совета кредитных установлений, а для наблюдения за целостным хранением вкладов Совету сему избирать ежегодно из среды своей по одному депутату от дворянства и от купечества, которые должны участвовать в ежемесячных свидетельствах сумм и оборотов и делать внезапные ревизии. Операции Депозитной кассы входят в отчет Коммерческого банка.

Санкт-Петербург, 1 июля 1839 года

Подпись: Николай

(Прилагаются штаты и расходы Депозитной кассы.)

ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ПЯТОЕ

Убийство немца-помещика. — До чего доходит неприязнь русских к нововведениям. — Мелкие бунты и их последствия. — Влияние правительства: порочный круг. — Бескорыстное раболепство крестьян. — Противоречие между установлениями и обычаями. — Заблуждение русских крепостных. — Ссылка в Сибирь г-на Гибалы. — Рассказ о ведьме. — Слова одного вельможи, крестьянского внука. — Как русские друзья выхаживали от болезни молодого иностранца. — Случай с французской, провалившейся в лок. — Любовь к ближнему у русских. — Привязанность русской дамы к могилам своих мужей. — Тщеславная причуда разбогатевшего офицера. — Последние дни моего пребывания в Нижнем. — Пеше цыганок на ярмарке. — Воздальние низшим классам и униженным народам. — Главная идея драм Виктора Гюго. — Вечерняя гроза в Нижнем. — Недуг, вызванный нижегородским воздухом. — Я отказываюсь от поездки в Казань. — Совет врача. — Фельдьегерь и слуга. — Что думают русские о состоянии Франции. — Владимир. — Его окрестности. — Оскудение лесов. — Почему трудно путешествовать без фельдьегера. — Ложная деликатность, которую русские пытаются навязать иностранцам. — Вредная централизация власти. — Встреча с большим черным слоном, которого послал императору персидский шах. — Мне грозит опасность. — Мой камердинер-итальянец не теряет присутствия духа. — Описание слона. — Возвращение в Москву. — Прощание с Кремлем. — Как действует приближение императора. — Заразительность примера. — Военные торжества в Бородине. — Временные городки. — Каким образом император повелел разыгрывать представление Московского, или Бородинского, сражения. — Почему я ослушался императора. — Памятник в честь князя Багратиона; князь Витгенштейн позабыт. — Действие лжи. — Императорский приказ. — Перекрашивание истории.

Владимир, между Нижним и Москвою,
2 сентября 1839 года

В Нижнем некто г-н Жаман рассказал мне, что недавно у себя в имении — по соседству с владениями г-на Мерлина, еще одного иностранца, благодаря которому история эта и сделалась известна, — был убит новый помещик-немец, известный знаток земледелия и рьяный проповедник новых способов севооборота, до сих пор неупотребительных в здешних краях.

К помещику явились двое якобы для покупки лошадей, вечером вошли к нему в комнату и убили его. Как утверждают, всё это подстроили принадлежавшие убитому крестьяне в отместку за но-

вовведения в возделывании полей, которым иностранец пытался их научить. Народ в этой стране питает неприязнь ко всему нерусскому. Мне не раз говорили, что в один прекрасный день он перережет всех безбородых от края до края империи: русские опознают друг друга по бороде.

В глазах крестьян если русский бреет себе подбородок, то он изменник, продавшийся иноземцам, и сам достоин разделить их участь. Как же, однако, наказать устроителей такой «московской вечерни»? Ведь всю Россию в Сибирь не сошлешь. Можно выселить обитателей одной деревни, но невозможно отправить в ссылку целую губернию. Кстати, по отношению к крестьянам такого рода наказание бьет мимо цели. Для русского родина — всюду, где долго тянутся зимы; снег везде выглядит одинаково — как белый саван, укутывающий землю, будь он в толщину шести дюймов или шести футов; оттого русский чувствует себя как дома, куда бы его ни сослали, лишь бы ему дали там построить себе сани и избу. В пустынях Севера создать себе новую родину стоит недорого. Для человека, не выдавшего в жизни ничего кроме мерзлых равнин, поросших более или менее чахлыми хвойными деревьями, всякая холодная и пустынная страна кажется родною. К тому же обитатели здешних широт и по нравам своим — кочевники, они от природы склонны к перемене мест.

Случаи беспорядков в деревнях делаются все чаще; каждый день слышишь о каком-нибудь новом злодеянии; но вести о преступлениях доходят с опозданием, что притупляет впечатление от них; оттого даже столь многочисленные злодеяния не нарушают глубоко тихую жизнь страны. Я уже писал, что спокойствие в этом народе поддерживается благодаря медленности и затрудненности сообщений, а также с помощью гласных и негласных действий правительства, которое мирится со злом ради сохранения бытующего порядка. Кроме того, общественная безопасность обеспечивается слепым повиновением войск; их покорность проистекает от совершенного невежества сельских жителей. Но вот ведь какое дело — подобное лекарство оказывается одновременно и первейшею причиной недуга! и непонятно, как русскому народу выйти из порочного круга, куда загнали его обстоятельства. До сих пор добро и зло, гибель и спасение имели для него один общий источник — разобщенность и невежество, которые взаимно обуславливают, воспроизводят и увечивают друг друга.

Вам невозможно представить себе, как встречают крестьяне своего нового владельца — помещика, прибывающего в только что приобретенное имение; жителям наших краев такое раболепство покажется невероятным: все — мужчины, женщины, дети — падают на колени перед новым баринном, все целуют ему руки, бывает даже что ноги; более того — что за унижение! что за кощунство! — те из них, кто по возрасту своему способен грешить, добровольно

исповедаются в грехах своих помещику, видя в нем образ и посланца Божьего на земле, олицетворяющего сразу и царя небесного и государя! Такой рабский фанатизм, такое восторженное холопство рано или поздно неизбежно вводят в заблуждение самого барина, особенно если он лишь недавно достиг этого состояния; ослепленный переменою в своем положении, он уверяется, будто принадлежит к иному разряду существ, чем эти люди, которые перед ним распростерты и которыми он оказался вдруг вправе повелевать. Отнюдь не ради парадокса утверждаю я, что одна лишь наследственная аристократия могла бы смягчить участь русских крепостных и рядом плавных, нечувствительных перемен подготовить их к благодетельному освобождению. Ныне же крепостное состояние при господах-выскачках для крестьян просто невыносимо. Старинные господа с самого рождения стоят выше них, и это сносить тяжело, но зато они растут рядом с крестьянами, вместе с крестьянами, и это сносить легче; да и вообще господа так же привычны к власти, как крепостные — к неволе, а привычкою все притупляется и смягчается; ею умеряется несправедливость сильных, ею облегчается ярмо слабых; вот почему в стране, живущей в условиях крепостничества, переменчивость в богатстве и общественном положении людей производит действие поистине чудовищное; тем не менее именно такая переменчивость делает устойчивым нынешний строй в России, так как привлекает к нему в союзники множество людей, умеющих ею пользоваться; опять пример того, как лекарство черпают в том же источнике, откуда проистекает недуг. Ужасный круг, где обречены вращаться все народы необъятной империи!.. Подобное состояние общества — словно коварная сеть, каждая ячейка которой стягивается узлом, когда пытаешься из нее выпутаться. За что так почитают, так обожают крестьяне своего нового помещика? За то, что он нажил много денег и ловкими интригами сумел купить землю, к которой прикованы все эти люди, падающие пред ним ниц. В стране, где человек составляет имущество другого человека, где богач, можно сказать, вправе распоряжаться жизнью и смертью бедняка, — в такой стране богатый выскачка кажется мне просто чудовищным. Сочетаясь в одном и том же обществе, развитие промышленности и косность крепостничества приводят к возмутительным последствиям; однако же деспот ласкает выскачек — ведь это он их породил!.. Представляете, в каком положении находится здесь новоявленный помещик? вчера еще нынешний его раб был ему равен; и вот, благодаря более или менее честным промыслам, более или менее низкому и ловкому угодничеству, он оказался в состоянии купить известное число своих товарищей, которые теперь — его крепостные. Стать рабочим скотом у равного себе — мука поистине невыносимая. Однако же именно к этому может привести в народе богопротивное сочетание самовластных обычаев и либеральных —

вернее сказать, неустойчивых — установлений; ведь в других странах разбогатевший человек не заставляет своих побежденных соперников лобызать себе ноги. В основе государственного устройства России заложена вопиющая несообразность.

Заметьте кстати, какое странное смешение понятий производит в умах русского народа строй, при котором он живет. При этом строе человек крепко привязан к земле, поскольку его продают с нею заодно; однако, вместо того чтоб признать, что сам он закрепощен, а земля свободно продается, то есть понять и осознать, что он принадлежит земле, посредством которой другие люди деспотически им распоряжаются, — он, напротив, мнит, будто земля принадлежит ему. По сути, такая ошибка представляет собою просто обман зрения: ведь, полагая себя владельцем земли, крестьянин не берет в соображение, что землю-то можно продать и без живущих на ней людей. А потому, попадая к новому помещику, он не считает, что этому новому владельцу продали землю; в его представлении продали прежде всего его самого собственной персоной, а уж в придачу отдали и землю — землю, на которой он родился, которую возделывает и от которой кормится. Вот и попробуйте дать свободу таким людям, по пониманию общественных законов стоящим примерно вровень с деревьями и травами!..

Г-н Гибаль (всякий раз, когда мне позволено назвать чье-то имя, я этим позволением пользуюсь), сын школьного учителя, был без причин — по крайней мере без объяснений, не будучи даже в состоянии догадаться, в чем его обвиняют, — послан в сибирскую деревню близ Оренбурга. Чтоб развеять тоску, он сложил песню; услышанная сперва исправником, а затем переданная губернатору, она привлекла к себе внимание сей высокопоставленной особы; к ссылке был послан адъютант, дабы справиться о его деле, о его состоянии и поведении и решить, не пригодится ли он для чего-нибудь. Бедняга сумел внушить адъютанту сочувствие, и тот, вернувшись в город, составил весьма благоприятное для Гибаля донесение. Последний был немедленно возвращен из ссылки, так и не узнав, в чем заключалась подлинная причина его бедствий, — быть может, то была другая, ранее сложенная песенка.

От таких-то обстоятельств может зависеть в России судьба человека!..

А вот еще одна история, в ином роде:

Во владениях князя ***, к востоку от Нижнего, жила крестьянка, слышшая ведьмой; слава о ней быстро распространилась окрест. Рассказывали, что женщина эта творит чудеса, да вот только муж ее недоволен: хозяйство забросила, на работу не ходит. Управляющий в своем докладе подтверждал обвинение крестьянки в колдовстве.

В то время в поместье приехал сам князь, его владелец; сразу по прибытии он первым делом осведомился о знаменитой колдунье.

Поп сообщил ему, что бабе все хуже, она уже не может говорить, и он намерен изгнать из нее бесов. Обряд сей был свершен в присутствии помещика, но безуспешно; тогда князь, решившись дознаться до разгадки этого необычного дела, прибег к чисто русскому целебному средству — велел высечь одержимую розгами. Такое лечение не замедлило возыметь действие.

После двадцать пятого удара баба запросила пощады, поклявшись рассказать всю правду. Она объяснила, что замужем за нелюбимым и притворилась одержимою, чтоб не работать на мужа.

Притворством своим она доставляла себе праздную жизнь, а задно и возвращала здоровье множеству страждущих, которые приходили к ней с надеждой и доверием и уходили назад исцеленными.

Колдуны нередко встречаются среди русских крестьян, заменяя им врачей: эти плуты излечивают многих людей, в том числе и в трудных случаях, как признают сами лекаря!

Вот бы торжествовал Мольер! и что за бездна сомнений разверзается перед нами!.. Воображение!.. кто знает, не образует ли оно тот рычаг в деснице Божьей, посредством которого Господь возвышает тварь, закованную в рамки плоти? О себе скажу, что меня сомнение заводит далеко --- назад к вере, ибо мнится мне, наперекор рассудку, что у колдуна есть неопределимая, но бессомненная сила, позволяющая исцелять даже тех, кто в нее не верит. Посредством слова «воображение» ученые наши снимают с себя обязанность объяснять те явления, которых не могут ни отрицать, ни понять. У иных метафизиков «воображение» становится чем-то вроде «нервов» у иных врачей.

Необыкновенное зрелище здешнего общественного устройства понуждает ум человеческий к непрерывным размышлениям. На каждом шагу в этой стране восхищаешься тем, как много выигрывает государство, добываясь от подданных беспрекословного повиновения; но столь же часто сожалеешь, не видя тех выгод, что получила бы власть, основав повиновение на высоких нравственных чувствах.

Кстати припоминается мне одно высказывание, которое подтвердит вам, как я прав, когда утверждаю, что иных — и даже довольно многих — людей способно обмануть обожествление помещика крепостными. Настолько властна над нашими сердцами лесь, что в конечном счете даже самые неловкие из всех льстецов — страх и выгода — не хуже самых хитрых находят способ достичь своего и заставить к себе прислушаться; оттого-то многие русские и считают себя принадлежащими к иной породе, чем обычные люди.

Один баснословно богатый русский --- хотя, видимо, и искушенный в тяготах роскоши и власти, ибо семейное его состояние образовалось уже два поколения тому назад, — ехал из Италии в Германию; в каком-то городке он довольно серьезно заболел и велел позвать к себе лучшего врача в округе; поначалу он следовал

предписаниям лекаря, но недуг все усугублялся, и после нескольких дней лечения больной наскучил своим повиновением и в гневе встал с постели; порвав покровы цивилизации, в которые считал нужным облачаться в обычной жизни, он вновь стал самим собою и, меряя шагами комнату, вскричал: «Не пойму, как это меня тут лечат; уже три дня пичкают снадобьями без малейшего улучшения; что за лекаря вы мне привели? он что, не знает, кто я таков?»

Раз уж я начал это письмо с анекдотов, то вот вам еще один, не столь забавный, но все же способный вам помочь составить верное представление о характере и привычках великосветских людей в России. Здесь любят только удачливых, и такая избирательная любовь порой порождает смешные сцены.

Один молодой француз пользовался большим успехом в обществе сельских помещиков. Все его привечали — звали то на обед, то на прогулку, то на охоту, то на домашнее представление; наш иностранец был совершенно очарован. Всем встречным он расхваливал русское гостеприимство и учтивые манеры несправедливо оболганных «северных варваров»! Через некоторое время восторженный юноша, находясь в соседнем городе, заболел; недуг его затягивался и делался все тяжелее, меж тем даже ближайšie друзья ничем не давали о себе знать. Миновали недели, прошло целых два месяца, и разве что изредка кто-нибудь посылал о нем справиться; наконец молодость взяла свое, и путешественник, вопреки местному лекарю, выздоровел. Едва он поправился, как к нему нахлынул поток гостей, чтоб отпраздновать его исцеление, как будто в продолжение всей его болезни они только о нем и думали; надо было видеть радость тех, кто раньше его принимал, — казалось, они сами только что воскресли из мертвых!.. все уверяют его в своем сочувствии, вновь зовут на всякие развлечения, ласкают его по-кошачьи — спрятав коготки своего легкомыслия, себялюбия и забывчивости; садятся играть в карты рядом с его креслом, с притворною заботой предлагают прислать диванчик, варенья, вина... с тех пор как он больше ни в чем не нуждается, все в его распоряжении... Он, однако, не поддался на эту старую приманку, сел поскорее в карету и уехал, торопясь, по его словам, бежать из страны, где гостеприимство расточают только людям счастливым, забавным или же полезным!..

Одна француженка-эмигрантка, пожилая и умная, поселилась в русском провинциальном городе. Как-то раз она отправилась в гости к некоей особе из числа местных жителей. В некоторых русских домах лестницы снабжены люками, и ходить по ним небезопасно. Француженка, не заметив одной такой западни, провалилась с высоты пятнадцати футов на деревянные ступени. Как же поступила хозяйка дома? Нелегко вам будет отгадать. Не пожелав даже убедиться, жива или мертва злосчастная женщина, не кинувшись ее осмотреть, не позвав на помощь, не послав хотя бы за лекарем, она бросила пострадавшую и набожно поспешила

в домашнюю часовню, чтобы помолиться святой деве за бедную покойницу... может, погибшую, а может, и раненую, на то уж воля Божья. Между тем пострадавшая, которая осталась живой и даже не получила переломов, успела встать на ноги, подняться обратно в прихожую и уехать к себе домой, прежде чем богомольная подруга ее вышла из часовни. До той еде дозволялись в ее убежище, крича через дверь, что происшествие не имело никаких тяжелых последствий, что француженка вернулась домой и хоть и легла в постель, но лишь на всякий случай. Тут-то в сокрушенном сердце набожной русской дамы проснулось чувство деятельной любви к ближнему, и она, благодаря Бога, услышавшего ее молитву, услужливо поспешила к подруге, добилась, чтоб ее впустили, ринулась к одру больной и не менее часа осыпала ее изъявлениями сочувствия, не давая ей отдохнуть, в котором несчастная так нуждалась.

Об этом ее вздорном поведении рассказала мне та самая особа, с которою приключилась беда. Если б она сломала себе ногу или потеряла сознание, она могла бы так и умереть там, где бросила ее благочестивая подруга.

Стоит ли после этого удивляться, что никто и не думает помочь людям, тонущим в Неве, что никто даже не осмеливается рассказать об их гибели!

В русской великосветской среде в изобилии встречаются всяческие странности чувств, ибо умы и сердца здесь слишком всем пресыщены.

В Петербурге живет знатная дама, которая несколько раз была замужем; лето она проводит в великолепной сельской усадьбе в нескольких лье за городом, где весь сад занят могилами ее мужей, — как только они умрут, она начинает страстно их любить; в их память она строит мавзолеи, часовни, проливает слезы над их прахом... словом, поклоняется мертвым, оскорбляя тем живых. Таким образом парк при ее доме сделался настоящим кладбищем Пер-Лашез; и всякому, кто не испытывает, подобно благородной вдове, нежной любви к покойным мужьям и их могилам, место это кажется весьма мрачным.

Никакая бесчувственность или, что то же самое, слезливость не должна удивлять в народе, который учится тонкости чувств так же старательно, как искусству войны или управлению государством. Вот пример того, с каким серьезным интересом воспринимают русские самые пустые вещи, если только вещи эти касаются их лично.

В подмосковном селе жил пожилой и богатый помещик из старинного боярского рода. В доме его стоял отряд гусар со своими офицерами. Наступила пасха. У русских праздник этот отмечается с особою торжественностью. На церковной службе, которая в этот день отправляется ровно в полночь, собираются все члены семьи, их друзья и соседи.

Помещик, о котором идет речь, будучи самым значительным лицом в округе, ожидал в пасхальную ночь наплыва гостей, тем более что как раз в том году он с большою пышностью обновил церковь в своем селе.

За два-три дня до праздника его разбудил ночью шум от лошадей и экипажа, катившего по плотине рядом с его домом. Усадьба, как это делается обыкновенно, расположена на берегу небольшого пруда; церковь же стоит на противоположном берегу, так что плотина служит дорогою из усадьбы в село.

Удивившись такому необычному шуму среди ночи, помещик подбежал к окну, и каково же было его изумление, когда при свете множества факелов увидал на отличную коляску четверней в сопровождении двух верховых курьеров.

Он узнал эту новенькую коляску, да и владельца ее; то был один из гусарских офицеров, живших на постое у него в доме, -- изрядный сумасброд, незадолго до того получивший богатое наследство; этот кичливый повеса как раз недавно купил себе лошадей и коляску и привез их в усадьбу. Старик помещик, видя, как офицер в полном одиночестве, среди ночи, в безлюдной сельской глуши, красуется в своей открытой коляске, решил, что тот спятил; глядя вслед изящному экипажу и его свите, он увидел, как они стройно подъезжают к церкви и останавливаются у ее врат; там владелец коляски с важным видом из нее вышел, дождавшись, чтобы слуги отворили ему дверь и помогли спуститься, хотя офицер, такой же молодой и еще более проворный, чем они, наверно мог бы обойтись и без их услуг.

Едва ступив на землю, он вновь неспешно и величественно залез в коляску, проехал обратно по плотине, опять вернулся к церкви и вместе со своею челядью начал заново ту же церемонию, что и прежде. Такая комедия продолжалась до самого рассвета. Повторив все в последний раз, офицер велел тихо, шагом воротиться в усадьбу. Еще через несколько минут все улеглись спать.

Наутро помещик первым делом поспешил расспросить своего гостя гусарского ротмистра, что бы такое значила его ночная езда и зачем слуги так суетятся вокруг коляски и его особы. «Пустяки, — отвечал молодой офицер, нимало не смутившись, — просто слуги у меня неопытные, а на пасху у вас соберется много народа, приедут со всей округи и даже издалека; и я решил устроить репетицию *своего подъезда к храму*».

Что до меня, то мне остается рассказать вам о своем отъезде из Нижнего; как вы увидите, блеску в нем было меньше, чем в ночных прогулках гусарского ротмистра.

В тот вечер, когда я вместе с губернатором смотрел представление на русском языке в совершенно пустом зале, встретился мне, по выходе из театра, один знакомец и повел в трактир с цыганками, расположенный в наиболее оживленной части ярмарочного городка;

близилась полночь, но внутри было ещелюдно, шумно и светло. Цыганские женщины показались мне очаровательны; одяние их, внешне то же самое, что и у других русских женщин, выглядит как-то необычно; во взгляде и чертах у них есть нечто колдовское, в движениях же изящество сочетается с величавостью. Одним словом, у них есть своеобразный стиль, как у сивилл Микеланджело.

Пели они примерно так же, как и московские цыгане, но, на мой вкус, еще выразительней, сильней и разнообразней. Говорят, что душа у них гордая; они страстны и влюбчивы, но не легкомысленны и не продажны и зачастую с презрением отвергают выгодные посулы.

Чем дальше, тем больше в своей жизни я дивлюсь, как сохраняется толика добродетели даже в тех, кто ее лишен. Нередко люди самого презренного состояния ходят на народ, униженный своим правительством, но полный скрытых великих достоинств; и напротив, у людей знаменитых с неприятным изумлением обнаруживаешь слабости, а у народов, якобы живущих под благим правлением, — вздорный характер. Чем обусловлена человеческая добродетель — это почти всегда тайна, непроницаемая для нашего ума.

На эту идею воздаяния падшим, лишь бегло намеченную здесь мною, проливает яркий свет один из самых дерзких и талантливых умов нашего времени, да и всех времен вообще. Виктор Гюго, пожалуй, все драмы свои посвятил тому, чтоб явить свету человеческое, то есть божественное, начало, сохраняющееся в душах тех божьих созданий, что более всего отвержены нашим обществом; высоко нравственная, мало того — благочестивая задача! Расширять рамки нашей сострадательности — значит творить богоугодное дело; толпа часто бывает жестока по бездумности, по привычке, по убеждению, еще чаще просто по недомыслию; тот, кто по мере возможности исцеляет эти раны в неоцененных сердцах, не рана притом еще глубже иные сердца, также заслуживающие сочувствия, тот действует в согласии с замыслом провидения, ширит царство Божье на земле.

Из трактира с цыганками мы вышли уже поздно ночью; тем временем на землю пролилась ливнем грозовая туча, отчего в воздухе внезапно похолодало. Длинные широкие улицы обезлюдившей ярмарки были затоплены большими лужами, и лошади, скакавшие не сбавляя хода по этим топям, образовавшимся в размокшей земле, забрызгивали нас грязью прямо в кузове моей открытой коляски; черные тучи грозили новыми дождями до утра, а резкие порывы ветра то и дело окатывали нас водою, хлеставшею из сточных желобов.

— Вот и лето прошло, — сказал мой проводник.

— Да уж вижу, — отвечал я. Мне было зябко, словно зимой. Я был без плаща; утром выезжал в удушливую жару, а вернулся в пронизывающий холод; два часа писал вам письмо, затем лег спать

весь заочневший. Наутро, попытавшись подняться, ощутил голокружение и упал обратно в постель, не в силах одеться и выйти.

Эта неприятность оказалась мне тем досаднее, что как раз в тот день собирался я ехать в Казань; желая хоть ногою ступить на землю Азии, я нанял лодку, чтоб спуститься на ней вниз по Волге, фельдъегерь же должен был без меня доставить в Казань мой экипаж для возвращения в Нижний вверх вдоль берега. Правда, с тех пор как нижегородский губернатор не без гордости показал мне рисунки Казани, я уже не так горячо туда рвался. Оказалось, это все тот же самый город, что и повсюду в России, от одного ее края до другого: были здесь и казарма, и соборы в форме языческих храмов; я уже чувствовал, что ради этой вечно повторяющейся архитектуры не стоит ехать лишние двести лье. Но все же хотелось побывать на границе Сибири и взглянуть на город, который некогда осаждал Иван IV. Теперь же пришлось отказаться от этой поездки и целых четыре дня тихо сидеть дома.

Губернатор с великою учтивостью навестил меня на одре недуга; на четвертый день, чувствуя, что мне делается все хуже, решился я позвать врача. Лекарь сказал:

— Лихорадки у вас нет, и вы еще не больны, но разболеетесь тяжело, если хотя бы на три дня задержитесь в Нижнем. Я знаю, как здешний воздух действует на людей известного темперамента; уезжайте — уже через десять лье вы почувствуете облегчение, а через день и вовсе поправитесь.

— Но ведь я не могу ни есть, ни спать, ни стоять, ни двигаться — начинается сильная головная боль, — возразил я, — что же со мною будет, если случится застрять в дороге?

— Велите отнести себя в коляску; начинаются осенние дожди; повторяю, я не ручаюсь за вашу жизнь, если вы задержитесь в Нижнем.

Доктор был учен и опытен; он несколько лет провел в Париже, а перед тем получил основательное образование в Германии. Я положился на его верный глаз и, по его совету, на следующий день под проливным дождем и ледяным ветром сел в свой экипаж; погода способна была обескуражить даже самого бодрого путешественника. Однако уже после второй станции предсказание доктора сбылось: я начал дышать свободнее, хоть и чувствовал себя совсем разбитым. Заночевать пришлось в какой-то скверной лачуге... а наутро я был здоров.

Все время, пока я лежал в постели в Нижнем, мой шпион-покровитель томился затянувшимся пребыванием на ярмарке и собственным вынужденным бездельем. Как-то утром он пришел к моему камердинеру и спросил по-немецки:

— Когда же мы уезжаем?

— Не знаю: хозяин ведь болен.

— Он правда болен?

— А по-вашему, он ради удовольствия не встает с постели и никуда не выходит из той квартиры, что вы ему тут приискали?

— А что с ним?

— Понятия не имею.

— Отчего он болен?

— Господи! да спросите у него.

Это «отчего» кажется мне заслуживающим упоминания.

Он никак не может простить мне сцену с коляской.

С того дня он переменился и в поведении, и в выражении лица; это доказывает, что даже в самых скрытных характерах всегда остается нечто естественное и непритворное. Я даже отчасти доволен его злопамятством. Я-то думал, он вовсе не способен на произвольные переживания.

Русским, как и всем новичкам в цивилизованном мире, свойственна крайняя обидчивость; они не выносят даже общих суждений, все относя на свой счет; нигде так плохо не отзываются о Франции; менее всего в России понимают свободу мысли и слова; как я слышал от тех, кто с напускною рассудительностью говорит о нашей стране, они не могут понять, как это король не наказывает парижских писак, которые каждодневно его бранят.

— Однако же это так, убедитесь сами, — возражаю я.

— Да, на словах-то говорят о терпимости, — отвечают они с лукавым видом, — но это все для толпы да для иностранцев; а втайне слишком дерзких журналистов все же наказывают.

Когда же я повторяю, что во Франции все предается гласности, они хитро смеются в ответ, вежливо умолкают и не верят ни одному моему слову.

Город Владимир часто упоминается в истории; с виду это все тот же самый неизменный русский город, чей облик вам уже более чем хорошо знаком. Местность, которою я ехал из Нижнего, также походит на то, что вам уже известно о России: лес, где не видно деревьев, да изредка город, где не видно движения. Вообразите себе солдатские казармы, стоящие среди болот или же вересковых пустошей — в зависимости от почвы; оживляет их один лишь дух муштры!! Если я говорю русским, что леса у них дурно содержатся и что так в стране скоро не останется дров, то они смеются мне в лицо. У них высчитано, сколько миллионов лет понадобилось бы, чтоб свести леса, занимающие огромную часть империи, и этим подсчетом всякий раз и отговариваются. Здесь, как и во всем прочем, русские довольствуются словесами. В реестрах, посылаемых в столицу каждым губернатором, *записано*, что в такой-то губернии имеется столько-то десятин леса! Далее статистика выполняет свою арифметическую работу; да только счетчик, прежде чем вывести общую сумму, не проверяет на месте, из чего состоят обозначенные на бумаге леса. Чаще всего ему встретились бы вместо них одни кустарники, годные разве на хворост, или же бескрайние пустоши,

кое-где поросшие камышом и папоротником! Между тем уже начинает ощущаться обмеление рек, и это тревожное явление, угрожающее судоходству, может объясняться лишь тем, что очень много леса вырубается у истоков и вдоль берегов, откуда его легче сплавлять. Однако русские, благо портфель наполнен успокоительными донесениями, мало тревожатся разбазариванием единственного природного богатства своей земли. Из министерских кабинетов леса кажутся бескрайними... и русским того довольно. Благодаря такой безмятежности чиновников можно предвидеть время, когда печи придется топить старыми бумагами, скопившимися в канцеляриях; это-то богатство возрастает с каждым днем.

Слова мои весьма дерзки и даже возмутительны, хоть это и не очевидно; щепетильное самолюбие русских предъявляет иностранцам такие требования, которым я не подчиняюсь, а вы о них даже не подозреваете. В глазах здешних людей искренность моя делает меня преступником. Экая неблагодарность! министр дал мне фельдъегеря, который одним видом своего мундира избавляет меня от дорожных хлопот; стало быть, считают русские, я обязан все одобрять в их стране. «Этот иноземец, — думают они, — нарушил бы все законы гостеприимства, если б позволил себе порицать страну, где к нему так предупредительны...» Да что за бред!.. Я по-прежнему считаю, что волен описывать и оценивать то, что вижу!! А раз так, то они будут кричать, что это недостойно... Нет, пускай деньги или же рекомендательные письма помогли мне заполучить курьера для разъездов по стране, но я все же хочу, чтобы вы знали: если б я отправился в Нижний с обычным слугою, даже говорящим по-русски, как я по-французски, то мы бы застревали на каждой мало-мальски удаленной почтовой станции из-за проделок и каверз смотрителей. Сперва нам бы отказали в лошадях, потом, в ответ на наши настояния, стали бы водить из стойла в стойло, показывая, что они пусты; нас это больше злило бы, чем удивляло, так как мы бы заведомо знали — хотя пожаловаться тут невозможно, — что смотритель сразу по прибытии нашем на станцию поспешил спрятать всех лошадей в недоступное для иностранцев укрытие. Через час переговоров нам бы привели якобы свободную упряжку, и крестьянин, которому она якобы принадлежит, милостиво уступил бы ее нам за плату в два-три раза большую, чем на государственной почте. Сперва мы бы отказались и отослали ее вон; но потом, не выдержав, стали бы слезно умолять привести назад этих драгоценных кляч и заплатили бы хозяевам все, что они запросят. То же самое повторялось бы на каждой станции. Таково ездить в этой стране иностранцам, не имеющим опыта и высокого покровительства. Между тем всюду известно и признано, что почтовые лошади в России стоят очень недорого и ездят на них очень быстро.

Не кажется ли вам, как и мне, что, оценивши по справедливости любезность, оказанную мне главноуправляющим путями сообщения,

я вправе рассказать вам, от каких доук он избавил меня своим одолжением?

Русские все время остерегаются правды, ибо она их страшит; я же прибыл из страны, где жизнь течет на виду у всех, где все предается гласности и публично обсуждается, и вовсе не смущаюсь щепетильностью здешних людей, ничего не высказывающих напрямую. В России говорить вслух — признак дурного воспитания; чтоб засвидетельствовать вам свой такт и хороший тон, люди шепчут вам на ухо какие-нибудь бессмысленные звуки, заканчивая самую пустую фразу просьбой хранить в тайне даже то, что вовсе не было сказано... В стране этой, где не только запрещено выражать свое мнение, но возбраняется излагать даже самые удостоверенные факты, всякое точное и ясное слово становится целым событием; француз остается лишь отметить эту забавную привычку, усвоить ее для него невозможно.

В России есть порядок; одному Богу ведомо, когда в ней появится цивилизация.

Государь, нисколько не полагаясь на силу убеждения, берется за все дела самолично, выставляя в качестве предлога необходимость сильной центральной власти в такой необъятной империи, как Россия; пожалуй, подобное устройство составляет закономерное дополнение к принципу слепого повиновения; иное, сознательное подчинение опровергло бы ложную идею всеобщей упрощенности, которая уже более века преобладает в умах преемников царя Петра и даже в умах их подданных. Когда все столь безмерно упрощается, то это не могущество, а смерть. Самодержавная власть, имея дело с условными подобиями людей, сама перестает быть реальною и превращается в призрак.

Россия лишь тогда станет настоящею нацией, когда ее государь по своей доброй воле исправит зло, совершенное Петром I. Но найдется ли в такой стране властитель, которому достанет мужества признать, что он всего лишь человек?

Только побывавши в России, понимаешь, сколь трудна такая политическая реформа и какая сила характера потребна, чтоб ее осуществить.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПИСЬМА

На почтовой станции между Владимиром и Москвою, 3 сентября 1839 года

Вам ни за что не догадаться, какой опасности подвергся я нынче утром. Можете перебирать все происшествия, способные поставить под угрозу жизнь путника на большой дороге в России, — ни знаний, ни воображения не хватит вам, чтоб угадать, отчего я сегодня чуть не погиб. Угроза была столь велика, что если бы не ловкость, сила и хладнокровие моего слуги-итальянца, то приключение, о котором вы сейчас прочтете, пришлось бы излагать уже не мне.

Надо же было случиться, чтоб у персидского шаха появилась нужда в дружеском союзе с императором российским, и с этою целью, считая, что дар чем больше, тем ценнее, он послал царю одного из самых громадных азиатских черных слонов; надо же было, чтоб эта ходячая башня оказалась покрыта великолепным ковром, который служит гиганту попоною и издалека напоминает развевающуюся на ветру соборную драпировку; надо же было, чтоб чудовище шло в сопровождении вереницы всадников, похожих на стаю саранчи, а за ним выступал караван верблюдов, казавшихся не больше ослов рядом с этим слоном, который далеко превосходит всех мною виденных и является одним из самых крупных на свете; да еще надо же было, чтоб на верхушке этого живого монумента виднелся смуглокожий человек в восточных одеждах, держащий над собою раскрытый зонтик от солнца и восседающий в странной позе, скрестив ноги, на площадке, что устроена на спине у громадины; надо же было, наконец, чтобы в то самое время, когда этого властелина пустынь вели пешим ходом по направлению к Москве и Петербургу, где благодаря местному климату он скоро окажется в собрании мастодонтов и мамонтов, сам я ехал на почтовых из Нижнего в Москву по Владимирскому тракту, причем выехал в одно время с персиянами, так что в определенной точке безлюдной дороги, по которой они движутся так же неспешно, как шествует царственное животное, я не мог их не нагнать, и моим скачущим галопом русским коням пришлось проехать мимо исполина; так вот, надобно было ни много ни мало, как стечение всех этих обстоятельств, чтобы породить гомерический испуг моих рысаков при виде живой пирамиды, которая словно по волшебству движется среди целого отряда причудливых на вид людей и животных.

Издалека испугавшись этого колосса, у которого ноги металлического цвета, а на спине пурпурный покров, моя четверня задрожала всем телом, начала громко ржать, поводить ноздрями и не хотела везти дальше. Вскоре, однако, кучер-ямщик, крича и нахлестывая коней кнутом и рукою, обуздал их и заставил обогнать фантастического зверя, которого они так боялись; они повиновались, содрогаясь и вздыбив гриву; но как только один страх победил другой, кони, насилу приблизившись к чудищу и неторопливым аллюром проехав мимо его громадной туши, словно устыдились собственной храбрости; подавленный ужас вырвался наружу, и тут уж крики и вожжи возницы стали бессильны. Человеческая воля была побеждена в тот самый миг, когда она, казалось, возобладала; едва почуяв чудище у себя за спиною, кони закусил удила и понесли во весь опор, не разбирая, куда влечет их слепой порыв. Это бешенство испуга могло стоить нам жизни; огорошенный и бессильный что-либо сделать ямщик сидел на козлах, не двигаясь и отпустив поводья; фельдъегерь рядом с ним пребывал в таком же остоленом бездействии. Мы с Антонио, в закрытой из-за неустойчивой

погоды и моего нездоровья коляске, побледнели и онемели; в гарантасе нашем нет дверей, он как лодка — чтобы влезть или вылезть, нужно перешагивать через борт, а при поднятом и пристегнутом к переднему сиденью кожухе это становится довольно трудно; внезапно кони, совсем ошалев, съехали с дороги и помчались вверх по почти отвесному откосу, где одно из передних колес завязло в щелчке; две лошади, не порвавши постромок, уже взобрались на самый верх; я видел их копыта вровень с нашими головами; еще рывок, и коляска подается; но так как взъехать наверх она не сможет, то опрокинется, разобьется, и обломки ее вместе с нами кони потащат в разные стороны, пока не погибнут сами и не погубят нас; я уже думал, что с нами все кончено. Казаки, сопровождавшие могучего странника, который стал причиною беды, видя, в каком отчаянном положении мы оказались, осмотрительно воздержались скакать за нами вслед, чтоб не раззадорить еще больше наших коней, — только такая осторожность нам и требовалась! я, не помышляя даже о том, чтоб выскочить из коляски, уже вручал Богу душу, как вдруг Антонио исчез... я думал, он погиб; все происшедшее было скрыто от меня кожухом и кожаными шторами; но в тот же миг я ощутил, что кони встали. «Мы спасены!» — крикнул Антонио; меня тронуло это «мы», ибо сам-то он оказался вне опасности, как только сумел благополучно выбраться наружу. Благодаря редкому хладнокровию ему удалось улучшить единственный подходящий миг, чтобы выпрыгнуть с наименьшим риском; затем, выказывая необычайную ловкость, возникающую от сильных чувств и все же не объяснимую ими, он очутился, сам не зная как, наверху обрыва, впереди двух лошадей, что взобрались туда и своими отчаянными рывками грозили все разнести вдребезги. Коляска уже вот-вот должна была опрокинуться, когда коней удалось остановить; тут уж и ямщик с курьером, ободренные примером Антонио, в свой черед успели соскочить на землю; ямщик в мгновение ока схватил под уздцы двух задних лошадей, застрявших на дороге и отставших от передней пары из-за лопнувшего нашивальника дышла, а курьер тем временем удерживал экипаж. Почти в тот же самый миг казаки, что были при слоне, припустили своих коней и примчались нам на выручку; они высадили меня из повозки и помогли моим людям сдерживать наших коней, которые все еще рвались вперед. Невозможно побывать ближе к непоправимой беде, но невозможно и избежать несчастья с меньшими потерями: не пропало ни единого гвоздя в коляске и, что еще удивительнее, ни единого ремня из упряжи; лопнул один из нашивальников, кое-где порвалась кожа, разорвались вожжи, у одной из лошадей сломались удила; вот и все, что требовало починки.

Через четверть часа Антонио уже снова спокойно сидел со мною на заднем сиденье, а еще через четверть часа уже спал, как будто и не спас нам всем жизнь.

Пока поправляли упряжь, мне захотелось подойти поближе к первопричине всех бед. Погонщик из осторожности отвел слона в лес поблизости от боковой колеи тракта. Грозное животное показалось мне еще крупней, с тех пор как из-за него я претерпел такую опасность; хобот, которым оно шарило по верхушкам берез, казался удавом боа, обвинившимся вокруг пальмовых ветвей. Я начинал понимать своих коней — и впрямь было отчего сильно перепугаться. В то же время слон смешил меня тем пренебрежением, которое внушали ему, должно быть, наши крохотные тела; высоко подняв свою мощную голову, он рассеянно поглядывал на людей умными и подвижными глазами; рядом с ним я был как муравей; устрашившись такого превращения, поспешил я прочь от этого дива, благодаря Бога за то, что он избавил меня от ужасной гибели, которая в какой-то миг уже казалась мне неизбежною.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПИСЬМА

Москва, 5 сентября 1839 года, вечером

В Москве уже несколько месяцев подряд царит сильнейшая жара; по возвращении я застал здесь ту же погоду, что была и при отъезде; нынешнее лето — из ряда вон выходящее. От засухи над самыми людными городскими кварталами поднимается к небу красноватая пыль, которая вечером окрашивает небо в фантастические цвета, словно свет бенгальских огней; точь-в-точь как облака в Опере. Нынче на закате я решил полюбоваться этим зрелищем от стен Кремля, обойдя снаружи вокруг них с чувством такого же восхищения и почти такого же изумления, что и в первый раз.

Сияющий ореол, словно на полотне Корреджо, отделяет людской град от дворца великанов; здесь восхитительно соединились чудеса живописи и поэзии.

Последние солнечные лучи падали на Кремль — самую возвышенную точку всей картины, — тогда как остальная часть города уже окутывалась ночною дымкой. Исчезли, казалось, все преграды для воображения; бесконечность Вселенной, сам Бог принадлежали в тот миг поэту, лицезревшему сие величественное зрелище... то была словно живопись Мартина, или, вернее, то была живая модель самых чудных его полотен. Сердце у меня билось боязливо и восхищенно; предо мною, казалось, вставали из-под земли потусторонние обитатели Кремля; фигуры их сияли, словно демоны, писанные на золотистом фоне; пылая, они направлялись во владения ночи и вот-вот должны были прорвать ее покров; я ждал только, что вот-вот сверкнет молния: такая это была грозная красота.

От белых нестройных масс дворца равномерно отражались косые лучи ветреного заката; различия в оттенках проистекали от неровного наклона стен и от чередования сплошных поверхностей и пустот, в котором и состоит вся красота этой варварской архитектуры, дерзкими своими причудами если и не чарующей наш взор, то

дающей великолепную пищу для ума. Все это было столь поразительно, столь красиво, что я не удержался еще раз рассказать вам о Кремле.

Но не беспокойтесь, здесь я с ним прощаюсь.

Иногда с площадок, полускрытых за строительными лесами, раздавались и отзывались эхом в стенных бойницах унылые песни мастеровых; они неслись вдоль сводов, зубчатых стен, рукотворных обрывов и отражались от них прямо мне в сердце, полное невыразимой печали. В глубине окон царских палат мелькали блуждающие огоньки; по пустынным галереям, по длинным пролетам междузданий, мимо пустых бойниц и смотровых щелей далеко разносились людские голоса, странно звучащие в такой час среди безлюдных двorcов, и ночные птицы, потревоженные в тайных своих соитиях, летели прочь от света факелов, на самый верх колоколен и крепостных башен, чтоб прокричать оттуда весть о каком-то неслыханном бедствии.

Вся эта сумятица вызвана была работами, которые велись по велению *государя императора*, накануне торжественного прибытия *государя императора*; приезжая в Москву, он сам себе устраивает торжественный прием и иллюминацию в Кремле; покамест лишь в углублении над одними из главных ворот святого дворца ожидала его Богоматерь с неугасимою лампадой; но вот, по мере наступления сумерек, город начал освещаться; как по волшебству, выступили из мрака его лавки, кофейни, улицы, театры. В тот день как раз была годовщина венчания *государя* на царство — лишний повод для праздничной иллюминации; русским приходится за год справлять столько праздников, что на их месте я бы вообще не гасил лампаонов.

Приближение великого чародея уже начинает ощущаться: три недели назад Москва была населена одними лишь купцами, разъезжавшими по своим делам на дрожках; теперь же на украшенных улицах полно великолепных рысаков, карет, что запряжены четвернею цугом, раззолоченных мундиров; в театрах и у театральных подъездов толпятся знатные господа и слуги. «Государь уже в тридцати лье; а вдруг он вот-вот приедет; государь может приехать уже нынче ночью; возможно, государь будет в Москве завтра; говорят, государь был здесь уже вчера инкогнито; а что если он и сейчас здесь?» Эти сомнения, надежды, воспоминания волнуют сердца, от них оживляется весь город, все принимает новый облик — речи людей, выражение их лиц. Москва, город купеческий и деловой, нынче взволнована и смущена, словно скромная горожанка, ожидающая в своем доме знатного вельможу. Дворцы, обычно стоящие пустыми, открыты и освещены; всюду прихорашиваются сады; цветы и факелы соревнуются в блеске деланной веселости; угодливый шепоток пробегает по толпе, в умах пробуждаются еще более угодливые и еще более сокровенные мысли; все сердца бьются от

непритворной радости, ибо люди, жаждущие отличий, ободряют сами себя и переживают те удовольствия, что изображают притворно, почти всерьез.

Меня ужасает такое колдовское действие власти, я боюсь сам ощутить на себе ее чары и сделаться угодником — пусть не по расчету, а просто по пристрастию к чудесам.

Российский император прибывает в Москву, словно ассирийский царь в Вавилон.

Говорят, еще большие чудеса готовятся к его прибытию в Бородине, где в мгновение ока возник целый город, и этому новоявленному городку среди лесов предстоит просуществовать всего неделю; там даже насажены сады вокруг дворца; деревья, обреченные скорой гибели, привезены издалека и с большими издержками, дабы изображать собою вековые кущи; что усерднее всего подделывают в России, так это старинный возраст; в этой стране, не имеющей прошлого, люди терзаются всеми муками самолюбия, свойственными выскочке, который знает жизнь и прекрасно понимает, что думают окружающие о его внезапном обогащении. В этом заколдованном мире, чтобы изобразить вечное, пользуются самым что ни на есть преходящим: вместо векового дерева — дерево, выкопанное с корнями!.. вместо дворцов — богато убранные балаганы, вместо садов — разрисованные холсты. На Бородинском поле сооружено несколько театров, и воинские представления там будут перемежаться комедией; мало того, по соседству с военным городком императора вырос из праха еще и городок мещанский. Впрочем, хозяева наскоро выстроенных там трактиров терпят убытки, так как полиция с большой неохотой допускает в Бородино любопытных.

Празднество должно заключаться в точном повторении той битвы, которую мы называем Московскою, а русские нарекли Бородинским сражением; дабы все было как можно ближе к действительности, из самых дальних уголков империи созвали ветеранов 1812 года — всех тех участников дела, кто еще жив. Представьте же себе изумление и недоумение этих бедных стариков-героев, которых внезапно оторвали от их сладких воспоминаний и унылого покоя и заставили из далекой Сибири, с Камчатки, с Кавказа, из Архангельска, с лапландских границ, из кавказских долин, с каспийских берегов съехаться сюда, где на театре их славы разыгрывается представление, призванное, как им внушают, довершить их торжество. Здесь им придется заново разыграть ужасную комедию битвы, где они стяжали себе не богатство, но славу — жалкое вознаграждение за сверхчеловеческую верность долгу; усталость и безвестность — вот все, что получили они за свое повиновение, которое именуют славным, чтоб подешевле от них откупиться. К чему ворошить эти вопросы и воспоминания? к чему дерзко вызывать из небытия столько забытых и немых призраков? это словно Страшный суд, куда призваны души солдат 1812 года. Кто пожелал бы создать сатиру на военную жизнь, не сыскал бы лучшего

средства, чем это; так Гольбейн в своей пляске мертвецов создал карикатуру жизни человеческой. Иные из этих людей, внезапно пробужденных от предсмертной дремы, уже много лет не садились на коня, ныне же их заставляют, для забавы никогда не виденного ими властелина, заново играть свою роль, хоть ремесло свое они давно позабыли; несчастные так боятся обмануть ожидания своенравного государя, потревожившего их старость, что, по их словам, представление битвы страшит их более, чем страшила сама битва. Это ненужное торжество, эта потешная война окончательно добьет старых солдат, уцелевших в бою и за долгие годы после него; жестокие забавы, достойные преемника того царя, что запустил живых медведей на маскарад, устроенный по случаю свадьбы своего шута; царем этим был Петр Великий. Все подобные развлечения имеют источником одну и ту же мысль — пренебрежение к жизни человека.

Вот до чего способна дойти власть человека над другими людьми; разве может сравниться с нею власть закона над гражданином? между ними всегда будет огромное расстояние.

Меня удивляет, сколько измышлений требуется, чтоб согласить между собою тот народ и то правительство, какие существуют в России. От таких хитростей, от таких побед над здравым смыслом затеявшая подобную борьбу страна может преждевременно погибнуть; да только кто же способен рассчитывать далекие последствия чуда?

В свое время император позволил мне — то есть повелел — посетить Бородино. Теперь я думаю, что недостойн подобной милости; во-первых, вначале я не учел, сколь затруднительна будет роль француза в этом историческом представлении; во-вторых, тогда я еще не видел чудовищных работ по перестройке Кремля, которые мне пришлось бы хвалить; наконец, я еще не знал историю княгини Трубецкой, которую был бы не в состоянии позабыть, а еще менее того — затронуть в разговоре; взявши в расчет все эти доводы вместе, решил я не напоминать о себе. Это легко, ибо как раз в противном случае я доставил бы себе немало хлопот, судя по тому, как суетятся — и притом тщетно — множество французов и прочих иностранцев, домогаясь позволения ехать в Бородино.

Полицейские порядки в воинском лагере внезапно сделались чрезвычайно суровыми; такую удвоенную бдительность объясняют какими-то вновь открывшимися тревожными сведениями. Повсюду под золою свободы тлеет огонь мятежа. Не знаю даже, удалось ли бы мне в нынешних обстоятельствах воспользоваться обещанием, которое дал мне император в Петербурге, а затем повторил в Петергофе, при последней встрече: «Мне было бы приятно видеть вас на Бородинских торжествах, где мы зложим первый камень памятника в честь генерала Багратиона». То были его последние слова *.

* Позже, в Петербурге, я узнал, что был отдан приказ допустить меня в Бородино и что меня там ожидали.

Я уже встречал здесь людей, приглашенных, но так и не допущенных в лагерь; в разрешении отказывают всем, кроме некоторых высокопоставленных англичан да иных представителей дипломатического корпуса, назначенных быть зрителями этой грандиозной пантомимы. Все прочие — старики и молодые, военные и дипломаты, иностранцы и русские — воротились в Москву, измученные бесплодными хлопотами. Я написал одной из особ императорского дома, что, к сожалению, не могу воспользоваться милостью, оказанною мне его величеством, который позволил мне присутствовать при воинских эволюциях, — в оправдание же свое выставил недолеченную болезнь глаз.

В лагере, как говорят, невыносимо пыльно даже и для здоровых людей; я же от такой пыли могу лишиться зрения. Герцог Лейхтенбергский, надо думать, наделен изрядным равнодушием, коль может хладнокровно присутствовать на готовящемся представлении. Как утверждают, во время потешной битвы император должен командовать корпусом принца Евгения — отца молодого герцога.

Я сожалел бы о своем отсутствии на зрелище столь любопытном в отношении нынешних нравов и обстоятельств, если б только мог созерцать его как посторонний наблюдатель; но хоть я и не принужден заботиться здесь о воинской славе своего отца, я сын Франции и чувствую, что мне не подобает забавляться этою дорогостоящею военною репетицией, призванною единственно распалить национальную гордость русских за счет бедствий нашей страны. Само же зрелище мне нетрудно себе вообразить — в России я довольно насмотрелся прямых линий. К тому же ни на парадах, ни на потешных сражениях вечно ничего не видать за тучей пыли.

Если б еще актеры, разыгрывающие историю, были на этот раз верны правде!.. Но разве можно надеяться, что люди, всю жизнь привыкшие ни в грош не ставить истину, вдруг начнут ее блюсти?

Русские по праву гордятся исходом кампании 1812 года; однако ж генерал, начертавший ее план и первым предложивший постепенно отводить русскую армию в глубь империи, заманивая туда изнуренных походом французов; одним словом, тот, чьему гению Россия обязана своим избавлением, — князь Витгенштейн — не будет участвовать в грандиозном представлении; дело в том, что он, на беду свою, еще жив... Он живет у себя в имении, в полуопале; итак, имя его не будет произнесено на Бородинской годовщине, зато перед ним воздвигнется памятник вечной славы генералу Багратиону, павшему на поле брани.

При деспотическом правлении мертвые воины имеют преимущество перед живыми; так и здесь героем кампании объявлен человек, который храбро погиб в эту кампанию, но не возглавлял ее.

Такая историческая недобросовестность, когда один-единственный человек по своему произволу навязывает всем свои взгляды и предписывает народам свои суждения даже о событиях

общенациональной важности, представляется мне возмутительнейшим из беззаконий самовластного правления!! Казните и мучайте тело человека, но не уродуйте хотя бы его дух; дайте людям судить обо всем по воле Провидения, по своей совести и разуму. Нечестивыми должно считать те народы, которые смиренно терпят такое постоянное неуважение к тому, что есть самого святого в глазах Божьих и людских, — к истине.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПИСЬМА

Москва, 6 сентября 1839 года

Мне прислали отчет о бородинских военных упражнениях, и от него гнев мой отнюдь не утихает.

О Московской битве читали все, и история числит ее среди тех, что выиграны нами: император Александр затеял ее наперекор мнению своих генералов как последнюю попытку спасти столицу, которая спустя четыре дня была все-таки взята; однако героический пожар Москвы в сочетании с морозом, смертоносным для людей, рожденных в более мягком климате, наконец, недалековидность нашего вождя, ослепленного на сей раз непомерною верой в свою счастливую звезду, — все это решило дело к нашей беде; и вот теперь, благо кампания закончилась удачно, российскому императору угодно считать поражение своей армии в четырех переходах от столицы победою! Поистине, деспотизм злоупотребляет здесь тою свободой произвольно переименовывать факты, которую он себе присвоил; ради подтверждения своего вымысла император, якобы производя битву тщательно и точно, совершенно извратил ее картину. Взгляните, как опроверг он историю на глазах у всей Европы.

В тот момент сражения, когда французы, громимые огнем русской артиллерии, бросаются на разящие их батареи, дабы, как вам известно, смело и удачно захватить неприятельские пушки, император Николай, вместо того чтоб дать им выполнить сей знаменитый маневр, который справедливости ради должен он был допустить, а ради собственного достоинства — сам скомандовать, — император Николай, лстя ничтожнейшим своим подданным, заставил отступить на три лье тот корпус нашей армии, которому мы в действительности обязаны были поражением русских, победным маршем на Москву и ее взятием. Судите же сами, как я благодарю Бога, что мне хватило ума отказаться присутствовать при подобной лживой пантомиме!..

Эта военная комедия дала повод для императорского приказа, который произведет скандал в Европе, если только будет там обнародован в том виде, в каком мы прочли его здесь. Невозможно более резко отрицать достовернейшие факты и более дерзко издеваться над совестью людей, а прежде всего над своею собственною. Согласно этому любопытному приказу, излагающему понятия своего автора, но отнюдь не подлинные события кампании, «русские пред-

намеренно отступили за Москву, а значит, не проиграли Бородинское сражение (но тогда зачем они его давали?), и,— говорится в приказе,— кости дерзких пришельцев, разметанные от святой столицы до Немана, свидетельствуют о торжестве защитников отечества».

Не дожидаясь торжественного въезда императора в Москву, я через два дня уезжаю в Петербург.

Здесь заканчиваются мои дорожные письма; нижеследующее изложение включает собою мои заметки; оно писалось в разных местах — сперва в Петербурге в 1839 году, затем в Германии и еще позднее в Париже.

ИЗЛОЖЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПУТИ

Обратная дорога из Москвы в Берлин через Санкт-Петербург.— История одного француза, г-на Луи Перне.— Его арестовывают в трактире посреди ночи.— Необыкновенная встреча.— Крайняя осторожность второго француза, спутника арестованного.— Французский консул в Москве.— Его равнодушие к судьбе узника.— Мои бесплодные ходатайства.— Действие воображения.— Разговор с влиятельным русским.— Что он мне присоветовал в отношении узника.— Отъезд в Петербург.— Медленность езды.— Новгород Великий.— Что уцелело от древнего города.— Воспоминания об Иване IV.— Последние остатки новгородской славы.— Прибытие в Петербург.— Мой рассказ г-ну Баранту.— Примечание.— Завершение истории г-на Перне.— Внутренность московских тюрем.— Обещание, данное арестанту русским генералом.— Мои последние дни в Петербурге.— Поездка в Колпино.— Великолепный арсенал.— Бесцельная ложь.— Анекдот, рассказанный мне в карете.— Происхождение российского семейства Лаваль.— Пример отзывчивости императора Павла.— Сбитый герб.— Академия живописи.— Ее ученики-рекруты.— Пейзажисты.— Исторический живописец Брюллов, его картина «Последний день Помпеи».— Великолепные снимки Брюллова с картин Рафаэля.— Влияние севера на дух художников.— Поэзия меньше живописи теряет под небом Севера.— Мадемуазель Тальони в Петербурге.— Влияние здешней жизни на художников.— Упразднение униатства.— Преследования, претерпеваемые католическою церковью.— Несомненные преимущества представительного правления.— Я выезжаю из России; переправа через Неман; Тильзит.— Откровенное письмо.— Случай с немцем и англичанином.— Почему я не стал возвращаться в Германию через Польшу.

Берлин, в первых числах октября 1839 года

Перед самым отъездом из Москвы все мое внимание привлекло одно чрезвычайное происшествие, заставившее меня повременить с отбывием.

Я заказал себе почтовых лошадей на семь часов утра; к великому моему удивлению, камердинер разбудил меня, когда не было еще и четырех; я спросил о причине такой поспешности, и он ответил, что хотел поскорее известить меня о происшествии, о котором сам только что узнал и которое кажется ему достаточно серьезным, чтоб обязательно доложить мне без промедления. Вот вкратце его рассказ:

Некий француз, г-н Луи Перне, несколько дней назад прибыв-

ший в Москву и живший в трактире Коппа, только что был арестован посреди ночи (этой самой ночи); его схватили, забрали все бумаги и отвезли в городскую тюрьму, где посадили в одиночную камеру; все это рассказал моему слуге лакей из нашего трактира, который говорит по-немецки. Порасспросив еще, камердинер узнал также, что этот г-н Перне — молодой человек лет двадцати шести, что здоровья он слабого, отчего еще более приходится за него опасаться; что в прошлом году он уже бывал в Москве и даже жил здесь вместе со своим русским другом, который потом повез его к себе в деревню; сейчас этого русского здесь нет, и единственная опора злосчастливого арестанта — француз по имени г-н Р***, вместе с которым он, как говорят, только что вернулся из поездки по северу России. Живет этот г-н Р*** в том же трактире, что и арестованный. Имя его сразу меня поразило, ибо так звали человека-статуя, с которым обедал я за несколько дней до того у нижегородского губернатора. Как вы помните, меня еще сильно озадачило выражение его лица. То, что этот господин оказался теперь замешан в происшествиях нынешней ночи, было словно какую-то сценой из романа; я с трудом верил услышанному. Мне подумалось, что рассказ Антонио — вымысел, что все это сочинили нарочно, чтоб меня испытать; тем не менее я поспешил встать и расспросить сам трактирного лакея, чтоб убедиться в верности всей истории и в точности имени г-на Р***, чью личность хотел установить прежде всего. Лакей объяснил, что, имея поручение к одному иностранцу, уезжавшему из Москвы той ночью, он явился в трактир Коппа как раз тогда, когда туда нагрянула полиция, и добавил, что г-н Копп сам рассказал ему об этом деле примерно в тех же выражениях, в каких Антонио изложил его мне.

Я оделся и немедленно отправился к г-ну Р***. Оказалось, что это действительно человек-статуя из Нижнего. Правда, в Москве он был уже не так бесстрастен и казался встревоженным. Я застал его уже поднявшимся с постели; мы сразу узнали друг друга, и, когда я объяснил ему причину столь раннего своего визита, он заметно смутился.

— Я действительно путешествовал вместе с г-ном Перне, — сказал он, — но так вышло случайно; мы встретились в Архангельске и ехали оттуда вместе; сложения он хилого, и в дороге его слабое здоровье внушало мне опасения; я заботился о нем, как требует человечность, вот и все; я с ним вовсе не дружен, даже не знаком.

— Я знаком с ним еще меньше, — возразил я, — но мы все трое французы и обязаны помогать друг другу в стране, где свобода наша и жизнь в любой момент могут оказаться под угрозой, — ведь власть здесь дает о себе знать лишь карающими ударами.

— Возможно, г-н Перне навлек на себя эту неприятность каким-то неосторожным шагом, — продолжал г-н Р***. — Я здесь тоже иностранец, влияния не имею, что же я могу поделать? Если он

невиновен, его арест останется без последствий; если же виновен, то его накажут. Я ничем не в силах ему помочь, ничем ему не обязан, да и вам, сударь, советую быть весьма сдержанным, коли станете за него хлопотать, а равно и говорить об этом.

— Да кто же определит, виновен он или нет? — вскричал я. — Прежде всего надо бы повидать его, узнать, чем он сам объясняет свой арест, и спросить, что можно сделать и как замолвить за него слово.

— Вы забываете, в какой мы стране, — сказал г-н Р***. — Он же в одиночной камере, как до него добраться? это невозможно.

— Невозможно другое, — отвечал я, вставая, — чтобы французы, мужчины оставили в отчаянном положении своего соотечественника, даже не выяснив, чем вызвано его несчастье.

Выйдя от этого свехосторожного попутчика, начал я понимать, что дело сложнее, чем полагал сперва, и решил, что если хочу точно узнать о положении узника, то должен обратиться к французскому консулу. В ожидании часа, когда прилично будет отправиться к этой особе, велел я привести себе наемных лошадей — к великому неудовольствию и недоумению фельдъегеря, ибо, когда я давал это новое распоряжение, во дворе трактира уже стояли для меня почтовые лошади.

Около двух часов я поехал изложить уже известную вам историю г-ну французскому консулу. Сей официальный заступник французов оказался столь же осторожен и еще более холоден, чем доктор Р***. С тех пор как он поселился в Москве, французский консул сам стал почти русским. Я не смог распознать, были ли его ответы мне внушены обоснованною опаской, происходящею от знания местных обычаев, или же чувством задетого самолюбия, дурно понятого собственного достоинства.

— Г-н Перне, — сказал он, — полгода прожил в Москве и в окрестностях и за все это время так и не посчитал нужным хоть как-то заявить о себе французскому консулу. Раз так, то ныне, чтобы выпутаться из положения, в которое попал по своей беспечности, г-н Перне должен рассчитывать только сам на себя. «Беспечность» — слово, быть может, даже слишком мягкое, — добавил консул; в заключение он повторил, что не может, не должен и не хочет вмешиваться в это дело.

Напрасно убеждал я его, что в качестве консула Франции он обязан оказывать покровительство всем французам, невзирая на лица, в том числе даже и тем, кто нарушает законы этикета; что речь сейчас идет не об учтивости, не об условных церемониях, но о свободе, а то и жизни одного из соотечественников наших; что перед лицом такой беды всякая обида должна умолкнуть, по крайней мере до тех пор, пока не минует опасность; я так и не добился от него ни слова, ни жеста в пользу узника; тогда я стал просить его принять во внимание неравенство двух сторон, поскольку вина г-на

Перне, не нанесшего г-ну французскому консулу положенного визита, никак не идет в сравнение с наказанием, которому тот его подвергает, оставляя в темнице и не интересуясь причинами такого незаконного ареста, не пытаясь предотвратить еще более тяжкие последствия, какие может повлечь за собой безжалостность властей; в заключение я сказал, что в подобных обстоятельствах мы должны думать не о том, в какой мере г-н Перне достоин нашего сочувствия, но о достоинстве Франции и о безопасности всех французов, которые ездят или еще будут ездить в Россию.

Уговоры мои не возымели никакого действия, и из этого второго визита я извлек так же мало проку, как и из первого.

Тем не менее казалось мне, что хотя я даже по имени не знаю г-на Перне и не имею никакой личной причины о нем заботиться, но раз уж я по воле случая узнал о его несчастье, долг мой требует оказать ему всяческую помощь, какую я в состоянии ему предложить.

В тот миг меня сильно поразила истина, которая, вероятно, всем часто приходила в голову, но мне до тех пор являлась лишь смутно и бегло, — а именно, что сострадание в нас делается отзывчивее и острее благодаря воображению. Мне даже подумалось, что человек, полностью лишенный воображения, был бы и бессердечен. Весь творческий дух, какой есть во мне, невольно силился представить мне злосчастного незнакомца, одолеваемого теми призраками, какие рождаются одиночеством и неволей; я страдал вместе с ним, испытывал те же чувства, те же страхи; я видел, как он, всеми брошенный, оплакивает свою оторванность от людей и понимает, что она непоправима, ибо кому есть дело до арестанта в столь далекой и чуждой нам стране, в обществе, где друзья сходятся вместе лишь в благополучии и расходятся в беде? Мысли эти лишь сильнее разжигали во мне сострадание! «Ты считаешь, что ты один в целом свете, но ты несправедлив к Провидению, которое посылает тебе друга и брата», — вот что твердил я про себя, и еще многое другое, как бы обращаясь к несчастному.

Между тем, думал я, бедняга, не надеясь ни на чью выручку, все глубже погружается в отчаяние, по мере того как текут часы в ужасном однообразии, в неизменном безмолвии; скоро придет ночь, а с нею череда призраков; сколько страхов, сколько сожалений станут его терзать! Как хотелось мне дать ему знать, что отныне ему должно рассчитывать не на вероломных заступников, а на старания неведомого друга! Но у меня не было никаких средств с ним снестись; и от такой невозможности его утешить я чувствовал себя вдвойне обязанным ему помогать; среди бела дня меня преследовали зловещие видения темницы; воображение мое, заключенное под мрачные своды, застило мне сияние небес над головою и лишало меня свободы, вновь и вновь являя видения темных подземелий и крепостных башен; в смятении своем забывая, что русские даже

тюремьы строят в классическом стиле, я мнил себя заточенным под землю; мне чудились не римские колоннады, но готические каменные мешки; я сам чувствовал себя заговорщиком, наказанным и сосланным преступником, я сходил с ума вместе с узником... вовсе мне незнакомым! Так вот, если бы воображение не так живо рисовало мне все эти картины, я бы не так деятельно, не так настойчиво хлопотал за беднягу, который кроме меня не имел никакой поддержки и уже тем самым вызывал мое сочувствие. Меня словно преследовал призрак, и, чтоб избавиться от него, я готов был прошибить стены; от отчаяния и бессильной ярости я страдал, пожалуй, не меньше злосчастливого арестанта; пытаюсь прекратить его муки, я сам их терпел.

Добиваться пропуска в тюрьму было бы затеей сколь опасною, столь и бесполезною. После долгих и тягостных сомнений остановился я на иной мысли: в Москве я свел знакомство с кое-какими влиятельными лицами, и хотя уже два дня как со всеми распрощался, но все же решился обратиться к одному из тех, кто внушал мне более всего доверия.

Здесь я не только не должен называть его имя, но и вообще могу говорить о нем лишь самым неопределенным образом.

Когда я входил к нему в комнату, он уже знал, что за причина меня привела; и не успел я объяснить ему эту причину, как он сказал, что по странной случайности сам лично знаком с г-ном Перне, считает его ни в чем не повинным и не представляет, чем объяснить приключившееся с ним; он, однако, уверен, что подобный арест мог быть вызван только политическими соображениями, ибо русская полиция всегда, когда может, действует негласно; по всей вероятности, до сих пор предполагалось, что в Москве никто не знает о приезде этого иностранца; теперь же, когда дело уже сделано, его друзья, объявившись, способны лишь навредить — как только выяснится, что у него есть покровители, его положение сразу поспешат усугубить, переведя куда-нибудь подальше во избежание объяснений и жалоб; потому, добавил мой знакомец, для блага самого пострадавшего при защите его требуется сугубая осмотрительность. «Стоит ему попасть в Сибирь — и Бог весть когда он оттуда вернется!» — воскликнул мой советчик; после чего стал внушать мне, что его самого подозревают в наклонности к либеральным воззрениям, и достаточно только ему вступить за подозрительного француза или даже просто сказать, что он с ним знаком, как несчастного тут же ушлют на край света. В заключение он сказал: «Вы ему не родственник и не друг; судьба его заботит вас лишь постольку, поскольку вы полагаете это долгом своим перед каждым соотечественником, перед каждым человеком, попавшим в беду; все, чего требовало от вас это похвальное чувство, вы уже выполнили — переговорили со спутником арестанта, с вашим консулом, со мною; теперь же, поверьте мне, воздержитесь от любых

дальнейших хлопот; что бы вы ни стали делать, это не пойдет впрок, вы лишь скомпрометируете себя без всякой пользы для человека, которого бескорыстно взяли под защиту. Он вас не знает, ничего от вас не ждет — так уезжайте же; вам нечего опасаться, что вы обманете его надежды, — он на вас и не надеется; за делом его я прослежу — самому мне вмешиваться нельзя, но у меня есть средства стороною узнать, как оно идет, и в известной мере повлиять на его ход; обещаю вам употребить эти средства наилучшим образом; еще раз повторяю — послушайтесь меня и уезжайте».

— Если б я уехал, то не знал бы ни минуты покою, — воскликнул я, — меня бы мучила совесть при мысли о том, что кроме меня некому было помочь этому бедняге, а я его бросил в беде, ничего для него не сделал.

На это мне возразили:

— Оставаясь здесь, вы ведь не можете даже утешить его, потому что о присутствии вашем он не ведает, равно как и о вашем к нему сочувствии, и неведение это будет длиться до тех пор, пока его держат в заключении.

— Значит, нет никакого средства проникнуть к нему в камеру? — вновь спросил я.

— Никакого, — начиная уже терять терпение, отвечал тот, чьей помощи считал я своим долгом столь настойчиво добиваться. — Будь вы ему хоть братом, вы все равно не сумели бы здесь сделать для него больше, чем уже сделали. А вот находясь в Петербурге, вы могли бы быть полезны г-ну Перне. Сообщите все, что знаете об этом аресте, г-ну французскому послу — ибо из донесений вашего консула он вряд ли узнает о случившемся. Если столь высокопоставленное лицо, как ваш посол, да еще человек с таким характером, как у г-на Баранта, заявит обо всем министру, то это более способно помочь вызволению вашего соотечественника, чем все хлопоты, какие могли бы предпринять в Москве вы, я и еще хоть двадцать человек.

— Но ведь император со своими министрами находится в Бородине или же в Москве, — возразил я, все никак не давая себя выпроводить.

— Не все министры сопровождают его величество в этой поездке, — отвечали мне учтивым тоном, хотя и с нарастающим, не без труда скрываемым недовольством. — Ну, а в худшем случае придется дожидаться их возвращения. Повторяю, другого пути у вас нет, если только вы не желаете вреда человеку, которого пытаетесь спасти, себе же самому притом — больших неприятностей, а то и чего-нибудь похуже, — было добавлено с многозначительным видом.

Если б лицо, к которому я обращался, находилось на службе, мне уже мерещилось бы, что меня забирают казаки и ведут в такую же темницу, в какую заключен г-н Перне.

Чувствовалось, что терпение моего собеседника на исходе;

я и сам был смущен и не знал, что возразить на его доводы; итак, я удалился, пообещав уехать и со всею признательностью поблагодарив за данный мне совет.

Коль скоро выяснилось, что здесь я ничего не могу сделать, надо немедленно ехать, — решил я. Остаток утра отняли у меня проводочки фельдъегеря, который, вероятно, должен был составить обо мне последнее донесение; получить вновь почтовых лошадей удалось лишь к четырем часам пополудни — четверть пятого я уже ехал по петербургскому тракту.

Недобросовестность моего курьера, всевозможные неурядицы, происходившие не то случайно, не то по злой воле, повсеместная нехватка подставных лошадей, которых держали только для императорского двора и армейских офицеров, а также для курьеров, непрестанно разъезжавших между Бородином и Петербургом, — все это сделало переезд медленным и тягостным; в нетерпении я не желал останавливаться на ночлег, но торопливостью этою ничего не выиграл, ибо отсутствие лошадей — действительное или мнимое — вынудило меня на целых шесть часов задержаться в Новгороде Великом, за пятьдесят лье до Петербурга.

Я мало был расположен осматривать остатки этого города, где зародилась империя славян и нашла себе могилу их свобода. В знаменитом храме святой Софии находятся здесь гробницы Владимира Ярославича, умершего в 1051 году, матери его Анны, одного из константинопольских императоров, а также еще несколько любопытных захоронений. Храм походит на все русские церкви; возможно, и он не более подлинный, чем «старинный» собор в Нижнем Новгороде, где покоится прах Минина; я не доверяю больше возрасту ни одного из памятников старины, которые мне показывают в России. Названиям рек я пока еще верю; при виде Волхова представились мне ужасные сцены осады города-республики, который был дважды взят и опустошен Иваном Грозным. Мне виделось, как эта венценосная гиена, улегшись на развалинах, ликует при виде войны, мора и расправы, а из заваленной мертвецами реки, казалось, выступали кровавые трупы подданных царя, напоминая мне об ужасах гражданских войн и об иступлении, до которого доходят общества, именуемые цивилизованными — потому лишь, что злодеяния расцениваются в них как дело доблести и вершатся со спокойною совестью. Среди дикарей страсти столь же разнузданны, даже еще более грубы и жестоки; однако там они не имеют такого размаха; человек там, располагая обычно лишь своею личною силою, творит зло в меньших размерах; к тому же безжалостность победителей если и не извиняется, то объясняется жестокостью побежденных; в упорядоченных же государствах разрыв между ужасом творимых деяний и расточением красных слов делает преступление особенно возмутительным и показывает нам человечество в особенно прискорбном виде. Слишком часто здесь некоторые

склонные к оптимизму умы, а равно и другие, из выгоды, политического расчета либо самообмана льстящие массам, принимают всякое движение за прогресс. Мне представляется примечательным, что грозную месть, от которой тридцать тысяч жителей погибли в боях либо стали безвинными жертвами придуманных царем и приведенных в исполнение под его началом пыток и казней, навлекли на Новгород сношения архиепископа Пимена и нескольких знатных горожан с поляками. В те дни на глазах у царя казнили до шестисот человек в день; и все эти ужасы совершались в качестве возмездия за преступление, с тех самых пор каравшееся самым беспощадным образом, — за связь с поляками. Случилось все это около трехсот лет назад, в 1570 году.

После этого потрясения Новгород Великий так и не оправился; он мог бы восполнить свои потери, но не пережил упразднения демократических установлений; на городских стенах, покрашенных с тем тщанием, с каким русские всюду стремятся под покровом ложного обновления скрыть излишне правдивые следы истории, — на стенах этих нет больше пятен крови; они как будто отстроены лишь вчера; но на широких прямолинейных улицах безлюдно, а три четверти старинных развалин разбросаны за пределами тесной крепостной стены и теряются среди окрестных равнин, окончательно разрушаясь вдали от нынешнего города — не более чем тени прежнего, с которым его роднит одно название. Вот и все следы знаменитой средневековой республики. Несколько полустертых воспоминаний о славе, о могуществе — призраки, навсегда ушедшие в небытие. Каков же плод революций, непрестанно орошавших кровью эту почти пустынную ныне землю? чей успех стоит тех слез, что проливались в этом краю из-за политических страстей? Ныне все здесь безмолвствует, словно до начала исторических времен. Как же часто Бог напоминает нам, что люди, обманываясь своею гордыней, принимают за достойную цель усилий то, что на деле позволяет просто дать выход избыточной силе, кипящей в волнении молодости. В этом — глубинный смысл многих героических поступков.

Ныне Новгород Великий — это более или менее знаменитая груда камней среди бесплодной на вид равнины, на берегу унылой, узкой и беспокойной реки, похожей на канал для осушения болот. А ведь здесь жили люди, прославленные своею любовью к буйной вольнице; здесь происходили трагические сцены; блестящие судьбы прерывались внезапными катастрофами. От всего этого грохота, крови, вражды остался ныне дремотно скучный гарнизонный город, не любопытный более ни к чему на свете — ни к миру, ни к войне. В России прошлое отделено от настоящего бездною!

Уже триста лет как вечевой колокол * не созывает более на совет жителей некогда славнейшего и непокорнейшего русского города;

* Колокол народного собрания.

по воле царя в сердцах задушено даже сожаление, стерта даже сама память о его былой славе. Несколько лет назад в военных поселениях, размещенных вокруг новгородских руин, происходили жестокие столкновения между казаками и местными жителями. Но бунт был подавлен, и все опять вошло в обычную колею — повсюду воцарились могильная тишь и покой. Турция ничем не уступает Новгороду *.

Я вдвойне рад был — за московского узника и за себя самого — оставить эти места, некогда знаменитые своею разнузданною вольностью, ныне же опустошенные так называемым «порядком», который здесь равнозначен смерти.

Как ни торопился, в Петербург я прибыл лишь на четвертый день; и, едва выйдя из коляски, сразу поспешил к г-ну де Баранту.

Он еще не знал об аресте г-на Перне и был, казалось, удивлен, что узнает о нем от меня, тем более что я затратил на дорогу почти четыре дня. Он еще больше удивился, когда я поведал ему о своих бесплодных беседах с консулом, о попытках уговорить этого официального заступника французов похлопотать за арестанта.

Внимательность, с какою выслушал меня г-н де Барант, его обещания предпринять все необходимое для выяснения дела и ни на минуту не упускать его из виду, не распутав весь узел интриги; важность, которую он, казалось, придавал малейшим происшествиям, затрагивающим достоинство Франции и безопасность наших сограждан, — все это успокоило совесть мою и развеяло призраки, рожденные моим воображением. Судьба г-на Перне была теперь в руках его естественного покровителя, чей ум и твердость давали несчастному более надежную поддержку, нежели мои старания и бессильные ходатайства.

Я почувствовал, что сделал все возможное и должное, чтобы вызвать человека из беды и, по мере сил не выходя за пределы, поставленные моим положением простого путешественника, защитить честь своей страны. «Безумное» мое воображение сыграло благую роль. Поэтому я счел разумным в те двенадцать или пятнадцать дней, что провел еще в Петербурге, не произносить более имени г-на Перне в присутствии г-на посла и уехал из России, не зная, как развивалась далее история, в начале своем столь сильно меня озаботившая и взволновавшая.

Но, скоро и вольно держа свой путь во Францию, я не раз мысленно возвращался в московскую темницу. Если б я знал, что там происходило в те дни, я бы тревожился еще сильнее **.

* Смотри письмо восемнадцатое, историю Теленева.

** Чтоб не оставлять читателя в неведении относительно судьбы московского узника, о которой я сам ничего не знал почти полгода, расскажу здесь то, что узнал лишь по возвращении во Францию об аресте и освобождении г-на Перне.

Однажды, в конце зимы 1840 года, доложили мне о приходе какого-то незна-

Последние дни своего пребывания в Петербурге я употребил на посещение некоторых учреждений, которых не смог повидать при первом приезде в этот город.

Князь *** показал мне в числе прочих достопримечательностей огромный Колпинский завод — главный русский арсенал, расположенный в нескольких лье от столицы. На этом заводе изготовляется все необходимое для императорского флота. Ехать в Колпино семь

комца, который желает со мною переговорить; я спросил его имя; он отвечал, что скажет его только мне лично. Я отказался его принять; он настаивал, я вновь отказал. Тогда, не желая отступаться, он написал мне несколько слов без подписи, говоря, что я не могу не выслушать человека, обязанного мне жизнью и желающего лишь отблагодарить меня.

Такие слова были для меня неожиданны, и я велел впустить незнакомца. Войдя в комнату, он сказал: «Сударь, я вчера только узнал ваш адрес и сегодня же поспешил к вам: меня зовут Перне, и я хотел бы выразить вам свою признательность, ибо в Петербурге мне сказали, что именно вам обязан я свободою, а значит и жизнью».

После первых бурных чувств, которых не могли не вызвать во мне эти речи, я начал рассматривать г-на Перне; то был один из многих молодых французов, по облику и складу ума напоминающих южан; черноглазый и черноволосый, скуластый, с гладким и бледным лицом; невысокого роста, худой, хрупкого сложения и болезненного вида, но болезненного от страданий скорее нравственных, чем физических. Оказалось, я знаю кое-кого из его родственников, которые живут в Савойе и принадлежат к числу достойнейших людей в том краю, где порядочны все люди без исключения. Он рассказал мне, что по образованию он адвокат и что в Москве его три недели продержали в тюрьме, в том числе четыре дня в одиночной камере. Из повести его вы увидите, как обращаются в этом заведении с арестантами. В воображении своем я не смог даже приблизиться к действительности.

Первые два дня ему не давали есть; можете себе представить, какие муки он терпел! Никто его не допрашивал, он был совершенно один; в течение сорока восьми часов он думал, что ему суждено так и умереть от голода, забытым в своем узилище. Единственный шум, доносившийся до него, были удары розг, которыми с пяти часов утра и до самого вечера секли несчастных крепостных, отправленных туда своими господами для наказания. Прибавьте к этим ужасным звукам рыдания, плач и вой жертв, угрозы и брань палачей, и вы можете составить себе приблизительное представление о том, каким нравственным пыткам подвергался наш злосчастный соотечественник в течение четырех томительных дней, сам не зная за что.

Проникнув таким образом, отнюдь не по своей воле, в сокровенные тайны русских тюрем, он вполне оправданно счел, что обречен кончить здесь свои дни, небезосновательно рассудив: «Если б меня собирались выпустить, то не посадили бы в такое место — ведь эти люди больше всего боятся, что их скрытые от посторонних взглядов жестокости получат огласку».

Одна лишь тонкая и легкая перегородка отделяла тесную каморку г-на Перне от внутреннего двора, где происходили экзекуции.

Розги, которые благодаря смягчению нравов заменили собою недоброй памяти монгольский кнут, представляют собою расщепленный натрое тростник; при каждом ударе орудие это рвет кожу; после пятнадцатого удара наказуемый обычно уже не в силах кричать: ослабевший голос его издает лишь глухие протяжные стоны; этот ужасный хрип казнимых разрывал сердце узнику и предвещал ему участь, о какой не осмеливался он даже помыслить.

Г-н Перне понимает по-русски; ему сразу пришлось стать свидетелем множества незримых для него и никем не знаемых мучений; в тюрьму привели двух девушек, работавших у знаменитой в Москве модистки; несчастных секли прямо на глазах у хозяйки — та обвиняла их в том, что они имеют любовников и настолько забываются, что приводят их в дом... к ней, владелице модной лавки!! экое безобразие! При

лье, причем вторая половина дороги очень скверная. Заводом управляет англичанин, г-н Вильсон, удостоенный генеральского звания (в России все носят мундир) *; он добросовестно, как истый русский

этом злобная женщина еще и велела палачам сечь побольше; одна из девушек запросила пощады; было ясно, что она при смерти, вся в крови, — неважно!.. она имела дерзость сказать, что сама хозяйка ведет себя похуже нее, отчего та расшвырнула вдвое пуше прежнего. Как утверждал г-н Перне (добавляя притом, что я, конечно, не поверю его словам), каждая из несчастных получила, в несколько приемов, по сто восемьдесят палей. «Мне слишком больно было их считать, — сказал мне бывший арестант, — чтобы я мог сбиться!!»

Когда присутствуешь при таких ужасах и ничего не можешь сделать, чтобы помочь жертвам, то начинаешь сходить с ума.

Затем стали сечь крестьян, присланных управляющим какого-то помещика; дворового слугу из городской усадьбы, наказываемого по просьбе барина; сплошная череда жестоких и несправедливых возмездий, череда людей, чье отчаяние несведомо свету^o. Бедный арестант ждал ночи, так как вместе с темнотою наступала и тишина; но тогда его начинали жечь каленым железом собственные мысли; и тем не менее жестокие муки воображения он предпочитал мукам от более чем действительных страданий преступников или же невинных жертв, которых приводили на тюремный двор в течение дня. Попавшего в настоящую беду не так страшит мысль, как действительность. Одни лишь сытые и спящие в мягкой постели любители помечтать уверяют, будто мнимые мучения сильнее действительно испытываемых.

Наконец, после этой четырехдневной пытки, ужас которой вряд ли подвластен усилиям нашего воображения, г-н Перне, по-прежнему без всяких объяснений, был переведен из своей камеры в другую часть тюрьмы.

Оттуда он написал г-ну де Баранту, передав письмо через генерала ***, на дружбу которого он, как полагал, мог рассчитывать.

Письмо по назначению не дошло, а когда позднее написавший его попросил у вероломного генерала объяснений, тот ответил отговорками и в конце концов поклялся г-ну Перне на Евангелии, что письмо его не было и никогда не будет передано министру полиции! Таково было высшее изъявление преданности, какого сумел добиться узник от своего друга. Вот во что превращаются лучшие людские чувства, пройдя через горнило деспотизма.

Три недели прошли во все нарастающем беспокойстве, ибо, казалось, опасаться можно чего угодно, а надеяться не на что.

По истечении этого срока, который г-ну Перне показался целою вечностью, он был освобожден без всякого суда, так и не узнав, в чем состояла причина его заточения.

Неоднократные запросы, направленные им в Москве директору департамента полиции, ничего не прояснили: ему отвечали, что его освобождения требовал посол, и приказали покинуть Россию. Он испросил и получил разрешение ехать через Петербург.

Ему хотелось поблагодарить французского посла за свободу, которою он ему обязан. Он желал также дознаться, почему с ним так обошлись. Тщегно г-н де Барант отговаривал его от затеи идти объясняться с г-ном Бенкендорфом, министром полиции. Освобожденный узник испросил себе аудиенции; ему ее предоставили. Он сказал министру, что не ведает, за что был наказан, и, прежде чем покинуть Россию, желает узнать, в чем заключалось его преступление.

* Напомню сказанное выше о «чине» (том первый, письмо девятнадцатое).

^o Смотри в конце этого тома извлеченный из книги Лаво список лиц, содержавшихся в московской тюрьме в течение 1836 года. Смотри также в приложении к «Американским заметкам» Диккенса выдержки из американских газет, касающиеся обращения с рабами в Соединенных Штатах; налицо примечательное сходство между бесчинствами деспотизма и злоупотреблениями демократии.

инженер, показал нам свои машины, не давая пропустить ни единого гвоздя или гайки; в сопровождении его мы обошли около двадцати цехов огромного размера. Со стороны управляющего такая чрезвычайная любезность заслуживала, вероятно, сугубой признательности; я же восхищался весьма сдержанно, да и то выказывал больше энтузиазма, чем действительно ощущал: усталость делает неблагодарным, почти так же, как и скука.

Самое замечательное, что встретилось нам во время поневоле долгого осмотра колпинских механизмов, — это машина Брамаха, посредством которой испытывают на прочность якорные цепи для наиболее тяжелых кораблей; могучие стальные звенья, устоявшие против усилий этой машины, смогут удерживать и судно при самых резких порывах ветра и ударах волн. В машине Брамаха для измерения прочности железа остроумно используется давление воды; это изобретение меня восхитило. Осмотрели мы также шлюзы, предназначенные для спуска избыточной воды при особо мощных паводках. Эти необычные шлюзы действуют главным образом весной; иначе ручей, вращающий машины, не приводил бы в движение весь завод, а чинил бы неисчислимые разрушения. Дно каналов и шлюзовые опоры покрыты толстыми листами меди, так как этот металл якобы лучше гранита переносит зиму. Нас уверяли, что подобного не увидишь больше нигде.

Колпино вновь поразило меня тою неумеренною грандиозностью, что присуща всем полезным сооружениям, построенным русским правительством. Это правительство почти всегда присовокупляет к необходимому немало излишнего. У него так много действительной мощи, что низкие уловки, посредством которых оно

Министр кратко отвечал, что г-ну Перне лучше не заниматься далее расследованиями на сей счет, после чего отослал его восвояси, повторив приказание безотлагательно покинуть империю.

Вот и все сведения, что я сам смог получить от г-на Перне.

У молодого человека, как и у всех, кто хотя бы недолгое время провел в России, появился таинственно-скрытный тон, от которого иностранцы, живущие в тех краях, так же не могут избавиться, как и сами местные обитатели. В России все умы словно придавлены секретностью.

В ответ на мои расспросы г-н Перне наконец сказал мне, что при первой поездке в Россию ему поставили в паспорте звание негодянта, при второй же поездке — адвоката; он прибавил и нечто более серьезное: еще до прибытия в Петербург, плывя на пароходе по Балтийскому морю, он откровенно высказался против русского деспотизма в присутствии нескольких незнакомых людей.

На прощание он заверил меня, что не напоминает никаких иных обстоятельств, которые могли бы объяснить то обращение, какому он подвергся в Москве.

С тех пор я его не видал; лишь два года спустя, по случайности столь же странной, как и обстоятельства, заставившие меня вмешаться в эту историю, я повстречал одну особу, принадлежащую к его семейству; она сказала мне, что знает, какую услугу оказал я ее юному родственнику, и поблагодарила меня. Должен прибавить, что особа эта держится консервативных религиозных взглядов; еще раз повторю, что она сама и вся ее семья пользуются всеобщим уважением и почетом в Сардинском королевстве.

обычно пускает пыль в глаза иностранцам, не должны вызывать в нас только презрение; такая хитрость совершенно бескорыстна, ее следует отнести к прирожденным склонностям национального характера: ведь люди лгут не только по малодушию, но часто и оттого, что от природы наделены даром искусно лгать; это особый талант, а любой талант желает выказать себя.

Когда мы сели в экипаж, чтоб ехать назад в Санкт-Петербург, уже стемнело и похолодало. Обратный путь был сокращен приятною беседой; особенно запомнилась мне следующая история. Она помогает понять, насколько всевластен над действительностью абсолютный монарх. До сих пор я видел, как русский деспотизм повелевает мертвецами, храмами, историческими событиями, каторжниками, арестантами — вообще всеми теми, кто не может заговорить и воспротивиться злоупотреблениям власти; на сей раз мы увидим, как император российский навязал одной из знатнейших семей Франции такое родство, о котором она и не думала.

В царствование Павла I жил в Петербурге француз по имени то ли Лаваль, то ли Ловель; будучи молод и приятен собою, он понравился одной весьма богатой девице, в которую сам был влюблен; семейство юной особы находилось тогда в немалой силе и почете; оно воспротивилось браку с незнатным и небогатым иностранцем. В отчаянии двое влюбленных решились на средство, достойное романа. Они подкараулили императора, когда тот проезжал по улице, бросились ему в ноги и попросили его заступничества. Павел I — который бывал добр, когда не бывал безумен, — пообещал добиться согласия семьи и убедил ее такое согласие дать — убедил, надо думать, различными доводами, но особенно же следующим: «Барышня ***,— сказал он,— выходит замуж за *господина графа де Лавалья*, молодого французского эмигранта, отпрыска знатного рода и обладателя значительного состояния» *.

Получив таким образом — хотя, конечно, лишь на словах — изрядное приданое, молодой француз женился на барышне ***, родственники которой, разумеется, не стали перечить императору.

* После выхода в свет первого издания этой книги я получил письмо от госпожи графини Коссаковской, дочери петербургского графа де Лавалья; в нем она указывает на ошибки, к распространению коих я оказался причастен, рассказавши сей анекдот так, как сам его услышал. Она признает тем не менее, что петербургский г-н де Лаваль не принадлежит к прославленному французскому роду, благодаря брачным узам соединившему имя свое с именем Монморанси, и в доказательство даже прибавляет, что титул графа де Лавалья ему пожаловал Людовик XVIII; один этот факт удостоверяет, что Лавали, обосновавшиеся в Петербурге со времен эмиграции, не имеют ничего общего ни со старинным домом Лавалей, ни вообще со старинною французскою знатью. Однако же заслугами своими они никому не уступят; имя их вошло в историю благодаря недавнему достославному событию — петербургский граф де Лаваль придумается отцом княгине Трубецкой, добровольно отправившейся в сибирскую ссылку.

Издавая свою книгу, я не знал, что героический поступок этой святой жертвы супружеского долга покрывает славой также и Францию.

В подтверждение слов государя новоявленный граф де Лаваль гордо велел извять свой герб на подъезде *родового особняка*, где поселился с молодою супругой.

К несчастью, случилось так, что через пятнадцать лет, уже при Реставрации, в Россию приехал кто-то из рода Монморанси-Лаваль; увидав нечаянно герб на подъезде, он стал наводить справки; ему рассказали историю г-на де Лавалья.

По его требованию император Александр немедленно распорядился убрать герб Лавалей, и подъезд остался голым.

На другой день после поездки в Колпино я подробно осмотрел Академию живописи — великолепное пышное здание, где хранится пока немного хороших работ; да и чего можно ожидать от искусства в стране, где молодые художники носят мундир? Лучше бы уж просто отказаться от всякого труда, для коего потребно воображение. Все воспитанники Академии, как оказалось, состоят на службе, соответственно одеты, выполняют команды, словно кадеты морского училища. Уже это одно говорит о глубоком презрении к тому, чему здесь якобы покровительствуют, или, вернее, о совершенном непонимании законов природы и таинств искусства; даже в открытом равнодушии к художеству было бы не так много варварства; в России свободно лишь то, до чего нет дела правительству; до искусства же ему слишком много дела, да только оно не ведает, что искусство нуждается в свободе и тесная связь между гениальностью творчества и независимостью творца уже сама по себе служит залогом благородства художественной профессии.

Пройдясь по многочисленным мастерским, нашел я неплохих пейзажистов; их композиции отличаются воображением и даже удачными красками. Особенно любовался я картиною г-на Воробьева, изображающею Санкт-Петербург летнею ночью: это красиво, как сама природа, поэтично, как сама правда. Я стоял перед этой картиной, и мне чудилось, будто я только что прибыл в Россию; мысленно я перенесся в то время года, когда летние ночи состояли из переходящих одна в другую вечерней и утренней зари; на картине как нельзя лучше передан эффект этого неугасающего света, который пробивается сквозь тьму, словно лучи лампы, прикрытой легким флером.

С сожалением отошел я от этого полотна, где природа точно схвачена человеком, которому воображение помогает воспроизводить увиденное. Своими работами он напомнил мне мои первые впечатления при виде Балтийского моря. Мне виделось не обычное живописное освещение, но бледный свет полярных стран. Столь верно передать своеобразные явления природы — заслуга немалая.

Много толков в России вызывает талант Брюллова. Говорят, что своим «Последним днем Помпеи» он наделал шуму в самой Италии. Огромное это полотно составляет ныне гордость русской школы в Санкт-Петербурге; не смейтесь — я сам видел, осматривая

Академию живописи, как на дверях одного из залов начертаны эти слова — «Русская школа»!!! На мой взгляд, в картине Брюллова неверны краски; правда, избранный художником сюжет способен скрыть этот изъян, ибо кто может знать, какого цвета были здания в последний день Помпеи? Почерк живописца резкий, мазок жесткий, но в нем есть творческая сила; замыслы его не лишены ни воображения, ни самобытности... Лица у него разнообразны и правдивы; владеет он искусством светотени, он, возможно, и заслужил бы когда-нибудь ту славу, которою здесь пользуется; сейчас же ему недостает непринужденности, колорита, легкости и изящества, да и чувство прекрасного ему несвойственно; он не чужд своеобразной дикой поэзии, и все же общий вид его картин неприятен для взора, а натянутостью стиля своего, хоть и не лишенного мощи, он напоминает подражателей школы Давида; рисунок выполнен тщательно, словно по гипсовой модели, а расцвечен как придется.

На картине «Успение», которою принято восхищаться в Петербурге, так как это работа *знаменитого* Брюллова, заметил я тучи столь тяжелые, что впору их отдать в Оперу для изображения скал.

Тем не менее в «Помпее» выражение некоторых лиц говорит об истинном таланте. Картина эта, при всех недостатках композиции, выиграла бы в виде гравюры; ибо более всего она грешит по части красок.

Говорят, что, вернувшись в Россию, автор уже изрядно растерял свою увлеченность искусством. Как мне его жаль — он повидал Италию и должен был возвращаться на Север! Работает он мало, ему ставят в заслугу легкость кисти, но она, к сожалению, слишком явственно проступает в его работах. Только упорными, усиленными занятиями мог бы он избавиться от жесткости рисунка и резкости красок. Великие живописцы знают, скольких трудов стоит отучиться рисовать кистью, обрести умение писать ослабленными тонами, умение стирать на полотне линии, которых в природе нет нигде, и показывать зато воздух, который разлит в ней повсюду, умение скрывать свое искусство и, воспроизводя действительность, непрестанно ее облагораживать. Похоже, что русский Рафаэль не подзревает об этой тяжелой задаче художника.

Как говорят, жизнь свою он проводит более в попойках, нежели в трудах; я его не столько порицаю, сколько жалею. Все средства здесь хороши, чтоб согреться; в России вино — замена солнца. Если вы, на беду свою, не только русский, но еще и чувствуете себя художником, вам нужно уезжать за границу. Разве не ссылка для живописцев — жить в этом городе, где три месяца в году темно, а снег сверкает ярче солнца?

Кто-нибудь из жанровых живописцев, усердно воспроизводя особенности быта под здешними широтами, еще мог бы снискать себе почет и завоевать местечко на панерти храма искусств, в сто-

ронке от всех; исторический же живописец, если он желает развить свои полученные от неба наклонности, должен бежать прочь из этого климата. Что бы ни говорил и ни творил Петр Великий, природа ставит предел человеческим затеям, хотя бы даже двадцать царей узаконили их своими указами.

Одна из виденных мною работ г-на Брюллова действительно великолепна; это, без сомнения, лучшая картина современной живописи, какая есть в Санкт-Петербурге; правда, это лишь снимок с достаточно старого шедевра — а именно с «Афинской школы». Размером она не уступает подлиннику. Художник, способный так воспроизвести, быть может, самое неподражаемое творение Рафаэля после его мадонн, обязан возвратиться в Рим, чтоб научиться там писать нечто лучшее, чем «Последний день Помпеи» и «Успение Божьей матери»*.

Соседство с полюсом противно искусствам, исключая поэзию, которой зачастую не надо ничего, кроме человеческой души; тогда это словно вулкан, скованный льдами. Зато музыка, живопись, танец — все чувственные удовольствия, в известной мере независимые от мысли, в суровом этом климате вместе с потребными для них органами лишаются и своих чар. Что мне проку от Рембрандта ночью или же от Корреджо, Микеланджело и Рафаэля в темной комнате? У Севера, конечно, есть своя красота, но во дворце этом не хватает света. Любовь здесь свободней от чувственности и рождается не столько из телесных вожделений, сколько из потребностей сердечных; но, не в обиду будь сказано пустой роскоши богатства и власти, юность с ее чарующею свитой игр, грации и смеха не идет дальше тех благословенных краев, где солнечные лучи не скользят, едва касаясь земли, но согревают и оплодотворяют почву, озаряя ее с высоты небес.

В России все печально вдвойне — от страха власти и от отсутствия солнца!.. Народные танцы походят здесь на хоровод теней, который уныло тянется в слабом свете нескончаемых сумерек; а если пляшут их бойко — то на упражнения, которые делаются из боязни задремать и замерзнуть во сне. Даже мадемуазель Тальони, и та... увы!..

Ведь даже мадемуазель Тальони в Санкт-Петербурге превратилась просто в превосходную танцовщицу! Какое падение для нашей Сильфиды!.. вспоминается легенда об Ундине, ставшей обыкновенною женщиной... А когда она ходит по улицам — ибо теперь она ходит пешком! — за нею идут лакеи в парадной ливрее с золотым шитьем и с кокардами на шляпе, а в газетных статьях ее каждое утро осыпают нелепейшими похвалами, какие мне только доводилось читать. Вот как русские, при всем своем уме, могут обращаться с искусством и художниками. Художник должен быть рожден

* Г-н Брюллов написал несколько весьма примечательных снимков с работ Рафаэля; но этот поразил меня своей красотой более всех прочих.

небесами, понят публикою, вдохновлен обществом... Вот что ему необходимо; награды же — дело необязательное; как сказано в Евангелии, это все приложится. Но напрасно искать этих необходимых вещей в империи, народ которой, силою загнанный чуть ли не на границу Лапландии, силою же был приобщен Петром I к порядку. Чтобы узнать, на что способны русские по части изящных искусств и цивилизации, я буду ждать, пока они дойдут до Константинополя.

Лучший способ покровительствовать искусствам — иметь непритворную потребность в удовольствиях, ими доставляемых; если народ достиг такой степени цивилизованности, ему недолго придется зазывать к себе художников из-за границы.

В то время, когда собирался я уезжать из Санкт-Петербурга, некоторые особы тайне оплакивали упразднение униатства* и рассказывали о самовластных мерах, загодя подготовлявших себе безбожное деяние, прославляемое здесь как торжество русской церкви. Тайные гонения, которым подверглись несколько униатских священников, способны возмутить даже самые равнодушные сердца; однако в стране, где большие расстояния и секретность способствуют произволу и всякий раз содействуют самым тираническим деяниям, любые насилия остаются под спудом. Мне это напоминает выразительное присловье, столь часто повторяемое русскими, за которых некому заступиться: «До Бога высоко, до царя далеко!» **

Итак, православные стали мучить людей за веру. Где же та религиозная терпимость, которую кичились они перед теми, кто не знает Востока? Сегодня славные поборники католической веры томятся в монастырях-тюрьмах, и о борьбе их, восхищающей небеса, не ведает даже сама церковь, за которую они столь благородно ратуют на земле, — мать всех церквей, единственная на свете всемирная церковь, ибо одна лишь она не заражена духом местной ограниченности, одна лишь она остается свободною и не принадлежит никакой стране! ***

Когда над Россией взойдет солнце гласности, весь мир содрогнется от высвеченных им несправедливостей — не только старинных, но и творимых каждодневно и поныне. Да только слабым будет это содрогание, ибо такова уж судьба правды на земле: народы не ведают ее, когда им нужнее всего ее знать, а когда ее узнают, оказывается, что она им уже больше не нужна. Злоупотребления низвергнутой власти вызывают лишь вялые возгласы; повествующие о них слышат людьми озлобленными, бьющими уже поверженного противника, — пока же эта неправедная власть стоит на ногах, ее

* Униаты — православные, присоединившиеся к католической церкви и с тех пор рассматриваемые церковью православною как раскольники.

** Смотри книгу «Преследования и муки католической церкви в России» и превосходные статьи в «Журналь де Деба» за октябрь 1842 года.

*** Ведь целых три года потребовалось, чтобы вопль этих страдальцев донесся до Рима!

бесчинства тщательно скрываются, ибо мощь свою она употребляет прежде всего на то, чтобы заглушить стоны своих жертв; истребляя и губя людей, она старается не выказывать гнева, да еще и сама себе рукоплещет за незлобивость — ведь она позволяет себе одни лишь неизбежные жестокости. Однако нечего ей хвалить свою мягкость: когда тюрьма глухо непроницаема, как могила, то нетрудно обойтись и без эшафота!..

Днем и ночью не давала мне покоя мысль, что я дышу одним воздухом со столькими людьми, несправедливо угнетенными и отрезанными от всего света. Я уезжал из Франции в ужасе от бесчинств обманувшей нас свободы, возвращаюсь же домой в уверенности, что представительное правление пусть и не самое нравственное с логической точки зрения, но все же на деле мудрее и умереннее, чем другие; когда видишь, что оно предохраняет народы, с одной стороны, от разнузданной демократии, а с другой, от кричащих злоупотреблений деспотизма, тем более мерзких, чем выше материальная цивилизация в терпящем их обществе, — когда видишь это, задаешься вопросом, не следует ли заглушить свою неприязнь и безропотно снести эту политическую необходимость, которая приготовленным к ней народам в конечном счете приносит больше добра, чем зла.

Правда, до сих пор такая новая и сложная форма правления утверждалась лишь посредством узурпации. Быть может, эта конечная узурпация становилась неизбежно из-за всех прегрешений, допущенных прежде; на такой религиозно-политический вопрос ответит потомкам нашим лишь время, мудрейший из исполнителей воли Бога на земле. Мне вспоминается здесь глубокая мысль, высказанная одним из просвещеннейших и образованнейших умов Германии — г-ном Варнгагеном фон Энзе: «Я долго доискивался, — писал он мне однажды, — какими людьми совершаются революции, и после тридцати лет размышлений пришел к выводу, о котором думал еще в молодости, — что в конечном счете они совершаются теми самими, против кого они направлены».

Никогда не забуду чувств своих при переправе через Неман у Тильзита; тут-то я понял всю правоту моего любекского трактирщика. Даже птица, вырвавшаяся из клетки или же из-под воздушного колокола, не была бы так счастлива. «Я могу говорить и писать что думаю, я свободен!..» — воскликнул я. Первое мое откровенное письмо в Париж послано было с этой границы; кажется, оно наделало шуму в узком кругу моих друзей, до тех пор обманутых официальными моими посланиями.

Вот список с этого письма:

«Тильзит, четверг, 26 сентября 1839 года

Надеюсь, прочесть эту географическую помету доставит вам не меньше удовольствия, чем мне доставило ее написать: вот

я и выбрался из империи, где царят единообразие, мелочность и неестественность. Здесь уже можно говорить свободно, и ты словно захвачен вихрем радости; ты в мире, который влечется новыми идеями к ничем не скованной свободе. Меж тем я нахожусь в Пруссии; но, выехав из России, вновь видишь дома, начертанные не рабом по приказу неумолимого господина, дома пусть и бедные, но построенные вольно; видишь пригожие, вольно возделанные поля (не забывайте, что речь идет о Прусском герцогстве), и от такой перемены сердце радуется. В России несвобода ощущается не только в людях, но даже и в прямоугольно вытесанных камнях, в правильно выпиленных стропилах... Наконец-то можно вздохнуть!.. можно писать вам без риторических прикрас, которые все равно не обманут полицию, ибо в русском шпионстве столько же самолюбивой щепетильности, сколько и политической бдительности. Россия — самая унылая страна на свете, населенная самыми красивыми людьми, каких я видывал; не может быть веселою страна, где почти не заметны женщины... И вот наконец я выехал из нее, и без всяких происшествий! Двести пятьдесят лье я покрыл за четыре дня — по дорогам местами скверным, местами превосходным, ибо русский дух хоть и стремится к единообразию, но настоящего порядка добиться не в силах; государственному управлению здесь свойственны нерешительность, небрежность и продажность. Возмущает мысль, что со всем этим можно свыкнуться, и, однако, люди свыкаются. Человек искренний в этой стране слыл бы безумцем.

Теперь я дам себе отдых, путешествуя в свое удовольствие; до Берлина мне отсюда еще двести лье, зато на ночь везде есть постели, везде хорошие трактиры и ровная, широкая, ухоженная дорога — все это делает переезд настоящею прогулкой».

Все казалось мне непривычным и чарующим: чистые постели и комнаты, порядок, поддерживаемый в доме хозяйками... Более всего поразили меня вольный вид крестьян и веселость крестьянок: их благодушность чуть ли не пугала; я боялся, что им дорого встанет их независимость, — ведь я совсем от нее отвык. Здесь видишь города, возникшие сами по себе; ясно, что строились они без всякого правительственного плана. Разумеется, Пруссия не слывет страню вольности, но все же, проезжая по улицам Тильзита, а затем Кенигсберга, я словно присутствовал на венецианском карнавале. Тут мне вспомнилось, как один мой знакомый немец, проведя несколько лет по делам в России, наконец уезжал из этой страны навсегда; вместе с ним был его друг; и едва ступили они на палубу поднимавшего якорь английского корабля, как у всех на глазах обнялись, восклицая: «Слава Богу, можно теперь свободно дышать и говорить что думаешь!..»

Вероятно, многие путешественники испытывали те же чувства; так отчего же никто их не высказал? Изумление и недоумение

охватывают меня при мысли о том, сколь многие умы прельщает русское правительство. Мало того, что оно принуждает к молчанию своих подданных, оно добивается к себе почтения даже на расстоянии — от иностранцев, вырвавшихся из-под его железной плети. Все его хвалят или же по меньшей мере молчат — разгадать эту загадку я не умею. Если когда-либо мне в том поможет обнаружение моего путешествия, то у меня появится лишний повод порадоваться моей искренности.

Возвращаться из Петербурга в Германию я собирался через Вильну и Варшаву. Но затем передумал.

Несчастья, подобные тем, что переживает Польша, нельзя относить на счет рока; когда злоключения длятся так долго, в них всегда нужно видеть как действие обстоятельств, так и человеческую вину. Народы, подобно частным людям, начинают до известной степени соучаствовать в преследующей их судьбе; они как бы сами несут ответственность за преследующие их поражения, ибо при внимательном рассмотрении оказывается, что их участь — лишь развитие их характера. Видя, к чему приводят ошибки народа, понесшего за них столь суровую кару, я бы не смог удержаться и высказал бы некоторые соображения, каких сам же и устыдился бы; говорить правду в лицо угнетателям — обязанность по-своему радостная; взявши ее на себя, находишь опору в сознании собственного мужества и благородства, связанных с выполнением тяжкого, а то и опасного долга; но попрекать жертву, бичевать угнетенного — пусть даже бичом истины, — до подобной экзекуции никогда не унижится писатель, который не хотел бы презирать свое перо.

Вот почему я отказался от мысли повидать Польшу.

ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЕ Г-НУ ***

Возвращение в Эмс.— Что характерно для завистников.— Осень в долине Рейна.— Сравнение русского и германского пейзажа.— Воспоминание о «Рене».— Молодость души.— Г-жа Санд.— Что такое мизантропия.— Тайна жития святых.— Просчет путешественника, отправившегося в Россию.— Краткий отчет о путешествии.— Заключительный портрет русских.— Конечная цель всех их усилий.— Тайна их политики.— Обзор христианских церквей.— Сколь опасно в России говорить правду о православной церкви.— Сопоставление Испании и России.

На водах в Эмсе, 22 октября 1839 года

Я уже привык не пропускать много времени, не напомнив вам о себе; человек, подобный вам, становится необходимым для всех, кто смог однажды его оценить и умеет пользоваться его просвещенностью без боязни. В ненависти, внушаемой талантом людям мелкого ума, больше страха, чем зависти: что бы они делали, будь они талантливы сами? Зато им постоянно приходится опасаться влияния таланта и пронизательности гения. Им невдомек, что умственное превосходство, помогающее познать суть вещей и понять их необходимость, побуждает к снисхождению; просвещенная снисходительность божественна, как само Провидение; да только мелкие умы не признают ничего божественного.

Выехав из Эмса в Россию пять месяцев назад, я вновь вернулся в это красивое селение, покрыв несколько тысяч лье. Весной жизнь на водах была мне неприятна из-за всегдашнего наплыва желающих пить целебную воду и купаться в ней; сегодня она кажется мне восхитительною — я в буквальном смысле один, время свое провожу, наблюдая за наступлением погожей осени среди чарующе печальных гор, собираясь с воспоминаниями и ища покоя, надобного мне после стремительно проделанного пути.

Что за резкая перемена! в России я был лишен зрелища природы — там ее нет; конечно, вид этих неживописных равнин тоже по-своему красив, однако величие без прелести быстро утомляет; что

за удовольствие скитаться по бескрайнему голому пространству, где всюду, сколько хватает глаз, видишь одни только пустые просторы? от такого однообразия езда делается еще утомительнее, так как получается, что устаешь ты зря. Путешествие радует и увлекает нас, помимо прочего, своими неожиданностями.

Я рад вновь, в конце курортного сезона, оказаться здесь, где природа многолика и сразу поражает взор своими красотами. Не могу передать словами, с каким очарованием блуждал я только что по могучему лесу, засыпанному, словно снегом, опавшими листьями, под которыми скрылись и стерлись все тропинки. Вспоминались описания природы в «Рене»; сердце билось сильнее, как давным-давно при чтении этой горько-возвышенной беседы человеческой души с природою.

Эта проза, полная веры и лиричности, ни в чем не утратила надо мною своей власти, и я говорил себе, удивляясь собственной растроганности: так значит, молодость не проходит никогда!

Время от времени, сквозь поредевшую после первых изморозей листву, я видел вдали долину Лана, впадающего неподалеку в прекраснейшую реку Европы, и любовался тишиною и красотою пейзажа.

Лощины, по которым стекают вниз притоки Рейна, являют собою многообразные виды, тогда как виды берегов Волги все похожи один на другой; зато плоскогорья здешние, именуемые горами, потому что они подняты над местностью и разделены глубокими долинами, обычно имеют вид холодный и однообразный. И все-таки даже это холодное однообразие кажется живым, огненно-подвижным рядом с бескрайними топиями и безлесными степями Московии; нынче утром вся природа была залита сверкающими лучами солнца, стоял один из последних погожих дней, придающих этим северным пейзажам, которые благодаря осенним туманам утратили сухость своих очертаний и резкие изломы линий, облик поистине южный.

Поражает покой, царящий в эту пору в лесу; он оттеняет собою хлопотливые работы в полях, которые человек спешит завершить, предвидя за осеннею тишью скорое наступление зимы.

Зрелище это, поучительное и торжественное, ибо длиться оно будет столько же, сколько и весь мир, влечет меня так, словно я только что родился или же должен вот-вот умереть; дело в том, что вся умственная жизнь наша есть сплошная череда открытий. Если душа не растратила своих сил на наигранные чувства, столь обыкновенные для светских людей, то в ней сохраняется неисчерпаемая способность удивляться и любопытствовать; все новые силы побуждают ее ко все новым стремлениям; ей мало земного мира — она призывает и постигает мир бесконечного; ее мысль зреет, но не старится, суля нам нечто, лежащее по ту сторону всего зримого.

Жизнь наша разнообразится силою чувств; глубоко пережитое

всякий раз предстает новым, и эта вечная свежесть впечатлений сказывается в языке; каждое новое переживание придает особенную гармонию словам, предназначенным его выразить; вот почему яркостью стилиа верней всего измеряется свежесть, то есть искренность, чувств. Можно позаимствовать идеи, можно скрыть их источник, один ум может обмануть другой, но гармония речей не лжет никогда; ею надежно, как невольным признанием, доказывается чувствительность души; она исходит прямо из сердца и прямо в сердце попадает, ее лишь отчасти способна подменить искусственность, она рождается из сердечного волнения; наконец, эта музыкальность речи говорит больше, чем любые идеи: она составляет самое безотчетное, самое истинное, самое плодотворное, что только есть в выражении наших мыслей; вот отчего г-жа Санд столь быстро завоевала у нас ту известность, которою заслуженно пользуется.

Святая любовь к уединению, ты всего лишь острая потребность в реальности!.. свет настолько лжив, что всякий, кто по натуре своей влечется к истинному, должен быть склонен и к бегству от общества. Мизантропия — чувство, несправедливо оклеветанное: это ненависть ко лжи. На самом деле никаких мизантропов нет, есть только души, предпочитающие бегство притворству.

В глуши, наедине с Богом, человек делается искренним и оттого смиренным; здесь он безмолвием и размышлениями искупает все удачные плутни мирских умов — их торжествующее двуличие, их тщеславие, их неразоблаченные, а нередко и вознагражденные измены; его здесь не обманут, и он не желает никого обманывать сам, он добровольно жертвует собою, скрывая свою жизнь так же тщательно, как модные царедворцы выставляют ее на вид; в том и заключается, без сомнения, тайна жития святых — проникнуть в тайну легко, последовать их примеру трудно. Будь я святым, я бы не имел более охоты к путешествиям и еще меньше того к повествованию о них; святые уже обрели то, что я только ищу.

В своих поисках я объездил Россию; я желал повидать страну, где царит покой уверенной в своих силах власти; но, побывавши там, я понял, что там царит одно лишь безмолвие страха, и зрелище это научило меня совсем не тому, чему я приехал учиться. Это целый мир, почти совершенно неведомый чужестранцам: путешествующие русские, стремясь из него бежать, издаюла платят дань своему отечеству лукавыми похвалами, а большннству наших путешественников, описавших этот мир, угодно было найти в нем лишь то, за чем они туда ехали. Если ставить свои предвзятые мнения выше очевидной действительности, то к чему путешествовать? Решившись видеть чужие народы такими, какими хочется их видеть, можно не покидать своего дома.

Посылаю вам краткий отчет о своем путешествии, написанный по возвращении в Эмс; все время, что я над ним трудился, меня не покидала мысль о вас, и потому мне позволительно направить его вам.

КРАТКИЙ ОТЧЕТ О ПУТЕШЕСТВИИ

Что бы ни окружало вас в России, что бы ни поражало взор ваш — все имеет вид устрашающей правильности; при виде такого симметрического порядка на ум путешественнику сразу приходит мысль, что столь полную единовидность, столь противную естественным наклонностям человека регулярность нельзя ни ввести, ни поддерживать без насилия. Воображение взывает хоть о каком-то разнообразии... вотще; так птица в клетке напрасно расправляет крылья. При подобном строе человек с первого же дня своей жизни может знать (и вправду знает), что будет он видеть и делать до последнего своего дня. На языке официальном эта жестокая тирания именуется любовью к порядку, и для умов педантических сей горький плод деспотизма столь драгоценен, что за него, считают они, не жаль заплатить любую цену.

Живя во Франции, я и сам полагал, что согласен с этими людьми строгого рассудка; теперь же, когда пожил под грозною властью, подчиняющею население целой империи воинскому уставу, — теперь, признаться, мне милее умеренный беспорядок, выказывающий силу общества, нежели безупречный порядок, стоящий ему жизни.

В России правительство над всем господствует и ничего не животворит. Народ в этой огромной империи если и не смирен, то нем; над головами всех витает здесь смерть и разит жертв по своей прихоти; впору усомниться в господнем правосудии; человек здесь дважды лежит в гробу — в колыбели и в могиле. Матерям здесь следовало бы оплакивать рождение детей более, чем их смерть.

Вряд ли здесь широко распространены самоубийства: исстрадавшись сверх меры, трудно убить себя. Странно сложена душа человека: когда в жизни его царит страх, он не ищет смерти, он уже знает, что это такое*.

* Об этом пишет Диккенс: «Самоубийства среди заключенных здесь редки — в сущности, почти неизвестны. Но из этого отнюдь нельзя сделать логический вывод в пользу самой системы⁰, хотя на этом часто настаивают. Все, кто посвятил себя изучению душевных болезней, прекрасно знают, что человек может впасть в такую предельную подавленность и отчаяние, которые изменят весь его характер и убьют в нем всякую душевную гибкость и способность сопротивляться, — и однако же он остановится перед самоуничтожением. Это обычная история» («Филадельфия и ее одиночная тюрьма». — «Американские заметки» Чарльза Диккенса).

«Suicides are rare among the prisoners: are almost indeed unknown. But no argument in favour of the system can reasonably be deduced from this circumstance, although it is very often urged. All men who have made diseases of the mind, their study, know perfectly well that such extreme depression and despair as to change the whole character and beat down all its powers of elasticity and self resistance, may be at work within a man, and yet stop short of self destruction. This is a common case». (*Philadelphia and its solitary prison. American notes for general circulation*, by Charles Dickens).

Большой писатель, глубокий знаток нравов, христианский философ, у которого взял я эти строки, не только обладает даром власти над стилем и запечатлевает мысли свои словно на медных скрижалях; он еще и тщательно изучил свой предмет, так что мнение его по сему поводу непререкаемо.

⁰ Системы одиночного заключения.

Впрочем, если бы число самоубийц в России и было велико, его бы никто не ведал. Располагать цифрами — исключительное право русской полиции, не знаю, доходят ли они в точности до самого императора; знаю лишь, что при нынешнем царствовании ничье несчастье не может быть обнародовано без высочайшего дозволения: ведь эти свидетельства власти провидения унижительны для власти земной. Гордыня деспотизма столь велика, что он соперничает даже с могуществом Божиим. Чудовищная завистливость!!! в какие только заблуждения не вводила она царей и подданных! Кем же должен стать народ, чтобы государь его стал более чем человеком?

Попробуйте же любить и защищать истину в стране, где основа государственного устройства — поклонение идолу! Ведь человек, который может все, — это ложь, увенчанная царскою короной.

Как вы понимаете, речь у меня сейчас не об императоре Николае, но о российском императоре вообще. У нас много толкуют о том, что власть его ограничена обычаями; я же был поражен чрезмерностью власти и не увидел от нее никакой защиты.

Конечно, для человека государственного, для всех людей практической складки законы сами по себе не так важны, как думается нашим строгим логистам и политическим мыслителям; в конечном счете жизнь народов зависит от того, как законы применяются. Это верно, и все же у русских жизнь безотраднее, чем у любого другого народа Европы; причем говоря «народ», я разумею не одних лишь крепостных крестьян, но и всех, кто населяет империю.

Так называемая сильная власть, везде и всюду требующая неукоснительного повиновения, неизбежно обрекает людей на жалкую участь. Себе на службу деспотизм способен поставить любое общественное устройство, независимо от господствующих с его дозволения монархических или демократических мнимостей. Всюду, где государственный механизм действует с неумолимой точностью, — есть деспотизм. Лучше всех та власть, которая менее всего ощутима; но забыть о ярме можно лишь благодаря высшей мудрости гения или же через некоторое ослабление общественного гнета. Государственная власть всегда благотворна в пору юности народов, когда полудикие люди чтут все удаляющее их от беззаконного состояния; она вновь делается благотворною в нациях стареющих. В эту эпоху рождаются государства со смешанным строем. Но подобная власть, основанная на согласии опыта и страсти, годится только для народностей уже утомленных, для обществ, чьи движители уже изработались в революциях. Отсюда приходится заключить, что такая власть не самая прочная, зато самая мягкая; однажды установленная, она, подобно бодрой старости, уже не слишком долговечна. Для государства, как и для человека, старость — самая мирная пора, когда ею увенчивается славная жизнь; средний же возраст нации всегда нелегок — а его-то и переживает Россия.

В стране этой, непохожей на все прочие, сама природа сдела-

лась сообщницею прихотей человека, который, поклоняясь единообразию, умертвил всякую вольность. Она тоже повсюду одинакова: болотистые или песчаные равнины, заросшие, сколько хватает глаз, чахлыми и редкими деревьями двух пород, березой и сосной, — вот и вся естественная растительность северной России, то есть окрестностей Петербурга и близлежащих губерний, охватывающих огромные пространства страны.

Где укрыться от общественных невзгод, если климат позволяет жить на лоне природы всего три месяца в году? Да и что это за природа! К тому же в течение шести наиболее холодных месяцев никто, кроме разве русского крестьянина, не в состоянии пробыть на открытом воздухе больше двух часов в день. Вот какую среду сотворил для людей Бог в этих краях!

А что за среду создал себе сам человек? Санкт-Петербург, бесспорно, одно из чудес света, Москва — тоже город весьма живописный, но какой же вид имеют провинции!

В письмах моих вы увидите, сколь непомерное однообразие порождается неумеренным единовластием. Во всей империи один лишь человек вправе иметь желания — следовательно, только он и живет своею собственною жизнью. Во всем здесь сказывается бездушность, на каждом шагу чувствуется, что народ здесь лишен независимости. По любой дороге через двадцать — тридцать лье встретится вам один-единственный город — всякий раз одинаковый. Тирания изобретает только средства для укрепления своей власти, ее мало заботит художественный вкус.

Пристрастие русских государей и зодчих к языческой архитектуре, к прямой линии, к приземистым постройкам и широким улицам противоречит законам природы и потребностям жизни в холодной и туманной стране, беспрестанно продуваемой сильными ветрами, от которых стынет лицо. За все время путешествия так и не мог я постичь, как страсть эта обуяла жителей краев столь отличных от тех, где возникла пересаживаемая в Россию архитектура. Повидимому, и для самих русских это так же непостижимо, как и для меня, ибо во вкусах своих они властны не более, чем в поступках. Так называемые изящные искусства были им вменены в обязанность приказом, словно воинские упражнения. Образец всего их общества — армейский полк с его мелочною дисциплиной.

Климату и обычаям России более подошли бы высокие крепостные стены, тесно составленные здания и извилистые улицы средневековых городов, нежели карикатуры на античность; но влиятельные лица в Петербурге менее всего думают о той стране, которою правят, менее всего считаются с ее духом и нуждами.

В пору, когда Петр Великий вводил по всей империи, от Татарии до Лапландии, свои цивилизаторские установления, в Европе творения средних веков давно уже вышли из моды; русские же,

даже те из них, кому присвоено прозвище *великих*, всегда умели только плестись за модою.

Такая подражательность плохо согласуется с завоевательным духом, который мы в них усматриваем, — ведь над теми, с кого берешь пример, нельзя господствовать. Однако в характере этого поверхностно развитого народа вообще все противоречиво; более же всего он отличается неизобретательностью. Чтоб изобретать, ему нужна была бы независимость; даже в страстях его есть какое-то обезьянство: он желает выйти, в свой черед, на сцену мировой политики, но не затем, чтобы дать выход своим способностям, мучающим его в бездействии, а только затем, чтобы проиграть заново историю других славных государств. Завоевательный дух его порожден не мощью, а лишь претензией; весь его талант — мериться с другими; весь его гений — подражательство; если все же кажется, будто есть в нем некая самобытность, то потому только, что еще ни один народ на свете не имел такой нужды в образцах для подражания; от природы наблюдательный, он становится самим собою, лишь перенимая чужие создания. Вся его самобытность — дар подделки, которым он наделен больше всякого другого народа. Единственная его врожденная способность — умение воспроизводить иностранные изобретения. Ему суждено остаться в истории так же точно, как остается в литературе искусный переводчик. Призвание русских — перевести европейскую цивилизацию для азиатов.

Дар подражания, присущий той или иной нации, может пойти ей на пользу и даже вызвать восхищение, но только если он развился поздно; явившись прежде всех прочих талантов, он их убивает. Россия — общество подражателей, а всякий, кто умеет лишь копировать других, неизбежно впадает в карикатурность.

За четыре века колебаний между Европой и Азией Россия до сих пор так и не сумела оставить делами своими след в истории человеческого духа, ибо национальный ее характер изгладился под толщею заимствований.

Примкнув к греческой схизме и тем отделив себя от Запада, она много веков спустя, с непоследовательностью уязвленного самолюбия, вновь обратилась к нациям, сложившимся в лоне католицизма, дабы перенять у них цивилизацию, до которой не допускала ее сугубо политическая религия. Перенесенная из дворца в воинский стан, чтобы поддерживать там порядок, эта византийская религия не отвечает высочайшим потребностям души человеческой; она помогает полиции морочить народ — и только.

Из-за нее народ этот изначально стал недостоин той степени образованности, к какой он стремится.

Чтобы в душах струилось религиозное чувство, необходима независимость церкви, ибо развитие благороднейшей из народных способностей, способности верить, зависит от уважения, каким пользуется духовенство. Человек, призванный сообщать другому

человеку божественные откровения, должен иметь свободу, какая неведома ни одному священнослужителю, восставшему против своего духовного владыки. Оттого первое наказание за ересь — униженное состояние служителей культа; вот почему во всех странах, захваченных схизмой, священники презираемы народом — несмотря на царское покровительство, а вернее, по причине такого покровительства, которое ставит их в зависимость от государя даже в делах божественного призвания.

Народ, сознающий себя свободным, никогда не станет чисто-сердечно повиноваться зависимому духовенству.

Недалеко то время, когда признают, что главное в делах религии — не добиваться свободы для паствы, но обеспечить ее пастырю.

Осознав это, человечество сделает большой шаг вперед.

Толпа всегда будет повиноваться, всегда будет следовать за особыми людьми; зовите их священнослужителями, книжниками, поэтами, учеными, тиранами — все равно сознание народа в руках у его вождей. Потому свобода вероисповедания для масс — химера, для спасения же душ важно, чтоб свободен был человек, призванный творить для них церковную службу; а на свете есть только один свободный священнослужитель — католический.

Пастыри-рабы способны руководить только неплодными душами, православный поп будет учить народ только повергаться ниц перед силою!! Не спрашивайте же более у меня, почему русские лишены воображения, почему они умеют лишь подражать, ничего не совершенствуя....

Когда на Западе потомки варваров с поклонением, близким к обожанию, изучали древних греков и римлян, они переиначивали их, приноравливая к своей жизни: легко ли распознать Вергилия в Данте, Гомера в Тассе или даже Юстиниана и римское право в феодальных кодексах средневековья? Подражание учителям, ничего не имевшим общего с новыми нравами, помогало утончению умов, развивая язык, но не ограничивалось бесплодным воспроизведением образцов. Благоговейный восторг перед прошлым не глушил, но возбуждал гений европейцев; русские же воспользовались нами иначе.

Когда подделываются под форму общества, не проникаясь его животворным духом; когда за уроками цивилизации обращаются не к древним наставникам духа человеческого, но к чужеземцам, завидуя их богатствам и не считаясь с их характером; когда подражают с враждебным чувством и притом с ребяческой буквальностью, заимствуя у соседа (с деланным презрением) все, вплоть до привычек домашнего быта, одежды, языка, — тогда нельзя самому не сделаться сколком с чужой жизни, чужим эхом или отражением, не утратить собственный облик.

Средневековые народы, одушевленные своими обновленными верованиями, сильные своими незаемными нуждами, могли обожать

античность, не рискуя впасть в пародию, ибо творческая сила, если она есть, никогда не пропадает втуне, к чему бы человек ее ни применил...

Как много вольного воображения в учености XV и XVI веков!!
Уважение к образцам — знак творческого духа.

Оттого на Западе в эпоху Возрождения изучение классиков повлияло большею частью лишь на изящную словесность и искусства; успехи же промышленности, торговли, естественных и точных наук — дело рук единственно новой Европы, и здесь она почти все почерпнула из себя самой.

Долгое суеверное преклонение перед литературою язычников не мешало ей иметь свою собственную политику, религию, философию, формы правления, военные обычаи, понятия о чести, нравы, ум, навыки общежития.

Одна лишь Россия, поздно приобщившись к цивилизации, по нетерпеливости правителей своих так и не узнала благодетельно глубинного созревания, постепенного и ненасильственного развития. В России не происходило той внутренней работы, которая образует великие нации и приуготовляет один народ быть господином, то есть просветителем, прочим; не раз я замечал, что в этой стране общество, каким его создали самодержцы, — не что иное, как огромная теплица, полная прелестных диковинных растений. Каждый цветок напоминает здесь о дальней своей отчизне, но спрашиваешь себя — где же жизнь, где природа, где туземные создания в этом собрании памятных образцов; такое собрание выказывает более или менее удачный отбор, сделанный любознательными путешественниками, но не составляет серьезного творения свободной нации.

Русский народ вечно будет терпеть последствия этой несамобытности, которую страдал он в пору своего политического пробуждения. Для него потерянную оказалась юность — возраст усердных трудов, когда человеческий дух принимает на себя всю ответственность за свой независимый склад. Его правители, и прежде всего Петр Великий, насильственно исторгли его из детства и перенесли прямо в зрелость. Едва избавленному от чужеземного ига, ему казалось свободною все что угодно, кроме монгольского владычества; оттого, в радости своей и неискушенности, он даже крепостное рабство принял как освобождение, потому что оно исходило от его законных государей. Униженный завоевателями, народ чувствовал себя счастливым и независимым уже оттого, что новый его тиран носил русское имя, а не татарское.

Действие этого заблуждения длится и поныне. Русскую землю покинул дух своеобычности; уроженцы ее, привычные к рабству, до сих пор всерьез разумеют только язык страха и честолюбия. Как понимают они моду? — как элегантную цепь, которую носят только при людях... Сколь изысканною ни казалась бы нам русская веж-

ливость, в ней больше жеманства, чем естественности, ибо подлинная учтивость — это цвет, распускающийся лишь на вершине общественного древа. Такую ветвь нельзя привить, она питается своими собственными корнями, и ствол, ее поддерживающий, вырастает столетиями, подобно стволу алоэ; должно умереть многим поколениям полудиких обитателей страны, прежде чем из верхних слоев социальной почвы родятся люди действительно учтивы; для воспитания цивилизованного народа нужна многовековая память; только ум младенца, рожденного от учтивых родителей, способен созреть настолько быстро, чтоб усвоить действительную суть учтивости. Суть эта — в незримом обмене добровольными жертвами. Нет ничего более утонченного и, в сущности, ничего более нравственного, чем принципы, лежащие в основе манер безусловно изящных. Чтобы устоять против напора страстей, такая учтивость должна быть сродни благодетелю чувств, которое не приобретает человеком в одиночку, — ведь в раннем детстве воспитание воздействует в основном на душу; одним словом, истинная учтивость наследственна; в глазах нашего века долгий ход времени ничего не значит, для творящей же природы он значит многое.

Жители южной Руси некогда отличались известною тонкостью вкуса, и, благодаря сношениям с Константинополем, которые издревле, даже в самые варварские века, поддерживали киевские князья, в этой части славянского государства царила любовь к искусствам; в то же время предания Востока помогали сберечь там чувство величественного и сохранить известную сноровку в художествах и ремеслах. Однако достоинства эти — плоды старинной связи с передовыми народами, наследниками античной цивилизации, — были утрачены при нашествии монголов.

Это потрясение как бы заставило первобытную Русь забыть свою историю; рабское состояние порождает низменность души и исключает подлинную учтивость — ведь в ней нет ничего холопского, в ней выражаются высочайшие и тончайшие чувства. Цивилизованным же народ может называться только тогда, когда учтивость становится для всех его представителей до единого как бы расхожею монетой. Тогда первобытная грубость и животное себялюбие, свойственные человеческой природе, уже с колыбели сглаживаются теми уроками, что каждый получает в семье; в детстве человек, где бы он ни родился, отнюдь не сострадателен, и никогда не станет он действительно учтивым, если еще в начале жизни его не отвлечь от жестоких склонностей. Учтивость не что иное, как закон сострадания, применяемый в повседневных общественных отношениях; он учит прежде всего сострадать больному самолюбию; и это самое всеобщее, самое удобное и самое действенное из найденных по сей день средств против эгоизма.

Как ни суди, но подобная утонченность, естественно вырабатывающаяся со временем, неведома нынешним русским; им памятен не

столько Византий, сколько ордынский Сарай, и за немногими исключениями они пока еще лишь прилично одетые варвары. Они походят на портреты, дурно писанные, но покрытые превосходным лаком. Чтобы стать подлинно учтивым, нужно долго учиться человечности, а уж потом вежливости.

Петр Великий, с безоглядностью непросвещенного гения, с нетерпеливою дерзостью человека, почитаемого всемогущим, с настойчивостью своего железного характера, вознамерился разом похитить у Европы готовые плоды цивилизации, вместо того чтобы смиренно высевать ее зерна в свою собственную землю. Все созданное этим без меры прославленным человеком оказалось ненатуральным; добро, сотворенное его варварским гением, было на удивление преходяще, тогда как зло — непоправимо.

Какой прок России от того, что она оказывает давление на Европу, на европейскую политику? Ненатуральные интересы! суетные устремления! Для нее важно было бы в себе самой иметь и развивать жизненное начало; мертв тот народ, у которого нет ничего своего кроме покорства. Перед русским народом распахнуто окно — он смотрит, слушает, ведет себя как зритель на представлении; когда же прекратится эта игра?

Следовало бы остановиться и начать все сызнова, но возможно ли такое усилие? как перестроить до самого основания столь обширное здание? Как бы искусственно оно ни было, недавнее приобщение к цивилизации уже принесло Российской империи реальные плоды, которых не отменить никакой земной власти; невозможным представляется мне вершить будущее народа, не ставя ни в грош его настоящее. Но когда настоящее насильственно оторвано от прошлого, оно предвещает лишь беду. Избавить Россию от этих бед, восстановить связь страны с ее древнею историей, обусловленную ее исконным характером, — такую будет отныне неблагодарная, сулящая более пользы, чем славы, задача тех, кто призван править страной.

Император Николай своим царственно практическим и глубоко национальным гением постиг сию задачу; но сможет ли он решить ее? не думаю — он слишком охотно вмешивается во все сам, слишком часто полагается на себя и слишком редко на других. К тому же в России, чтобы сделать добро, желания самодержца еще недостаточно.

Друзьям человечества приходится здесь бороться не против тирана, но против тирании. В бедах империи и пороках правительства несправедливо было бы винить императора: не по силам людским задача, стоящая пред государем, который вдруг возжелал бы человечно царствовать над нечеловечным народом.

Надобно побывать в России, увидеть вблизи происходящее там, чтобы понять: далеко не все может сделать человек, обладающий властью сделать все, — особенно когда он хочет сделать добро.

Досадные последствия деяний Петра I еще более усугубились в великое или, точнее сказать, долгое царствование женщины, которая правила своим народом лишь ради удовольствия изумлять Европу... Европа, опять Европа!! а где же Россия?

Петр I и Екатерина II преподали всему свету великий и полезный урок, за который расплачивается Россия: они показали нам, что деспотизм страшнее всего тогда, когда пытается делать добро, своими намерениями оправдывая самые возмутительные свои дела, — а если зло выдает себя за целебное средство, то ему уже больше нет удержу. Откровенное злодейство торжествует недолго, ложные же доблести обрекают народный дух на непоправимые заблуждения. Ослепленные блестящими атрибутами преступления, размахом иных злодеяний, оправданных своим результатом, народы приходят к выводу, что есть два рода злодейства и две морали, что необходимость, или, как говорили прежде, государственная надобность, снимает вину со знатных преступников, если только они сумели согласовать бесчинства свои со страстями всей страны.

Неприкрытая тирания страшила бы меня меньше, чем гнет под видом любви к порядку. Вся сила деспотизма заключается в личине, которую носит деспот. Стоит заставить государя отказаться от лжи — и народ его станет свободен; оттого и не знаю я на свете иного зла, кроме лжи. Если вас пугает только грубый и откровенный произвол — побывайте в России, и вы научитесь бояться пуще всего лицемерной тирании*.

Не могу отрицать, что отправился в путешествие с одними воззрениями, а вернулся — совсем с другими.

Оттого ни с чем на свете не сравнится горечь, которую оно мне принесло; свой отчет о нем я отдаю в печать потому именно, что по многим вопросам пришлось мне переменить свои взгляды; прежние мои взгляды известны всем моим читателям, но им неизвестно постигшее меня разочарование; мой долг предать его гласности.

Отправляясь в Россию, я рассчитывал на сей раз не вести записок; меня утомляет моя метода — по ночам записывать для друзей то, что запомнилось за прошедший день. Во время этой работы, похожей на исповедь, в мыслях моих присутствуют и читатели, но лишь в туманной дали... такой туманной, что я стараюсь о них не думать; оттого в напечатанных моих письмах сохраняется простой и вольный тон, какой всегда присущ частной переписке.

Такая работа может вам показаться очень легкой, но я уже не настолько молод, чтобы выполнять ее играючи. Однажды взявшись за дело, я стараюсь довести его до конца, не позволяя себе ни праздности, ни небрежения; такой труд тяжок. Потому и тешил я себя мыслью, что на сей раз смогу путешествовать только для

* «По-моему, персы были правы, утверждая, что второй порок лгать, а первый — быть должным. Ведь обыкновенно долги и ложь тесно между собою связаны» (Рабле, Третья книга, гл. V).

своего удовольствия, спокойно осматривая все, что достойно внимания. Оказалось, однако, что русские, от самых высокопоставленных особ до незначительных частных лиц, весьма озабочены моим приездом, и так смог я понять, за какую важную особу меня принимают, по крайней мере в Петербурге. «Что вы думаете о нас? вернее, что вы станете о нас рассказывать?» — таков был тайный смысл всех бесед со мною. Это заставило меня отрешиться от бездеятельности; из равнодушия, а возможно, и из робости я поначалу держался скромно; вообще, Париж учит человека смирению, если только не внушает, напротив, крайнего высокомерия; итак, я имел причины сомневаться в себе самом, но беспокойное самолюбие русских пошло на пользу моему собственному самолюбию.

В новом своем решении я был укреплен все более растущим чувством обманутых ожиданий. Разочарование это имело, конечно же, причину глубокую и серьезную: ведь отвращение охватило меня среди самых блестящих пиров, когда-либо мною виденных, оно завладело мною вопреки баснословному гостеприимству русских. Но я сразу заметил, что в расточаемых ими любезностях больше желания выглядеть предупредительными, чем подлинной сердечности. Сердечность незнакома русским — ее они у немцев не позаимствовали. Они ни на минуту вас не оставляют, всячески развлекают, поглощая все ваше внимание, подавляя своими заботами; осведомляются, чем вы заняты каждый день, с присущей только им одним настойчивостью расспрашивают вас обо всем и непрерывными пирами мешают разглядеть свою страну. Цель этого обманчиво любезного обращения с иностранцами они обозначают особым французским словом — *enguirlander* *. Увы, в настойчивых своих заботах они напали на человека, которого празднества всегда более утомляли, чем развлекали. Заметив же, что впрямую подействовать на ум чужеземца не удастся, они выбирают окольные пути: стремясь уронить путешественника в глазах просвещенных читателей, русские с поразительной ловкостью начинают морочить ему голову. Чтобы представить вещи в превратном свете, они возводят ложные хулы на свою страну, так же как прежде, рассчитывая на благожелательную доверчивость слушателя, расточали ей ложные похвалы. Не раз я замечал, как в одной и той же беседе со мною один и тот же человек дважды или трижды менял тактику. Не льщу себя мыслью, что всегда умел распознать истину, несмотря на искусно соединенные усилия тех, чье ремесло — ее утаивать; но немало уже и того, что я понимал, когда меня обманывают; пускай я и не вижу правды, но я вижу, что ее от меня скрывают **; не умея разведывать, я умею быть начеку.

Ни при одном дворе не встретишь веселья — но при дворе Санкт-Петербургском не дозволяется даже скучать. Всевидящий им-

* Смотри том I, письмо пятнадцатое.

** Смотри рассказ о поездке в Шлиссельбург, том I.

ператор принимает деланную оживленность приближенных за знак особенного почтения; это напоминает мне фразу Талейрана о Наполеоне: «Государь не шутит — он желает, чтобы все были веселы».

Пусть я задену чье-то самолюбие и свою неукоснительную искренностью навлеку на себя упреки; но моя ли вина, если я отправился в страну неограниченной монархии за новыми доводами против нашего собственного деспотизма, против беззакония, нареченного свободою, — а увидел лишь разительные злоупотребления самодержавной власти, этой тирании, которую величают именем законного порядка? Русский деспотизм — это лжепорядок, так же как наш республиканизм — лжесвобода. Я сражаюсь против лжи, где бы ее ни распознал, но она бывает разноликою; прежде я забывал о той, что порождена неограниченной властью, — ныне я подробно о ней рассказываю, ибо, повествуя о своих путешествиях, всегда бесхитростно излагаю то, что вижу.

Мне ненавистны лживые предлоги — а я увидел, что в России порядок служит предлогом для угнетения, так же как во Франции свобода предлог для зависти. Одним словом, мне по душе подлинная свобода — та, что возможна лишь в обществе, не чуждом изящества; итак, я не демагог и не деспот — я аристократ в самом широком смысле слова. В том изяществе, какое мне хотелось бы сохранить в обществе, нет ничего легкомысленного; в нем нет и ничего жестокого, ведь оно подчиняется вкусу, не допускающему злоупотреблений, — он лучше всего предохраняет от них, ибо чурается всякой чрезмерности. Без изящества невозможны искусства, а искусства спасают мир, так как именно через их посредство народ приобщается к цивилизации, в них она обретает свое выражение и драгоценнейший плод. Среди всего, чем славится нация, они выделяются особенным преимуществом — успехами своими они доставляют отраду и пользу всем классам общества.

Аристократия, как я ее понимаю, не только не вступает в союз с тиранией ради государственного порядка (в чем облыжно винят ее демагоги), но и вообще не уживается с произволом. Ее миссия — защищать, с одной стороны, народ от деспота, а с другой, цивилизацию от революции, опаснейшего из тиранов. Варварство принимает разные обличья — сраженное в форме деспотизма, оно возрождается в форме анархии; подлинная же свобода, хранимая подлинною аристократией, не терпит ни насилия, ни беззакония.

К сожалению, сегодня в Европе поборники умеренной аристократии в ослеплении дают своим противникам оружие против себя; из ложных опасений они обращаются за подмогою к врагам всякой политической и религиозной свободы, как будто угроза может исходить от одних лишь новейших революционеров; между тем самовластительные государи — в прошлом сами захватчики не менее страшные, чем нынешние якобинцы.

Феодалной аристократии больше нет, хотя немеркнувшим блес-

ком будут вечно сиять ее великие имена, прославленные историей; но в обществах, желающих жить далее, средневековую знать сменил, как это давно уже случилось у англичан, наследственное должностное сословие; эта новая аристократия, наследница всех прежних, составленная из нескольких разных элементов (так как зиждется она на должности, происхождении и богатстве), обретет к себе доверие лишь при опоре на свободную религию; а я уже говорил и повторяю при каждом случае: единственная свободная религия — та, какой учит католическая церковь, свободнейшая церковь на свете, ибо только она одна не зависит ни от какой светской власти, папская же власть ныне призвана лишь защищать независимость духовенства. Аристократия — образ правления духовно независимых людей, а католицизм, не устану твердить, — религия свободных священнослужителей.

Как вам известно, узревши истину, я тотчас же высказываю ее вслух, не рассчитывая последствий, ибо зло, по убеждению моему, происходит не от истин провозглашаемых, а от истин утаиваемых; оттого всегда казалось мне пагубною пословица наших отцов — «не всякую правду полезно говорить».

Когда из истины каждый выбирает себе то, что отвечает его страстям, опасениям, раболепию, корысти, — тогда-то истина и становится вреднее заблуждения; итак, путешествуя, я не делаю разбора между накопленными фактами, не отбрасываю и тех, коими оспариваются мои заветнейшие верования. Когда я веду свой рассказ, у меня одна лишь религия — культ правды; я не пытаюсь быть судьей и даже живописцем — ведь живописцы следуют правилам композиции; я стремлюсь превратиться в зеркало — то есть быть прежде всего беспристрастным, а в таком деле одного намерения уже довольно (по крайней мере, для умного читателя; не могу и не желаю признаться себе, что бывают и иные, ибо тогда писательство сделалось бы нестерпимо скучным).

Всякий раз, когда приходилось мне знакомиться с новыми людьми, первой моей мыслью всегда было, что люди эти умнее меня, искуснее в защите, в речах и поступках. Вот чему до сих пор учил меня опыт; итак, я ни к кому не отношусь с пренебрежением, и тем более далек я от пренебрежения к своим читателям. Именно потому я никогда им не льщу.

Если к кому-то мне и трудно быть справедливым, то разве только к тем, кто мне скучен; но с такими я почти не знаюю, ибо избегаю людей праздных.

Как я уже говорил, в России все города одинаковы; точно так же в Петербурге одинаковы все салоны — это всегда и всюду императорский двор или отдельные его партии. Переходя из дома в дом, вы остаетесь в одном кругу людей, где под запретом любые беседы о чем-либо любопытном; я нахожу, однако, что изъян этот восполняется изощренным умом женщин, отлично умеющих намеками внушить то, чего не произносят вслух.

Во всех краях женщины — наименее покорные из рабов, так как, искусно пользуясь своею слабостью и превращая ее в силу, они лучше нас умеют не повиноваться дурным законам; поэтому всюду, где отсутствует политическая свобода, они призваны хранить свободу личную.

Свобода — это ведь не что иное, как обеспечение прав слабого, роль которого в обществе сама природа судила играть женщинам. Во Франции ныне многие гордятся тем, что все решается мнением большинства; экое диво!!! вот когда я увижу, что и требования меньшинства принимаются в расчет, — тогда я тоже закричу: «Да здравствует свобода!»

Скажем прямо: те, кто сегодня слабее, были сильнее прежде, и тогда они очень часто сами подавали пример тех злоупотреблений силою, на которые я нынче сетую! И все же один грех не извиняет другого.

Несмотря на тайное влияние женщин, Россия все еще отстоит дальше от свободы, нежели большинство других стран на свете, — не от слова «свобода», а от того, что им обозначается. Клич «да здравствует свобода!» может хоть завтра раздаться даже и у границ Сибири во время кровавого бунта, при зареве пожара; слепой и жестокий народ может перерезать своих господ, восстать против темных самодуров, обогреть кровью воды Волги, только свободней он не станет — на нем ярмом тяготеет варварство.

Поэтому лучший способ дать людям волю — не провозглашать торжественно их раскрепощения, но сделать рабство невозможным, развивая в народных сердцах чувство человечности; его-то в России и недостает. Толковать ныне русским любого звания о свободолюбии было бы преступно; наш долг — проповедовать им всем без исключения человечность.

Надо прямо признать, что русский народ еще не имеет правосудия*. Так, мне однажды рассказали как о заслуге императора Николая, что некий незнатный частный человек выиграл тяжбу против больших господ. В рассказе этом восхищение характером государя звучало для меня сатирою на все общество. Превозносимый на все лады, сей казус положительно убедил меня, что справедливость в России — не более чем исключение из правила.

По зрелом размышлении я бы не советовал всему, как говорили у нас в старину, мелкому люду обольщаться успехом этого истца; быть может, ему оказали исключительную милость, дабы безнаказанными оставались несправедливости, творимые каждодневно (вспомним историю с мельницей в Сан-Суси, на которую, как на образец справедливости, любят указывать законники, когда их винят в продажности и угодливости).

Другой факт, из которого должны мы сделать вывод

* Смотри брошюру г-на Толстого, выдержки из которой приводились в моих путевых записках.

малоблагоприятный для русского судейства, — это то, что в России почти никто и не судится; каждый знает, к чему это ведет; будь судьи справедливей, люди чаще прибегали бы к помощи закона. По той же причине здесь не бывает ни ссор, ни уличных драк — все боятся тюрьмы и кандалов, которые чаще всего ждут и правых и виноватых.

Хоть я и рисую здесь одни печальные картины, в России все же есть две вещи и один человек, ради которых ее стоит посетить. Нева в Петербурге в пору белых ночей, московский Кремль при лунном свете и император Николай — такова Россия в отношении живописном, историческом и политическом. Все прочее лишь утомляет и нагоняет ничем не искупаемую скуку; вы убедитесь в том, читая мои письма.

Кое-кто из друзей уже писал мне, что считает за лучшее письма эти не печатать.

Когда я собирался уезжать из Петербурга, один русский спросил меня (подобно всем русским), что я стану рассказывать об их стране. «Меня слишком хорошо в ней принимали, чтоб я мог о ней говорить», — отвечал я.

Теперь это признание обращают против меня самого, хотя я рассчитывал заключить в нем чуть прикрытую любезностью эпиграмму. «После такого приема вы уж наверное не сумеете говорить правду, — пишут мне, — а поскольку иначе как правдиво вы писать не умеете, то лучше уж вам просто промолчать». Так полагают иные из тех, к кому я привык прислушиваться. Их мнение во всяком случае не очень лестно для русских.

Сам я все-таки считаю возможным и благопристойным говорить об общественных делах и деятелях откровенно, с должною деликатностью и уважением к людям, его заслуживающим, и с необходимым всегда самоуважением; надеюсь, что сумел найти для этого способ. Полагают, что одна лишь правда бывает оскорбительна, — возможно, и так; но говорящему правду никто, по крайней мере во Франции, не вправе и не в силах зажать рот. Никто не сочтет, что в возмущенном моем голосе тайно выказывается уязвленное тщеславие. Если б я прислушивался только к своему самолюбию, оно велело бы восхищаться всем увиденным; сердце же мое не осталось довольно ничем.

Ежели любой рассказ о России и ее обитателях оказывается оскорблением личности — тем хуже для русских; это неизбежное зло, так как, сказать по правде, ничто не существует в России само по себе, но возникает и исчезает по благоусмотрению одного человека; не путешественники тому виною.

Император, кажется, мало склонен поступиться частью своей власти; пускай же и ответственность за свое всемогущество он несет единолично — с этого начинается расплата за политическую ложь, которая являет одного-единственного человека безраздельным вла-

дыкою целою страны, всесильным повелителем мыслей целого народа.

Богопротивность подобной теории нельзя извинить никакими послаблениями в ее применении. В России мне открылось, что принцип неограниченной монархии, будучи осуществлен неукоснительно и непреклонно, ведет к последствиям чудовищным. И на сей раз, при всем своем политическом квиетизме, не могу не признать: от некоторых форм правления народы должны быть избавлены навсегда.

Император Александр, доверительно беседуя с госпожой де Сталь о предполагавшихся им усовершенствованиях, сказал ей: «Вы хвалите мои человеколюбивые намерения — благодарю вас, однако ж в истории России я лишь счастливая случайность». Сей государь говорил правду: как бы ни превозносили русские мудрую попечительность тех, кто ими правит, тем не менее основу основ их государства составляет самовластие; при подобном порядке император либо сам издает, либо велит издать, либо допускает издать и пустить в ход такие законы (простите, что называю сим священным именем несправедливые повеления, но я лишь пользуюсь тем словом, какое в ходу в России), которые, например, позволяют объявить законных детей, рожденных в законном браке, не имеющими ни отца, ни фамилии — не людьми, а цифрами *. Как же мне не предать суду Европы государя, который, при всех своих достойных и превосходных качествах, согласен царствовать, не отменяя подобного закона?!

В мстительных своих чувствах он неумолим; столь пылко ненавидя, еще можно быть великим государем, но не великим человеком. Великий человек милосерд, политик же злопамятлив; возмездие принуждает покоряться, прощение побуждает уверовать.

Вот все, что хотел я вам сказать о государе; тому, кто знает страну, где обречен он царствовать, нелегко его судить, ибо люди там настолько зависимы от обстоятельств, что ни наверху, ни внизу общества не с кого спросить ответа. И в такой-то стране знатные господа полагают себя похожими на французов!!

Во времена варварства французские короли нередко рубили голову своим знатым вассалам; один из них, достопамятный своим тиранством, в изощренной жестокости даже повелел, чтобы кровь отца пролилась на детей, помещенных под эшафотом. Однако эти самовластные государи, безжалостно убивая недруга, лишая его владений, остерегались все же неразумным приговором унижать в его лице все семейство, сословие или область; от подобного бесчестия даже в средние века возмущался бы весь народ Франции. Русский же народ переносит и не такое... Вернее сказать, русского народа еще и нет — есть только императоры, имеющие рабов, и вельможи, также имеющие рабов; народа все они не образуют.

* Смотри историю княгини Трубецкой.

Средний класс, до сих пор малочисленный в сравнении с прочими, состоит почти исключительно из иностранцев; его начинают понемногу пополнять богатые крестьяне, выкупившиеся на волю, и мелкие чиновники, выслужившиеся в чине; будущее России зависит от этих новых буржуа, по происхождению столь различных, что им почти невозможно сойтись в своих воззрениях; для соединения их трудятся тайные общества.

Император пытается ныне создать русскую нацию, но одному человеку это нелегко. Зло быстро творится, зато медленно исправляется; сам испытывая к деспотизму отвращение, деспот, должно быть, часто отдает себе отчет в пороках неограниченной власти. Готов поверить — однако совестливости угнетателя не обвиняет угнетения, и хотя мне жаль творящих эти преступления (зло всегда достойно сожаления), но еще большую жалость внушают мне страдания угнетенного. Какова бы ни была в России видимость, под нею всегда таятся насилие и произвол. Устрашая подданных, тирания обрела покой — только тем власть и сумела по сей день благодетельствовать свой народ.

И вот, когда случай сделал меня свидетелем неслыханных бедствий, переживаемых людьми в государстве, одно из начал которого непомерно преувеличено, — что же, опасение задеть чью-то щекотливость заставит меня молчать об увиденном? Да я был бы недостойн иметь зрение, если б уступил этой малодушной предвзятости, которую мне пытаются теперь представить как уважение к общественным приличиям; как будто совесть моя не требует к себе уважения в первую очередь. А если б меня пустили в тюрьму и я бы понял, что скрывается за молчанием запуганных узников, — что же, я не посмел бы поведать об их мучениях из страха быть обвиненным в неблагодарности, потому как тюремщики весьма любезно водили меня по своим застенкам? Подобная сдержанность была бы вовсе не добродетельною; итак, заявляю: я внимательно всматривался, чтоб разглядеть утаиваемое, внимательно вслушивался, чтоб расслышать умалчиваемое, внимательно старался распознать все живое в том, что мне говорили, и ныне без преувеличения уверяю вас, что в Российской империи люди бедствуют больше всего на свете, страдая от тягот варварства и дивизии одновременно. Сам я почитал бы себя вероломным подлецом, если бы, уже нарисовав со всею вольностью духа картину большей части Европы, отказался дополнять ее из боязни переменить некоторые прежние свои мнения и оскорбить некоторых особ правдивым изображением страны, которую никогда еще не показывали в подлинном виде. Скажите на милость, отчего должен я проявлять уважение к дурному? Разве скован я какою-либо иною цепью, кроме любви к истине?

На мой взгляд, в русских очень много житейского такта и хитрости, но мало чувствительности; об этом я уже говорил. Чрезвычайная обидчивость в соединении с изрядною долей черствости составляет,

полагаю, основу их характера; об этом я тоже говорил. Тщеславная прозорливость, холопская пронизательность, язвительное лукавство — таковы главные свойства их ума; все это я также говорил и повторяю вновь, ибо недостойною уловкой было бы щадить самолюбие тех, кто сам столь немилосерден к другим (обидчивость не есть деликатность). Пора бы этим людям, столь зорким к порокам и нелепостям нашего общества, привыкнуть к тому, что и о них самих говорят не обинуясь; окружая их дипломатическим молчанием, мы лишь вводим их в заблуждение, расслабляем их ум; если русские хотят быть признаны народами Европы и иметь с нами дела на равных, пускай сперва научатся слушать суждения о себе. Такому суду подвергаются все народы и не придают тому особенного значения. С каких это пор немцы принимают у себя англичан под тем лишь условием, что те станут хорошо отзываться о Германии? У всякого народа есть веские причины быть таким, каков он есть; и самая веская из них та, что иным он быть и не может.

Правда, к русским такое оправдание не подходит, во всяком случае к тем из них, кто умеет читать. Коль скоро они все на свете перенимают, то могли бы и сделаться иными; именно потому, что это возможно, правительство их и отличается такую подозрительностью, доходящую до свирепства!.. ему хорошо известно, что людям-отражениям ни в чем доверять нельзя.

Меня могло бы остановить более сильное побуждение — боязнь обвинений в отступничестве: «Он так долго ополчился против либерального витийства, — станут говорить, — а ныне уступает течению и ищет ложной популярности, которую прежде презирал».

Возможно, я и не прав, но чем более размышляю, тем менее допускаю, чтобы такой упрек мог меня уязвить или даже чтобы кому-то пришлось в голову мне его бросить.

Уже с давних пор умами русских владеет страх, что иноземцы станут их бранить. В странном этом народе крайняя хвастливость сочетается с чрезвычайною неуверенностью в себе; наружное самодовольство и беспокойное самоуничужение внутри — такое замечал я в большинстве русских. Их тщеславие не знает ни усталости, ни удовлетворения, так же как надменность англичан; оттого в русских не бывает простоты. «Наивность» — французское слово, точный смысл которого не передаваем ни на одном языке, кроме нашего, ибо само это качество присуще лишь нам; наивность — это простодушие, способное сделаться и лукавым; это дар остроумия, которое рождает смех, не нанося обид; это пренебрежение ораторскими уловками, больше того, готовность дать собеседникам оружие против себя; это непредубежденность в суждениях, нечаянная меткость в выражениях, отказ от самолюбия во имя истины; одним словом, это гальская прямота — русским же она неведома. Народ-подражатель никогда не будет наивен, искренность у него всегда будет убита расчетом.

В завещании Мономаха мне попались любопытные мудрые поучения, обращенные к сыновьям; особенно поразило меня одно место — это признание весьма полезно запомнить: «Всего же более чтите гостя, и знаменитого и простого, и купца и посла; если не можете одарить его, то хотя брашном и питием удуйте: *ибо гости распускают в чужих землях и добрую и худую об нас славу*» (из поучения Владимира Мономаха своим сыновьям в 1126 году). Князь этот назван был в крещении Василием («История государства Российского» Карамзина, перевод гг. Сен-Тома и Жоффре, том II, страница 205. Париж, 1820).

Согласитесь, что такими самолюбивыми ухищрениями гостеприимство изрядно обесценивается. Оттого не раз во время путешествия приходило мне на память то, что называется расчетливою любовью к ближнему. Речь не о том, чтоб отнять у людей воздаяние за добрые дела, но безнравственно, гнусно выставлять эту награду как первейшее побуждение к добродетели.

Вот еще несколько отрывков из того же автора, подкрепляющих собственные мои наблюдения.

Сам Карамзин рассказывает о пагубном влиянии монгольского нашествия на характер русского народа; кто найдет мои суждения слишком суровыми, тот может убедиться, что они удостоверены мнением серьезного историка, склонного притом скорее к снисходительности.

«Забыв гордость народную, — пишет он, — мы выучились низким хитростям рабства, заменяющим силу в слабых; *обманывая татар, более обманывали и друг друга; откупаясь деньгами от насилия варваров, стали корыстолюбивее и бесчувственнее к обидам, к стыду, подверженные наглостям иноплемennых тиранов*» (из того же сочинения, том V, глава 4, страница 447 и след.).

Несколько далее:

«Может быть, самый нынешний характер россиян еще являет пятна, возложенные на него варварством монголов...»

Но заметим, что вместе с иными благородными чувствами *ослабела в нас тогда и храбрость*, питаемая народным честолюбием...

Власть народная также благоприятствовала силе бояр, которые, действуя чрез князя на граждан, могли и чрез последних действовать на первого: сия опора исчезла. Надлежало или повиноваться государю, или быть изменником, бунтовщиком; *не оставалось средины и никакого законного способа противиться князю. — Одним словом, рождалось самодержавие».*

Закончу эти выписки двумя отрывками о царствовании Ивана III; они также взяты у Карамзина, том VI, страница 351.

Рассказав о том, как царь Иван III колебался в выборе престолонаследника между сыном своим и внуком, историк продолжает: «К сожалению, летописцы не объясняют всех обстоятельств сего любопытного происшествия (здесь говорится о раскаянии государя,

возвратившего свою нежность супруге и сыну и отдалившего от себя внука, которого сам же венчал на царство), сказывая только, что Иоанн возвратил наконец свою нежность супруге и сыну, велел снова исследовать бывшие на них доносы, узнал козни друзей Елениных и, считая себя обманутым, явил ужасный пример строгости над знатнейшими вельможами, князем Иваном Юрьевичем Патрикеевым, двумя его сыновьями и зятем, князем Симеоном Ряполовским, обличенными в крамолу: осудил их на смертную казнь...»

Этот Иван III, казнивший смертью за *крамолу*, почитается у русских как один из величайших людей.

Такие же или почти такие же вещи происходят в России и поныне. Из-за всевластия самодержцев здесь нет уважения к судебному приговору; император, став лучше осведомлен о деле, всегда может отменить то, что решил он, будучи осведомлен плохо*.

Признания Карамзина показали мне вдвойне значительны в устах столь льстивого и робкого историка, как он. Я мог бы умножить подобные выдержки, но, думается, привел их довольно, чтобы отстоять свое право высказывать, не обвиняя, мои соображения, ведь они подтверждаются мнением даже такого автора, которого упрекают в пристрастном взгляде.

В стране, где умы с детских лет приучаются к скрытности и ухищрениям восточной политики, естественность поневоле встречается реже, чем где-либо; когда же она есть, то обладает особым очарованием. Я видел в России нескольких человек, которые стыдятся безжалостно давящего их гнета власти, будучи принуждены под ним жить и не осмеливаясь даже жаловаться; такие люди бывают свободны только пред лицом неприятеля, и они едут сражаться в теснинах Кавказа, ища там отдыха от ярма, которое приходится им влачить дома; от такой печальной жизни на челе их остается печать уныния, которая плохо вяжется с их воинскими манерами и беспечностью их возраста; юные морщины изобличают глубокую скорбь и внушают искреннюю жалость; эти молодые люди взяли у Востока глубокомыслие, а из мечтаний Севера — смутность духа и склонность к грезам; в несчастье своем они очень привлекательны; ни в одной стране нет на них похожих.

В русских есть изящество, а значит, должен быть и какой-то особый род естественности, которого я, впрочем, не сумел разглядеть; возможно, он вообще неуловим для чужеземца, проехавшего по России столь быстро, как я. Ни один народ не имеет столь трудноопределимого характера, как этот.

У русских не было средневековья, у них нет памяти о древности, нет католицизма, рыцарского прошлого, уважения к своему слову**; они доныне остаются византийскими греками — по-китайски

* Смотри выше историю Павлова и множество других подобных случаев.

** Несмотря на все сказанное выше, нелишне, быть может, пояснить, что это относится лишь к народным массам, которым в России ведома только власть страха и силы.

церемонно вежливыми, по-калмыцки грубыми или, по крайней мере, нечуткими, по-лапонски грязными, ангельски красивыми и дико невежественными (исключая женщин и кое-кого из дипломатов), по-жидовски хитрыми, по-холопски пронирыливыми, по-восточному покойными и важными в манерах своих, по-варварски жестокими в своих чувствах; они презрительно насмешливы от безысходности, побуждаемые к язвительности вместе и природою, и ощущением собственной униженности; они легкомысленны, но лишь на внешний вид — по сути своей русские расположены к серьезным делам; все они довольно умны, чтоб развить в себе необыкновенно тонкий житейский такт, но ни у кого недостает великодушия, чтобы подняться выше хитрости; они внушили мне отвращение к этой способности, без которой у них не проживешь. Следящие за каждым своим шагом, они кажутся мне самыми жалкими людьми на свете. Прискорбное это достоинство — такт житейских условностей, узда, накинутая на вольное воображение, принуждающая беспрестанно жертвовать своим чувством ради чужого; с отрицательным этим достоинством несовместны иные, положительные и высшие, достоинства; это ремесло честолюбивого льстеца, всегда готового исполнять чужую волю, постоянно следящего и отгадывающего, к чему ведет дело хозяин, — вздумай он сам дать делу толчок, его тут же прогонят вон. Чтобы дать делу толчок, нужна гениальность; для сильного гениальность и есть его такт, для слабого же такт составляет всю его гениальность. В русских нет ничего кроме такта. Гений зовет к действию, а такт — лишь к наблюдению; чрезмерная же наблюдательность приводит к неуверенности, а значит, к бездействию; гений может сочетаться с большою искусностью, но не с крайнею тонкостью такта, ибо в коварной этой лъстивости — высшей доблести холопа, который чтит врага-господина, не решаясь его сразить, — всегда есть доля притворства. Благодаря такой изоэщренности, достойной серала, русские непроницаемы для чужого взгляда; всегда, правда, заметно, что они нечто скрывают, но что именно — неизвестно, а им того и довольно. Еще хитрее и опаснее станут они тогда, когда научатся скрывать самое свою хитрость.

Некоторые из них этого уже достигли — то высшие представители нации, как по занимаемому положению, так и по могуществу ума, с каким вершат они свою волю. Здравое судить об них я могу только задним числом, при встречах же бывал заморожен их обаянием.

Но, Бог мой, к чему же столько уловок?

Какою целью объясняется все это притворство?

Что за обязанность или корысть понуждает людей к столь долговому и утомительному ношению личин?

Быть может, все эти приемы предназначены лишь защищать действительную и законную власть?.. Но такая власть в них не нуждается — истина сама обороняет себя. Или же так удовлетвори-

ются ничтожные тщеславные притязания? Возможно. Однако ж доставлять себе столько хлопот, чтоб получить столь скудные плоды, — труд недостойный тех серьезных людей, что им заняты; замысел их представляется мне глубже; иная, важнейшая цель видится мне, — в ней и усматриваю я причину их удивительной скрытности и терпеливости.

В сердце русского народа кипит сильная, необузданная страсть к завоеваниям — одна из тех страстей, что вырастают лишь в душе угнетенных и питаются лишь всенародною бедой. Нация эта, захватническая от природы, алчная от перенесенных лишений, унижительным покорством у себя дома заранее искупает свою мечту о тиранической власти над другими народами; ожидание славы и богатств отвлекает ее от переживаемого ею бесчестья; коленопреклоненный раб грезит о мировом господстве, надеясь смыть с себя позорное клеймо отказа от всякой общественной и личной вольности.

В лице императора Николая подданные обожают не человека, но честолюбивого вождя еще более честолюбивой нации. В страстных своих устремлениях русские скроены по образу древних; все напоминает у них о Ветхом завете; их чаяния и терзания столь же велики, сколь и их империя.

Ни в чем не знают они пределов — ни в муках, ни в наградах, ни в жертвах, ни в упованиях; они могут достичь огромной власти, но лишь тою ценой, какою азиатские народы покупают незыблемость своего правления, — ценою счастья.

Россия видит в Европе свою добычу, которая рано или поздно ей достанется вследствие наших раздоров; она разжигает у нас анархию, надеясь воспользоваться разложением, которому сама же способствовала, так как оно отвечает ее замыслам; сделанное с Польшей затевают вновь, в большем размере. Париж уже не первый год читает возмутительные газеты — возмутительные во всех смыслах, — оплачиваемые Россией. «Европа идет тою же дорогой, что и Польша, — говорят в Петербурге, — напрасным либерализмом она сама себя ослабляет, тогда как мы остаемся могущественны, потому именно что не свободны; потерпим же под ярмом, за свой позор мы отыграем на других».

Невнимательному взгляду раскрытый мною здесь план может показаться химерическим; всякий же, кто посвящен в ход европейских дел и в тайны министерских кабинетов за последние двадцать лет, признает его верным. Здесь ключ ко многим загадкам, здесь простое объяснение тому, что лица, весьма серьезные по характеру своему и положению, полагают чрезвычайно важным, чтоб иностранцы видели их только с благоприятной стороны. Если бы русские были, как они утверждают, опорой порядка и законной монархии, разве стали бы они использовать людей и, хуже того, средства, ведущие к революции?

Одною из жертв наваждения, против которого хотел бы я предостеречь всех нас, является Рим, с его противоестественным доверием к России *. Рим и весь католический мир не имеют большего и опаснейшего врага, нежели император российский. Рано или поздно в Константинополе, под покровительством православных самодержцев, единовластно воцарится схизма; тогда-то христианскому миру, расколотому на два лагеря, станет ясно, сколько вреда принесла римской церкви политическая слепота ее главы.

Сей владыка, утраившись расстройством, в котором очутились наши страны в пору его восшествия на папский престол, ужасаясь нравственному ущербу, который причинили Европе наши революции, не имея поддержки, растерявшись в окружении равнодушного или насмешливого света, — всего более боялся народных восстаний, от которых уже пострадали и он сам, и его современники; тогда-то, поддавшись пагубному влиянию ограниченных умов, последовал он советам житейской осмотрительности и стал действовать с мирскою мудростью, с земною ловкостью — в глазах же Бога был слеп и слаб; так дело католицизма в Польше осталось без естественного своего защитника, возглавляющего на земле истинную церковь. Много ли сегодня наций, готовых отдать Риму своих солдат? И вот папа, будучи всеми оставлен и отыскав народ, еще готовый ради него на смерть... отлучил его!! единственный из земных владык, обязанный оставаться с народом этим до конца, он отлучил его в угоду повелителю схизматиков! Правверные католики в ужасе вопрошали себя, куда девалась неустанная прозорливость святейшего престола; отлученные мученики видели, что Рим жертвует католическою верой ради православной политики, и Польша, павши духом в священной борьбе, приняла свой удел, не в силах его понять **.

Ужели наместник Бога на земле еще не признал, что со времен Вестфальского мира все войны в Европе — войны религиозные? Какие опасения плоти помутили его взор настолько, что в делах небесных обратился он к средствам, годным для земных царей, но недостойным владыки всех владык? Их престолы воздвигаются и рушатся, его же престол пребудет вечно — да, вечно, ибо даже в катакомбах первосвященник был бы выше и прозорливей духом, чем восседая ныне в Ватикане. Обманутый хитроумными мирянами, он не разглядел сути вещей и, сбивый с верного пути своею политикой страха, забыл, что ему есть где черпать силу — в политике веры ***.

* Писано в 1839 году.

** Упреки эти, не выходящие, на мой взгляд, за рамки почтительности, нашли себе подтверждение в последних эдиктах римской курии.

*** Невежество в делах религии настолько велико в наши дни, что один католик, весьма умный человек, которому я читал эти строки, перебил меня: «Какой же вы после этого католик — вы браните самого папу!» Как будто папа так же безупречен в делах мирских, как непогрешим он в вопросах веры! Да и эту непогрешимость сторонники галликанства ограничивают известными оговорками,

Но терпение — развязка назревает, скоро все вопросы будут поставлены ясно, и истина, при поддержке законных своих защитников, вновь обретет свою власть над умами народов. Быть может, протестантам близящаяся схватка даст понять одну важнейшую истину, которую я уже не раз высказывал, но не перестаю повторять, ибо она представляется мне единственно необходимою для скорейшего воссоединения всех исповеданий христианской веры, — а именно то, что во всем мире подлинно свободен только католический священник. Всюду кроме католической церкви священнослужитель подчинен иным законам, иным понятиям, чем законы и понятия его совести и вероучения. Потрясает непоследовательность англиканской церкви, и содрогание вызывает униженность православной церкви в Петербурге; как только в Англии прекратится власть ханжества, большая часть королевства вновь сделается католической. Римская церковь в одинокой своей борьбе спасла чистоту веры, отстаивая по всей земле, с возвышенным благородством, с героическим терпением и несгибаемою убежденностью, независимость духовенства против посягательства всех и всяческих мирских властей. Где найти церковь, которая не дала бы тем или иным земным правителям принизить себя до положения духовной полиции? Такая церковь только одна — католическая; ценою крови мучеников своих она сберегла себе свободу, вечный источник жизни и могущества. Будущее всего мира принадлежит ей, ибо она сумела остаться беспримесно чиста. Пусть суетится протестантизм — такова его природа; пусть волнуются и спорят друг с другом разные секты — такова их обычная забава; католическая церковь ждет своего часа!!!

Русское православное духовенство всегда являло и будет являть собою своего рода ополченцев, лишь мундиром своим несколько отличных от светских войск империи. Подчиненные императору, попы и их епископы составляют особый полк клириков — только и всего.

Удивительно, как сильно отдаленность России от Западной Европы до сих пор помогала русским скрывать все это от нас. Лукавая греческая политика боится правды, обладая несравненным умением извлекать выгоду из лжи; но меня поражает, как удастся ей так долго поддерживать господство этой лжи.

Вам понятно теперь, какую важность имеет чье-то суждение, насмешливая фраза или письмо, шутка или улыбка, не говоря уже о целой книге, в глазах этого правительства, пользующегося доверчивостью своего народа и угодливостью всех иностранцев. Одно

при всем том считая себя католиками. Разве Данта когда-нибудь обвиняли в ереси? А между тем как обходится он с папами, которых поместил в свой ад! Лучшие умы нашего времени впадают в путаницу, которая в прежние века рассмешила бы любого школяра. Отвечая своему критику, я отослал его к Боссюэ, который в своем изложении католического учения, всегда встречавшем поддержку, одобрение и похвалу от римской курии, дает достаточное оправдание моим принципам.

лишь слово правды, брошенное в Россию, — все равно что искра, упавшая в бочонок с порохом.

Что за дело тем, кто правит Россией, до нищеты императорских солдат, до их бескровных лиц? На этих живых призраках — красивейший в Европе мундир; что за важность, если на зимних квартирах эти раззолоченные тени кутаются в грубошерстные балахоны?.. Пусть в тайне сохраняются их убожество и грязь, а на виду будет один только блеск — ничего более от них не требуется и ничего иного им не дается. Богатство русских — покров, наброшенный на нищету; все заключается для них в видимости, и видимость у них обманывает чаще, чем где-либо еще. Оттого любой приподнявший край покрова навсегда погиб во мнении Петербурга.

Общественная жизнь в этой стране — сплошные козни против истины.

Всякий, кто не дает себя провести, считается здесь изменником; посмеяться над бахвальством, опровергнуть ложь, возразить против политической похвальбы, *мотивировать свое повиновение* — является здесь покушением на безопасность державы и государя; такого преступника ждет участь революционера, заговорщика, врага государственного порядка, преступника, виновного в оскорблении величества... участь поляка; а вам известно, сколь жестока эта участь! Щекотливость, проявляющаяся таким образом, более пугает, чем смешит; столь придирчивый надзор правительства, согласный со столь же ревнивым тщеславием народа, — это уже не забавно, а страшно.

Волей-неволей приходится быть осторожным, имея государем своим человека, который не милует ни одного врага, не оставляет без кары ни малейшего ослушания и, таким образом, долгом своим почитает возмездие. Для такого человека, воплощающего в себе государство, простить значило бы отречься от веры своей, быть милосердным — уронить себя, выказать человечность — пренебречь своим величием... да что там, своею божественностью! Отказаться от поклонения, которым он окружен, не в его власти.

Русская цивилизация еще так близка к своему истоку, что походит на варварство. Россия — не более чем сообщество завоевателей, сила ее не в мышлении, а в умении сражаться, то есть в хитрости и жестокости.

Своим последним восстанием Польша отсрочила взрыв уже заложенной мины, готовые к бою батареи остались в укрытии; ей никогда не простят этой необходимости таиться — таиться не от нее самой (ибо ее-то безнаказанно умерщвляют), но от ее друзей, которых приходится и далее дурачить, чтоб не спугнуть их человеколюбивых чувств. Соучастником такой мести, великодушной и яростной (заметьте оба этих обстоятельства), пытаются сделать и того, кто несет передовую стражу против новоявленной Римской империи, которая будет именоваться греческою, — и вот самый осматритель-

ный, но и самый слепой из европейских государей * начинает, в угоду соседу своему и повелителю, религиозную войну... подвигнутый на сей путь, он уже не скоро остановится; а коли сбили с толку его, то совратят и многих других...

Прошу принять в рассуждение, что если русские когда-либо добьются господства над Западом, они не станут править им, сами оставаясь дома, как монголы в старину; напротив, они поспешат покинуть свои заледенелые равнины; они не последуют примеру бывших своих повелителей — татар, вымогавших дань у славян издалека (ибо климат Московии страшил даже монголов); едва лишь перед москвитами откроются дороги в чужие края, как они толпами устремятся вон из своей страны.

Сейчас они толкуют о своей умеренности, отрещиваются от замыслов завоевания Константинополя; они-де боятся любого расширения империи, где и так уж большие расстояния стали сущим бедствием; подумать только, до чего они осмотрительны — даже опасаются жаркого климата!.. Погодите, скоро вы увидите, чем обернутся все эти опасения.

Повстречав столько лжи и столько бед, нам грозящих, как же мне не оповестить о них?.. Нет-нет, лучше уж обознаться, но рассказать, чем верно все разглядеть и смолчать. Пусть даже, излагая свои наблюдения, я буду дерзок — скрывши их, я был бы преступен.

Русские не станут мне отвечать — они скажут: «За четырехмесячную поездку он слишком мало повидал».

Действительно, я мало повидал, но многое угадал.

Если же меня удостоят опровержением, то отрицать будут факты — это исходный материал всякого рассказа, а в Петербурге их привыкли не ставить ни во что; прошлым, как и будущим и настоящим, распоряжается там самодержец; повторю вновь: единственное достояние русских — покорность и подражание, руководство же их умом, мнениями и свободною волей принадлежит государю. История составляет в России часть казенного имущества, это моральная собственность венценосца, подобно тому как земля и люди являются там его материальною собственностью; ее хранят в дворцовых подвалах вместе с сокровищами императорской династии, и народу из нее показывают только то, что сочтут нужным. Память о том, что делалось вчера, — достояние императора; по своему благоусмотрению исправляет он летописи страны, каждый день выдавая народу лишь ту историческую правду, которая согласна с мнимостями текущего дня. Так в пору нашествия Наполеона внезапно извлечены были на свет и сделались знамениты уже два века как забытые герои Минин и Пожарский: все потому, что в ту минуту правительством дозволялся патриотический энтузиазм.

* Писано при жизни покойного короля Пруссии, в 1839 году.

Однако ж столь непомерная власть вредит сама себе, и Россия не вечно будет ее терпеть — в армии теплится дух мятежа. Я согласен с императором — русские слишком много ездили по свету; народ сделался охоч до знаний; а против мысли бессильна таможня, ее не истребить войсками, не остановить крепостными стенами — она пройдет и под землю. Идеи носятся в воздухе, проникают всюду, а идеями изменяется мир*.

Из всего сказанного явствует, что будущность, которая мечтается русским столь блестящею для их страны, от них самих не зависит; у них нет своих идей, и судьба этого народа подражателей будет решаться там, где у народов есть свои собственные идеи; если на Западе утихнут страсти, если между правительствами и подданными установится союз, то жадные завоевательные чаяния славян сделаются химерой.

Не лишне повторить, что говорю я без всякой враждебности, что я описал положение вещей, никого не обвиняя лично, и что, делая свои выводы из некоторых пугающих меня фактов, я старался брать в расчет и силу необходимости. Я не обвиняю, а просто повествую.

Уезжая из Парижа, я полагал, что лишь тесный союз Франции и России способен внести мир в европейские дела; но, увидав вблизи русский народ и узнав истинный дух его правительства, я почувствовал, что этот народ отделен от прочего цивилизованного мира мощным политическим интересом, опирающимся на религиозный фанатизм; и мне думается, что Франция должна искать себе поддержку в лице тех наций, которые согласны с нею в своих нуждах. Союзы не основывают на мнениях вопреки интересам. У кого же в Европе согласные друг с другом нужды? У французов и немцев, а также у тех народов, которым природою суждено следовать за двумя этими великими нациями. Судьбы нашей цивилизации, открытой, разумной и идущей вперед, будут решаться в сердце Европы; благотворно все способствующее скорейшему согласию между немецкою и французскою политикой; пагубно все задерживающее этот союз, пусть даже под самыми благовидными предлогами.

Грядет война между философией и верой, между политикой и религией, между протестантизмом и католическою церковью — и от того, чей стяг подымет Франция в этой борьбе гигантов, будет зависеть судьба всего мира, судьба церкви и прежде всего судьба Франции.

Правильность такой системы союзов, к которой я стремлюсь, будет подтверждена — наступит день, и у нас уже не окажется иного выбора.

* Ныне, уже после того как я это написал, император позволяет множеству русских жить в Париже. Быть может, он думает излечить от грез сторонников реформ, показав им Францию вблизи; ему представляют ее как революционный вулкан, как страну, побывав в которой русские навсегда потеряют охоту к политическим преобразованиям; он заблуждается.

Как иностранец, и особенно как иностранный литератор, я был осыпан изъявлениями учтивости со стороны русских; однако любезность их ограничивалась одними обещаниями — никто так и не помог мне заглянуть в существо дел. Многие тайны остались неприкосновенными для моего разума.

Проживи я в России целый год, я узнал бы немногим больше, тогда как суровости зимы тем более меня беспокоили, чем более уверяли меня местные жители, что она не так уж страшна. Закопченные члены и обмороженные лица для них ничто; между тем я бы мог привести вам не один пример такого рода несчастий, приключавшихся даже со светскими дамами — как иностранками, так и русскими; причем, однажды обморозившись, человек ощущает последствия этой беды всю жизнь; рискуя по меньшей мере получить неизлечимые невралгические боли, я решил не подвергаться понапрасну этим опасностям, а равно и скуке, от которой приходится страдать, чтоб избежать их. Вообще в этой империи безмолвия, с ее бескрайними пустыми просторами, с голыми равнинами, с редкими городами, с замкнутыми лицами, чья неискренность делает пустым и все общество, меня одолевала тоска, я бежал не только от мороза, но и от сплина. Что бы ни говорили, но кто решится провести зиму в Петербурге, тот должен на шесть месяцев позабыть о живой природе и сидеть взаперти среди людей, лишенных чувств живых и естественных*.

Сказать откровенно, я провел в России ужасное лето, ибо лишь малую толику увиденного удалось мне по-настоящему понять. Я надеялся добраться до разгадок, привез же вам одни загадки.

Особенно жалею я, что не сумел проникнуть в одну тайну — понять, отчего в России столь малым влиянием обладает религия.

Разве православная церковь, несмотря на политическую свою порабощенность, не могла сохранить хоть какую-то нравственную власть над народом? Однако она вовсе ее не имеет. Откуда столь ничтожное положение церкви, которой все, казалось бы, спешит в ее делах? Вот в чем вопрос. Может быть, православной церкви вообще свойственно цепенеть в неподвижности, довольствуясь одними наружными знаками почтения? Или такой исход неизбежен всюду, где духовная власть впадает в полную зависимость от власти светской? сам я так и считаю, но хотел бы уметь доказать вам это посредством документов и фактов. Изложу все же в нескольких словах вывод из своих наблюдений над отношениями русского духовенства с верующими.

Я увидел в России христианскую церковь, которая не

* В недавно напечатанных письмах леди Монтегю я обнаружил максимум турецких царедворцев, применимую ко всем угодникам, но особенно к угодникам русским — то есть ко всем русским вообще; она помогает уяснить, что между Турцией и Московией немало схожего: «Будь ласков с фаворитами, избегай опальных и не доверяйся никому» (Lady Mary Wortly Montegu's Letters, p. 159, t. 11).

подвергается ничьим нападкам, которую все, по крайней мере внешне, чтят; все способствует этой церкви в отправлении ее духовной власти, и, однако ж, она не имеет никакой силы в сердцах людей, порождая одно лишь ханжество да суеверие.

В странах, где религию не уважают, она ни за что и не в ответе; здесь же, где священнослужитель в служении своем поддержан всею мощью неограниченной власти, где вероучение никем не оспаривается ни письменно, ни устно, где церковные обряды сделались как бы государственным законом, где все обычаи поддерживают веру (у нас же они ей противоречат), — здесь мы вправе упрекнуть церковь в бесплодности ее усилий. Церковь эта мертва, и вместе с тем, судя по происходящему в Польше, способна устраивать гонения, не имея ни высоких добродетелей, ни великих талантов, чтоб завоевывать умы; одним словом, русской церкви недостает того же, чего недостает этой стране повсеместно, — свободы, без которой меркнет свет и отлетает дух жизни.

В Западной Европе не знают, какое место занимает в политике России религиозная нетерпимость. Только что, после долгих глухих преследований, упразднен греко-католический культ; но известно ли католической Европе, что среди русских более нет униатов? Ослепленная своею философическою просвещенностью, знает ли она вообще, кто такие униаты? *

Вот один случай, который покажет вам, сколь опасно в России высказывать свое мнение о православной церкви и о недостатке у нее нравственного влияния.

Несколько лет назад один весьма умный человек, всеми любимый в Москве, благородного происхождения и характера, но, на беду свою, одержимый любовью к истине (опасная повсюду, в его стране эта страсть смертельна), решился заявить в печати, что католическая религия более благоприятствует развитию умов и расцвету искусств, чем русско-византийская; имея на сей счет то же мнение, что и я, он осмелился его высказать — непростительное преступление для русского. Вся жизнь католического священника, пишет он в своей книге, воспаряет над земным естеством (по крайней мере должна над ним воспарять); это каждодневный добровольный отказ от грубых наклонностей человеческой природы; это вновь и вновь предъявляемое безбожному свету действительное доказательство того, что дух выше материи; это жертвоприношение на алтарь веры, непрестанно повторяемое, дабы убедить самых нечестивых, что человек не вполне подвластен могуществу плоти и что вышний властелин может дать ему силу не повиноваться

* С тех пор как это было писано, несколько газет поместили обращение папы к кардиналам по вышеуказанному поводу. Обращение это, исполненное высочайшей мудрости, показывает, что святого отца наконец осведомили об опасностях, против которых я предостерегаю, и что теперь истинные интересы веры возобладали в Риме над соображениями светской политики.

законам материального мира. Затем он добавляет: «Благодаря преобразованиям, которые осуществило время, католическая религия способна ныне употреблять свои скрытые возможности только во благо»; словом, он утверждал, что в исторических судьбах славянской расы недостало католицизма, ибо в нем одном соединены вместе постоянство энтузиазма, совершенство любви к ближнему и ясность рассудка; мнение свое он подкреплял множеством доводов, стараясь показать преимущества независимой, то есть всемирной, религии перед религиями местными, то есть стесненными рамками политики; в общем, он держался того взгляда, какой я и сам непрестанно отстаиваю изю всех моих сил.

Даже в недостатках характера русских женщин писатель этот усматривает вину православной религии. По его словам, женщины в России оттого столь легкомысленны, оттого не сумели сохранить тот авторитет в семье, какой надлежит иметь супруге и матери, что они никогда не получали настоящего религиозного воспитания.

Книга эта, ускользнув благодаря какому-то чуду или чьей-то уловке от бдительности цензуры, воспламенила всю Россию: в Петербурге и в святой Москве раздались вопли ярости и смятения, и наконец совесть верующих настолько помутилась, что со всех краев империи стали требовать покарать неосмотрительного защитника матери всех христианских церквей (последнее не мешало клеймить дерзкого писателя за склонность к вредным новшествам; это лишь одна из непоследовательностей духа человеческого, который в мирских комедиях едва ли не всегда противоречит себе; действительно, боевой клич всех сектантов и раскольников — «нужно чтить родную веру»; сию истину совершенно позабыли Лютер и Кальвин, которые в религии произвели то, что многие героиреспубликанцы желали бы произвести в политике, — добились власти себе на пользу); итак, ни кнут, ни Сибирь, ни галеры, ни рудники, ни крепости, ни ссылка в самые глухие углы России — ничто не казалось довольным для того, чтобы обезопасить Москву с ее византийским православием от происков Рима, коим служило нечестивое учение человека, изменившего Богу и отечеству!

Все беспокойно ждало приговора, который решил бы участь столь великого преступника; решение дела затягивалось, и впору было уже отчаяться в верховном правосудии, но тут император, в бесстрастном милосердии своем, объявил, что нет ни причин для наказания, ни преступника, коего должно покарать, а есть лишь безумец, коего должно держать взаперти; больной, добавил он, *будет препоручен заботам врачей.*

Сей новый род пытки был незамедлительно применен, да с такою суровостью, что объявленный безумцем едва не оправдал нелепого приговора, вынесенного самодержавным главою церкви и государства. Мученик истины близок был к тому, чтоб и впрямь потерять рассудок, отрицаемый в нем высочайшим повелением. *В течение*

трех лет неукоснительно подвергавшийся жестокому и унижительному лечению, несчастный великосветский богослов лишь недавно начал пользоваться известною свободой; но — вот диво! — ныне сам он сомневается в своем разуме и, доверяясь слову императора, признает себя умалишенным!.. Осуждающее слово государя равносильно сегодня в России папскому отлучению в средние века!!

Говорят, что теперь этому лжебезумцу позволено общаться кое с кем из друзей; когда я был в Москве, мне предложили посетить несчастного в его уединении; но я был остановлен страхом и даже отчасти жалостью, ибо любопытство мое могло показаться ему обидным. Какое наказание понесли цензоры выпущенной им книги, мне не сказали.

Вот вам свежий пример того, как вершатся ныне в России дела совести. Спрашиваю в последний раз: вправе ли путешественник, имевший несчастье или же счастье собрать такие сведения, оставить их неизвестными? В подобных обстоятельствах достоверное помогает разобраться в предполагаемом, и из того и другого вместе образуется убежденность, которою человек обязан, если может, поделиться со светом.

Свой рассказ я вел без личной ненависти, но и никого не боясь и не сдерживаясь; я был готов даже показаться скучным.

Страна, где побывал я ныне, настолько же мрачна и однотонна, насколько изображенная мною прежде была ярка и многообразна. Писать верную ее картину — значит отрешиться от надежды доставить кому-либо удовольствие. Жизнь в России столь же тускла, сколь весела она в Андалузии; русский народ угрюм, испанский полон жара. В Испании политическая несвобода возмещалась лично независимостью, пожалуй, нигде не развитою столь сильно, независимостью поразительною по своим последствиям; в России и та и другая свобода равно неизвестны. Испанец живет по любви, русский по расчету; испанец обо всем рассказывает, а если рассказать не о чем, то выдумывает; русский все скрывает, а если скрывать нечего, то молчит, чтоб не выглядеть болтливым или даже без всякого расчета, просто по привычке; Испания кишит разбойниками, но воруют там только на большой дороге; в России дороги безопасны, зато вас непременно обворуют дома; Испания полна исторических воспоминаний и руин всех веков; Россия возникла лишь вчера, и история ее богата одними посулами; в Испании громоздятся горы, и путник на каждом шагу видит новые пейзажи; в России от края до края ее равнин вид местности один и тот же; Севилья залита солнцем, светом которого животворится все на Иберийском полуострове; в петербургском пейзаже небо вдали всегда заткнуто туманом и даже в ясные летние вечера остается тусклым; итак, две эти страны во всем противоположны одна другой, как день и ночь, как пламень и лед, как Юг и Север.

Только пожив в этой пустыне, где нет покоя, в этой тюрьме, где

не бывает досуга, — начинаешь чувствовать, насколько же свободно живется в других странах Европы, какое бы правление ни было в них принято. В России, не устану повторять, свободы нет ни в чем — разве что, как мне говорили, в одесской торговле. Оттого-то император, наделенный пророческим чутьем, недолюбливает тот независимый дух, что царит в этом городе, обязанном своим процветанием уму и неподкупности француза *; это, однако ж, единственный город во всей обширной империи, где люди могут искренне благословлять нынешнее царствование.

Если сын ваш будет недоволен Францией, последуйте моему совету — скажите ему: «Поезжай в Россию». Такое путешествие пойдет на благо каждому европейцу; повидав своими глазами эту страну, всякий станет доволен жизнью в любом другом месте. Всегда полезно знать, что есть на свете государство, где нет никакого места счастью, — ведь человек, по закону природы своей, не может быть счастлив без свободы.

Память о таком государстве побуждает быть не слишком придирчивым; вернувшись к родному очагу, путешественник может сказать о своей отчизне то, что один умный человек говорил о себе самом: «Оценивая сам себя, я скромн; сравнение с другими делает меня гордым».

* Г-на герцога де Ришелье, министра при Людовике XVIII.

ПРИЛОЖЕНИЕ

История гг. Жирафа и Грассини, попавших в плен в России.— Рассказ г-на Жирафа.— Моя беседа с г-ном Грассини.— Официальная история заключения в России и отправления в Данию принцев и принцесс Брауншвейгских в царствование Екатерины II (извлечено из первой части «Записок Российской императорской академии»).— Отрывок из «Описания Москвы» Лежюнта де Лаво.— Московские торьмы.

Ноябрь 1842 года

В нынешнем году случай свел меня с двумя людьми, которые служили в нашей армии во время кампании 1812 года и, попавши в плен в России, прожили там несколько лет. Один из них — француз, ныне учитель русского языка в Париже, по имени г-н Жирар; второй — итальянец, г-н Грассини, брат носящей ту же фамилию знаменитой певицы, которая поразила Европу своею красотой, а сценическим своим талантом способствовала славе современной итальянской школы *.

Эти двое сообщили мне некоторые сведения, взаимно подтверждающие друг друга и, как представляется, довольно любопытные и заслуживающие обнародования.

Поскольку беседу свою с г-ном Грассини я записал дословно, то и передам ее здесь со всею точностью, подробности же, сообщенные г-ном Жираром, я записать не озаботился и могу передать их лишь в кратком изложении. Оба рассказа настолько похожи, что могут показаться списанными один с другого; такая схожесть еще более укрепляет доверие, которое внушили мне оба лица, сообщивших нижеследующие сведения. Заметьте, что эти люди совершенно не-

* Всем старым любителям музыки памятно то несравненное впечатление, что производила она в дивных ариях Майера, Цингарели и Паэзиелло, и особенно в непрерывных речитативах. Составив целую эпоху в истории искусства, она послужила образцом крупнейшим талантам нашего времени благодаря своей трагической выразительности, неподдельному, подлинно итальянскому благородству тона, неслесненному стилю исполнения и энергической декламации.

знакомы между собою, никогда не встречались и даже не знают имен друг друга.

Начну с того, что рассказал мне г-н Жирар.

Его взяли в плен во время отступления и сразу отправили в глубину России в сопровождении отряда казаков. Колонна, в которой шел бедняга, насчитывала три тысячи французов. Мороз день ото дня крепчал, а пленных, невзирая на зимнее время, повели через Москву еще дальше, чтобы рассеять по внутренним губерниям.

Смертельно голодные и измученные, они часто вынуждены были останавливаться от усталости; их тут же щедро угощали сильными палочными ударами, чтобы таким образом прибавить им сил и заставить идти дальше, до самой смерти. На каждом переходе несколько человек из числа этих несчастных, худо одетых и дурно кормленных, лишенных всякой помощи и страдавших от жестокого обращения, оставались лежать в снегу; упавши, они сразу примерзали к земле и больше не поднимались. Сами палачи были уstraшены их крайнею нуждой...

Их кусали насекомые, их снедали лихорадка и нищета, они всюду несли с собою заразу и вызывали ужас у крестьян, к которым их помещали на постой. Под палками брели они к месту, предназначенному для отдыха; но и там их встречали тоже палками, не позволяя ни приближаться к людям, ни заходить в дома. Иные, дойдя до крайности, в неистовстве отчаяния бросались друг на друга с кулаками, вооружались поленьями и камнями, ища в убийстве товарища последний источник пропитания, ибо уцелевшие в драке пожирали потом ноги убитых!!! К таким ужасным злодеяниям толкала наших соотечественников бесчеловечность русских.

Мы не забыли, что в то же самое время иные примеры подавала христианскому миру Германия. Франкфуртские протестанты до сих пор помнят о самоотверженности епископа Майнцского, который, не боясь заразиться, сам со всем клиром приезжал на речном судне во Франкфурт и забирал оттуда в Майнц несчастных наших солдат, чтоб их лечить или хотя бы ухаживать за ними до смерти; а итальянские католики благодарно вспоминают о том, как помогали им протестанты в Саксонии.

Ночью на стоянках люди, почувяв приближение смерти, в ужасе поднимались на ноги, чтобы бороться с агонией стоя; схваченные морозом в последних своих корчах, они так и замирали, прислонившись к стене, окоченелые и застылые. На их исхудалых членах замерзал смертный пот; глаза их навсегда оставались отверстыми, а тело сохраняло позу тех судорог, в которых объял их губельный мороз. Так эти трупы и стояли, пока их не отрывали от земли, чтобы сжечь; и легче было подошву отделить от опоры, а лодыжку от ступни. На рассвете их товарищи, поднимая голову, видели себя в кольце стражи из едва охладелых изваяний, расставленных вокруг лагеря словно передовые дозорные мира иного. Невозможно выразить весь ужас подобных пробуждений.

Каждое утро, перед отправкой колонны, русские сжигали мертвецов, а иногда — возможно ли сказать? — иногда сжигали и еще умирающих!..

Вот что испытал г-н Жирар, вот какие страдания выпали ему на долю; благодаря своей молодости и счастливой звезде он сумел их перенести.

Факты эти, как бы ужасны они ни были, кажутся мне не более чудовищными, чем множество других рассказов, записанных историками; но чего я никак не могу объяснить, чему мне даже поверить трудно, — почему молчал о них сам француз, вырвавшийся из этой бесчеловечной страны и навсегда вернувшийся к себе на родину.

Г-н Жирар никак не хотел обнародовать рассказ о перенесенных им муках — по его словам, из почтения к императору Александру; тот около десяти лет продержал его в России, и он, выучив местный язык, служил учителем французского в казенных училищах. Как много жестокого произвола, как много лжи и обмана навидался он в этих многолюдных школах! Но ничто не могло заставить его нарушить молчание и поведать Европе о столь вопиющих безобразиях!

Император отпустил его во Францию, встретив однажды при осмотре какой-то провинциальной гимназии. Сказав ему несколько любезных слов по поводу желания покинуть Россию, которое пленник уже давно изъявлял своему начальству, император наконец пожаловал ему много раз испрошенное разрешение вернуться во Францию; он даже распорядился выдать ему денег на дорогу. Государю, вероятно, пришлась по нраву кроткая наружность г-на Жирара.

Так спустя десять лет, чудом спасшись от смерти, бедняга дождался окончания своего плена. Покидая страну палачей и тюремщиков, он громко восхвалял русских и изъявлял признательность за проявленное ими *гостеприимство*.

— И вы ничего этого не записали? — спросил я, внимательно выслушав его повесть.

— У меня было намерение рассказать все, что знаю, — отвечал он, — но я человек неизвестный и не нашел для себе ни издателя, ни читателя.

— Правда рано или поздно сама пробьет себе путь, — сказал я.

— Мне не хотелось бы говорить ее в ущерб этой стране, — возразил г-н Жирар, — ведь император был ко мне так добр!

— Да... — продолжал я, — только до чего же легко в России прослыть добрым.

— Когда я получал паспорт, мне посоветовали быть сдержаннее.

Вот как десятилетнее пребывание в этой стране способно действовать на ум человека, рожденного во Франции, смелого и честно-

го. Исходя из этого, рассчитайте сами, что за нравственное чувство передается из поколения в поколение среди самих русских...

В феврале 1842 года, будучи в Милане, повстречал я г-на Грассини, рассказавшего мне, что в 1812 году, находясь в армии вице-короля Италии, он во время отступления попал в плен в окрестностях Смоленска. После этого он два года прожил в глубине России. Вот наш разговор с ним; воспроизвожу его со всею возможною точностью, так как записал его в тот же день:

— Вам, должно быть, пришлось много выстрадать в этой стране от бесчеловечности жителей и суровости климата? — спросил я.

— От мороза — да, — отвечал он, — но из этого не следует, что русские лишены человечности.

— Ну, а если они и в самом деле бесчеловечны, — что же за беда в том, чтобы сказать это вслух? Зачем позволять русским кичиться добродетелями, которых у них нет?

— В глубине страны мы встретили неожиданную помощь. Простые крестьянки и знатные дамы присылали нам одежду от мороза, лекарства от болезней, пищу и даже белье; иные из них приходили выхаживать нас прямо в лагерь, пренебрегая заразою, которую мы несли с собою, — ведь из-за лишений среди нас свирепствовали страшные болезни, которые распространялись после нас всюду, где пролегал наш путь. Чтобы прийти к нам на стоянку, требовалось не легкое сострадание, но большое мужество, настоящая добродетель; это я и называю человечностью.

— Не хочу утверждать, что в общем жестокосердии, которое заметил я у русских, не бывает исключений. Всюду, где есть женщины, есть и чувство жалости; в любой стране встречаются женщины, способные к героическому состраданию; все же верно, что в России и законы, и привычки, и нравы, и характеры отмечены жестокостью: несчастные наши пленные столько от нее настрадались, что нам трудно так уж славить человечность тамошних жителей.

— Я настрадался, как и другие, и даже больше многих, ведь я возвратился на родину почти слепым; уже тридцать лет я безуспешно пытаюсь всеми средствами вылечить себе глаза; я наполовину потерял зрение; утренние росы в России, даже в жаркое время года, пагубны для всякого, кто спит под открытым небом.

— Вас заставляли ночевать лагерем?

— Иначе было нельзя во время похода, который нам пришлось проделать.

— Значит, при морозе в двадцать или тридцать градусов у нас не было никакой крыши над головой?

— Да, но мучились мы на этих вынужденных стоянках из-за жестокости климата, а не людей.

— А не случалось ли, что и люди добавляли к жестокости природы свою неоправданную жестокость?

— Действительно, мне приходилось быть свидетелем жестоких

поступков, достойных дикого народа. Но я отвлекался от этих ужасов своею сильною любовью к жизни; я говорил себе — если поддаться возмущению, это только удвоит опасность: либо я сам задохнусь от гнева, либо меня прибьет стража, защищая честь своей страны. В людском самолюбии столько странностей — бывает, люди способны убить человека, чтоб доказать другим свою человечность.

— Да, вы правы... Но от того, что вы говорите, я не могу изменить своего мнения о характере русских.

— Нас заставляли идти отрядами; ночевали мы за околицею деревень, входить же в них нам запрещалось из-за лихорадки, которую мы несли с собою. Вечером мы укладывались на земле, завернувшись в плащ, меж двух больших костров. Наутро, перед тем как снова выступить в путь, стражники сосчитывали умерших и не хоронили их (на это потребовалось бы слишком много времени и труда из-за толстого и твердого покрова снега и льда), а сжигали на костре; таким образом они пытались остановить распространение заразы; сжигали вместе и тела, и одежду; но, поверите ли? не раз случалось, что в пламя бросали и еще живых людей! На миг придя в чувство от боли, эти несчастные довершали свою агонию в криках и муках на костре!

— Какой ужас!

— Совершались и другие жестокости. Каждую ночь наши ряды косил свирепый мороз. Если удавалось при вступлении в город найти какую-нибудь пустующую постройку, мы захватывали эту лачугу, чтоб в ней укрыться. В таких пустых домах нас набивали на все этажи. Но мерзли мы там почти так же сильно, как и на биваке, потому что внутри здания можно было разводять огонь лишь в определенных местах, а ночуя под открытым небом, мы все-таки устраивали костры вокруг всей стоянки. Оттого многие умирали от холода в комнатах, не имея возможности согреться.

— Но зачем вас гнали по стране в разгар зимы?

— Из-за нас могла начаться чума в окрестностях Москвы; я часто видел, как русские солдаты вытаскивали мертвецов с верхнего этажа здания, где мы останавливались; тела волокли за ноги, обвязав веревкой за лодыжки; а голова болталась сзади, подсакивая и стуча по лестничным ступеням с самого верха и до первого этажа. «Им не больно, — приговаривали при этом, — они покойники!»

— И, по-вашему, это очень человечно?

— Я рассказываю, что видел, сударь; случались вещи и похуже — я видел, как таким образом приканчивали еще живых, и от их разбитой головы на ступенях оставался кровавый след, ужасное доказательство жестокости русских солдат; должен сказать, что иногда при таких свирепых расправах присутствовал и офицер; но все эти ужасы допускались лишь в надежде остановить заразу, ускоряя смерть тех, кто уже охвачен недугом. Вот что я видел, и товарищи мои видели это каждый день, не возмущаясь, — до

такой степени бедствия отупляют людей!.. Завтра так случится и со мною, думал я; из-за того что опасность грозила всем, совесть моя оставалась покойна, и мне легко было хранить бездействие.

— Мне кажется, это чувство вы сохраняете и до сих пор, раз вы смогли быть свидетелем подобных вещей и молчать о них целых двадцать восемь лет.

— Все два года плена я подробнейшим образом вел свои записки; из фактов, примечательностью и невероятностью своей превосходящих все напечатанное на сей счет, я составил целых два тома; я описал, какому произволу мы подвергались; как участь нашу отягощала жестокость дурных помещиков, в грубости своей превосходящих простонародье; какое утешение и помощь получали мы от добрых помещиков; я рассказал, как жизнь пленных, а равно и местных жителей зависела от случая и людской прихоти; в общем, я все там рассказал!

— И что же?

— Что же! когда мне разрешили возвратиться в Италию, я сжег свой отчет, прежде чем перейти русскую границу.

— Но это же преступление!

— Да ведь меня обыскивали; если бы у меня нашли эти бумаги и прочли их, то меня высекли бы кнутом и сослали до скончания дней в Сибирь, и страдания мои там не больше послужили бы человечеству, чем мое молчание здесь.

— Не могу простить вам такой покорности.

— Вы забываете, что она спасла мне жизнь, а смерть моя никому не принесла бы пользы.

— Но, по крайней мере, по возвращении на родину вы могли бы заново записать свою повесть.

— Я бы уже не мог это сделать с такою же точностью; я более не верю собственной памяти.

— Где же вы жили два года своего плена?

— В первом же городе, где мне удалось найти штаб-офицера, я испросил дозволения вступить на службу в русскую армию, так можно было избежать отправления в Сибирь; мое прошение было принято, и через несколько недель меня послали в Тулу, где я получил место домашнего учителя у градоначальника; у этого человека я и прожил два года.

— И как вам жилось у него в доме?

— Учеником моим был двенадцатилетний мальчик, я его любил, и он, хоть и ребенок, тоже сильно ко мне привязался. Он рассказал мне, что отец его овдовел и купил себе в Москве крестьянку, которую сделал своею наложницей *, и что из-за этой женщины жить в доме стало неприятно.

— Что за человек был этот градоначальник?

* Как говорят в России, новыми законами более не дозволяется продавать людей без земли; но говорят также, что всегда есть способы обойти строгий закон.

— Настоящий тиран из мелодрамы. Свое достоинство он усматривал в молчаливости; за те два года, что я обедал с ним за одним столом, мы ни разу с ним словом не перемолвились. Он держал вместо шута одного слепца, которого во все время обеда заставлял петь и в моем присутствии бранить французов, их армию, их пленных; я довольно знал по-русски, чтоб отчасти понимать его непристойные и грубые шутки, а ученик мой окончательно растолковывал мне их смысл, когда мы с ним удалялись в свою комнату.

— Экая невоспитанность! а еще принято хвалить русское гостеприимство! Вы только что упомянули о дурных помещиках, которые еще более ухудшали положение пленных; вам приходилось таких встречать?

— До прибытия в Тулу я шел с отрядом пленных; вел нас один весьма достойный старый сержант. Как-то вечером мы остановились на ночлег в имении некоего барона, чьей жестокости боялась вся округа. Этот буян хотел собственноручно нас перебить, и сержант, которому поручено было сопровождать нас в переходе, с трудом защитил нашу жизнь от патриотического неистовства старого боярина.

— Что за люди! настоящие потомки опричников Ивана IV. Разве не прав я, возмущаясь их бесчеловечностью? И много ли денег платил вам отец вашего ученика?

— Попавши в его дом, я был совершенно оборван; чтоб меня одеть, он щедро повелел портному выворотить один из своих старых сюртуков; он не постеснялся обрядить воспитателя своего родного сына в обноски, которые в Италии отказался бы натянуть на себя лакей.

— А ведь русские стараются слыть расточительными.

— Да, но дома у себя они скарედны; если через Тулу проезжал какой-нибудь англичанин, то в домах, где его должны были принимать, все переворачивали вверх дном. Сальные свечи на каминах заменяли восковыми, чистили комнаты, старались принарядить слуг; словом, менялись все жизненные привычки.

— То, что вы говорите, вполне подтверждает мои собственные суждения; вижу, что в конечном счете вы, сударь, думаете так же, как я, мы лишь по-разному выражаемся.

— Надобно признать, что, когда проживешь два года в России, хочется на все махнуть рукой.

— Да, я вижу это по вас; и такое настроение свойственно всем?

— Почти всем; ясно, что тираническая власть сильнее слов и что против подобных деяний гласность бессильна.

— Надо думать все же, что у ней есть своя сила, раз русские настолько ее опасаются. Простите, но именно вы, а равно и другие ваши единомышленники, недопустимою своею бездеятельностью поддерживаете слепоту Европы и всего света и предоставляете угнетателям свободу действий.

— Они б ее и так имели, несмотря на все наши книги и вопли. Чтоб доказать вам, что не я один так считаю, расскажу вам историю одного из своих товарищей по несчастью; он был француз *. Однажды вечером этот молодой человек добрал до привала больным; ночью он потерял сознание, и наутро его вместе с другими мертвцами отволокли к костру, но в огонь кидать не стали, поскольку еще не собрали все трупы. На минуту солдаты оставили его лежать на земле, а сами пошли за другими телами, валявшимися поодаль. Его положили одетым на спину, лицом к небу; он еще дышал, даже слышал все, что делалось вокруг; сознание к нему вернулось, но он не мог подать никакого признака жизни. Тут к несчастному нашему товарищу подошла одна молодая женщина, пораженная красотой черт и трогательным выражением лица этого покойника; она поняла, что он еще жив, позвала на помощь, велела забрать иностранца, стала лечить и исцелила его — воскресила из мертвых. И вот он, вернувшись во Францию после нескольких лет плена, также не стал записывать свою историю.

— Но вы-то, сударь, человек образованный и независимый, отчего вы не предали гласности рассказ о своем пленении? Такого рода сведения, надежно удостоверенные, привлекли бы внимание всего света.

— Сомневаюсь; люди так заняты самими собою, что чужие страдания мало их трогают. К тому же у меня есть семья, известное положение, я завишу от своего правительства, которое состоит в добрых отношениях с правительством русским, и ему не доставит удовольствия узнать, что один из его подданных обнаружил происшествия, скрываемые в той стране, где они случились **.

— Убеден, сударь, что вы клеветеете на свое правительство; простите, но виновны здесь только вы сами с вашей чрезмерною осторожностью.

— Может быть; только никогда не стану я печатать, что у русских нет человечности.

— Хорошо, что я сам провел в России всего несколько месяцев, ибо замечаю, что даже самым прямодушным людям, самым независимым умам, прожившим несколько лет в этой удивительной стране, всю оставшуюся жизнь кажется, будто они по-прежнему находятся там или же им грозит туда возвратиться. Вот чем и объясняется то неведение, в котором до сих пор нас держали относительно всего там происходящего. Истинный характер тех, кто обитает в глубине этой огромной и опасной империи,— загадка для большинства

* Г-н Грассини так и не пожелал назвать мне имя этого пленника.

** Каким чудом русское правительство, по сути своей революционное, сумело внушить всем правительствам Европы, что оно воплощает собою антиреволюционное начало в мире? Этому диву я до сих пор тщетно ишу объяснения. До чего бы мы дошли, если б общественный порядок считался возможным только при деспотическом правлении?

европейцев. Раз по тем или иным причинам все побывавшие там сговорились, вроде вас, молчать, не высказывая этому народу и его правительству неприятной правды, — тогда и Европе неоткуда узнать, как расценивать сие образцовое узилище. Восхвалять мягкость деспотизма, даже будучи вне его досягаемости, — осторожность, на мой взгляд, преступная. Поистине, есть тут какая-то необъяснимая тайна; пусть я не проник в нее, но по крайней мере не подпал под наваждение страха и докажу это искренностью своего повествования.

В заключение этих долгих рассказов я считаю нужным познакомить читателей с одним документом, который полагаю подлинным.

Мне не позволено сказать, каким образом я его заполучил; ибо хотя излагаемые в нем происшествия составляют ныне достояние истории, но в Петербурге было бы опасно признаваться, что они занимают твое внимание; во всяком случае, это было бы расценено как *неприличие* — таким условным понятием осторожно обозначается здесь заговор. Да ведь это же общеизвестно, говорят русским. Да, отвечают они, но об этом никогда не говорилось. В царствование доброго и великого государя Ивана III люди всходили на эшафот за крамолу*; так и сегодня человек вполне может попасть в Сибирь за свое преступное *неприличие*.

Сей документ, переведенный с русского языка лицом, которое мне его предоставило, является отчетом о заключении и об отправлении в Данию, в царствование Екатерины II, принцев и принцесс Брауншвейгских — братьев и сестер шليسльбургского узника Ивана VI. С содроганием читаешь свидетельства отупения этих несчастных, у которых все понятия о жизни свелись к тюремным привычкам и которые, однако ж, чувствовали, кто они такие. Престол, принадлежавший им по праву, занят был супругою Петра III, наследницею собственной жертвы, — впрочем, тот и сам царствовал лишь благодаря узурпации.

Перед этим правдивым рассказом помещаю генеалогию дома Романовых**, доказывающую, что узники происходили по прямой линии от царя Ивана V. Семейство герцога Брауншвейгского стало жертвою тех самых государей, что лишили его власти; ибо в российской истории право наказуемо, а преступление вознаграждаемо.

Чтоб по достоинству оценить лицемерие царицы по отношению к своим пленникам, не следует забывать, что настоящий отчет писан для самой императрицы, а следовательно, каждое обстоятельство излагается в нем под самым благопристойным углом зрения, и вместе с тем к вящему удовольствию великодушной Екатерины II. Рассказ этот следует читать как канцелярскую бумагу, как официальный документ, а не как беспристрастное и простодушное повествование.

* Смотри краткий отчет о путешествии.

** Смотри генеалогическую таблицу на с. 377 (Ред.).

Это эпизод царствования Екатерины II, изложенный по высочайшему повелению с целью доказать человечность Северной Семирамиды.

ОТПРАВЛЕНИЕ БРАУНШВЕЙГСКОЙ ФАМИЛИИ ИЗ ХОЛМОГОР Из первой части трудов Императорской российской академии

I

Долго томилась Брауншвейгская фамилия в заточении. Последним местом ее пребывания в России были Холмогоры, древний город Архангельской губернии, построенный на Двинском острове, в 72 верстах от Архангельска. Она помещалась в отделенном от других жилищ доме, назначенном собственно для нее и для приставленных к ней чиновников и служителей. Прогулка и пользование воздухом позволялись ей только в саду, который находился при самом доме.

Несчастный отец, Антон Ульрих Брауншвейгский, лишенный супруги своей, бывшей правительницею государства Российского, и потерявший наконец зрение, умер 4 мая 1774 года, не дожив до свободы, которой испрашивал со слезами. Тогдашние политические обстоятельства не позволяли исполнить его желание. Он оставил после себя двух сыновей и двух дочерей.

Старшая из них, принцесса Екатерина, родилась в Санкт-Петербурге до постигшего родителей ее несчастья; принцесса Елисавета в Динаминде; принцы Петр и Алексей в Холмогорах. Рождение последнего сопровождено было смертью матери. Для наблюдения за ними был определен военный штаб-офицер с командою; для их услуг назначено несколько человек из простого звания. Всякое сообщение с посторонними было им запрещено. Один архангельский губернатор имел повеление навещать их по временам, чтобы осведомляться о их состоянии. Воспитанные вместе с простолюдинами, они не знали другого языка, кроме русского.

На содержание Брауншвейгской фамилии и на жалованье приставленным к ней людям, также на пристройки и починки дома, который она занимала, не было определенной суммы; но отпускалось из архангелогородского магистрата ежегодно от десяти до пятнадцати тысяч рублей. Вещи на платье для фамилии присылались из императорского гардероба, а жалованье и мундирные вещи на воинскую команду из кригс-комиссариата.

II

Императрица Екатерина II, вскоре по восшествии на престол, обратив милосердное внимание на заключенных, смягчила условия их содержания. Удостоверясь наконец, что освобождение детей Антона Ульриха не может иметь никаких важных последствий, она вознамерилась отправить их в датские владения и поручить в покровительство родной сестры их отца, вдовствовавшей королевы дат-

ской Юлианы Марии. Желая совершить свое намерение без постороннего участия, императрица начала с нею непосредственную переписку. Первое собственноручное о том письмо государыни послано было 18 марта 1780 года. Екатерина предлагала королеве поселить Брауншвейгскую фамилию в Норвегии.

С чувством признательности и с изъявлением особенного удовольствия приняла королева предложение императрицы и отвечала ей, что и король, сын ее, совершенно согласен на все предложения ее величества, касающиеся до Брауншвейгской фамилии.

Король сам писал к императрице, уверяя ее в готовности своей исполнить все ее желания. Но впоследствии королева уведомила императрицу, что в Норвегии нет ни одного места, которое не имело бы порта и не было бы при море. Признано за лучшее перевезти Брауншвейгскую фамилию вовнутрь Ютландии, в уезд, равно удаленный и от моря и от больших дорог. Небольшой город Горсенс избран был для ее пребывания, и король купил там для нее два дома.

III

Между тем как происходила переписка с королевою, делались приготовления к отправлению Брауншвейгской фамилии. Императрица желала исполнить свое предположение сколь возможно тайным образом, чтоб не произвести огласки в народе и не подать повода к ложным и пустым толкам. Для того дело об отправлении фамилии возложено на попечение немногих. Главным производителем этого дела был находившийся тогда при императрице бригадир Безбородко, бывший впоследствии действительным тайным советником первого класса и канцлером.

В то время назначен был генерал-губернатором ярославским, вологодским и архангельским действительный тайный советник Мельгунов. Ему велено ехать из Санкт-Петербурга прямо к городу Архангельску, под видом ближайшего осмотра вверенного ему края. Вместе с тем поручено ему узнать лично принцев и принцесс, стараться купить или построить вновь хорошее речное судно, под предлогом собственной его в нем потребности для плавания по рекам Архангельской губернии; после того купить надежный купеческий корабль; если же хорошего не отыщется, приказано построить вскорости на Онеге трехмачтовое купеческое судно, будто для опытов, препорученных ему императрицею в северных морях, и приискать старых и заслуженных матросов с искусным морским офицером.

IV

Мельгунов, приехав в Архангельск, отобрал предварительно от бывшего там губернатора Головцына все сведения о Брауншвейгской фамилии и потом немедленно отправился в Холмогоры.

При входе Мельгунова в дом, где жили принцы и принцессы, все они встретили его в передней с приметною робостию; кланялись ему почти в ноги и просили его о неоставлении их. Мельгунов, стараясь их ободрить, сказал, что он по высочайшей воле императрицы поставлен начальником Архангельской губернии и, обязанный знать о всем в тамошней стороне, рассудил и их посетить. К тому он прибавил, что, сколько ему известно, государыня имеет об них попечение. При этих словах все они пали на землю, и обе сестры проливали слезы. Меньшая сказала, что с самого начала царствования государыни они воскресли милостию ее величества, а до того времени очень во всем нуждались, и униженно просила Мельгунова изъяснить ее величеству при случае наичувствительнейшую их благодарность.

Пробыв в Холмогорах шесть суток, Мельгунов посещал ежедневно принцев и принцесс; всякий день обедал у них с губернатором, а иногда и ужинал за общим столом; после обеда просиживал он с ними большую половину суток, проводя время в карточной игре, называемой *трест* *, для него, как он говорит **, очень скучной, а для них веселой и обыкновенной.

В продолжение этого времени, согласно с данным ему предписанием, он старался узнать о состоянии их здоровья, нравах и умственных способностях.

Вот как описывает Мельгунов особ Брауншвейгской фамилии:

«Старшая сестра Екатурина имеет от роду 38 лет; сухощавая и небольшого росту; белокура и похожа на отца. В молодых летах потеряла слух и так косноязычна, что слов ее нельзя почти разуть. Братья и сестра объясняются с нею знаками. При всем том имеет столько понятия, что, когда братья и сестра, не делая никаких знаков, говорят ей что-нибудь шепотом, она понимает их по одному движению губ и отвечает им сама, иногда тихо, иногда довольно громко, так что и не привыкший к такому разговору может разуть ее. Из обхождения ее видно, что она робка, уклонна, вежлива и стыдлива; нрава тихого и веселого; увидя, что другие в разговорах смеются, хотя и не знает тому причины, смеется вместе с ними. Впрочем, она сложения здорового; только от цинготной болезни почернели у нее зубы и несколько из них уже выкрошилось.

Меньшой сестре Елисавете 36 лет. От падения с каменной лестницы, с самой верхней ступени до низу, на 10 году возраста, она расшибла голову, отчего часто подвержена головной боли, а особенно в переменные погоды и ненастье. Для предупреждения боли сделан ей на правой руке фонтанель. Она подвержена также частым припадкам по слабости желудка. Ростом и лицом похожа на мать. Словоохотливостию, обхождением и разумом Елисавета далеко превосходит братьев своих и сестру. Все они ей повинуются

* Род фараона, ныне позабытый.

** В донесении императрице Екатерине II.

и исполняют все, что она ни прикажет; она большею частию за всех их говорит, за всех отвечает и поправляет иногда ошибки в их словах. В 1777 году, от приключившейся ей горячки и других женских немощей, она была несколько месяцев в помешательстве; но после оправилась и теперь в совершенном уме. Нельзя, однако же, сказать, чтобы Елисавета имела в себе что-нибудь чрезвычайное. Выговор ее, так как и братьев, соответствует наречию того места, где они родились и выросли.

Большой брат Петр 35 лет. Поврежденный в детстве, он имеет спереди и сзади небольшие и с первого взгляда почти неприметные горбы. Правый бок у него несколько крив; ногами косолап и одна также крива. Он очень прост, робок, застенчив и молчалив. Все приемы его, так же как и меньшего брата, приличны только малым детям. Нрава он слишком веселого: смеется и хохочет, когда совсем нет ничего смешного. Временами бывают у него геморроидальные припадки; впрочем, он сложения здорового; но боится даже до обмороку, когда заговорят о крови. Такую сильную боязнь приписывает он тому, что мать его, бывши им беременна, чрезвычайно испугалась от пореза своего пальца и течения крови.

Меньшой брат Алексей 34 лет. С такою же простотою, как и старший его брат, он кажется, однако же, несколько связнее, смелее и осторожнее его. Сложение имеет здоровое и нрав довольно веселый. — Оба брата росту небольшого, белокуры и лицом похожи на отца.

Как братья, так и сестры живут между собою дружелюбно и при том незлобивы и человеколюбивы. — Летом работают в саду, ходят за курами и утками и кормят их, а зимою бегаютя взапуски на лошадях по пруду, находящемуся в саду их, читают церковные книги и играют в карты и шашки. Девицы сверх того занимаются иногда шитьем белья. В том состоят все их упражнения».

V

Заметив, что Елисавета умнее своих братьев, Мельгунов обратил на нее более внимания и чаще входил с нею в разговоры. Между прочим она говорила Мельгунову, что сперва сам покойный их отец, а когда он лишился зрения, то они утруждали государыню просьбами, которые и теперь повторили бы, но не осмеливаются и боятся, не прогневили ли они своими просьбами ее величество. На вопрос Мельгунова: в чем состоят их просьбы? Елисавета отвечала: «Отец и мы, когда были еще очень молоды, просили дать нам вольность; когда же отец наш ослеп, а мы вышли из молодых лет, то испрашивали позволения проезжаться; но ни на что не получили ответа».

Мельгунов, уверив Елисавету, что она напрасно думает, будто императрица на них прогневалась, спросил ее: «Куда же отец ваш

намерен был с вами ехать?» Елисавета сказала: «Отец наш намерен был ехать в свою землю. Тогда для нас было очень желательно жить в большом свете. По молодости своей мы надеялись еще научиться светскому обращению. Но в теперешнем положении не остается нам ничего больше желать, как только того, чтоб жить здесь в уединении. Здесь, по милости государыни, нашей воскресительницы, мы всем довольны. Рассудите сами, можем ли мы пожелать чего-нибудь, кроме этого. Мы здесь родились, привыкли к здешнему месту и застарели. Теперь большой свет не только для нас ненужен, но и будет тягостен; мы даже не знаем, как обходиться с людьми, а научиться тому уже поздно. Но просим вас,— продолжила она со слезами и поклонами,— исходатайствовать нам у ее величества милость, чтоб позволено нам было выезжать из дому на луга для прогулки; мы слышали, что там есть цветы, каких в нашем саду нет. Подполковник и офицеры, которые теперь при нас, имеют жен; мы просим позволить им ходить к нам, а нам к ним, для препровождения времени, а то иногда нам одним бывает скучно. Просим еще дать нам такого портного, который мог бы на нас шить платье. По милости государыни присылают к нам из Петербурга корнеты, чепчики и токи; но мы их не употребляем для того, что ни мы, ни девки наши не знаем, как их надевать и носить. Сделайте милость, пришлите такого человека, который бы умел наряжать нас. Баня в саду стоит близко к нашим деревянным покоем; мы боимся, чтоб нас не сожгли, прикажите отнести ее подальше». Наконец Елисавета просила со слезами о прибавке жалованья находящимся при них служителям и служительницам, кормилицыным детям, и о дозволении им иметь свободный выход из дому, так, как и другим тут же служащим дозволено. К этому она прибавила: «Если вы исходатайствуете нам все это, то мы будем очень довольны, ни о чем больше утруждать не станем, ничего больше не желаем и рады оставаться в таком положении навек».

Мельгунов убеждал Елисавету написать прошение к императрице и изъяснить в нем все ее желанья. Но она никак на то не согласилась, а написала только в своей просьбе, что она приносит государыне «достоющую рабскую благодарность за высочайшие милости, а наиболее за то, что поручили их великому человеку, наместнику ее величества Алексею Петровичу Мельгунову, и осмеливается повергнуть просьбу свою к стопам государыни; в чем же просьба состоит, донесет Алексей Петрович».

В последний день пребывания Мельгунова у принцев и принцесс, когда он стал с ними прощаться, они плакали, провожая его, бросались ему в ноги, и меньшая сестра именем всех умоляла его не забыть их просьбы.

VI

Между тем Мельгунов делал распоряжения вследствие данных ему приказаний. По открытой невозможности построить суда на Онеге Мельгунов решился возложить изготовление судов на главного командира архангельского порта, генерал-майора Врангеля, не открывая ему, однако же, настоящего их назначения. Речное судно поспело ко времени; а вместо нового мореходного императрица позволила употребить, для отвоза Брауншвейгской фамилии, один из находившихся у города Архангельска фрегатов, именуемый «Полярная звезда». Командиром фрегата избран был отставной флота капитан Степанов; но по приключившейся ему тяжелой болезни Мельгунов взял на его место другого, не меньше надежного и опытного офицера, отставного капитана 1-го ранга Михаила Арсеньева, служившего в то время председателем ярославской гражданской палаты. Он признан способным к исполнению этого поручения потому более, что сделал на море многие кампании, проходил четыре раза Северный мыс и знал то место, куда предположено было отправить Брауншвейгскую фамилию.

Принцы и принцессы воспитаны были в греко-российском исповедании, и потому приготовлена для них походная церковь со всею принадлежащею к ней утварью. К церкви, которая должна была остаться в Горсенсе, определены священник и два церковника. Жалованье велено производить им по окладам, установленным для миссий Стокгольмской и Копенгагенской. В то же время приискан для Брауншвейгской фамилии искусный лекарь с одним учеником.

Для безнуждного содержания принцев и принцесс в Горсенсе императрица назначила им пенсию по смерти их, определив каждому брату и каждой сестре по 8000 рублей, а всем вообще по 32 000 рублей на год, считая по тогдашнему курсу рубля в 50 штиверов голландских. При том велела снабдить их всеми потребностями приличным состоянию их образом.

Для надзирания за принцами и принцессами и для наблюдения, чтобы они были совершенно охранены во время морского путешествия, императрица назначила шлиссельбургского коменданта полковника Циглера и вдову лифляндского ландрата Лиленфельда с двумя ее дочерьми, повелев им быть при Брауншвейгской фамилии до самого ее прибытия в Норвегию и сдачи тому, кто к принятию ее будет уполномочен от датского двора.

После того дозволено им возвратиться в Россию. На снабжение себя и содержание в пути пожалована им достаточная сумма.

Из находившихся при Брауншвейгской фамилии людей Мельгунов выбрал к отправлению с ними трех служителей и четырех служительниц, из которых пятеро родились в Холмогорах и выросли вместе с принцами и принцессами, а две взяты из крестьянок. Все они были поведения хорошего. Таким образом, все было устроено

по желанию и с утверждения императрицы. Оставалось только употребить старание, чтоб не встревожить Брауншвейгскую фамилию внезапным объявлением о предстоящем ей отъезде. По данным Мельгунову от императрицы наставлениям приняты к тому приличные меры.

VII

Полковник Циглер вместе с губернатором Головцыным поехал в Холмогоры. Явившись к принцам и принцессам, он сказал им от имени Мельгунова, что Алексей Петрович, в бытность свою у двора, не упустил доложить государыне о их просьбе и что ее величество повелела прибавить жалованье служителям их, позволяет жене находящегося при них подполковника Полозова ходить к ним для беседы и приказала снабдить их всем, в чем они имеют нужду. Между прочим он им заметил, что они скоро увидят, сколь далеко простирается попечение о них ее величества. Через несколько времени послана к принцам и принцессам с таким же обнадеживанием вдова Лиленфельд. Когда полковник Циглер и жена подполковника Полозова явились к ним, радость их была чрезвычайна, особливо же когда они услышали о монаршем к ним благоволении.

Вскоре и сам Мельгунов приехал в Холмогоры. Подтвердив сперва принцам и принцессам слова полковника Циглера, объявил им наконец о их состоянии, о намерении императрицы дать им свободу и отправить их в датские владения под покровительство тетки их и о всех милостях, которые государыня предположила им сделать. Неожиданная весть о перемене их участи была для них благовещием небесным. Они услышали, что Екатерина, уже воскресившая их услаждением их затворничества, дарует им еще новую, счастливейшую жизнь. Объятые внезапным восторгом и удивлением, они не могли промолвить ни слова; говорили только сердца их в трепете радости. Этот сердечный голос не был слышан; но взоры их, возводимые к небу, потоки слез, из глаз струящиеся, и частые коленопреклонения свидетельствовали более всяких слов нелестную их признательность к благодеющей им монархине. Тогда Мельгунов дал им почувствовать, сколько они должны быть благодарны императорскому дому, получая свободу и такое изобильное состояние, каким пользуются немногие из равных им породю. К тому он прибавил, что если они забудут благодеяния государыни или, следуя ухищренным наущениям и советам, не захотят иметь пребывания в областях датских, то не только лишатся определенного им пенсионна, но потеряют всякое право и на малейшую от императрицы помощь и покровительство.

Елисавета отвечала ему со слезами: «Боже нас сохрани, чтоб мы, получив такие великие милости, были когда-нибудь неблагодарны. Верьте мне, — сказала она с видом твердым, — мы никогда из

воли ее величества не выступим. Она наша мать и покровительница. Мы на одну только ее и надеемся; так возможно ли, чтоб мы осмелились когда-нибудь прогневать ее величество и лишиться навеки ее милостей». Потом спросила она Мельгунова: «К себе ли возьмет нас тетка или оставит в каком городе? Мы желали бы лучше жить в каком-нибудь маленьком городке; а то рассудите сами, как нам быть при дворе. Мы совсем не умеем обходиться с людьми; да притом и не разумеем их языка». Мельгунов отвечал ей, что они могут, по приезде туда, попросить об этом свою тетку, и обещал постараться и с своей стороны, чтоб желание их было исполнено.

Успокоив таким образом принцессу, Мельгунов был чрезвычайно доволен, что нашел их, против своего ожидания, беспрекословно и с веселым видом соглашающихся на все его предложения. Одна только поездка водою устрасала их, особливо принцесс, которые от рождения своего не только не езжали по воде, но и не видывали, как ходят суда. Хотя Мельгунов уверял их, что нет никакой опасности и что он сам поедет с ними сто верст, однако же и затем оказывали они робость, говоря так: «Вы мужчины, и вам бояться нечего; а вот ежели бы поехала с нами ваша супруга, то и мы бы, глядя на нее, охотнее взошли на судно».

Мельгунов принужден был дать им слово, что возьмет с собою и жену. Они приняли это тем с большим удовольствием, что вдова Лиленфельд и ее дочери также не езжали по воде и не меньше их боялись.

VIII

В назначенный к отъезду день Мельгунов, приглася с собою жену, посадил принцев и принцесс на речное судно со всеми особами, определенными для препровождения их, и с принадлежащими к ним служителями, и пустился к Новодвинской крепости с 26 на 27 июня 1780 года пополуночи в час. При попутном ветре прибыли они к крепости 28 июня пополуночи в 3 часа, переехав 90 верст с небольшим за сутки.

В то самое время принцы и принцессы пробудились от сна. Но каким ужасом были они поражены, увидев крепость. Они вообразили, что тут будет их жилище и что все уверения Мельгунова были не что иное, как обман. Приезд в то самое время кабинетского курьера еще более утвердил их в этом мнении. Они подумали, что курьер привез повеление оставить их в Новодвинской крепости, когда, напротив того, он был прислан к Мельгунову с подтверждением прежних об них приказаний. Чтобы разуверить их и истребить в них напрасный страх, Мельгунов, поместив их в комендантском доме, дал им свободу гулять по валу и приходил к нему на речное судно.

День прибытия их в Новодвинскую крепость был днем восшест-

вия императрицы на престол. По просьбе их отправленный с ними священник отслужил в крепостной церкви, после литургии, благодарственный молебен.

Фрегат «Полярная звезда» был уже готов к отплытию. Принцы и принцессы, также принадлежащие к ним люди, взведены на фрегат. Прощаясь с ними, Мельгунов сделал им новые внушения о признательности, сказав наконец, что они вечно будут несчастны, если окажут себя неблагодарными. Слыша это, они проливали слезы и падали на колени. Меньшая принцесса именем всех говорила: «Бог нас накажет, если мы забудем милости нашей матери. Мы вечно будем рабы ее величества и никогда из воли ее не выступим. Она мать наша и воскресительница; мы на одну ее надеемся, а больше ни на кого». После того она просила Мельгунова ходатайствовать у престола ее величества о продолжении к ним монарших милостей и покровительства.

Расставшись с ними, Мельгунов приказал сняться с якоря, поднять паруса и следовать в предназначенный путь. Фрегат отправился в два часа пополудни на 30 число, под купеческим флагом и названием. Мельгунов провожал их глазами до тех пор, пока фрегат скрылся из глаз.

IX

При отправлении принцев и принцесс императрица наделила их царскою рукою. (Следует перечень одежды, мехов, чайных приборов, часов, перстней и т. п., подаренных каждому из принцев.) Сверх всего этого дано полковнику Циглеру, для вручения принцам и принцессам по прибытии в Берген, 2000 голландских червонных на карманные им деньги.

Параграф заканчивается следующей фразой: В Дании удивились щедрости и великодушию, с которыми наделена была Брауншвейгская фамилия. Сама королева отзывалась о том с признательностию.

Параграф X ничем не примечателен, разве что следующей фразой: Императрица чрезвычайно была довольна Мельгуновым, который исполнил повеления ее с примерным усердием и успехом. Сделала ему только замечание, что он напрасно, и сверх данных ему предписаний, брал жену свою на речное судно с Брауншвейгскою фамилиею.

XI

Плавание фрегата «Полярная звезда» было продолжительно от противных ветров и сильных бурь. Императрица, не получая долго уведомления о путешественниках, начинала об них беспокоиться. Наконец пришло сюда известие о прибытии фрегата к Бергену 10

сентября нового штиля. Датский военный корабль «Марс», под начальством командора Лютхена, давно уже дожидался его у Бергена. На другой день Брауншвейгская фамилия сдана бергенскому главному бальифу Шубену, а 12 числа пересажена на военный корабль. Но противные ветры задержали корабль в 4 милях от Бергена до 23 сентября. После того он должен был бороться с жестокою бурей, которая продолжалась непрерывно 30 сентября и 1 октября. Не прежде 5 октября мог он пристать к Фланстранду. Расстроенные непогодами и утомленные трудным и беспокойным плаванием принцы и принцессы высажены были в Аальборге, где и оставались три дня для отдохновения. Скоро, однако ж, оправились и приехали в Горсенс 13 октября, здоровые и веселые, благословляя императрицу за дарование им свободы и устроение для них нового и изобильного существования. Между тем фрегат «Полярная звезда» за поздним временем остался зимовать в Бергене. По прибытии в этот порт принцесса Елисавета из пожалованных ей 500 червонных раздала 3000 рублей, из которых подарила капитану Арсеньеву 1000 рублей.

Выбор приставленных к Брауншвейгской фамилии особ был счастлив. Полковник Циглер и вдова Лилиенфельд, хотя и короткое время находились при принцах и принцессах, умели, однако же, снискать любовь и уважение их. Меньшая принцесса особенно довольна была поступками Циглера...

XII

Между императрицею и королевою продолжалась частая переписка о Брауншвейгской фамилии. Королева всегда отзывалась с удовольствием о поведении принцев и принцесс и хвалила их за добросердечие и кротость.

Королева желала видеть принцев и принцесс и писала о том Екатерине. Императрица предоставила это совершенно на ее волю. Но впоследствии королева отменила свое намерение, как ни желали предоставить ей сами принцы и принцессы.

Между прочим королева спрашивала императрицу: как должно поступать с принцами и принцессами и какие титулы можно им давать? Императрица отвечала, что с тех пор, как они находятся в распоряжении датского двора, она считает их свободными особами знатного происхождения; но за поступками их должно иметь наблюдение для их собственного спокойствия и счастья, по причине их неопытности, воспитания и других обстоятельств, препятствующих им жить в большом свете. Жизнь, удаленную от всех светских тревог, она считала для них самою приличною. Что же касается до титулов, то императрица заметила, что нет никакой причины лишать их титула, который дарован им Богом и принадлежит им по рождению, то есть титула принцев и принцесс Брауншвейгского дома.

Королева находила за лучшее удалить русских служителей от принцев и принцесс, под предлогом чтобы, отстранив все прежние их сношения, скорее приобщить их к новому роду жизни. Императрица охотно на то согласилась. Все русские люди, кроме священника и церковников, возвращены в Россию, и при Брауншвейгской фамилии составилась тогда небольшой двор из одних датчан. Горько и тяжело было принцам и принцессам это разлучение. И не удивительно! Они выросли и были воспитаны вместе со своими служителями; в них они привыкли иметь единственных своих собеседников и поверенных. Принцы и принцессы, при расставании с ними, пролили несколько слез сожаления и о Холмогорах.

На обзаведение для Брауншвейгской фамилии в Горсенсе, покупку домов и проч. употреблено до 60 000 талеров. Датский двор предположил уделять на уплату этой суммы из пожалованного Брауншвейгской фамилии пенсиона, и таким образом заплачено было 20 000 талеров. Но императрица, узнав о том, не хотела, чтобы принцы и принцессы пользовались не вполне ее щедротами, не хотела также быть в тягость датскому двору и повелела заплатить остальные 40 000 талеров из своей казны.

XIII

В тишине и дружественном согласии между собою жили принцы и принцессы в Горсенсе. Сами они никогда не подавали повода к жалобам на них со стороны приставленных к ним от датского двора особ; но не всегда были довольны распоряжениями последних.

Елисавета, так как и в Холмогорах, была руководительницею братьев своих и сестры; не делала, однако же, ничего без их общего согласия. Впрочем, во всех случаях, пока она была жива, они обыкновенно следовали ее мнению и советам.

Однажды датский принц Фердинанд посетил Брауншвейгскую фамилию в Горсенсе. Свидание их было трогательно. Лишь только принцы и принцессы узнали, что он едет, они поспешили в дом, для него назначенный, чтобы встретить его там в кабинете. Принц вошел в кабинет один, обнял старшую принцессу, и в ту же минуту трое других его окружили, целовали его руки и плакали от радости, не выпуская его долго из своих объятий.

Он пробыл там двое суток, завтракал и обедал с ними. На третий день обещал приехать к ним проститься; но, чтобы избавить себя и их от новых слез, уехал в семь часов утра, послав к ним на память пакет с двумя табакерками и двумя перстнями.

Недолго пользовалась Елисавета новою жизнью. Жестокая болезнь, продолжавшаяся две недели, прекратила дни ее 20 октября 1782, на 39 году от рождения.

Через пять лет после нее умер младший принц Алексей 22 октября 1787. Незадолго до своей кончины он занемог, но скоро оправился. После того вдруг вообразил себе, что не переживет того дня, в который умерла его сестра. Эта мысль, как ни старались ее рассеять, так вкоренилась в его воображение, что сделалась для него пагубною. За несколько дней до назначенного им времени он опять стал жаловаться на нездоровье. С ним сделался обморок; он казался заснувшим и более не пробуждался.

Принц Петр умер 30 января 1798 года.

Легко можно себе представить, как горестно было положение Екатерины. Лишенная всех близких к ее сердцу, окруженная людьми, для которых она была вовсе чужою, она не имела и того утешения, чтоб видеть к себе сострадание какой-нибудь чувствительной души. Тетки ее уже не было в живых. Приставленные к ней, кажется, думали больше о своих выгодах, нежели о доставлении ей тех удобностей, на которые она имела всякое право по милости российского двора, давшего ей к тому все способы. До самой ее кончины определенная принцам и принцессам пенсия производилась вполне, несмотря на постепенное уменьшение Брауншвейгской фамилии.

Горсенская жизнь так наскучила Екатерине, что она желала возвратиться опять в Россию и постричься в монахини. Единственную отраду она находила в присутствии при службе Божией и в молитвах. Но пред кончиною забыла наанесенные ей огорчения и писала к императору Александру о пожаловании пенсии находившимся при ней людям. Просьба ее была уважена. Чиновникам и служителям, бывшим при горсенском дворе долгое время, повелено производить в пенсион из российской казны полные получаемые ими оклады, а после их смерти женам их; тем же, которые находились при Екатерине короткое время, выданы единовременно годовые оклады жалованья.

Она оставила после себя завещание, которым назначила датского наследного принца Фридриха и потомков его наследниками всего своего движимого и недвижимого имущества.

Принцесса Екатерина скончалась 9 апреля 1807 года и погребена в Горсенсе вместе с братьями и сестрою. С нею пресекалось потомство царя Иоанна Алексеевича, замечательное в русской истории превратностями судьбы своей.

В. Поленов

ОТРЫВОК ИЗ «ОПИСАНИЯ МОСКВЫ»

Ж. Лекуанта де Лаво

Московские тюрьмы в 1836 году

«Из лиц, арестованных полицией, 1110 взято было за беспаспортность, 78 за дезертирство; кроме того, 8354 мошенника, 586

воров, 2328 за брань, 866 за драки, 117 за укрывательство беглых и 2475 за различные мелкие нарушения. Из этого числа заключено было в острог 122 мужчины за святотатство и 45 женщин за то же преступление; 2 человека за оскорбительные высказывания о правительстве, 24 убийцы, 31 мошенник, 34 фальшивомонетчика и 4 фальшивомонетчицы; 10 поджигателей и воров на пожарах, а равно 2 женщины по тому же обвинению; 12 человек за нанесение смертельных ран, 25 за покушения на самоубийство!!!! 7 за непредумышленное причинение смерти, 33 за причинение тяжких телесных повреждений; 177 мужчин и 83 женщины за разврат; 112 мужчин и 23 женщины за пьянство и распутное поведение, 95 за подлог; 676 мужчин и 364 женщины за бродяжничество; 46 мужчин и 27 женщин за укрывательство подозрительных; 824 вора и скупщика краденого, а также 310 скупщиц и воровок; 46 человек за ложный донос; 75 мужчин и 12 женщин за ношение ложных имен; 2 ростовщика; 5 человек за хищение казенных денег; 143 мужчины и 8 женщин за оставление службы и за побег от помещика; 558 мужчин и 105 женщин за попрошайничество; 199 мужчин и 31 женщина за проживание по поддельным паспортам.

(Страницы 335 и 336 первого тома «Описания Москвы» Ж. Лекуэнта де Лаво, 2-е издание. Москва, в типографии Августа Семена, 1836).

Находилось во временном заключении в 1834 году обвиняемых:	М	Ж	Оправдано	
			М	Ж
В святотатстве	3	—	—	—
В участии в бунте	1	—	—	—
В убийстве	5	—	—	—
В соучастии в убийстве	2	—	—	—
В преднамеренном поджоге	10	—	—	—
Во взяточничестве	8	—	—	—
В изнасиловании малолетних	1	—	—	—
В похищении детей	1	—	—	—
В драке	1	—	—	—
В членовредительстве	4	—	—	—
В краже провизии	2	—	—	—
лошадей	56	—	—	—
одежды	2	—	—	—
разных предметов	561	22	42	5
денег и имущества	13	1	3	—
денег	16	2	—	—
В присвоении чужого имущества	4	—	—	—
В получении краденого	23	—	—	—
В укрывательстве краденого	4	—	—	—
В укрывательстве подозрительных	11	—	6	—
В подлоге	16	—	—	—

Находилось во временном заключении в 1834 году обвиняемых:	М	Ж	Оправдано	
			М	Ж
В проживании по подложному паспорту	14	—	—	—
В пьянстве и распутной жизни	126	4	27	—
В прелюбодеянии	126	1	—	1
В ложном доносе	6	—	—	—
В хищении казенных денег	4	—	—	—
В проживании под чужим именем	6	—	—	—
В содействии побегу заключенных	3	—	—	—
В потворстве побегу заключенных	1	—	—	—
В самовольной отлучке со службы от помещика	2	—	—	—
В побеге из Сибири	327	28	77	2
из воинской части	15	—	—	—
из-под ареста	43	—	—	—
В бродяжничестве	5	—	—	—
В беспаспортности	15	—	—	—
В утере паспорта	441	4	29	—
В несвоевременном обмене паспорта	12	1	—	—
В мошенничестве	52	—	13	—
В незаконном нищенстве	13	—	2	—
В незаконном нищенстве	112	2	18	—
В недоказанных проступках	674	22	65	—
	2741	87	282	8

Заключенные, поступившие в 1834 году в московскую государственную тюрьму, в просторечии именуемую «острог»

Причины ареста	Осуждено		Отдано под надзор		Оправдано	
	М	Ж	М	Ж	М	Ж
Поджог	14	2	—	—	2	—
Святотатство	6	2	—	—	3	—
Вероотступничество	—	1	—	—	—	—
Неповиновение властям	19	7	1	—	—	—
Участие в бунте	42	—	—	—	—	—
Убийство	6	—	—	—	—	—
Соучастие в убийстве	3	—	1	—	1	—
Недонесение об убийстве	2	—	—	—	—	—
Непреднамеренное убийство	1	—	—	—	—	—
Нанесение смертельных ран	5	—	—	—	1	—
Отравление	3	1	1	1	1	—
Покушение на самоубийство	2	—	—	—	—	—
Присвоение имущества	7	—	—	—	—	—

Причины ареста	Осуждено		Отдано под надзор		Оправдано	
	М	Ж	М	Ж	М	Ж
Изготовление фальшивых денег	11	3	—	—	—	—
Владение чужим имуществом	4	—	—	—	—	—
Изнасилование малолетних	2	—	—	—	—	—
Соккрытие ребенка	4	4	—	—	—	—
Клевета	1	—	—	—	—	—
Намеренное членовредительство	14	—	—	—	3	—
Кража лошадей и имущества	156	57	56	13	52	18
Кража на пожаре	4	—	—	—	2	—
Кража денег	16	2	—	—	25	3
Объявление себя владельцем чужого имущества	14	3	2	1	4	2
Получение краденого	17	4	5	2	12	3
Укрывательство краденого	5	3	1	1	3	5
Предоставление убежища вора	16	4	4	1	7	3
Подделка частных бумаг	24	—	2	—	3	—
Проживание по поддельному паспорту	22	18	3	1	8	7
Буйство, пьянство и распутная жизнь	14	9	2	1	17	5
Безнравственное поведение	4	16	—	—	2	15
Прелюбодеяние	3	12	—	—	2	4
Ложные доносы	6	1	—	—	2	1
Ростовщичество	2	—	1	—	1	—
Обман, совершенный стряпчим	3	—	—	—	1	—
Хищение казенных денег	2	—	—	—	1	—
Проживание под чужим именем	23	9	2	1	12	4
Способствование побегу заключенного	1	—	—	—	1	—
Потворство побегу заключенного	1	—	—	—	—	—
Отлучка со службы от помещика	8	—	—	—	4	—
Побег из Сибири	—	—	—	—	60	42
из заключения	32	2	—	—	—	—
Бродяжничество	3	1	—	—	—	—
Беспаспортные	18	45	—	—	9	7
Утерявшие паспорт	13	2	—	—	28	75
	12	8	—	—	23	17

Причины ареста	Осуждено		Отдано под надзор		Оправдано	
	М	Ж	М	Ж	М	Ж
Не возобновившие своевременно паспорт	7	9	—	—	38	26
Мошенничество	11	—	4	4	2	—
Незаконное нищенство	18	43	—	—	23	102
Неустановленные проступки	3	5	—	—	5	4
Угрозы	7	1	—	—	2	—
Повреждение в рассудке	2	—	—	—	3	1
Нежелание избрать себе образ жизни	3	4	—	—	1	2
ВОЗРАСТ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТЮРЬМЕ В 1835 ГОДУ						
Не достигшие 16 лет	38	12	—	—	67	23
От 16 до 20 лет	92	28	8	3	53	21
От 20 лет до 30 лет	102	55	28	6	46	52
От 30 лет до 40 лет	126	68	25	7	59	45
От 40 лет до 50 лет	87	59	12	4	52	48
От 50 лет до 60 лет	56	33	8	1	64	42
От 60 лет до 70 лет	22	18	1	—	59	61
От 70 лет до 80 лет и старше	5	2	—	—	38	32
Неустановленного возраста	48	14	3	1	15	27

ГЕНЕАЛОГИЯ ПРИНЦЕВ И ПРИНЦЕСС БРАУНШВЕЙГСКИХ

I. МИХАИЛ Романов. Умер в 1645 году.

II. АЛЕКСЕЙ. Умер в 1676 году. = Наталья Нарышкина.

III. ФЕОДОР, или ФЕДОР III. Умер без потомства в 1682 году.

IV. ИОАНН, или ИВАН V. Умер в 1696 году.

= V. ПЕТР Великий. Умер в 1725 году. = VI. ЕКАТЕРИНА I. Умерла в 1727 году.

Екатерина, замужем за принцем Мекленбургским. VIII. АННА, герцогиня Курляндская. Умерла бездетною в 1748 г.

Алексей *, женат на принцессе Брауншвейгской.

Анна, замужем за Фридрихом Гольштейн-Готторпским. Умерла в 1726 году. в 1761 году.

Елизавета, замужем за Антоном-Ульрихом Брауншвейгским, умерла, как и он, в ссылке.

VII. ПЕТР II. Умер без потомства.

XI. ПЕТР III. Умерла в 1762 году. = XII. ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ. Умерла в 1796 году.

IX. ИОАНН VI, лишен престола, заключен в Шлиссельбург. Умер в 1807 году, 65 лет.

Петр. Умер в 1798 году, 53 лет.

XIII. ПАВЕЛ. Умер в 1801 году. = Мария Вюртембергская.

XIV. АЛЕКСАНДР. Умер в 1825 году. = XV. НИКОЛАЙ I. Умер в 1825 году.

МВ: Со смертью этих пяти принцев и принцесс угасла ветвь Иоанна V.

ПЕРЕЧЕНЬ ЦАРЕЙ, НАЧИНАЯ С ИОАННА IV

Иоанн IV	Иоанн VI
Феодор I	Елизавета
Борис Годунов	Петр III
Феодор II	Екатерина II
Дмитрий V	Павел
Василий V	Александр
МИХАИЛ РОМАНОВ	Николай I

* Осужден на смерть своим отцом.

ДОПОЛНЕНИЯ

1. ЗАМЕТКА АВТОРА О ТРЕТЬЕМ ИЗДАНИИ (1846)

Автор сделал все от него зависящее, чтобы это, третье издание «России в 1839 году» стало самым полным и правильным; завершая предпринятые с этой целью труды, он считает своим долгом выразить признательность тем особам, чья благожелательная критика помогла ему усовершенствовать книгу.

Даже русские заслужили благодарность, ибо из их опровержений, или, говоря точнее, из их отрицаний, автор узнал правильное написание многих русских слов и исправил *drowska* на *drochki*, *mugik* на *mougik*, и проч., и проч. Улучшениями этими, к которым, впрочем, французские читатели останутся в большинстве своем равнодушны, автор обязан лишь дотошности, с какой русские сочли необходимым исследовать книгу, смутившую их политическое идолопоклонничество, умерившую их амбиции и уязвившую их тщеславие; меж тем все последовавшие затем события не только подтвердили все сказанное в книге, но, надо признать, и затмили ее. В самом деле, происшествия, случившиеся в России и сделавшиеся известными на Западе со времени первого издания этих писем, до такой степени превзошли все ожидания пишущего эти строки, что он опасается, как бы чрезвычайная умеренность его рассказа не навлекла на него обвинения в низкопоклонстве перед деспотической властью и он не утратил репутацию повествователя, чтящего правду. Автор надеется, что читатели внимательные и беспристрастные оправдают его от подобных наветов, но это не вполне успокаивает его, ибо, если таковые читатели и отыщутся, они, по причине своей малочисленности, не смогут задавать тон в обществе.

Что же делать другу истины, навлекшему на себя по причине своей правдивости упрёки самых противоположных партий? молчать и смиряться; по правде говоря, самоотречение это не столь мучительно, как кажется на первый взгляд, ибо надежду человек не теряет никогда: она просто делается чище и бескорыстнее.

Автор не станет утверждать, что не знал о бедствиях более тяжких, злоупотреблениях более отвратительных, чем те, какие он описал; однако он счел своим долгом умолчать о них; позже вести о неслыханных злодеяниях, невысказанных, но подлинных зверствах поселили в его душе раскаяние и заставили пожалеть о дани, заплаченной им, с позволения сказать, почтению к человечеству. Быть может, в выборе предметов для описания он был чересчур осторожен, но тем не менее рассчитывает на снисхождение, ибо настроение умов во Франции в ту пору, когда он сочинял свою книгу, было таково, что, преодолев он свою робость, дерзнул он сказать больше, чем он сказал, французы не поверили бы его разоблачениям, и написанная им книга, оставшись неизвестной широкой публике, была бы прочтена лишь несколькими особами, знающими изображенные в ней материи куда глубже автора; публика произнесла бы приговор сочинителю, даже не выслушав его. Итак, дабы завоевать расположение публики, приходилось хранить сдержанность.

Вот и все, что автор позволяет себе сказать в свою защиту, ибо единственное, чего он не смог бы снести, это упрека в том, что он из слабости поступил правдивостью рассказа и независимостью взгляда, какие пристали настоящему путешественнику.

Предуведомление и предисловие, следующие ниже, выдают заботы иного свойства; именно поэтому автор счел уместным воспроизвести их и в этом, третьем издании; они показывают, каким испытаниям подвергается добросовестный человек, уверившийся, что его долг — сообщить окружающим о своих убеждениях.

2. К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ 1846 г.

(ФИНАЛ ГЛАВЫ «ИЗЛОЖЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПУТИ»)

Эти отрывки, касающиеся мер, взятых Екатериной II и ее наследниками против униатов, подтверждают даже с излишней яркостью факты, которые я уже привел, и выводы, на которые эти факты меня натолкнули.

Отрывки из книги «Заключения католической церкви обоих обрядов в Польше и в России», переведенной с немецкого графом де Монталамбером

«Нет такой жестокости, которой не подвергали бы этих несчастных (униатов), дабы принудить их перейти в ряды схизматиков; если они отказывались покинуть свои храмы, их выгоняли оттуда кнутом и истязали до тех пор, пока боль не заставляла их согласиться на требования мучителей. Но это еще не все: у несчастных отнимали имущество, лишали их скотины, составлявшей все их

богатство, а иногда, словно и этого было недостаточно, отрезали им носы и уши, вырывали волосы и выбивали зубы ударами ружейных прикладов» (т. 1, с. 196).

«Если императрица, принимая свои законы, добивалась, чтобы никто не чинил препятствий тем, кто по доброй воле захочет принять православие, отчего же запрещать священникам-униатам пользоваться души тех, кто хочет сохранить верность религии своих отцов? Нет, не этого желала императрица, которая столько раз во всеуслышание заявляла о своей терпимости по отношению к любой вере, которая так торжественно пообещала униатам, что никогда не будет посягать ни на их религию, ни на связанные с нею права, и которая, наконец, обещала сохранить за ними их церкви» (т. 1, с. 198).

«Смерть настигла Екатерину как будто нарочно для того, чтобы спасти униатскую церковь. Императрица умерла в ноябре 1796 года; если бы не это, очень скоро хилые остатки этой церкви были бы полностью уничтожены, и Екатерина избавила бы своих наследников (императора Николая I) от печальной необходимости брать на себя перед Богом и людьми вину за преступление, которое навсегда запятнает его имя» (т. 1, с. 200—201) *.

Гонения на униатов были жестокими при Екатерине II, но при нынешнем царствовании жестокость эта только возросла. Екатерина II, по крайней мере, оставляла священникам-униатам и их пастве возможность нерадостного выбора: либо перейти в католичество, либо пополнить ряды схизматиков. Благодаря деятельному усердию большого числа кюре, принявших католичество, многие приходы остались в лоне Церкви. Нынешнее правительство не только запрещает священникам переходить в католичество, но, напротив, принуждает всех тех униатов, которые при Екатерине II, Павле I и Александре приняли латинскую веру, возвратиться к вере схизматической.

Указ Екатерины II, подписанный в 1789 году, был вновь введен в действие в году 1833-м, со многими очень жестокими добавлениями; согласно этому указу, подлежит наказанию, как мятежник, всякий католик, священник или мирянин, происхождения высокого или низкого, который воспротивится на словах или на деле распространению главенствующей религии или помешает каким-либо образом вхождению в лоно русской церкви отдельных семей или целых деревень.

Опираясь на этот ужасный закон, правительство посылает свя-

* Польский поэт Немцевич рассказывает о том, каким удивительным образом объявил ему о смерти Екатерины тюремщик той крепости, в которой Немцевич содержался более трех лет по приказу императрицы. Человек этот сказал ему однажды утром: «Да будет вам известно, что наша бессмертная императрица изволила умереть». См.: «Заметки о моем тюремном заключении в Петербурге в 1794, 1795 и 1796 годах», сочинение Юлиана Урсына Немцевича.

щенников во владения тех помещиков, которые славятся своей привязанностью к католической церкви: эти священники, посланные в качестве носителей слова Божия, употребляют все возможные средства для того, чтобы принудить крестьян принять схизматическую веру; задача, стоящая перед ними, не слишком сложна: ведь всякого, кто будет противиться их воле или призывать своих единоверцев не предавать католическую религию, можно немедленно объявить бунтовщиком и бросить в тюрьму. Но и этот закон, несмотря на всю его деспотическую жестокость, не способен совладать с ревностным стремлением верующих сохранить веру своих отцов. Выберем из множества примеров один-единственный. В 1836 году русские священники прибыли в имение г-на Маковецкого, богатого помещика Витебской губернии, и приступили к выполнению своей миссии; крестьяне, поддерживаемые своим господином, оказали им решительное сопротивление. Русские священники (попы) известили об этом правительство, и император немедленно отдал приказ лишить г-на Маковецкого всех его владений и сослать в Сибирь; при поддержке войск священники продолжают свое дело; несмотря на неслыханные жестокости, несчастные крестьяне упорствуют в течение двух лет, но затем наконец соглашаются принять схизматическую веру. Тогда император посылает министру внутренних дел, *Дмитрию* Николаевичу Блудову, указ следующего содержания, исполненный горькой насмешки: «Верните Маковецкому свободу и поместья, ведь все его крестьяне теперь — православные».

Подобные сцены происходили и в униатских приходах Радомском и Озимекском. Жители Радома с редкостным героизмом три дня и три ночи обороняли от русских солдат свой храм, но наконец, вынужденные подчиниться превосходящей силе противника, сдались и приняли религию схизматиков. Озимекский помещик г-н Мирский был лишен имения и сослан в Сибирь за то, что отказался отдать ключи от церкви даже после того, как крестьян его обычными насильственными методами вынудили переменить веру.

Русских священников часто посылают в поместья тех дворян, которые исповедуют католическую веру; там эти посланцы с величайшей жестокостью принуждают крестьян принять веру схизматиков: ведь согласно весьма своеобразной диалектике русского правительства помещики-католики не имеют никаких прав на крестьян-униатов. В деревнях, жители которых, дабы сохранить свою веру, еще при Екатерине II перешли в католичество, русские священники предъявляют указ 1833 года, гласящий: «Все семейства, которые при Екатерине II и ее *святых* наследниках, императорах Павле I и Александре I, приняли латинскую веру, ныне считаются принадлежащими к русской православной церкви». Во исполнение этого указа целые деревни оказываются вынуждены переходить из католичества в православие. Русские попы и агенты правительства претворяют

этот указ в жизнь с величайшей жестокостью. Вот один из примеров: «Некто г-н Бурачек, униат, предки которого были православными, пожелал взять в жены девицу, исповедующую ту же веру, что и он, и получил ее согласие, однако ни один из священников-униатов не решился обвенчать жениха и невесту; все ссылались на императора, запрещающего подобные браки; переезжая из города в город, жених наконец нашел в окрестностях Смоленска священника-униата, который, тронутый такой верностью религии отцов, тайно обвенчал молодых. Правительство, узнав обстоятельства заключения этого брака, объявило его недействительным. Г-на Бурачека и священника лишили имущества и выслали в Сибирь.

Русское правительство пыталось оправдать эти жестокости, утверждая, что объявлять ту или иную семью, того или иного человека православным не значит ущемлять свободу совести, что таким образом этих людей просто-напросто возвращают к религии их предков, религии, которую они якобы оставили по невежеству и не имея на то никакого права» (т. 1, с. 240—242).

«Сходные и даже более жестокие акты насилия осуществлялись агентами русского правительства в военных поселениях, где большинство составляли поляки и русины, исповедующие католическую веру. Достаточно упомянуть лишь о том, что произошло в 1835 году в Старосельском военном поселении Витебской губернии. Однажды командир собрал всех солдат и объявил, что им предстоит принять ту же веру, какую исповедует император, ибо такова его воля, повиноваться которой — их священный долг. Большинство солдат сказали, что им легче умереть, чем предать свою веру, но не успели они произнести эти слова, как русские солдаты того же полка по приказу командира бросились на своих товарищей и обрушили на них палочные и сабельные удары, от которых многие из несчастных вскоре умерли» (т. 1, с. 244—245).

«Более 160 священников заплатили жизнью за героическую верность своей религии: их подвергли различным унижениям, а затем сослали в Сибирь, где большинство из них умерло» (т. 1, с. 249).

«Выслушаем победную песнь, которую затянуло после того, как униаты изменили своей вере, русское правительство; вот что писала по этому поводу «Северная пчела», газета официальная:

«В сем дивном событии всяк видел подтверждения неоспоримой истины, что все стремится к своему началу и воссоединение бывшей греко-униатской церкви с православной не представило, в сущности своей, ничего нового для обеих: родное возвратилось к родному, законное достояние к законной власти. Ныне духовенство обеих, или, точнее говоря, одной и той же церкви, приносит совокупную бескровную жертву Всемогущему, по всему пространству воссоединенных епархий, там, где некогда падали несчастные жертвы лютого изуверства. Богопротивным средствам злополучного прежнего времени противопоставлены были меры убеждения, и сколь ужасно

было отторжение детей от лона матери, столь ныне везде легко и радостно их возвращение к ней. Древние язвы исцелены, догматы Веры утверждены, дух и совесть успокоены, целая отрасль церкви российской от так называемой Унии возвращена к истинному единству Вселенскому, и Россия, преуспевающая в делах Веры мудрыми попечениями и благочестивым примером августейшего монарха, стремится, подобно ему, излить благодарные чувства перед Небесным виновником сего мирного торжества своего, которого благие последствия неисчислимы. Отныне можно смело сказать, что кроме лишь собственно так называемой Литвы и Жмуди, все основное население западных областей Империи есть не только русское, но и православное; и напрасно было бы усилие врагов ее утверждать противное вопреки исторической истине и действительной сущности вещей. Их мнение не найдет себе отголоска в коренных тамошних жителях, вспомнивших свое начало, свой язык и свою древнюю Веру» (т. 1, с. 267—268).

«Еще один указ, от 2 января 1839 года, сулит всякому католику, приговоренному за убийство или другое преступление к наказанию кнутом, к каторжным работам или тюремному заключению, прощение, если он перейдет в православие. Вероотступники получают разрешение носить на анненской ленте медаль в память о своем отречении от веры отцов. Так католическая церковь теряет паству, имущество и права» (т. 1, с. 333).

3. ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА К ПЯТОМУ ИЗДАНИЮ (1854)

15 июня 1854

Эту книгу постигла судьба, какая всегда постигает истину: первое ее издание поразило многих читателей; затем люди предубежденные обрушились на нее с решительным осуждением; наконец, еще позже, некоторые беспристрастные судьи встали на ее защиту и сказали о ней немало лестных слов. Они разглядели в ней новые картины (новым был в пору появления книги сам ее предмет), откровенные замечания, рассказы смелые в силу их искренности: этого довольно для того, чтобы заслужить снисхождение людей выдающихся. Я счастлив, что могу выразить здесь признательность всем, кто мне покровительствовал. Благодаря поддержке этих властителей дум мои письма о России сделались известны всей Европе. По правде говоря, успеху книги немало способствовал гнев императора Николая и протесты русских, почитавших своим долгом вторить своему повелителю. «Эта книга — сущее бедствие», — сказал император Николай и, разорвав ее, швырнул себе под ноги. Все дело в том, что она полна лестных замечаний, которые делают еще более суровыми замечания осуждающие; благодаря им критика превращается из расчетливой

сатиры в признания, вырванные у автора против его воли, а они стоят куда дороже. Истина никогда не бывает так могущественна, как когда ее провозглашают, можно сказать, невзначай. Дабы все могли ее усвоить, говорящий не должен навлекать на себя ни малейшего подозрения в пристрастности, да и вообще в том, что им движут страсти. В наши дни все так хорошо знают цену духу партий, что доверия к нему никто не питает: даже если бы охваченным им людям случилось сказать нечто справедливое, им бы, пожалуй, все равно никто не поверил. Дух партий несовместен с истиной: он непременно преувеличивает ее и тем ослабляет.

Один из тех литераторов, чьи суждения имеют особенно большой вес, г-н Сен-Марк Жирарден, начал свою весьма благожелательную статью в «Журналь де Деба» со слов: «Эти путевые заметки больше, чем книга; это — событие».

Благодаря столь счастливому стечению обстоятельств книга расходилась гораздо лучше, чем можно было ожидать. Особы, утверждающие, что хорошо осведомлены о результатах работы комиссии, призванной определить величину убытков, которые причинили французским издателям брюссельские «пиратские» перепечатки, уверяли меня, что в Бельгии разошлось больше 160 тысяч экземпляров моего «Путешествия»; таким образом, получается, что, вкуче с переводами на английский, немецкий и шведский, за границей было продано около 200 тысяч экземпляров моей книги. Подобная конкуренция не могла не повредить печатанию книги в Париже, и тем не менее здешние издания следовали одно из другим с большой быстротой.

Казалось бы, теперь, когда книга эта уже произвела свое действие, она больше не должна никого интересовать, так что останется она в литературе или канет в Лету, зависит только от времени. Однако в течение десяти лет, прошедших со дня ее выхода в свет, мир не стоял на месте и развивался так быстро, что те наблюдения, которые в пору выхода книги вызывали споры, ныне признаны фактами неопровержимыми. Я, разумеется, ни в малейшей мере не притязую на звание пророка, но почитаю своим долгом сказать вслух и как можно громче: Россия в самом деле такова, какой увидел ее я и какой по самым разным причинам не желали ее видеть многие другие люди. Имей любознательные путешественники доступ в эту страну, сегодня всякий разглядел бы там то же, что и я.

Доблесть моя заключалась лишь в том, что в эпоху, когда принято было изображать вещи такими, какими они должны быть, я дерзнул показать их такими, каковы они в действительности. В ту пору Россия представляла перед Европой в ореоле лжи; лишь нынешней войне оказалось под силу разрушить эти чары: вот, на мой взгляд, вывод, который позволительно и полезно сделать. Не имея оснований пренебрегать собственными достоинствами, осмелюсь поставить себе в заслугу еще одно: мне удалось разглядеть истинное

лицо государя, который носит самую непроницаемую маску в мире, ибо правит народом, для которого лицемерие — вторая натура.

Император Николай прежде всего — уроженец своей страны, страна же эта не может вести честную политику, ибо судьба постоянно увлекает ее на путь завоеваний, свершаемых на благо деспотизма, подобных которому нет в мире, ибо он весьма искусно притворяется цивилизованным. Только люди бесконечно доверчивые или бесконечно недобросовестные могли искать в этой стране лекарство от опасностей, грозящих Европе.

Теперь, когда завеса частично сорвана, настала, я полагаю, пора сорвать ее целиком; теперь я обращаюсь уже не к людям, у которых много свободного времени, не к профессиональным читателям: я хочу быть услышанным всем миром, и потому решил выпустить дешевое издание моей книги, издание для народа. Нынче во Франции народ не просто читает, но и понимает прочитанное; он, пожалуй, скорее, чем многие литераторы, способен встать на точку зрения автора. Какие бы притязания ни питали индивиды, массы всегда будут сохранять известную простоту; именно от них ожидаю я нового суждения о своей книге; суждение это будет беспристрастным, ибо они меня не знают! Люди, которые нас знают, никогда не относятся к нам безразлично; между тем безразличные читатели едва ли не нужнее писателю, чем остроумные друзья; в конечном счете они-то и составляют его истинную публику, ту, с которой он мечтает говорить. Именно на них я и рассчитываю. Я не принадлежу к тем, кто думает или, по крайней мере, говорит, что успех ничего не доказывает. Когда его добиваешься, выясняется, что он доказывает очень многое, а предчувствие, что он обойдет тебя стороной, не вызывает ничего, кроме ужаса.

Мне, однако, придает силы религиозная мысль, пронизывающая мою книгу: когда в дело вмешивается вера, писательское самолюбие успокаивается довольно скоро. Смириться с поражением автору помогает сознание выполненного долга. Полтора десятка лет назад я предсказывал неминуемый поединок католической церкви с русской *православной* церковью; борьба — борьба вооруженная, борьба страшная — уже началась; чем-то она закончится? Господь вершит свой суд, не объявляя людям, для какой цели пускает он в ход их силы; он скрывает свою тайну от земли и держит зеркало истины повернутым к небу. Человек предполагает, а Бог располагает, гласит великая мудрость. Никогда еще не получали эти слова такого ослепительного подтверждения, как в нынешнюю эпоху. Творит ее историю Господь, напишет же тот, у кого достанет сил. Когда еще вмешательство Провидения в борьбу сил человеческих было столь явным? Доказать толпе сверхъестественную природу свершающихся ныне событий — вот миссия, которую должен стараться исполнить, по мере своих способностей, всякий добросовестный автор. Скромные повествования

путешественников суть материалы, на основании которых грядущие историки произнесут свой приговор. Дела человеческие — не что иное, как череда судебных процессов, на которых судьей всегда выступает потомство. Я же сочту, что трудился не напрасно, если смогу льстить себя надеждой, что на грядущем суде приготовленные мною документы помогут докладчику изложить существо сегодняшних прений. Возможно, намерение мое не свободно от честолюбия, но, не владей мною это чувство, мне не достало бы сил продолжать мой труд, каков бы он ни был.

КОММЕНТАРИИ

Письмо двадцать первое

С. 5. 2 августа 1839 года... — По старому стилю 21 июля.

С. 9. *Вы несомненно знаете балладу Кольриджа...* — «Сказание о Старом мореходе» (1798) Сэмюэла Тэйлора Кольриджа (1772 — 1834).

Фата Моргана — мираж, при котором на горизонте возникают изображения предметов, лежащих за горизонтом; назван по имени феи Морганы, персонажа средневековых эпических сказаний. Лесные петербургские туманы «среди белого дня», которые местные жители объясняли пожарами в окрестных лесах, упоминаются и русскими мемуаристами (см., напр.: Свербеев Д. Н. Записки. М., 1899. Т. 2. С. 364). Возможно, однако, что у комментируемого пассажира был, помимо жизненных впечатлений, и литературный источник — «Объяснения поэта», заключающие третью часть «Дзядов»; и у Мицкевича, и у Кюстина миражом именуется туманный петербургский пейзаж, у Мицкевича, впрочем, зимний, а не летний: «Дым в северных городах, во время мороза, поднимаясь к небу фантастическими узорами, создает зрелище, подобное явлению, именуемому *миражом*, которое обманывает плавающих на морях и путников в песках Аравии» (Мицкевич. Т. 3. С. 259; *Mickiewicz*. P. 499) *.

Жослен — герой одноименной поэмы (1836) Альфонса де Ламартина (1790—1869); Кюстин неточно цитирует первую главу (у Ламартина: «Казалось, душа этого прекрасного места сочувствует мне»).

...господин де Шатобриан был великий поэт и потому не стал описывать старость Рене. — См. примеч. к т. 1, с. 60.

С. 10. *Все конечное так быстротечно!* — Неточная цитата из надгробного слова Генриетте Английской (герцогине Орлеанской), которое в 1670 г. произнес Жак-Бенинь Боссюэ (см. примеч. к т. 1, с. 302).

* Список условных сокращений см. в конце наст. тома.

С. 13. Венеция — произведение чистого страха... — Когда в V веке север Италии стал подвергаться постоянным нашествиям варваров, его обитатели начали искать убежища на берегах Адриатики; датой основания Венеции считается 421 год, когда на островах среди лагун поселились первые жители.

В русских церквях никогда не услышишь проповеди. Евангелие открыло бы славянам свободу. — Возражение Греча: «Зачем он (Кюстин) рассказывает клеветнические вымыслы о греко-русской церкви? Зачем уверяет он, что в России нет религиозного воспитания, что в церквях не читают проповедей? Как осмеливается он утверждать, что русское духовенство повсеместно вызывает одно лишь презрение? Разве он видел прелатов нашей церкви? Слышал их речи? Проникся их духом, их принципами?» (*Gretch*. P. 64). Возражение Вяземского: «Мы могли бы ответить ему (Кюстину) цифрами и сообщить, во-первых, число экземпляров Евангелия, переведенного на современный русский язык, — не считая евангелий на языке церковнославянском, которые читают и неплохо понимают русские всех сословий; во-вторых, перечень проповедей уже опубликованных и публикующихся для употребления в сорока тысячах приходах империи, а затем, дабы покончить с этим вопросом, мы смиренно осведомились бы у ревностного католика, много ли читателей находит Евангелие в низших сословиях французского общества и не в странах ли наиболее католических, таких, как Италия и Испания, читать Библию народу запрещено?» (цит. по: *Cadot*. P. 272).

Иначе, чем критики Кюстина, оценивал статус православных священников Н. И. Тургенев, автор книги «Россия и русские», изданной в 1847 году, но писавшейся одновременно с кюстиновской: «Положение русского священника не позволяет ему приобрести ни малейшего влияния на нравственность прихожан, не говоря уже о том, чтобы действовать на их сознание. Дело не в том, что русские священники совершенно необразованны: в большинстве своем они более просвещены, чем остальной народ, и нередко образованны так же хорошо, как дворяне; нет, причина скорее в полной зависимости священника от прихожан, у которых получает он средства к существованию. (...) Другое обстоятельство (...) препятствует русскому духовенству оказывать необходимое влияние на паству: это отсутствие наречия, на котором священник мог бы читать проповеди приличествующим образом. Проповедь -- одно из лучших средств, с помощью которых духовенство может нравственно воздействовать на народ. Между тем в России язык и стиль проповедей до сих пор еще не созданы. Сельский священник, обращаясь к деревенским своим слушателям, должен, разумеется, говорить с ними на их языке (...) но сельские священники сочиняют проповеди крайне редко; они довольствуются чтением проповедей печатных — сочинений какого-либо епископа, знаменитого своим красноречием. Именно в проповедях, какие священники образованные, просвещенные обращают к пастве более или менее развитой умственно, проявляются наиболее явственно изъяны языка неразработанного и резко отличающегося от того, каким пользуются сословия цивилизованные» (Tourguenev N. La

Russie et les Russes. P., 1847. Т. 2. P. 35—37). Изъяны православного духовенства, которое не имеет образования, «не принадлежит к хорошему обществу» (письмо к Чаадаеву от 19 октября 1836 г. — Пушкин. Т. 10. С. 465, 689; подл. по-фр.) и не пользуется авторитетом и уважением среди паствы, обличались французскими авторами и до Кюстина: например, в письмах французского иезуита отца Розавена, которые вместе с письмами Жозефа де Местра переписывали для себя недавно обращенные в католичество русские дамы (см.: ЛН. Т. 29/30. С. 608—609), или в книге Ансело (см.: *Ancelet*. P. 184—185); о «рабской зависимости русского духовенства» и пороках в политике русского правительства по отношению к католикам писал незадолго до Кюстина д'Оррер в книге «Преследования и муки католической церкви в России» (см. примеч. к т. 1, с. 6, 282) и почти одновременно с ним К. Мармье, наблюдатель вообще весьма доброжелательный (см. в его «Письмах о России, Финляндии и Польше», печатавшихся с декабря 1842 по апрель 1843 г. в «*Revue des Deux Mondes*», главу «Троицкий монастырь»). Критически оценивал положение священников в России и Барант: «Невозможно не удивляться, видя, что у народа, набожного до суеверности, священники не имеют ни малейшего авторитета, не пользуются ни малейшим уважением, не привлекают, так сказать, ни малейшего внимания со стороны общества. Выходцы по большей части из низших сословий, необразованные, женатые и обреченные сражаться со всевозможными обыденными нуждами, священники отправляют религиозные церемонии, но не оказывают никакого влияния на народ. <...> В России нет ни проповедей, ни влияния посредством слова, ни тесного и неизбежного союза религии с красноречием, философией и изящными искусствами <...> В настоящее время русская религия есть религия деревенская, и ничего более. <...> Если русская женщина, будь она даже умна и образованна, проникнется религиозным рвением, это вовсе не будет означать, что она возьмет себе в наставники одного из тех людей, что составляют славу духовенства, что она увлечется тем или иным проповедником, тем или иным священником; она пригласит к себе домой духовника для исповеди или чтения молитв, затем даст ему пять рублей и отправит обедать в *буфетную*» (*Notes*. P. 66—67, 77, 68).

В начале XIX века в России было создано Библейское общество, боровшееся за перевод Библии на русский язык и его распространение, однако в 1824 г. покровительствовавший обществу обер-прокурор Синода и министр просвещения А. Н. Голицын был уволен, а два года спустя было закрыто Библейское общество и практически изъят из обращения изданный им Новый Завет на русском языке (см.: Флоровский Г. Пути русского богословия. Париж, 1988. С. 147—234). Весьма вероятно, что комментируемая филиппика Кюстина навеяна информацией о враждебном отношении православных иерархов к переводу Ветхого Завета на русский язык, осуществленному Г. П. Павским и литографированному его учениками в 1838—1841 гг. (см.: Рижский М. И. История переводов Библии в России. Новосибирск, 1978. С. 140—149).

Разбудите меня, когда речь пойдет о Боге... — Комментарий рецензента

журнала «Semeur» (20 сентября 1843 г.): «В этой истории не было бы ничего невероятного, если бы речь не шла о после: посол дождался бы конца литургии и заснул лишь после этого».

С. 14. ...у него два лика, как у Януса... — Д. Лиштенан отмечает почти дословное совпадение этой характеристики Николая I с той, какую дал ему анонимный автор статьи в «Revue de Paris» (1841, т. 25): «Да, это деспот; у императора Николая есть два совершенно разных лица, нисколько между собою не схожих; я видел оба и хочу их описать. Тот, кто видел императора лишь однажды, его не знает. Это двуликий Янус: с одной стороны — мрачная воинственность; с другой — кроткое миролюбие» (цит. по: *Liechtenhan*. P. 120).

...так называемого польского заговора... — Речь идет о тайном «Содружестве польского народа», ячейки которого были созданы Шимоном Конарским (1808—1839) на Украине, в Белоруссии и в Литве; в 1838 г. организация была раскрыта, и весной следующего года Конарского расстреляли (см. о нем: *РА*. 1870. Кн. 1. С. 241—263). Источником сведений Кюстина об этом тайном обществе, помимо французских газет, мог быть и князь Козловский, летом 1839 г. обсуждавший судьбу Конарского и страдания поляков с А. И. Тургеневым: «Конарский умер как герой, но погубил многих <...> они хотели типографиями приготовить умы к будущему возрождению <...> Нет семейства <в Польше>, которое не проливало бы слез, не оплакивало сына, либо обреченного на жизнь в изгнании, либо угнанного в солдаты <...> нищета повсюду крайняя <...> имения отбирают по первому подозрению» (РО ИРЛИ. Ф. 309. № 706. Л. 2 об., 6; подл. по-фр.; Тургенев пересказывает слова Козловского в своих письмах к брату от 4 и 10 июня 1839 г.).

...о «подстрекательстве к бунту». — Примечание Кюстина к третьему изданию 1846 г.: «Разве в одном из опровержений на мою книгу меня не называют якобинцем?»; имеется в виду Греч, утверждавший, что кюстиновские насмешки над единением императора и народа были бы уместны в устах бешеного якобинца, соратника Робеспьера, но звучат крайне странно в устах маркиза (*Gretch*. P. 38—39).

...сделают вид, словно для них и у них она и не существовала... — Примечание Кюстина к третьему изданию 1846 г.: «Император уберет меня от этой беды».

...тем, кто эти приказания исполняет, — терпение. — Примечание Кюстина к третьему изданию 1846 г.: «В опровержение этого пассажа были написаны книги и произнесено немало речей, но истина рано или поздно всегда торжествует».

С. 15. ...*Лафонтенова волка*. — Реминисценция из басни «Волк и ягненок» (I, 10), где волчье правосудие исчерпывается формулой: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать» (пер. И. А. Крылова).

Какое письмо... Оно написано княгиней Трубецкой... — Из всего рассказанного Кюстином история княгини Екатерины Ивановны Трубецкой (урожд. Лаваль; 1800—1854) произвела на европейскую публику, пожалуй, самое сильное впечатление. 28 мая 1843 г. герцогиня де Дино записала в дневник:

«В третьем томе <Кюстина> есть письмо княгини Трубецкой, последовавшей за мужем в рудники; оно прекрасно. Факты сами по себе настолько поразительны, что автору нет нужды сопровождать их эффектными фразами; он почувствовал это и, сделав свой стиль проще, лишь сильнее оттенил чудовищность финала этой драмы. Заключительная сцена, довершающая беспримерные злоключения героини, взволновала меня до глубины души» (*Dino*. P. 276—277). Эпизод с Трубецкой получил дополнительную известность благодаря статье Жюля Жанена (*Journal des Débats*, 26 июня 1843 г.), который саркастически сравнил триумфальную поездку в Россию итальянского тенора Дж. Рубини с поездкой княгини Трубецкой в Сибирь за осужденным мужем-декабристом (поездкой, о которой Жанен впервые узнал из книги Кюстина). История Трубецкой звучала так страшно, что представлялась некоторым европейским читателям невероятной; ср. запись в дневнике Варнгагена от 12 августа 1844 г.: «Рассуждал с ландграфом Гомбургским о Кюстине. Ландграф много ездил по России и во многом согласен с Кюстином, но историю с Трубецким он находит преувеличенную и говорит, что все это представлено в слишком ярких чертах» (*РА*. 1875. Т. 2. С. 352). Между тем Кюстин ничего не преувеличил, но, по-видимому, просто контаминировал два различных эпизода, один из которых произошел незадолго до его приезда в Россию, а другой — в то время, когда он работал над своей книгой: в начале 1839 г. Е. И. Трубецкая через родственников передала императору прошение о том, чтобы мужу ее по окончании срока каторжных работ было позволено поселиться в одном из городов Западной Сибири (ни подлинник этого прошения, ни его копии не выявлены), а весной 1842 г. декабристам было позволено поместить детей, рожденных в Сибири, в военно-учебные заведения или девичьи институты, но при условии, что дети утратят отцовские фамилии и получают новые, образованные от их отчеств; Трубецкой, Волконский и Н. Муравьев от этой «милости» отказались (см.: *Павлова*. С. 21, 25—26). Просьба княгини 1839 г. удовлетворена не была, и 24 июля этого года Трубецкой был отправлен на поселение в село Оёк, в 30 верстах от Иркутска. Сведения Кюстина восходят несомненно к устному источнику, скорее всего, к рассказам А. И. Тургенева, который пристально следил за судьбою «сибирских труженников»: «Бедный Ник<ита> Муравьев переселен к Иркутску. <...> Дочь его не может выносить климата и больна. То же и с кн<ягиней> Трубецкой, которая просила за четырех дочерей» (письмо Н. И. Тургеневу от 16/24 августа 1839 г. — *НЛО*. С. 133); «Слышу, что сибирским труженникам хуже на поселении, чем прежде было на каторге, особливо к<нязю> Трубецкому. Жене отказано в Тобольске и поселены — за Иркутском, в деревушке, с бедными детьми и в отдалении от всех» (письмо Н. И. Тургеневу от 6/18 сентября 1839 г. — *НЛО*. С. 133). Все авторы антикюстиновских сочинений, сделав соответствующие оговорки («Я ни в малейшей мере не желаю преуменьшать несчастий княгини, которые, даже сведенные до истинных своих размеров, остаются весьма тяжкими» — *Labinski*. P. 94), опровергали рассказ Кюстина. Греч утверждал, что княгиня Трубецкая никогда не просила дозволения воспитывать детей вне Сибири и, напротив, не желая

расставаться с детьми, отказалась от этой милости (умалчивая о причине отказа — нежелании лишать детей фамилии родителей); Греч и Лабенский упрекали Кюстина в незнании того факта, что княгиня Трубецкая — урожденная Лаваль и связана родственными узами с семейством, о котором Кюстин повествует в другом месте книги (см. наст. том, с. 310—311); Шод-Эг полагал, что маркиз выражает сочувствие княгине высокопарно и неискренне и куда более натурально жалеет о заблудившемся жеребенке (см.: *Gretch*. P. 80—81; *Chaudes-Aigues*. P. 346).

С. 16. ...отправлен в уральские рудники на четырнадцать или пятнадцать лет... — Сергей Петрович Трубецкой (1790—1860) был 10 июля 1826 г. приговорен в каторжную работу навечно; в 1832 г. срок был сокращен до 15 лет, в 1835 — до 13 (см.: Декабристы. Биографический справочник. М., 1988. С. 178—179). Е. И. Трубецкая прибыла в Благодатский рудник, куда был первоначально отправлен ее муж, в ноябре 1826 г. Ф. Лакруа, автор книги «Российские тайны» (1845), полемизируя с оценкой Кюстином фигуры Трубецкого, писал: «Г-н де Кюстин в своем сочинении, впрочем столь замечательном, счел уместным сделать из Трубецкого героя, достойного сочувствия всех честных людей. Будь он осведомлен немного лучше, он не поспешил бы исторгать у читателей слезы по поводу участи человека, вызывающего лишь глубокое отвращение» (*Lacroix F. Les mystères de Paris*. P., 1845. P. 98; имеется в виду непоявление Трубецкого на площади в день восстания — момент его биографии, которого Кюстин не касается).

С. 17. ...в Сибири их родилось пятеро! — До 1839 г. у Трубецких родились дети: Александра (1830—1860), Елизавета (1834—1923 или 1918), Никита (1835—1840), Зинаида (1837—1924), Владимир (1838—1839); после 1839 г. у них родились еще две дочери и сын.

Николай I смеет лишь карать. — Кюстин страстно желал, чтобы император повел себя иначе. 29 июня 1843 г. он писал Жюлю Жанену в ответ на его статью (см. примеч. к наст. тому, с. 15): «Знаете ли вы, что, согласись император исполнить вашу просьбу (касательно княгини Трубецкой), он опроверг бы меня самым убедительным и действенным образом? Я сказал, что он — великий государь, но что великим человеком без милосердия быть невозможно; доказав, что он умеет быть милосердным, он заткнул бы мне рот куда лучше, чем все русские, которые подняли крик, не зная, что придумать, чтобы смягчить истины, которые я им высказал и которые, однако же, останутся истинами» (*Très importants livres et manuscrits autographes. Catalogue de vente*. P., 1995. № 294). «Сердце у меня колотится от радости, — писал он Софи Гэ из Рима 4 ноября 1844 г., услышав слух (оказавшийся ложным) о перемене к лучшему в участи Трубецких, — при мысли о тех известиях, какие вы слышали о Трубецкой; но это слишком прекрасно, я не смею поверить в такой успех. Поверь я в него, я, презрев опасности, отправился бы в Петербург, бросился к ногам великого человека, который в этом случае показался бы мне кем-то высшим, нежели просто великий государь, и написал бы книгу «Маркиз де Кюстин, опровергнутый им самим»... Но повторяю еще раз, все это мечты, которым не суждено сбыться. Тем не менее надежда не покидала меня, когда я писал и отдавал

в печать слова: «без милосердия можно быть великим государем, но нельзя быть великим человеком». Нужно быть человеком «высшим», чтобы уступить подобным просьбам и преодолеть мелкое тщеславие нестигаемого государя, пусть даже повинувшись расчету: такой расчет будет столь правилен, что покажется естественным».

С. 18. ...*княжеские руки плохо приспособлены для работы заступом...* --- Тем не менее в Нерчинском руднике от декабристов требовали выработки трех пудов в день с каждого (см.: Павлова. С. 8-9).

В Петербурге нет недостатка в благонамеренных людях... они считают, что жизнь в рудниках вполне сносная... --- Примечание Кюстина к третьему изданию 1846 г.: «Один из таких доброхотов печатно оповестил на трех языках, что заключенные живут в Сибири припеваючи, посыпая дорожки песком и поливая цветы. (Опровержение «России в 1839 году», сочинение г-на Греча)». См.: *Gretch*. P. 78.

...запрещено посылать осужденным деньги. --- Это запрещение, равно как и запрет на переписку жен декабристов с родными, оставались в силе до конца 1820-х гг., когда родственники наконец выхлопотали себе право посылать в Сибирь женам ссыльных вещи, книги и деньги.

Съестные припасы!... --- Комментарий Греча: «Г-н де Кюстин утверждает, что ссыльным и их семьям нельзя посылать деньги, а можно --- съестные припасы, --- съестные припасы за шесть тысяч верст (полторы тысячи лье)!» (*Gretch*. P. 78).

Бартелеми Франсуа, маркиз де (1747-1830) --- министр иностранных дел при Людовике XV, посол Французской республики в Швейцарии до 1797 г., а затем --- член Директории. В результате государственного переворота 18 фрюктидора (4 сентября 1797 г.), в ходе которого члены Директории, придерживавшиеся республиканских взглядов, выступили против роялистов и умеренных, Бартелеми был выслан в Кайенну, столицу французской Гвианы, бежал оттуда, вернулся во Францию после наполеоновского переворота 18 брюмера (9 ноября 1799 г.), при Империи был сенатором и графом, а при Реставрации принял сторону Людовика XVIII и получил звание пэра.

С. 22. *В 1836 году какой-то молодой человек соблазнил сестру некоего господина Павлова...* --- Николай Матвеевич Павлов, титулярный советник, помощник бухгалтера Артиллерийского департамента Военного министерства, 28 апреля 1836 г. смертельно ранил соблазнившего его сестру А. Ф. Апрелева. По приговору военного суда Павлов был лишен прав состояния и отправлен на Кавказ солдатом с правом выслуги, но вскоре умер от случайной раны, которую получил, когда его лишали дворянства, при ритуальном переломе шпаги над головой. По свидетельству Никитенко, «публика страшно возстала против Павлова как «гносного убийцы», а министр народного просвещения (С. С. Уваров) наложил эмбарго на все французские романы и повести, особенно Дюма, считая их виновными в убийстве Апрелева» (*Никитенко*. Т. 1. С. 183).

Луи Алибо (1810-1836) совершил нечаянное покушение на короля Луи-Филиппа 25 июня 1836 года.

...брошюра Якова Толстого — не что иное, как гимн в прозе деспотизму... — В начале брошюры «Взгляд на российское законодательство», вышедшей в начале 1840 г., Толстой противопоставляет новое российское законодательство «софистике нынешних утопистов» (то есть республиканцев или сторонников конституционной монархии). Под пером Толстого российская действительность («плод воли одного человека, не стесненного в осуществлении своей власти») предстает идеалом порядка и спокойствия; жизнь в России, пишет Толстой, «не смущаема политическими разладами и страстными выкриками буйной толпы». Автор брошюры настаивает на том, что «власть одного» гораздо полезнее и лучше, чем власть парламентов — власть большинства, она же «коллективная тирания». Рецензии, которыми отозвались на брошюру парижские газеты (по преимуществу те самые, кого из российского государственного бюджета «подкармливал» сам Толстой), были выдержаны в самом хвалебном духе и подчеркивали, вслед за Толстым, преимущества монархической формы правления, основанной на принципах «вечных и повсеместных», перед «шаткими западными конституциями», преимущества русской цивилизации перед «искусственными цивилизациями Запада» (*Quotidienne*, 6 февраля 1840 г.), так что в результате Россия предстала как идеал, до которого очень далеко западным странам с их крикливыми парламентами. Рецензент газеты «*La France*» (22—23 января 1840 г.) даже предлагал переделать известную строку Вольтера: «Сегодня с Севера к нам солнце воссияло» — на новый лад: «Сегодня с Севера к нам разом воссиял» (напротив, парижский орган польской эмиграции «*Le Polonais*» еще в феврале 1834 г. предлагал читать эту строку как: «Сегодня с Севера является к нам ужас»). Кюстин, возможно, полемизирует в книге не только с самой брошюрой Толстого, но и с тем ее толкованием, какое предлагали легитимистские газеты (см. продолжение его спора с Толстым в наст. томе на с. 81).

С. 23. *Родные сосланных, семья Трубецких... живут в Петербурге...* — В Петербурге жил князь Никита Петрович Трубецкой (1804—1855), брат С. П. Трубецкого, в пору пребывания Кюстина в России чиновник Почтового ведомства и церемониймейстер.

...и бывают при дворе!!! — Ср. сходное недоумение Ансело, который, рассказав о казни пяти декабристов и суровом приговоре, вынесенном остальным, восклицает: «Мы полагали, что эта кровавая развязка, наступившая перед самой коронацией, омрачит празднества, ибо в России нет семьи, которая не оплакивала бы хоть одну жертву: каково же было мое изумление, когда я увидел, что родные осужденных, их братья, сестры, матери с охотой участвуют в этих блестящих балах, в этих роскошных пиршествах, в этих пышных собраниях! У иных из вельмож тщеславное себялюбие и привычка к раболепству заглушили прекраснейшие движения души; другие, постоянно согбенные перед властью имущими, без сомнения, боялись, как бы изъявления горя не навлекли на них подозрения в соучастии, и рабский их страх становился клеветой на императора» (*Ancelot*. P. 411—412). Контраст между образом жизни декабристов и их петербургских родственников задним числом отмечали не только люди, сочувственно

относившиеся к заговорщикам («В это время веселых праздников такое равнодушие, такое быстрое забвение о судьбе несчастных, следовавших в оковах в ссылку, на вечное изгнание, меня возмущало и тем более, что между веселившимися были им близкие знакомые и даже родные» — Свербеев Д. Н. Записки. М., 1899. Т. 2. С. 367), но и такие благонамеренные свидетели, как Греч: «...графиня Лаваль, теща кн. Трубецкого, давала пиры и балы, между тем как дочь ее изнывала с благородным самоотвержением в Сибири...» (Греч Н. И. Записки о моей жизни. М., 1990. С. 294). Ср. также у Мицкевича в «Объяснениях поэта»: «Правительственное приглашение на бал является в России приказом, особенно если бал дается по случаю дня рождения, именин, бракосочетания и т. д. царя или особ царской фамилии, или же какого-нибудь высшего начальствующего лица. В таких случаях человек, в чем-либо подозреваемый или находящийся на плохом счету, не явившись на бал, подвергает себя серьезной опасности» (*Мицкевич*. Т. 3. С. 289; *Mickiewicz*. P. 491).

Сомнений больше нет... суждение о Николае I... — М. А. Корф в своем дневнике обращает внимание на это место как на поворотный момент в отношении Кюстина к императору: «Общий характер этого сочинения — ругательства против русского правительства, русского народа, русской природы и климата, всех наших установлений, даже всех наших исторических имен, в том числе Петра Великого. Ничто не имело счастья понравиться у нас г-ну маркизу. На счет государя слиты у него похвалы с такими же ругательствами, но наконец, по случаю какого-то небывалого письма княгини Трубецкой (жены мятежника), последние одерживают решительно верх и Кюстин впадает в поэтический восторг ненависти» (запись от 28 июля 1843 г. — ГАРФ. Ф. 728. Оп. 1. № 1817. Ч. 6. Л. 198).

С. 25. ...*особа, служившая во французском посольстве...* — Описание казни декабристов, которое М. Кадо назвал наиболее полным для своего времени повествованием на эту тему во французской печати (*Cadot*. P. 225), отсутствовало в первом издании. Личность информатора принято отождествлять с графом Огюстом де Ла Ферронне (см. примеч. к т. 1, с. 349), французским послом в России, находившимся в Петербурге во время восстания и казни, другом Шатобриана и, следовательно, человеком, с которым Кюстин вполне мог беседовать о России. Этому выводу противоречит, однако, то обстоятельство, что Ла Ферронне умер 17 января 1842 г., так что всеми полученными от него сведениями Кюстин располагал до выхода первого издания «России в 1839 году» и ничто не мешало ему опубликовать их уже в мае 1843 г. Ж.-Ф. Тарн относит этот случай к нередким у Кюстина (и далеко не всегда объясняющимся соображениями конспирации) ложным отсылкам (см.: *Tarn*. P. 513). По случаю коронации Николая I, последовавшей немедленно за казнью пяти декабристов, в Россию прибыла французская делегация (список ее членов см. в кн.: *Ancelot*. P. 387), каждый из членов которой в принципе мог оказаться информатором Кюстина. Информация о казни имела и в парижской прессе 1826 г.; так, о трех веревках, оборвавшихся после сигнала к казни, в сходных с кюстиновскими выражениях говорится в газете «*Journal de Paris*» за 11 августа 1826 г. (см.:

Невелев Г. А. Истина сильнее царя... А. С. Пушкин в работе над историей декабристов. М., 1985. С. 91). Д. Лиштенан (*Liechtenhan*. P. 129) полагает, что информатором Кюстина мог быть Ансело, чье печатное описание казни, впрочем, далеко от кюстиновского: Ансело сообщает о «двойном» повешении, но пишет, что с виселицы сорвались двое, а не трое, и вместо фразы о «несчастной стране» (см. следующее примечание) вкладывает в уста одного из декабристов гораздо более нейтральное восклицание: «Я не ожидал, что меня будут вешать дважды!» (*Ancelet*. P. 412; см. перевод этой главы из книги Ансело в кн.: Волович Н. М. Пушкин и Москва. М., 1994. Т. 2. С. 21—23).

«*Несчастливая страна, где и повесить-то не умеют!*» ...его звали Пестель. — Вопрос об именах тех троих декабристов, которые сорвались с виселицы, и о том, кому принадлежит комментируемая фраза, не имеет однозначного решения. Свидетельства очевидцев противоречивы; «две основные версии, обладающие наибольшей степенью достоверности: «Рылеев — С. Муравьев-Апостол — Каховский» и «Рылеев — С. Муравьев-Апостол — М. Бестужев-Рюмин»» (Невелев Г. А. Указ. соч. С. 100). Процитированную фразу приписывают либо Муравьеву-Апостолу, либо Рылееву. Имя Пестеля среди сорвавшихся называли некоторые декабристы (В. Ф. Раевский, Н. И. Лорер) и анонимный чиновник, «присутствовавший по службе при казни» (Невелев Г. А. Указ. соч. С. 93). Версия о том, что фраза о стране, где и повесить не умеют, была сказана Пестелем, имела хождение; еще в конце 1850-х гг. начальник кронверка Б. И. Беркопф в устном разговоре «уверял собеседника, что «выдумкой являются слова, приписываемые Пестелю, когда поврвались веревки с петлями: «Вот как плохо русское государство, что не умеет приготовить и порядочных веревок»» (Эйдельман Н. Я. Апостол Сергей. М., 1975. С. 378). Возможно, впрочем, что Кюстин назвал здесь именно Пестеля просто потому, что запомнил его имя по французским описаниям событий 14 декабря (по-видимому, вслед за Кюстином знаменитую фразу приписал Пестелю и энциклопедический словарь Ларусса, вышедший во второй половине XIX века). Военный министр Чернышев (см. примеч. к т. 1, с. 358) присутствовал при казни, но командовал ею не он, а петербургский генерал-губернатор П. В. Голенищев-Кутузов (1772—1843); он же подал команду вешать осужденных вторично. В третьем издании 1846 г. Кюстин добавил в самом конце комментируемого примечания еще одну фразу: «Для вящей полноты картины следует сказать, что вскоре Чернышев был сделан графом и военным министром».

Письмо двадцать второе

С. 26. 3 августа 1839 года. — По старому стилю 22 июля.

С. 28. ...либо закалиться, либо разбиться. — Шамфор. Характеры и анекдоты (изд. 1795), № 771.

С. 31. ...царство твое не от мира сего! — Иоанн, 18, 36.

С. 33. Я пишу вам из дома... разом почтовая станция и трактир... — «Помераньевская гостиница с незапамятных времен в величайшей исправности содержится Лизавестою Ивановною (так называют ее ямщики и кон-

дукторы, а мы прибавим: госпожою Гендрихсен), носит на себе вкус и отпечаток немецкой аккуратности. <...> Кухня — щеголяет поваренным искусством, комнаты и буфет опрятны, мебель проста, но покойна; полы и стены наблюдаются в достаточной чистоте. <...> С улицы гостиница здешняя осенена древесною зеленью и цветами и окружена решеткою; в палисадниках мостики, беседки, прудочки; дорожки усыпаны песком <...> все так мило, так искусно, на немецкий манер...» (*Путеводитель*. С. 545).

С. 35. ...*Волхова, этой реки, в которой нашли свою смерть*... — По-видимому, Кюстин имеет в виду потопление новгородцев в Волхове при покорении города Иваном Грозным в 1570 г., о котором Кюстин мог прочесть в «Истории» Карамзина (т. 9, гл. 3). Ср. наст. том, с. 86.

...*церкви Святой Софии*... — Софийский собор в Новгороде был построен в 1045—1050 гг. по образу константинопольского собора Святой Софии.

Мне много рассказывали о Валдайских горах, которые русские пышно именуют московской Швейцарией. — Возможно, реминисценция из книги Ансело, который также указывает, что Валдай называют русской Швейцарией и оценивают тамошний пейзаж как «прекрасный» (*Ancelet*. Р. 243).

Обувь их по большей части из тростника... — Кюстин описывает лапти, называя материал, из которого они сплетены, более привычным для европейского сознания тростником, хотя на самом деле лапти плелись из бересты или лыка (см.: *Кирсанова*. С. 153). Сходным образом упомянутое в этом же абзаце *павлинье перо* было, скорее всего, не павлиньим, а раскрашенным гусиным.

С. 36. ...*башню Кибелы*. — Греческую (фригийского происхождения) богиню земли Кибелу изображали в зубчатой короне, имеющей форму башни или даже нескольких башен — по числу городов, которые Кибела взяла под свое покровительство. О кокошниках см. примеч. к т. 1, с. 151.

...*на почтовых станциях, поставленных правительством*... — Московско-петербургское шоссе в первой половине века активно усовершенствовалось: «В 1810—30-х годах здесь были перестроены и построены заново 24 станции, а в 1835—37 годах к ним добавились 13 новых «подставных станций для почт и проезжающих на почтовых лошадях»» (Урусова Я. В. Сентиментальное путешествие из Петербурга в Москву // *Человек*. 1992. № 3. С. 141).

...*европейская кровать кончается на Одере*. — Отсутствие кроватей поража-ло едва ли не всех французов — современников Кюстина, побывавших в России. Ср. мнение Ансело: «На почтовых станциях нередко имеются недурные трактиры, но не надейтесь обрести там кровать. В каждой комнате стоит широкий кожаный диван, набитый конским волосом, и на этом ложе путешественник, к какому бы сословию он ни принадлежал, проводит ночь: русские, привыкнув спать на одном-единственном чрезвычайно жестком матрасе, не испытывают при сем никаких неудобств, что же до иностранцев, то, поначалу неприятно пораженные контрастом русских диванов с немецкими перинами, они довольно скоро свыкаются с этими *походными кроватями* и засыпают крепким сном» (*Ancelet*. Р. 244—245); свидетельство Баранта: «В русских домах, даже самых красивых и богатых,

кровать — большая редкость. Предмет этот не принадлежит к числу исконных принадлежностей славянского быта. В России люди спят, закутавшись в верхнее платье, на кожаных диванах» (*Notes*. P. 249—250), и утверждение д'Арленкура, что заговорить на русском постоялом дворе о *кроватьи* — значит прослыть оригиналом (*Arlincourt*. Т. 1. P. 303). Эта особенность русских постоялых дворов бросалась в глаза и русским, возвращающимся из-за границы; ср. впечатления Д. Н. Свербева в 1823 г.: «Я остановился в первой краковской гостинице, представлявшей уже всю неурядицу наших русских трактиров, неопрятность прислуги, отсутствие постели...» (Свербев Д. Н. Записки. М., 1899. Т. 2. С. 14).

Зимогорье (у Кюстина — Зимагой), по словам Шницлера, могло считаться предместьем Валдая и насчитывало в начале 1830-х гг. две тысячи жителей (*Schnitzler*. P. 176).

С. 37. *...романтический монастырь...* — Иверский монастырь, основанный в 1654 г. патриархом Никоном и названный по иконе Иверской Божьей матери, привезенной с горы Афон.

Торжок... куринные котлеты. — Имеются в виду пожарские котлеты, названные по имени Дарьи Евдокимовны Пожарской (1799—1854), дочери содержателя трактира в Торжке Евдокима Дмитриевича Пожарского. Существовали более патриотические версии происхождения пожарских котлет: «Видевши однажды, как повар императора Александра готовил обед, она <дочь Пожарского> выучилась поваренному искусству в несколько часов и потчует приезжающих вкусным обедом» (*Путеводитель*. С. 135).

...в Милане... вице-король... — Имеется в виду правитель Ломбардо-Венецианского королевства, которое в 1815—1859 гг. принадлежало Австрии.

С. 38. *Между Петербургом и Новгородом я заметил еще одну дорогу, параллельную главной...* — «Параллельно шоссе и лесу, справа, тянется по болотистому месту особо намощенная фашиною и половинчатыми бревнами дорога для пригона рогатого скота от Москвы до Санкт-Петербурга» (*Путеводитель*. С. 545).

«Франция — это я» — афоризм, приписываемый Людовику XIV.

С. 39. *«Вы что же думаете... ради себя одного?»* — Почти дословная цитата из «Истории России и Петра Великого» Сегюра (кн. 11, гл. 3; *Ségur*. P. 462), который, по-видимому, опирался на анекдот 20 книги Штелина (см. примеч. к т. 1, с. 346) — «Петр Великий заводит увеселительные места не для себя только, но и для народа».

Письмо двадцать третье

С. 40. *О'Доннелл* Элиза — приемная дочь Софи Гэ (дочь ее второго мужа и, следовательно, единокровная сестра Дельфины де Жирарден); ее смерть (в августе 1841 г.) произвела на Кюстина гнетущее впечатление; 31 августа 1841 г. он писал Ж. Жанену: «Я много работал <...> но утрата г-жи О'Доннелл остановила меня <...> Я все время возвращаюсь мыслью к г-же

О'Доннелл <...> Для Дельфины потеря огромна: эта сестра обладала таким вкусом и тактом, что одна могла заменить десяток друзей» (цит. по: *Tarn*. P. 491).

6 августа 1839 года. — По старому стилю 25 июля.

С. 41. ...будет упомянуто только это имя. — В отличие от «России в 1839 году», в книге Кюстина «Испания при Фердинанде VII» (1838), также состоящей из глав-писем, каждое письмо имело своего адресата; графине О'Доннел там посвящено письмо 43-е.

...у меня захватывает дух от быстрой езды... — Ср. впечатления Баранта: «Передвижение на почтовых в России — роскошь; лошадей здесь не берегут, кучера не заботятся ни об упряжи, ни об экипаже; нетерпеливые, спешащие путешественники постоянно осыпают кучеров угрозами, а иной раз и бьют, поэтому те гонят так быстро, как ни в одной другой стране — но лишь если везут привилегированного путешественника, имющего предписание от императора...» (*Notes*. P. 244—245).

...как сказал бы Монтень... — Опыты. II, 10 («О книгах»).

С. 43. ...кажется, будто ты перечитываешь Пиндара... — Имеются в виду оды древнегреческого поэта Пиндара (518—438 до н. э.), прославляющие победителей в скачке или колесничном беге.

С. 45. ...потребовалось бы соединить талант Ораса Верне и Монтескье. — Философ Монтескье (см. примеч. к т. 1, с. 73) упомянут здесь как символ философского и историософского осмысления реальности, а художник Орас Верне (см. примеч. к т. 1, с. 325) — как символ живописного ее постижения.

С. 46. ...нашей моды времен Директории... — После революции в моду вошли платья типа туники, разрезанные по бокам и перехваченные под грудью, которым Кюстин уподобляет русский сарафан. Их носили модницы-аристократки, именовавшиеся *les merveilleuses* («дивные») и блиставшие на так называемых «балах жертв», которые происходили в *Ганноверском павильоне* — ротонде, построенной в 1760 г. на Итальянском бульваре в Париже для маршала Ришелье и национализированной во время Революции (разрушена в 1930 г.).

Художник Жан Луи Давид (1748—1825) по заказу революционного Конвента нарисовал проекты типовых костюмов для граждан Французской республики, основываясь на костюмах античности.

...ловщество в женском туалете... — Употребляя европейские понятия (воротничок, пелерина), Кюстин очень точно описывает традиционную русскую короткую женскую одежду — душгрею (пользуемся случаем выразить благодарность за это, а равно и за все другие указания, связанные с историей костюма, Р. М. Кирсановой).

С. 48. *Хусепе де Рибера* (1591—1652) — испанский художник.

С. 49. ...ловкость присуща русским во всем, в том числе и в воровстве... — Ср. в «Секретных записках о России» Массона: «После пьянства самый явный и самый распространенный порок русских — это воровство. Не думаю, что найдется на земле еще один народ, до такой степени склонный присваивать чужое добро: от первого министра до главнокомандующего армией, от лакея до солдата, все воруют, грабят и жульничают. В других странах вор

презираем даже самыми низкими сословиями, в России же самое большее, чего он может опасаться, — это что его заставят вернуть украденную вещь назад; ведь на палочные удары он внимания не обращает, а если вы поймаете его с поличным, он воскликнет, ухмыляясь: «Виноват, сударь, виноват!» и, возвратив награбленное, будет совершенно уверен, что расплатился с вами сполна. Этот постыдный порок, распространенный во всех сословиях, почти никем не осуждается» (*Voyage en Russie*. P. 1189—1190).

С. 51. *Салоны госпожи такой-то!* — Применение слова «салон» во множественном числе в разговоре о женщине из высшего общества кажется Кюстину вульгарным неологизмом.

...политических амазонок, чье оружие — тонкий мужской ум и коварные женские речи... — Одной из таких «амазонок» была княгиня Дарья Христофоровна Ливен (1785—1857), жена русского посланника в Лондоне в 1812—1834 гг. Х. А. Ливена (1777—1838), ставшая во второй половине 1830-х гг. возлюбленной и советницей Ф. Гизо, в эту пору экс-министра и влиятельного депутата; парижский салон княгини Ливен был «местом сбора всех действующих честолюбцев» (письмо Моле Баранту от 20 августа 1837 г. — *Souvenirs*. Т. 6. P. 47), а беседы на политические темы — любимым занятием княгини («Политика, — признавалась она, — мне нужнее, чем солнце» — цит. по кн.: Martin-Eugier A. *La vie élégante, ou la formation du Tout-Paris*. P., 1990. P. 204). Во французской прессе середины 1830-х годов обсуждалось предположение о том, что русское правительство потому позволило княгине обосноваться в Париже, что она тайно собирает для него сведения и что в ее парижской гостиной, как в любом петербургском салоне, всякий вечер можно застать по меньшей мере двух шпионов (*Siècle*, 1 декабря 1837).

С. 54. *О Левеке и его «Истории»* см. примеч. к т. 1, с. 368.

...присяге... духовной коллегии. — Стилистический диссонанс между французским переводом Левека и русским оригиналом так велик, что мы сочли невозможным вставить в русский перевод книги Кюстина подлинные слова из присяги, сочиненной по указанию Петра Феофаном Прокоповичем; в оригинале соответствующие места звучат следующим образом: «Клянусь паки всемогущим Богом, что хочу и должен моему природному и истинному царю, государю, всепресветлейшему и державнейшему Петру Первому, царю и всероссийскому самодержцу <...> верным, добрым и послушным рабом и подданным быть. <...> Исповедую же с клятвою крайнего судию духовной сей коллегии быти самого всероссийского монарха, государя нашего всемилостивейшего» (см.: Верховский П. В. Учреждение духовной коллегии и духовный регламент. Ростов-на-Дону, 1916. Т. 2. С. 9—11; текст присяги был впервые напечатан в первом издании Духовного регламента 16 сентября 1721 г.).

Письмо двадцать четвертое

С. 61. 7 августа 1839 года. — По старому стилю 26 июля.

С. 62. ...город, чья архитектура не имеет ни имени, ни подобия. — Судя по

письмам Кюстина, главы о Москве дались ему особенно трудно; 26 декабря 1841 г. он признавался Софи Гэ: «Описание этого азиатского города для меня все равно что салто для канатного плясуна; вот уже три года как я не нахожу в себе решимости приняться за него; три тома уже написаны, а сей подвиг с каждым днем страшит меня все сильнее...» (*Tarn*. P. 491).

Это патриарх в окружении священников... — Символическая трактовка Кюстина не имеет аналогов в православной традиции и, возможно, является плодом проекции на русские реалии иерархического устройства христианской церкви до раскола: папа римский и четыре патриарха (константинопольский, александрийский, антиохийский, иерусалимский).

С. 63. *Вевер* — см. примеч. к т. 1, с. 351.

Кокс Уильям (1747—1826) — английский историк и путешественник, автор трехтомного «Путешествия в Польшу, Россию, Швецию и Данию» (1787—1790; т. 1—5).

Лаво (правильно: Лекуэнт де Лаво) — автор двухтомного «Описания Москвы» (*Description de Moscou*), вторым изданием которого, вышедшим в Москве в 1836 г., Кюстин пользовался в работе над своей книгой.

Петровский замок — путевой царский дворец в готическом стиле, построенный в 1776—1796 гг. на месте небольшого поселения Петровское архитектором М. Ф. Казаковым для Екатерины II, которая впервые остановилась там в 1787 г.; в 1812 г., когда в Москве вспыхнул пожар, в Петровское перебрался из Кремля Наполеон. В 1837 г. в Петровском парке, окружающем дворец, был открыт «Воксал» — «громадное, прелестное здание, <которое> почти каждое воскресенье и праздник с весны до осени принимает членов и посетителей, ищущих удовольствия: маскарады, танцы, музыка, хоры лучших пессельников, цыган и тирольцев, фейерверки, иллюминации, разные игры, качели, горы, карусели, — даже журналы, газеты, книги и фортепианы — есть чем заняться, освежить ум и удовлетворить вкусу» (*Путеводитель*. С. 6).

С. 64. *...ввезжая в Москву, путник уже не верит тому, что он видел издали... сгрузную, неуклюжую копию Европы... две точки неизменно приковывают все взоры: это храм Василия Блаженного... и Кремль...* — Ср. впечатления Баранта: «Москва оказалась не такой, какой я ее себе представлял: в ней нет ничего готического, восточного и даже греческого; как и вся Россия, это город, не знавший средневековья. К XV веку здесь начали строить дворцы и церкви, в которых смешались подражания всем возможным стилям. <...> Тем не менее зрелище Кремля потрясло меня; это одно из самых сильных моих впечатлений такого рода. Кремль — это Москва; все остальное ново, как Петербург, и исполнено примерно в том же вкусе» (письмо графу д'Удето от 15 августа 1836 г. — *Souvenirs*. Т. 5. P. 455). Сам Кюстин неоднократно заявлял о сильнейшем впечатлении, произведенном на него Кремлем; по возвращении из России, 19 октября 1839 г., он писал Виктору Гюго: «Сносить тяготы этого путешествия стоило ради трех вещей: это Нева в Санкт-Петербурге светлыми летними ночами, московский Кремль и российский император, иначе говоря, Россия живописная, историческая и политическая» (цит. по: *Liechtenhan*. P. 135; ср. наст. том, с. 334).

С. 66. ...*Смоленск... узнали, что этот город... взят...* — Смоленск был взят 6/18 августа 1812 г.

С. 66—67. ...*военный министр... желая спасти от врага все самое ценное... Москва... Ее надо оставить...* — Кюстин контаминирует разные эпизоды войны и разных действующих лиц. Военным министром и главнокомандующим всеми российскими армиями до 8/20 августа 1812 г. был М. Б. Барклай де Толли (1761—1818), который в самом деле был создателем плана оборонительной войны, подразумевающей отступление русской армии в глубь страны и оставление неприятелю «мест опустошенных, без хлеба, скота и средств» (см.: Тартаковский А. Г. Неразгаданный Барклай // Звезда. 1993. № 8. С. 144—145), однако более вероятно, что Кюстин имеет в виду М. И. Голенищева-Кутузова, который после сдачи Смоленска был назначен главнокомандующим вместо Барклая и с именем которого традиционно связывается идея заманивания французов в глубь русской территории и сдачи Москвы ради спасения страны. Что же касается эпизода с вывозом драгоценностей, то и он имеет реальные соответствия, однако инициатива исходила от самого императора, который в день своего отъезда из армии (6/18 июля 1812 г.), за месяц до взятия Смоленска, приказал не военному министру, а председателю Государственного совета Н. И. Салтыкову «вывозить из Петербурга: Совет. — Сенат. — Синод. — Департаменты министерские. — Банки. — Монетный двор... — Арсенал», «лучшие картины Эрмитажа», обе статуи Петра I, «богатства Александровской лавры», даже домик Петра велел «разобрать» и «увезти» (Троицкий Н. А. 1812. Великий год России. М., 1988. С. 95). Приказы эти отдавались в тот момент, когда было еще не ясно, что Наполеон будет наступать не на Петербург, а на Москву.

С. 67. ...*завоевателей ждет судьба Карла XII.* — Говорящий имеет в виду, что вторжение в Россию и продвижение в глубь русской территории так же не принесет успеха Наполеону, как не принесло оно успеха шведскому королю Карлу XII (1682—1718), чье нашествие окончилось поражением в Полтавской битве (1709).

Сарай — Сарай-Бату (Старый Сарай) и Сарай-Берке (Новый Сарай) — названия двух столиц Золотой Орды.

Карамзин говорит... — Карамзин. Т. 6. Гл. 7. Баер Готлиб Зигфрид (1694—1738) — немецкий ориенталист, филолог и историк, с 1725 г. живший и работавший в Петербурге; Карамзин ссылается на его сочинение «De origine et priscis sedibus Scytharum».

С. 69. ...*говорят, здесь хорошая шелковая фабрика!*.. — Шницлер, подробно описывая Москву как наиболее развитый промышленный центр России, указывает, что в 1827 г. здесь действовало 196 шелковых фабрик (*Schnitzler*. P. 39—40).

С. 70. ...*люди, которые кажутся более бойкими, более открытыми и веселыми... вения свободы, неведомые всей остальной империи...* — Ср. впечатления Баранта: «Меньше правильности и прямых линий (чем в Петербурге). Населения в Москве меньше, но на вид она кажется населенной куда более густо. Москва живет самой собой и не выглядит придатком к царской

резиденции. Не имеет она ныне и того военного облика, какой отличает другую столицу. Пожалуй, в атмосфере этого города уже есть или скоро появится нечто буржуазное, муниципальное, промышленное» (письмо графу д'Удето, 15 августа 1836 г. — *Souvenirs*. Т. 5. Р. 455–456); четыремья днями раньше впечатления французского посла пересказывал в письме к императрице Николай I: «Барант, рассматривающий все очень подробно и внимательно, более всего поражается патриархальности, печать которой лежит на Москве. Он отмечает прежде всего непринужденность, полную свободу каждого из жителей, малочисленность войск, удивительную в столь огромном городе» (*Schiemann*. S. 475). Сходные ощущения испытал в сентябре 1839 г. и полковник Гагерн: «В Москве вообще видишь русский народ не смешанным с иностранцами, и так как здесь не все зависят от двора и правительства, то заметно и более независимости. Говорят, однако, что Москва падает и население ее уменьшается; на нее смотрят как на средоточие недовольных. Петербург же походит на дом, где кушаешь паштеты, но не найдешь хлеба» (*РС*. 1891. № 1. С. 14).

...на пустынную площадь... — По-видимому, Воскресенская площадь (после 1917 г. площадь Революции), где был устроен главный вход Кремлевского сада (см. следующее примечание).

С. 71. ...вокруг стен древней московской крепости... своего рода английский сад. — Имеется в виду Кремлевский (с 1856 г. — Александровский) сад, устроенный в 1820–1823 гг. под западной стеной Кремля на месте русла реки Неглинной.

Что сказал бы Иван III... — При Иване III Васильевиче (1440–1505), великом князе московском с 1462 г., началось строительство или перестройка важнейших зданий в Кремле; были построены Успенский собор, Ризположенская церковь на Митрополичьем дворе, началось строительство великокняжеского дворца (остатком которого является Грановитая палата); наконец, в 1485–1495 гг. вместо обветшавших белокаменных стен и башен были возведены новые, кирпичные. Именно в этот период Кремль получил современные очертания.

...подвесную дорогу, по которой в священную крепость входят пешеходы и везжают коляски. — Вероятно, Троицкий мост, соединяющий Кутафью башню (единственное из сохранившихся предместных укреплений Кремля) с Троицкой надвратной башней. Кутафью башню с 1685 г. увенчивала «ажурная корона с белокаменными деталями» (*Памятники*. С. 312), что соответствует описанию Кюстина (см. наст. том, с. 72).

С. 72. Самая новая из новых литературных школ... пуританским стилем... — Среди современных Кюстину французских писателей самым убежденным сторонником стиля лаконичного, логического, лишённого «фраз» был Стендаль, принимавший за образец такой принципиально нелитературный текст, как кодекс Наполеона. Его роман «Пармская обитель» (1839) стал предметом обширной статьи Бальзака (сентябрь 1840), в которой «литература образов» (Гюго, Шатобриан, Ламартин) противопоставлена «литература идей», отличающаяся «умеренностью образов, сжатостью, ясностью, короткой вольтеровской фразой» (Стендаль, Мериме, Беранже и пр.).

Возможно, называя «упрощающую» школу «новой из новейших», Кюстин иронически намекал на эту бальзаковскую схему.

Письмо двадцать пятое

С. 73. 8 августа 1839 года. — По старому стилю 27 июля.

...наводит ужас, как архитектурные сооружения на полотнах Мартина... — Джон Мартин (1789—1854) — английский художник, изображавший на своих полотнах фантастические нагромождения зданий и статуй, питавший пристрастие к сюжетам грандиозным и страшным — таким, как «Падение Вавилона» (1819), «Пир Валтасара» (1821), «Разрушение Геркуланума» (1822), «Потоп» (1826).

С. 74. *Алькасар* — название укрепленных дворцов, которые строили мавры в Испании, в частности, в Толедо, Сеговии, Севилье.

С. 77. ...это святилище деспотизма было перестроено в камне при Иване III, в 1485 году, итальянскими зодчими Марко и Пьетро Антонио... — Зодчих, работавших в Кремле, звали Марко Фрязин и Пьетро Антонио Солари; строительство кремлевских стен, начатое в 1485 г., длилось около десяти лет. Имена зодчих Кюстин заимствовал у Лекуэнта де Лаво, у которого, однако, второй архитектор именуется Пьетро-Антонио, так что вторая часть имени не выглядит фамилией (см.: *Laveau*. Т. 1. Р. 81—82).

...чтобы обмануть одного русского, нужны три еврея... — См. примеч. к т. 1, с. 346.

С. 79. ...другим царедворцем, князем Вяземским... — Брошюра П. А. Вяземского (на фр. яз.) «Пожар Зимнего дворца» вышла в Париже 12 февраля 1838 г. (см.: РО ИРЛИ, Ф. 309, № 318. Л. 21 об.); в русском переводе — в «Московских ведомостях» 20 апреля 1838 г. Сгоревший дворец описан в ней как «твердыня монархии», из которой «исходили мудрые нововведения, благодетельные реформы (<...> цивилизаторские начинания), место единения императора и народа, а тушение пожара — как «свидетельство доверия и любви, которыми обменялись государь и народ». Монархическая направленность брошюры способствовала ее успеху в парижской легитимистской печати; 18 февраля текст Вяземского был полностью воспроизведен в «Gazette de France» (заметим, что спустя день в той же газете был напечатан отрывок из «Испании при Фердинанде VII» самого Кюстина), а 25 февраля в отрывках — в «Quotidienne» (посредником в обоих случаях послужил Я. Толстой, которому принадлежит чрезвычайно хвалебное предисловие к публикации, напечатанное во второй из этих газет, — см.: ГАРФ. Ф. 109. СА. Оп. 4. № 188. Л. 81 об.; подл. по-фр.); легитимисты увидели в брошюре «прекрасную жалобу русской нации, которая на развалинах царского дворца изъясняет любовь к императорскому семейству, пораженному великим несчастьем», «монархическое и национальное воодушевление», свидетельствующее о благотворности российской формы правления (*Gazette de France*). Брошюра Вяземского, чьи взгляды в конце 1830-х гг. начали эволюционировать от либеральных к консервативным, «сильно

повредила ему в мнении людей здравомыслящих и его истинных друзей, что же до царедворцев и низкопоклонников всех сортов, они были очень довольны, видя, что либерал стал льстецом и даже хуже того» (РО ИРЛИ. Ф. 309. № 706. Л. 3; подл. по-фр.; слова П. Б. Козловского, приведенные А. И. Тургеневым в письме Н. И. Тургеневу от 6 июня 1839 г). Повидимому, личная обида Вяземского на французского писателя, обвинившего его в низкопоклонстве, способствовала перемене отношения Вяземского к «России в 1839 году»; если, зная о книге лишь понаслышке, он бранил излишнюю щекотливость русских по отношению к иностранным отзывам («Мы все требуем, чтобы путешественники были на коленях перед нами и всему удивлялись с любовью и благоговением» — *НЛО*. С. 117), то в его суждениях, высказанных по прочтении книги, можно различить личную обиду и желание отомстить; «...щелкаю дурака по носу каждый раз, что он неосторожно нос свой высунет», — писал Вяземский о своем опровержении на Кюстина (*НЛО*. С. 125; ср. примеч. к т. 1, с. 18, 62, 67, 119, 229, 344).

...заслужил расточаемые ему похвалы. — Имеется в виду деятельное участие Николая I в тушении пожара, в восторженных тонах описанное в брошюре Вяземского.

...чудовищные подробности жизни Ивана IV. — Шод-Эг (или его советчик Я. Н. Толстой) усмотрел в критике Ивана Грозного на фоне цитаты из Вяземского завуалированное указание на сходство Ивана с Николаем I: «словно опасаясь, что толпа не сумеет сама провести параллель между Иваном IV и Николаем, маркиз спешит внушить эту мысль с помощью брошюры князя Вяземского о пожаре Зимнего дворца. Итак, война объявлена...» (*Chaudes-Aigues*. P. 336). Такое использование его брошюры для косвенного обвинения Николая I в деспотизме тем более не могло понравиться Вяземскому.

...законченной господином Дивольфом. — Ошибка Кюстина; начиная с десятого тома перевод «Истории государства Российского» делал русский дипломат Павел Гаврилович Дивов (1765—1841) в сотрудничестве с самим Карамзиным.

Письмо двадцать шестое

С. 80. 11 августа 1839 года. — По старому стилю 30 июля.

С. 81. ...16 января 1546 года... — Ошибка Кюстина; Иван IV венчался на царство 16 января 1547 г. (см.: *Карамзин*. Т. 8. Гл. 3); Кюстин, однако, настаивал на 1546 г.; ср. в наст. томе, с. 90: «в 1565 году, на девятнадцатом году его царствования». Ошибается Кюстин и в дате смерти царя: он умер не 18 января, а 18 марта 1584 г.

... в возрасте шестидесяти четырех лет... — Поскольку Иван IV родился в 1530 г., в 1584 г. ему было не 64, а 54 года.

С. 82. Тиран пожелал покинуть престол... — Имеется в виду внезапный отъезд царя в конце 1564 г. в Александровскую слободу; царь объявил, что, устав от боярского беззакония и непослушания, оставляет государство,

после чего к нему немедленно отправились выбранные послы, «чтобы ударить челом Государю и плакаться» (Карамзин. Т. 9. Гл. 2).

...подобно сыну Агриппины... — Имеется в виду Нерон (37—68), римский император с 54 г., сын Агриппины Младшей (16—59), схожий с Иваном IV не столько завоеваниями, сколько преступлениями.

С. 83. ...судьба Казани постигла еще один город — Астрахань. — Это произошло в 1556 г. (Карамзин. Т. 8. Гл. 5).

С. 84. Он теряет супругу... — Анастасию Романовну Захарьину-Юрьеву, умершую в 1560 г.

...и женится на другой, столь же кровожадной, сколь и он сам... — На Марии, дочери черкесского хана Темгрюка, Иван женился в 1561 г.; Карамзин, ссылаясь на свидетельства современников, сообщает, что «сия княжна Черкесская, дикая нравом, жестокая душою, еще более утверждала Иоанна в злых склонностях» (Карамзин. Т. 9. Гл. 1).

С. 87. Москве угрожает чужеземное нашествие... — В это время Россия воевала с напавшим на нее крымским ханом Девлет-Гиреем (?—1577) и вела Ливонскую войну против Ливонского ордена, Швеции, Польши и великого княжества Литовского.

С. 89. Вначале он удаляется во дворец... — Иван «уехал в село Коломенское, где жил две недели за распутием» (Карамзин. Т. 9. Гл. 2).

С. 90. «Он был велик ростом...» — Карамзин. Т. 9. Гл. 2.

...о кратковременности жизни... — Примечание Кюстина к пятому изданию 1854 г.: «Это смещение жестокости и благочестия и сегодня обнаруживается в действиях русского правительства. Содержание ее прежнее, а форма изменилась не так сильно, как полагают на Западе».

Боярские дети... — См.: Карамзин. Т. 5. Гл. 4; Т. 9. Гл. 7.

«4 февраля Москва увидела...» — Карамзин. Т. 9. Гл. 2.

С. 91. «Приводили... молодых детей боярских...» — Карамзин. Т. 9. Гл. 2.

«...в иные отдаленные, пустые поместья». — Примечание Кюстина к третьему изданию 1846 г.: «Разве не похоже это на недавние указы о евреях, проживающих вблизи русских границ?». Имеется в виду насильственное переселение евреев из Литвы и Белоруссии в Новороссийский край, где им предписывалось заниматься земледелием; первый указ об этом был издан Александром I в 1804 году; на упорядочение жизни в еврейских колониях были направлены многочисленные законодательные акты правительства второй половины 1830 — первой половины 1840-х годов, однако в колониях все равно царили нищета и болезни. См.: Никитин В. Н. Евреи-земледельцы. Спб., 1887.

С. 92. Крымский хан сжигает Москву... — Это произошло 24 мая 1571 г. (см.: Карамзин. Т. 9. Гл. 3).

...предлагает татарам Казань и Астрахань... — Карамзин. Т. 9. Гл. 3 (Карамзин пишет о желании уступить одну лишь Астрахань).

Позже он уступит Стефану Баторию Ливонию... — Это случилось в 1582 г., когда Россия заключила перемирие с польским королем Стефаном Баторием (1533—1586) и отказалась в его пользу от Ливонии (см.: Карамзин. Т. 9. Гл. 5).

С. 93. «Мы писали о ратных учреждениях...» — Карамзин. Т. 9. Гл. 7.

Карамзин цитирует по-английски лишь отдельные его фрагменты... — Карамзин. Примечание 266 к т. 9, гл. 2. Елизавета I Тюдор (1533—1603) — английская королева с 1558 г., дочь английского короля Генриха VIII (1491—1547), заточившая в тюрьму и казнившая Марию Стюарт (1542—1587), шотландскую королеву, претендовавшую на английский престол. Полный английский текст письма Елизаветы см. в кн.: Толстой Ю. В. Первые сорок лет сношений между Россией и Англией. 1553—1593. СПб., 1875. С. 96—98.

...не окажем никакого вмешательства в веру... — Примечание Кюстина к пятому изданию 1854 г.: «Есть сердца, более открытые терпимости, нежели человеколюбию».

С. 94. ...отца знаменитого философа... — Имеется в виду английский философ Френсис Бэкон (1561—1626).

...письмо следующего содержания... — Карамзин. Т. 9. Гл. 7.

...облечься в монашеское платье... — См.: Карамзин. Т. 9. Гл. 2. Описываемые события относятся к 1565 г., когда Иван IV жил в Александровской слободе, где «посвящал большую часть времени церковной службе» и «хотел даже обратить дворец в монастырь, а любимцев своих в иноков», каковые, впрочем, «ели и пили досыта» и «не жалели ни вина ни меду».

С. 96. ...протестантизм — религия князей. — Эту мысль Шатобриан подробно обосновывает в книге «Опыт об английской литературе» (1836), где противопоставляет «народную» католическую религию протестантизму — религии князей и патрициев (см.: Chateaubriand F.-R. de. Essai sur la littérature anglaise. P., 1836. Т. 1. P. 199—216). О национальной религии см. примеч. к т. 1, с. 13.

...не заглушить голоса императора. — Примечание Кюстина к третьему изданию 1846 г.: «См. книгу «Злоключения католической церкви обоих обрядов в Польше и в России», переведенную с немецкого графом де Монталамбером, отрывки из которой я привожу в конце «Краткого отчета» о своем путешествии». В нашем издании эти отрывки напечатаны в Дополнении 2.

«Сие местничество...» — Карамзин. Т. 9. Гл. 4.

С. 97. ...напоминает мне другой эпизод русской истории... — Примечание Кюстина к третьему изданию 1846 г.: «Многие русские поставили под сомнение достоверность этого эпизода, подтверждая свою мысль доводами весьма странными: «Точно такой же случай произошел при Иване IV, значит, эпизод более поздний — ложь, придуманная, дабы оклеветать Константина». Предоставляю людям думающим и способным сравнить историю России с ее нынешним политическим состоянием оценить убедительность этого возражения и одновременно заверяю, что убежден в правдивости тех особ, от которых слышал пересказ сцены, разыгранной в XIX столетии в Варшаве, при брате ныне царствующего императора» (ср. также в примеч. к наст. тому, с. 111, примечание Кюстина к изданию 1846 г.). В самом деле, многие критики Кюстина, в частности Греч (Gretch. P. 84) и Лабенский (Labinski. P. 96) указывали, что Кюстин приписал Констан-

тину Павловичу поступок Ивана Грозного, описанный Карамзиным: когда князь Андрей Курбский, перейдя на сторону литовцев, послал к Ивану IV своего «усердного слугу» с письмом, объясняющим его поступок, «гневный царь ударил его в ногу острым железом своим: кровь лилася из язвы, слуга, стоя неподвижно, безмолвствовал» (*Карамзин*. Т. 9. Гл. 2). Впрочем, Константин Павлович в самом деле имел в Польше репутацию военачальника жестокого и подверженного внезапным вспышкам необузданного гнева (см.: *Карнович*. С. 125—128).

...изречение аббата Гальяни... — Цитата из диалога «Женщины», напечатанного во втором томе «Неизданной переписки» итальянского аббата Фердинандо Гальяни (1728—1787), вышедшей в Париже в 1818 г. (*Galiani F. Correspondance inédite*. P., 1818. Т. 2. P. 337). Гальяни вошел в историю литературы благодаря своему стилю, в котором сочеталось «аттическое или парижское остроумие с итальянским буффонством» (*ОА*. Т. 1. С. 142). Его афоризмы, в том числе почерпнутые из диалога «Женщины», были популярны в пушкинском кругу (см.: Лотман Ю. М. К проблеме «Пушкин и переписка аббата Гальяни» // *Лотман*. С. 354—357).

...поступки его неизменно оскорбляли общественные приличия. — Великий князь Константин Павлович (1779—1831) даже в кругу своей семьи пользовался репутацией человека, который страдает недостатком «человеческого достоинства», обладает характером «полутатарским, полурусскоцивилизованным» и не стесняется «солдатски грубых манер и речей» (*Сон юности*. С. 20); среди прочего великого князя компрометировал морганатический брак с польской графиней Грудзинской (после замужества получившей титул княгини Лович). Впрочем, не исключено, что Кюстин в данном случае приписывает Константину Павловичу некоторые черты его отца, императора Павла I (указание на «несомненные признаки безумия»).

С. 98. «Но сии люди, — пишет историк ливонский...» — *Карамзин*. Т. 9. Гл. 4. *Историк ливонский* — Христиан Кельх (1657—1710), автор «Истории Лифландии» (1695).

«Один из любимцев Иоанновых...» — *Карамзин*. Т. 9. Гл. 4.

С. 99. «Нет, государь...» — *Карамзин*. Т. 9. Гл. 4.

...вельможу, прозванного «отравителем»... — 29 мая 1831 г. в Витебске скончался генерал Иван Иванович Дибич (1785—1831), главнокомандующий русской армией, подавлявшей (до лета 1831 г. — с переменным успехом) польское восстание, 15 июня 1831 г. в том же городе умер великий князь Константин Павлович; обе эти смерти, следовавшие, «как болтали тогда и потом, тотчас после ужина с графом Орловым», «возбудили нелепые толки не только в иностранной, неприязненной нам печати, но и в русском войске и в нашем народе» (*Карнович*. С. 248). Вельможа, которому инкриминировались убийства Дибича и Константина Павловича — граф Алексей Федорович Орлов (1786—1861), генерал-адъютант, друг и доверенное лицо Николая I; в мае 1831 г. Орлов был послан к Дибичу, дабы объявить ему о скором увольнении от должности главнокомандующего. Толки о том, что Орлов ездил отравить Дибича и цесаревича Константина, почти тотчас же распространились в Берлине и затем неоднократно обыгрывались на

страницах антирусской европейской печати; так, парижский журнал «Le Polonais», орган польской эмиграции, писал в марте 1834 г.: «Дибич, победитель турок, оказался бессилён в борьбе против поляков. Следственно, требовалось его отозвать. Но отозвать его значило расписаться в собственном поражении. От этого пострадало бы величие России. Дабы спасти славу своей армии, император послал в главный штаб Орлова — и несчастный Дибич испустил дух» (Le Polonais. 1834. Т. 2. Р. 101). Греч, опровергая утверждение Кюстина (и одновременно называя Орлова по фамилии, отчего Кюстин воздержался), сообщает, что граф «посмеялся над этим обвинением, но не втайне, а публично, и все вокруг смеялись вместе с ним; он сам в шутку стал звать себя отравителем. Маркиз же, хотя в глубине души уверен в абсурдности этого обвинения, тем не менее пользуется им как средством для самой подлой клеветы» (Gretch. Р. 85). Фигура Дибича, при всей ее внешней неромантичности, была окружена в 1830-е гг. самыми невероятными легендами; ср. в мемуарах французского легитимиста Фаллу упоминание о том, что две французские дамы поручили ему выяснить во время поездки в Россию (в 1836 г., когда Дибича уже не было на свете), правда ли, что под его именем скрывался чудом уцелевший сын короля Людовика XVI... (Falloux A.-F.-P. Mémoires d'un royaliste. P., 1888. Т. 1. Р. 147).

Для России Ливония была воротами в Европу... — Примечание Кюстина к пятому изданию 1854 г.: «Она была для русских тем, чем стал сегодня Константинополь».

...царевич падает: рана его смертельна! — См.: Карамзин. Т. 9. Гл. 5. Царевич Иван скончался 19 ноября 1582 г.

С. 101. *...человек, являющийся, по Платону, падшим ангелом...* — Парафраза диалога «Федр», где Платон описывает, как души падают с неба на землю и воплощаются в телах смертных людей.

Карамзин... сомневается в непротивности его горя. — Карамзин сомневался не в искренности Иванова горя, но в том, что раскаяние подобного преступника может послужить началом его возвращения к праведной жизни: «... есть, кажется, предел во зле, за коим уже нет истинного раскаяния; нет свободного, решительного возврата к добру: есть только мука, начало адской, без надежды и перемены сердца. Иоанн стоял уже далеко за сим роковым пределом: исправление такого мучителя могло бы соблазнить людей слабых...» (Т. 9. Гл. 5).

...оскорбляет собственную невестку... — См.: Карамзин. Т. 9. Гл. 7.

С. 102. *...не в мавританском, не в готическом, не в античном и даже не в византийском вкусе...* — Возможно, полемика с Ансело, который в своем описании подчеркивает смешение «индийского купола с готической башней, греческих зданий со зданиями восточными» (Ancelet. Р. 256).

С. 102—103. *...города, населенного допотопными гигантами...* «Падение ангела»... *публика ошиблась...* — «Падение ангела» — поэма А. де Ламартина (величиною около 12 000 строк), сочиненная в два приема: в июне — декабре 1836 г. и в июле — декабре 1837 г.; вышла отдельной книгой у Госслена 9 мая 1838 г. Романтический богоборческий сюжет облечен здесь

в эпически-описательную форму, что обусловило непопулярность поэмы и язвительные отзывы критиков (например, Сент-Бева). Описание допотопного города содержится в седьмом «видении» поэмы Ламартина.

С. 103. «*Сверх ига монголов...*» — Карамзин. Т. 9. Гл. 7.

Я подозреваю, что это ошибка переводчика... — Кюстин прав; у Карамзина стоит: «любовью к самодержавию».

С. 103—104. *Греки в Термопилах...* — Кюстину кажется необоснованным сравнение трехсот спартанцев, которые погибли, обороняя от персов горный проход Фермопилы (у Карамзина Термопилы), ведущий к их родному городу, с русскими боярами, которые умирали по воле русского же царя.

С. 104. «*Изверги вне законов...*» — Карамзин. Т. 9. Гл. 7.

...русские... восхищаются им из послушания... — Русские современники, как из числа молодых либералов, так и из числа старых ретроградов, далеко не всегда воспринимали «Историю» Карамзина восторженно; см.: Эйдельман Н. Я. Последний летописец. М., 1983.

С. 105. *...тирания сделалась нынче менее тягостной...* — Примечание Кюстина к пятому изданию 1854 г.: «С тех пор, как эти строки были написаны, факты опровергли суждение, высказанное здесь путешественником: за прошедшие годы, а особенно в продолжение нынешней войны тирания вновь воскресла в России и сделалась, пожалуй, еще ужаснее, нежели в царствование Павла I».

С. 106. «*В заключение скажем...*» — Карамзин. Т. 9. Гл. 7.

Лекуэнт Лаво в своем «Путеводителе по Москве»... — Указанное сравнение см. в книге «Описание Москвы» (Laveau. Т. 1. Р. 168).

«*Гордый в сношениях с царями...*» — Карамзин. Т. 6. Гл. 7.

С. 107. *Что оставил миру Александр Македонский?* — Имя Александра Македонского фигурирует лишь в русском тексте Карамзина; во французском переводе в этом месте сказано просто: «Сколько великих героев оставили потомству одну лишь славу!»

...русские цари до сих пор распоряжаются короной по своему усмотрению. — Примечание Кюстина к пятому изданию 1854 г.: «Безразличие к тому, кто будет твоим преемником, — отличительная черта тиранов. Столь бесстыдное презрение к человечеству свойственно лишь людям, развращенным долгим злоупотреблением абсолютной властью». Порядок передачи престола прямым наследникам, отмененный Петром I, был восстановлен при Павле I (см. примеч. к т. 1, с. 168), но снова нарушен Александром I, завещавшим престол Николаю Павловичу в обход Константина (хотя и с согласия последнего).

С. 108. «*Устав воинский... Начало его замечательно...*» — «Артикул воинский, изданный в Санкт-Петербурге лета Господня 1715 апреля 26 дня» гласит: «Хотя всем обще и каждому христианину без изъятия надлежит христианско и честно жить и не в лицемерном страхе Божии содержать себя, однако же сии солдаты и воинские люди с вящею ревностью уважать и внимать имеют, понеже оных Бог в такое состояние определил, в котором оные часто бывают, что ни единого часа обнадежены суть, чтоб они наивящим опасностям живота в службе Государя подвержены не были,

и понеже всякое благословение, победа и благополучие от единого Бога всемогущего, яко от истинного начала всего блага и праведного победодавца, происходит, и оному только молиться и на него надежду полагают надежит, и тако сие наипаче всего иметь во всех делах и предприятиях, и всегда благо содержать...» (с. 1—2).

«*Все государство, — говорил он, — заключено в государе...*» — Артикул 20 гласит: «Кто против его величества особы хулительным словом погрешит, его действия и намерения презирать и непристойным образом в том рассуждать будет, оный имеет живота лишен быть и отсечением главы казнен. *Толкование.* Ибо его величество есть самовластный монарх, который никому на свете о своих делах ответу дать не должен, но силу и власть имеет, свои государства и земли, яко христианский государь, по своей воле и благомнению управлять...» (Артикул воинский... С. 15). Из-за слишком резкого стилистического диссонанса между языком петровской эпохи и языком французских переводчиков здесь, как и в случае с присягой членов Духовной коллегии (наст. том, с. 54), тексты начала XVIII в. приводятся в нашем переводе.

Далее господин де Сегюр пишет... — Кюстин разделяет точку зрения Сегюра, возлагающего ответственность за убийство царевича Алексея на Петра; любопытно, что и это Кюстину ставили в вину, противопоставляя его версии официальную трактовку событий: царь сделал для сына все, что мог, но он не имел права нарушить закон и не предать суду изменника родины (этого требовали судьбы и духовенство); когда царевич услышал смертный приговор, с ним случился удар, и он скончался на руках у простившего ему отца (*Diez*. P. 29).

С. 109. «*Буде же побоишься меня...*» — Сегюр опирался на «Объявление» и «Розыскное дело» — историю суда и следствия над царевичем Алексеем, отпечатанные сразу после смерти царевича по приказу Петра на русском и нескольких европейских языках. В нашем переводе слова Петра приводятся по подлиннику (см.: *Устрялов*. С. 389).

...заключение в темницу сестры... — Царевны Софьи, которая по приказу Петра была отправлена в Новодевичий монастырь и в 1698 г. пострижена в монахини под именем Сусанны.

...первой жены... — Евдокии Лопухиной (см. о ней примеч. к наст. тому, с. 142—143).

...казнь шурина... — Авраама Федоровича Лопухина, который на основании показаний царевича Алексея был казнен 8 декабря 1718 г.

...голова одного епископа, одного боярина и двух сановников... — Одновременно со Степаном Глебовым (не генералом, а майором гвардии) 16 марта 1718 г. были казнены расстриженный архиерей Досифей Ростовский, денщик Петра I Александр Васильевич Кикин и ключарь Федор Пустынный.

Брюс Питер Генри (1692—1757), шотландец, в 1710—1723 гг. находившийся в русской службе, племянник сподвижника Петра I Я. В. Брюса, автор выпущенных в Лондоне в 1782 г. «Записок» о России. Во второй половине XIX века достоверность их была подвергнута сомнению (см.: *Устрялов*. С. 293), однако Сегюр был убежден в их подлинности (см.: *Ségur*. P. 548).

С. 110. ...ныне уже довольно слышали... — Цитата из «Объявления духовному и гражданскому чину» 13 июня 1718 г., опубликованного в «Розыском деле» (см.: Устрялов. С. 515).

С. 111. ...напоив несчастного ... отравой. — Версия об отравлении царевича Алексея, восходящая к Брюсу, впоследствии была отвергнута. О различных взглядах на смерть царевича см.: Эйдельман Н. Я. Из потаенной истории России XVIII—XIX веков. М., 1993. С. 50—80.

...ее страшные подробности остались бы навсегда скрыты от потомков. — Примечание Кюстина к третьему изданию 1846 г.: «Поставим ли мы под сомнение обстоятельства гибели Алексея только потому, что гибель эта напоминает смерть царевича Ивана? Ср. выше рассказ о поступке великого князя Константина» (см. наст. том, с. 97).

Письмо двадцать седьмое

С. 112. 11 августа 1839 года. — По старому стилю 30 июля.

Английский клуб, привилегированное закрытое заведение, основанное в 1770 г., располагался на Большой Дмитровке.

С. 113. ... в обществе г-на *** , к которому имел рекомендательное письмо... — М. Кадо (*Cadot*. Р. 198) предположил, что этим «проводником» Кюстина, равно как и его собеседником в Английском клубе (см. ниже, в письме двадцать восьмом), мог быть Чаадаев. Отводить эту кандидатуру на том основании, что Чаадаеву было запрещено бывать в обществе (см.: Mazour A. G. Petr Jakovlevic Caadaev // *Monde slave*. 1937, novembre. Р. 243—266; *Cadot*, Р. 199), оснований нет: насильственное затворничество после публикации в «Телескопе» первого «Философического письма» продлилось год и месяц и окончилось еще в ноябре 1837 г. (см.: Русское общество 30-х годов XIX века. М., 1989. С. 102—103); в июле 1839 г. А. И. Тургенев сообщал брату, что Чаадаев «теперь везде бывает» (РО ИРЛИ. Ф. 309. № 706. Л. 11 об.). Однако предложенная версия выглядит не слишком достоверной психологически: Чаадаев, чрезвычайно высоко ценивший самого себя, вряд ли согласился бы служить «чичероне» заезжему французу. Вдобавок, к Чаадаеву у Кюстина рекомендательного письма не было; А. И. Тургенев просил стать посредником между французским путешественником и «басманным философом» П. А. Вяземского, с которым, однако, Кюстин в Петербурге не встретился (см.: *НЛО*. С. 107—109) и, следовательно, запастись письмом к Чаадаеву возможности не имел. О степени вероятности встречи Кюстина с Чаадаевым см. также ниже, примеч. к наст. тому, с. 350. Из людей, живших в Москве, Кюстин имел рекомендательное письмо к владельцу модной лавки Матиасу, брату Терезы Кореф, жены известного врача и магнетизера Давида Фридриха Корефа (1783—1851), который в начале 1810-х гг. был возлюбленным Дельфины де Кюстин (см.: *Tarn*. Р. 514), однако дальнейшее причисление г-на *** к «просвещеннейшим из русских» не позволяет отождествить собеседника Кюстина с немецким купцом.

С. 114. Я не бывал в Константинополе... — Описание Москвы как своеобраз-

разного «двойника» Константинополя восходит, возможно, к соответствующему описанию у Лекуэнта де Лаво (*Laveau*. Т. 1. Р. 97—98; ср.: *Cadot*. Р. 197—198).

...«Москва — это северный Рим!» — «Невольно сравниваешь Москву с Римом, но не потому, что она имеет сходство с ним в стиле своих зданий, этого нет; но удивительное сочетание сельской тишины и пышных дворцов, обширность города и бесчисленное множество церквей сближает Рим Азии с Римом Европы» (*Россия*. С. 33).

...*госпожа де Сталь, попав в Россию... стремилась в Швецию и Англию...* — Жермена де Сталь (1766—1817), которую Наполеон за оппозиционные взгляды выслал сначала из Парижа, а затем из Франции, 23 мая 1812 г., опасаясь дальнейших репрессий, тайно покинула свой швейцарский замок Коппе и через Австрию направилась в Россию, где провела около двух месяцев (с 14 июля до начала сентября 1812 г.); из Петербурга она выехала в Стокгольм и лишь в июне 1813 г. добралась до Лондона, конечной цели своего путешествия; здесь она смогла выпустить в свет запрещенную Наполеоном в 1810 г. книгу «О Германии».

С. 115. ...*называемого Китай-городом... основанного матерью царя Ивана Васильевича в 1534 году.* — Информация, почерпнутая из книги: *Laveau*. Т. 1. Р. 92. В 1534 г., в правление вдовы Василия III Елены Глинской, жители Москвы приступили к рытью огромного рва вокруг Великого посада, а вырытая земля образовала вал, который они укрепили частоколом, а в 1535 г. начали возводить здесь каменные стены.

Альгамбра — древний квартал арабских властителей в Гренаде.

С. 116. *Над двухпроездными воротами... икона Божьей матери...* — В оригинале Кюстин говорит о «Божьей матери Вивиельской»; очевидно, что речь идет об иконе Иверской Божьей матери — копии той, что находится на горе Афон. Она была привезена в Москву во второй половине XVII века и помещена на Воскресенских воротах, которые располагались близ Собакиной (Угловой Арсенальной) башни Кремля и оформляли подъезды к Кремлю с Тверской улицы (с этих пор ворота стали называться Иверскими); в конце XVIII в. для иконы была сооружена надвратная каменная часовня (см.: *Памятники*. С. 362—364). Ворота разрушены в 1934 г., восстановлены в 1995 г.

...*обличающими не столько благочестие, сколько привычку.* — Внешнюю набожность русских, никак не меняющую их повседневного поведения, отмечал и Ансело, сообщавший, что русский простолоудин «ни за что не пройдет мимо церкви или образа без того, чтобы остановиться, обнажить голову и осенить себя дюжиной крестных знамений» (*Ancelet*. Р. 51).

...*все истории о чудесах, творимых мощами и образами...* — Кюстин относился к подобным историям с большим скептицизмом; Р. Ржевуская вспоминает, как однажды в Риме, наслушавшись рассказов о чудесах, он воскликнул: «Скоро можно будет говорить: глуп, как чудо» (*Rzewuska*. Т. 2. Р. 420).

С. 117. *Памятник Минину и Пожарскому по проекту скульптора И. П. Мартоса был установлен в 1818 г.*

Так утверждает Лаво. — См.: *Laveau*. Т. 1. Р. 269; ту же версию Кюстин

мог прочесть в кн.: *Schnitzler*. P. 63. Покровский собор в самом деле был построен зодчими Бармой и Постником в 1555—1561 гг. в честь победы над Казанским ханством; давший название всему храму придел Василия Блаженного, где был погребен святой, возведен в 1588 г. Вторая версия, упоминаемая Кюстином, разумеется, неправдоподобна.

С. 117—118. ...*священным вратам Кремля...* — Речь идет о Спасских воротах; обычай снимать шапки, проходя сквозь эти ворота, был официально узаконен в царствование Алексея Михайловича; тогда же над воротами, до этого именовавшимися Фроловскими (в честь некогда стоявшей рядом церкви Фрола и Лавра), была помещена привезенная из Вятки икона Спаса Нерукотворного, откуда и название — Спасские (см.: Пыляев М. И. Старая Москва. М., 1990. С. 269). Лскуэнт де Лаво, сообщая об обычае входить в Спасские ворота с непокрытой головой, возводит его либо к чудесному спасению Кремля от татар, либо к последней эпидемии чумы в Москве (*Laveau*. Т. 1. P. 90).

С. 119. ...*зданию, именуемому Оружейной палатой, и увидел маленький прямо-угольный дворец с греческими фронтонами...* — Современное здание Оружейной палаты было построено в 1844—1851 гг., здание же, которое видел Кюстин, было начато в 1810 г., а окончено после московского пожара.

Успенский собор был построен в 1475—1479 гг., в правление Ивана III, итальянским архитектором Аристотелем Фьораванти (предшествующий собор, выстроенный русскими зодчими Кривцовым и Мышкиным, рухнул при небольшом землетрясении в 1474 г).

...*изображений Девы Марии... кисти апостола Луки.* — Речь идет об иконе Божьей Матери Владимирской, которая, по легенде, была написана апостолом Лукой еще при жизни Девы Марии, привезена из Царьграда в Киев, выкрадена оттуда Андреем Боголюбским и помещена во владимирском Успенском соборе, а затем, в 1395 г., перенесена великим князем Василием I в Москву для защиты города от нашествия Тамерлана.

Мне неизвестны предписания греко-русской Церкви касательно поклонения образам... — По-видимому, Кюстин приписал русской православной церкви XIX в. запреты, введенные византийскими иконоборцами в VIII—IX в.; в православной церкви запрещена только скульптура, о чем сам Кюстин упоминал выше (см. т. 1, с. 139).

У нас хитрые и двуличные государи... никогда не заслужили бы имени великих. — Возражение Я. Н. Толстого: у всякого народа есть свои злодеи и свои кровавые страницы: ведь и французский народ, было время, звал великим не кого иного, как Марата! (*Tolstoy*. P. 99—100). Кюстин, однако, подчеркивает не только жестокость русских самодержцев, но и беспримерную покорность их жертв, другим народам в такой мере, по его мнению, не свойственную. Ср. сходное ощущение Баранта, отмечающего как основное, в первую очередь бросающееся в глаза свойство русского народа «мягкость и безропотность, чрезвычайно удобные правительству и господам» (*Notes*. P. 56).

С. 120. ...*церковь Спаса на Бору — самую древнюю в Москве...* — Сведения, почерпнутые Кюстином из кн.: *Laveau*. Т. 1. P. 231. Деревянная церковь

Спаса на Бору была построена в конце XIII в.; в 1330 г., при Иване Калите, на ее месте была возведена церковь из белого камня, перестроенная в XVI в.; в конце XVIII в. храм обветшал, был разобран и вновь сложен из кирпича в формах XVI в. под наблюдением М. Ф. Казакова (не сохранился).

С. 121. *Польский трон и польская корона также сияют...*— Польская корона рядом с венцами других государей, побежденных Россией, лишняя раз напоминала о разгроме польского восстания 1830—1831 гг., вызывавшем у российского императора чувство гордости, а у французов, сочувствовавших полякам, — скорбь. Ср. в письме Николая I к жене от 11 августа 1836 г. выразительное описание разговора с Барантом после совместного посещения Оружейной палаты: «Я спросил у него (Баранта), видел ли он польские знамена; он отвечал, что видел; тогда я спросил, видел ли он также польскую конституцию у ног Императора (ларец с конституцией, дарованной Польше Александром I, помещался у подножия его портрета). Он отвечал с гримасой, которую не сумел скрыть, что видел и ее, и стал пить воду; тогда Ермолов, слышавший наш разговор, наполнил его стакан, сказавши, что счастлив быть его кравчим, и скорчил при этом такую физиономию, что я чуть не поперхнулся от смеха» (*Schiemann. S. 475*).

С. 122. *Не существуй на свете Тюренна, Фридриха II и Наполеона...*— Маршал Франции Анри де Ла Тур д'Овернь, виконт де Тюренн (1611—1675), прусский император Фридрих II (1712—1786, правил с 1740 г.) и французский император Наполеон были полководцами по призванию.

...в манере Бенвенуто Челлини...— Знаменитый итальянский ювелир (1500—1571), мастер сложных орнаментальных композиций.

С. 123. *...отрывок из Монтеня...*— Опыты. I, 48 («О боевых конях»); отрывок из Монтеня приводится в переводе А. С. Бобовича. Современные комментаторы Мишеля Монтеня (1533—1592) называют источником этого пассажа вышедший в 1573 г. французский перевод латинской книги Яна Гербурта Фульстинского «О происхождении и деяниях поляков», в издании же, на которое ссылается Кюстин (Paris, Firmin Didot frères, 1836), приводимый эпизод возводится к книге шведского дипломата Петра Петрея де Ерлезунда (1570—1622) «История о великом княжестве Московском, происхождении русских великих князей, недавних смутах, учиненных в оном княжестве тремя Ажедмитриями, и о московских законах, нравах, правлении, вере и обрядах» (1615). Я. Толстой оспаривал эпизод с каплями молока, утверждая, что он, во-первых, не доказан, а во-вторых, характерен далеко не для одних лишь русских: «Разве короли французские и английские не ползали в ногах у римских пап?» (*Tolstoy. P. 101*).

...великолепное и ужасное описание поля московского сражения...— В книге «История Наполеона и Великой армии 1812 года» (1824; кн. VII, гл. 12) граф Филипп Поль де Сегюр (1780—1873), сам принимавший участие в русской кампании, упоминает русского солдата, который, как уверяли очевидцы, после Бородинской битвы в течение нескольких дней прятался внутри трупа лошади, чье брюхо разорвал снаряд. Между прочим, поступать подобным образом приходилось не только русским; ср. в воспоминани-

ях француза Эжена Лакомба рассказ о раненом французском солдате, который залечивал свои раны, ложась ночью «в брюхо мертвых лошадей» (Россия. С. 273).

В другом своем труде... о том же проявлении рабленства... — В «Истории России и Петра Великого» (кн. III, гл. 1 и 2) Сегюр неоднократно говорит о «подлости» русских князей, прибегавших в своей междуусобной борьбе к помощи татар.

...еще в XVI веке... — Следует читать: в XV веке (монголо-татарское иго было окончательно уничтожено в конце этого века, при Иване III).

...отнявших престол у избранных на царство Трубецких... — Князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой (?—1625), в 1611—1612 гг. руководивший (совместно с князем Д. М. Пожарским) первым и вторым земскими ополчениями и временным земским правительством, был одним из претендентов на русский престол на Земском соборе 1613 г. Версия Кюстина восходит, по-видимому, к книге князя П. В. Долгорукова «Заметка о главных родах в России» (Notice sur les principales familles de la Russie. P., 1843. P. 30—31; см. подробнее примеч. к наст. тому, с. 175.), однако Долгоруков не называет Трубецкого законно избранным, а лишь сообщает, что его поддерживали казаки и часть армии. Впрочем, в другом источнике сведений Кюстина о событиях этого времени, «Истории России» Левека, эпизод избрания Михаила Романова изложен крайне лаконично и прочие претенденты на престол не названы вовсе (см.: *Levesque*. Т. 4. P. 1—2).

С. 124. *Последний патриарх —* Адриан (в миру Андрей; 1627—1700); ср. примеч. к т. 1, с. 85 и 101.

...маленький дворец, где поселяется император, когда приезжает в Москву... — В 1820 г. для царского дворца был куплен дом митрополита, занимавший угол Чудова монастыря. В 1824 г. он был надстроен и с 1831 г. стал именоваться Малым Николаевским дворцом (см.: *Памятники*. С. 297).

Понятовский Станислав Август — польский король с 1764 г. (см. примеч. к т. 1, с. 140); в его царствование произошли первый и второй раздел Польши, третий же раздел (1795) лишил короля трона, а королевство — самостоятельности. Описываемая картина принадлежит кисти Бернардо Беллотто (1720—1780); до 1831 г. она находилась в Королевском замке в Варшаве, а после занятия польской столицы русскими войсками в 1831 г. была доставлена в Москву; в 1924 г. возвращена Польше (см.: *Rosja*. Т. 2. P. 475).

С. 124-125. *...о маленьком грановитом дворце-игрушке... свод нижнего этажа покоится на одном-единственном столпе. —* Кюстин констатирует черты двух разных памятников: прилагательное «грановитый» и упоминание об одно-столпном зале отсылают нас к Грановитой палате, внешний же облик описываемого сооружения подсказывает, что речь идет о Теремном дворце, выстроенном в 1635—1636 гг. и отреставрированном в 1836—1837 гг. (в ходе реставрации в окна были вставлены дубовые рамы с цветными стеклами, а в помещениях установлены изразцовые печи и мебель, стилизованная под XVII век, — что Кюстин и почувствовал). В упоминаемом Кюстином *верхнем домике* — златоверхом теремке, представляющем собою пятый

этаж Теремного дворца, -- происходили заседания боярской думы (*Памятники*. С. 333).

С. 126. ...*пристрастием к комфорту, недавно заимствованным у англичан.* ... В «Записках и путешествиях» Кюстин посвящает целое рассуждение словам «комфорт» и «комфортабельный», которые англичане «заимствовали у французов, полностью изменив их смысл» (в старофранцузском «*conforter*» означало «придать отвагу, моральную силу») и обозначив им «главное занятие большинства англичан <...> -- постоянное попечение об улучшении физического благополучия. Устроиться комфортабельно есть цель усилий каждого англичанина. Это волшебное слово, сообщающее направление всей жизни, узаконивает привязанность англичан к материальным удовольствиям и становится основой домашнего эгоизма, подобно тому как *полезность* слишком часто служит оправданием политическим несправедливостям» (*Mémoires et voyages*. P. 238).

...*в тот день, когда петербургская известь и позолота рассыплется в прах и рухнет в гибельную топь...* -- Ср. примеч. к т. 1, с. 146.

С. 127. *Лапония*, или Лапландия -- природная область на севере Швеции, Норвегии, Финляндии и в северной части России.

Император Николай... не отгадал наилучшего способа... ... Меж тем в частных беседах император, по свидетельству Баранта, признавал недостатки Петербурга как столицы и соответствующие преимущества Москвы: «В другой раз он говорил о Петербурге: «Еще вопрос, правильно ли поступил Петр, основав столицу именно здесь...» А когда я отвечал, что в ту пору это был единственный способ установить сношения России с Европой, он продолжал: «Быть может, следовало ее цивилизовать, опираясь на внутренние ресурсы». Вообще эта тоска по Москве весьма распространена и вне связи с внешней политикой» (*Souvenirs*. Т. 5. P. 259; донесение герцогу де Брою от 30 января 1836 г.). Впрочем, Барант при этом весьма скептически оценивал практическую возможность перенесения российской столицы в Москву: «Как бы там ни было, ни экономические соображения, ни тщательно скрываемое дурное расположение не заставят русское правительство вновь сделаться московским; более длительное пребывание двора в Москве, изменения в форме придворного костюма, -- вот в конечном счете единственные результаты, которыми могут окончиться эти мимолетные попытки» (*Ibid.* Т. 5. P. 259--260). Об антипетербургских настроениях в русском обществе -- впрочем, скорее всего неизвестных Кюстину -- и о противоставлении новой столице столицы старой (Москвы) см.: Осповат А. Л. К прениям 1830-х гг. о русской столице // *Лотмановский сборник*. 1. М., 1995. С. 475--487.

...*она начертала план его перестройки...* -- В 1768 г. была создана специальная Экспедиция по перестройке Кремля под руководством В. И. Баженова; в 1775 г. строительство было отменено из-за чрезмерности предстоявших затрат и охлаждения Екатерины к Москве как оплоту недовольных.

С. 128. ...*свидетелем гибели этого исторического памятника...* -- Ср. примеч. к т. 1, с. 200.

С. 129. ...*есть арка, о которой я вам уже рассказывал...* -- Троицкий мост (см. примеч. к наст. тому, с. 71).

С. 130. *Фраза Наполеона, сообщенная аббатом де Прадтом...*— См.: Pradt D.-D. de. Histoire de l'ambassade dans le grand-duché de Varsovie. 6-me ed. P., 1815. P. 215. Аббат Доминик Дюфур де Прадт (1759—1837), французский прелат, сподвижник Наполеона, получивший от императора место архиепископа бельгийского города Мехельн (по-французски — Малин), в 1812 г., накануне войны с Россией, был назначен французским послом в великое герцогство Варшавское; этому посольству и посвящена процитированная книга, опубликованная в 1815 г.

С. 131. *Ростопчин... публикацией брошюры...*— Имеется в виду книга графа Федора Васильевича Ростопчина (1763—1826), военного губернатора Москвы в 1812 г., «La vérité sur l'incendie de Moscou» («Истина о московском пожаре»), выпущенная в 1823 г. в Париже (в том же году в Москве вышел русский перевод; почти сразу же после французской публикации брошюра, вызвавшая в Европе огромный интерес, была переведена на основные европейские языки). Французским путешественникам, побывавшим в России до Кюстина, вопрос об ответственности Ростопчина за пожар Москвы представлялся не вполне разрешенным (см., например, у Ансело аргументы в пользу концепции, согласно которой поджигатели были наняты англичанами, которые желали таким образом погубить своих врагов-французов, — *Ancelot*. P. 314—318). Современную точку зрения на замысел Ростопчина (сжечь Москву еще до вступления туда французов) см. в статье А. Г. Тартаковского «Обманутый Герострат» (Родина. 1992. № 6/7. С. 88—93).

С. 132. *Англия и Россия... не вовсе отказывают ему в признательности...*— Популярность Наполеона в России в 1830-е гг. в самых разных сословиях, от высших до низших, отмечают многие мемуаристы; Барант (*Souvenirs*. Т. 5. P. 286) и Мармье (*Marmier*. Т. 1. P. 327) сообщают, что портреты французского императора украшают стены и купеческих лавок, и аристократических салонов, и постоянных дворов, причем зачастую они соседствуют с портретами его победителя Александра I. Русские видели в Наполеоне воплощение политического величия, символ «идеальной Франции, Франции монархической и военной, которой они хотели бы подражать» (*Souvenirs*. Т. 5. P. 449). Некоторые французские газеты настойчиво приписывали преклонение перед Наполеоном и самому российскому императору, который, если верить газете «*Commerce*» (5 октября 1839 г.), утверждал, что Романовы и Бонапарты — две династии, в равной мере способные даровать своим народам славу и величие.

...оценил Бонапарта беспристрастно... или любой другой страны.— Примечание Кюстина к пятому изданию 1854 г.: «Публикация переписки Наполеона с его братом Жозефом оправдала эти надежды».

Письмо двадцать восьмое

С. 134. *12 августа 1839 года.*— По старому стилю 31 июля.

С. 135. *Персеполис* --- древняя столица персидской империи Ахемени-

дов; *Пальмира* — древний центр караванной торговли и ремесла на территории северо-восточной Сирии.

С. 136. ...уже отмечали, что чем меньше знаешь русского, тем любезнее его находишь... один француз... выказывавший в силу занимаемого им положения чрезмерную сдержанность...— Вероятно, намек на Ансело, который в своей книге отмечал: «Невозможно быть более гостеприимным, чем русский барин; он ищет общества иностранцев, в особенности французов; однако к этим изъявлениям любезности надобно относиться с великой осторожностью, ибо в России они чаще, чем в любой другой стране, оказываются совершенно неискренни. Иностранцу отнюдь не следует принимать все приглашения, какие он получит, ибо если он поверит всем расточасмым ему уверениям в преданности, то очень скоро испытает горькое разочарование. Русский начинает с того, что зовет вас своим лучшим другом, затем вы превращаетесь для него в простого знакомого, а под конец он перестает вам кланяться» (*Ancelet*. P. 91—92). Жак Ансело (1794—1854) приехал в Россию в мае 1826 г. в составе представительной французской делегации, возглавляемой маршалом Мармоном и прибывшей на коронацию Николая I. Книга Ансело «Полгода в России» (1827), гораздо более доброжелательная, чем «Россия в 1839 году», вызвала тем не менее критические отзывы П. А. Вяземского (Московский телеграф. 1827. № 11) и Я. Н. Толстого (брошюра на французском языке «Довольно ли полугодия, чтобы узнать страну?», 1827); ср.: Волович Н. М. Пушкин и Москва. М., 1994. Т. 1. С. 142—152; *Liechtenhan*. P. 127—128.

...абсолютное равенство — синоним тирании... Здесь Кюстин совпадает со своим антагонистом Токвилем (см. статью, т. 1, с. 388—389), который, размышляя о том, «какого деспотизма следует опасаться демократическим народам», приходил к выводу, что «легче установить абсолютное и деспотическое правление в той стране, где условия существования людей равны, чем в той, где этого нет, и я думаю, что если это правление будет там установлено, оно не только будет угнетать граждан этой страны, но надолго лишит каждого из них многих главных человеческих достоинств» (Токвиль А. де. Демократия в Америке. М., 1992. С. 499).

С. 137. ...особе, введшей меня в клуб. В этой особе некоторые исследователи (см.: Quénet Ch. Tchaadaev et *Les lettres philosophiques*. P., 1931. P. 294—295; *Cadot*. P. 198—199) предлагают видеть Чаадаева; см. наши возражения в примеч. к наст. тому, с. 113. Вообще нижеследующая беседа производит впечатление собственного монолога Кюстина, для большей занимательности перебиваемого репликами вымышленного собеседника, некоторые фразы которого, как, например, признание в желании льстить скорее газетчикам, чем священникам, решительно невозможно приписать Чаадаеву.

С. 138. *Тридентский собор* (1545—1563; с перерывами) вновь рассмотрел и заново определил все основные положения католического вероучения, придав католической церкви тот облик, какой она сохранила до XX века; деятельность Собора помешала распространению реформации в Италии и Испании, затормозила ее развитие во Франции и отчасти укрепила позиции католицизма в Нидерландах и Германии.

С. 139. ...тем вольнодумцам, что вот уже сто тридцать лет управляют страной... Называя этот срок, Кюстин исходит из распространенной концепции, согласно которой французские философы XVIII века, скептики и материалисты, подчинили себе общественное мнение и привели Францию к революции 1789- 1794 гг., тем самым предопределив ее судьбу в XIX веке.

См. наше предисловие к книге. — В пятом издании 1854 г. Кюстин дополнил это примечание фразой: «Наша религия всегда будет страдать от слишком тесного союза с Англией».

...будь доподлинно известно, что он решительно бесполезен... — Примечание Кюстина к третьему изданию 1846 г.: «Недавние события, происшедшие на Таити, подтверждают мысли, высказанные автором в этой беседе». В 1836 г. англичане изгнали с острова Таити французских миссионеров, но в сентябре 1842 г. французский адмирал Дюпсти-Тюар, в свою очередь, выгнал с Таити английского миссионера Причарда, а королева Помаре была принуждена принять протекторат Франции над Таити.

С. 141. ...публичного религиозного воспитания в России не существует. — В строгом смысле слова это утверждение неверно: еще в XVIII веке для всех, к кому предъявлялись образовательные требования, было обязательно изучение Закона Божьего, а в начале XIX века окончательно установился общий состав курса Закона Божьего, направленность которого, впрочем, эволюционировала от философски нравоучительной и религиозно-нравственной к церковно-догматической.

Я... уже писал об этом. — См. т. 1, с. 292 и наст. том, с. 13 (и примеч.).

С. 142. ...среди русских есть такие, которые охотно морочат голову... — Ср. примеч. к т. 1, с. 102 и 294.

С. 142—143. ...царица Евдокия... в 1696 году была вынуждена принять постриг... скончалась... в 1731 году. — Дату смерти Евдокии Федоровны, урожденной Лопухиной (1669— 1731), первой жены Петра I, матери царевича Алексея, Кюстин приводит верно, но ошибается в дате ее пострига (1698), хотя в его основном источнике (*Séjour*. P. 421) эта дата указана правильно.

С. 143. ...вся страна кажется поселением, основанным не далее, как вчера. — Ср. сходное впечатление Баранта: «Тула — один из самых древних русских городов, но узнать это можно только из книг, ибо по внешнему виду всякого русского города кажется, что он построен только вчера» (*Notes*. P. 270).

С. 144. ...вместо того, чтобы... лезть в драку... плачут и целуются... — Тот факт, что русские простолоюдины, «как бы яростно они ни спорили, никогда не доходят до драки и потому на московских улицах никогда не увидишь тех кровавых сцен, что так привычны для жителей Парижа и Лондона», умилял и Ансело (*Ancelot*. P. 276).

С. 147. Погибнув в бою, вы через три дня возвратитесь домой, к женам и детям... — Отчасти похожий вариант этого поверья пересказывает Бернарден де Сен-Пьер: «Русские уверены, что всякого, кто умирает за государя, ожидает вечное блаженство, поэтому ничто — ни невсезнание их генералов, ни неожиданные действия противника — не может их смутить» (*Voyage en Russie*. P. 1179).

С. 148. *Граф Эльзар де Сабран* (1774—1846) — дядя Кюстина, родной брат его матери, литератор-дилетант. Польский поэт, которому подражал Сабран, — Игнаций Красицкий (1735—1801), в 1766—1795 гг. — *епископ Вармийский*; после первого раздела Польши (1772) его епархия отошла к Пруссии, он подолгу жил в Берлине и в 1791 г. мог встретиться там с бабушкой Кюстина и его дядей, эмигрировавшими из революционной Франции; басня заимствована из его сборника «Басни и притчи» (1779), который Красицкий сам переложил на французский (перевод остался в рукописи). См.: *Rosja*. Т. 2. Р. 477—478.

Письмо двадцать девятое

С. 150. *Сообщаясь преимущественно со своими единоверцами...* — Сведения эти, вероятно, восходят к Лекуэнту де Лаво, подробно описывающему быт московских татар, которые «образуют в Москве особую нацию, питаются кониной, совершают омовения, посещают мечеть и держат жен взаперти <...> живут они весьма уединенно и, можно сказать, не смешиваясь с остальным населением города» (*Laveau*. Т. 1. Р. 283).

Апостол Павел сказал... — Римл., 13, 1.

С. 151. *Русские гордятся своей терпимостью по отношению к вере их древних угнетателей...* — Причины этой терпимости русского правительства к мусульманской религии в 1830-е гг. тонко объясняет Барант: за мусульманством в этот момент не стояло никакой политической идеи, поэтому правительство относилось к нему, в отличие от польского католицизма или прибалтийского лютеранства, вполне лояльно и не подвергало преследованиям (*Notes*. Р. 220). Ср. примеч. к т. 1, с. 292.

С. 152. *...возведение баженовского дворца...* — См. примеч. к наст. тому, с. 127.

С. 153. *Вся Россия, нация-дитя — не что иное, как огромный коллеж; здешняя жизнь напоминает военное училище...* — Ср. впечатления Баранта от посещения московского Кадетского училища, которое, по замыслу Николая I, призвано было «воспитывать таких подданных, каких хотелось бы видеть императору. <...> Несчастные ребяташки <четырёх-пяти лет> блюдут военную дисциплину так четко и неукоснительно, как если бы им завтра предстояло вступить в полк. <...> В обучении царит полное единообразие, отчего все ученики всегда остаются равны и не ведают, что такое та иерархия талантов, способностей к более быстрому или более медленному развитию, усердия или лени, которая у нас помогает отделить -- быть может, даже чересчур резко, — одного ученика от другого» (*Notes*. Р. 91—92).

Романовы по происхождению пруссаки... — Скорее всего, Кюстин почерпнул эту версию из Левека, который сообщает о происхождении Романовых: «Андрей, сын Ивана и, как говорят, брат одного прусского князя, приехал в Россию в середине XIV столетия, в царствование великого князя Ивана Ивановича...» (*Levesque*. Т. 6. Р. 138).

С. 154. *«Гобзолия»*, трагедия Расина, была впервые представлена в 1691 г., *«Мизантроп»*, комедия Мольера, — в 1666 г.

С. 155. *Теофилантропы* — представители религиозно-философского течения деистской ориентации, возникшего около 1796 г.; плод одной из многочисленных попыток обновления католицизма. Директория предоставила теофилантропам пустовавшие парижские храмы, где они устраивали богослужения, внешним аскетизмом похожие на протестантские. Успеха среди парижан теофилантропия не имела и к началу XIX века оказалась забыта.

15 августа 1839 года. — По старому стилю 3 августа.

...приблизившись наконец к усадьбе, вы видите позади сада темный и густой еловый лес... — По-видимому, Кюстин побывал в усадьбе, расположенной в Сокольниках.

С. 157. *«Государь смиряет добрые порывы своего сердца... почитает опасным высказывать чувства, слишком резко отличающиеся от чувств его народа?»* — Это противопоставление русского императора народу особенно задело Николая I; по словам Вигеля, «Государь с поразительным самообладанием снес брань и хулу, касавшуюся его особы, и лишь заметил, что маркиз немного нескромен... Но когда дело дошло до глав, где автор нападает на национальный характер русских, которых изображает хитрыми и лживыми, соглядатаями и ворами, брови его нахмурились, гнев вспыхнул в его сердце, и очень скоро, не в силах сдержать негодования, он воскликнул, швырнув книгу на стол: "Подлец! И добро бы он нападал на одного меня!"» (*Wiegel. P. XI*). В записке министра просвещения Уварова, намечающей основные пути, по которым следует опровергать Кюстина, подчеркивалось, что самое опасное в его книге не «множество лживых или смешных анекдотов, не множество выдуманых единичных фактов», но «заветная мысль автора, которую можно сформулировать таким образом: отношения императора к стране... и страны к императору — такого свойства, что оскорбляют все законы божеские и человеческие», задача же, стоящая перед грядущим критиком Кюстина, — «показать, согласно какому закону взаимосохранения император находит опору в национальном чувстве, а национальное чувство, в свой черед, находит воплощение в Императоре» (цит. по: Мильчина В. А., Осповат А. Л. Петербургский кабинет против маркиза де Кюстина // Новое литературное обозрение. 1995, № 13. С. 274—275). Ту же тему продолжил и Греч, противопоставивший французам, которые видят в своем короле лишь докучливого опекуна, русских, для которых император — отец, царь-батюшка (*Gretch. P. 39*). Мысль о том, что «государь, так сказать, сроднился со своим государством» и что «никакая черта царствования нынешнего государя не приобрела ему столько любви, столько похвал, столько всеобщего одобрения, как постоянное стремление его с самого первого дня царствования своего к возвеличению всего русского и к покровительству всему отечественному» (ГАРФ. Ф. 109. Оп. 223. № 2. Л. 6, 3—3об.), постоянно подчеркивалась в отчетах III Отделения как своего рода идеологическая доминанта царствования Николая I.

С. 158. *Вообразите себе французскую учтивость прежних времен...* — Несмот-

ря на скептическое отношение к современной ему Франции, Кюстин все-таки был убежден, что «в одном лишь Париже случаются еще порой те собрания, по которым можно составить себе представление о радостях и прелестях жизни старинного французского общества» (*Ethel*. Т. 2. Р. 85). Представителям других европейских наций Кюстин в этой причастности к традициям «хорошего общества» отказывал. О немцах он писал 15 августа 1816 г. Рахили Варнгаген: «В Германии я учусь ценить достоинства того, что именуется *светом* и против чего я неустанно бунтовал во Франции. Есть масса вещей, которые здешние дворяне усваивают только с помощью умственного усилия, по прошествии долгого времени и благодаря нажитой опытности, тогда как во Франции любой глупец из *хорошего общества* знает их просто потому, что в этом обществе рожден» (*Lettres à Varnhagen*. Р. 39). Об англичанах Кюстин сообщал похода в романе «Этель»: «Возможно ли поверить <...> что самые знатные английские вельможи сохранили привычку после обеда, когда женщины уже перейдут в соседнюю гостиную, вставать из-за стола — того самого стола, к какому они относятся с благоговейным почтением... — и для чего же? для того чтобы в той же самой комнате, иной раз за занавеской или за ширмой, а иной раз и просто в углу удовлетворить на глазах у всех сотрапезников нужду, сделавшуюся более чем настоятельной по причине употребления вина и прочих крепких напитков» (*Ethel*. Т. 1. Р. 59—60; к этому пассажу сделано примечание: «Истинное происшествие. Автор сам был его свидетелем в 1836 году на обеде у герцога *** и графа ***»). На этом фоне особенно лестно выглядят следующие ниже похвалы просвещенным русским.

С. 161. ...выражение Шекспира... *лживы, как вода*.— Шекспир. Отелло, д. 5, явл. 2.

С. 162. ...как это сделал Ричардсон, рисуя Ловласа...— Кюстин противопоставляет моралистический роман Сэмюэля Ричардсона (1689—1761) «Кларисса» (1747—1748) «неистовым» французским романам 1820-х—1830-х гг., таким, как «Мертвый осел и гильотинированная женщина» (1829) Ж. Жанена или «Парижские тайны» (1842) Эжена Сю, о которых автор «России в 1839 году» возмущенно писал Варнгагену 24 декабря 1842 г.: «В какой ужасной словесности мы утопаем. „Парижские тайны“ соперничают с докладами полицейского префекта. Успех этой книги, автор которой замечателен своим талантом, цинизмом и умением придумывать интригу, отбивает у меня охоту писать» (*Lettres à Varnhagen*. Р. 438—439).

С. 165. *Меня познакомили с неким юношей*...— Установить личность этого московского повесы (как называет его Кюстин ниже, «кремлевского ловеласа») пытались уже первые читатели «России в 1839 году». «Кого описывает он <Кюстин> под именем Lovelace de Kremlin?» — спрашивал Жуковский у А. Я. Булгакова 10/22 октября 1843 г. (Жуковский В. А. Соч. Изд. 7. СПб., 1878. Т. 6. С. 556). Согласно версии, восходящей к французскому литератору Ипполиту Оже (1796—1881), автору романа «Петруша. Русские нравы» (1845) и «Мемуаров» (изд. 1891), и принятой М. Кадо (см.: *Cadot*. Р. 203—204), под «кремлевским ловеласом» следует разуметь «Петрушу» — князя Петра Алексеевича Голицына (1792—1842); однако такой

осведомленный современник, как А. И. Тургенев, уверенно идентифицировал этого персонажа с другим повесой, князем Львом Андреевичем Гагариным (см.: *НЛО*. С. 121, 135).

С. 166. ...на представлении «Монахинь» в театре Фейдо...— Речь идет о комической опере на слова Пикара и музыку Девьенна, представленной впервые 7 июля 1792 г. В разгар революции эта пьеса, построенная на ошибке слуги, принявшего монастырь за постоялый двор, имела большой успех. *Театром Фейдо* называлась Комическая опера, располагавшаяся в это время на улице Фейдо.

С. 167. ...труп несчастного, разрубленный на куски, был найден на дне колодца.— История эта, кажущаяся почерпнутой из романа ужасов, имела, однако, соответствия в реальных петербургских сплетнях 1830-х гг.; ср. в недавно опубликованном письме Дантеса к Геккерену от 28 декабря 1835 г.: «Едва не забыл рассказать историю, которая составляет предмет всех разговоров в Петербурге вот уже несколько дней <...> в окрестностях Новгорода есть женский монастырь, и одна из монашек на всю округу славилась красотой. В нее безумно влюбился один офицер из драгун. Помучив его больше года, она согласилась наконец его принять, с условием, что придет он в монастырь один и без провожатых. В назначенный день он вышел из дому около полуночи, пришел в указанное место и встретил там эту монашку, она же, не говоря ни слова, увлекла его в монастырь. Придя в ее келью, он нашел превосходный ужин с самыми разнообразными винами, <...> она <...> спросила, какие доказательства своей любви он может дать. Он <...> доведенный до крайности, сказал, что сделает все, чего она ни попросит. Заставив его принести клятву, она взяла его за руку, подвела к шкафу, показала мешок и сказала, что если он унесет его и бросит в реку, то по возвращении ему ни в чем не будет отказа. Офицер соглашается, она выводит его из монастыря, но он не сделал и 200 шагов, как почувствовал себя дурно и упал. <...> несчастная отравила его, и прожил он лишь столько, чтобы успеть обо всем рассказать. Когда же полиция открыла мешок, она нашла в нем половину монаха, жутко изуродованного» (Звезда, 1995, № 9. С. 185).

С. 169. ...кучер — юный крестьянин, лишь недавно привезенный из деревни.— Реплика Вяземского: «Я весьма сожалею, что г-н де Кюстин явился в Россию для того, чтобы разыскивать там *кремлевских ловеласов, ветхозаветных донжуанов* и элегантных кучеров, в обществе которых он распивал шампанское в ходе оргии, о которой он мог бы промолчать из уважения к читателям...» (цит. по: *Cadot*. P. 273).

С. 170. Судя по рассказам господ вертопрахов, московские мещанки ведут себя ничуть не более благонаравно, нежели знатные дамы.— Ср. очерк русских нравов в письме художника О. Верне к жене из России от 26 ноября 1842 г.: «Добро бы все это <принужденный и холодный вид всех посетителей русских гостиных> способствовало улучшению нравов, однако здесь столько же шлюх, сколько во всех других странах. Просто здесь изменам придают меньше значения и называют их оплошностями. На женщину, имеющую десять любовников, смотрят точно так же, как на ту, что имеет всего одного» (*Durande*. P. 215).

С. 171. «*И я тоже художник!*» — выражение, по преданию, восходящее к восклицанию Корреджо (ок. 1489—1534) при виде картины Рафаэля «Святая Цецилия» (иногда называют другую картину того же автора).

С. 172. *Я приехал в Россию, находясь во власти одного предрассудка...* — См. т. 1, с. 147 и примеч.

С. 173. *...самым слащавым тоном они уверяют вас, что русские крестьяне — счастливейшие существа в мире.* — Ср. у Баранта: «Герпеливая покорность и смиренная преданность крестьян императору или помещику — тема, о которой русские даже в частных беседах распространяются в тоне выпендренном и сентиментальном, восхищенном и умиленном» (*Notes*. P. 400).

С. 174—175. *...станут говорить: «Надо признаться, он был страшно неосторожен».* — Именно такая судьба постигла А. И. Тургенева, который в апреле 1843 г. был вызван из Москвы в Петербург по подозрению в том, что предоставил рукописные материалы для брошюры Долгорукова (см. следующее примеч.). Тургенев сумел исчерпывающе доказать свою непричастность к этому делу, и тем не менее летом 1843 г. на водах в Мариенбаде русские, включая великую княгиню Елену Павловну, сторонились его как «сообщника д'Альмагро» (*ОА*. Т. 4. С. 256).

С. 175. *...князя Долгорукова, автора невинной брошюры...* — Князь Петр Владимирович Долгоруков (1817—1868) в начале февраля 1843 г. выпустил в Париже на французском языке под псевдонимом граф д'Альмагро брошюру «Заметка о главных родах в России» (объявлена в «*Bibliographie de la France*» 11 февраля 1843 г.), в которой, по словам видного сановника М. А. Корфа, «откровенно рассказал происхождение и домашние тайны некоторых высших наших фамилий» и которую Я. Н. Толстой расценил как «хулы и клеветы с большими шансами на правдивость» (*Лемке*. С. 531, 530). Заметка в «*Journal des Débats*», на которую ссылается Кюстин и к которой восходит его примечание, была опубликована 28 марта 1843 г. Здесь сообщается, что «князь Д..., принадлежащий к одному из славнейших родов России и проживавший некоторое время в Париже, только что получил приказ покинуть Францию и немедленно вернуться в Москву». Причиной этого, объясняет автор заметки, явилась брошюра князя, представляющая собою не что иное, как простое перечисление титулов, которое в любой другой стране могло бы испугать лишь людей, не имеющих на свои титулы никакого права, в России же произвела большой шум, ибо здесь все зависит от воли одного человека — императора, и никакие действия высшей власти никогда не обсуждаются публично. Ссылаясь на «своего корреспондента в Петербурге», газета сообщала, что особый гнев императора вызвали два места в брошюре. Первое — «приложение к биографической справке о роде князей Трубецких, один из представителей которого так жестоко расплачивается в Сибири за попытку устроить революцию, которую предпринял по смерти императора Александра». В этом «приложении» князь Д... рассказывает об избрании на царство Михаила Романова и, назвав других претендентов на русский престол Мстиславского, Пожарского и Трубецкого, отказавшихся от этой чести в пользу Романовых, напоминает о «конституции», которой поклялся хранить верность Михаил Романов:

«Палата боярская состояла из бояр и определенного числа чиновников, выбранных царем думных дворян, палата общин — из представителей духовенства, дворянства и буржуазии (т. е. купечества)». Конституция, которой Михаил Романов поклялся следовать в 1613 г., а Алексей Михайлович в 1645 г., писал «*Journal des Débats*», не разрешала царю «устанавливать новых податей, объявлять войну, заключать мир и приговаривать к смертной казни без согласия палат. До Петра I в начале всех указов стояло: „Царь указал, и бояре приговорили“. Петр I, мало приверженный конституционным формам правления, уничтожил обе палаты, и с тех пор ни одна русская книга не осмеливалась их упоминать. Но официальные бумаги, хранящиеся в архивах империи, свидетельствуют об их существовании» (об «ограничениях» власти царя Михаила Федоровича как плоде анахронистических представлений XVIII века см.: Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. М., 1993. С. 336—344). Другим источником высочайшего неудовольствия газета называет упоминание Долгоруким его более подробного сочинения «История России после восшествия на престол Романовых», которое «к маю месяцу будет окончено и останется на хранении в гостеприимной Франции вплоть до тех пор, когда оно будет опубликовано, сказать же, когда именно это произойдет, автор пока затрудняется». Российского императора, утверждала парижская газета, разгневало упоминание Франции в таком контексте. В авторстве заметки в «*Journal des Débats*» подозревали самого Долгорукова (русский поверенный в делах Н. Д. Киселев, по сообщению Я. Н. Толстого, знал это «из верного источника» — ГАРФ. Ф. 109. СА, оп. 4. № 195. Л. 89 об.), Долгоруков же «не признавал себя автором» (А. И. Тургенев — Н. И. Тургеневу, 26 мая 1843 г.; РО ИРЛИ. Ф. 309, № 950. Л. 235). «Заметка о главных родах в России» вызвала во Франции оживленный интерес как в правительственных, так и в легитимистских кругах. По свидетельству А. И. Тургенева, «Шатобриан и Тьер уговаривали его <Долгорукова> писать историю своей страны» (РО ИРЛИ. Ф. 309, № 950. Л. 238; письмо к Н. И. Тургеневу от 18/30 июня 1843 г.), а сам Долгоруков в покаянном письме к Николаю I хвалился: «Старец Шатобриан — эта живая хоругвь чести и великодушия — сказал мне: «Князь! Дворянству русскому следовало бы соорудить вам памятник; до вас никто из нас ничего и не знал об этом дворянстве!» (Лемке. С. 535). 16/28 февраля 1843 г. Долгоруков за публикацию брошюры был вызван в Россию, куда прибыл 1 мая, и сразу по прибытии был арестован. 20 мая Николай I распорядился сослать Долгорукова в Вятку с обязанностью служить. От службы князь отказался, ссылаясь на закон, предоставляющий каждому дворянину право служить или не служить по собственному усмотрению, но в ссылку отправился (в Вятку он прибыл 1 июня 1843 г.).

Пока он еще не приговорен к ссылке, император лишь посоветовал ему отправиться туда... См. «Франкфуртскую газету»... — Франкоязычная газета «Journal de Francfort», отчасти субсидируемая русским правительством, писала 5 мая 1843 г.: «Берлин, 26 апреля. Русские, посещающие нашу столицу, мало рассказывают о том, что происходит в их стране, ибо у них есть все основания действовать осторожно и осмотрительно. Тем не менее

нередко они помогают нам исправлять ложные слухи, которые иные люди охотно распространяют о России за границей и в особенности во Франции. Так, русские уверяют, что неверно, будто князя Долгорукий и Мирский, только что возвратившиеся из Парижа в Петербург, обречены на опалу. Всем русским помещикам, пробывшим некоторое время в чужих краях, приходится рано или поздно возвращаться в Россию. Если русское правительство старается помешать богатым помещикам заживаться в Европе, то причиной тому исключительно соображения финансовые».

...а тем временем сердце его гложет червь.— Примечание Кюстина к пятому изданию 1854 г.: «С 1839 года правительство это ничуть не изменилось: и ныне, в 1854 году, оно точно таково же, каково было прежде».

С. 177. См. *Рабле, книга III, глава 3*.— В этой главе, повествующей «О том, как Панург восхваляет должников и займодавцев», говорится, что если никто никого ничем не будет ссужать, мир «выбьется из колеи». Употребленное Рабле, а вслед за ним Кюстином французское слово *dégaue* в словарном значении — сельскохозяйственный термин, означающий «проводить борозду через пашню» или «проводить между».

С. 178. *Дюпре* — см. примеч. к т. 1, с. 93.

С. 179. «*Вильгельм Телль*» (1829) — опера Джоаккино Россини (1792—1868).

Ронкони Джорджо Алессандро (1812—1875) — итальянский певец, дебютировавший в 1831 г. в Париже; в 1843 г., после выступлений в Лондоне, вновь вернулся на сцену парижской Итальянской оперы. Кюстин был с ним знаком лично (см.: *Tart. P.* 491).

«*Бог и баядера*» (1830) — опера-балет на музыку Обера (слова Скриба).

Буффе Мари (1800—1888) — французский комический актер, одной из прославленных работ которого была роль в водевиле «*Мишель Перрен*» (1834), сочиненном Анн Оноре Жозефом *Мельвилем* (наст. фам. Дюверье; 1787—1865) и его братом Шарлем *Дюверье* (1803—1866) по одноименной новелле Александрины Софи *Бауер* (урожд. Кури де Шангран; 1773—1860).

С. 180. *Не знаю, до какой степени понятны русским наши пьесы...*— Сходные сомнения испытывал и Барант, который, по свидетельству Вяземского, на представлении в Петербурге осенью 1837 г. новой комедии Скриба «Приятели» («*La Samaraderie*») «дивился, как публика хорошо любила спирт этой пьесы» (РО ИРЛИ. Ф. 309. № 4715. Л. 66; письмо А. И. Тургеневу от 22 ноября / 4 декабря 1837 г.; «спирт» — каламбур Вяземского, основанный на двойном значении французского слова *esprit* — спирт и остроумие). Впрочем, позже, побывав в русской провинции, нравы которой показались ему очень похожими на провинциальные нравы во Франции, Барант перестал удивляться сочувственной реакции русской публики на французские комедии: «Не знаю, оттого ли, что у русского и французского характеров много общего, или оттого, что русских сблизила с нами привычка читать наши книги и говорить на нашем языке, но «Городок» Пикара <знаменитая французская комедия, впервые поставленная в 1801 г.> в России показался бы таким же достоверным, как и у нас» (*Notes. P.* 269). Ср. у д'Арленкура:

«Я испытал истинное чувство гордости и радости, когда, войдя в театр, находящийся в пятистах лье от Парижа, внезапно очутился во французском зрительном зале, а передо мной на сцене французские актеры разыгрывали французские пьесы. «Франция вездесуща», — говорил я себе и отказывался верить, что меня отделяет от нее огромное расстояние» (*Arlicourt. T. 1. P. 201*).

«*Врач против воли*» (1666) — комедия Мольера, где Сганарель, изображающий врача, сыплет «латинскими» терминами собственного изобретения (д. 2, сц. 4).

С. 182. *Они умеют желать.*— Определение, восходящее к Ж.де Местру: «Пишущий эти строки не раз говорил в шутку (но в шутке этой, полагаю, была доля правды), что *если бы можно было запретить русское желание в крепость, оно бы эту крепость взорвало*, за тем человека, который умел бы *желать* так страстно, как русский. Понаблюдайте за тем, как он тратит деньги, как гонится за пригрезившимися ему наслаждениями, и вы увидите, как он способен *хотеть*» (*Maistre J.de. Quatre chapitres sur la Russie. P., 1859. P. 21*). Работа Местра «Четыре главы о России» была впервые опубликована в 1859 г., но фразу о «русском желании», способном взорвать крепость, процитировала, со ссылкой на «одного выдающегося человека», г-жа де Сталь в книге «Десять лет в изгнании», которую Кюстин хорошо знал.

...*вооруженный неизменным топориком...*— Ср. у Ансело: «Русский ремесленник не таскает за собой тот набор усовершенствованных инструментов, без которого шагу не могут ступить наши рабочие; ему хватает его топорика. Острый, как бритва, топорик в руках русского мужика выполняет работы как самые грубые, так и самые тонкие; топорик этот, которым русский простолудин орудует с поразительной точностью, заменяет ему и рубанок, и пилу, и молоток» (*Ancelot. P. 280*).

Письмо тридцатое

С. 183. *17 августа 1839 года.*— По старому стилю 5 августа.

С. 184. *...единообразие... одна и та же всхолмленная равнина...*— Сходные впечатления плоский русский пейзаж вызывал нередко и у русских путешественников. См., например, ощущения Д. Н. Свербева, возвращающегося из Европы в начале 1826 г.: «...охватывала меня всего скука и грусть по нашей однообразной плоской природе, по нашей крайней народной бедности не только по сравнению с народным бытом Германии, но и по сравнению с бытом Царства Польского», которое на каждом шагу представляло нищету края, разоренного до конца частыми войнами...» (Свербев Д. Н. Записки. М., 1899. Т. 2. С. 340).

С. 185. *Луизи Бернардино* (ок. 1480/1490—1532) — итальянский художник, автор фресок, в которых заметно сильное влияние Леонардо да Винчи.

С. 186. *...от 4/16 марта 1837 года...* На русском языке то же сообщение было напечатано в «Санкт-Петербургских ведомостях» 26 февраля / 10

марта 1837 г. («Journal de Saint-Petersbourg» — газета, выходившая в Петербурге с 1813 г., — представляла собой сокращенный французский вариант этой официальной русской газеты). В нашем переводе текст заметки приводится по «Санкт-Петербургским ведомостям».

...одни мой знакомцу, словам которого можно доверять. — В научной литературе повторяется утверждение о том, что «троицким» собеседником Кюстина был А. И. Тургенев (см.: *Cadol*. P. 180—182; эта версия подробно и с сообщением множества вымышленных подробностей развита в статье Е. Цимбаевой «Русские соавторы „России в 1839 году“» — Вестник МГУ. Серия 8. История. 1994. № 1. С. 43—44). Версия эта, однако, противоречит хронологии: Тургенев, прибывший из-за границы в Петербург 10/22 августа 1839 г. (см.: РО ИРЛИ. Ф. 309. № 706. Л. 21), оставался в «северной столице» безвыездно (за исключением поездок в Царское Село) до февраля 1840 г., когда и уехал в Москву. В России Тургенев, дававший Кюстину советы и рекомендательные письма накануне поездки (см. примеч. к т. 1, с. 62 и 122), увиделся с французским путешественником лишь по возвращении того из Нижнего Новгорода, в Петербурге 7/19 сентября 1839 г. Можно было бы предположить, что сходная беседа в самом деле состоялась у Кюстина с Тургеневым, но не в Троице, а в другом месте, например, в Петербурге, однако некоторые реплики «троицкого собеседника» (прежде всего, резко недоброжелательные оценки поляков) трудно представимы в устах Тургенева; далека от беседы, описанной в комментируемом фрагменте, и тематика реального разговора Кюстина с Тургеневым, зафиксированная в дневнике последнего: «о разорении отечественных» памятников и о различиях в сроке: все на одно лицо» (*НЛО*. С. 108).

Русские приписывают эти беспорядки польским интригам. — Кюстин совершенно точно воспроизводит слухи, распространявшиеся в обществе; ср. в отчете III Отделения «о внутреннем состоянии и крестьянском движении в связи с пожарами» летом 1839 г.: «Общее мнение относилось злоумышленные действия к полякам» (*Крестьянское движение*. С. 349).

С. 190. *Песталоцци Иоганн Гейнрих (1746—1827)* — швейцарский педагог, филантроп, пропагандист и практический устроитель школ для народа; хотя его теории уступали в фантастичности и универсальности теориям французского философа и экономиста Шарля Фурье (1772—1837), разработывавшего подробные планы переустройства на разумных основаниях всего общества, оттенок утопичности был свойственен и им.

С. 191. *Сей знаменитый пустынный основал в 1338 году Троицкий монастырь...* — Информацию об истории Троице-Сергиевой лавры Кюстин мог почерпнуть в кн.: *Schnitzler*. P. 96—97.

...история бегства Петра Великого... — См.: *Ségur*. P. 290—291 (кн. VII, гл. 1); у Сегюра, впрочем, указание на исключительное мужество десятилетнего Петра отсутствует; напротив, стоящие на его стороне воины чудом спасают отрока от смерти.

С. 192. ...дар императрицы Анны... Петр Великий возил его с собою... — Почти дословное воспроизведение рассказа Шницлера (см.: *Schnitzler*. P. 99).

Число монахов... достигает лишь сотни; раньше их было более трехсот. — Ср.:

«Прежде в монастыре жило триста монахов; теперь их не больше сотни» (*Schnitzler*. P. 101).

...мне так и не захотели показать библиотеку...— Комментарий Греча: «Маркиз уверяет, будто, несмотря на его настоятельные просьбы, ему не захотели показать библиотеку Троицкого монастыря, а переводчик будто бы сказал ему, что ее осматривать запрещено. Быть может, так оно и было. Однако ж в 1833 году побывал я в монастыре в обществе г-на Бьюкенена, американского посланника, и г-на Герреро, секретаря португальского посольства, и нам с величайшей предудительностью показали библиотеку» (*Gretch*. P. 87).

С. 195. *Лихург считал...*— Цитата из Монтеня приводится в переводе Ф. А. Коган-Бернштейн.

Письмо тридцать первое

С. 197. *18 августа 1839 года.*— По старому стилю 6 августа.

С. 200. *Станцы* — парадные залы Ватиканского дворца, росписями которых прославился Рафаэль.

С. 205. *...архославский губернатор...*— Этот пост занимал с 1834 по 1842 г. Константин Маркович Полторацкий (1782—1858), с 1818 г. женатый на Софье Борисовне, урожденной княжне Голицыной (1796—1871). Полторацкий, произведенный в 1812 г. в генерал-майоры, командовал в 1813 г. Нашебургским и Апшеронским полками, отличился при блокаде и взятии крепости Торн и в Лейпцигской битве; под Шампобером взят французами в плен и отправлен в Париж; освобожден лишь после занятия столицы Франции союзными войсками. Сын Полторацкого Борис Константинович (1820—1880) был в 1839 г. подпоручиком лейб-гвардейского гусарского полка. Ср. описание визита к Полторацким в письме Кюстина к г-же Рекамье из Нижнего Новгорода от 3 сентября 1839 г.: «Я вхожу в эlegantную гостиную и вижу там два десятка человек, находящихся в родстве с хозяином дома; они назначили друг другу свидание в этом городе. Первое, что я слышу, это вопрос, как поживает Эльзеар <де Сабран, дядя Кюстина> и сочиняет ли он басни. Выясняется, что жена здешнего губернатора — урожденная княжна Голицына, что у нее есть пять или шесть весьма любезных сестриц, состоящих в родстве с парижской госпожой Эдуар де Комон, и наконец, что гувернанткой их всех была госпожа де Нуазвиль, ближайшая подруга моей бабушки. Она — побочная дочь госпожи де Водрей; женщина исключительно острого ума, она сообщила всему дому, всей семье, всему краю тон записок госпожи де Жанлис. Семейство это расспросило меня обо всех любезнейших жителях Парижа, следовательно — о вас» (цит. по: *Cadot*. P. 220; пользуемся случаем исправить неточность в публикации этого письма: речь в нем идет не о *госпоже*, а о *господине* де Водрее; благодарим за эту информацию, а также за биографические сведения о г-же де Нуазвиль ее потомка г-на Филиппа Мартине). Альбертина де Нуазвиль (урожд. де Фьерваль; 1766 — не позже 1842) была

побочной дочерью Жозефа Иасента Франсуа де Поля Риго, графа де Водрея (1740—1817), приближенного королевы Марии Антуанетты и любовника ее ближайшей подруги герцогини де Полиньяк. В Петербург г-жа де Водрей приехала, по-видимому, около 1795 г., а с начала 1800-х гг. (не позднее 1804 г.) сделалась воспитательницей в семействе Голицыных. Г-жа Эдуар де Комон — урожденная княжна Голицына (см.: РО ИРЛИ. Ф. 309. № 127. Л. 30). Вторично Кюстин виделся с четой Полторацких и госпожой де Нуазвиль, «умной воспитательницей всех князей Голицыных» (А. И. Тургенев — *НЛО*. С. 121) в январе 1840 г. в Париже, где те были проездом (см.: *Tarn*. P. 514—515).

С. 206. *Альтана* — см. примеч. к т. 1, с. 228.

«*Это прямо сказка об Алине...*» — Кюстин упомянул сказочную повесть «Алина, королева Голконды» (опубл. 1761), во-первых, потому, что сюжет ее изобилует неожиданными встречами и совпадениями, а во-вторых, потому, что таким образом он отсылал осведомленную собеседницу к кругу своих семейных преданий: повесть о голкондской королеве сочинил возлюбленный его бабушки г-жи де Сабран шевалье Станислас Жан де Буфлер (1738—1815).

...*эмигрировала в Россию вместе с семейством Полиньяк, а после смерти герцогини де Полиньяк...* — Герцогиня Иоланда Мартина Габриэла де Полиньяк (урожд. де Поластрон; 1749—1793), жена герцога Жюля де Полиньяка (?—1817), была ближайшей подругой королевы Марии Антуанетты и получила от нее в дар огромные денежные суммы, за что была особенно ненавистна французским простолудинам накануне революции. Полиньяки покинули Францию едва ли не самыми первыми, через два дня после взятия Бастилии, однако до России герцогиня не добралась и умерла в 1793 г. в Вене, герцог же после смерти жены приехал в Петербург, получил в дар от Екатерины II поместье на Украине и до своей смерти не покидал Россию.

С. 207. ...*из знатного рода, основатель которого был выходцем из Литвы...* — См.: <Долгоруков П. В.> Notice sur les principales familles de la Russie. P., 1843. P. 25.

Госпожа де Марсан (урожд. де Роган-Субиз) Мари Луиза (1720—1803) приходилась не сестрой, а теткой Анри Луи Марку де Рогану, *принцу де Гемене* (1745—1809), «прославишемуся» в 1783 г. оглушительным банкротством (он лишился около 70 миллиардов старых франков); в первую очередь эта финансовая катастрофа отразилась на жене принца (урожд. де Субиз), которая потеряла свою должность гувернантки королевских детей.

...*в комнате своей бабушки...* — О графине де Сабран см. примеч. к т. 1, с. 29.

Госпожа де Куален — Мари Анна Луиза Аделаида, маркиза де Куален (урожд. де Майи; 1732—1817), кузина фавориток Людовика XV (его благосклонностью пользовались четыре сестры: графини де Майи и де Вентимиль, герцогини де Лораге и де Шатору), воплощение старинного аристократического духа, женщина надменная, независимая, непринужденная, ироничная; ее остроумные высказывания, привычки и причуды выразительно описаны Шатобрианом в «Замогильных записках» (кн. 17, гл. 2).

С. 208. ...*брат* — князь ***, который превосходно пишет на нашем языке. — Князь Николай Борисович Голицын (1794—1866), переведший на французский язык «Бахчисарайский фонтан» и «Клеветникам России» Пушкина (изд. 1838 и 1839), автор стихотворного сборника «Essais poétiques» (М., 1839), который он и преподнес Кюстину. См. о нем: Русские писатели. 1800—1917. Биографический словарь. М., 1989. Т. 1. С. 608—609. Д'Арленкур, ехавший вместе с Н. Б. Голицыным из Петербурга в Москву, весьма лестно отзываясь об этом «воистину достойном человеке» (*Arlincourt*. Т. 1. Р. 292).

«В утешение матери» — На самом деле цитируемое стихотворение Н. Б. Голицына называется «В утешение г-же М..., урожденной графине Р..., оплакивающей потерю супруга и матери».

С. 209. ...*много говорили о «Жане Сбогаре»*... — «Жан Сбогар» (1818) — роман о благородном разбойнике, сочиненный Шарлем Нодье (1780—1844) и пользовавшийся в России сразу по выходе из печати огромной популярностью среди публики, читавшей по-французски (по-русски он в это время издан не был). 20 октября 1818 г. Вяземский писал о «Жане Сбогаре» А. И. Тургеневу: «Тут есть характер разительный, а последние две или три главы — ужаснейшей и величайшей красоты. Я, который не охотник до романов, проглотил его разом» (ОА. Т. 1. С. 133; Тургенев согласился с этой высокой оценкой — см.: ОА. Т. 1. С. 137).

...*даром рассказчика, каким обладает он сам!* — Нодье был общепризнанным мастером устных исторических новелл; о событиях прошлого он рассказывал так, словно «присутствовал при сотворении мира и, видоизменяясь, прошел сквозь века» (Дюма А. Собр. соч. В 12 т. М., 1979. Т. 7. С. 629). Кюстин посвятил Шарлю Нодье письмо 45-е в книге «Испания при Фердинанде VII».

...*в прошлом военный и адъютант императора Александра*. — Н. Б. Голицын в 1812 г. был офицером Киевского драгунского полка, адъютантом П. И. Багратиона; участвовал в Бородинском и других сражениях, был ранен и награжден многими орденами. Обостренный интерес к религии отразился впоследствии, в конце 1850-х гг., в его богословских работах, посвященных проблеме воссоединения православной и католической церквей.

С. 210. ...*давать святое благословение тремя перстами, тогда как истинный обряд требует, чтобы в излиянии на верующих небесной благодати участвовали только указательный и средний пальцы*... — Спор о том, каким — двоеперстным или троеперстным — должно быть крестное знамение, восходит к середине XVII в., когда Никон (Никита Минов; 1605—1681), в 1652 г. ставший патриархом, начал проводить свои реформы, приведшие к расколу в православной церкви. Противники Никона осуждали троесперстие, так как «в двоеперстном крестном знамении два протянутых перста означают две природы Христа, а пятый, четвертый и первый, сложенные в щепоть у ладони, означают Троицу. Введя троесперстие, только Троицу, Никон <с точки зрения его противников> пренебрегал другим догматом, забывая о человеческом естестве Христа» (Плюханова М. Б. // Пустозерская проза. М., 1989. С. 18).

...сестры с мужьями...— Татьяна Борисовна Голицына (1797--1869), с 1815 г. жена Александра Михайловича Потемкина, и Александра Борисовна Голицына (1798--1878), с 1827 г. жена Сергея Ивановича Меццерского. См.: Голицын Н. Н. Род князей Голицыных. СПб., 1892. Т. 1. С. 168--169.

...называется по-русски... «закуска».— Французу в 1869 г. русская манера сервировать на отдельном столе водки и закуски («буфет») казалась странной экзотикой; эта русская система вошла в моду во Франции позже, в 1860-е годы (см.: Лотман Ю. М., Погосян Е. А. «Лишь беззаботный гастроном прозвоня мудрого достоин...» // Звезда. 1995. № 7. С. 121).

С. 212. *Один из братьев... на виолончели... аккомпанировала жена...*— Виолончелистом был Николай Борисович Голицын (см. примеч. к наст. тому, с. 208), с 1829 г. женатый вторым браком на Верс Федоровне (Вильгельмине Фридриховне) Пешман.

Где сыскать для них летописца и поэта? — Во Франции таким поэтом оказался Альфред де Виньи, сочинивший поэму «Ванда» (1847; опубли. 1864) на основании услышанных в мае 1845 г. рассказов графини Александры Ивановны Коссаковской, сестры Е. И. Трубецкой (см. ниже примеч. к наст. тому, с 310).

С. 214. *Смотри письмо девятнадцатое.* — См. т. 1, с. 337--340.

С. 215. *...армия приказчиков... проникнутых революционными идеями... эти незаметные тираны, эти деспотичные пигмеи...*— Ср. размышления Баранта о переменах, которые сулит России появление третьего сословия: правительство не желает предоставлять этому сословию никаких политических прав, что рано или поздно приведет к революции, призванной изменить не носителей власти, а саму структуру общества, иначе говоря, революции самой страшной (*Notes*. P. 315). Специально останавливается Барант и на взяточничестве чиновников; взятки в России, пишет он, вещь до такой степени привычная, что когда судьям увеличили жалование, они ровно во столько же раз увеличили размер взяток (*Notes*. P. 137). О взяточничестве российских чиновников французские путешественники, прибывшие в Россию на сравнительно короткий срок, могли судить скорее по чужим рассказам, нежели на собственном примере; самому Кюстину, как и Мармье, безмятежно замечающему в своей книге, что лично с него никто взяток не требовал (*Marmier*. Т. 1. P. 261), с чиновничьими поборами сталкиваться не пришлось.

С. 216. *...заслал в Петербург... множество политических агентов... тайно проложить путь нашим солдатам.* — Возражения Греча: «Абсурдно думать, что Наполеон вынашивал столь далеко идущие планы: он слишком хорошо понимал, что пяти-шести лет недостаточно, чтобы деморализовать целое поколение; поэтому он послал в Россию лишь военных инженеров, которые, прибыв, по большей части, под видом коммивояжеров, должны были чертить планы для французской армии. Почти все эти агенты, так же как и кое-кто из шпионов, были опознаны, арестованы и посланы под надзором в наш тыл, где вольны были продолжать свои разыскания; однако по окончании войны правительство выдворило их за пределы России»

(*Gretch*. P. 88). Наполеон имел намерение выпустить прокламации для возбуждения русских крестьян против русского дворянства и даже приказал искать в московских архивах документы о Пугачеве, надеясь затем найти продолжателя его дела, но в конце концов все-таки не решился прибегнуть к этой мере (см.: Троицкий Н. А. 1812. Великий год России. М., 1988. С. 220).

Письмо тридцать второе

С. 219. 21 августа 1839 года.— По старому стилю 9 августа.

Юрвец-Повольский -- у Кюстина: Юрьвец-Повойский.

Кинешма -- у Кюстина: Кунеша.

С. 223. ...*Алексея Романова и его матери*...— Ошибка Кюстина: в Ипатьевском монастыре под Костромой жил Михаил Федорович Романов с матерью Ксенией Ивановной, урожденной Шестовой, принявшей постриг под именем Марфы после того, как насильно постригли в монахи (под именем Филарета) ее мужа, Федора Никитича Романова; Ксения и Михаил покинули монастырь в 1613 г., когда Михаил Романов был избран на царство.

...в Петербурге, если человек упадет в Неву, никто и не думает его вытаскивать...-- По Баранту, равнодушие петербургского простонародья к жертвам несчастных случаев объяснялось тем, что народ робел предпринимать что бы то ни было до появления полиции: «Если человек лишается чувств на улице, никто не бросается ему на помощь: поднять его должен кто-нибудь из полиции. Если вспыхивает пожар, никто и не думает его тушить: сначала должна прибыть полиция». Барант вспоминает даже случай, виденный им лично: тонувшего ребенка вытащили из реки, мать хотела отнести его домой переодеть в сухое, но ей пришлось сначала отправиться с ним в полицейский участок, дабы происшествие занесли в протокол (см.: *Notes*. P. 38--40). Ср. сходные объяснения у русского мемуариста: когда 2 февраля 1836 года начался страшный пожар в масленичном балагане фокусника Лемана, «народ, толпившийся на площади по случаю праздничных дней, бросился к балагану, чтобы разбирать его и освобождать людей. Вдруг является полиция, разгоняет народ и запрещает что бы то ни было предпринимать до прибытия пожарных: ибо последним принадлежит официальное право тушить пожары. Народ наш, привыкший к беспрекословному повиновению, отхлынул от балагана, стал в почтительном расстоянии и сделался спокойным зрителем страшного зрелища. Пожарная же команда поспела как раз вовремя к тому только, чтобы вытаскивать крючками из огня обгорелые трупы» (*Никитенко*. Т. 1. С. 181).

С. 224. ...*описание сарматов у Тацита*...-- Слово *glaucus* (серо-голубой, зеленоватый, цвета морской волны), от которого произошло французское слово *glauque*, употребляемое Кюстином, у Тацита отсутствует (см.: *Thesaurus linguae latinae*. Lipsiae. Т. 6. S. 2040). По-видимому, Кюстин просто сослался на Тацита как автора самого известного сочинения древности, посвященного жизни варваров, -- «О происхождении германцев».

С. 225. ...*кажется, будто именно эта страна наваяла Руссо первый очерк его системы...*— Имеется в виду трактат Руссо «Рассуждение о науках и искусствах» (1750), написанный в ответ на вопрос Дижонской академии: «Способствует ли развитие наук и искусств очищению нравов?»— вопрос, на который Руссо, как известно, ответил отрицательно.

Греки... называли... «сиромедами»...латинское слово «сарматы». Версия Кюстина о происхождении слова «сарматы» (иначе «савроматы») от греческого «савро»— «ящерица», современными исследованиями не подтверждается и принадлежит, по всей видимости, к сфере «народной этимологии». См.: Ельницкий Л. А. Скифия евразийских степей. Новосибирск, 1977. С. 106—107; Забалин И. Е. История русской жизни с древнейших времен. М., 1876. Ч. 1. С. 267—268.

С. 228. *На месте императора я бы не только запрещал подданным жаловаться, но не позволял бы им и петь...*— Комментарий А. И. Тургенева: «Как справедливо, что Кюст(ин) говорит о пении русских: но он не знал, что пение в самом деле было запрещено п(етер)бургскою полициею в П(етер)бурге, особливо на лодках, гребцам на Неве: я точно не помню, чтобы когда-нибудь русские песни раздавались в П(етер)бурге!» (НЛО. С. 121). Впрочем, в данном случае речь, вероятно, идет о пении «неорганизованном»; хоры песельников и игра духового оркестра нередко сопутствовали прогулкам богатых жителей Петербурга по Неве (см.: Пыляев М. И. Забытое прошлое окрестностей Петербурга. СПб., 1889. С. 114), что нашло отражение в первой главе «Евгения Онегина»: «Лишь лодка, веслами махая, // Плыла по дремлющей реке, // И нас пленили вдалеке // Рожок и песня удалая...»

С. 230. ...*спросил я курьера.*— Курьером Кюстин время от времени именует своего фельдъегеря.

С. 231. ...*то были не преступники о нет, то были поляки...*— Комментарий Греча: «Автор рассказывает, как между Ярославлем и Нижним Новгородом спросил у кучера, куда ведет дорога, по какой они едут, и услышал в ответ: «В Сибирь». Вы без труда вообразите себе ужас, который сковал при этих словах члены маркиза. Внезапно он замечает трех ссыльных, сопровождаемых к месту назначения, и видит в этих ворах или разбойниках неизъяснимых героев добродетели, жертв деспотизма. Освободись эти герои в виду кареты маркиза от своих цепей, они не преминули бы на деле показать ему свои либеральные убеждения» (Gretch. P. 89). Примечание Кюстина к третьему изданию 1846 г.: «Многие авторы опровержений на мою книгу сочли необходимым опровергнуть наши представления об бедствиях, претерпеваемых ссыльными в Сибири. Они рисуют нам жизнь в этих отдаленных колониях в самых идиллических тонах. Как жаль, что отечество их не всегда может похвастать теми чарами, какие русские приписывают своим азиатским владениям».

Письмо тридцать третье

С. 232. *22 августа 1839 года.*— По старому стилю 10 августа.

С. 233. ...*император Александр перенес ее в Нижний.*— Макарьевская

ярмарка была перенесена из Макарьева в Нижний Новгород в 1817 г., о чем Кюстин мог прочесть у Шницлера (*Schnitzler*. Р. 113).

С. 234. *Число иностранцев... составляет двести тысяч...*— Цифра почерпнута из Шницлера (*Schnitzler*. Р. 119).

С. 235. *...уже успел повидать губернатора...*— Нижегородским военным и гражданским губернатором в 1831—1843 гг. был Михаил Петрович Бутурлин (1786—1860), женатый на Анне Петровне, урожденной княжне Шаховской (1793—1861).

С. 237. *...называют его там как будто «персика»...*— Возражение Я. Толстого см. в примеч. к т. 1, с. 300.

С. 242. *До Макарьева она располагалась в Казани...*— См.: *Schnitzler*. Р. 117.

Бонд-стрит — торговая улица Лондона, *Пале-Руаяль* — парижский дворец, резиденция герцогов Орлеанских; в конце XVIII века тогдашний владелец дворца, Филипп-Эгалите, пристроил к нему три галереи, которые сдал внаем всевозможным торговцам, превратив Пале-Руаяль в один из «коммерческих» центров Парижа.

Кятка — Кяхта, основанный в 1727 г. центр торговли с Китаем.

Турмин — по-видимому, контаминация названий двух портов на реке Туре (притоке Тобола): Тюмени и Туринска.

С. 244. *Терно Луи Гийом, барон (1763—1833)* — промышленник, владелец фабрик, где изготовлялся французский кашемир.

С. 247. *Агуадо* Алехандро Мария (1784—1842) — испанский финансист, спасший Испанию от банкротства после крушения наполеоновской империи благодаря своим коммерческим связям с Францией.

С. 248. *Купцы еще могут пользоваться безвыходным положением покупателя, но уже не могут его обмануть.*— Репутация русских торговцев в глазах французских журналистов, современников Кюстина, была не слишком лестной; так, 30 апреля 1839 г. газета «*La Presse*» вспоминала: «Граф де Местр как-то сказал по поводу русской честности: «Купите в России спичку, и вы тотчас убедитесь, что в ней недостает серы; купите бриллиант — и вы обнаружите на нем пятно» (цит. по: Donnard J.-H. Balzac. *Les réalités économiques et sociales dans la «Comédie humaine»*. Р., 1961. Р. 274—275). См. также более ранние впечатления вполне доброжелательно настроенного Фабера: «Пока покупатель не ушел, купец будет уверять, что продает себе в убыток; как только за покупателем закроется дверь, купец вместе с соседями примется над ним насмехаться. Можете даже не трудиться проверять вес или длину купленного товара — вас наверняка обманули» (Новое литературное обозрение. 1993. № 4. С. 376).

С. 249. *...стишком Жильбера...*— Кюстин цитирует сатиру «Восемнадцатое столетие» Никола Жозефа Лорана Жильбера (1751—1780), где среди прочих выведена некая Ирида, оплакивающая горести мотылька, но с восторгом наблюдающая казнь, притом казнь невинного человека (см.: Gilbert N.-L.-L. *Oeuvres complètes*. Р., 1823. Р. 27).

С. 250. *Франкони* Антонио (1738—1836) и его сын Лоран Франсуа (1776—1849) — представители знаменитой французской цирковой династии, блестящие наездники.

Письмо тридцать четвертое

С. 252. 25 августа 1839 года. По старому стилю 13 августа.

С. 252—253. *...серебряная монета... все время меняет свое достоинство, тогда как ассигнации остаются неизменны...* — Дело обстояло противоположным образом: нестабильным был курс бумажных ассигнаций, особенно при частных сделках: «ввиду постоянных колебаний курса неизвестно было, по какому курсу придется платить, и вот вошло в обыкновение при заключении условий при покупках и договорах о поставках, ввиду того, что курс ассигнаций всегда предполагался падающим, назначать для момента уплаты за поставленные продукты курс для ассигнаций несколько низкий, чем в момент сделки, так что в отдельных случаях он искусственно понижался до 420 копеек за рубль (вместо нормального курса в 350—360 копеек)» (Корнилов А. А. Курс истории России XIX века. М., 1993. С. 172). Денежная реформа 1 июля 1839 г. предписывала, чтобы во всех коммерческих сделках счет велся на серебро, и устанавливала для ассигнаций неизменный курс в 350 копеек. Подробнее см. в приводимых Кюстином в конце письма манифесте и указе императора. Иностранные наблюдатели оценивали реформу положительно; так, прусский посол в России Либерман писал в Берлин 6/18 июля 1839 г.: «Судя по собранным мною сведениям, все беспристрастные и сведущие в сем предмете особы единодушно признают, что подобная мера совершенно необходима и что в целом указ достоин всяческих похвал. Однако сам министр финансов признается в специальной статье, опубликованной в коммерческой газете, что исполнение этой меры натолкнется вначале на многочисленные мелкие трудности, причем, как я, к несчастью, прекрасно понимаю, особенно чувствительно пострадают от изменения курса обмена с иностранными державами потребители и, следовательно, все дипломаты, аккредитованные в Москве» (*Schiemann*. Т. 3. S. 500—501). В публице реформа произвела смятение: «Новая денежная система сводит всех с ума, — пишет Никитенко 26 июля 1839 года. — Никто не понимает этих сложных расчетов. Неоспоримо только то, что все сословия более или менее теряют, по крайней мере, при настоящем кризисе, — и потому все недовольны, все ропщут. Хуже всего бедным чиновникам. Они получали жалованье ассигнациями, что доставляло им лишних рублей по семи на сто. А теперь им выдают серебром, считая рубль по 3 р. 60 коп., а в публице велят считать рубль по 3 р. 50 коп. Между тем как курс на монету понизился, съестные припасы остаются в прежней цене: каково это для бедного класса, доходы которого не увеличиваются» (*Никитенко*. Т. 1. С. 213).

С. 253. *...мера эта... способна расстроить самые крепкие торговые состояния, если будет применена к ранее заключенным сделкам...* — «Санкт-Петербургские ведомости» от 11 июля 1839 г. давали на этот счет специальное объяснение: «Возникли разные вопросы об исполнении высочайшего манифеста 1 июля сего года в частном быту. Например: 1) как выполнять прежние обязательства? Само по себе разумеется, на том основании, как они сделаны (<...> дело сие особенно важно для Нижегородской ярмарки, где старые

обязательства следует выполнять по курсу времени, когда они сделаны, на что есть лучший способ, чтобы из должной суммы убавлять, сколько причтется, и принимать деньги по курсу 3 рубля 50 копеек».

С. 256. ...отклонил подношения от многих городов, частных лиц и крупнейших negociантов...— Текст указа от 25 января 1838 г., где Николай I благодарит подданных за пожертвования, но отвергает их, был напечатан во французских газетах (см., например, «Gazette de France» за 28 февраля 1838 г.); об этом поступке императора Кюстин мог узнать и из брошюры Вяземского «Пожар Зимнего дворца» (см. примеч. к наст. тому, с. 79); ср. также сходное сообщение о «великодушных жертвованиях, отклоненных императором» в кн.: *Marmier*. Т. 1. Р. 272—273.

В обычном обществе простой народ толкает вперед всю нацию, а правительство его осаживает; здесь же правительство погоняет, а народ его сдерживает....— Тот же диагноз, но с противоположной оценкой был поставлен в книге Адама Гуровского (см. примеч. к т. 1, с. 270) «Правда о России»: «Россия — единственная страна в мире, где правительство более цивилизовано, чем нация, и деяния его на века ограждены от тех препятствий, какие мешают нынче другим государствам Европы; в России пожелать значит преуспеть. <...> В России, где власть — единственная цивилизующая сила, территориальные, торговые и умственные усовершенствования исходят от правительства, им замышляются и под его водительством осуществляются» (*Gurovsky A. Vérité sur la Russie*. Р., 1834. Р. 59). Ср., однако, уточнение Баранта применительно к новейшему состоянию дел в 1839 г.: «Теперь правительство видит свою цель в том, чтобы оставить общество в его нынешнем состоянии. Долгое время император и его правительство шли впереди народа, теперь они хотят его остановить» (*Notes*. Р. 446).

С. 261. ...г-на *** — По-видимому, имеется в виду герцог де Майе (см. примеч. к т. 1, с. 201), который отправился в Нижний из Москвы вслед за Кюстином; см. в письме А. Я. Булгакова П. А. Вяземскому от 5 августа 1839 г.: «Он <Кюстин> уже уехал в Нижний. Вчера был у меня Maillé <...> и этот завтра отправляется туда, и оба воротятся к Бородинскому делу» (РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. № 1504. Л. 48 об.).

С. 262. ...о манере беседовать, в еще большей степени чем о стиле книг, можно сказать, что это сам человек. — Кюстин перефразирует известный афоризм «Стиль это человек», принадлежащий французскому естествоиспытателю Жоржу Луи Леклерку, графу де Бюффону (1707—1788); русский перевод речи Бюффона при вступлении в Академию 25 августа 1753 г., откуда взят комментируемый афоризм, см.: *Новое литературное обозрение*. 1995. № 13. С. 167—172.

...доктор Р ***... вид у него как у бронзовой статуи...— Речь идет о Луи Эжене Робере (1806—1879), парижском враче, геологе и натуралисте, в 1830-х гг. принимавшем участие в нескольких научных экспедициях в Центральную Америку и Скандинавию; 28 июня / 10 июля 1839 г. он выехал из Петербурга, миновал Шлиссельбург, Вытегру и Холмогоры, прибыл в Архангельск, побывал на Соловках, откуда отправился в Нижний; побывав затем в Вологде и Москве, он 1/13 октября 1839 г. уехал из

Кронштадта в Швецию. Свое путешествие он описал в книге «Письма о России» (1840), где коротко упоминает обед у генерал-губернатора Бутурлина вместе с Кюстином (см.: Robert E. Lettres sur la Russie. P., 1840. P. 51—52), но ничего не говорит о французском журналисте Луи Перне, в обществе которого проделал путь из Архангельска в Ярославль (см. ниже, наст. том, с. 298—299 и примеч.).

*Молодой лорд **** — Сын маркиза Энглези (см. примеч. к т. 1, с. 188).

С. 267. *А как же кости Минина, его останки? ... Их выкопали... теперь они все в новой усыпальнице...* — Преображенский собор нижегородского кремля был уничтожен и выстроен заново в 1834 г. Процедура перенесения гробницы Минина так поразила Кюстина, что он специально обсуждал ее на обратном пути в Петербурге с А. И. Тургеневым (см.: НЛО. С. 108).

С. 268. *...по уровню цивилизации стоит никак не ниже самых передовых стран мира.* — Примечание Кюстина к третьему изданию 1846 г.: «К несчастью, в последние годы немецкие государи сделали себя вассалами российского императора». Неоднократно повторяемое Кюстином мнение о полной зависимости Пруссии от России (ср., например, т. 1, с. 26) не вполне разделялось в начале 1840-х годов российскими властями. «Против России сильно предубеждены в Германии, — сообщал Отчет III Отделения за 1841 год. — Источником недоброжелательства к русским почесть можно, с одной стороны, предания старинной политики германских народов, с другой — зависть, внушаемую величием и силою нашей Империи, и мысль, что ей провидением предопределено рано или поздно привлечь в недра свои все славянские племена, и наконец, злобу против России партии революционеров, которые беспрестанно появляющимися в Англии, Франции и Германии пасквилями, изображая Россию самыми черными красками, гнусною клеветою стараются вселить к ней общую ненависть народов» (ГАРФ. Ф. 109. Оп. 223. № 6. Л. 81—81об.); в 1842 г. тема была продолжена: «Отзывы прусских публицистов о России, — не токмо не уступают, но еще превосходят своею запальчивостию пасквили французской и британской журналистики! В особенности рейнские и кенигсбергские газеты осыпают нас клеветами, а цензура союзных нам правительств дает им полную свободу» (Там же. № 7. Л. 137об.).

С. 269. *...сияние веры вновь разольется по вселенной.* — Примечание Кюстина к третьему изданию 1846 г.: «Разве все события последних пятнадцати лет не подтверждают это предсказание?»

С. 270. *...столпа, который видели сыны Израилевы в бесконечных своих блужданиях по пустыне?* — См.: Исход. 13. 17—21: «Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти и днем, и ночью».

...братья Строгановы... присоединили к России целое царство. — О происхождении рода Строгановых и роли купцов Якова и Григория Строгановых в завоевании Сибири отрядом Ермака см.: Карамзин. Т. 9. Гл. 6.

С. 271. *Манифест его императорского величества.* — Французские переводы манифеста и указа Сенату касательно денежной системы были опубликованы в «Journal de Saint-Petersbourg» 11/23 июля 1839 г. Рус. текст печатается по: Санкт-Петербургские ведомости. 1839. 7 июля.

Письмо тридцать пятое

С. 276. *Владимир, между Нижним и Москвою, 2 сентября.* По старому стилю 21 августа. Дата неточная, так как сохранившееся письмо Кюстина к г-же Рекамье датировано: «3 сентября. Нижний Новгород» (см.: *Cadot. P. 219*).

С. 277. *...московской вечерни...* Кюстин уподобляет бунт против насильственного бритья бород «сицилийской вечерне» — восстанию, в ходе которого жители Сицилии истребили завоевателей-французов, расположившихся на острове с 1266 г.; восстание началось с первым ударом колокола, сзывавшего к вечерне в первый день Пасхи, 30 марта 1282 г.

С. 279. *От таких-то обстоятельств может зависеть в России судьба человека!* — Комментарий Греча: «Нет, дело происходило иным образом: я это знаю наверное. Гибаль не француз, он родился русским подданным и состоит в чине титулярного советника. Отец его был не школьным учителем, а инспектором Воспитательного дома в Москве. В начале 1831 г., когда дух мятежа смущал население большей части Европы, а в Польше разгорелась война, всевозможные роковые и грозные вести, всевозможные слухи, принсенные из самых разных уголков, волновали петербургскую публику и внушали обоснованные опасения правительству. В эту-то пору Гибаль все в общественном месте, если не ошибаюсь, в ресторации Андрие, неосмотрительные речи и, больше того, сообщил письменно некоему французу некую весть. О том прознала полиция, и Гибаль пал жертвою собственной неосторожности. Будь он французом, его выдворили бы из страны, но он русский подданный, и потому был отправлен на жительство в один из городов Оренбургской губернии, военным губернатором которой был в ту пору граф Сухтелен, один из почтеннейших и добродетельнейших людей в России. Он определил Гибаля на жительство в городок Каргалу, а спустя полгода возвратил его в Оренбург и употребил в своей канцелярии. Убедившись, что Гибаль не имел дурных намерений, что он не принял в расчет того зла, какое могли причинить его речи, и что причиною его несчастий явилась единственно неосторожность, граф в пребывание свое в Санкт-Петербурге в 1832 году добился для Гибаля императорского прощения и дозволения вернуться в столицу. По возвращении в Оренбург граф возвестил Гибалю милость императора, но ссыльному так приглянулся Оренбург, что он отказался его покинуть и уехал оттуда лишь после смерти своего благодетеля, приключившейся в апреле 1833 года. Вот простой и правдивый рассказ об этом деле. Что же до упомянутой песни, Гибаль сочинил ее уже после того, как обосновался в Оренбурге» (*Gretch. P. 91—92*).

С. 280. *...даже тех, кто в нее не верит.* — Примечание Кюстина к третьему изданию 1846 г.: «Вертящиеся столы и стучащие духи могут служить подтверждением словам автора».

С. 282. *В Петербурге живет знатная дама, которая несколько раз была замужем...* — Комментарий Греча: «Знатная дама, графиня П..., воздвигнула в своем поместье неподалеку от Петербурга, подле церкви, где похоронен ее первый муж, русский, надгробный памятник своему второму мужу, почтен-

нейшему человеку, уроженцу французской Швейцарии. Этого достало г-ну де Кюстину, чтобы утверждать, будто сад этой дамы полон надгробиями всех ее мужей, к которым она преисполняется страстной любви, стоит им испустить дух, и в память которых возводит мавзолеи и часовни, оплакивая их прах горячими слезами и украшая их могилы сентиментальными эпитафиями. Какое преувеличение» (*Gretch*. P. 93).

С. 284. ...у сивилл Микеланджело. — Имеются в виду фигуры сивилл на боковых частях свода Сикстинской капеллы в Ватикане.

Виктор Гюго... человеческое, то есть божественное, начало, сохраняющееся в душах... отвержены нашим обществом... — Персонажи драм В. Гюго «Марион Делорм» (1831), «Лукреция Борджиа» (1833), «Рюи Блаз» (1838): куртизанка, распутница, слуга — по ходу действия предстают образцами благородства и великодушия.

С. 285. ...тот же самый город, что и повсюду в России... и казарма, и соборы... — Ср. отклик И. С. Аксакова на этот и многие другие подобные пассажи Кюстина: «Необыкновенно хорош этот собор (в Астрахани). Он не той казенной архитектуры, над которою так смеется Кюстин и образцы которой вы встречаете в каждом городке, ибо предположены всюду: каменный дом для присутственных мест и каменный собор!» (Аксаков И. С. Письма к родным. М., 1988. С. 55; письмо от 27 марта 1844 г.).

С. 288. 3 сентября 1839 года. — По старому стилю 22 августа.

С. 290. Нашильник — широкий ремень, идущий от хомута или гуза к переднему концу дышла.

С. 291. 5 сентября 1839 года. — По старому стилю 24 августа.

С. 292. ...накануне торжественного прибытия государя императора... — Николай I должен был прибыть в Москву на празднование Бородинской годовщины: он выехал из Царского Села 15/27 августа 1839 г. и прибыл в Бородино в ночь с 16/28 на 17/29 августа (см.: *Journal de Saint-Petersbourg*. 22 августа / 3 сентября 1839 г.). Торжественное открытие монумента состоялось 26 августа / 7 сентября 1839 г., сражение, воспроизводящее Бородинскую битву, — 29 августа / 10 сентября 1839 г.

...годовщина венчания государя на царство... — Николай I венчался на царство в Москве 22 августа / 3 сентября 1826 г.

С. 293. ...созвали ветеранов 1812 года... придется заново разыграть ужасную комедию битвы... — Комментарий Греча: «Ветераны Бородинской битвы не были привезены в Бородино насильно; их пригласили на торжества и содержали в Москве на деньги императора; никакого участия в маневрах они не принимали и присутствовали на них в качестве простых зрителей, помещаясь на специальном возвышении вокруг памятника. Я беру в свидетели своих слов всю армию, всех русских и всех иностранцев, бывших на празднике» (*Gretch*. P. 95).

С. 294. ...запустил живых медведей на маскарад... свадьбы своего шута... — Речь идет о шутовской свадьбе «князя-папы», «всешутейного патриарха» Никиты Зотова (1644—1718), состоявшейся в начале 1715 г.

С. 295. ...в разрешении отказывают всем, кроме некоторых высокопоставленных англичан да иных представителей дипломатического корпуса... — Ср.

в донесении Баранта от 16/28 августа 1839 г.: «Один только шведский посланник получил официальное приглашение в Бородино. Члены дипломатического корпуса в большинстве своем желали бы присутствовать при этом грандиозном зрелище из любопытства, а также ради того, чтобы затем сообщить своим государям интересующие их подробности. Император вначале отвечал на просьбы, адресованные ему через третьих лиц, отказом, выставляя предлогом то обстоятельство, что в эпоху Бородинской битвы союзницей России была одна лишь Швеция. Но этот принцип нисколько не согласовывался с присутствием эрцгерцога прусского и принца из прусского королевского дома (братьев императрицы Александры Федоровны). Странно выглядело также исключение из числа союзниц России в 1812 г. Англии. Тем не менее император стоял на своем. Тогда английский посол, непременно желавший увидеть своими глазами все военное великолепие этого праздника, заявил, что если он не получит приглашения, то отправится в Бородино во фраке, как простой обыватель. Когда эти речи английского посла сделались известны при дворе, графу Воронцову было приказано передать послу неофициально, что император будет счастлив увидеть его в Бородино. Аналогичное извещение получили посланники вюртембергский и сардинский. Кроме лорда Кленрикарда (английского посла), в Бородино поедет десяток английских офицеров. Уверенные в любезном приеме, они прибыли в Россию, движимые любопытством. За исключением свиты эрцгерцога и принца прусского больше ни одного иностранного офицера на празднестве не будет» (*Souvenirs*. Т. 6. Р. 311—312).

Как утверждают, во время потешной битвы император должен командовать корпусом принца Евгения — отца молодого герцога. — Ошибка Кюстина, спутавшего двух Евгениев — Евгения Богарне (см. примеч. к т. 1, с. 161), отца герцога Лейхтенбергского, и герцога Евгения Вюртембергского (1788—1857), племянника вдовствующей императрицы Марии Федоровны, командовавшего корпусом в Бородинском сражении; с начала 1830-х гг. принц Евгений жил вне России, но в августе 1839 г. «покинул свое мирное убежище в Силезии для этого поля, столь знакомого ему» (*РС*. 1891. № 1. С. 106).

...генерал, начертавший ее план... чьему гению Россия обязана своим избавлением, — князь Витгенштейн — не будет участвовать в грандиозном представлении... — Упоминание Кюстином в таком контексте светлейшего князя (с 1834 г.) Петра Христиановича Витгенштейна (1769—1843), в 1812 г. командовавшего корпусом на петербургском направлении, а в феврале 1829 г. по собственной просьбе уволенного в отставку, вызвало резкие возражения Греча и Я. Толстого: «Весь этот пассаж с первого до последнего слова выдает полнейшее незнание фактов, соединенное со злонамеренным стремлением исказить ту самую истину, какую автор именует священной для Господа и для людей. Князь Витгенштейн был одним из героев 1812 года <...> Он разбил многих выдающихся маршалов наполеоновской армии: Удино, Виктора, Вреде, он спас Псков и Санкт-Петербург, но главная слава нашей армии по праву принадлежит трем главнокомандующим: Кутузову,

Барклаю де Толли и Багратиону. Князь Витгенштейн не имел никакого касательства к плану кампании. <...> Генерал же Багратион при Бородине и прежде всего при Бородине доказал, что талант полководца гармонично соединился в нем с самоотверженным бесстрашием солдата. Кутузову и Барклаю воздвигнуты памятники в Санкт-Петербурге. Император исполнил долг справедливости, возведя на самом поле битвы памятник Багратиону. Вся армия, вся нация рукоплещут счастливому выбору места. Спросите у русских. Жаль, что князь*** умер; он несомненно также подтвердил бы правоту моих слов» (*Gretch*. P. 97-98); «Мы не станем упрекать г-на де Кюстина за впечатление, произведенное на него повторением Бородинской битвы: патриотизм извиняет многое; но мы советуем ему прочесть реляции о кампании 1812 года и убедиться, что фельдмаршал Витгенштейн не мог участвовать в этой генеральной репетиции, ибо командовал армейским корпусом, защищавшим Петербург от Удино и Макдональда» (*Tolstoy*. P. 110).

С. 296. ...спустя четыре дня была все-таки взята... -- Бородинское сражение, победу в котором каждая из сторон приписывала себе, состоялось 26 августа/7 сентября 1812 г., в Москву Наполеон вошел 2/14 сентября 1812 г.

...император, якобы воспроизводя битву тщательно и точно, совершенно извратил ее картину. — Русские источники отвергали этот упрек: «Единственное отличие этого сражения состояло в том, что император, с драгунским корпусом повторявший передвижения кавалерии Уварова на правом фланге, повел его настолько решительно, что он зашел в тыл неприятельской армии, движение, которое, будь оно исполнено, быть может, и привело бы к этому результату» (Записка витебского, могилевского и смоленского генерал-губернатора князя Голицына//*РС*. 1891. № 1. С. 109). В Европе, однако, смотрели на дело иначе: «Разве есть на свете более дерзкий обман, более отвратительное бесстыдство, более циничное презрение к истине, чем те, какие обнаружил царь четыре года назад в России, когда продемонстрировал Европе Бородинское представление?... пересказывает французский дипломат Ф. де Кюсси реакцию другого француза, достаточно доброжелательного к русским литератора А. де Сиркура. Там были устроены маневры, призванные точно воспроизвести кровавую битву 1812 года, известную во Франции под названием «Московская битва»; там была возведена пирамида в честь победы русских!... Какое бессовестное опровержение всей современной истории! Разве не французы выиграли эту битву и разве не эта победа открыла им доступ в Москву? Ибо если бы французы не разбили в тот памятный день русских, разве нашли бы они дорогу в священный город совершенно свободной?.. В России на такие мелочи внимания не обращают: там пишут историю так, как хочет император, и менее всего заботятся о верности истине» (*Cussy F. de Souvenirs*. P., 1909. T. 2. P. 231).

...императорского приказа, который произведет скандал в Европе, если только будет там обнаружен в том виде, в каком мы прочли его здесь. — Приказ императора звучал так: «Ребята! пред вами памятник, свидетельствующий о славном подвиге ваших товарищей! Здесь, на этом самом месте, за 27 лет перед сим надменный враг возмечтал победить русское войско, стоявшее за

Веру, Царя и Отечество! Бог наказал безрассудного: от Москвы до Немана разметаны кости дерзких пришельцев — и мы вошли в Париж. Теперь настало время воздать славу великому делу. Итак, да будет память вечная бессмертному для нас императору Александру I — его твердою волею спасена Россия; вечная слава падшим геройскою смертью товарищам нашим, и да послужит подвиг их примером нам и позднейшему потомству. Вы же всегда будете надеждою и оплотом нашему государю и общей матери нашей России. Николай» (РС. 1891. № 1. С. 108). Приказ в самом деле шокировал Европу и, по выражению прусского посланника Либермана в донесении от 6/18 сентября 1839 г., «омрачил блистательную картину, которую составил большой Бородинский смотр в отношении военном». Приказ этот, продолжает Либерман, «плод пера императора, выражение заветной его мысли, не только оскорбил всех французов, которых теперь такое множество в Петербурге, но и произвел неблагоприятное впечатление на русскую общину, ибо в местных высших сословиях немало людей, которые превосходно чувствуют, насколько это обращение императора к армии неприятно для иностранных держав и, следовательно, мало политично; с другой стороны, те, кто разделяет враждебные чувства, какие императору угодно питать к Франции, и кто, без сомнения, ненавидит даже сильнее, чем император, все иностранное и всех, носящих нерусские имена, — все эти особы нашли в приказе новый повод восстать против сочетания его императорского высочества великой княжны Марии и выразить сожаление о том, что родной сын одного из главных «дерзких пришельцев, чьи кости разметаны от Москвы до Немана», присутствовал на открытии памятника в честь Бородинского сражения в качестве командующего русской бригадой и зятя его императорского величества. Наконец, сам граф Нессельроде <...> не только признался мне откровенно, насколько огорчил его текст этого приказа и насколько неуместен он в отношении политическом, особенно в настоящий момент, — но и предупредил меня, что, прочтя приказ, тотчас распорядился, чтобы во французском переводе, который будет напечатан во французской «Санкт-Петербургской газете», самые сильные выражения были, насколько возможно, смягчены. Распоряжения эти были исполнены <...> но это не смогло уничтожить самого духа приказа, который, даже если о нем будут судить только по французскому переводу, все равно вызовет во Франции живейшее негодование и тем неизбежнее подаст иностранной прессе повод к нападкам и опровержениям, что в нем Бородинская битва изображается как решительная и полная победа русских, тогда как именно после нее французы заняли Москву и продвинулись в глубь России в направлении Калуги!» (*Schiemann*. Т. 3. S. 502—503). Французский текст приказа был опубликован в «Journal de Saint-Petersbourg» 5/17 сентября 1839 г. (другой вариант перевода, посланный Барантом главе кабинета маршалу Сульту, см. в: *Cadot*. P. 217, note 155) и, по сведениям А. И. Тургенева, дался нелегко переводчикам — «Нессельроде и Лавалю, которые весьма затруднились передачею лаконических слов оригинала: так, «солдаты» — совсем не то, что *ребята*)» (РО ИРЛИ. Ф. 309. № 706. Л. 35; подл. по-фр., кроме слова, выделенного курсивом). Француз-

ский посол Барант описывал впечатление, произведенное приказом, в тех же тонах, что и посланник Пруссии: «Общество смотрит с удивлением, осуждением и печалью на поступок, который может иметь очень серьезные последствия, ибо вызовет большое раздражение во Франции. Все те члены дипломатического корпуса, которые остались в Петербурге, сожалеют об этом происшествии, которое может нарушить отношения двух держав и усложнить и без того непростое положение дел. Я не искал встречи с г-ном Нессельроде. Происшествие это кажется мне слишком серьезным, чтобы я мог взять на себя смелость решить самостоятельно, в каких словах обсуждать его. (...) Впрочем, мне известно, что г-н Нессельроде весьма смущен и опечален демонстрацией, столь мало соответствующей его политическим взглядам. (...) Не в моих силах было сделать вид, будто я не придаю этому приказу никакого значения. Он произвел здесь такое сильное впечатление, что, выкажи я равнодушие, это было бы равносильно занятию определенной позиции, на что я вовсе не имею указаний» (*АМАН*. Т. 195. Fol. 112, донесение Баранта от 4/16 сентября 1839). Впрочем, никаких катастрофических перемен в отношениях России и Франции бородинский инцидент, как месяц спустя, 9 октября 1839 г., сообщал французский премьер Султ Баранту, не произвел: «В Вене, в Берлине и повсюду в Германии все были удручены этим (бородинским приказом). Может показаться удивительным, но во Франции никто не обратил ни малейшего внимания на это странное происшествие. Газеты, более других склонные отвечать на иностранные провокации, поместили документ, о котором идет речь, без всяких комментариев, и он произвел такое ничтожное действие, что я сам не знал о его существовании до того, как получил вашу депешу. Император Николай издавна обладает привилегией, унаследованной, кажется, от некоторых его предшественников, — а именно привилегией говорить и делать вещи, из ряда вон выходящие, не привлекая к ним большого внимания. Должно быть, он был сильно чем-то развлечен, если не отдал себе отчета в том, насколько странно заигрывать победную песнь на поле беспримерного поражения, если он не вспомнил, что по меньшей мере половина той армии, чей разгром он празднует, принадлежала державам, которые он безусловно не желал оскорбить, если он забыл, что говорит в присутствии своего зятя, чей отец не раз успешно отражал во время отступления из Москвы атаки русской армии» (*АМАН*. Т. 195. fol. 143). Французы, особенно те, которые в силу политических убеждений не слишком симпатизировали России, и прежде были склонны рассматривать любые русские празднества, связанные с годовщинами войны 1812 г., как формы проявления антифранцузских настроений; так, 22 ноября 1837 г. газета «*Constitutionnel*», сообщив о службе в Успенском соборе в ознаменование двадцатипятилетия отступления французской армии из России, заключала: «Подобными торжествами самодержавное правительство стремится возбудить в полудивилизованном народе, повинующемся его скипетру, ненависть к французам. Вот, следственно, каковы те дружеские чувства, которые царь-деспот питает к либеральной и прогрессивной Июльской монархии».

Изложение дальнейшего пути

С. 298. *Перне* Луи Мари (1815—1846) — адвокат по образованию, литератор, с 1842 г. совместно с Фердинандом Франсуа — редактор журнала республиканской ориентации «*Revue indépendante*»; умер от чахотки. Побывал в России дважды, в 1838 и в 1839 гг. Случай с Перне служил читателям Кюстина самым ярким примером российского деспотизма и беззакония. Жюль Мишле писал в 1851 г. в цикле «Мученики России», что происшествие это — не случайность, а плод осознанного желания русского правительства «слоमितъ француза, внушить ему сильное и длительное ощущение ужаса. В самом деле, есть над чем задуматься иностранцу, убедившемуся, что дистанция между свободным человеком и рабом так мала, что ничтожнейший из полицейских может схватить свободного человека и избить его»: ведь модистки, которых наказывали на съезжей, «не были крепостными; скорее всего они были француженками; все модистки — француженки» (Michelet J. *Légendes démocratiques du Nord*. P., 1968. P. 118). Рассказ о злоключениях Перне не могли читать равнодушно и беспристрастные русские читатели; так, П. В. Анненков, по свидетельству Н. И. Тургенева, «читая четвертый том Кюстина в своей комнате один, ввечеру, чувствовал, как он краснеет и стыдится при описании того, что происходило на съезжей, в которую посадили француза дня на два» (*НЛО*. С. 122). Напротив, Греч не видел в обращении властей с французом Перне ничего предосудительного: «В августе 1839 г. вице-канцлер, иначе говоря, начальник департамента иностранных дел, сообщил высшим чинам полиции донесение графа Медема, нашего поверенного в делах в Париже, в котором обращалось внимание на двусмысленное поведение француза Луи Перне, человека опасных идей и убеждений. Перне тем временем уже вызвал подозрения полиции противоречивыми сведениями о своей профессии, ибо объявлял себя то гражданским инженером, то рантье, путешествующим по собственной надобности, то негоциантом, прибывшим в Россию по делам. Вследствие этих противоречий в его показаниях был он помещен под надзор полиции; документы его изучили и, не найдя в них ничего в полном смысле предосудительного, ограничились тем, что предписали ему покинуть Российскую империю и более сюда не возвращаться» (*Gretch*. P. 100). История тюремного заключения Перне изложена весьма подробно в книге Ф. Лакруа «Российские тайны» (Lacroix F. *Les mystères de la Russie*. P., 1845. P. 254—262) — возможно, со слов секретаря французского посольства в Петербурге барона д'Андре (*Cadol*. P. 151). Ссылаясь на Кюстина и в основном подтверждая сообщенные им факты, Лакруа адресует автору «России в 1839 году» несколько упреков; во-первых, незачем было маркизу так громко возвещать о своих заслугах в деле освобождения Перне, ибо за несчастного француза хлопотали еще несколько его случайных знакомых; во-вторых, Перне в самом деле слаб здоровьем, но вовсе не имеет того болезненного вида, какой приписал ему Кюстин. Лакруа приводит письмо Бенкендорфа к Баранту от 5/17 октября 1839 г., в котором называется та же причина заключения французского подданного в тюрьму, на которую

ссылается Греч: противоречивость показаний Перне, именовавшего себя то инженером, то коммерсантом.

С. 299. ...*что здоровья он слабого...* — Примечание Кюстина к третьему изданию 1846 г.: «Впоследствии герой этой истории осыпал меня по поводу этих слов весьма комическими упреками».

Г-н Р*** — доктор Робер (см. примеч. к наст. тому, с. 262).

С. 300. ...*французскому консулу*. Причиной равнодушия консула Вейера к судьбе Перне Ф. Лакруа считает, с одной стороны, то обстоятельство, что Вейер за годы службы женился на русской и «обрусел», а с другой — неосмотрительность Перне, который не нанес консулу визита вежливости (Lacroix F. *Les Mystères de Russie*. P., 1855. P. 238).

С. 304. ...*гробницы Владимира Ярославича... матери его Анны, одного из константинопольских императоров...* — Кюстин, по всей вероятности, небрежно переписал фразу Шницлера, сообщающего: «В Софийском соборе находятся гробницы Владимира Ярославича, умершего в 1051 г., и Анны, его матери, отцом которой был константинопольский император...» (*Schnitzler*. P. 173), причем со слов «константинопольский император» у Шницлера начинается новая строка. На самом деле Анна, жена великого князя Ярослава и мать новгородского князя Владимира Ярославича, была дочерью шведского короля Олафа; перед кончиною (1051) она постриглась в монахини и переселилась в Новгород; там, в Софийском соборе, и покоялась ее мощи. *Константинопольская* царевна Анна, сестра императоров Василия и Константина, была женой великого князя Владимира I, деда Владимира Ярославича.

С. 306. *Судьба г-на Перне была теперь в руках его естественного покровителя...* — «Естественному покровителю» французских подданных — послу Баранту — было далеко не всегда легко их защищать; рассуждая об алчности русских чиновников, он рассказывает, в частности, историю некоего страсбургского торговца, арестованного в Кронштадте, уже на борту готового к отплытию пакетбота, якобы по жалобе избитой им женщины. Барант потребовал, чтобы торговца освободили под залог, в дело были включены высшие чиновники, вплоть до замещавшего в этот момент Нессельроде управляющего Азиатским департаментом К. К. Родофиникина, но «ничто не могло заставить полицию выпустить добычу из рук, и все кругом говорили мне: «Они хотят вытянуть из бедняги торговца пятьсот рублей», а торговец меж тем сидел в камере вместе с пойманными на улице ворами. И подобные случаи — не редкость» (*Notes*. P. 133—134).

С. 309. *С тех пор я его не видал...* — Контакты Кюстина с Перне продолжились после выхода «России в 1839 году»: летом 1843 г. Перне предложил Кюстину печататься в издаваемой им газете, однако Кюстин предложения не принял; «Моя книга настолько проникнута католическим духом, — писал он 9 июля 1843 г. Варнгагену, — а его газета настолько полна духом революционным и антихристианским, что политическая необходимость, я полагаю, скоро возобладает в его душе над чувством» (*Lettres à Varnhagen*. P. 457).

...в Сардинском королевстве. — Савоя, где жили родные Перне (см. наст. том, с. 307), в 1814—1860 г. принадлежала к Сардинскому королевству. В пятом издании 1854 г. Кюстин сделал к этому месту следующее примечание: «От друзей г-на Перне я узнал, что изложение этого эпизода в моей книге его весьма шокировало. Он желал бы предстать перед публикой мучеником, который горд и счастлив выпавшими на его долю страданиями; самолюбие его было оскорблено даже такой мелочью, как упоминание о его хилом телосложении. Выходит, истину признают с трудом не в одной России».

Брамах Джозеф (1749—1814) — английский механик, создатель многочисленных технических приспособлений.

...сказанное выше о «чине»... — См. т. 1, с. 337—340.

с. 310. *В царствование Павла I жил в Петербурге француз по имени то ли Лаваль, то ли Ловель*... — Иван Степанович Лаваль (1761—1846), французский дворянин в русской службе, женился на Александре Григорьевне, урожденной Козицкой, а титул графа получил, как напоминает Греч, от Людовика XVIII за услуги, оказанные королю во время пребывания того в эмиграции в Митау (совр. Елгава) в 1798—1800 гт.

Коссаковская Александра Ивановна, графиня (урожд. Лаваль; 1811—1886), с 1829 г. жена Станислава Осиповича Коссаковского, писателя, художника, дипломата, сестра княгини Е. И. Трубецкой (ср. примеч. к наст. тому, с. 15).

...прославленному французскому роду... соединившему имя свое с именем Монморанси... — Дворянский род Лавалей, названный по одноименному городу, существует с IX в.; с XIII в. титул сеньоров Лавалей перешел к древнейшему французскому роду Монморанси. Так возникла ветвь герцогов де Монморанси-Лавалей, которую в эпоху, описываемую Кюстином, представляли пэр Франции Анн Александр де Монморанси, герцог де Лаваль (ум. 1827) и его сын Адриан де Монморанси, герцог де Лаваль (1767—1837), пэр Франции и дипломат.

с. 311. ...*Академию живописи — великолепное пышное здание... молодые художники носят мундир?* — Императорская Академия художеств была основана в 1757 г., здание ее в стиле раннего русского классицизма (архитектор А. Ф. Кокоринов) выстроено в 1764—1788 гт. на Кадетской набережной (в XIX в. именовалась набережной Большой Невы, с 1887 г. — Университетской набережной). Члены Академии носили мундир с 1766 г. (см.: Шепелев Л. Е. Титулы, мундиры, ордена. Л., 1991. С. 143), в XIX в. мундирный сюртук Академии художеств был темно-синего цвета (*Кирсанова*. С. 267).

...картиною г-на Воробьева... — Максим Никифорович Воробьев (1787—1855) был автором многочисленных пейзажей — архитектурных видов Москвы или Петербурга.

...«Последним днем Помпеи» он наделал шуму в самой Италии. — Картина Карла Павловича Брюллова (1799—1852) «Последний день Помпеи» была создана в 1827—1833 гт. в Риме, где в это время жил и работал художник, и имела в Италии большой успех. «Семь брошюр уже написано на эту картину: все к чести Брюллова; ее воспели и в стихах», — сообщал

А. И. Тургенев (Тургенев А. И. Хроника русского. М.; Л., 1964. С. 45). В Россию картина прибыла летом 1834 г. и была сначала выставлена по приказанию императора в Эрмитаже, а затем переведена в Академию художеств.

С. 312. «Успение Божьей матери» — картина Брюллова (1837).

С. 313. ...снимок... с «Афинской школы» — копия фрески Рафаэля, выполненная Брюлловым в 1823—1827 гг.

Даже мадемуазель Тальони, и та... увы!.. — Прославленная балерина Мария Тальони (1804—1884) в августе 1839 г. прибыла в Петербург (см.: *Journal de Saint-Petersbourg*, 19/31 августа 1839 г.) и до 1842 г. выступала в северной столице, что, по мнению Кюстина, пагубно отразилось на ее таланте, однако не помешало ей затем выступать с прежним успехом на сценах многих других европейских столиц.

С. 314. ...как сказано в Евангелии... — Матф, 6, 33.

...некоторые особы тайне оплакивали упразднение униатства... — Униатская церковь, существовавшая с 1596 г., когда на Соборе в Бресте было оформлено подчинение православной церкви юго-западной России, находившейся под властью католической Польши, папе римскому и принятие ею католической догматики при сохранении православной обрядности, была уничтожена указом Николая I Синоду от 1/13 марта 1839 г. Указ этот был издан якобы в ответ на прошение униатских епископов, подписанное в Полоцке 12/24 февраля 1839 г.; император удовлетворил их просьбу и повелел им вместе с паствою возвратиться в лоно «их истинной матери, православной церкви». О подлинных обстоятельствах этого «добровольного объединения» Кюстин знал из книги д'Оррера (см. примеч. к т. 1, с. 6, 282) и статей в «*Journal des Débats*» (см. следующее примечание).

См. книгу «Преследования и муки католической церкви в России» и превосходные статьи в «Журналь де Деба»... — Имеются в виду книга графа д'Оррера (см. примеч. к т. 1, с. 6, 282) и четыре статьи о преследованиях католической и униатской церквей в России, опубликованные в этой газете 13, 15, 23 и 30 октября 1842 г. и представлявшие собою реферат двух текстов: упомянутой книги д'Оррера и обращения римского папы Григория XVI к собору кардиналов 22 июля 1842 г.: «О неустанных стараниях Его Святейшества помочь католической церкви России и Польши в претерпеваемых ею тяжелых испытаниях», изданного в Риме в том же 1842 г. Автор статей подчеркивает, что Николай «желает падения католицизма в России, но боится шума, который это падение может вызвать», и потому информация о положении российских католиков выходит за пределы России с большим трудом; сам папа жалуется на недостаток точных сведений. «Во Франции, — замечает автор «*Journal des Débats*», — где все, и ложное, и правдивое, тотчас предается гласности, где пресса слышит и повторяет даже жалобы на несчастья выдуманные, никто не может вообразить, что стоны жертв могут не иметь отзвука, пропадать втуне. Тем не менее в России дела обстоят именно таким образом». Ссылаясь на манифест папы, автор статей перечисляет конкретные меры, посредством которых ведется русским правительством борьба с католиками: в феврале 1832 г. 202 из 291 католического

монастыря были уничтожены (якобы из-за отсутствия монахов); католическим священникам запрещено причащать прихожан из других приходов; православные крестьяне, по указу от 11 июля 1836 г., не имеют права служить католическим священникам; человек, перешедший из православия в католичество, терлет, по указу от 21 марта 1840 г., право распоряжаться своим состоянием, воспитывать своих детей и должен доживать жизнь в монастыре; более того, переход в католичество, по указу от 16 декабря 1839 г., преследуется не только церковью, но и государством, так как для русского правительства «всякое вероотступничество равносильно бунту»; крестьян, не спрашивая их согласия, насильно записывают в православные целыми деревнями, а при попытках вернуться к вере отцов карают за вероотступничество; проповеди католических священников подвергаются предварительной цензуре; у католической церкви в казну отобраны имения, приносящие 250 000 рублей в год, — якобы для удобства самого духовенства, которому затруднительно ими управлять. Так же насильственно происходило и присоединение униатов к православной церкви в 1839 г., носившее, по мнению автора статей, исключительно политический характер; в ход шли и подкуп, и посулы свободы крепостным, и заключение непокорных униатских священников в тюрьму или православные монастыри. Эти же моменты были рассмотрены более подробно в книге д'Оррера, где вдобавок была вскрыта политическая подоплека гонений на католиков (стремление создать унитарное русское государство, а для этого — уничтожение национальных, языковых, религиозных отличий на всех территориях, входящих в состав Российской империи, — прежде всего в Польше) и приведены многочисленные документы, например, «предложения», сделанные в декабре 1839 — январе 1840 г. управляющим министерством внутренних дел Строгановым и директором департамента духовных дел иностранных вероисповеданий Вигелем римско-католическому коллегияму; среди мер, которые коллегияму предлагалось незамедлительно осуществить, фигурировали ограничение числа храмов в приходах, ограничение свободы передвижения католических священников, признание недействительными смешанных браков, заключенных только католическими священниками, и проч. Кюстин продолжал интересоваться литературой о положении католиков в России и в третьем издании своей книги (1846) поместил в конце комментируемой главы обширные отрывки из вышедшего в 1843 г. французского перевода книги Тейнера (см. Дополнение 2). О реакции русского духовенства на статьи в «Journal des Débats» дает представление отзыв митрополита Филарета, воспроизведенный А. И. Тургеневым в письме к Н. И. Тургеневу от 27 октября 1842 г.: «Вот что написал Филарет Булгакову, возвращая ему два номера «Дебатов» со статьями о наших отношениях с Римским двором: *Кто хотя несколько знает историю начала Унии в России, тот легко увидит в манифесте Папы, что непогрешимый грешит против истины, как сказка, и потому не знающий может догадаться о клевете на современные события.* (Логика не ясна.) *Жаль, что Европа охотно доверяет клеветам на Россию, так как потерявшие добродетель охотно верят клевете на добрых*» (РО ИРЛИ. Ф. 309. № 950. Л. 192 об.; подл. по-фр., за исключением слов, выделенных курсивом). Впрочем,

даже III Отделение признавало, что не все упреки совершенно безосновательны. «Местные исполнители воли правительства искажают его веления, — говорится в отчете за 1841 год, — и порождают непрерывные ропот и жалобы. Бывали случаи, что дети оставались два года без Священного крещения, усопшие без обряда погребения! От них отказывались священники православной церкви, по случаю их несовершенно к оной присоединения, а католики опасались исполнять их требы, читая их вне своей паствы <...> Таким образом, действия <православного> духовенства произвели общую, неосновательную мысль, что правительство имеет намерение присоединить всех без исключения к православию, так что все находится в каком-то испуге и стоят в оборонительном положении» (ГАРФ. Ф. 109. Оп. 223. № 6. Л. 123, 126 об.). В следующем, 1842 году, ситуация, по свидетельству III Отделения, сделалась еще более напряженной, из-за «распространения и утверждения толков о том, что Россия намеревается обратить его <польский народ> в греко-российское вероисповедание»; «распалению тайной злобы» польского духовенства способствовала, как явствует из того же документа, и упомянутая выше речь папы: «При всей неусыпности полицейских наблюдений многие экземпляры этой речи прокрались в Варшаву и ходят по рукам в публике. Католицизм, столь ослабевший в последнее время как в Царстве, так и в Западных губерниях и оставивший уже почти одну только тень своего существования, внезапно так воссламенился, что ныне церкви этого вероисповедания не могут вмещать в себе толпы, в них стремящиеся. Вот какие последствия произошли от действительного или мнимого опасения насчет преследования их религии» (Там же. № 7. Л. 149—150). Дело не улучшилось и в 1843 г.: «Розыскания о перешедших в католицизм униатах возбудили за границею толки о преследовании католической церкви. Невежественное и даже жестокое обращение местных чиновников с присоединяемыми дали этим отзывам некоторую достоверность» (Там же. № 8. Л. 202 об.).

Где же та религиозная терпимость... одна лишь она остается свободною... — Любопытно, что российская политическая элита связывала терпимость православной церкви именно с тем ее подчинением светской власти при Петре, которое так возмущало Кюстина (ср. т. 1, с. 101—102, наст. том, с. 54—55): «Мнение общее говорит, — сообщал Отчет III Отделения за 1841 год по поводу преследований, которым подвергнутся католики, — что духовенство, поставленное Петром Великим в известные пределы, смирилось и вело себя с довольно видимым приличием. Ныне же, стараясь захватить неприметно в свои руки власть, оно уже начало высказывать дух гонения, какого нельзя было ожидать в XIX столетии, и не внемлет, что различие между католиками, лютеранами и православными в одном и том же царстве несовместно с общими законами, с нравами и обычаями, и противно духу общества...» (ГАРФ. Ф. 109. Оп. 223. № 6. Л. 127об. — 128).

Ведь целых три года потребовалось, чтобы вопль этих страдальцев донесся до Рима! — Имеется в виду срок, прошедший между присоединением униатов к православной церкви (1839) и обращением папы римского к кардиналам (1842). Ср. также ниже примеч. к наст. тому, с. 342.

С. 315. ...*лишь время, мудрейший из исполнителей воли Бога на земле.* — Примечание Кюстина к пятому изданию 1854 г.: «Очевидно, что с той поры, когда писалась эта книга, автор сделался весьма сдержанным сторонником парламентского способа правления».

Варнгаген фон Энзе Карл Август (1785—1858) — немецкий дипломат и литератор; он и его жена Рахиль (урожд. Левин; 1771—1833) познакомились с Кюстином и его матерью в 1816 г. в Карлсруэ; письма Кюстина к Варнгагенам, изданные в 1870 г., — важнейший биографический и историко-литературный документ (ср. примеч. к т. 1, с. 6, 8, 11, 18, 60, 61, 62, 212).

с. 316. *Прусское герцогство* — Восточная Пруссия (главный город Кенигсберг): в 1525 г. эта территория, прежде принадлежавшая Гевтонскому ордену, была объявлена светским герцогством и передана в наследственное владение маркграфу Бранденбургскому, а в 1618 г. была присоединена к курфюршеству Бранденбургскому. Вся эта территория стала в 1701 г. Прусским королевством (ср. примеч. к т. 1, с. 232).

С. 317. ...*когда злоключения длятся так долго, в них всегда нужно видеть... и человеческую вину.* — Отзвук достаточно распространенной во французской публицистике концепции, согласно которой в утрате Польшей независимости виноваты сами поляки с их шляхетской надменностью и склонностью к анархии; см., например, книгу Н. Сальванди «История Польши» (1827—1829) или «Правду о России» Адама Гуровского, а также: *Schnitzler*. P. 520—521.

...*от мысли повидать Польшу.* — В третьем издании 1846 г. Кюстин поместил после этой фразы текст, напечатанный нами в Дополнении 2.

Письмо тридцать шестое

С. 320. ...*все время, что я над ним трудился, меня не покидала мысль о вас... направить его вам.* — По предположению Ж.-Ф. Тарна, адресат этого письма — Шатобриан, «духовный отец» Кюстина (см. примеч. к т. 1, с. 58, 60), в течение многих лет бывший энтузиастом русско-французского союза, но в середине 1830-х гг. начавший всерьез задумываться о реальности «русской угрозы» (ср. свидетельство А. И. Тургенева касательно «прений о России» в парижском салоне г-жи Рекамье: «Шатобр(иан) опасается для Европы влияния и могущества России. О Кавказе, о направлении северных народов к югу» — РО ИРЛИ. Ф. 309. № 316. Л. 3 об.; дневниковая запись от 4 апреля 1836 г.).

Краткий отчет о путешествии

С. 321. *Краткий отчет о путешествии.* — По-видимому, эта, заключительная часть книги была написана самой первой. Во всяком случае, 4 ноября 1839 г. Кюстин писал г-же де Курбон из Эмса: «Я написал здесь введение

в мои новые путевые заметки; это краткий отчет о моем путешествии» (Revue de France. 1934. Août. P. 738).

«Американские заметки» Ч. Диккенса — см. примеч. к т. 1, с. 127. Отрывок приводится в переводе Т. Кудрявцевой.

С. 328. *Sarai* — см. примеч. к наст. тому, с. 67.

...когда же прекратится эта игра? — Примечание Кюстина к пятому изданию 1854 г.: «Россия — огромный театр. Если зритель хочет сохранить хоть какие-нибудь иллюзии, ему ни в коем случае не следует заглядывать за кулисы. Быть может, недалек тот день, когда вся Европа разделит мое мнение по поводу того гигантского шарлатанства, на котором покоится могущество российских императоров».

с. 329. *Рабле* цитируется в переводе Н. М. Любимова.

С. 330. «Что вы думаете о нас? вернее, что вы станете о нас рассказывать?» — Вопрос, задававшийся не одному Кюстину; ср. у д'Арленкура: «Занято ли ваше перо Россией? — спросила меня императрица. — Сколько страниц вы уже написали?» — «Один том», — отвечал я» (Arlincourt. Т. 1. P. 246).

...enguirlander... — См. примеч. к т. 1, с. 253.

...о поездке в Шлиссельбург... — См. том 1, с. 358—381.

с. 333. ...некий незнатный частный человек выиграл тяжбу против больших господ. — Комментарий Греча: «Я догадываюсь, что речь идет о процессе покойного обер-шенка графа М. П. Б. с венецианцами Гр. Жена графа, жившая в разводе с мужем, обосновалась в Италии, продала принадлежавшие ей поместья и завещала свое состояние, полученное вследствие продажи, двум итальянцам Гр. Граф, исходя из бумаги, подписанной им и женой его до свадьбы, оспорил завещание. В судах всех инстанций голоса делились почти поровну между сторонами. Министр юстиции высказался в пользу иностранцев, тогда как вся знать, весь двор были за графа М. П. Б. Решение дела зависело от императора. Одушевленный желанием соблюсти строжайшую беспристрастность, он не захотел полагаться на собственное чувство, склонявшее его на сторону графа: итак, он составил специальную комиссию под председательством великого князя Михаила Павловича исключительно из людей, не принимавших участия в обсуждении этого дела в Государственном совете. Комиссия нашла притязания иностранцев справедливыми, и император, хотя и склонялся к мнению противоположному, решил дело в их пользу» (Gretch. P. 105—106). Речь идет о процессе Камилло и Александро Гритти, сыновей венецианского дворянина Камилло Виченцо Гритти и графини Екатерины Яковлевны Мусиной-Пушкиной-Брюс, против разведенного мужа графини, обер-шенка графа Василия Валентиновича Мусина-Пушкина-Брюса (1773—1836). Графиня еще в 1818 г. завещала свои имения и капитал, находившийся в петербургских и европейских банках, сыновьям, рожденным от Гритти. В 1830 г. Камилло Гритти стал хлопотать в Петербурге об утверждении себя и брата в правах наследства. Петербургская гражданская палата утвердила завещание покойной, но муж ее оспаривал законность той его части, где речь шла о российских

владениях; Государственный совет 18 ноября 1835 г. согласился с решением палаты, император же утвердил его (в феврале 1836 г.) лишь после того, как сходное заключение в пользу Гритти вынесла специально учрежденная им комиссия. Современники воспринимали разрешение этого дела как «доказательство, что у нас есть правосудие, не взирающее на лица» (Вяземский — А. И. Тургеневу, 9 апреля 1836 г. — *ОА. Т. 3. С. 313*; ср.: Там же. С. 700—702). Толки о деле Гритти шли и в 1839 г.; 24 ноября/6 декабря А. И. Тургенев пересказывал в письме к брату свой разговор с великим князем Михаилом Павловичем, который рассказывал ему «о знаменитом деле Гритти и графа Пушкина-Брюса, закончившемся в пользу первого после того, как его рассмотрели он сам, граф Орлов <Алексей Федорович>, Панин <Виктор Никитич> и не помню кто еще, хотя Бенкендорф и компания держали сторону графа Брюса» (РО ИРЛИ. Ф. 309. № 706. Л. 82об.).

О брошюре Толстого см. примеч. к наст. тому, с. 22.

...вспомним историю с мельницей в Сан-Суси... — При построении замка Сан-Суси близ Потсдама прусский король Фридрих II приказал разрушить расположенную неподалеку мельницу, однако мельник воспротивился призыву и произнес легендарную фразу: «Неужели в Берлине не осталось больше судей?» История мельника из Сан-Суси легла в основу водевиля Ламбера де Лангра и стихотворной сказки Ф. Андрие.

С. 335. *Император Александр... сказал... счастливая случайность.* — Эти слова сообщены г-жой де Сталь в книге «Десять лет в изгнании» (ч. 2, гл. 17); см.: *Россия. С. 46.*

...чтобы кровь отца пролилась на детей, помещенных под эшафотом. — По легенде, французский король Людовик XI (1423—1483) поступил так со своим противником Жаком д'Арманьяком, герцогом Немурским (ок. 1437—1477).

С. 338. *В завещании Мономаха...* — Карамзин. Т. 2. Гл. 7. (ср. примеч. к т. 1, с. 9).

«Забыв гордость народную... рождалось самодержавие». — Карамзин. Т. 5. Гл. 4.

«К сожалению, летописцы...» — Карамзин. Т. 6. Гл. 6.

С. 339. *...историю Павлова...* — См. примеч. к наст. тому, с. 22.

Я видел в России нескольких человек, которые стыдятся... здесь свободны только пред лицом неприятеля... едут сражаться в теснинах Кавказа... — М. Кадо (*Cadot*. Р. 208—209) усматривает здесь намек на так называемый «Кружок Шестнадцати» — общество, которое образовалось в 1839 г. в Петербурге «частью из окончивших университет, частью из кавказских офицеров» и в котором любые вопросы обсуждались «с полной непринужденностью и свободой, как будто бы III Отделения собственной его императорского величества канцелярии вовсе и не существовало» (воспоминания одного из членов кружка, К. Браницкого, в его книге «*Les Nationalités slaves*», 1879; цит. по кн.: Герштейн Э. Г. Судьба Лермонтова. М., 1986. С. 130); в кружок входили, среди прочих, М. Ю. Лермонтов, будущий иезуит И. С. Гагарин и сын приятельницы Кюстина «баронессы***» (Ц. В. Фредерикс) — барон Дмитрий Петрович Фредерикс. Не отвергая полностью возможности зна-

комства Кюстина с кем-то из Шестнадцати, которую, впрочем, опровергает признание самого маркиза в письме к Варнгагену от 27 июля 1843 г.: «В России много тайных обществ, в которые наверняка входят лучшие умы страны; я с ними не познакомился» (*Lettres à Varnhagen*. P. 461), заметим, что французские газеты на протяжении 1837—1839 года неоднократно помещали информацию о волнениях в русской армии, о проекте заговора по образу того, какой возглавил в 1825 году С. Муравьев-Апостол (*Commerce*, 19 ноября 1837 г.; *Presse*, 29 ноября 1837 г.; *Siècle*, 29 ноября 1837 г.), об офицерах русского корпуса, стоящего в Варшаве, которые были частью арестованы, а частью переведены в Сибирь по обвинению в причастности к заговорам (*Constitutionnel*, 12 декабря 1837 г.), о «разжаловании и отставке сотни высших военных и гражданских чиновников, замешанных в заговоре против правительства» (*Commerce*, 19 февраля 1839 г.), о заговоре в стоящем в Литве корпусе генерала Ф. К. Гейсмара (*Univers*, 23 октября 1839 г.). Либеральная пресса даже использовала эти сведения для противопоставления слабой России, где «народ и армия перейдут на сторону противника, чтобы бороться с имперским деспотизмом», Франции, где «народ и армия составляют единую нацию» (*Constitutionnel*, 25 сентября 1837 г.). О недовольстве, зреющем среди русских военных, знали и находившиеся в России французские дипломаты; так, первый секретарь посольства Серсе доносил 1 августа 1838 г. главе кабинета графу де Моле: «Все отмечают, что с некоторых пор офицеры питают неподдельное недовольство, выражающееся в публичных жалобах, которые отсутствие императора делает еще более смелыми. Строгость великого князя Михаила <Павловича> и безжалостное упорство, с которым он заставляет подчиненные ему полки участвовать в самых утомительных маневрах, не имеющих никакой видимой пользы, немало способствовали росту этого недовольства. Рассказывают, что многие солдаты сами прекращают течение своей жизни, дабы избежать варварских наказаний, которые обрушиваются на них за мельчайшую небрежность или нарушение военного регламента. Я принадлежу к числу тех, кто полагают, что главная опасность грозит России со стороны этой огромной массы вооруженных людей, посредством которой император играет в солдатики и которую он командует со строгостью, принимаемой за здравую дисциплину. Ему, однако, не следовало бы забывать о множестве империй, которые сначала попадали в зависимость от этой страшной массы, в России, вдобавок, не имеющей никакого противовеса, а затем гибли, растерзанные ею» (*АМАЕ*. Т. 193. Fol. 131 verso). Таким образом, о недовольстве в армии Кюстин мог знать из прессы или из разговоров с дипломатами, и само по себе упоминание в его тексте офицеров-«фрондеров» еще не дает основания представлять его рупором русских либералов, как вслед за Жюлем Мишле (см.: Michelet J. *Légendes démocratiques du Nord*. P., 1968. P. XXXV) делает М. Кадо.

С. 341. ...*надеясь воспользоваться разложением, которому сама же способствовала...* — Примечание Кюстина к пятому изданию 1854 г.: «Она хвасталась тем, что трудится ради поддержания порядка, сама же при этом платила разносчикам анархии. До Июльской революции парижский «Националь»

получал деньги от Поццо ди Борго». Либеральная газета «Националь», редактируемая А. Тьером, О. Минье и А. Каррелем, начала выходить 3 января 1830 г.; деньги на ее выпуск давал банкир Ж. Лаффит. Сведениями о том, что «Националь» финансировался русским послом в Париже К. О. Поццо ди Борго (1764—1842), мы не располагаем; очевидно, в реплике Кюстина следует видеть искаженное воспоминание о поведении Поццо в августе 1830 г., когда русский посол, убедившись в победе Луи-Филиппа, принял его сторону и тем повлиял на реакцию всего дипломатического корпуса, поначалу настроенного весьма недоброжелательно по отношению к новой власти (см.: Pasquier E.-D. Mémoires. P., 1895. Т. 6. P. 316—317).

Париж уже не первый год читает возмутительные газеты... оплачиваемые Россией. — О деятельности Я. Н. Толстого, в чьи обязанности входил подкуп французских газет и помещение в них заметок в пользу России, написанных от лица французских журналистов, см.: Тарле Е. Донесения Якова Толстого из Парижа в III Отделение//ЛН. Т. 31/32. С. 563—603). Следует, впрочем, подчеркнуть, что все эти газеты придерживались легитимистской ориентации и называть их «возмутительными» в смысле «республиканскими» или «анархическими» оснований нет. На «иждивении» Толстого находились во второй половине 1830-х гг. такие издания, как «La France», «La France et l'Europe», «La Revue du Nord» (последние две прекратили свое существование в 1839 г.), «La Patric», «L'Assemblée Nationale» и др. На рубеже 1830—1840-х гг. к контактам с Я. Толстым склонялся редактор популярнейшей газеты «La Presse» Э. Жиарден, его заметки охотно печатала легитимистская «Quotidienne». Впрочем, некоторые наблюдатели полагали, что пропагандистские меры, принимаемые русским правительством, еще недостаточны: «Решительно, — писал Бальзак Э. Ганской 24 апреля 1844 г., — колоссу следует наконец завести в Париже русскую газету. Обойдется она ему в какие-нибудь 500—600 тысяч рублей ассигнациями, а пользы будет куда больше, чем от танцовщицы. Прыгает она ничуть не хуже; остается выяснить, что на 60-й параллели ценят выше: нравственное удовольствие от лести или же удовольствия, доставляемые танцовщицами» (Balzac H. Lettres à Mme Hanska. P., 1968. Т. 2. P. 429).

С. 342. ...*Рим, с его протiwоестественным доверием к России.* — В 1839 г. папа Григорий XVI, против ожиданий католиков, не осудил присоединение униатов к российской православной церкви и ограничился тем, что произнес 22 ноября 1839 г. в тайной консистории речь на эту тему, выдержанную в достаточно мягких тонах и возлагавшую ответственность за присоединение униатов исключительно на самих униатских священников (см.: Schieman. Т. 3. S. 504—505). Свою позицию папа изменил лишь через три года, в 1842 г. (см. примеч. к наст. тому, с. 314).

...*политическая слепота ее главы.* — Примечание Кюстина к третьему изданию 1846 г.: «Советники папы Григория XVI долго сохраняли преданность российскому императору».

...*дело католицизма в Польше осталось без естественного своего защитника...* — Имеется в виду папское брeвe польским епископам от 9 июня 1832 г., где папа Григорий XVI легитимировал политику Николая I в Польше после

подавления восстания 1830—1831 гг. и предписал польским священникам повиноваться законной власти, отвергая «ложные принципы» смутьянов. Бreve было прочтено во всех польских церквях — в отличие от следующего документа, который папа сочинил в опровержение первого, после того как выяснил, что его неверно информировали о том, что происходит в Польше.

Вестфальским миром завершилась в 1648 г. Тридцатилетняя война между немецкими протестантами и католиками.

С. 343. ...я отослал его к Боссюэ... — Имеется в виду сочиненная Боссюэ (см. примеч. к т. 1, с. 302) «Декларация французского духовенства» (1682), которая, не подвергая сомнению авторитет папы римского, утверждала независимость от него королей в вопросах светских, а галликанской церкви — в вопросах церковного управления, равно как и подчинение папы в вопросах веры вселенским соборам.

С. 344—345. ...самый осмотрительный, но и самый слепой из европейских государей, начинает... религиозную войну... — Имеются в виду широко освещавшиеся в европейской прессе события конца 1837 г., когда прусские власти арестовали архиепископа кельнского Августа Клеменса Дросте Вишеринга (1773—1845) за неповиновение правительству, в частности, за отказ благословлять смешанные браки между католиками и протестантами в том случае, если родители не намерены воспитывать детей в католической вере.

С. 345. ...открещиваются от замыслов завоевания Константинополя... — См. примеч. к т. 1, с. 111. Добавим, что, несмотря на все опровержения российских политиков, подозрения относительно видов России на завоевание Константинополя сохранились не только у явных политических противников Российской империи, но и у наблюдателей нейтральных и даже сочувствующих; так, Отчет III Отделения за 1841 год утверждает, что «в Германии не постигают, каким образом Россия до сего времени не воспользовалась благоприятными обстоятельствами, дабы завладеть Константинополем, который был бы важнейшим условием преобладания ее политиков в Европе», и приводит высказывание короля вюртембергского, который в частной беседе признался, что «не верит совершенному со стороны России самоотвержению, а напротив, убежден, что неминуемо придет время, когда русские займут Константинополь» (ГАРФ. Ф. 109. Оп. 223. № 6. Л. 83, 84).

...скрывши их, я был бы преступен. — Дополнение Кюстина к третьему изданию 1846 г.: «Итак, признавая свою слабость и сожалая о своем малом влиянии, я тем не менее считаю своим долгом напомнить Западной Европе о том, что спасение ее зависит от основания сильной и независимой греческой империи, столицей которой со временем сделается Константинополь. Такова единственная законная цель союза Франции с Англией. Таков также единственный способ помочь раздробленной Польше». В пятом издании 1854 г. Кюстин сделал к этому месту примечание: «Дай Бог, чтобы плодом нынешней войны сделалось подобное преобразование европейской части Турции».

...За четырехмесячную поездку... — На самом деле Кюстин провел в России около двух с половиной месяцев; в третьем издании он указал в этом месте срок, более близкий к реальности — три месяца.

...в пору нашествия Наполеона внезапно извлечены были на свет... забытые герои Минин и Пожарский... — Комментарий Греча: «Минин и Пожарский всегда почитались на Руси как герои; испокон веков история, поэзия и изящные искусства прославляли их великие деяния. Сходство — вплоть до совпадения дня и месяца — обстоятельств 1812 года с событиями двухсотлетней давности показалось, естественно, добрым предзнаменованием. Бородинская битва состоялась 24 и 26 августа, и точно в эти дни два века назад (в 1612 году) Пожарский разбил врагов отечества. Если французы впервые услышали о Минине и Пожарском в 1812 году, кто в этом виноват?» (Gretch. P. 103—104). В самом деле, интерес к Минину и Пожарскому возник еще до начала войны 1812 г.; так, член Вольного общества любителей словесности, наук и художеств В. Попугаев внес предложение о сборе пожертвований на постановку памятника Минину и Пожарскому еще в 1803 г.; скульптор И. П. Мартос, автор памятника, установленного на Красной площади в 1818 г. (см. примеч. к наст. тому, с. 117), создал первоначальный проект его в 1804 г., причем модель эта была показана на выставке в Академии художеств и обсуждалась в печати; памятник двум героям планировали установить в Нижнем и в январе 1809 г. даже открыли подписку, но затем вновь избрали местом для его установки Москву, и 20 октября 1811 г. Александр подписал рескрипт о начале работ (см.: Ковалевская Н. М. И. П. Мартос. М.; Л., 1938. С. 68—75); события 1612 г. легли в основу поэмы С. А. Ширинского-Шихматова «Пожарский, Минин, Гермоген» (1807) и трагедии М. В. Крюковского «Пожарский» (1807). Война 1812 г., естественно, еще больше оживила этот интерес к героям, отразившим нашествие поляков: русские публицисты начали охотно сравнивать происходящее с событиями двухсотлетней давности и «к поддержанию вскипевшего духа народного вызывать <...> имена Минина и Пожарского <...> и русский быт их времени» (Глинка С. Н. Записки о 1812 годе//1812 год в русской поэзии и воспоминаниях современников. М., 1987. С. 402).

С. 346. У французов и немцев... двумя этими великими нациями. — Примечание Кюстина к третьему изданию 1846 г.: «Начиная с 1839 года я видел спасение мира лишь в тесном союзе Франции и Австрии. Разнообразные предрассудки отсрочивают окончательную победу этой политики, но рано или поздно она восторжествует — это неизбежно». Это рассуждение о политических союзах — реплика Кюстина в весьма оживленном споре о «естественных союзниках» Франции, который в конце 1830 — начале 1840-х гг. вели французские журналисты на страницах газет, а французские политические деятели — в палате депутатов. Точку зрения Кюстина разделяли далеко не все; были авторы, убежденные, что единственный возможный союзник для Франции — Россия: ведь эти две страны удалены друг от друга, поэтому у них нет поводов для прямого столкновения, и каждая может завоевывать земли — первая в Северной Африке, а вторая в Азии — без ущерба для другой; вдобавок у обеих общий противник — Англия (эти аргументы изложены, например, в анонимной статье «Письма секретаря посольства о современных ораторах и публицистах. Г-н Тьер» — France

littéraire. 1841. Т. 4. Р. 65—81). Об этих тенденциях во французском обществе и политической элите знали в России; в Отчете III Отделения за 1841 год говорится: «В прошедшем году Моген <либеральный член палаты депутатов> доказывал в одной речи, что Франция должна восвать не против Европы, а против Англии, представляя возможность союза с Россиею. Эта речь весьма одобрена была французскою публикой, сильно восстановленной против Англии июльским трактатом <первой Лондонской конвенцией по восточному вопросу, которую подписали 15 июля 1840 г. Англия, Австрия, Россия, Пруссия и Турция без участия Франции> <...> Даже Лаффит <банкир-либерал>, которого называют гением-покровителем республиканцев, говорит, что если бы он был главою правительства, то, кроме чести Франции, он бы всем пожертвовал, дабы заключить союз с Россиею. Одно только это государство, по его мнению, может почесть самостоятельным и действовать независимо от прочих» (ГАРФ. Ф. 109. Оп. 223. № 6. Л. 91—92).

С. 347. *Леди Мери Уортли Монтегю* (урожд. Пьерпон; 1690—1762) — жена Эдуарда Уортли Монтегю, английского посла в Константинополе в 1716—1718 гг., вошедшая в литературу своими «Письмами» (изд. посмертно, 1763, т. 1—3). За совершенство эпистолярного стиля леди Монтегю называли «английской госпожой де Севинье». Поскольку Кюстин упоминает письма, «напечатанные недавно», можно предположить, что он пользовался Полным собранием сочинений леди Монтегю в 3 томах, изданным в 1836—1837 гг. в Лондоне ее внучкой Луизой Стюарт.

С. 348. *...обращение папы к кардиналам...* — См. примеч. к наст. тому, с. 314.

Несколько лет назад один весьма умный человек... решился заявить в печати, что католическая религия более благоприятствует развитию умов... — Без сомнения, речь идет о Петре Яковлевиче Чаадаеве (1794—1856) и его первом «Философическом письме», которое было опубликовано (в переводе с французского) в «Телескопе» (1836. № 15).

Вся жизнь католического священника, пишет он в своей книге... — Как уже отмечалось (см.: Cadot M. Tchaadaev en France//Revue des Etudes slaves. 1983. Т. 55. Fasc. 2. Р. 269), подобного текста у Чаадаева нет; в сочинениях Чаадаева отыскиваются лишь самые общие соответствия тем идеям, какие приписывает ему Кюстин (см., например, в письме шестом рассуждения о христианском обществе, которое «при всех переворотах <...> не только не утратило ничего в своей жизненности, но с каждым днем еще растет в силе» — Чаадаев П. Я. Полн. собр. соч. и избранные письма. М., 1991. Т. 1. С. 403). Вопрос о знакомстве Кюстина с реальными текстами Чаадаева, а не только с устной легендой о них, остается открытым. Сочинения Чаадаева на французском языке были впервые изданы в 1862 г., после смерти Кюстина; «телескопская» публикация оставалась ему недоступна, так как он не знал русского языка. Сама приблизительность пересказа и ошибочное именование журнальной публикации, вызвавшей скандал и навлекшей на автора гонения, книгой, указывают на то, что Кюстин знал о Чаадаеве с чужих слов.

С. 349. *Сей новый род пытки...* — Комментарий Греча: «Во-первых,

заметим, что сочинение, поставленное ему в вину, было не книгой, а статьей, напечатанной в одном московском журнале. Автор собрал в ней всевозможные и совершенно непростительные, дикие выпады против России, ее церкви, правительства и населения. Будь он отдан под суд, его бесспорно ожидал бы самый суровый приговор. Император поступил иначе: он повелел обращаться с сочинителем как с человеком, повредившимся в уме. Маркиз утверждает, что приказ сей был исполнен с величайшей суровостью. Ничего подобного. Просто-напросто в течение некоторого времени врач ежеутренне являлся к виновному, щупал ему пульс, осматривал язык и прописывал какое-нибудь подходящее к случаю лекарство. Нечего и говорить, что подобное обращение уязвило автора куда сильнее, чем любое другое наказание: его выставили перед всем миром как умалишенного, как сумасброда. Не знаю, сколько времени продлилось это лечение, но не сомневаюсь, что оно оказало весьма благотворное действие не только на больного, но и на других лиц» (*Gretch*. P. 104).

С. 350. *...несчастный великосветский богослов... признает себя умалишенным!*... — Возможно, отзвук дошедшего до Кюстина известия о том, что в 1837 г. Чаадаев написал статью «Апология безумца». Сам Чаадаев неоднократно обыгрывал этот пассаж Кюстина в своей переписке. 20 апреля 1849 г. он писал брату М. Я. Чаадаеву: «Маркиз Кюстин, в книге своей о России, хотя и с добрым намерением <...> между прочим утверждает, что с некоторого времени я и сам считаю себя сумасшедшим», 5 января 1850 г. признавался тому же адресату, что «нервические припадки» доводят его «почти до безумия; странное подтверждение слов Кюстина» (Чаадаев П. Я. Полн. собр. соч. и избранные письма. М., 1991. Т. 2. С. 218, 229), а осенью 1843 г. просил свою кузину Е. Д. Щербатову, находившуюся в это время в Париже, «оправдать его перед Кюстином: что он не несчастлив» (дневниковая запись А. И. Тургенева от 9/21 октября 1843 г; см.: Мильчина В. А., Ошоват А. Л. Чаадаев и маркиз де Кюстин: ответная реплика 1843 г. // *Russica Romana*. 1994. V. 1. P. 84—85).

...мне предложили посетить несчастного... но я был остановлен страхом и даже отчасти жалостью... — Вопрос о том, состоялось ли личное знакомство Кюстина с Чаадаевым в бытность французского путешественника в Москве, также не поддается удовлетворительному решению. Аргументы *против* отождествления с Чаадаевым г-на***, показывавшего Кюстину Москву, и просвещенного собеседника маркиза, обсуждавшего с ним богословские проблемы в Английском клубе, см. в примеч. к наст. тому, с. 113. Что же касается посещения Кюстином квартиры Чаадаева на Басманной, то единственное свидетельство, опровергающее признание самого маркиза, — отрывок из мемуаров Д. Н. Свербеева (см.: Свербеев Д. Н. Записки. М., 1899. Т. 2. С. 405), носит слишком общий характер, чтобы его можно было принимать безоговорочно: Кюстин здесь назван среди длинного перечня европейских знаменитостей, посетивших Чаадаева, причем некоторые из них, например, Проспер Мериме, названы безусловно ошибочно.

Какое наказание понесли цензоры выпущенной им книги, мне не сказали. — Цензор Алексей Васильевич Болдырев (1780—1842), который, судя по

некоторым воспоминаниям, подписал чаадаевскую статью, не читая, был 30 ноября 1836 г. «за нерадение отставлен от службы», что лишало его права на пенсию, которую, однако, в феврале 1837 г. благодаря хлопотам председателя московского цензурного комитета С. Г. Строганова ему все-таки назначили; редактор «Телескопа» Николай Иванович Надеждин (1804—1856) за публикацию «Философического письма» был сослан в Усть-Сысольск (ныне Сыктывкар).

С. 351. ...недолюбливает тот независимый дух, что царит в этом городе... — Возможно, отзвук рассказов Баранта, отмечавшего, что благодаря генерал-губернатору М. С. Воронцову в Одессе «можно жить с некоторой непринужденностью и спокойствием <...> вдали от императора, чьего всевластия невозможно избежать, живя близ двора»; вдобавок, свидетельствует Барант, Одесса — «некое пристанище для впавших в немилость царедворцев, для семейств, не притязующих на царские милости и питающих вкус к независимости, для недовольных своим положением отставленных чиновников. Здесь обретают они свободу беседовать на любые темы, общество немногочисленное, но лишенное чванливости, возможность частых сношений с Европой. <...> Все это не нравится императору. Процветание юной России не искупает в его глазах ослабление покорства, измену дисциплине, которая должна быть всегда по-военному жесткой» (*Notes*. P. 173—175).

Ришелье Арман Эммануэль дю Плесси де Шинон, герцог де (1766—1822) — председатель совета министров Франции в 1815—1818 и 1820—1821 гг.

Приложение

С. 352. ...брат... знаменитой певицы... — Речь идет о Жозефине Грассини (1773—1850), которая дебютировала в 1794 г. в миланском театре «Ла Скала», в 1804 г. по приглашению Бонапарта, с которым находилась в связи, обосновалась в Париже, а после падения императора возвратилась в Милан, где в 1841—1842 г. с нею постоянно общался Кюстин (см.: *Tarn*. P. 491). Ж. Грассини выступала, в частности, в операх Николо Антонио Цингарелли (1752—1837) «Ромео и Джульетта» и «Артаксеркс», в опере «Телемак на острове Калипсо» Иоганна Симона Майера (в современном написании Майра; 1763—1845), а также в операх Джованни Паэзиелло (1740—1816).

С. 353. *Франкфурт... Майнц...* — Речь идет о событиях декабря 1792 г., когда французская армия, которой командовал дед Кюстина, была вынуждена сдать пруссакам Франкфурт (см. примеч. к т. 1, с. 30).

С. 355. *Вице-король Италии* — Евгений де Богарне (см. примеч. к т. 1, с. 161).

Вам, должно быть, пришлось много выстрадать от... суровости климата? — Страдания и гибель пленных французов от мороза и дурного обращения, замерзшие трупы, которые некому хоронить, ночлег в пустых неотопляемых зданиях — повторяющиеся темы воспоминаний, оставленных многими

французами, которые побывали в русском плену; см., например: Де Ла Флиз. Поход Наполеона в Россию в 1812 году. М., 1912. С. 81—85; О пребывании в плену в Витебске в 1812 и 1813 гг. иностранцев офицеров наполеоновской армии//Полоцко-Витебская старина. Витебск, 1916. Вып. 3. С. 227—228. Но особенно близки к тексту Кюстина (вплоть до дословного совпадения отдельных фраз) воспоминания военного врача Ф. Мерсье, пересказанные Ж.-Ж.-Э. Руа в книге «Французы в России. Воспоминания о компании 1812 г. и двухлетнем пребывании в русском плену» (1867; рус. пер. 1912; гл. 5); здесь фигурируют и сжигаемые в костре тела людей, которые, оказывается, еще не умерли, и примерзающие к земле трупы, и мертвые тела, которые солдаты стаскивают за ноги со второго этажа, так что голова стучается о ступени, а соотечественники покойных говорят: «Им не больно, они умерли» («Ils ne souffrent plus, ils sont morts» — фраза Руа, дословно совпадающая с фразой Кюстина; см.: Roy J.-J.-E. Les Français en Russie. Souvenirs de la campagne de 1812 et de deux ans de la captivité en Russie. Tours, 1867. P. 93).

С. 357. *...не дозволяется продавать людей без земли...* — См. примеч. к т. 1, с. 152.

С. 359. *...русское правительство, по сути своей революционное...* — Это понимание русского правительства как правительства деспотических преобразователей-революционеров разделяли подчас сами члены императорской фамилии; так, если верить П. В. Долгорукому, великий князь Константин Павлович, раздраженный намерением брата сразу по вступлении на престол произвести улучшения «по всем ветвям государственного управления», «в минуту гнева назвал даже Николая Павловича *якобинцем*» (Долгорукий П. В. Петербургские очерки. М., 1992. С. 279); ср. также в дневнике Пушкина под 22 декабря 1834 г. реплику поэта, адресованную великому князю Михаилу Павловичу: «Все Романовы революционеры и уравниатели» и ответ великого князя: «Спасибо: так ты меня жалуешь в якобинцы!» (Пушкин. Т. 8. С. 45). Кюстин полемизирует здесь с русской официальной точкой зрения на Россию как на страну, которая «нынешним спокойствием, благоденствием и постепенным возвеличением своим при смутных обстоятельствах» противостоит «некоторым европейским государствам, где революционный дух столь злобно и иногда столь удачно действует к разрушению всякого устройства», и которая, благодаря императору, представляет собой «единственную опору своих союзников, единственный оплот, удерживающий дальнейшее распространение смуты и беспорядка в Европе, и страшилище злых революционеров» (Отчет III Отделения за 1835 год — ГАРФ. Ф. 109. Оп. 223. № 2. Л. 59 об.).

С. 360. *...с одним документом, который полагаю подлинным... переведенный с русского языка лицом, которое мне его предоставило...* — Автор приводимой ниже статьи — Василий Алексеевич Поленов (1776—1851), с 1830 г. член временной комиссии для разбора государственного архива и архива санкт-петербургских департаментов правительствующего сената, а с 1834 г. — управляющий государственным архивом при министерстве иностранных дел. По сообщению его сына, Д. В. Поленова, републиковавшего эту ста-

тью, впервые напечатанную в первой части «Трудов Российской академии» за 1837 год, Поленов разослал отписки этого текста своим знакомым, в том числе П. Б. Козловскому, который якобы и выполнил для Кюстина перевод (см.: *РС*. 1874. № 4. С. 647). Наличие во французском тексте, опубликованном Кюстином, двух грубых ошибок, бесспорно объясняющихся неверным пониманием русских слов («бывший там» переводится как «бывший» в смысле «отставной»; «обнадеживание» — как обеспечение теплой одеждой), заставляет усомниться в том, что перевод сделан Козловским, участие которого, скорее всего, ограничилось тем, что он порекомендовал Кюстину некоего переводчика, возможно, обрусевшего француза. Кюстин ошибается, сообщая, что статья «Об оправдании Брауншвейгской фамилии» сочинена для Екатерины II; по приказанию императрицы сочинялись бумаги, на которые ссылается Поленов, сам же он жил позже и составлял статью лично, по архивам. В конце XVIII в. «сведения о Брауншвейгской фамилии встречались только в иностранных источниках и в неопубликованных дневниках и мемуарах очевидцев», с начала же XIX в. они «проникают на страницы печати» (Ремарчук В. В. Заметка Пушкина о Железной Маске//Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1982. Т. 10. С. 315—316; там же см. библиографию этих печатных известий); о Брауншвейгском семействе см. также: Корф М. А. (при участии В. В. Стасова). Брауншвейгское семейство. М., 1993; Эйдельман Н. Я. Пушкин. История и современность в художественном сознании поэта. М., 1984. С. 156—180. Сын Поленова оценил публикацию статьи отца в книге Кюстина резко отрицательно, назвав маркиза за его предупреждение к переводу «невеждой и *blagueur*’ом (вралем. — *фр.*), который, чтобы быть верным своему ложному взгляду, не останавливается ни перед какою неправдою» (*РС*. 1874. № 4. С. 646). Поленов упрекает Кюстина в том, что напечатанный в его книге перевод грешит пропусками. В переводе в самом деле есть неточности (в частности, ошибки в цифрах) и пропуски, однако опущенные фразы и словосочетания не несут ровно никакой идеологической нагрузки. С другой стороны, сам Поленов цитировал донесения А. П. Мельгунова Екатерине II не дословно, зачастую даже в закавыченных фрагментах пересказывая текст Мельгунова своими словами. В настоящем издании текст Поленова печатается по «Трудам Российской академии»; неточности французского перевода, опубликованного Кюстином, отмечены в примечаниях.

С. 361. ...4 мая 1774 года... — По новому стилю 16 мая. Здесь и далее в статье Поленова все даты даны по старому стилю.

...имел повеление... — В переводе: «имел позволение».

С. 362. ...король, сын ее... — В переводе: «зять ее». Имеется в виду Кристиан VII (1749—1808), датский король с 1766 г.

...бывшего там губернатора... — В переводе: «бывшего губернатора».

С. 363. В донесении императрице Екатерине II. — В переводе эти слова опущены.

...для них веселой и обыкновенной. — В переводе опущено слово «обыкновенной».

...имеет от роду 38 лет... — В переводе «36 лет». Екатерине, родившейся в 1741 г., в 1780 г., во время визита Мельгунова, было 39 лет.

...так что и не привыкший к такому разговору может разуть ее.— В переводе: «так что человек непривычный ничего не может разобрать».

...Елисавете 36 лет.— В переводе «30 лет». Елизавете, родившейся в 1743 г., было в 1780 г. 37 лет.

Фонтанель — гнойная рана, сделанная нарочно, с врачебной целью.

С. 364. ...которые и теперь повторили бы, но не осмеливаются... — В переводе: «но что их прошения были отклонены и теперь они не осмеливаются».

С. 365. ...кормилицыным детям... — В переводе эти слова опущены.

...достождолжную... — В переводе это слово опущено.

С. 366. ...отставной флота капитан... капитана первого ранга... — Опущены слова «отставной» и «первого ранга».

...по 8000 рублей... — В переводе: «по 3000 рублей».

...а две взяты из крестьянок. — В переводе: «из крестьян».

С. 367. По данным Мельгунову... приличные меры. — В переводе вся фраза опущена.

...с таким же обнадеживанием... — В переводе: «с кое-какой теплой одеждой».

...улаждением их затворничества... — В переводе эти слова опущены.

С. 368. ...вдова Лилиенфельд и ее дочери... — В переводе: «и ее сыновья».

С. 369. ...ходатайствовать... о продолжении к ним монарших милостей... — В переводе: «Сложить к ногам ее величества признательность».

С. 370. ...бальифу Шубену... — В переводе Шулену. Бальиф (grand baillif) — начальник города.

12 числа. — В переводе дата опущена.

...к Фланстранду. — В переводе: «к Гунстранду».

...поступками Циглера... — В переводе: «предупредительностью Циглера». После этой фразы в русском тексте Поленова следует рассказ о дальнейшей судьбе капитана и команды «Полярной звезды», Циглера и вдовы Лилиенфельд, опущенный в переводе.

С. 371. Свидание их было трогательно. — В переводе: «Свидание это оказалось для них печальным». Принца, о котором идет речь, сына королевы Юлианы, звали Фредериком (1753—1805).

С. 372. ...как ни старались ее рассеять... — В переводе эти слова опущены. ...единовременные годовые оклады жалованья. — В переводе: «знаки ободрения».

...наследного принца Фридриха... — Речь идет о внуке королевы Юлианы, Фредерике (Фридрихе) VI (1768—1839), датском короле с 1808 г.

Генеалогия принцев и принцесс Брауншвейгских

В примечаниях к генеалогии, помещенной Кюстином в конце книги, отмечены только неточности в датах.

С. 377. Брауншвейгские — Кюстин безосновательно причисляет к Брауншвейгским и чистокровных Романовых: Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, Петра I и его детей.

Иоанн VI умер не в 22, а в 24 года (родился в 1740 г.).

Анна Петровна умерла не в 1726, а в 1728 г.

Екатерина Брауншвейгская умерла не в 65, а в 66 лет (родилась в 1741 г.).

Анна Иоанновна умерла не в 1748, а в 1740 г.

Дополнение 1

С. 378. ...*происшествия... сделавшиеся известными на Западе...* — Имеются в виду факты преследования католиков, изложенные в Дополнении 2.

С. 379. *Предупреждение и предисловие...* — См. т. 1, с. 6—20.

Дополнение 2

С. 379. «*Злоключения католической церкви обоих обрядов...*» — Книга немецкого богослова А. Тейнера «Злоключения католической церкви обоих обрядов в Польше и в России» (1841; фр. пер. Монталамбера, который цитирует Кюстин, — 1843). Граф Шарль Форб де Монталамбер (1810—1870) — пэр Франции и известный католический публицист, был горячим защитником поляков; в 1839 г. русский посол в Париже граф Пален уведомлял III Отделение «о составившемся в Париже, по старанию графа Монталамбера, обществе, называемом католическим, из самых отчаянных революционеров, которое имеет целью образовать миссионеров и посылать их в Польшу для проповедания, с распятием в руках, вольности полякам» (Отчет III Отделения за 1839 год — ГАРФ. Ф. 109. Оп. 223. № 4. Л. 85 об.).

«*Нет такой жестокости...*» — Речь идет о преследованиях униатов при Екатерине.

С. 380. «*Если императрица, принимая свои законы...*» — Имеется в виду статья восьмая Гродненского договора, подписанного Екатериной 13 июля 1793 г., во время второго раздела Польши. В ней императрица обещала всем униатам и католикам, переходящим в ее подчинение, право свободно исповедовать свою веру.

Немцевич Юлиан Урсин (1575 или 1758—1841) — польский поэт, участвовал в восстании 1794 г. как адъютант Т. Костюшко; раненный, попал в плен, отбывал заключение в Петропавловской крепости; после подавления восстания 1830—1831 г. эмигрировал; умер в 1841 году. «Записки о моем пленении в Санкт-Петербурге в 1794, 1795 и 1796 годах» были изданы в Париже (на фр. яз.) посмертно, в августе 1843 года.

С. 382. *Русское правительство пыталось оправдать эти жестокости...* — III Отделение объясняло эти жестокости излишним рвением местных властей: «В Белорусской губернии заметно какое-то чрезмерное домогательство обращать униатов в православие, — говорится в отчете за 1836 год. — Тамошнее начальство, конечно, думает угодить этим правительству, но что ж оно производит? волнение и беспорядки между крестьянами. Тогда

прибегает к силе для приведения их в повиновение и наконец с торжеством доносит, что столько-то сот крестьян *добровольно* приняли православие» (ГАРФ. Ф. 109. Оп. 223. № 2. Л. 171).

...*вот что писала по этому поводу «Северная пчела»*... — «Северная пчела» опубликовала статью «Преращение Унии» в номерах за 25—27 октября 1839; Тейнер приводит в переводе статью из № 242 за 26 октября; в нашем издании текст воспроизведен по «Северной пчеле».

С. 383. *Жмудь* — территории между низовьем Немана и рской Виндавой (Вентой).

Дополнение 3

С. 383. ...*разорвав ее, швырнул себе под ноги*. — По-видимому, гиперболизация реакции императора, запечатленной в брошюре Вигеля (см. примеч. к наст. тому, с. 157).

С. 384. ...*г-н Сен-Марк Жираден*... «*Журналь де Деба*»... — 4 января 1844 г. (см. примеч. к т. 1, с. 6).

С. 385. ...*издание для народа*. — Издание мелким шрифтом в две колонки, в одном томе, in-4^o.

...*борьба*... *уже началась*... — Речь идет о Крымской войне, начавшейся в октябре 1853 г.

В. Мильчина, А. Основат

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН *

- Агриппина* Младшая **II**, 82
Агуадо Алехандро Мария **II**, 247
Адриан, последний паτριарх московский **II**, 54, 124
Александр Македонский **II**, 107
Александр Невский **I**, 137; **II**, 122
Александр Николаевич, великий князь **I**, 21—23, 151, 168, 188, 202—203, 270—275, 299; **II**, 55
Александр I **I**, 22, 79—80, 104, 134—135, 139, 141, 162, 169, 174, 175, 179, 184, 244, 292, 346, 349, 352, 358, 360, 374; **II**, 25, 37, 66—67, 97, 127, 131, 176, 205, 209, 216, 233, 240—242, 246, 259, 271, 296, 311, 335, 354, 372, 380—381
Александра Николаевна, великая княжна **I**, 203
Александра Федоровна, российская императрица **I**, 23, 144, 148—149, 156, 163, 167, 169, 171, 181—182, 188, 190, 194, 198—204, 208—209, 211, 215, 239, 242, 243, 257, 258, 262—263, 265, 266, 268—272, 275, 282
Алексей Брауншвейгский, принц **II**, 360—372
Алексей Михайлович, царь **II**, 153
Алексей Петрович, сын Петра I **II**, 108—111
- Алибо* Луи **II**, 22
Анастасия Романовна Захарьина-Юрьева, жена Ивана IV **II**, 84, 90
Анна, жена великого князя Ярослава Владимировича **II**, 304
Анна Ивановна, императрица **I**, 352; **II**, 120, 192
Анна Леопольдовна, императрица **II**, 361
Антон Ульрих Брауншвейгский, принц **II**, 360—372
Антонио — см. *Ботти* Антонио.
Ариосто Лодовико **I**, 86, 258
Арондел Генри, граф **II**, 94
Арсеньев Михаил **II**, 366, 370
Аспазия **II**, 51
Афанасий Великий **I**, 292
- Багратион* Петр Иванович, князь **II**, 294
Баер Готлиб Зигфрид **II**, 68
Баженов Василий Иванович **II**, 152
Байрон Джордж Ноэл Гордон **I**, 100, 300
Бальзак Оноре де **I**, 379
Барант Проспер Брюжьер, барон де **I**, 141, 164, 181, 201—202, 360; **II**, 303, 306, 308
Бартелми Франсуа, маркиз де **II**, 18
Барятинский Федор Сергеевич, князь **I**, 277

* В указатель не вошли лица, упоминаемые во вступительной статье и комментариях. В указателе принят алфавитный порядок «слово за словом».

- Баторий* Стефан, польский король **II**, 92, 99
Батый **I**, 83—84, 246, 287; **II**, 151
Бауер (урожд. *Кури де Шангран*) Александрина Софи **II**, 179
Баязет, султан **II**, 123
Безбородко Александр Андреевич **II**, 362
Бельзен Анри, виконт де **I**, 304, 328
Бенкендорф Александр Христофорович, граф **II**, 308
Берк Уильям **I**, 285
Бертье де Совиньи Луи Бенинь **I**, 39
Блудов Дмитрий Николаевич, граф **II**, 381
Богарне Александр, виконт де **I**, 49, 173
Богарне Евгений де, принц **I**, 161, 173; **II**, 295, 355 («вице-король Италии»)
Богарне Мария Жозефина Роза де (урожд. *Таше де Ла Пажри*), впоследствии *Жозефина* Бонапарт **I**, 47, 54, 60
Боккаччо Джованни **I**, 76
Бомарше Пьер Огюстен Карон де **I**, 183, 254 (реплика Базиля).
Бонапарт — см. Наполеон **I**
Боссюэ Жак Бенинь **I**, 302; **II**, 10 («проповедник»), 343
Ботти Антонио («слуга», «камердинер») **I**, 76—77, 123, 133; **II**, 187, 189, 195, 224, 285—286, 288—290, 298—299
Брамах Джозеф **II**, 309
Брауншвейгский Карл Вильгельм Фердинанд, герцог **I**, 27
Брейгель Бархатный **I**, 189
Брессон Шарль, граф де **I**, 27, 30
Броллово Карл Павлович **II**, 311—313
Брюс Питер Генри **II**, 109, 111
Буасси д'Англа Франсуа Антуан, граф де **I**, 55
Букингем Джордж Вилье, герцог **I**, 201
Бурачек, униат **II**, 382
Бутурлин Михаил Петрович **II**, 235, 239, 248, 252—255, 257—259, 261, 264—267, 269—271, 285
Бутурлина (урожд. *Шаховская*) Анна Петровна **II**, 262
Буфлер Станислас, шевалье де **II**, 207
Буффе Мари **II**, 179
Буше Франсуа **I**, 270
Бэкон Николай **II**, 94
Валери (наст. имя и фам. Антуан Клод *Паскен*) **I**, 290
Варнгаген фон Энзе Карл Август **II**, 315
Василий III Иванович, великий князь московский **I**, 126, 127
Вебер Фридрих Христиан **I**, 351; **II**, 63
Вейер («консул») **II**, 300—301
Вергилий **I**, 65, 213, 261; **II**, 325
Верне Орас **II**, 45, 135
Вильгельм II — см. Фридрих Вильгельм **II**
Вильсон **II**, 308
Вильхем (наст. имя и фам. Гийон Луи *Боксийон*) **I**, 26
Витгенштейн Петр Христианович, светлейший князь **II**, 295
Владимир Мономах **I**, 83, 343; **II**, 107, 121, 126, 338
Владимир I Святой **I**, 83; **II**, 90
Владимир Ярославич, князь новгородский **II**, 304
Вольтер (наст. имя и фам. Франсуа Мари *Аруэ*) **I**, 155
Воробьев Максим Никифорович **II**, 311
Воронцов-Дашков Иван Илларионович, граф **I**, 159, 181
Врангель, генерал-майор **II**, 366
Всеволод Великий, великий князь владимирский **II**, 90
Вяземский Петр Андреевич, князь **II**, 79
Гальяни Фердинандо, аббат **II**, 97
Гастальди Жозеф **I**, 45
Гастингс Мария **II**, 94
Гвидо (*Рени* Гвидо) **I**, 314
Гедеонов Александр Михайлович («директор императорских театров») **I**, 259
Гемене Анри Луи Марк де Роган, принц де **II**, 207
Генрих VIII, английский король **II**, 78, 93
Генрих Прусский, принц **I**, 29
Георг IV, английский король **I**, 79—80
Герберштейн Сигизмунд **I**, 126
Геродот **I**, 101

- Гёте* Иоганн Вольфганг **I**, 302; **II**, 118
Гибаль **II**, 279
Гизо Франсуа («министр») **I**, 15
Глебов Степан Богданович **II**, 109—110
Говард, г-жа **II**, 68, 204
Годунов Борис Федорович **II**, 192
Голицын Николай Борисович, князь **II**, 208, 209, 212
Голицына (урожд. *Пешман*) Вера Федоровна, княгиня **II**, 212
Головин Михаил Петрович, окольный **II**, 91
Головкин Юрий Александрович, граф **I**, 203
Головцын, архангельский губернатор **II**, 362—363, 367
Гольбейн Ганс **II**, 294
Гомер **I**, 86; **II**, 325
Горбатов-Шуйский Александр Борисович, князь **II**, 90—91
Горбатов-Шуйский Петр Александрович, князь **II**, 91
Горенский Петр Иванович, князь **II**, 91
Грассини, г-н **II**, 352, 355—359
Грассини Жозефина **II**, 352
Греч Николай Иванович **I**, 106
Григорий XVI, папа римский **I**, 171; **II**, 342, 348
Гримм Фредерик Мельхиор, барон **I**, 77
Гритти Камилло («незнатный частный человек») **II**, 333
Грязной Василий Григорьевич **II**, 98—99
Гуровский Игнаций, граф **I**, 270—271
Гэ Софи **I**, 195—196; **II**, 41
Гюго Виктор **I**, 302; **II**, 284
- Давид*, царь Иудеи и Израиля **II**, 106
Давид Жан Луи **II**, 46, 312
Данте Алигьери **I**, 48, 86, 332; **II**, 24, 325, 343
Дантес-Геккерн Жорж Шарль, барон **I**, 298
Дантю Жан Габриэль **II**, 79
Дарем Джон Джордж Лембтон, первый граф **I**, 109
Дашкова Екатерина Романовна, княгиня **I**, 277
- Девлет-Гирей*, крымский хан **II**, 92
Дедлей Роберт, граф Лейчестерский **II**, 94
Деппинг Жорж Бернар **I**, 368; **II**, 55
Державин Гавриил Романович **II**, 79
Джамбеллини (наст. имя и фам. Джованни Беллини) **I**, 353
Джангер Букеев, киргизский хан **I**, 167—168, 186
Дивий, мурза Ногайский **II**, 98
Дивольф — *Дивов* Павел Гаврилович **II**, 79
Дидро Дени **I**, 155
Диккенс Чарлз **I**, 127; **II**, 308, 321
Дмитрий Донской **II**, 77, 107, 191
Долгоруков Петр Владимирович, князь **II**, 175
Досифей, архиерей **II**, 109
Дюбарри, госпожа (наст. имя и фам. Жанна Бекю) **I**, 47
Дюверье Шарль **II**, 180
Дюгазон (наст. имя и фам. Жан Батист Анри Гурго) **I**, 50
Дюпре Жильбер Луи **I**, 93; **II**, 178—179
Дюрер Альбрехт **I**, 316
- Евгений*, принц — см. *Богарне* Евгений
Евдокия Федоровна (урожд. *Лопухина*) первая жена Петра I **II**, 109, 142—143
Екатерина Брауншвейгская, принцесса **II**, 360—372
Екатерина I **I**, 102, 139; **II**, 122
Екатерина II **I**, 23, 28, 108, 124, 134, 139, 141, 175, 190, 226, 244—247, 257, 275—278, 299, 349, 352, 354—355; **II**, 45, 51, 63, 96, 103, 123, 127, 152, 153, 177, 329, 360, 361—372, 379—381
Елена Глинская, мать Ивана IV **II**, 115, 121
Елена Павловна, великая княгиня **I**, 195—197, 202—204, 275, 353
Елизавета Алексеевна, императрица **I**, 184
Елизавета Брауншвейгская, принцесса **II**, 360—372
Елизавета I, английская королева **II**, 93—94, 132

- Елизавета Петровна*, императрица **I**, 174, 177, 249, 356, 358, 359, 373; **II**, 22, 122
- Жаман II*, 276
- Жан-Жак* — см. *Руссо Жан-Жак*
- Жанен Жюль I*, 94
- Жанлис* (урожд. дю *Крес де Сент-Обен*)
Стефани Фелисите I, 378
- Жерар*, губернёр **I**, 40
- Жером*, каменщик **I**, 51—52, 57—58
- Жильбер Никола Жозеф Лоран II*, 249
- Жифар II*, 352—354
- Жиарден* (урожд. *Гэ*) *Дельфина де I*, 195—196; **II**, 41
- Жоффре II*, 79, 338
- Зонтаг Генриетта* (*Гертруда Вальпургис*, по мужу *Росси I*, 168
- Зотов Никита Моисеевич* («шут») **II**, 294
- Иван Иванович*, царевич **II**, 99—101
- Иван III II*, 71, 76, 77, 90, 106—108, 119, 338—339, 360
- Иван IV Грозный I*, 138, 156, 285, 339; **II**, 19, 35, 45, 74, 76—79, 80—106, 110, 115, 117, 121, 132, 270, 285, 304, 358
- Иван V* (*Иван Алексеевич*) **II**, 360, 372
- Иван VI I*, 358, 369, 372, 373; **II**, 360
- Иоанн Златоуст I*, 292
- Ирина Федоровна*, жена царя *Федора Ивановича II*, 101
- Калигула II*, 104
- Калкреут I*, 29
- Кальвин Жан I*, 13
- Каннинг Джордж I*, 81
- Канова Антонио I*, 60
- Каракалла II*, 78
- Карамзин Николай Михайлович I*, 126—127; **II**, 67, 79, 85, 90, 91, 93, 96—99, 101—107, 338—339
- Карл V*, германский император **I**, 126
- Карл XII*, шведский король **I**, 104; **II**, 67, 122, 192
- Каррье Жан Батист I*, 305
- Кельх Христиан* («историк Ливонский») **II**, 98
- Кикин Александр Васильевич II*, 109
- Клеопатра I*, 148
- Климент XI*, папа римский **I**, 353
- Козловский Петр Борисович*, князь **I**, 77—85, 89, 92, 93, 95—106, 109, 116, 359
- Кок Поль де I*, 145
- Кокс Уильям II*, 63
- Кольридж Сэмюэл II*, 9
- Конде Луи Жозеф де Бурбон*, принц де **I**, 56
- Константин Константинович*, великий князь **I**, 202—203
- Константин Павлович*, великий князь **I**, 210, 260; **II**, 97
- Конфуций I*, 348
- Копп*, трактирщик **II**, 299
- Корреджо* (наст. фам. *Аллегри*) *Антонио II*, 291, 313
- Коссаковская* (урожд. *Лаваль*) *Александра Ивановна*, графиня **II**, 310
- Кост П.*, 123
- Коцебу Август фон I*, 360
- Красинский Игнаций*, епископ Вармийский **II**, 148
- Кристиан VII*, датский король **II**, 362
- Крой*, князь (правильно: герцог) де **I**, 104
- Ксенофонт II*, 108
- Куален* (урожд. *де Майи*) *Мари Анна Луиза Аделаида*, маркиза де **II**, 207
- Кулон I*, 123—124, 132—134, 150
- Куракин-Булгаков Иван Андреевич*, князь **II**, 91
- Курций*, хозяин музея восковых фигур **I**, 186
- Кюстин Адам Филипп*, граф де **I**, 30—35, 45, 55, 58
- Кюстин Ангерран де I*, 60
- Кюстин Арман Луи Филипп Франсуа*, граф де **I**, 27—32, 34—40, 42, 49
- Кюстин* (урожд. *Сабран*) *Дельфина*, графиня де **I**, 31—39, 41—61
- Кюстин* (урожд. де *Сен-Симон де Куртомер*) *Асонтина*, маркиза де **I**, 60

- Лабенский* Ксаверий Ксаверьевич (автор брошюры «Реплика о сочинении г-на де Кюстина») I, 6
- Лавройер* Жан де I, 76
- Лаваль* (урожд. *Козицкая*) Александра Григорьевна, графиня II, 310—311
- Лаваль* Иван Степанович, граф II, 310—311
- Лаво* — см. *Лекуэнт де Лаво*
- Ламартин* Альфонс де I, 302; II, 9 («Жослен»), 103
- Ламбаль* Мари Тереза Луиза де Савуа-Кариньян, принцесса де I, 33
- Ламет* Шарль де, госпожа I, 47, 54
- Лафатер* Иоганн Каспар I, 50
- Ла Ферронне* Огюст Пьер Мари Фенон, граф де I, 349
- Лавонтен* Жан де I, 302, 335; II, 15
- Лебрен* (*Виже-Лебрен*) Элизабет I, 354
- Левек* Пьер Шарль I, 368; II, 54—55
- Лезандр* Луи I, 55—56
- Лейхтенбергский* Максимилиан, герцог I, 141, 161, 168—171, 173, 202—204; II, 295
- Лекуэнт де Лаво* Ж. II, 63, 106, 117, 120, 151, 308, 372—376
- Ленотр* Андре I, 256; II, 198
- Леонардо да Винчи* II, 185
- Лермонтов* Михаил Юрьевич I, 299
- Лесаж* Ален Рене (автор «Жиль Бласа») I, 101
- Лиза*, хозяйка купальни I, 70—71
- Ликурж* II, 195
- Лилиенфельд*, вдова II, 366—370
- Литта* Юлий Помпеевич, граф I, 203
- Лозен* Антуан Номпар де Комон, граф, а затем герцог де I, 201
- Лозен* Арман Луи де Гонто, герцог де I, 201
- Ломоносов* Михаил Васильевич II, 79
- Лопухин* Авраам Федорович, шурина Петра I II, 109
- Лорге* Луи Леон Фелисите де Бранка, граф де I, 78
- Лоррен* Клод I, 353—354
- Луиза*, дочь тюремного смотрителя I, 35—37
- Луини* Бернардино II, 185
- Луи-Филипп* («король») I, 15; II, 286
- Людвиг XI* II, 78, 104, 335
- Людвиг XIV* I, 170, 174, 209, 265, 307; II, 38, 132, 170
- Людвиг XV* I, 39, 124, 157; II, 51
- Людвиг XVI* I, 27—29, 31, 78
- Людвиг XVIII* I, 173; II, 310, 351
- Лютер* Мартин I, 13, 27
- Лютхен*, командор II, 370
- Маге* Арман Урбен Луи де Ла Тур Ландри, герцог де I, 201; II, 261—263
- Майер* Иоганн Симон II, 352
- Маковецкий*, помещик II, 381
- Максимильтян*, германский император I, 126—127; II, 98
- Мальриа* Нанетта I, 31, 42—46, 55—58
- Мальриа*, отец Нанетты I, 55
- Мальте-Брен* Конрад I, 368; II, 55
- Мамай*, хан II, 191
- Мантенья* Андреа I, 353
- Марат* Жан Поль I, 46
- Марий* Гай I, 209
- Мария*, жена Ивана IV II, 84
- Мария Антуанетта*, французская королева I, 34
- Мария Михайловна*, великая княжна I, 203
- Мария Николаевна*, великая княгиня I, 125, 132, 141, 149, 159, 161, 168—169, 171, 189, 191, 193—194, 202—204, 213, 272, 282
- Мария Стюарт* II, 93
- Мария Терезия*, австрийская императрица I, 34
- Мария Федоровна*, российская императрица I, 135, 354
- Марко* (*Фрязин* Марко) II, 77
- Марсан* (урожд. де *Роган-Субиз*) Мари Луиза II, 207
- Мартин* Джон II, 73, 291
- Мейербер* Джакомо I, 172
- Мекленбург-Шверинский* Павел Фридрих, герцог I, 69
- Мельвиль* (наст. фам. *Дюверье*) Анн Оноре Жозеф II, 180

- Мельгунов* Алексей Петрович **II**, 362—369
Мельгунова, жена А. П. Мельгунова **II**, 368—369
Меншиков Александр Данилович, светлейший князь **I**, 275
Мерлен Антуан Кристоф **I**, 31
Мерлин, помещик **II**, 276
Мещерская (урожд. Голицына) Александра Борисовна **II**, 210
Микеланджело Буонарроти **II**, 284, 313
Мишин Кузьма **II**, 117, 265—267, 304, 345
Мирский, помещик **II**, 382
Михаил Николаевич, великий князь **I**, 202—203
Михаил Павлович, великий князь **I**, 23, 134, 195, 202—204, 353
Михаил Федорович Романов, царь **II**, 175, 223
Мицкевич Адам **I**, 300
Мольер (Жан Батист Поклен) **I**, 253, 302; **II**, 154 («Мизантроп»), 180 («Врач против воли»), 280
Монталамбер Шарль Форб, граф де **II**, 379—383
Монтегю Мери Уортли **II**, 347
Монтень Мишель де **I**, 301; **II**, 41, 123, 168, 195
Монтескье Шарль Луи **I**, 73; **II**, 45
Монферран Огюст **I**, 291—292; **II**, 120
Моро Жан Виктор **I**, 141
Мусин-Пушкин-Брюс Василий Валентинович, граф («большие господа») **II**, 333
Навуходоносор **II**, 89
Наполеон I **I**, 60, 82, 141, 153—154, 204, 290, 346; **II**, 64, 66, 72, 88, 114, 122, 128, 130—133, 216, 217, 331, 345
Нассауский, герцог **I**, 89
Наталья Нарышкина, царица, мать Петра **I** **II**, 191
Немого (Телетиев-Немого-Оболенский) Дмитрий Иванович, князь **II**, 91
Немцевич Юлиан Урсын **II**, 380
Нерон **II**, 78, 82, 104
Никифоров Иван **II**, 186
Никифорова Марья **II**, 186
Николай Николаевич, великий князь **I**, 202—203; 266
Николай I **I**, 7, 8, 17, 23, 67, 68, 85, 103, 105, 108, 109, 116, 124—127, 148, 152, 155—157, 159, 161—164, 166—173, 178—182, 184, 187—191, 193, 195, 197, 199—204, 207—227, 226, 236, 242, 244—249, 252—258, 261—263, 265—266, 268, 271, 274, 282, 284, 289, 291—293, 295—300, 306, 312, 313, 334—339, 347, 349, 359; **II**, 13—14, 16—25, 28, 31, 37, 45, 55, 70, 79, 99, 124—128, 153, 157, 158, 173, 175, 176, 186, 215—218, 233, 247, 255—257, 266—267, 269, 271, 273—275, 288, 289, 292—297, 303, 310, 322, 328, 330—331, 333—336, 341, 346, 349—351, 380—383, 385
Никон, патриарх **II**, 191
Ноай Эмманюэль Мари Луи, маркиз де **I**, 31
Нодье Шарль (автор «Жана Сбогара») **II**, 209
Ноздроватый Михаил Васильевич, князь **II**, 97
Нуазвиль (урожд. де Фьерваль) Альбертина де **II**, 206, 212
О'Доннелл (урожд. Гэ) Элиза **II**, 40—42
Олег, князь Киевской Руси **I**, 83
Ольга, княгиня, жена киевского князя Игоря **I**, 83
Ольга Николаевна, великая княжна **I**, 169, 203, 272
Ольденбургский Петр Георгиевич, герцог **I**, 203, 213
Ольденбургская Терезия Вильгельмина Фредерика Изабелла Шарлотта, герцогиня **I**, 203, 213—215
Орлов Алексей Григорьевич, граф **I**, 277
Орлов Алексей Федорович, граф **II**, 99
Оссиан **I**, 74, 94
Павел Вюртембергский, великий князь **I**, 195

- Павел I* **I**, 96, 97, 100, 134—135, 156, 169, 349, 354; **II**, 176, 310, 380—381
- Павлов Николай Матвеевич* **II**, 22, 339
- Пален Петр Алексеевич, граф* **I**, 135
- Пален Петр Петрович, граф* **I**, 123, 168—169
- Панин Никита Иванович, граф* **I**, 277
- Парр Уильям, маркиз Нортгемптонский* **II**, 94
- Паскаль Блез* **I**, 307
- Паскевич Иван Федорович, князь* **I**, 221, 339
- Патрикеев Иван Юрьевич, князь* **II**, 339
- Паззиелло Джованни* **II**, 352
- Педро Жестокий, король Кастилии и Леоны* **II**, 78
- Перне Луи* **I**, 360; **II**, 298—303, 306—309
- Песталоцци Иоганн Гейнрих* **II**, 190
- Пестель Павел Иванович* **II**, 25
- Петр Брауншвейгский, принц* **II**, 360—372
- Петр I* **I**, 18, 101—103, 108—111, 121, 124, 132, 135—139, 144, 146, 150, 155—156, 168, 175, 177, 193, 199—200, 204, 225, 226, 233, 234, 236, 244, 245, 265, 276, 290, 291, 293, 300, 337—339, 346—349, 351, 353, 358, 368, 370, 371, 373; **II**, 19, 39, 45, 54, 69, 77, 81, 96, 103, 108—111, 122, 123, 126, 128, 137, 153—154, 175—177, 191, 192, 267, 288, 294, 313, 314, 323, 326, 328, 329
- Петр II* **I**, 368
- Петр III* **I**, 134, 156, 275—277
- Петрей де Ерлезунд Петр* **II**, 123
- Пико, мадемуазель* **I**, 47
- Пимен, архиепископ новгородский* **II**, 305
- Пиндар* **II**, 43
- Платон* **II**, 101, 122
- Пожарская Дарья Евдокимовна* **II**, 38
- Пожарский Дмитрий Михайлович, князь* **II**, 117, 265, 345
- Поленов Василий Алексеевич* **II**, 360, 372
- Полиньяк Диана де, графиня* **I**, 47
- Полиньяк (урожд. де Поластрон) Иоланда Мартина Габриэла, герцогиня де* **II**, 206, 212
- Полозов, подполковник* **II**, 367
- Полозова, жена подполковника* **II**, 367
- Полторацкая (урожд. Голицына) Софья Борисовна* **II**, 206—213
- Полторацкий Борис Константинович* **II**, 205—206, 210
- Полторацкий Константин Маркович* **II**, 204—210
- Понятовский Станислав Август* **I**, 140—141; **II**, 124
- Порталь Антуан, барон* **I**, 45
- Потемкин Григорий Александрович, светлейший князь* **I**, 277, 352; **II**, 192
- Потемкина (урожд. Голицына) Татьяна Борисовна* **II**, 210
- Прадт Доминик Дюфур, аббат де* **II**, 130
- Присниц Винцент («спаситель»)* **I**, 88
- Пуссен Никола* **I**, 353
- Пустынный Федор* **II**, 109
- Пушкин Александр Сергеевич* **I**, 297—300
- Пьетро Антонио (Солари Пьетро Антонио)* **II**, 77
- Рабле Франсуа* **II**, 168, 177, 329
- Расин Жан* **I**, 302; **II**, 154 («Гофолия»)
- Рафаэль Санти* **II**, 200, 312, 313
- Рашель (наст. имя и фам. Элизабет Феликс)* **I**, 93
- Регул* **I**, 30
- Рембрандт Харменс ван Рейн* **I**, 353—354; **II**, 313
- Ренуар Жюль* **I**, 351; **II**, 62
- Репнин Николай Григорьевич, князь* **I**, 157
- Рибера Хусепе де* **II**, 48
- Ричард III, английский король* **II**, 78
- Ричардсон Сэмюэл* **II**, 162
- Ришелье Луи Франсуа Арман де Виньеро дю Плесси, герцог де* **I**, 201
- Ришелье Арман Эмманюэль дю Плесси де Шинон, герцог де* **I**, 351
- Робер Луи Эжен* **II**, 262, 299—300
- Робеспьер Максимильтен* **I**, 31, 32, 34, 42, 47, 49, 53—54
- Роза Сальватор* **I**, 353
- Ролан (урожд. Флипон) Манон Жанна* **I**, 56

- Романов Михаил* — см. *Михаил Федорович Романова* (урожд. *Шестова*) Ксения Ивановна **II**, 223
- Ромодановский Федор Юрьевич*, князь **I**, 103—104
- Ронкони Джорджо Алессандро **II**, 179*
- Росси*, граф **I**, 254
- Россинь* **I**, 55—56
- Ростопчин Федор Васильевич*, граф **II**, 131
- Рубенс Питер Пауль **II**, 48*
- Руссо Жан Жак **I**, 59, 91, 301, 302; **II**, 225, 250*
- Рюльер Клод Карломан де **I**, 276—277*
- Рюрик **I**, 83*
- Ряполовский Симеон Иванович*, князь **II**, 339
- Сабран* (урожд. *Дежан де Манвиль*) Франсуаза Элеонора **I**, 29, 57, 59—60; **II**, 207, 212
- Сабран Эльзеар*, граф де **I**, 43, 57, 59; **II**, 148, 206
- Санд Жорж* (наст. имя и фам. Аврора *Дюпен*, в замужестве *Дюдеван*) **II**, 320
- Святополк*, киевский князь **I**, 83
- Севинье Мари*, маркиза де **I**, 302
- Сегюр Луи Филипп*, граф де **I**, 28—29
- Сегюр Филипп Поль*, граф де **I**, 156; **II**, 108—111, 123
- Семирамида **I**, 257*
- Сен-Марк Жирарден* (наст. имя и фам. Марк Жирарден) **II**, 384
- Сен-Симон Луи де Рувруа*, герцог де **I**, 170, 302
- Сен-Тома **II**, 338*
- Серафим*, митрополит **I**, 172—173, 203, 209
- Сергий Радонежский **II**, 188, 191, 192*
- Сесил*, кавалер **II**, 94
- Сицкий Василий Андреевич*, князь **II**, 96
- Скавронский*, брат Екатерины **I** **I**, 102—103
- Скотт Вальтер **I**, 100—101*
- Сомбрей Мари де **I**, 304*
- Софья Алексеевна*, сестра Петра **I** **II**, 109, 142
- Сталь* (урожд. *Неккер*) Жермена де **I**, 61, 191; **II**, 114—115, 335
- Степанов*, капитан **II**, 366
- Стерн Лоренс **II**, 250*
- Строгановы*, Григорий и Яков **II**, 270
- Суворов Александр Васильевич **I**, 136, 234*
- Сугорский Захарий Иванович*, князь **II**, 98
- Сухой-Кашин-Оболенский Иван Иванович*, князь **II**, 91
- Талейран-Перигор*, Шарль Морис де, князь Беневентский **II**, 331
- Тальен Жан Ламбер **I**, 54*
- Тальони Мария **I**, 222; **II**, 313*
- Тамерлан **I**, 287*
- Тарантский*, архиепископ (*Джузеппе Калеце-Латро*) **I**, 290
- Тассо Торквато **I**, 86; **II**, 325*
- Тацит Корнелий **II**, 78, 224*
- Теплов Григорий Николаевич **I**, 277*
- Терно Луи Гийом*, барон **II**, 244
- Тибериш **II**, 78, 82*
- Тициан* (наст. имя *Тициано Вечелио*) **II**, 48
- Толстой Яков Николаевич*, граф **I**, 251; **II**, 22—23, 81, 333
- Толь Карл Федорович*, граф («главноуправляющий путями сообщений») **I**, 359; **II**, 287—288
- Трдиаковский Василий Кириллович **I**, 355—356*
- Трубецкая* (урожд. *Лаваль*) Екатерина Ивановна, княгиня **II**, 15—24, 212, 294, 310, 335
- Трубецкой Сергей Петрович*, князь **II**, 16—24
- Тьерри Огюстен **I**, 101*
- Тюрени Анри де Латур д'Овернь*, виконт де **II**, 122
- Узбек*, хан **I**, 83
- Унгерн-Штернберг Карл Карлович*, барон **I**, 96—100
- Ухтомский*, князь **II**, 107
- Уэльский*, принц — см. Георг **IV**

- Федор Иванович*, царь **II**, 101
Фенелон Франсуа де Салиньяк де Ламот **I**, 185, 302, 307 («Телемак»)
Феохрит **I**, 213
Фердинанд, датский принц **II**, 371
Фердинанд I, германский император **I**, 127
Фердинанд VII, испанский король **I**, 249
Феро Жан **I**, 55
Фикельмон Карл Людвиг, граф **I**, 204
Фонтенель Бернар Ле Бовье де **I**, 213
Франкони Антонио или *Франкони* Лоран **II**, 250
Франц Карл, австрийский эрцгерцог **I**, 213
Фредерикс Петр Андреевич, барон **I**, 215
Фредерикс Софья Петровна **I**, 270—271, 274
Фредерикс (урожд. *Гуровская*) Цецилия Владиславовна, баронесса («госпожа ***») **I**, 190, 215—216, 268—271, 273—275
Фридрих, датский принц **II**, 372
Фридрих II, прусский король **I**, 28; **II**, 122, 148
Фридрих Вильгельм II, прусский король **I**, 28, 29
Фридрих Вильгельм III, прусский король **I**, 26, 87, 190, **II**, 345
Фридрих Вильгельм IV, прусский король **I**, 26
Фруассар Жан **I**, 191
Фужье-Тенвиль Антуан Кантен **I**, 32, 52, 53
Фурье Шарль **II**, 190
Фьораванти Аристотель **II**, 119
- Ховрин (Головин-Ховрин)* Петр Иванович **II**, 91
Хомутов, дворянин **II**, 107
Хорон Александр Этьенн **I**, 23
Циглер **II**, 366—370
- Цингарелли* Николо Антонио **II**, 352
- Чаадаев* Петр Яковлевич **II**, 348—350
Челлини Бенвенуто **II**, 122
Чернышев Александр Иванович, граф **I**, 358—359, 373; **II**, 25
Чингисхан **II**, 67
Чудовский, архимандрит **II**, 107
- Шамфор* Себастьян Рох Никола **II**, 28
Шатобриан Франсуа Рене де **I**, 60, 302; **II**, 9, 96, 319 («Рене»)
Шевырев Дмитрий, князь **II**, 91
Шекспир Уильям **I**, 38, 302; **II**, 161, 168
Шереметев, граф **II**, 247—248
Шницлер Жан Анри (Иоганн Генрих) **I**, 155, 351; **II**, 62, 120
Шомон-Китри Ги де **I**, 38
Штюбер Карл Франц (Шарль Франсуа) **I**, 80
Шуазель Этьенн Франсуа, герцог де **I**, 157
Шубен **II**, 370
- Эгийон* (урожд. де *Навай*) Жанна Виктория Анриетта, герцогиня д' **I**, 47; 54
Эгийон Эмманюэль Арман д', герцог де **I**, 47
Энгиенский Луи Антуан Анри де Бурбон, герцог **I**, 60
Энглези, Генри Уильям Пейджет, второй граф Аксбридж, первый маркиз **I**, 188, 200—201
Энглези лорд **I**, 188; **II**, 262—263
Эрве, актер **II**, 179
- Юлиана (Юлия) Мария*, датская королева **II**, 362, 369—372
Юстициан **II**, 325
- Якоби* Роберт **II**, 94

Список условных сокращений, использованных в статье и комментариях

- Гернет* — Гернет М. Н. История царской тюрьмы. М., 1951. Т. 2.
- Гринченко* — Гринченко Н. А. Цензоры — читатели сочинений о России на иностранных языках// Чтение в дореволюционной России. М., 1995.
- Из наследия П. Б. Козловского* — Мильчина В. А., Осповат А. Л. Из наследия П. Б. Козловского// Тютчевский сборник. Таллинн, 1990.
- Карамзин* — Карамзин Н. М. История государства Российского.
- Карнович* — Карнович Е. П. Цесаревич Константин Павлович. СПб., 1899.
- Кирсанова* — Кирсанова Р. М. Костюм в русской художественной культуре 18 — первой половины 20 вв. М., 1995.
- Крестьянское движение* — Крестьянское движение в России в 1826—1849 гг. М., 1961.
- Лемке* — Лемке М. Николаевские жандармы и литература, 1825—1855. СПб., 1909.
- ЛН* — Литературное наследство.
- Лотман* — Лотман Ю. М. Пушкин. Биография писателя. Статьи и заметки. 1960—1990. «Евгений Онегин». Комментарий. СПб., 1995.
- Междуцарствие* — Междуцарствие 1825 года и восстание декабристов в переписке и мемуарах царской семьи. М.; Л., 1926.
- Мицкевич* — Мицкевич А. Собр. соч. В 5 т. М., 1948—1954.
- Никитенко* — Никитенко А. В. Дневник. М., 1955.
- НЛО* — Мильчина В. А., Осповат А. Л. Маркиз де Кюстин и его первые русские читатели (Из неизданных материалов 1830—1840-х гг.)// Новое литературное обозрение. 1994. № 8. С. 107—138.
- ОА* — Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899. Т. 1—4.
- Олегов щит* — Осповат А. Л. «Олегов щит» у Пушкина и Тютчева (1829 г.)// Тыняновский сборник. Третьи тыняновские чтения. Рига, 1988.
- Павлова* — Павлова В. П. Декабрист Сергей Петрович Грубедкой// Грубедкой С. П. Материалы о жизни и революционной деятельности. Иркутск, 1987. Т. 2.

- Памятники* — Памятники архитектуры Москвы. Кремль. Китай-город. Центральные площади. М., 1983.
- Пржибыльский* — Пржибыльский К. К биографии князя Петра Борисовича Козловского — РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 3. № 56.
- Путеводитель* — Дмитриев В. М. Путеводитель от Москвы до Санкт-Петербурга и обратно. СПб., 1847.
- Пушкин* — Пушкин. Собр. соч. В 10 т. Л., 1979.
- РА* — Русский архив.
- Россия* — Россия первой половины XIX века глазами иностранцев. Л., 1991.
- РС* — Русская старина.
- Сон юности* — Ольга Николаевна, великая княгиня. Сон юности. Париж, 1963.
- Устрялов* — Устрялов Н. Г. История царствования Петра Великого. СПб., 1859. Т. 6.
- Тютчева* — Тютчева А. Ф. При дворе двух императоров. М., 1990.
- 14 декабря* — 14 декабря 1825 года и его истолкователи. М., 1994.
- АМАЕ* — Archives du Ministère des Affaires étrangères. Correspondance politique. Russie.
- BN.NAF.* — Bibliothèque Nationale. Nouvelles Acquisitions Françaises.
- Ancelot* — Ancelot J. Six mois en Russie. P., 1827.
- Arlincourt* — Arlincourt, vicomte d'. Le pèlerin. Etoile polaire. P., 1843.
- Balabine* — Balabine V. Journal. P., 1914.
- Bardoux* — Bardoux A. Madame de Custine. P., 1926.
- Cadot* — Cadot M. La Russie dans la vie intellectuelle française. 1839—1856. P., 1967.
- Chaudes-Aigues* — Chaudes-Aigues J. La «Russie en 1839» de Custine// Revue de Paris. 1843. Т. 44, décembre.
- Dino* — Dino, duchesse de. Chronique de 1831 à 1862. P., 1910. Т. 3.
- Dorow* — Dorow W. Fürst Kosloffsky. Leipzig, 1846 (в действительности 1845).
- Duez* — Duez Ch. Critique des «Mystères de la Russie» et de l'ouvrage de M. de Custine «La Russie en 1839». P., 1844.
- Durande* — Durande A. Joseph, Carle et Horace Vernet. P., 1864.
- Espagne* — Custine A. de. L'Espagne sous Ferdinand VII. P., 1991.
- Ethel* — Custine A. de. Ethel. P., 1839.
- Faber* — Faber G.-T. Bagatelles: Promenades d'un désœuvré dans la ville de Saint-Petersbourg. SPb. 1811.
- Gretch* — Gretch N. I. Examen de l'ouvrage de M. le marquis de Custine intitulé «La Russie en 1839». Traduit du russe par Alexandre Kouznetzoff. P., 1844.
- Labinski* — Labinski X. Un mot sur l'ouvrage de M. de Custine intitulé «La Russie en 1839». P., 1843.
- Laveau* — Lecoing de Laveau G. Description de Moscou. 2-me ed. Moscou, 1836.
- Lettres à Varnhagen* — Custine A. de. Lettres à Varnhagen. Bruxelles, 1870.
- Levesque* — Levesque P.-Ch. Histoire de la Russie. P., 1812.
- Liechtenhan* — Liechtenhan D. Astolphe de Custine. Voyageur et philosophe. P., 1990.

- Marmier* -- Marmier X. Lettres sur la Russie, la Finlande et la Pologne. P., 1843.
- Maugras* -- Maugras R., G., Croze-Lemercier P. de. Delphine de Sabran, marquise de Custine. P., 1912.
- Mémoires et voyages* -- Custine A. de. Mémoires et voyages. P., 1992.
- Mickiewicz* -- Mickiewicz A. Oeuvres. Trad. par Christian Ostrowski. P., 1841. T. 1.
- Notes* -- Barante P. de. Notes sur la Russie, 1835--1840. P., 1875.
- Rosja* -- Custine A. de. Rosja w roku 1839. Tłumaczył, przypisami i posłowiem opatrzył Paweł Hertz. Państwowy Instytut Wydawniczy, 1995.
- Rzewuska* -- Rzewuska R. Mémoires. Rome, 1939.
- Schiemann* -- Schiemann Th. Kaiser Nikolaus im kampf mit rolen und im gegensatz zu Frankreich und England, 1830--1840. Berlin, 1913. B. 3.
- Schnitzler* -- Schnitzler J.-H. La Russie, la Pologne et la Finlande: Tableau statistique, géographique. P., 1835.
- Séjour* -- Séjour Ph.-P. Histoire de la Russie et de Pierre le Grand. P., 1829.
- Souvenirs* -- Barante P. de. Souvenirs. P., 1896--1897. T. 5--6.
- Tarn* -- Tarn J.-F. Le marquis de Custine, ou Les malheurs de l'exactitude. P., 1985.
- Tolstoy* -- La Russie en 1839 rêvée par M. de Custine, ou lettres sur cet ouvrage écrites du Francfort. Par Jacques Iakovleff. P., 1844.
- Tolstoy. Lettre.* -- Tolstoy J. Lettre d'un Russe à un journaliste français sur les diatribes de la presse anti-russe. P., 1844.
- Voyage en Russie* -- Grève C. de. Le voyage en Russie: Anthologie des voyageurs français aux XVIII et XIX siècles. P., 1990.
- Wiegel* -- Wiegel Ph. La Russie envahie par les Allemands. P., 1844.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ	5
ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ	26
ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ	40
ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ	61
ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ	73
ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ	80
ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЕ	112
ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ	134
ПИСЬМО ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ	149
ПИСЬМО ТРИДЦАТОЕ	183
ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ	197
ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ВТОРОЕ	219
ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕ	232
ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ	252
ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ПЯТОЕ	276
ИЗЛОЖЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПУТИ	298
ПИСЬМО ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЕ	318
Краткий отчет о путешествии	321
ПРИЛОЖЕНИЕ	352
ДОПОЛНЕНИЯ	378
1. Заметка автора о третьем издании (1846)	378
2. К третьему изданию 1846 г. (Финал главы «Изложение дальнейшего пути»)	379
3. Предисловие автора к пятому изданию (1854)	383
Комментарии	387
Указатель имен	467
Список условных сокращений, использованных в статье и комментариях	476

Астольф де **Кюстин**
РОССИЯ В 1839 ГОДУ
Том второй
Записи Прошлого

Редактор *В. Сагалова*
Технический редактор *З. Теплякова*
Корректор *Б. Тумян*

Лицензия № 060446 от 3.12.91

Сдано в набор 14.11.95. Подписано в печать 20.05.96. Формат 60 × 90/16. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Гарнитура «Баскервиль». Усл. печ. л. 30. Уч.-изд. л. 33,2. Тираж 5100 экз.
Заказ 1262.

Издательство имени Сабашниковых
119146 Москва, Фрунзенская наб., 38/1, тел. 242-42-17

По вопросам приобретения книг
обращаться также
в Книжную лавку «У Сытина»
тел. 237-36-11

Полиграфическая фирма «Красный Пролетарий»
103473 Москва, Краснопролетарская, 16

